

ДАШИРАБДАН
БАТОЖАБАН

ДАШИРАБДАН
БАТОЖАБАН

ДАШИРАБДАН
БАТОЖАБАН

СОВРЕМЕННИК



D. Bagovshadani



БИБЛИОТЕКА
РОССИЙСКОГО
РОМАНА

ДАШИРАБДАН БАТОЖАБАЙ

ПОХИЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ

РОМАН—
ТРИЛОГИЯ

Перевод с бурятского
НИКИФОРА РЫБКО

Редакция перевода
НИКОЛАЯ ЕРШОВА

• СОВРЕМЕНИК •
Москва • 1982

Батожабай Д. О.

Б28 Похищенное счастье: Роман/Пер. с бурят.
Н. Рыбко.— М.: Современник, 1982.—560с.— (Б-ка
русского романа).

Роман-трилогия «Похищенное счастье» — плод многолетнего труда известного бурятского писателя Даширабдана Батожабая. События романа разворачиваются на рубеже XIX и XX веков в Бурятии и Монголии, в Китае и Японии, в Лондоне и Петербурге. Герои его — бурятская беднота, богачи скотоводы, хунхузы-разбойники, революционеры, собирающие воедино класс неимущих.

Б $\frac{4702130000-149}{M106(03)-82}$ 218—82

ББК84Бу
С(Сиб)

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВРЕМЕННИК», 1982 г.

**Даширабдан Одбоевич
Батожабай**

ПОХИЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ

Роман-трилогия

Редактор Н. Крылова
Художественный редактор В. Покусеев
Технические редакторы
Л. Анашкина, В. Никифорова
Корректоры
Л. Немтинова, Н. Левина

ИБ № 2164. Сдано в набор 08.05.81. Подписано к печати 30.04.82. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 29,51. Усл. кр. отт. 29,51. Уч-изд. л. 31,15. Тираж 100 000 экз. Заказ 1-169. Цена 2 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика им. М. В. Фрунзе,
Харьков-57, Донец-Захаржевская, 6/8.

**Книга
первая**

ОДИНОЧЕСТВО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

АРЕСТ ПРЕСТУПНИКА

•

Когда на забайкальскую тайгу надвигаются январские морозы, медведь лежит в теплой берлоге, а хозяином тайги и степей становится волк. Совсем худо приходится мелким птицам. День-деньской мечутся они в поисках пищи и, обессиленные, замертво падают на землю. Куропатки забираются под снег, сороки жмутся к юртам и амбарам — поближе к людям.

Но и людям не легче. В непогоду хорошо сидеть на мягком войлоке в теплой юрте. Но многие араты зимуют в дырявых юртах, и на очаге у них только суп из костей да жидкий чай. Когда юрта начинает дрожать на ветру, люди обращают слезящиеся от дыма глаза к бронзовым бурханам¹, моля богов защитить от непогоды их жилища и скот, не дать помереть детям.

В один из таких морозных дней 1884 года по снежным сугробам, через примолкшие степи в разных направлениях мчались всадники на заиндевелых, с сосульками у ноздрей, лошадях. От юрты к юрте, от улуса к улусу — по всей Аге — всадники разносили новость:

— В Агинский дацан² прибыл учитель Далай-ламы³ Туван-хамбо⁴.

— Приезжайте в дацан, получите благословение святого!..

В течение суток вся степь вокруг Агинского дацана была истоптана тысячами копыт. Хозяева стад, отар и табунов степенно ехали в санях. Их сынки и дочки, раз-

¹ Б у р х а н — изображение божества.

² Д а ц а н — буддийский храм.

³ Д а л а й-л а м а — духовный и светский правитель Тибета.

⁴ Х а м б о — ученое звание ламы, буддийского монаха.

ряженные в цветные халаты, лихо проносились на оседланных скакунах. Двигалось немало и бедных повозок. Много людей шло пешком, брели больные, волоча ноги.

Вдоль заборов поселка стояли привязанные в ряд лошади, над ними клубился пар. Ходили ламы в желтых одеяниях, молодые женщины в теплых шелковых халатах, бедняки в рваных шубах. Все дома были уже заполнены постояльцами. Люди развязывали кожаные мешки, вынимали сумки, туески, свертки, оттаивали привезенные с собой масло, сливки, пенки. Потные, измученные хуvaraки¹ кипятили воду в котлах, варили мясо и суп.

Вдруг на вогнутой крыше храма, на всех ее четырех углах, показались ламы с длинными трубами² — и призывные звуки понеслись далеко окрест. На звуки этих труб паломники устремились к дацану. Скоро на площади собралась толпа. Возле дверей храма, украшенных искусной резьбой, на олбоках³ восседали ламы, приезжие чиновники, богачи, не знающие счета своим стадам.

Аламжи хотел первым поклониться высокорожденному ламе. Плечами раздвигал он толпу, прокладывая дорогу себе и жене с двумя ребятами.

— Куда лезешь?

— Оборванец...

Здоровенные парни стали на его пути живою стеной. Не отвечая на ругань, Аламжи молча нажал на эту стену плечом, она колыхнулась и раздалась.

Распахнулись красные двери храма, и богомольцы увидели девятерых хуvaraков, несущих перед собою олбоки. Совершив молитвенный круг по ходу солнца, они сложили олбоки один на другой и удалились.

«Получу благословение святого — на всю жизнь от бедности избавлюсь», — шептал Аламжи, протискиваясь все ближе. Наконец он оказался даже впереди тех, кто сидел на олбоках. Его жена, прижимая одного ребенка к груди, а другого подталкивая вперед, продвигалась за мужем, не спуская благоговейного взора со святых дверей.

Богач Намдак, глядя на двери храма, заклинал:

¹ Х у в а р а к — послушник.

² По внутренней лестнице храма ламы-трубачи поднимаются на площадку, называемую «гонхо», где становятся по углам крыши и трубят, возвещая начало богослужения. (Прим. автора.)

³ О л б о к и — маленькие туюфачки, обшитые дорогой тканью.

— О боги! Пусть по вашему повелению стану я самым большим чиновником! Пусть в моих стадах будет столько скота всех пяти видов¹, сколько не было ни у кого!..

Гулва-нойон², восседавший по соседству с Намдаком, услышал его молитву и покачал головой: зачем этому бестолковому чины и богатство?

У женщин были другие молитвы. Толстая рыжеволосая жена Намдака, ни разу не рожавшая за долгую супружескую жизнь, глядела на храм, и из глаз ее капали слезы.

— Благослови, святой Туван-хамбо, и пусть боги пошлют мне ребенка.

Сзади стояла черная худая женщина. У этой не было ни мужа, ни детей.

— Даруй мне семью, высокорожденный учитель,— шептала она.— Не дай потухнуть моему очагу.

О чем же пришли просить оттиснутые в задние ряды бедняки, задавленные нуждою и болезнями? У каждого из них была своя надежда. Один Шара-Дамба, батрак и безбожник, стоявший позади толпы, давно уже не верил ни земным, ни небесным святым...

Семилетний Булад, сын Аламжи, крепко ухватившись за руку матери, с нетерпением ждал, когда появится живой бог. Словно в ответ на его желание из дверей храма вышло шестеро лам. Они несли самого Туван-хамбу в желтом паланкине, покрытом шелком и украшенном золочеными узорами.

Над толпой пронесся шум, подобный протяжному стону. В мгновение ока люди сдернули шапки и низко склонились. Когда же они подняли головы, Туван-хамбо сидел уже на девяти олбоках и медленно перебирал янтарные четки. На голове его была остроконечная желтая шапка, на плечах — пурпурный орхимжо³. Его лицо, словно отлитое из бронзы, было неподвижно, глаза устремлены вдаль, поверх толпы. По левую руку Туван-хамбы люди увидели агинского тайшу⁴ Намсарая в си-

¹ Скот пяти видов — лошади, крупный рогатый скот, верблюды, овцы и козы.

² Гулва-нойон — должностное лицо, старейшина рода.

³ Орхимжо — полоса материи, которую буддийские монахи надевают на плечи.

⁴ Тайша — лицо, стоящее во главе степной думы. Избирался знатно пожизненно.

нем шелковом халате, опоясанном широким красным кушаком, за который был заложен длинный нож в серебряной оправе. Густые брови, нависшие над узкими глазами, делали его похожим на хищную птицу. Богачу из богачей в степной Аге каждый обязан был повиноваться. Но грозный вид тайши не мог угасить ненависти к нему. Скупец никогда ни монеты не платил батракам. Он был способен отодрать подкову с копыта подошедшей лошади, сорвать украшение с только что умершего родственника, от скупости он мог варить себе суп из шкуры. Презрение к нему было так велико, что в народе говорили: «Намсарай от жадности может проглотить собственный плевок».

Отдав должное Намсараю, люди перевели взгляд на плешивого человека, сидевшего по правую руку Туван-хамбы. Эполеты и шашка в золоченых ножнах выдавали в нем важного русского чиновника. Так оно и было: справа от Туван-хамбы сидел приамурский генерал-губернатор барон Корф.

Паломники еще раз застыли в поклоне, а когда подняли головы, впереди Туван-хамбы уже возвышался большой медный котел с двумя ручками. Все знали, зачем здесь котел: ведь столько раз люди бросали в него золото, серебро и медные монеты. Возле котла на олбоках расположились настоятель Агинского дацана и Самбулама. В холеных руках лама держал бумаги, куда заносил имена тех, кто жертвовал лошадей, коров и овец. Немало было верующих, которые отдавали богу последнюю коровенку. Сегодня этот список пополнится...

Туван-хамбо сидел на олбоках, плотно сжав тонкие губы. Он ждал, когда молящиеся после третьего поклона подойдут к нему для благословения.

Много лет назад, еще до возведения в сан хамбо-ламы, он был настоятелем этого дацана, затем отправился в Тибет, в монастырь Брайбан, где изучал языки и богословие. Наконец после десятилетнего обучения он получил звание лхарамбо¹. Когда эта весть дошла до Бурятии, во всех дацанах отслужили большие молебствия... А потом Туван-хамбо стал учителем самого Далай-ламы.

Ламы уже растолковали паломникам, что приехал он по весьма важному делу — отстаивать желтую веру перед

¹ Л х а р а м б о — доктор философии.

русским царем. Попы-миссионеры и чиновники прибежали к обману и насилию, чтобы склонить бурят к христианству, и забайкальские ламы послали жалобу Далай-ламе. Далай-лама Тринадцатый обратился со специальным посланием к генерал-губернатору. Тут-то и прибыл в Забайкалье Туван-хамбо. Миссию свою он исполнил, добившись разрешения на постройку новых дацанов на далекой окраине России.

Сейчас, когда Туван-хамбо собирался в обратный путь, прибывший из Петербурга генерал-адъютант барон Корф вызвался сопровождать его. Такая честь Туван-хамбе была оказана неспроста. Царскому правительству не выгодно было ссориться с ламами, держащими в повиновении большинство людей. Конечно, простые араты не вникали в эти тонкости, они знали одно: Туван-хамбо защитил желтую веру, добился разрешения на постройку новых дацанов. Вот почему собралось много народа, почему люди с усердием клали поклоны и перед святым Туван-хамбой, и перед генерал-адъютантом Корфом...

Наконец богачи один за другим потянулись к Туван-хамбе. Получив благословение, каждый по нескольку раз обходил храм по ходу солнца.

Приближался к Туван-хамбе и Аламжи. Вдруг чьи-то сильные руки ухватили его за локти. Аламжи не успел пустить в ход кулаки, как руки его были перехвачены железной цепью.

— Не шуми! Ступай туда!

— В наручниках далеко не уйдешь!

Толкая Аламжи в спину, двое полицейских вытащили его из толпы и повели с собой.

— Аба, куда ты?! — закричал маленький Булад.

Жена тоже рванулась было к Аламжи, но ее оттеснили.

— У твоего муженька будет хорошая юрта...

Она вскинула глаза и увидела богача Намдака с лисьей шапкой в руке. Его глаза — один маленький, другой побольше — воровато бегали, рот с двумя сгнившими зубами приоткрыт.

— С начальником поругаешься — лишишься головы. С собакой подерешься — потеряешь подол, — заглянул в лицо женщины Намдак.

Жалма хотела крикнуть Намдаку: «Ты и есть собака!», но сдержалась. Значит, Аламжи чем-то не угодил

им, его отвезут в Читу и запрячут в тюрьму! Что же такое сделал Аламжи?..

С новой силой хлынула толпа, оторвала от матери Булада, завертела его и поглотила.

— Люди добрые, спасите! Сына затопчут! — закричала Жалма. Косы у нее расплелись, волосы рассыпались по плечам. Несчастливая мать продолжала взывать о помощи, но все были глухи к чужому горю, думая только о том, как бы вымолить счастье для себя. Подобно стаду в тесном загоне, люди напирали друг на друга, ища выхода. Им казалось, что выход там, где восседает святой Туван-хамбо.

И все же нашелся человек, который посочувствовал бедной женщине. Это был Горбун. Припадая на одну ногу и размахивая костылем, пробивался он туда, где лежал маленький Булад. На мгновение Жалме показалось, что толпа поглотила и сына и Горбуна. Но вдруг толпа расступилась, и Жалма увидела Горбуна, склонившегося над Буладом. Прикрывая ребенка своим телом, тот бил людей костылем.

— Урод! Паршивая собака! — ругались вокруг.

— Какой вы добрый... Чем отблагодарить вас?

Жалма положила руку на плечо Горбуну и посмотрела ему в глаза.

Когда поклонение закончилось, ламы низших званий, хувараки и приезжие разбрелись, а высшее духовенство направилось в храм определить меру любви народа. Такой мерой считались жертвования. И настоятель дацана, и мудрый Самбу-лама остались довольны: за день было собрано восемь тысяч рублей, шестьсот голов скота, тридцать девять пудов топленого масла, не считая того, что успели припрятать проворные служки и казначеи.

В сумерках то там, то тут мелькали желтые ламские шапки, красные, через плечо, ленты, цветные халаты. Даже в такой день ламы оставались верны себе: они искали женщин.

Жалму знобило. Она шла по узенькой улице, думая только об одном — найти добрых людей, которые приютили бы ее и детей на долгую зимнюю ночь. Жалма все шла, пока не очутилась на краю поселка. Из дома доносились веселые голоса.

— Зайдем, эхэ! Зайдем в этот дом.

И Жалма, подойдя, осторожно потянула дверь на себя. Когда осели клубы ворвавшегося с улицы морозного пара, она увидела множество людей, а среди них Намдака и гулву-нойона. На северной половине сидели разряженные женщины. Рукава их ярких халатов были оторочены соболиным мехом, воротники вышиты золотыми нитками. В желтых лакированных чашках на низеньких столиках дымилась лапша, в больших фарфоровых тарелках лежали колбасы из мясного фарша с мозгами, из конского сала с печенью, из сараны и сухой черемухи, сваренной в сливках, высились груды сушеной пенки... Человек, ближе других сидевший к дверям, взглянул на вошедших. Булад обрадовался: наверное, дядя даст ему поесть!

— Вы кто такие? — спросил тот.

— А, это та самая! Каторжанина укрывала вместе со своим муженьком.

Бритоголовый лама, рубивший мясо для буз¹, обернулся.

— Вы за-ачем сюда?

Все одновременно повернули головы к вошедшим. Их взгляды были красноречивее слов: «Убирайтесь прочь!»

Жалма опустила голову, теснее прижала к себе маленького, взяла за руку Булада и вышла. Оскорбительный смех, словно удар хлыста, обжег ее щеки.

Скоро впереди показался дощатый сарай. Сквозь щели пробивались отблески очага.

— Может, здесь наш аба? — захныкал Булад.— Пойдем туда, эхэ, пойдем...

— Пойдем, сынок...

Жалма распахнула дверь и, не останавливаясь у порога, прошла вперед. При свете пламени она увидела людей, сидящих на расстеленной лошадиной шкуре. Они держали в руках деревянные чашки и вкусно причмокивали. Их суп был сварен, конечно, из выброшенных богачами костей, заправлен ржаными зернами и диким луком. Но все же запах его теплой волной обласкал вошедших.

— Сыночек, подойди сюда...— повернулась женщина, стоявшая у котла с поварешкой.

¹ Б у з ы — большие пельмени, готовятся на пару.

Булад хотел было сразу подбежать к ней, но в нерешительности потоптался на месте и поглядел на мать.

— Иди, иди!

Жалма тоже подошла к женщине. Она сразу узнала ее: не один раз встречались они в степи. Женщина знала об аресте Аламжи. Чтобы хоть как-нибудь подбодрить Жалму, она сказала:

— Кто на горячую еду приходит, тому удача выпадет.

С этими словами она налила супу в две деревянные чашки и подала Буладу и Жалме. Люди на полу потеснились, пропуская женщину с детьми поближе к очагу. Завязался разговор.

— Я молил Туван-хамбу, чтобы все жили хорошо,— закашлявшись и хватаясь за грудь, говорил седой старик.

— А я просил святого, чтобы дети наши выросли здоровыми.

— Чтобы размножался скот.

— Чтобы над головой всегда была юрта, а в очаге огонь...

Помолившись, с надеждой в сердце, люди стали укладываться спать. Они уповали на богов, на святого Туван-хамбу, который, чудилось им, разом может изменить их судьбу. Сейчас они не думали, что свободная жизнь, счастье их детей, кров и пища достанутся в жестоких боях ценой крови и слез.

Тут же, у очага, примостилась и Жалма с детьми. Сон не шел к ней. Мысли перенесли ее в прошлое...

* * *

В ту темную вьюжную ночь ветер сотрясал юрту, свистел и стонал, как стонет раненый человек. В щели жилища проникал снег. Прижимая к груди Булада, Жалма в страхе ждала, что юрта вот-вот опрокинется и ветер унесет ее в степь. Как-то там Аламжи? Уж не замерз ли он в степи?

Аламжи не замерз. Когда к ночи разыгралась метель, он загнал табун в падь, спешился и прижался к одинокому дереву. Так стоял он, прислушиваясь к свисту ветра и вою волков, пока не уловил другие звуки, совсем не степные.

Вскочив в седло, Аламжи ударом хлыста заставил коня идти против ветра. Вскоре табунщик нашел чело-

века, ветер над ним уже наметал сугроб. Аламжи взвалил его в седло и привез в юрту. Жалма хорошо помнит изможденное лицо ночного гостя, его полосатую куртку под ветхим полушубком. Сомнений не было: в их юрте нашел убежище беглый каторжник.

Ни Аламжи, ни Жалма ничего не жалели для гостя, и тот быстро поправлялся. Он уже помогал Жалме в ее несложном хозяйстве, возился с Буладом, а по вечерам за скудным ужином рассказывал о больших русских городах, расспрашивал хозяев, как живут их сородичи. Хороший это был человек... Вскоре начал он поговаривать о том, что пора ему идти своей дорогой. Иногда он садился на низенькую скамеечку возле окошка, затянутого бычьим пузырем, и подолгу к чему-то прислушивался. Однажды Жалма перехватила его взгляд. Долго потом она вспоминала этот взгляд, полный печали. Так смотрит, наверное, раненый орел в родное небо. И когда он сказал, что уходит, Жалма не стала его отговаривать, как прежде. Она поняла, что его не удержать.

Аламжи снял с гвоздя козью шубу и протянул ему. Тот принял подарок, а потом обнял хозяина и поцеловал в обе щеки.

— Спасибо тебе, друг. Бедняки никогда не будут врагами беднякам, хоть и разным богам они поклоняются.

Проводил его Аламжи, указал ближайшую дорогу на Читу и уже поздней ночью вернулся в юрту. Он не знал, что этот человек был важным государственным преступником, что он побывал в Александровском центральном и Шлиссельбургской крепости, в казематах Харьковской тюрьмы и на Карийском руднике, недалеко от Аги, откуда он и бежал. Ничего этого Аламжи не знал. Но он помог ему, как может помочь в беде только бедняк бедняку.

Зато Жалма сердцем и разумом женщины поняла больше, хотя ей и не часто приходилось разговаривать с русским. Она догадывалась, что какие-то смелые и сильные мысли помогают этому человеку переносить невзгоды. Да, он многое бы им рассказал, если бы не ушел так скоро.

Намдак проснулся, когда зимнее солнце набрало уже силу и разогнало туман. Накануне он допоздна просидел с богатыми скотоводами, много ел мяса, буз, много выпил хмельной араки¹. От всего этого желудок не давал ему покоя всю ночь.

— Балма, подай-ка штаны.

Толстая и рыжая Балма не взглянула на мужа. Вчера, получая благословение святого, она молила богов, чтобы те сжалились над нею и ниспослали ребенка. Ночью она прижималась к мужу, тормошила его, но он, пьяный, ходил на бревно.

— Балмахон, слышишь...

Приподняв грузное тело, Балма вразвалку прошлась по комнате, взяла штаны и бросила в лицо мужу.

— Что с тобой, Балма?

— Дурак ты, вот что! Порастерял ты силы свои... Видно, детей нам никогда не иметь...

Намдак чувствовал себя виноватым, но все же пытался поддержать мужское достоинство:

— Не огорчайся, жена! Придет время...

Взглянув на его гнилые зубы, Балма окончательно вышла из себя:

— Помолчал бы!

Не раз обращался Намдак за советом к Самбу-ламе, тот обещал достать целебный корень женьшень, но обещания своего не выполнил. А жена все дурит. Прошлым летом до того дошла, что сбросила его с кровати.

Одевшись и ополоснув лицо, Намдак подошел к изображениям богов в углу и сложил молитвенно руки.

— О святой Намсарай! Прибавь сил моему ослабевшему телу.— И он поклонился богам десять раз.

Балма стояла у очага и с раздражением смотрела в спину мужу. Никогда еще он не казался Балме таким гадким, как в эту минуту. Может быть, потому она снова вспомнила, как в молодости приехала в дацан и заночевала у Самбу-ламы...

— Сегодня же ты вернешься домой! — неожиданно сказала Балма.— Я останусь здесь на несколько дней, молитвенный круг совершу...

¹ А р а к а — молочная водка.

Намдак, не разжимая сложенных рук, подозрительно посмотрел на жену.

С улицы донеслось завывание дацанских труб.

— Пора Туван-хамбу провожать,— сказала Балма.

— Скорее пойдем, а то опоздаем!

Проснувшись позже всех, Самбу-лама затаенно прислушивался к голосам в соседней комнате, где ночевали Туван-хамбо и барон Корф. Они тихо беседовали, и слов нельзя было разобрать. «Надо было пораньше встать, зайти к ним, пожелать доброго утра»,— думал знатный лама. Он прошелся по ковру. Комната была просторная, светлая, оклеенная голубыми обоями в узорах. Между окнами, обращенными на юг, стояла китайская фарфоровая ваза тонкой работы. Вдоль стен были расставлены низенькие кушетки, покрытые коврами.

Приведя в порядок одежду, Самбу-лама вошел в комнату, где находились высокие гости. Поклонившись, он скромно уселся на диванчик в углу и принялся разглядывать богатое убранство парадных покоев, где ему нередко приходилось бывать. Его не интересовала ни статуя одиннадцатиликого Арья-Балы, ни другие бурханы в божнице. Взгляд его, как всегда, остановился на большом, с человеческую голову, стеклянном шаре, наполненном светящимися камнями. «Будь эта вещь не у настоятеля,— подумал Самбу-лама,— давно бы перекочевала в мой дом».

Скрипнула дверь, на пороге показался урядник Пустяков. За ним, как собачонка за хозяином, вбежал Шаргай-нойон. На левом боку у Пустякова сверкала сабля, малиновый шнур, охватывая шею, спускался к ремню, где висела кобура с револьвером. Щелкнув каблуками, Пустяков приложил руку к папахе:

— Ваше высокопревосходительство! Арестованный вчера преступник по вашему приказу содержится под стражей в кумирне¹.

— Ну и что же?

— Я... хотел узнать, куда его...

— Ты болван, урядник. С подобными вопросами надо обращаться к дежурному офицеру. Разве можно вры-

¹ К у м и р н я — молельня.

ваться в покои святых отцов с такой мордой? Пошел вон!

— Слушаюсь! — гаркнул Пустяков и молодецки повернулся кругом. Громко звякнув концом сабли о дверной косяк, он вышел на улицу. Шаргай-нойон бросился за ним.

— Ваше преосвященство, когда приведут арестантов, вы первый скажете об этом бунтовщике, — улыбаясь, сказал барон Корф. — Остальное я завершу...

— Да, конечно, — чуть слышно произнес Туван-хамбо и наклонил голову в знак согласия.

Самбу-лама взглянул на холеного барона: закрученные кверху усы, круглые, как у птицы, глаза, осанка. «Видно, он решил расправиться с Аламжи, — думал Самбу-лама, — красавица Жалма останется одна. Плохо, что она успела наплодить детей. Если бы не дети, можно было бы и жениться... Но и без женитьбы можно будет заходить к ней вечером... О-о-о! Какие греховные мысли одолевают меня». Самбу-лама молитвенно сложил ладони.

— Ну, и с вами договорились, — донеслись до Самбу-ламы слова барона, обращенные к агинскому тайше. — Мы надеемся, что в нашем обширном крае будет наведен надлежащий порядок. Настоятели дацанов в меру своих сил помогут вам... Не правда ли, Рабдан-лама? А мы тоже не оставим ревнителей веры без поддержки.

Барон продолжал говорить, глядя поверх головы настоятеля Рабдан-ламы, словно и не рассчитывал, что тот способен понять сказанное. Настоятель, и в самом деле плохо знавший русский язык, лишь кивал головой, изредка многозначительно повторяя: «М-да, м-да, ханешна...»

Генерал-адъютант барон Корф считал себя человеком образованным, а посему свысока смотрел на азиатов. Однако с Туван-хамбой он был любезен и предупредителен, как подобает дипломату. Ведь этот важный духовник приехал не только для защиты желтой веры: Туван-хамбо говорил в Петербурге о таких важных вопросах, которые в последние годы все больше волновали правительственные круги России. Захватив Индию, а потом Непал и Сикким, Англия все настойчивее пытается проникнуть в Тибет. Английские резиденты нанимают шпионов и под видом индийских пандитов — ученых мужей — направляют их в эту загадочную страну. Как

видно, это вызвало большую тревогу при дворе Далай-ламы. Туван-хамбо вместе с единомышленниками придерживался того мнения, что Тибет должен искать сближения с Россией, что только покровительство такой могучей державы избавит его страну от английских колонизаторов. И эти взгляды Туван-хамбы, естественно, нашли поддержку среди русских сановников. Разделял эти здравые мысли и барон Корф. К тому же дружеские отношения с именитым гостем из Тибета барон считал полезными лично для себя. Ведь Туван-хамбо завязал в Петербурге крупные связи. Взять хотя бы Ивана Зиновьева, с которым Туван-хамбо сблизился через влиятельного при дворе бурята Бадмаева. А этот Иван Зиновьев назначен сейчас директором Азиатского департамента. В добрых отношениях Туван-хамбо и с вновь назначенным начальником главного управления тюрьмами.

Туван-хамбо не без умысла подробно рассказывал барону о встречах с высокопоставленными чинами. Он говорил о своих симпатиях к России, к царскому престолу, о том, что дружба России с Тибетом будет одинаково полезна для обоих народов. И когда барон Корф выразил полное согласие с его мыслями, Туван-хамбо как бы случайно вспомнил, что генерал-губернатор и наказной атаман сибирских казаков Таубе точно так же отнеслись к его словам.

Туван-хамбо был доволен результатами своей миссии. Теперь он спешил в Лхасу, чтобы порадовать Далай-ламу: в Забайкалье будут построены новые дацаны, желтая вера будет здесь укрепляться, ее влияние будет расти. Правда, ему предстоит еще более трудная задача — уговорить Далай-ламу Тринадцатого пойти на сближение с Россией, искать у нее помощи против Англии.

Вошел офицер и доложил, что лошади поданы. Все поднялись. На беду, у барона куда-то пропало пенсне. Ламы обшарили все углы, заглядывали под столики и кушетки, но пенсне в золотой оправе не находилось.

Один только тайша Намсарай не принимал участия в поисках. Сидя у окна, он поминутно бросал взгляды на лежащую на подоконнике толстую тибетскую книгу, за которую он незаметно спрятал пенсне. Почему он это сделал? Когда барон надевал пенсне, то становился грознее. «Завладею такой штукой, еще больше бояться меня станут». Намсарай молил богов, чтобы барон скорее бро-

сил поиски, но тот никак не хотел выходить из дому без пенсне... Наконец Намсарай не выдержал, вскочил и быстро подошел к окну.

— Что такое! Смотрите, золотые очки лежат здесь! — с притворным изумлением закричал он.

— Каким образом они туда попали? — спросил обрадованный барон и водрузил пенсне на переносицу.

Хорошо знавший жадность агинского тайши, Самбулама скривил губы и одарил Намсарая таким взглядом, что тот побледнел...

Над дацаном искрился зимний день. Люди, заполнившие улицы в ожидании святого Туван-хамбы, были веселы. Сыновья богачей, распустив кисти шелковых кушаков, гарцевали на иноходцах перед девушками. Лихие табунщики в теплых овчинных шубах горделиво восседали на диких необъезженных конях, которые взметывались на дыбы, брыкались и разбрасывали кругом хлопья пены. Девушки с восхищением смотрели на бесстрашных, словно приросших к седлам молодцов. Юноши, не имеющие добрых коней, туже обычного затягивали подпруги у своих смирных рабочих лошадок, и те начинали брыкаться, грызть удила, бить копытами землю. Кое-кто искал невысокий забор, чтобы перемахнуть через него на коне и заслужить одобрение красавиц.

Выхвалялись друг перед другом и девушки, и молодые женщины, навесившие на себя серебряные, с цветными кистями кольца на шелковых ленточках. На головах красовались ободки с блестящими шариками, а на висках — изящные, вплетенные в волосы рожки, отделанные кораллами и оправленные серебром. Голову каждой красавицы венчала шапка из выдры. А что за одежда была на них! Шубы из мерлушки, крытые цветным шелком и перехваченные у локтей полосками синего или черного бархата, длинные, поверх шуб, безрукавки, отороченные пятицветными лентами.

Как и вчера, позади кичливой знати колыхалась толпа рваных козьих шуб. Разбившись на небольшие кучки, бедняки тихо переговаривались, — кто с любопытством, кто с неприязнью, а кто и с завистью наблюдая за разряженными богачами.

В первом ряду, среди самых знатных и богатых, стоял Намдак. Мысли его были далеки от святого Туван-хамбы. Встретившись сегодня с гулвой-нойоном, он осторожно,

чтобы не вызвать подозрений, спросил у него: «Что должен делать человек, если он не может жить в любви с женой? Как ему вернуть мужскую силу?» Сморщив лоб и пытаясь понять, о чем его спрашивают, гулва-нойон наконец ответил, что в таких случаях хорошо пить кровь изюбра. «Как же поймать изюбра?» — хотел спросить Намдак, но промолчал. «Какая разница между быком и изюбром? Приеду домой, забью комолого быка и стану пить его кровь». Так думал Намдак, однако успокоиться все же не мог. Разве позволит ему Балма выпить всю бычью кровь? Нет, жена перемешает кровь с кусочками сала и приготовит колбасу. Можно ли заменить свежую кровь колбасой?

Гулва-нойон с удивлением смотрел на черное продолговатое пятно на коричневом голенище Намдака. Откуда оно взялось? Ага, этот дуралей сморкается в руку, а потом вытирает о сапог. Неужели нельзя вытирать руки о полы халата, как делает это он, гулва-нойон?

Балма перехватила пристальный взгляд гулвы-нойона и вся встрепенулась. Конечно же, почтенный нойон может любоваться только ею, а не какой-нибудь сопливой девчонкой. Хороший, добрый нойон! Балма тихонько провела рукою по бедру, чтобы хоть немножко засучить рукав. Под ним, у запястья правой руки, красовался новенький браслет, сделанный местным чеканщиком из рассыпного золота.

Вдруг толпа дрогнула, на мгновение замерла, а потом разразилась:

— Туван-хамбо!

— Святой Туван-хамбо!

У ворот главного храма показались три лошади белой масти с туго перевязанными челками. В роскошных саниях, покрытых красным ковром, неподвижно, словно бурхан, восседал Туван-хамбо. За белыми конями следовали разномастные орловские рысаки, впряженные в зеленые сани барона Корфа. Солнце отражалось в генеральских эполетах, сверкало на его золотом пенсне, плавилось в многочисленных бубенцах, подвешенных под крашеной дугой. Величественный кортеж замыкали сани, в которых сидели настоятель дацана и агинский тайша. Полозья их саней глубоко врезались в снег, смешанный с песком, и две коренастые бурятские лошадки рыжей

масти напрягались изо всех сил, словно везли бочку с золотом.

Люди любовались генеральскими лошадьми. Красиво изогнув шеи, словно шахматные кони, они без всякой натуги везли окованные железом сани.

Статные орловцы не были здесь диковиной: они появились в Забайкалье вместе с приходом русских, но не привились у бурят. Слов нет, орловский рысак отличался завидной резвостью. Но разве мог он с одинаковой стремительностью взбираться на кручи и спускаться вниз подобно лисице? Мог ли он жить без овса, без конюшни, круглый год на подножном корму? Такое могла вынести лишь маленькая крепконогая бурятская лошадка. Что бы ни делал бурят — охотился ли на волков, пас ли скотину, кочевал ли по степям, — он надевал свой длинный меховой халат и садился на неприхотливую и проворную лошадку. Только на своих конях уходили буряты на охрану государственной границы...

Едва Туван-хамбо выехал на широкую улицу, по правую сторону от него оказались сани барона, по левую — сани настоятеля дацана. Толпу оттеснили к домам.

Позади Туван-хамбы, барона и настоятеля сгрудились ламы в желтых одеждах, богачи, чиновники, нарядные женщины. Их украшения, дорогие, крытые шелком шубы сверкали. Овеваемые легким ветром, на их головах будто шевелились собольи, рысьи, выдровые и лисьи шапки.

Но тут из дальнего конца улицы, в сопровождении двух всадников, появилось несколько понурых, оборванных людей. Они медленно двигались навстречу толпе. Впереди шел Аламжи, одетый в короткую козью шубу. Цепи на его руках звенели.

Шагах в десяти от Аламжи ехали верхом Пустяков и Шаргай-нойон. Каждый из них держал в руках концы вожжей, привязанных к косе Аламжи. Это придумал Шаргай. Он рассудил, что если генералу придет в голову стрелять в крамольника, то надо держаться подальше от мишени, а то, чего доброго, пуля угодит в него. Кони Пустякова и Шаргая остановились. Оба всадника враз натянули вожжи. Вокруг Аламжи сгрудились шедшие позади арестанты. Их ноги в рваной обуви рыхлили перемешанный со снегом песок.

Из толпы навстречу арестантам выбежала Жалма с обеими детьми: хоть одно слово, хоть только слово услышать от него на прощанье!

— Стой! Стрелять буду!

Жалма остановилась, прижимая к себе детей.

Черные брови Жалмы, некогда напоминавшие ласточку в полете, теперь переломились, губы посинели, руки ее были протянуты вперед и дрожали.

Толпа насторожилась: неужели русский генерал осквернит праздник, в присутствии святого Туван-хамбы прольет кровь?

Самые любопытные становились на скамьи возле домиков. Мальчишки и девчонки усеяли заборы и оттуда наблюдали за хамбо-ламой, генералом и арестованными. Люди то затихали, то говорили враз. Кто-то бранился, кто-то произносил заклинание от шолмоса¹, какая-то женщина плакала навзрыд и пыталась пробиться к Туван-хамбе.

Богачи хранили молчание. Нахлобучив поглубже шапки, они поглядывали друг на друга, давая этим понять, что знают больше, чем стоящие за ними заплатники. Среди них недалеко от саней настоятеля дацана и тайши стояли безбожник Шара-Дамба и опирающийся на костыль Горбун. Рослому Шара-Дамбе хорошо были видны и важные гости и арестанты.

— Один здоровый, видать, парень, а остальные мелкота, заморенные,— говорил Шара-Дамба Горбуну. Тот из-за низкого роста ничего не мог разглядеть.— Много, наверное, они ламам хлопот причинили.

— Кто ламам кость поперек горла, а кто и властям,— неопределенно сказал Горбун.— Тот высокий самому белому царю, однако, табачку в чай подсыпал...

— Да ну? — изумился Шара-Дамба.— Что сделал этот парень?

— Доброе дело сделал. Спас от смерти русского каторжанина.

Приподнимаясь на цыпочки, Самбу-лама смотрел на Аламжи, как глядит собака на таз с костями.

— Настал твой черный день, Аламжи! — злорадствовал Намдак, пробираясь вперед.

¹ Ш о л м о с — дьявол.

Аламжи молча стоял среди товарищей по несчастью. Брови его сошлись на переносице, губы чуть раскрылись, глаза светились недобрым блеском, кулаки были сжаты. Казалось, железные цепи вот-вот лопнут.

Туван-хамбо и барон Корф вылезли из саней.

С бесстрастным лицом Туван-хамбо молитвенно сложил руки:

— Ваше высокопревосходительство, господин генерал-адъютант! Именем нашей желтой веры и Далай-ламы Тринадцатого прошу вас помиловать человека, которого зовут Аламжи. Вас, близкого к российскому царю и богу, прошу также даровать свободу и остальным, совершившим преступления не по злему умыслу, а по скудости ума...

Свою маленькую речь Туван-хамбо продумал вместе с бароном еще накануне вечером и сейчас произнес ее, как хуварак произносит хорошо выученный урок. Весь этот обряд должен был показать милосердие желтой веры, ее могущество, поднять ее авторитет в глазах аратов.

Закрученные вверх усы барона чуть дрогнули.

— Отпустите их! — приказал он.

Пустяков и Шаргай-нойон застыли как истуканы.

— Приказываю отпустить!

Бросив привязанные к косе Аламжи вожжи, Шаргай-нойон и Пустяков соскочили с коней. Из толпы выскользнул хромой Горбун и тут же очутился возле Аламжи. Быстро отвязал он вожжи и подбросил их вверх. Вожжи повисли на заборе.

Туван-хамбо и барон Корф уселись в сани и приказали трогаться. Толпа, запрудившая улицу, расступилась.

Аламжи обнял жену и детей и вытащил из-за пазухи медальон, внутри которого был талисман.

— О боги, вы услышали мою молитву! — запричитала Жалма.

Барон повернулся к учителю Далай-ламы и слегка улыбнулся. Тот молча наклонил голову.

Жалма счастливыми глазами смотрела на мужа и думала: «Опять Горбун помог. Добрая душа...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

В ЛЕСУ

Аламжи повернулся на спину, раскинул большие руки. От страшной боли застонал, на глаза навернулись слезы. Но так лишь казалось. Глаза его были сухи, как потухшие угольки. И все же с лица не сходила страдальческая гримаса, брови сцепились у переносья. Может, это не его был стон? Да, не его. Стонут вон те, бредущие по степи. Их много, оборванных, изможденных, голодных. Да и стон ли это? Он слышит протяжную бурятскую песню, нескончаемую, как степь, и печальную, как смерть: трудно живется бедняку без юрты и без коня, нет больше сил работать на богачей. Высокий, сутулый, с широким шрамом на виске, медленно и тяжело, точно поднявшийся на задние ноги медведь, идет к нему незнакомец. Да это же его отец Наван-Чингиз! Он не помер? Но зачем он идет сюда? Почему его руки тянутся к горлу родного сына?..

Аламжи проснулся. «Ох-хо-хо! Хорошо, что это всего лишь сон. Но почему отец тревожит меня?» Печальная песня звучала в его ушах. Плачет ли кто, стонет ли, не поймешь. Аламжи попробовал приподняться и не смог: скатившаяся на землю коса ночью примерзла к подтаявшему снегу и не пускала его. Он сильно дернул косу, оторвал от земли ее кончик, прихваченный льдом и вскочил на ноги. Кусочек льда, примерзший к косе, болтался сзади, как бляха.

Жалма варила на костре чай. Увидев, что муж поднялся, она подбежала к нему, хотела снять примерзшую льдинку.

— Не надо,— остановил ее Аламжи.— Обойдусь без косы...

Схватив нож, он одним взмахом отрезал свою косу.

— Что ты наделал?! Такой грех!

— Какой там грех! Косы придумал маньчжурский богдыхан. А он не бог...

Он бросил косу в костер и обнял перепуганную жену. Мокрая коса некоторое время тлела и вдруг вспыхнула, как промасленная веревка. Потом жгут волос распрямился, обвил головешку, в последний раз затрепетал и замер.

Позади раздался смех; Аламжи и Жалма разом оглянулись и увидели Булада, он выглядывал из-под козьей дохи.

— Знаю, зачем ты отрубил косу! Теперь я буду за твои уши держаться.

Мальчик подбежал к отцу. Он любил сидеть у него на коленях и держаться за косу, как за поводья.

— Глупый ты! — Жалма привлекла к себе сына.

Расправа с косой и шутка Булада вернули Аламжи душевное равновесие. Но откуда снова донеслись стоны? Так плачет верблюжонок, у которого погибла мать-верблюдица: печаль, способная вызвать слезы у самого твердого человека. Недаром монголы сложили песню про то, как несчастный верблюжонок оплакивает свою мать, как он жалуется на свое одиночество. Когда человек грустит, непременно запоет он эту песню, от которой, кажется, замирает степь.

Аламжи и Жалма прислушались. Из сумы, подвешенной к перекладине шалаша, слышался детский плач. Жалма поспешила к шалашу.

— Проснулся, мой маленький?

Балбар, которому не исполнилось и двух лет, отвернулся от слепящего солнца, протер глаза и чихнул.

По верхушкам деревьев гулял ветер, раскачивал сосны, словно горная река шумела в их кронах. Привыкший к лесному шуму, мальчик стал смотреть вверх и увидел дятла над шалашом. Дятел стукнул по дереву два-три раза и улетел.

— Должно быть, возчики за лесом приехали, — сказала Жалма, все еще прислушиваясь.

— Я сказал Шаргай-нойону, что не буду больше деревья рубить, — нахмурился Аламжи.

— Ты сказал, а хозяин прислал людей. У них тоже дети, и заработка лишиться никто не хочет... Могут заставить...

— Я расскажу им правду, они поймут меня.

— Эх, Аламжи, зачем искать правду? Люди поумнее нас давно отыскали ее... Покоряться богам да нойонам — вот и вся наша правда.

Глаза ее стали печальными, руки сами собой сложились для молитвы.

— Это правильно, — размышлял Аламжи. — Это я знаю... Ты лучше скажи — разве это справедливо? Всю зиму валил лес, жил в шалаше, а нойон половину заработка удержал.

— Грешно говорить так,— перебила его Жалма.— Рубить лес для дацана — святое дело.

— Сам знаю! Святое... Раз договорились — плати. А я уж сам подумаю, сколько богам пожертвовать...

Аламжи безнадежно махнул рукой и направился к дороге.

«К чему затеяла я этот разговор? — подумала Жалма.— Всю жизнь он работал на чужих людей, везде его обижали, обманывали. Работал до кровавых мозолей, а юрты своей не нажил. И я же попрекаю его...»

Выйдя на дорогу, Аламжи увидел странный обоз из двух огромных телег. В каждую из них было впряжено много волов. Связанные попарно, тянулись они по дороге. Нет, это не возчики, приехавшие за лесом!

Аламжи принялся считать волов. В первую телегу было впряжено двадцать пар, и все — черные, подобранные по росту. Другую телегу везло двадцать пар рыжих волов, все один к одному. «Неужели у них один хозяин?» — подумал Аламжи и пошел навстречу обозу.

Первая телега была совсем близко — большая, окованная железом, о четырех толстых осях, с колесами в рост человека. Около десятка мужчин в запыленных халатах, с бичами в руках, шагали рядом с нею по обочине дороги. И людей, и волов, и телеги окутывал шлейф коричневой пыли, немазанные оси скрипели. На телегах лежало что-то черное и круглое, вроде юрты. Аламжи смотрел на эту необычную поклажу и не мог взять в толк — что это могло быть?

В дальней дороге возчики обычно посасывают трубки, шагают кучно, рассказывают друг другу были и небылицы. А эти шли как на расправу — молчаливые, с опущенными головами.

В первой упряжке вол со сломанным рогом заупрямился и присел на задние ноги. Возчик огрел его длинным бичом. Глаза у вола налились кровью, он затряс головой, рванулся вперед.

Булад подбежал к отцу, дернул его за полу халата и показал пальцем на безрогого вола.

— Эй, хозяин, не видишь разве, у вола шея до крови натерта! — крикнул Аламжи.

— Глянул бы лучше на мои ноги,— недружелюбно ответил тот.— Живого места нет...

Передняя телега остановилась. За ней остановился весь обоз. Возчики стали выпрягать волов.

— Ну и дорога!.. Разве эту махину по таким дорогам возить?

— Боги помогут...

«Что же они все-таки везут?» — недоумевал Аламжи.

Чуть прихрамывая, сердитый возчик подошел ближе. Аламжи осторожно спросил:

— Что у вас там? Юрта не юрта, колокол не колокол...

— Котлы чугунные,— ответил возчик и подолом халата вытер с лица пыль.

— Кому такой большой котел?

— Дацану...

При упоминании о дацане Аламжи помрачнел. Но как человек верующий, он тут же сотворил про себя молитву.

— Вот там, на задней телеге, для Агинского дацана котел везут. А этот для Цугульского. По заказу отлиты...

Возчик потер глаз грязной рукой, поморгал, опять потер и подошел к Жалме. Нарушая обычай¹, он коснулся руки женщины:

— В глаз что-то попало... Посмотри, пожалуйста.

Передав Балбара мужу, Жалма вытащила из кармана безрукавки платочек, вытерла возчику глаз и подняла веко.

Аламжи думал: «Человек будто знакомый... Где я его видел?» Вспомнил: лет шесть назад на большом празднике он боролся с этим человеком. А потом в памяти всплыла густая толпа, протискивающийся сквозь нее здоровяк, полицейский, вмешательство Туван-хамбы и русского генерала... Неужели тот самый?

— Не вытирай лицо подолом,— сказала Жалма и показала возчику извлеченную из глаза соринку.

Завороженный улыбкой Жалмы, возчик смотрел на нее и глупо ухмылялся. Он попытался даже погладить ее блестящие, перекинутые на грудь косы.

— Ты... Желтый Дамба! — вспомнил наконец Аламжи имя бывшего своего противника.— Шара-Дамба!

«Откуда он меня знает, дьявол?»— Шара-Дамба, смутившись, отступил.

¹ Обычай, не разрешающий в степи прикасаться к встречному.

— Забыл, как боролись? — улыбнулся Аламжи.— Здорово ты меня тогда бросил.

— Значит, ты Аламжи? И в дацане зимою тоже ты?.. Я видел тебя там и не признал...

Они заговорили как старые приятели. Возчики один за другим стали подходить к ним: хорош ли скот? здоровы ли сами?

Аламжи отмалчивался: у него никогда не было ни лошади, ни даже козы.

Жалма, по обычаю, присела на корточки в стороне от мужчин.

— Вы слышали, наверное, про Аламжи, дедушка Тагар? — обратился Шара-Дамба к пожилому возчику.— Когда-то мы с ним боролись... А зимой в дацане его арестовал урядник. Потом Туван-хамбо заступился, освободил.— Он хотел еще добавить, что Туван-хамбо очень хитрый человек, но сдержался, не захотел обидеть богобоязненного Тагара.

— Кто не слышал про это? Разговоров на всю степь!

Все приветливо заулыбались, поближе придвинулись к человеку, в один день прославившемуся по всей Агинской степи. Хорошо бы расспросить его, за что был арестован и что говорил ему святой Туван-хамбо, но вряд ли такие вопросы уместны.

Жалма сидела в сторонке. «Нет на свете лучше человека, чем мой Аламжи,— думала она.— Пусть мы живем бедно, пусть нет денег, чтобы купить отделанные серебром рожки, как подобает замужней женщине, не на что купить юрту и даже гунгарбу¹, но я все-таки счастлива с Аламжи».

Старик Тагар пощипывал жиденькую бороденку и думал: «Вот сидит Аламжи, такой же бедный, как все, а уже удостоился милости святого».

— Эй, мальчик, не вздумай закурить возле святого котла! — закричал вдруг маленький толстенный старичок Буладу, который уже взобрался на телегу и с любопытством разглядывал необыкновенную поклажу.

— Наш сын не курит,— с обидой сказала Жалма.— Он смирный мальчик, послушный...

Молодые парни любовались красавицей Жалмой, ее припухшими губами, такими яркими, словно она недав-

¹ Г у н г а р б а — божница.

но поела свежей клюквы. «Ну, скажи еще что-нибудь,— мысленно просили они ее.— Пусть губы твои шевелятся, как лепестки ургуя на ветру, пусть голос твой звенит, как серебряный колокольчик!» Но Жалма больше не произнесла ни слова: нельзя женщине вмешиваться в мужской разговор.

Стараясь не вызвать подозрений Аламжи, юный возчик Дамдин встал позади старика Тагара и уставился на Жалму. Он машинально крутил завязки своей шапки. Жалма, ни на кого не глядя, сидела с опущенной головой.

Чтобы поддержать разговор, Аламжи сказал:

— В таком котле можно сварить и быка и лошадь.

— В нем и будут варить целые туши. А посмотрел бы ты на котел, который везут в Агинский дацан! В него, пожалуй, десяток быков зараз войдет.

— Разве Агинский дацан больше Цугульского?

— Нет, в том и другом по пятьсот послушников. Но богомольцев в Агинском дацане с каждым годом больше.

Больше ста лет прошло с тех пор, как на берегу Онона был построен Цугульский дацан. А дацану на берегу Аги только семьдесят лет. Они давно соперничают. Агинские ламы читают священные книги, как в Тибете: с придыханием, басом, а Цугульские — как в Халха-Монголии: протяжно, неторопливо. Во всем они стараются перещеголять друг друга. А теперь Агинский дацан заказал котел намного вместительней.

— Чей же скот будут варить в таких больших котлах? — спросил Аламжи.

— Наш скот,— усмехнулся Шара-Дамба.— Чей-то единственный баран — и тот сюда попадет...

Видя, что разговор принимает неподобающий оборот, старик Тагар встал. Следом за ним поднялся и маленький толстенный старичок: верующим людям непристойно слушать нечестивые слова безбожника Шара-Дамбы.

— Не только скотина, но и мы с тобой можем попасть в этот котел,— продолжал шутить Шара-Дамба.

Возчики засмеялись, а Тагар и толстенный старичок зашагали к телеге.

— Ты же сам говоришь: всю зиму творил святое дело, заготавливал лес для дацана,— не унимался Шара-Дамба.— Святое дело за полцены... Не миновать тебе котла!

— Зачем говоришь такие грешные слова? — не на шутку испугался Аламжи.

— А куда мы с тобой денемся? Работали больше вон тех волов, а не нажили ни коня, ни юрты! — плюнул Шара-Дамба и сунул в рот трубку не тем концом. Возчики засмеялись. — Обо мне один приятель сказал, что в котел я непременно попаду. Ну, а ты чем лучше? Между прочим, тот человек тебя знает.

— Что за человек?

— Тот самый, что спас твоего сынишку. Он отвязал вожжи, когда тебя Туван-хамбо помиловал.

— Горбатый? — оживилась Жалма. — С палкой ходит?..

— Он самый, — подтвердил Шара-Дамба. — Наказывал кланяться, если встречу.

— Где ты видел его?

— В Балигта, среди мастеровых... Хороший человек, ума на десятерых лам хватит.

— Кто он такой, откуда?

— Зовут его Галсаном, он из того улуса, где живет брат Намдака Лонхо. Люди изуродовали его тело, но не смогли изуродовать его душу. Много лет уже он ходит по деревням и улусам, работает поденно у богачей, набирается ума-разума у людей и сам кое-чему учит.

— Он улигершин? ¹ — спросила Жалма.

— Можно и так, — согласился Шара-Дамба. — Но его улигеры не о старине, а о наших днях. Вот этот Галсан и предупредил меня: не будь дураком, не попади в дацанский котел.

Аламжи слушал Шара-Дамбу и чувствовал, что в его словах кроется какой-то другой, более глубокий смысл, правда, которая и притягивала, и пугала. В чем эта правда?

Помнится, он разговаривал с каторжанином, и тот сказал: «Настанет время, не будет ни бедных, ни богатых, ни верующих, ни попов, ни лам». Но куда они исчезнут? Куда денутся богач Намдак и бедняк Аламжи? И неужели все будут безбожниками, как Шара-Дамба?

Шара-Дамба заметил: на правой руке Аламжи не хватает пальца. Он дотронулся до этой руки. Аламжи вдруг обхватил ладонь Шара-Дамбы своими четырьмя пальцами и крепко сжал.

— Ой, пусти, дьявол!

¹ У л и г е р ш и н — сказитель улигеров, эпических сказаний.

Возчики открыли рты: Шара-Дамба выступал на сурхарбанах¹, считался силачом, а тут не может справиться...

— Вам надо бороться! — наперебой заговорили парни, поближе придвигаясь к Аламжи.

Шара-Дамба подул на свою ладонь. Мизинец его, казалось, прилип к большому пальцу.

— Силища! Никогда бы не подумал... Непременно должен бороться. Скоро большой праздник, Далай-ламе пятнадцать лет исполняется. Победителю — триста рублей.

Аламжи верил и не верил.

— Большую новость вы привезли!

— Новость, что и говорить! Силачи съедутся отовсюду. Тебе надо готовиться, есть побольше мяса и супа...

— Где будет праздник? — спросила Жалма.

— У священной горы Хан-Ула, — тут как тут оказался Дамдин.

Как хорошо, если бы она еще о чем-нибудь спросила, а он, Дамдин, сейчас же ей ответил бы. Но Жалма больше ни о чем не спросила. Она думала о том, как будет хорошо, если Аламжи всех победит. Зачем триста рублей — можно и меньше... Они купят себе юрту, корову, дети каждый день станут пить молоко...

Шара-Дамба и Аламжи, стоя в сторонке, продолжали разговор.

— Намдак ругает тебя, — говорил Шара-Дамба. — Говорит, что дал тебе новую юрту и ты будто бы должен был заплатить за нее через пять лет. А ты, вместо благодарности...

— Врет он все! За юрту я расплатился полностью, но за пять лет от нее клочья остались — столько раз приходилось мне ее перевозить, каждую неделю перегонял табун на свежие травы. Тут и железная изнасилась бы... Вот я и снова остался без жилья.

Булад подошел к отцу, покрутился возле него, но Аламжи сказал хмуро:

— Не мешай нам. Иди к маме.

Шара-Дамба оглянулся по сторонам и стал говорить тихо:

— Галсану письмо читали от того, русского. Жив он... Если, говорит, моему спасителю какая опасность грозит,

¹ С у р х а р б а н — народный праздник, во время которого устраиваются состязания сильнейших борцов, стрелков из лука, скачки.

пусть в Балигта перебирается, среди мастеровых легче, там никто не выдаст его. И работу найти можно...

— О себе пишет что-нибудь?

— Мало пишет. А о России много написал. Тучи, говорит, собираются, скоро разразится сарма¹. А потом наступит ясная погода, все станут братьями...

Аламжи улыбнулся: знакомые речи!

Шара-Дамба протянул ему руку:

— До свидания. Желаю удачи.

— Спасибо!

Обоз собирался дальше.

ТЕНИ ПРОШЛОГО

С восходом солнца на лесной поляне закурился дымок — это Жалма, как всегда, поднялась спозаранку приготовить еду.

На росистой траве были отчетливо видны следы. Что за зверь приходил сюда ночью? Жалма увидела обглоданные кости, клочья шерсти, кожу косули и догадалась: здесь побывала оценившаяся волчица. След ее вел в чащобу, где таился холодный сумрак.

«Степь родимая, колыбель моя! Как истосковалось по тебе сердце!»

Заяц большими прыжками пересек поляну. Еще недавно были зайцы белыми-белыми, а с наступлением весны совсем потемнели — укрываются от врагов. Черепаха прячется под броней, ни один зверь не может схватить ежа, не уколовшись об острые иглы. А чем защищает себя человек? У Аламжи, к примеру, нет ничего, кроме рук. Все-таки он решил попытать счастья, пойти к подножию Хан-Улы за призом Далай-ламы. Хорошо, если боги помогут ему...

Нарастал шум — это сосны шумели. Солнце уже показалось над их вершинами. После зимы все пробуждалось. Багульник раскрыл сиреневые цветы. Листья березы, еще вчера такие маленькие, теперь уже тянулись к солнцу, осина вырядилась, будто на праздник. Слышен был далекий голос кукушки, стрекотание кузнечиков, восторгался утром соловей. Его страстные трели то улетали далеко-далеко, то рассыпались совсем близко.

¹ С а р м а — название штормового ветра на Байкале.

Девочкой Жалма мечтала вышить соловушку на голубом шелке. Но сейчас у нее нет даже тряпки, чтобы наложить заплатку на рваные рубашонки сыновей. В сердце Жалмы, словно ужаленном белой и черной змеей, вспыхивала то радость, то печаль. И все же хорошо жить! На земле посеяно много хорошего, и придут времена, когда она сможет вышить на шелковом полотне все, что захочет.

Аламжи, раздвигая кустарник, пробирался сквозь чащу. Булад едва поспевал за ним.

— Где это вы пропадали? — Жалма подошла к очагу, загремела горшками и чашками.

— Эхэ! Мы слушали, как соловей поет!

Аламжи молча сел на свое место у очага. Жалма подала ему чашку костного бульона и тэбшэ¹, на которой лежало сердце косули.

— А мне! Эхэ, дай мне!

— А теперь вот и до тебя дошла очередь, — Жалма положила сыну в тарелку почки. — Хорошо так?

Аламжи задумался о предстоящей борьбе. После того как он отказался рубить лес для дацана, прошло уже больше месяца. Деньги истрачены, надеяться больше не на что. Правда, он мог легко подстрелить из кремневки косулю, но у них давно уже не было крупы, кончилась и поджаренная мука для чая, на исходе порох, свинец. Конечно, можно пока обойтись и без муки, пробавляться мясом, так живет не одна семья... А дальше?

Чтобы хорошо подготовиться к борьбе, надо утром и вечером пить костный бульон. Раньше Аламжи не придерживался этого тибетского обычая. Но он ведь и не участвовал никогда в таких крупных состязаниях. Если хочешь победить, нужно строго выполнять все правила.

Размышляя, Аламжи изредка поглядывал на жену. Губы Жалмы приоткрылись: видно, хочет о чем-то спросить, но сдерживается. Конечно, так оно и есть, иначе зачем ей так долго теревить кончики своих кос? Но Жалма только потрянула головой, словно отгоняя назойливую мысль, и стала пить бульон. Сердце Аламжи встрепенулось, когда он увидел над краем чашечки ее отставленный

¹ Т э б ш э — деревянная тарелка.

в сторону, полусогнутый мизинец. Так делала она всегда, когда брала в руки лимбу¹.

Летающая птица парить начинает,
Чтоб лучше ее разглядеть,
Быстроногий олень укрощает свой бег,
Чтобы песней ее насладиться².

Аламжи снял халат, бросил его сыну и направился к лиственничному бревну. Каждое утро и вечер он поднимал его за комель, пробуя силу.

Жалма скользнула взглядом по знакомым красным рубцам на спине Аламжи и перевела глаза на плетеную сеть, подвешенную к деревьям. На этой сети он спал, как и положено всякому борцу-монголу накануне состязаний. Живя в лесу, Аламжи не мог сплести себе настоящую монгольскую сеть из кожаных веревок. Он нарубил березок, очистил их от ветвей и сделал нечто похожее на плетень. Спал он на этом плетне голый, накрывшись козьей дохой, и на теле у него по утрам краснели рубцы. Аламжи подмигнул Буладу, мальчик обрадовался: «Какой у меня хороший и сильный отец!» Аламжи наклонился и обхватил толстый конец бревна. На миг он задержал дыхание, натужился и оторвал бревно от земли. Жалма радовалась за мужа: еще недавно он только-только отрывал бревно от земли, а сегодня — уже выше пояса...

Но что-то вдруг случилось. Мускулы Аламжи разом обмякли, руки разжались, бревно со стоном упало на землю. Выставив вперед руки, словно слепой, Аламжи дрожал всем телом. Казалось, он рухнет сейчас на землю, как только что рухнуло бревно. Глаза Аламжи потухли, спина согнулась, он качнулся как пьяный. Еще не понимая, что с ним произошло, Аламжи сделал несколько неуверенных шагов.

Жалма сорвалась с места:

— Что с тобой?

Аламжи хотел успокоить ее, но не мог произнести ни слова. Он хотел ободрить ее, улыбнуться...

Переваливаясь с ноги на ногу, словно раненый медведь, шел Аламжи к ружью. Он хотел сесть, переждать, пока утихнет боль, но не устоял и тяжело опустился на

¹ Л и м б а — музыкальный инструмент, род свирели.

² Перевод Н. Рыбко.

колени, будто собирался молиться. Голова его поникла, руки, протянутые вперед, хватали воздух. Жалма, подбежав, присела, рукой обвила его шею и положила голову к себе на колени.

Журчал ручей, чуть слышно шелестела молодая листва на березке, вздрагивала от беззвучных рыданий Жалма.

* * *

За семь лет до этого происшествия Наван-Чингиз сидел в тени юрты и смотрел на бездыханное тело своей жены. Тут же, уронив голову на грудь, стоял его семнадцатилетний сын Аламжи.

— Трудно будет нам без нее, сынок! Ушла она от нас, не увидев ни одного счастливого дня. Может, теперь ей лучше будет? Говорят же ламы...

Два года проболела жена. Привязанный к ее постели, Наван-Чингиз уже не мог, как прежде, ходить с караванами в Китай. А бывало, русские купцы, зная силу и неподкупность Наван-Чингиза, охотно нанимали его старшим в караване. Потоки грузов в Россию и в страны Европы шли из Китая через Кяхту, и он, Наван-Чингиз, вместе с другими много раз ходил от Калгана до Урги по бескрайней пустыне Гоби, где за глоток воды люди убивали друг друга, где могли выжить лишь верблюды да очень крепкие люди. Луна до сих пор, наверное, помнит груженных кладью верблюдов, их рев и эхо черных перевалов между Ургой и Кяхтой.

Старый караванщик любил рассказывать сыну, как лет двадцать назад за большие деньги русских купцов был проложен Удунгинский тракт. Наван-Чингиз и по новому тракту водил караваны, перегоняя скот, часто ночевал под зимними звездами. Знал он и Тункинский тракт, что еще раньше был проложен от озера Косогол на Монды, Кырен и Тунку. Это он, Наван-Чингиз, вместе с сородичами-бедняками перегонял по этому тракту монгольский скот, купленный русскими купцами. До сорока тысяч быков и баранов успевали перегнать они за короткое сибирское лето. Надо было следить, чтобы скотина в пути не теряла вес, чтобы глупые бараны не срывались с горных круч. Только буряты, исконные скотоводы, могли справиться с таким трудным делом.

У многих купцов — русских, монгольских и китайских — служил Наван-Чингиз, но ни разу не встречал он честного хозяина. Все обманывали караванщиков: одни спаивали, другие обсчитывали, третьи подсовывали негодные товары. И все угрожали расчетом.

Чтобы похоронить жену, Наван-Чингиз залез в долги. Больше всего он задолжал богачу Шаралдаю. Что же делать? Подавленный горем, бродил он по улусам, угощался мясом, пил хмельную араку, которая водилась почти в каждой юрте. Да и как не угостить такого уважаемого человека, как Наван-Чингиз? Ведь он был первейшим силачом, он мог интересно рассказать о Китае, о Монголии и обо всем на свете.

Хозяйство Наван-Чингиза тем временем пришло в упадок. Шаралдай то и дело наведывался к бывшему караванщику, требовал уплаты долга. Наван-Чингиз только отмалчивался и пил пуще прежнего.

Но даже в пьяном угаре не мог он забыть о невозвратимой утрате. Он любил свою умную жену, никогда не обижал ее, а та платила ему преданностью. Она выделяла шкуры, шила из них такие шубы и рукавицы, что Наван-Чингиз никогда не мерз ни в Тункинских альпах, ни на перевалах, ведущих в Ургу и Калган. Когда, измученный и усталый, он приезжал в родную юрту, она поила его крепким и вкусным чаем, и силы тотчас к нему возвращались. Ласковые глаза жены зажигали в его сердце огонь... Кто же теперь согреет его, приголубит? Ветер проникал сквозь его одежду, от холодной сыворотки разбирал озноб. В сердце погас огонь...

Наван-Чингиз допоздна засиживался с любителями крепкой араки. А когда приходил в свою юрту, часто замечал, что постель Аламжи пуста. Проснувшись поутру от головной боли, он видел иногда, как сын возвращается от двора Шаралдая. Он мечтал уже о том времени, когда в юрте появится сноха и станет по утрам разжигать огонь в очаге. Дочь Шаралдая хоть и немолода, пережила двоих мужей, но здоровая и притом богата.

Однажды, когда Аламжи вместе с другими погонщиками ушел в Монголию за скотом, Наван-Чингиз сидел в юрте, уставившись в холодный очаг и размышляя о будущем своего сына. Снаружи слышался цокот копыт. Он глянул в дырочку, сделанную в войлоке, и увидел Шаралдая. Тот треножил коня.

«Опять за долгами приехал», — Наван-Чингиз схватился за сердце.

— А-а! Дома? Вот хорошо! — тонко пропел Шаралдай и присел у порога.

Он был в праздничном халате, в шапке, отороченной собольим мехом, подпоясан шелковым кушаком.

— Ой-е! Не садись на пыль! — Наван-Чингиз проворно подал именитому гостю потник из-под седла. Ничего другого не было: после смерти жены он пропил даже войлоки.

— Не беспокойся, пожалуйста! — ласково проговорил Шаралдай. Это было похоже на ворону, зашевшую посоловьиному. Ведь входя в любую юрту, Шаралдай забывал все слова, кроме «плати долг», «приведи корову», «отдавай лошадь». Наван-Чингиз насторожился.

— Что же ты молчишь, хозяин? — продолжал Шаралдай. — Иди сюда, садись рядом!

Наван-Чингиз нерешительно подошел к гостю. Несмотря на медвежью силу, он всегда терялся перед богачами. Он предпочитал молчать даже тогда, когда видел, что его обманывают: неудобно, ему казалось, открыто сказать подлецу, что он подлец.

— Садись, садись! — Шаралдай потянул Наван-Чингиза за рукав. — Мы же с тобой хорошие соседи.. Ты догадался, наверное, по какому делу я пришел?

— Да... То есть я хотел сказать, что не знаю...

— Ха-ха-ха. Кажется, скоро мы с тобой рассчитаемся.

— Ничего не понимаю, голова трещит... — Наван-Чингиз наморщил лоб, вздохнул и провел рукой по лицу.

— Э, брат, не крути... Ты должен знать! — Шаралдай положил свою ладонь на руку Наван-Чингиза, погладил ее. — Боги пожелали изменить твою судьбу.

Наван-Чингиз молчал.

— Ну и хитрый ты! — В горле Шаралдая захрипело и забулькало: так смеялся этот владелец табунов, стад и отар. — Все раздумываешь? Не догадался? Эх, дуралей! Да мы же с тобой должны породниться...

Наван-Чингиз подскочил на месте...

— Что, не рад?

— Как же... очень рад.

— Ну и хорошо! Теперь спокойно можешь думать, как избавиться от долгов и вшей... Твоя юрта не сегодня-завтра развалится. Куда ты пойдешь? А я помогу!

«Чему быть, того, видно, не миновать,— подумал Наван-Чингиз.— Ты покупаешь мужа своей дочке-старухе. Пусть так будет. Судьба...»

— Долгов с тебя я взыскивать не стану, все равно работать у меня придется. Можешь не тревожиться, голодать не будем.

«Наверное, Аламжи сам договорился с ним, а то и с его дочкой... Ну да, он же бегал к ней по ночам. Он тоже захотел избавиться от бедности. Тем лучше. Но мог ведь он сказать мне об этом!»

Шаралдай вышел из юрты, потом вернулся с кожаной сумкой в руках и потряс ею:

— Будем жить весело! Неси чашки, хозяин! Хорошо у тебя, Наван-Чингиз, даже пить хочется:

Скачет, скачет бегунец мой по степи,
Знает, что к Долгор я тороплюсь...
Горы синие бегут навстречу мне —
Посмотреть хотят на новый мой дэгэл¹.

Шаралдай взглянул сначала на отроги Саян, затем на свой халат, точно сравнивая их. Цвет халата действительно походил на подернутые дымкой хребты.

— Ха-р-роший ты человек! Плохо ли тебе, худо ли, всегда ходишь с поднятой головой. Я люблю таких! — Шаралдай зажал между ног извлеченный из сумки туесок и налил араку в чашки.

— Пусть счастливо живут наши дети!

— Будем здоровы!

По бурятскому обычаю они обменялись чашками... Шаралдай отпил только глоток.

— Кто бы мог подумать? — откровенничал он. — Жена заметила Аламжи, когда он уходил от нас на рассвете... Разве ты не замечал?

— Замечал... Он часто не ночует дома.

— Вот, вот! А потом я сам видел: зашел Аламжи за юргу, в которой дочь живет, и кушак завязывает... Что будешь делать? Мы сами были молодыми. Ха-ха-ха!

— С Аламжи говорить будем?

— Зачем говорить? Он сам, без нас, нашел дорогу! А дочери мужа надо... Ее тоже не спросим.

Они выпили еще по чашке. Порозовевший Наван-Чин-

¹ Дэгэл — верхняя одежда, халат. (Перевод Н. Рыбко.)

гиз уже видел себя состоятельным хозяином, владельцем лошадей, коров, верблюдов, овец...

— Любовь, любовь! — продолжал разглагольствовать Шаралдай. — Разве ты не испытал ее? — Он опять потянулся к туеску.

Их первая встреча не была последней. Пристегнув туесок араки к седлу, Шаралдай снова и снова появлялся у юрты Наван-Чингиза. Вскоре самого бедного и самого богатого стали называть сватами. Шаралдай каждый раз говорил, что пора бы назначить день свадьбы. Не может он бесконечно ездить и пить араку. У него хозяйство, его скот не помещается в загонах, на путях перегона монгольских яков и баранов он сдает внаем больше сотни лошадей. Двести его верблюдов каждую зиму ходят в караванах до Урги. У него пять тысяч овец, да приплода каждую весну приносят они по несколько тысяч. Нужны верные помощники, которые днем и ночью могли бы скакать по степям, от табуна к табуно, от одной отары к другой. Таких помощников и бесплатных слуг он уже видел в Наван-Чингизе и его сыне.

Скоро вернулся Аламжи. Он сдал приказчикам пригнанный из Монголии скот и, не задерживаясь, поскакал к родным кочевьям. Заработанные пять рублей он привез отцу.

— Невелики деньги, но все же часть долгов уплатим.

— Твоя правда, сынок. Деньги нужны нам. Не будешь же ты всю жизнь одиноким... Жениться пора...

Аламжи, видно, хотел что-то сказать, но сдержался.

— Я уже стар. Должен и у нас быть в юрте человек, чтобы по утрам разводить в очаге огонь. Мы не можем разъезжать по степи, искать невесту. Надо в своем улусе найти подходящую девушку...

— Твои слова по душе мне, отец! Я уже выбрал подругу. Я люблю ее. Если ты позволишь, я возьму у богача Шаралдая...

— Как хорошо, что мы думаем об одном и том же, сынок!

— Значит, ты согласен?

— А чего там! Ноги твои давно уже достают до стремена, а руки — до седла... Вот ты как вырос! — Наван-Чингиз привлек к себе сына, погладил по волосам. — Шаралдай уже несколько раз приезжал, торопит...

Аламжи насторожился: при чем тут Шаралдай? Почему он торопит? Только теперь заметил он на бедре отца шелковые кисти нового кушака.

— Откуда у тебя этот кушак?

— Ты что, забыл обычай? Мы обменялись с почтенным Шаралдаем!

— Так ты решил породниться с этим негодяем? Ты сосватал меня за эту старуху, за его глупую дочь?

— Да ведь мы и говорили об этом? Не собираешься ли ты опозорить мои седины?

— Я не о дочери Шаралдая говорил.

— Так о ком же, дьявол тебя возьми! Думаешь, Шаралдай ничего не знает? Все люди судачат об этом... Он не простит тебе!..

— Я не гулял с дочерью Шаралдая.

— А с кем ты гулял, с кем? Может, с его женой?

— С Жалмой.

— С телятницей Шаралдая? — опешил Наван-Чингиз. — Ты не допустишь, чтобы под конец жизни отец твой стал посмешищем. Мы уже обо всем договорились с почтенным Шаралдаем. Или ты забыл обычай дедов? Ты же не собака, не червь, вышедший из земли! Или ты хочешь поставить меня на колени перед Шаралдаем? Хочешь, чтобы я покинул родной улус, питался обглоданными костями?

Аламжи было до слез жаль отца. Но еще больше жалел он Жалму, девушку-сироту. И он упал перед изображением Бодисатвы¹.

— О святой учитель! Боги запрещают преступать повеление отца. Но и сироту не могу я обмануть! За них обоих я молюсь.

Аламжи коснулся лбом изображения божества.

— Сделаю, как повелевает наша вера...

Аламжи молитвенно сложил ладони, поклонился, взял бутылку с маслом для светильника и встал.

— Какой упрямый, — простонал Наван-Чингиз. — О святой учитель, помоги мне! По-мо-ги! — И он ничком лег на землю.

¹ Б о д и с а т в а — божество, карающее человека, который ослушался своих родителей. Во избежание кары ослушник должен возжечь перед изображением Бодисатвы светильник от собственного пальца. Иначе он попадет в ад.

Аламжи поставил бутылку с маслом в горячую золу, взял чашку из-под творога и стал замешивать в ней тесто. Наван-Чингиз чуть-чуть приподнялся, взглянул на латунного бурхана, стоящего в божнице, на изображение Бодисатвы, вышитое на шелку, и снова сотворил молитву. Он понял, что уже ничто не остановит сына.

Аламжи обернул тряпочкой средний палец правой руки, надел на него чашечку из теста, налил в нее масла и поднес к огню. Тесто и тряпочка, смоченные маслом, вспыхнули. Тотчас же Аламжи почувствовал в пальце — нет, во всей руке, во всем теле! — нестерпимую боль. Ему хотелось закричать, отдернуть от огня руку и погасить пылающее пламя на пальце. Но тут он вспомнил лицо сиротки Жалмы, живущей в телятнике Шаралдая, и сдержал себя.

Пламя разгоралось. Юноша стиснул зубы и бросил взгляд на распростертое тело отца: «Смотри! Я выдержал, я возжег светильник!» Но у Наван-Чингиза не было сил поднять головы.

Боль усиливалась. Лицо Аламжи покрылось крупными каплями пота. Вместо молитвы ему хотелось кричать: «Жалма! Жалмахэн!» Пламя на конце пальца стало круглым. Казалось, оно вращается и ввинчивается в тело. Аламжи уже не мог смотреть ни на богов, ни на отца, он глядел только на этот бешено крутящийся огонь. Голова его качалась, лицо покрылось темными пятнами. Теряя сознание, он упал лицом вперед, ударился лбом о божницу, отчего статуя Будды дрогнула.

Надвигался вечер, а два человека — один у порога юрты, другой у очага — по-прежнему лежали. Они сделали все, что требовали от них обычаи предков, предписания желтой веры.

Аламжи прижимал обожженную руку к лицу. Изредка он протяжно стонал и скрипел зубами. Но прошло немного времени, и дыхание его выровнялось, глубокий обморок перешел в спасительный сон... Он проснулся только перед рассветом. Повернувшись, он задел больной рукой божницу и застонал. Слабое пламя светильника по-прежнему тускло освещало бронзового бурхана. Аламжи стало страшно. Отца в юрте не было. Собравшись с силами, Аламжи вышел.

На дворе стояла темень. Крикнула сонная птица, где-то тявкнула собачонка — и снова тишина. Вдруг от

стоянки Шаралдая слышались какие-то приглушенные звуки. Они не походили ни на мычание коров, ни на рев верблюдов. То было совсем другое...

Не чувствуя под собой ног, Аламжи побежал в ту сторону, к телятнику, где ночует Жалма. Неужели это ее голос?.. Почему он доносится из колодца?

— Ал-аам...

Через несколько мгновений:

— А-аг, о-ог! — и все стихло.

Аламжи бросился к колодцу. Луна из-за туч осветила стоящего перед ним отца.

— Стой, дьявол!

Из колодца, из тьмы, доносился слабый плеск воды. Наван-Чингиз схватил сына за шею, отбросил его от колодца.

— Не подходи, убью!

— Ее утопил и меня убьешь?

Аламжи не помнит, как у него в руках оказался листовичный брус от колодезного сруба. Когда отец снова бросился на него, брус мелькнул в воздухе, отец вскинул для защиты руки, потом сделал два-три шага назад, покачнулся и ничком упал на землю. В ужасе Аламжи отпрянул. Отец лежал не шевелясь, вокруг головы разлилось черное кровавое пятно. Сын перешагнул через тело отца и подскочил к колодцу. Луна исчезла за тучами, как бы скрывая преступление... В колодце все еще плескалась вода.

* * *

Река Зун-Мурэн покрылась морщинами: с Байкала подул ветерок.

Аламжи потянулся к веслам, но не в силах сдержать боль в руке, положил голову на колени Жалмы. Лодка кружила в водовороте. Светало, уже стала видна снежная, будто срезанная острой саблей вершина Хоймора.

Что же теперь делать, куда деваться? В родной улус дорога им была заказана навсегда. Сородичи свяжут их, как страшных преступников, и поведут на расправу... Лодка вдруг перестала вертеться на месте, дрогнула и поплыла вниз по течению. Аламжи и Жалма обнялись и заплакали.

...Лишившись крова, не смея попадаться на глаза людям, они брели по тайге все дальше на север. Только

дойдя до Байкала, они решились заходить в редкие улусы. Когда молодожены добрались до Баргузина, одежда их превратилась в лохмотья. На груди Аламжи хранил бронзовый медальон с изображением бога, надеясь, что бог все-таки вспомнит о нем. Сожженный палец невыносимо болел, не давал спать по ночам. Где же могущественный Бодисатва, почему не отзывается на молитвы?

Пристав в Баргузине к обозу скупщика пушнины, Аламжи и Жалма, после многих дней тяжелого пути через степи и тайгу, через реки и горные перевалы, добрались наконец до тунгусского стойбища и решили здесь отдохнуть. Они легко сдружились с таежниками, которые зимой и летом жили в берестяных чумах и добывали себе пропитание охотой. Мужественные и выносливые тунгусы хорошо относились к Аламжи и его застенчивой жене. Простодушные и бескорыстные, они научили Аламжи меткой стрельбе, подарили ружье, стали брать его с собой на охоту. Теперь и он, подобно тунгусам, мог второй стрелой расщепить первую, а маленькой дробинкой попасть белке в глаз. Он ел оленье мясо, медвежатину, имел деньги на чай, а к осени справил себе и жене меховую одежду и обувь. Как таежник, Аламжи носился на лыжах по лесу, не отставая от друзей тунгусов, не уступал им ни в силе, ни в меткости. И все же степи звали его к себе.

Звали они и Жалму. Когда буран валил сосны, она вздрагивала под меховым одеялом, прижималась к мужу и шептала:

— Уедем отсюда. Есть же где-нибудь степь!

К весне, захватив с собой жену, Аламжи отправился с охотниками в Читу, чтобы сбыть пушнину. Там он встретил агинских бурят, расспросил их о житье-бытье. Оказалось, в Агинских степях постоянно нужны батраки. Аламжи и Жалма не стали долго раздумывать.

С тех пор прошло семь лет.

НЕЖДАНЫЕ ГОСТИ

Аламжи расстегнул рубаху, снял с шеи медальон, повесил его перед собой на дерево и сложил ладони. Жалма и Булад последовали его примеру.

На сей раз боги не остались глухи: Аламжи стал быстро поправляться и скоро совсем поправился.

...Однажды лежал он в шалаше после охоты, Жалма резала мясо добытой им косули, а Булад вертелся около. И тут на дороге показалась голова коня, а вскоре и сам всадник, раздвигающий руками нависшие ветви берез. Жалма узнала Намдака. Чувствуя беду, она поднялась на ноги.

Вслед за Намдаком показалась пара запряженных в телегу коней. Низко опустив головы и тяжело переставляя ноги, они тащили повозку, увязающую в рыхлой земле. На телеге сидел тучный лама.

— Здоровы ли? — спросил он.

— Здоровы ли сами, ламбагай? ¹ — ответила Жалма, подобострастно прижимая руки к груди.

— Хозяин дома?

— Дома.

— Что же он не встречает гостей?

Накинув на плечи халат, Аламжи вышел из шалаша.

— Здоровы ли, дорогие гости? Прошу проходить...

— Ведешь себя, как тангутский вельможа, — процедил лама и легко спрыгнул с телеги.

«Туша пудов на семь, а ловок! — удивился Аламжи. — Это Бухэ-лама...» Аламжи никогда и не встречался с Бухэ-ламой, но слышал о нем.

Мужчины поздоровались. Жалма расстелила около шалаша войлок, пригласила гостей садиться, а сама пошла к очагу. Бухэ-лама огляделся. От его взгляда не ускользнули ни плетенная из березовых прутьев сетка, ни черный камень, ни листовенница шагах в двадцати от шалаша. Осматриваясь, он не слушал болтовню Намдака.

В Агинской степи Бухэ-лама слыл силачом. Кто сильнее — Бухэ-лама или Аламжи? Эта загадка не давала покоя Намдаку. На предстоящих состязаниях он решил держать пари и не хотел ошибиться. Поэтому-то и привез он ламу-силача к Аламжи.

Ламы становятся знатыми благодаря званиям: хамбо, гэлэн, гэсэл, банди. Бухэ-лама не имел никаких званий и не стремился к ним. Он не служил в дацане, был бродячим ламой, хотя и не из тех, что шляются по юртам, выпрашивая на пропитание. Бухэ-лама славился силой и не однажды выходил победителем в схватках. Его приглашали в Лхасу и Ургу, в знаменитые дацаны многих

¹ Л а м б а г а й — почтительное обращение к ламе.

стран и даже в Пекин. Услышав о необыкновенном призе Далай-ламы, он появился на своей родине — в Аге.

— Праздник близится, — твердил Намдак. — Пора подумать, как бы не упустить первое место, не отдать приз борцам из чужих краев. Я горой за своих, за сородичей-бурят... Может, вам сейчас попробовать силы? Как я рад, что на земле нашей есть такие молодцы!

— Ты, я вижу, неплохо готовишься, — не обращая внимания на слова Намдака, повернулся к Аламжи Бухэ-лама.

Трудно было понять, искренне ли он говорит. Только самые близкие знали, что если глаза у Бухэ-ламы становятся узкими, значит, он радуется, а если появляются две круглые дырочки, словно кто-то проткнул пальцем хлеб, — значит, он сердится. Сейчас его глаза были широко открыты. Он не скрывал своего интереса к Аламжи, внимательно разглядывал его руки, плечи, ноги и шею. Обычно словоохотливый, он сидел теперь в задумчивости. Он чувствовал, что единственным серьезным противником у него будет этот молодой парень. Он и хотел и боялся помериться с ним силой.

Намдак будто прочел его мысли.

— Поборитесь сейчас, узнайте приемы друг друга, — сказал он. — Чтобы не осрамиться потом... У людей Аги вся надежда на вас...

— В самом деле, не попробовать ли? — подымаясь, тряхнул головой Бухэ-лама.

«Отказаться? — Подумал Аламжи. — Никак нельзя! Сказать, что, поднимая бревно, повредил себе спину, — значит опозориться... Э, была не была...» — И он встал.

Бухэ-лама надел плисовые трусы и обвязал себя поясом. Аламжи снял рубашку, засучил выше колен штаны и тоже обвязал себя веревкой...

Жалма боялась за мужа. Зато Намдак и маленький Булад, каждый по своему, радовались: Намдак, собираясь держать пари, хотел точно знать, кто из этих двух борцов сильнее, а Булад сгорал от нетерпения поскорее увидеть, как отец бросит на землю такого толстого и смешного ламу.

— Однако рыхлая здесь земля! — проговорил Бухэ-лама, грузно шагая по расползающемуся дерну.

Следя за Бухэ-ламой, Жалма шепнула мужу:

— Береги себя! — И отошла к очагу.

Аламжи прямо пошел на противника. Он ухватил его голову, но Бухэ-лама присел, сделал рывок на себя и освободился. Они начали ходить друг против друга, то сгибаясь, то внезапно разгибаясь. Бухэ-лама уже несколько раз хватал противника за кисть, но Аламжи вырывался.

Намдак сидел как на стеклянных осколках. Один его глаз нацелился на борцов и стал круглым, как у филина, а другой косил в сторону. Он всем телом подался вперед, косичка на макушке его вздрагивала. Намдак вытянул шею, и кадык его стал быстро ходить вверх-вниз. Булад глядел то на борцов, то на этот смешной кадык.

Через несколько минут Бухэ-лама подпрыгнул, боднул Аламжи в грудь и дал подножку. Опасаясь за больную спину, Аламжи медленно осел на землю. Жалма и Булад ватаили дыхание. Кадык у Намдака поднялся вверх.

Не касаясь руками земли ¹, Аламжи быстро вскочил и ринулся на Бухэ-ламу. Тот увернулся, и борцы снова закружились на полянке. Но вот Аламжи схватил противника поперек тела, легко оторвал от земли и бросил себе на бедро. Однако хитрый Бухэ-лама ослабил мышцы и присел.

Состязание кончилось вничью. Жалма наполнила тэбшэ мясом, разлила в чашки бульон. Все были довольны ничейным исходом, один только Намдак сидел с озабоченным лицом: «Кто же все-таки сильнее?» На скачках он безошибочно определял лучшего коня и ставил на него. Намдак имел особый нюх на резвого коня. Борцов он тоже узнавал, на одном только Бухэ-ламе в свое время он выиграл немало. Но как раскусить хитреца Аламжи, если он не хочет показать свою силу?..

— Какой бульон!— восхищался Бухэ-лама, протягивая Жалме свою чашку.

Довольная похвалой, Жалма налила ему еще. Но когда ненасытный лама протянул чашку в пятый раз, она не на шутку перепугалась: вдруг бульона не хватит? Прожорливый гость вынул из мешка нож в серебряных ножнах, две костяные палочки и принялся за мясо. Голова его покрылась испариной. Рассказывали, что Бухэ-лама мог съесть в один прием половину барана. Много лет разъез-

¹ По правилам монгольской борьбы касание рукой земли означает поражение.

жал Бухэ-лама по праздникам и нигде не платил ни единой монеты за еду. Гостил он у богатых скотоводов, потому что знал — бедняк не в силах его накормить. Но зато с каким упорством защищал он честь своих сородичей во Внешней и Внутренней Монголии, в Тибете и Китае, удивляя всех не только силой, но и неслыханным аппетитом. Бухэ-лама был не из тех, кто, обрядившись в желтые халаты, разъезжали с товарами по странам Востока. Сколько было среди них картежников, спекулянтов, развратников и контрабандистов! Был Бухэ-лама не из того духовенства, про которое говорят: «страшной чумы». Шара-Дамба называл их грабителями, но они были хуже грабителей: забирая у бедняка последнюю овцу, невежественные ламы своим лечением преждевременно сводили людей в могилу. Нет, Бухэ-лама был не из их числа. Он был силач...

Орудую ножом и палочками, он заталкивал в рот куски, быстро пережевывал их и набивал рот снова. Обглодав кость, он повертел ее перед глазами, легко разломил и стал высасывать мозг.

«Да, силища у тебя!» — подумал Аламжи и сам попытался переломить такую же кость. Намдак заметил, как от натуги задрожали руки Аламжи. «У Бухэ-ламы силы больше, надо на него ставить», — решил он.

Насытившись, Бухэ-лама обрел способность разговаривать.

— Вот такие качели, — ткнул он костью в сторону подвешенной к деревьям сетки, — китайцы тоже делают, когда тренируются. Они плетут их из сырой буйволиной кожи...

Намдак теперь не спускал глаз с Бухэ-ламы, удивляясь, как ловко двигает тот коротенькими пальцами, как быстро хватает мясо палочками. Эти палочки были сделаны из слоновой кости и украшены кораллами. Ни с палочками, ни с ножом, ни с чашкой Бухэ-лама никогда не расставался.

Желая польстить ему, Намдак сказал:

— Какие красивые палочки!

— Это куайцзы, подарок богдыхана. Я боролся в Пекине и получил приз.

Теперь уж не только деньги, но собственную голову готов был поставить Намдак на Бухэ-ламу.

— Чашка у вас тоже красивая... Из древесного корня?

— Да, да! — подтвердил Бухэ-лама. — Это подарок одного настоятеля китайского храма.

— В ней, наверно, поместится целый цзинь...¹ — высказал предположение Намдак.

«Цзинь» было единственное китайское слово, которое он знал. Но поскольку Бухэ-лама часто употреблял китайские слова, богач решил не отставать от него.

...Гости поблагодарили хозяев и поднялись. Аламжи запряг лошадей, подвел к Намдаку коня. Тот ловко вскочил в седло.

Бухэ-лама влез в свою телегу. Но тут коренной жеребец заупрямился и взбрыкнул, Бухэ-лама огрел его длинным бичом. Жеребец снова лягнул, да так, что нога его выскочила за оглоблю. Тогда Аламжи ухватился одной рукой за узду, а другую сунул под брюхо жеребца и, приподняв его, освободил ногу. Правый глаз Намдака расширился: «Как бы этот Аламжи не наделал хлопот! Силы у него, оказывается, немало...»

...Аламжи целыми днями ворочал черный камень, поднимал бревно, взбирался на высокие горы. Мысль о том, что от исхода борьбы зависит будущее его детей, придавала ему силы. Теперь он мог удерживать большой камень одной рукой, а листовенничное бревно легко поднимал выше пояса.

Шли дни, приближалось время праздника, и пора было собираться к далекой горе Хан-Улы, но Аламжи не мог оставить жену и детей в лесу одних. Решили, что Жалма с детьми останется в ближайшем улусе Зугалай. Собирались начали после обеда. Посуду и котел в небольшом тюке должна была нести Жалма; для Булада тоже сделали узел с кое-какой одежкой. Все остальное Аламжи запаковал в большой выюк, который впору было взвалить на спину яка. Так всегда бывает: кажется, и нет ничего в хозяйстве, а станешь перекочевывать — откуда что и берется. Когда все сложили, Аламжи снял с шеи медальон, повесил на двери шалаша и опустился на колени.

— Направь судьбу нашу по счастливой дороге, — тихо шептал Аламжи. — Не оставь нас, бедных...

¹ Ц з и н ь — мера веса, примерно 600 граммов.

— Направь судьбу нашу по счастливой дороге! Не оставь нас, бедных,— шептала вслед за ним и Жалма.— Пусть муж мой выйдет победителем на святом празднике. Никогда не богохульствовал он, всегда поклонялся лику богов.

За спиной у нее висел узел, из которого торчал большой деревянный черпак. Когда она отвешивала поклоны, черпак наклонялся вперед, как рука нищего, протянутая за подаванием.

Ветер шумел в кронах сосен. Черные тучи шли низко. Где-то грохотал гром.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГНЕВ

Горбун с костылем идет вприпрыжку, и его горб можно принять за мешок, набитый камнями. На его лбу залегли морщины, зубы стиснуты, взгляд устремлен к подножию хребта, где, минуя деревушки, протекает река.

«Бедняга...»— глядя на горбатого человека, скажет сердобольная женщина.

«Это боги наказали его за грехи! — скажет лама.— Страшиться божьего гнева, жертвуйте дацанам больше скота и денег!»

А иной брезгливо подожмет губы: «Кому нужен такой урод?»

Девять лет назад он был красивым парнем, и называли его Галсаном. Но с тех пор как случилась беда, ему все чаще приходилось откликаться на прозвище Горбун.

Речка, берегом которой шел Галсан, называется Карын, вытекает она из Шилки, верст тридцать петляет среди гор и вливается в Амур. В деревнях, мимо которых протекает Карын, расположена тюрьма политических каторжан. Здесь его впервые называли Горбуном, здесь навалилась на него беда, черной тучей накрыла всю его жизнь.

Было страшное лето 1881 года. От засухи выгорела трава, будто по степи прошел пожар, обмелели реки, в колодцах пропала вода. Чтобы не дать погибнуть скоту от бескормицы, состоятельные хозяева с востока Агинских степей перекочевали к берегам Ингоды и Шилки. Пастухами, табунщиками, чабанами и доярками отправились

в далекий путь улусные парни и девушки из бедных семей. Вместе с ними пошел и Галсан. Он взял с собой больную мать и седого отца, надеясь прокормить их.

Ингода и Шилка встретили кочевников сочными травами и чистой водой. Исхудавшие за дорогу животные накинулись на обильный корм. Трудная дорога, усеянная трупами павших животных, осталась позади, пастухи вздохнули свободно.

Среди кочевников был один человек, который притягивал к себе сверстников. Галсан тоже не спускал с него глаз.

Кто обладал такой силой? Это мог быть умудренный науками учитель, или прославленный богатырь, или маг, способный творить чудеса. Наконец, сердца мог бы покорить и высокорожденный лама, побывавший в обители бога — дворце Потала. Нет, совсем не то. Это была обыкновенная батрачка, восемнадцатый раз встречавшая свою весну. Сиротская доля не успела еще погасить румянец на ее щеках, согнуть ее гибкий стан. Закрывшись ладошкой от солнца, она смотрела в степь:

— Завтра будет дождь.

— Откуда тебе известно, Дарима?

— Ласточки низко летают...

И дождь действительно шел...

Дарима была неграмотной, но зато умела читать книгу природы.

— Где-то близко шляются волки! Как бы не напали они на коров...

— Может, тебе показалось?

— Нет! — стояла на своем Дарима. — Видите, сколько ворон появилось...

И приходилось звать парней. Криками и выстрелами они отпугивали хищников.

— Овец надо против ветра пасти, — учила Дарима молоденькую чабанку. — Тогда над ними не будут летать мухи...

Но способная утешить любого, Дарима скоро сделалась безутешной сама. Глаза ее все чаще смотрели вниз, румянец, который еще недавно полыхал на щеках, стал меркнуть.

— Что с тобой, Дарима? Почему ты такая?

Дарима отвечала лишь виноватой улыбкой. И тогда заметили, что причина всему Галсан.

А Галсан, который и раньше был молчалив, теперь совсем разучился говорить.

— Разве не видишь — девушка сохнет по тебе? Зачем ты мучаешь такую красавицу? Ты же умный парень, пойми, Галсан...

— Эх, дурачина ты, Галсан! Ты не стоишь единой родинки на лице у Даримы. Да влюбись в кого-нибудь из нас такая девушка, любой бы поклонился ей до земли. Сердце не жалко вырвать и отдать ей.

На Галсана ничего не действовало. Когда Дарима была вдали, он клялся себе, что сегодня откроется ей: би шамда дуратайб! ¹ Но едва девушка появлялась вблизи, Галсан лишь смотрел на нее и сомнения одолевали его. «Нет у меня сил подойти к ней...» Ноги не повиновались ему, они походили на обмякшие свечи из бычьего жира.

Однажды ночью, когда луна катилась по небосклону навстречу Большой Медведице, Дарима возвращалась в юрту. Она долго доила коров, разливала молоко, прибирала в загоне для телят и только после этого пошла отдохнуть. В ту минуту, когда она переступала порог, что-то заставило ее оглянуться. Боги, кто это? Тень мелькнула в дверях и заслонила свет луны. Насмерть перепуганная, Дарима хотела закричать, но голоса не оказалось. Она хотела бежать, а ноги будто приросли к земле. Наконец она разглядела Галсана.

— Дарима!.. Даримахэн!

— Куда ты идешь?

— К тебе пришел!

— Что-нибудь случилось? — Дарима подумала, что Галсан пришел с дурной вестью, и отступила.

А Галсан взял ее за руку и больше уже не мог вымолвить ни слова. Все, что вынашивал он в сердце ночами, — все куда-то пропало как дым.

— Любимая моя... дорогая Даримахэн! Я готов пойти с тобою хоть на край света. Ни моря, ни горы не могут разлучить нас... Конечно, ты умная, ты будешь смеяться надо мной... Но я уйду, сейчас уйду!

Галсан отдернул руку. Ему казалось, что он кричит на всю степь, но он только беззвучно шевелил губами.

¹ Я тебя люблю.

Дарима стояла будто с завязанными глазами. Почему он отдернул руку? Почему молчит?

Девушка трянула головой, и ее коса тускло сверкнула перед глазами Галсана.

— Я не могу быть твоею!

— Я так и знал!..

— Зачем же пришел, если знал?

И она заплакала: ей представился богач Намдак и его брат Лонхо-нойон. У Лонхо были такие большие уши, что он мог ими, наверное, вытереть свои слезящиеся глаза. Две зияющие дыры вместо носа дополняли портрет престарелого нойона. Вид у Лонхо был глуповатый, но видом этим он никого не мог обмануть: хитрость и коварство нойона вошли в поговорку.

И вот за этого человека Дариму хотели выдать замуж!

— Когда ты была меньше вон той собаки,— показывая на щенка, говорил нойон,— твой отец взял у меня корову с телятком. Только поэтому ты не умерла с голоду. Не веришь? Свидетель — почтенный Намдак, мой брат. Слушай дальше. Будущий зять твоего отца, то есть я сам, обменял кушак длиною в четыре взмаха на старые портянки, чем опоганил себя. Благодарение богам, мое доброе имя не пострадало. «Когда придет восемнадцатое лето моей дочери, она станет второй женой почтенного Лонхо». Слышала? Это говорил в смертный час твой отец, человек, который дал тебе жизнь! И вот пришло время... Настоятель дацана назначил свадьбу в третий бимба гараг¹ следующего месяца. Праздничную одежду уже шьют...

Дарима тогда упала в ноги братьям:

— Сжальтесь надо мной, Лонхо-нойон! У вас есть жена... И вы, Намдак-бабай, пожалейте меня, вы же добрый...

Нет, не захотели пожалеть ее братья-нойоны.

Дарима вдруг швырнула в сторону ведро, которое все еще держала в руках, и бросилась на шею Галсану. Все еще плача, она прильнула к нему, стала гладить его волосы, лицо, плечи...

— Дарима!.. Даримахэн! — только и мог произнести растерявшийся Галсан.

¹ Третий бимба гараг — третья суббота месяца.

Глотая слезы, она вынула из-за пазухи волосяную веревку, которой связывают ноги коровам во время дойки.

— Завтра бы меня уже не было!..

Галсан с ужасом глянул на веревку и вырвал ее из рук Даримы.

Дарима еще теснее прижалась к нему, и они стояли так долго.

— Любимый! Счастье вот так обняться и уснуть вечным сном... Моя мать умерла рано, ей не довелось обнимать меня. Говорят, она замерзла в степи. А отец... С тех пор как я его помню, он работал день и ночь. Придет, бывало, сядет возле меня на войлок, подремлет — и опять к табуну... А потом несчастье за несчастьем...

— А почему ты хотела... — Галсан потрянул веревкой. — Кто обидел тебя? Скажи его имя! Я сейчас же пойду и задушу его этой веревкой!

К счастью, залаяли потревоженные кем-то собаки, и голос Галсана не могли услышать в юрте. А может, кто и слышал, да подумал, что это орет заблудившийся пьяница.

Дарима зажала ему рот ладонью.

Потом они вышли из юрты и долго ходили по стойбищу, разговаривая обо всем сразу. Дарима говорила: ее бедный отец наказывал слушаться во всем Намдака и Лонхо-нойона, не жаловаться на них никому, потому что богачи делают людям добро. Но где оно, это добро? Кто видел его?

А Галсан клялся, что никому теперь не даст в обиду свою Дариму. Он верил: если сильно захотеть, жизнь переменится.

Задумчивая луна все плыла и плыла по небосклону и никак не могла его переплыть. Скоро она стала желтеть, звезды стали меркнуть и гаснуть. В поредевшей темноте стали угадываться юрты, загоны для скота, телеги и какие-то другие неясные силуэты, похожие на птиц.

— Гриф! — неожиданно для самого себя сказал Галсан. — Ты слышала про грифов? В Тибете они пожирают людей.

— Правильно, гриф! — подтвердила Дарима. — Там живет настоящий гриф! — показала она на юрту Намдака.

Наступило утро. Накинув на плечи шелковый халат, Намдак вышел из юрты. Он долго зевал, чесался, проклиная блох, а потом вдруг застыл с открытым ртом: коровы до сих пор в загонах?

— Балма-а! Балма-а!

— Ох, и надоел ты мне! — В дверях показалась его жена. Она нагнулась и руками переставила свою ногу через порог. — Говори, чего надо?

— Смотри, скот еще во дворе!

Желтые, как конский жир, щеки Балмы дрогнули от изумления.

— Это не девка! — взорвалась наконец она. — Змея черноголовая!.. Да я ее...

Переваливаясь с ноги на ногу, Балма поспешила к черной юрте. Намдак схватил длинную плетку, висевшую на стене юрты, и засеменил вслед за женой, растопырив руки, в широких унтах на кривых ногах, в развевающемся халате, похожий на потревоженного таракана.

Дарима спокойно спала, накрывшись ветхим халатом и подложив под голову унты.

Балма смотрела то на спящую батрачку, то на мужа. А тот не мог оторвать взгляда от румяного лица Даримы, от ее полураскрытых губ. И тогда, заметив жадный взгляд мужа, Балма, широко размахнувшись, ударила его по затылку.

— Бей ее, чего рот разинул! — Балма схватила его за руку. — Бей!

Чтобы доказать свое безразличие к батрачке, Намдак занес плетку над головой.

— Бей! Бей! Еще бей!..

Словно облитая кипятком, вскочила Дарима с постели. Увидав перед собой хозяина с женой, она разом все поняла.

Балма ткнула мужа в спину кулаком:

— Бей проклятую, бей!

И Намдак снова принялся хлестать жертву. Дарима не знала, что делать и чем защитить себя. Она стала звать на помощь:

— Галсан! Галса-ан!

— Повтори, кого ты зовешь! Черная тварь, повтори, говорю! Какой это Галсан?..

За стеной юрты зазвенели стремяна.

— Что тут происходит, почему шумят на всю степь? Намдак и Балма прислушались. Кто мог в такую рань приехать?

А приехал Лонхо.

— Дорогой мой брат, откуда несут тебя добрые боги?

Балма без всяких околичностей набросилась на родственника:

— Забирай от нас эту распутную девку. Все равно от нее толку в хозяйстве нет. Только и знает, что таскаться с парнями.

— Мы ее проучить собрались,— осмелился перебить жену Намдак.— Я ее уже несколько раз протянул плечиком вдоль спины... Забудет теперь этого Галсана.— Он снова начал подступать к Дарима, чтобы показать брату, как умеют настоящие мужчины выколачивать дурь из бабьих голов.

— Подожди! — Лонхо схватил брата за рукав.— Бедная девушка... такая молоденькая, некому ее пожалеть. Не бейте ее, прошу вас!

Два отверстия, заменявшие ему нос, стали узенькими, на месте глаз появились щелочки. Лонхо полагал, что такое обличье должно быть у человека, который хочет кому-нибудь понравиться.

Балма ничего не могла понять. Нойон защищает батрачку?! Но она ему пока не жена! С опаской покосившись на жену, Намдак отступил к порогу:

— Слышишь, Дарима, я бы тебя еще отхлестал маленько, да скажи спасибо Лонхо-нойону. А теперь выпусти скотину и угони ее в степь.

Хозяева и гость отправились пить чай, а Дарима, снова подумав о волосяной веревке, погнала коров на пастбище. Едва она отошла от стойбища, как ей повстречался Галсан. Он давно уже был у табуна и ждал ее.

— Никогда бы не подумала, что он станет спасать меня,— заключила свой рассказ Дарима.— Он же такой страшный, этот Лонхо-нойон...

— Я тоже не мог подумать,— признался Галсан.— Особенно после того, как я у него побывал.

— Ты был у Лонхо-нойона?

— Да. Сегодня, вот только что...

Когда они под утро расстались, Галсан пошел в свою юрту, разбудил отца и мать и объявил им решение: от-

дать корову с телятком в обмен на тот самый кушак, что дает право Лонхо-нойону жениться на Дариме. Ведь он купил это право за корову с телятком! Отец не соглашался: единственную кормилицу отдать за первую попавшуюся девушку? Но мать встала на сторону сына: живой человек всегда дороже скотины.

Лонхо встретил Галсана приветливо, но едва узнав, зачем тот пришел, стал браниться. Галсан долго уговаривал упрямого богача. В конце концов он схватил нойона за грудь и потрянул его так, что кляцнули зубы. После этого Лонхо сделался настолько любезен, что предложил даже чашку чая. Но Галсану было не до чая. Подпоясавшись дорогим кушаком, полученным за корову с телятком и за пару добрых тумачков в придачу, он сел на коня и поскакал к табуну своего хозяина Далай.

Прошло несколько дней. Занятые своей любовью, Галсан и Дарима не задумывались над тем, почему Лонхо-нойон и богач Намдак не преследуют их и не жалуются тайше. Они чувствовали себя счастливыми, и до всего остального им не было дела.

Намдак, видимо, изменил свое отношение к батрачке. Все видели, как он ласково разговаривал с нею, как обещал подарить к свадьбе праздничный халат. И Лонхо-нойон всегда при встрече кланялся Дариме. Ходили слухи, что к предстоящей свадьбе батрака и батрачки он тоже готовит подарок.

Пастухи были рады помочь жениху и невесте. Парни отпускали Галсана, сами пасли его табун, девушки присматривали за коровами и телятами Даримы.

Теперь Галсан и Дарима могли гулять по степи, плести венки друг другу. А если, бывало, прискутит это занятие, они садились на берегу реки, пели песни, смотрели в тихую воду. Ветки тальника укрывали их от посторонних глаз. Вечерами они долго смотрели на небо, все хотели найти звезду, под которой родились.

Галсан не удивлялся тому, что хозяин Далай настойчиво приглашал его в гости. А почему, в самом деле, он не может пойти к хозяину? Галсан не знал, что говорят о Далае, да и не интересовался этим.

А люди рассказывали разное. Одни, например, утверждали, что Далай подобен ослу: покажи ослу пучок сена,

он пойдет куда угодно; побрядай перед Далаем кошельком, он согласится на любую сделку. Другие говорили, что старик Далай хоть и прикидывается простаком, однако очень хитрый и проницательный человек. Находились и такие, которые болтали, будто он добрейший из людей и всегда выручит человека из беды. Впрочем, они тут же оговаривались: за пазухой у Далая всегда найдется камень против того, кто его обидит. Вот как много разговоров было о хозяине Галсана — Далае.

Как-то солнечным днем Далай приехал в степь к Галсану.

— Приходи сейчас ко мне... Чайку попьем, я тебе подарок покажу. К свадьбе приготовил — не слышал разве?

— А кони как же, дедушка Далай? Да и овцы вон...

— Никуда они не денутся!.. Разве я не знаю, что ты и так от табуна часто отлучаешься? Ну, ну, не сердись, я же так, в шутку. Да не забудь невесту взять... Ее Намдак от работы освободил.

Долго ли бедняку собраться? Только кушак потуже затянуть да шапку набекрень сдвинуть...

Вот Галсан и Дарима уже подходят к просторной хозяйской юрте. И тут уготованная им судьба обнаружила себя. Откуда ни возьмись выскочила большая собака, Галсан, закрыв своим телом девушку, встретил собаку пинками. Однако пес был матерый. Он наскакивал то спереди, то сзади, то с одного бока, то с другого. Галсан повалился на землю вместе с собакой.

Пока люди, стоявшие у юрты Далая, вооружались кто палкой, кто вилами, пока они бежали на выручку к Галсану, тот уже поднялся с земли, оставив задущенную собаку на месте.

— Она тебя укусила! — вскрикнула Дарима.

— Пустяки! — успокоил ее Галсан.

— Конечно, рана пустяковая, — поддержали Галсана люди, прибежавшие на выручку. — Можно сказать, легко отделался.

Оказывается, у хозяйской юрты собралось много гостей: тут были и Лонхо-нойон, и Намдак с Балмой, и другие скотоводы, кочевавшие неподалеку.

— Собака не задела тебя зубами? — выкрикнул Лонхо-нойон, когда Галсан был от юрты шагах в двадцати.

— Пустяки, Лонхо-нойон,— отозвался Галсан,— Только немножко клыком по руке...

— До свадьбы заживет!

Тут Лонхо-нойон махнул кому-то рукой и быстрым шагом направился к черной юрте, где жили батраки, а Галсан с удивлением увидел, что люди шарахаются от него. Все же он улыбнулся и попросил:

— Принесите ковшик воды... Руку надо обмыть. Они чего-то боятся? — повернулся Галсан к невесте.

— На улице нельзя смывать кровь! — крикнули им из черной юрты.— Идите сюда! Здесь есть вода!

В юрте оказались Лонхо, Далай и несколько парней, батраков нойона.

— Заходи, скорей заходи! — торопил нойон.

Галсан прошел в глубину юрты, в ожидании воды сел, куда ему указал Далай, и вдруг увидел, что все стали выходить из юрты. Галсан не успел даже подняться, как дверь с треском захлопнулась. Юрта задрожала: видимо, дверь чем-то привалили.

— Эта собака бешеная,— уловил он страшную весть.— Она уже многих покусала... Если Галсан заразит нас — всем помирать!

Галсана будто обухом по голове ударили. Он продолжал сидеть на грязном войлоке не в силах пошевелиться.

— Сжечь его, пока не взбесился... Да, да, вместе с юртой!.. Тащите скорее сено! Аргал¹ давайте, жизнь наша дороже!..

Неужели это не страшный сон? В самом деле его сожгут как бешеную собаку? А как же Дарима?

Галсан одним прыжком достиг двери. Он так навалился на нее плечом, что задрожала юрта. Потом он стал бить кулаками в дверь, но она не поддавалась.

Дариму оттеснили. Балма хотела уже увести ее домой, когда раздалась команда поджигать. Девушка вырвалась и побежала на выручку Галсану. Она успела окликнуть кое-кого из знакомых и вместе с ними бросилась к Лонхо-нойону.

— Остановитесь! Сжальтесь! Пусть будет он там закрытым, я буду за ним ухаживать сама,— молила Дарима.

¹ А р г а л — сухой помет,

Увидев, что юрту поджигают, девушка бросилась в огонь, пытаясь потушить его. По приказу Лонхо-нойона ее оттащили и крепко держали за руки. Она кричала теперь все тише и тише:

— Галсан! Галса-ан! Милый мой!

Табунщикам, которые хотели вступить за приятеля, Лонхо-нойон пригрозил:

— Стражу позову! Не знаете порядка? Везде так делают...

Полицейский десятский Шаргай-нойон выхватил револьвер:

— А ну, заплатники, расходись! Живо упеку куда следует.

Юрта между тем загорелась. Чем выше поднималось пламя, тем сильнее она раскачивалась: видно, Галсан решил до конца бороться за жизнь. Но и Лонхо не дремал. Он что-то шепнул двум парням, те мигом оказались на крыше юрты, однако дым слепил им глаза, и они полетели на землю. Тогда на крышу полез десятский Шаргай-нойон. Вооруженный дубиной, он примостился у дымохода.

В это время Галсан, выломав крестовину дымохода, попытался вырваться на крышу. Шаргай-нойон ударил его по рукам, и он скрылся. Еще несколько раз из дымохода показывался Галсан, но Шаргай каждый раз загонял его назад.

Не только женщины, даже Лонхо-нойон и Далай не могли дальше наблюдать это. Они отошли в сторону и отвернулись.

Шаргай-нойон, опасаясь за свою жизнь, собрался было спрыгнуть с юрты, но в это время в отверстии дымохода снова показался Галсан. Он схватил полицейского, тот рванулся и тем самым помог выбраться наружу обреченному Галсану.

— Ой, ой! — пропищал Шаргай и свалился в дымоход.

Черный от дыма и гари, с обгорелыми полами халата, Галсан выпрямился на крыше юрты, и тут люди стали разбегаться во все стороны. Старики и старухи подхватывали ребятишек, прятались в юртах, сынки богачей примкнули к табунщикам, полагаясь на их отвагу, де-

вушки с визгом бросились в степь. Только Лонхо-нойон и Далай оставались на месте.

— Эй вы, зайцы! — заорал Лонхо на парней. — Чего прячетесь один за другого! Берите колья и вилы да образумьте его. Не видите, человек взбесился! Да не забудьте достать Шаргай-нойона...

Галсан соскочил с юрты и, не чувствуя боли в руках, сгреб горящую жердь. Размахивая ею во все стороны, он шел прямо на парней, преградивших ему дорогу. Двое из них упали под ударами жерди, остальные попятились: решимость покинула их.

Наматывая на руку длинную веревку, к Галсану бежал Лонхо-нойон. Но тот уже прорвал кольцо окружения и приближался к загону. Там стояли скакуны табунщиков и дикие лошади, ни разу не носившие на своей спине седла, пригнанные из табунов на продажу. На горе ли, на счастье ли, Галсан вскочил на шестилетнего необъезженного жеребца, который не только человека, но и птицу близко к себе не подпускал. Перепуганный жеребец шарахнулся в сторону, повалил рядом стоявшего коня, взбрыкнул, поднялся на задние ноги, понесся во весь опор прямо на преследователей Галсана и вдруг встал как вкопанный. Галсан удержался. Обезумевший конь брыкался, припадал на передние ноги, грыз землю. А Галсан, крепко сжав его бока и обхватив руками шею, все держался на его неоседланной спине. Теперь уже не со страхом, а с изумлением смотрели на Галсана люди. Как он осмелился вскочить на такого хулэга? ¹ Один Лонхо, приготовив веревку, спокойно стоял в отдалении и выжидал.

Убедившись, что седока не сбросить, жеребец прижал уши и поскакал. В тот же миг в воздухе тоненько зашвистела веревка, посланная рукой нойона. Но на этот раз Лонхо промахнулся: петля скользнула по крупу жеребца и упала на землю.

— К лошадям! Догнать его! — заорал Лонхо-нойон и первым бросился к коновязи.

Необъезженный жеребец, вытянув шею, летел как стрела из лука. Слыша за собой крик людей, он припустил еще быстрее, а Галсан еще ниже склонился над его гривой.

¹ Хулэг — легендарный конь.

Впереди преследователей мчался Лонхо с веревкой. Старый нойон сразу сообразил, что Галсану далеко не уйти: дикий жеребец без узды скакал берегом извилистой Шилки, а его конь мчался прямой дорогой, наперерез беглецу.

— Бери его в клещи!..

Жеребец со страху шарахнулся в рощу, Лонхо устремился за ним. Только когда ветки стали больно ударять его по лицу, он остановился и разразился такой бранью, которой мог позавидовать самый последний бродяга.

Остановились и другие преследователи.

...Жена политкаторжанина Чарушина приехала следом за мужем в Карийскую тюрьму и поселилась неподалеку от застенка, в деревне Амур. Вместе с подругами по несчастью, женами других заключенных, она часто ходила на берег Шилки, где кочевали буряты. Здесь женщины покупали мясо и молоко, а на обратном пути собирали ягоды.

Что это? Не зверь ли какой пробирается меж деревьев? Человек не сможет ступать так тяжело.

— Медведь!

Женщины, забыв про свои узелки, бросились к дороге. Из леса выскочил черный и оборванный всадник на диком коне. Конь приподнялся на задние ноги, чтобы перепрыгнуть через овражек, но споткнулся и упал вместе с седоком. Затем конь перевалился через человека, вскочил на ноги и, не переводя дыхания, помчался дальше.

Догадавшись, что человек спасается от беды, женщины решили отнести его в избушку старика Клименко, куда никогда не заглядывали чиновники Агинской степной думы.

Здесь, в сторожке лесника, под наблюдением доброго хозяина и заботливых женщин, Галсан медленно поправлялся. Кончилось лето и прошла зима, прежде чем он смог подняться на ноги. Но он не мог уже распрямить спину, а без костыля не решался сделать и шагу.

С тех пор много разных людей повидал Галсан. Были среди них добрые и злые, умные и безнадежно тупые, веселые и угрюмые, как лес ночью. Многому научился он у людей...

И вот теперь его снова потянуло в те места, где кончилась его солнечная юность. Вечерело, когда Галсан шел по улице деревни Амур, вглядываясь в лица прохожих. Неужели за эти годы люди так изменились, что он не может никого узнать? Или уже новыми узниками набита тюрьма? Да, жизнь меняется и в этом несчастном уголке!

Навстречу Галсану попался русский старик с длинным посохом, желтая бородка, мохнатые брови. Несмотря на летнюю пору, он был в полушубке, в унтах и в меховой шапке.

Галсан, облокотившись на костыль, вглядывался: может, он знает что-нибудь о жене Чарушина и леснике Клименко? Но старик сам перед ним остановился, и Галсан не мог сдержать изумления:

— Клименко! Дядя Клименко!

— Галсан! Галсанка, дорогой!

Они обнялись. Потом старик отстранил от себя Галсана, оглядел с головы до ног и со словами: «Не тужи, братец», — поцеловал его трижды, по русскому обычаю.

— Не думал встретить тебя живым...

— Рано помирать, дядя Клименко. Мы еще поживем...

— Поживем!.. — выдохнул из себя Клименко. — Кто поживет, а я... Стар стал, ревматизма одолевает... Работы лишился... Помнишь сторожку? Сгорела дотла. Оно бы еще ничего, да меня же и обвинили в поджоге. Год пришлось вшей кормить да казенную похлебку есть.

Галсан не знал, как утешить старого друга. Да и нуждается ли он в утешении?

— Когда же люди перестанут враждовать? Кто даст нам иную долю?

Клименко стукнул о землю посохом:

— Никто не даст! Никто! Нам, людям, от зверей, что ли, ждать помощи, от царя-батюшки?..

— Белому царю веревку на шею!

— Нет, Галсан, — перебил его старик. — Еще не готова веревка. Погоди, приготовят! В тюрьмы бросают нас, на смерть посылают, а веревочка все длиннее становится... Сколько ни виться, конец будет...

— Чарушин еще здесь? — спросил Галсан. — Хотел передать ему кое-что, жену его повидать... Добрая она, не бросила тогда меня...

— Эка, вспомнил кого! Давно уже нет спасителей твоих тут... В другом месте они.

Галсан поник.

Солнце уже клонилось к закату, когда они расположились на берегу Карына. Старик Клименко рассказал, как года два назад, в августе 1888 года, Карийской тюрьме устроил смотр сам генерал-губернатор барон Корф. Страшно рассвирепел он, когда каторжанка Ковальская не встала при его приближении. Схватили, бедняжку, раздели донага и — в одиночку. А позже завернули ее надзиратели в одеяло, уволокли куда-то, истязали всячески, надругались. Женщины-каторжанки объявили голодовку. Струхнули, видать, начальники тюремные, депешу отправили тому барону. Ответ пришел незамедлительно: «Бунты пресекать. Действовать на основании инструкции». Тут совсем стража распоясалась, зверства учинять начала. Тогда во всех тюрьмах Карийских объявили голодовку. Человек около двадцати померло. Кто от голода, а кто и отраву принял...

Галсан развязал свой кожаный мешочек, вынул вареное мясо, скатанное шариком масло, поджаренную муку. Но ни он сам, ни старик не прикоснулись к еде — таким ужасом веяло от рассказов Клименко.

А старик продолжал:

— По распоряжению того поганого барона одной каторжанке дали сто розг. Не выдержала она и скончалась. Другой каторжанин не снес надругательства и задумал руки на себя наложить. Намочил портянки керосином из лампы, обмотал их вокруг тела и поджег. Смерть его была мучительной...

Галсан не мог вымолвить и слова. Все, что он слышал и видел до сих пор, не шло ни в какое сравнение с рассказами старого друга.

— Крепкой артелью жили те люди, вот в чем гвоздь! — продолжал старик. — Друг за друга стояли горой. Все дела сообща решали. Деньги общие у них были. Выдавали, стало быть, особо нуждающимся... Книжки получали из Петербурга и даже из чужих стран. Посмотрит надзиратель или еще там кто-нибудь, повертит в руках — книга церковная, картинки в ней рай и ад, а там и как царя прогнать, и как землю поделить, и кому заводы передать... Начитаются этих книг и спорят. Особенно сильно спорили из-за книжек Плеханова и другого, загранич-

ного... Фамилии не помню, а звать Карл. В ихних книжках написано, что не только царю, но и помещикам, и купцам, и генералам по шапке дать надо. Чтоб ел только тот, кто работает. Я не дюже умен, но как всю жизнь работал, то думаю, правду они пишут.

— Да, много вы знаете,— вздохнул Галсан.

— Так я же семнадцать лет живу тут. Чего только не перевидал, чего не слышал! Эх, кабы мне грамоту да годочков двадцать сбросить, тогда бы я...

Старик замолчал. Галсан смотрел на реку, на темный лес и на черную тучу, надвигавшуюся с запада.

— Значит, барон разогнал тех каторжан? В самом деле поганый генерал!

— Думаешь, он один такой? Вот рассказывал ты, что тебя бешеная собака укусила. Отчего же ты не взбесился? Ну-ка, раскинь умом...

— Может, крепкий я, может, совсем не заразился...

— Крепкий! Собака совсем не бешеная была. Тот поганюший человек Лонхо отомстить тебе решил. Все подстроено было. Собаку злую напустили на тебя и полицейского позвали, родственника того Лонхо, чтобы все в законном порядке выглядело.

— Неужели? — вскочил с места Галсан.

— Так оно и было. Я сперва тоже думал, отчего не заразился ты. А потом знающие люди объяснили... Земля, брат, слухами полнится.

— Перережу глотку черной собаке! — Галсан вытащил из-за кушака большой нож.— Убью! Мне бояться нечего!

— Подожди! — осадил его старик.— Не советую тебе связываться с Лонхо. Ну, убьешь его. А дальше? Сложишь кости на каторге. По-другому надо...

— Что же делать? — упавшим голосом спросил Галсан. Опираясь на костыль, он смотрел на Клименко, как смотрит на отца попавший в беду сын.

— Что делать? — переспросил Клименко.— Надо сделать так, чтобы люди знали о злодеяниях. Я хоть и старый, а хожу по деревням, рассказываю. Пускай опять арестуют, но рот заткнуть мне никто не сможет...

Галсану представилась милая Дарима. На щеке у нее, там, где родинка, блестят слезы. Они теперь не высохнут никогда.

...На берегу озера стоит одинокая березка, повторяет сама себя в светлых водах. Березка молода и счастлива. Но налетает свирепый буря и заносит озеро песком. Проходят годы, и от березки остаются только сухие сучья... Не так ли и среди людей? Может, и гибкое тело Даримы теперь сломалось, коль она не ждет больше вестей от Галсана?..

Как ни стыдился Галсан своего уродства, он, едва поднявшись на ноги, пошел на запад к Дариме. Из деревни Амур он отправился в путь, когда степь была разукрашена ургум¹, а у кочевья Лонхо-нойона его встретила уже кровяно-красная сарана². Даримы он не нашел. Он расспрашивал о ней всюду, но никто не мог ему сказать ничего утешительного. Она исчезла.

И вот сейчас, сидя рядом со стариком Клименко, Галсан подумал: может, Лонхо убил ее? От этой мысли его бросило в жар. Он рванул на себе халат.

— Нет!.. Я своими руками задушу проклятого нойона! Галсан упал вниз лицом и заплакал.

СТЕПНОЙ БУНТАРЬ

Длинные ямы, из которых когда-то брали глину для постройки Агинского дацана, со временем обвалились, поросли бурьяном и стали походить на овраги. Мимо одного из таких оврагов пролегает дорога в дацан. Шара-Дамба огляделся по сторонам, зашел в овражек, вынул из-за кушака топор и опустился на колени. В этот осенний вечер, когда по засохшему ковылю с тоскливым свистом проносится ветер, воспоминания о недавно умершем сыне так растревожили его, что он, безбожник Шара-Дамба, решил помолиться на четыре стороны двенадцать раз. В жизни Шара-Дамбы случались такие минуты, когда тоска брала его за сердце, и тогда он украдкой от людей молитвенно складывал ладони. Но едва сотворив молитву, он тут же посмеивался над собой: «Пожалеют тебя боги, как же!» И все-таки он молился. Шара-Дамба просил богов даровать его сыну в следующем рождении долгую и спокойную жизнь, когда на дороге показалась тележная упряжка, которой правил старик Тагар. Позади старика сидел Дамдин.

¹ У р г у й — подснежник.

² С а р а н а — полевой цветок, распускающийся в начале лета.

— Смотрите, дедушка Тагар! Что там такое?

Старик провел рукой по козьей бородке и даже не повернулся: он читал про себя молитву, и ему нельзя было болтать по пустякам.

— Дедушка Тагар! А может, тот человек прячет здесь золото?

Тагар натянул вожжи.

— Где? — круто повернулся он.

— Вон в той яме.

Они слезли с телеги и, пригибаясь, подошли к овражку. Странно, человек молится! Что заставило его молиться здесь, когда до дацана рукой подать?

— Так это безбожник Шара-Дамба! — ахнул Дамдин. Он так изумился, будто обнаружил более страшного преступника, чем похититель дацанского золота.

— Вы что тут делаете? — Голос Шара-Дамбы не предвещал ничего хорошего.

— А ты что делаешь?

— Я... молюсь. Какое вам дело?

— «Молюсь»! — передразнил старик. — А кто богохульствует?

Взмахнув для убедительности топором, Шара-Дамба прервал старика:

— Хватит! Да, я молился, но если кто-нибудь из вас болтать будет... Впрочем, никто вам и не поверит.

— Успокойся, — миролюбиво ответил Тагар. — Веруешь — веруй, молись... Хорошо ли живешь? Давненько не виделись...

Старик опустил на траву. Шара-Дамба присел рядом.

— Выходит, ты понял свои заблуждения, — продолжал старик. — Да, боги есть, они любого наставят на путь...

— Не знаю... То кажется, что есть, то — нет...

— Есть, есть! Сомневаться нельзя, надо веровать!

— Отчего же я ни разу не видел бога? — задал свой главный вопрос Шара-Дамба. — Отчего не наказал он меня?

— Чего захотел — богов лицезреть! С тебя и латунных бурханов хватит. А карать зачем, если ты одумался... Посмотри кругом — земля, люди, скотина, звери... Откуда все это взялось? Божья милость на то была.

Разгорелся спор. Тагар говорил быстро, захлебываясь,

передразнивал собеседника, и его жиденьякая бороденка то болталась на груди, то оттопыривалась и острым своим концом касалась трубки Шара-Дамбы.

— Если не веруешь, зачем молился?

Шара-Дамба не успел ответить, потому что в эту минуту на дороге затарахтела телега. Спорщики разом оглянулись. На паре коней, в двухосном ходке, к ним подкатил седобородый старик с солдатским «Георгием» и медалью на груди. Впереди него с вожжами в руках сидел человек с черным морщинистым лицом.

— Здравствуйте, господин Лубсан! — живо вскочил на ноги Тагар.— Здоровы ли? Далеко ли ваш путь?

— Здравствуйте,— не слезая с тележки, поздоровался Лубсан.— Что нового в степи? Есть слухи, будто Горбун шляется по улусам, всякое болтает про белого царя, хулит желтую веру.

— Нет, мы не видели,— поглаживая бороденку, поспешил заверить Тагар.— Я не видел Горбуна...

— Черт горбатый! Мало ему улусов стало, так он в святой дацан пришел, почтенного настоятеля Рабдан-ламу в присутствии паломников оскорбил. Его следует так отколотить, чтобы горб у него внутрь вошел!

— Уважаемый Лубсан-нойон, я начинаю припоминать, я от людей слышал...— почтительно начал Тагар.— О нойонах Горбун очень плохо говорит.

Тагар облокотился на короб телеги и приблизил губы свои к уху Лубсана. Тот отстранился от старика, посмотрел на него в упор. Тагар принялся теребить бороденку.

— Горбун рассказывает: почтенный Лонхо и Шаргай-нойон нарочно собаку на него напустили. Заранее уговорились сжечь его...

— Больше нет новостей в степи?— не глядя на доносчика спросил Лубсан.

Старик еще ниже склонил голову и закрыл глаза, соображая, что бы еще такое сказать.

— Я того Горбуна хорошо знаю. Зовут его Галсаном, у Далая в работниках был. И раньше умом никогда не отличался, а теперь и совсем... Правду люди говорят, у калеки и мозги вкось.

— Слыхал! — осадил его Лубсан. Ему надоели разглашательства Тагара.

И тут случилось то, что редко бывает, но все же бывает: к собеседникам у дороги подошел человек с костылями. Это был Галсан.

— Здравствуйте, добрые люди! Здоровы ли?

Люди молчали, ожидая, что скажет Лубсан.

— О, здесь почтенный Лубсан-нойон! — поклонился Галсан.— Что заставляет вас ездить по холодному ветру, в такую пору, когда добрые хозяева подкладывают аргал в очаги и готовятся к вечернему чаю?

Не меняя позы, Лубсан лишь повернул голову в сторону Горбуна:

— Не пора ли тебе отправиться куда следует?

— Нельзя ли узнать куда?

— Куда! — взорвался Лубсан.— Он еще спрашивает! Туда, где тебе выровняют спину!

— Если вы честный человек, то должны знать: девять лет назад, когда моя спина была такой же прямой, как и ваша, воду замутил известный вам Лонхо. Мне приходится очищать родник.

— Молчать! — От крика Лубсана лошади вздрогнули и стали прядать ушами.

Дамдин, по всему виду, перепугался не меньше лошадей. Он подскочил к упряжке, схватил коренника под уздцы.

— Тпру, тпру! — успокаивал он себя и коней.

— Эх, Лубсан-нойон, не те слова говорите,— погасил улыбку Галсан.— Не те... Свеча знает, что сгорит дотла, и все же продолжает гореть, прогоняет тьму. Так и человек. Еще мальчишкой я вам завидовал. Когда вы были солдатом, разве думали о себе, жалели себя? А теперь, когда стали заседателем у Намсарая-тайши? — Галсан шагнул к повозке чиновника.— Разве это жизнь? Если хочешь стать хотя бы жаворонком, не бойся колючих трав. Если у тебя есть теплая одежда, не забывай тех, кто зимой и летом ходит в рваном халате и стоптанных унтах. Если в бою остался жив, не забывай о тех, кто смертью своей сохранил тебе жизнь! Если у тебя острое зрение, покажи дорогу слепому! Плохой тот отец, который любит только своих детей и отворачивается от сирот!.. Вы, Лубсан-нойон, хорошо это знаете.

Старик Тагар не вслушивался в слова Горбуна. «Черт дернул меня остановиться возле Шара-Дамбы!» Лубсан

сердито пыхтел. Он уже не жег Горбуна взглядом, а лишь искоса поглядывал на него.

— Кто позволил тебе богохульствовать? Как мог ты оскорбить старого человека, почтенного настоятеля дацана? — Лубсан вскинул глаза к небу, словно ждал, что ответ придет от богов. Белая борода его шевелилась на ветру.

— Эх-хэ-хэ! — с сожалением протянул Галсан.

Шара-Дамба стал рядом с ним. Теперь-то, когда речь зашла о богах, он непрочь был поспорить даже с самим Лубсан-нойоном.

— Довольно болтать! — приказал Лубсан и сумрачно посмотрел на Галсана. — Не сносить тебе головы, поверь мне! Одумайся, пока не поздно...

Чиновник повернулся в сторону лошадей.

— У бедняги голова не в порядке... Дамдин, поедем! — заторопился Тагар, взбираясь на свою двуколку.

Обе телеги тронулись одновременно и разъехались в разные стороны. Вскоре они пропали в сумерках.

Шара-Дамба смотрел на Галсана и будто не узнавал.

— Как ты говорил! Откуда у тебя такие слова? Даже Лубсан-нойон перестал рычать...

— Народ говорит: «Молодого сила украшает, а старого — мудрость». Старею, брат...

Они присели на краю оврага. Шара-Дамба вспомнил о трубке.

— Ну, рассказывай...

— А чего рассказывать? Вскоре, как вы увезли котлы из Балигта, пришел я сюда, потом у карийских каторжан побывал, старого друга своего встретил, Клименко. А тот свел меня кое с кем из умных людей. Из тех, кто батюшке царю табачку в чай подсыпает... Говорят они мне: «В Балигта ты первый класс школы окончил, а теперь уже в третий можно переводить». Многое узнал я там! Новые люди появились, новые книги, много нового... Я даже песни сочинять стал. Хочешь послушать?

— Давно я тебя улигершином считаю, — улыбнулся Шара-Дамба. — Спой.

И Галсан запел:

Не пою водопада сверканье,
Нисходящего с камня на камни,
И не кланяюсь черному ветру,
Что ломает зеленую ветку.

Я пою неподкупно и свято
Светлолицего русского брата...
Ты был сослан за лучшую быль
Кандалами мести нашу пыль.

Невеселой гонимый судьбою,
Ты пронес свою правду с собою.
Твоя песня светла как душа;
Внемлют люди тебе не дыша¹.

— Галсан... Галсан! — только и выговорил Шара-Дамба.

— Прости, друг. Может, в песне этой не все гладко, может, что не так... Я хотел отблагодарить тех русских, которые сами страдают на каторге, к тачкам цепями прикованы, а не падают духом, правду нам несут. Помнишь, какой я был раньше? Повеситься хотел или утопиться. А потом с одним русским поговорил, с другим, с третьим... И начали у меня раскрываться глаза. Многого я еще не понимаю, но я знаю главное: так не должны люди жить!.. Если уж нойоны на меня зубы наточили, значит, не зря я живу на свете!

Шара-Дамба обнял Галсана.

Ветер свистел в жестких травах. В этот вечерний час бедняки выходили из жилищ, чтобы посмотреть, все ли прибрано во дворе. Ламы спешили в храмы, чтобы умиловить богов. Сквозь завывание ветра можно было расслышать неведомую песнь. Она то замирала меж холмов, то звучала отчетливо, будто певцы находились вблизи. Ламы торопились укрыться в храмах, а простые араты приподнимали малахай, чтобы узнать, о чем поют люди в такой холодный осенний вечер.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРИЗ ДАЛАЙ-ЛАМЫ

Комолый красный вол китаец Мо Фей неторопливо ступал меж зеленых загравков дороги. Коричневый от солнца и времени, морщинистый Мо Фей то и дело помахивал кнутом:

— Ш-шь, ш-шь, ш-шь!

Хорошо зная своего хозяина, вол вертел головою и отмахивался хвостом, но шага не прибавлял.

¹ Перевод Ю. Кузнецова.

Жалма и Булад сидели на телеге поверх поклажи. Они первые увидели вершину священной горы.

— Смотрите, Хан-Ула!

Разделяя радость людей, пел в ясном небе жаворонок.

У подножия Хан-Улы, в широкой долине, путники увидели тысячи коней и толпы народа. Со всех концов Забайкалья, из северной части Халха-Монголии собрались сюда любители народных игр и состязаний, торговцы, картежники и прочий люд. Мо Фей и Аламжи с семьей прибыли последними.

В стороне от общего лагеря возвышались белые, похожие на грибы, юрты для лам и важных чиновников. Вблизи этих юрт на длинном шесте развевался даржак — молитвенное полотнище. Вокруг рыскали монгольские собаки-волкодавы, пожирая остатки ламской пищи.

Поддерживая друг друга, шли двое пьяных. Большая собака с разбегу набросилась на одного из них. Несколько других псов подбежали сзади, стали хватать его за полы. Потом раздался выстрел, и одна собака клубком покатила по земле, остальные отскочили подальше.

Люди побежали на пригорок: что там за смельчаки затеяли драку с собаками?

То были купец Кукушкин и урядник Пустяков. Руки урядника дрожали, и он никак не мог затолкнуть револьвер в кобуру. Кукушкин помог ему и, разглядывая оторванный рукав своей поддевки, крикнул толпе:

— Кто хозяин этих собак? Кто возместит мне убыток?

Стоящий поодаль русский старик приложил козырьком руку к глазам:

— Однако Демьяну Пустякову да купцу Кукушкину досталось на орехи...

— Мало досталось! — возразил Шара-Дамба. — Правильно у вас, русских, говорят: «До бога высоко, до царя далеко...»

— Верно, стрелец стреляет, да и мошну не забывает. Расея!.. Никто у нас так не вознесен, как полиция.

Множество людей толпились вокруг круглого, правильной формы, бугра, на котором должны были проходить состязания борцов. Уже и сейчас там происходило что-то интересное: время от времени оттуда доносились смех, ругательства, веселые выкрики. Любопытные, протиснувшись вперед, замечали, что больше всех и заразительнее всех смеется седоголовый человек с кожаным

мешочком в руках. Это был азартный Загда. Он поднимал над головой толстую кость, отросток верблюжьего позвонка. Самые сильные брали ее в руки и пытались переломить ударом кулака.

— За три удара двадцать копеек! — потряхивая мешочком, выкрикивал Загда. — А кто сломает кость, получит все деньги!

Это была старинная народная игра. Ее затевали и на больших и на малых праздниках и просто в свободное время. Многим хотелось получить мешочек с деньгами, и они выкладывали двугривенные, полтины, а то и рубли. Но случалось, что кость оставалась целой, и тогда вся выручка переходила в карман того, кто верховодил.

— Пойдите, пойдите! Не уходите, сам Бухэ-лама идет, легок на помине!

Поднявшийся было с земли Загда неохотно сел, потрянул кожаным мешочком. Бухэ-лама раздвинул мощным животом толпу, поднял воткнутую в землю кость и посмотрел ее на солнце. Делал он это неспроста: ведь в солнечном свете видны даже маленькие трещины. Зная силу и хитрость бродячего ламы, Загда изменился в лице. «Принесла его нелегкая! Сломает кость, ни копейки не заработаю», — подумал он и украдкой отсыпал половину денег в длинный рукав халата.

— Сколько платить? — спросил Бухэ-лама.

— За три удара двадцать копеек.

— Эй, подождите! — подскочил Намдак. — Кто хочет побиться об заклад?

Люди молчали. Слов нет, Бухэ-лама славился силой, но кость-то, видимо, попалась крепкая... Вон сколько людей уже било по ней.

— Так кто же хочет биться об заклад?

Намдаку не отвечали. Пользуясь тем, что все смотрели на него и на Бухэ-ламу, хитрый Загда продолжал отсыпать деньги из мешочка в рукав.

— Много там денег у тебя?

— Вот сколько! — промямлил не на шутку перепуганный Загда и потрянул мешочком.

— Буду биться об заклад, слышишь, мошенник! На все деньги!

Загда опешил. Он никак не мог сообразить: соглашаться или не соглашаться на это? Уж если биться об заклад, то не лучше ли ссыпать все деньги обратно?

— Ладно, ставлю, — согласился Загда.

Поглядывая то на мешочек, то на кость, Бухэ-лама бросил Загде рубль мелочью. Потом, зажав кость в руке, Бухэ-лама размахнулся и нанес первый удар. Загде показалось, что удар пришелся не по кости, а по его голове. На мгновение он закрыл глаза. А когда открыл, то увидал, что кость цела.

Загда засмеялся тайком. Рукава его халата зашевелились; деньги перекочевали обратно в мешочек.

Но Намдак не хотел сдаваться, он кричал Бухэ-ламе: — Давай еще! Бьешь, как сопливый хубун! ¹

Лама зло покосился на богача, затем перевел взгляд на мешочек и зажал кость в руке. Снова посыпались удары, и снова кость осталась цела. Обескураженный лама тыльной стороной ладони вытер с лица пот, швырнул кость на землю и зашагал прочь.

Намдак весь посинел. А Загда высыпал в подол содержимое мешочка и стал считать. Люди придвинулись совсем близко: каждому хотелось узнать, сколько уплатит богач Намдак.

— Шесть рублей проиграл!

Для богача шесть рублей — невелики деньги. Но дело не в этом! Кто тянул его за язык? Двух баранов проиграл он за время, которого хватило бы только для того, чтобы выпить чашку чая. Нехотя вытащил он из кармана кошелек, зубами развязал ременный шнурок и начал передавать Загде столбики завернутых в бумажки гривенников. Шесть столбиков перешли в мешочек Загды.

В это время у пригорка остановился вол Мо Фея, и Аламжи увидел, что удрученный Бухэ-лама выбирается из толпы, а Намдак расплачивается с Загдой.

— Сколько платить? — подойдя спросил Аламжи и взял верблюжью кость в руки.

— Двадцать копеек серебром. Ударишь три раза...

Аламжи глянул на Мо Фея. Тот поморщился, как от зубной боли, но все же полез в карман и вытащил двугривенный. Редкий из стоящих на пригорке не знал бедняка Мо Фея. Непонятна была его щедрость. С чего бы это нищий стал разбрасываться двугривенными?

— Ее можно разбить только топором на наковальне. Зря деньги тратишь.

¹ Х у б у н — мальчик, подросток.

Аламжи помолчал.

Увидев бывшего своего батрака с костью в руках, Намдак сразу же вернулся и протиснулся вперед.

Загда смотрел на окружающих, на нового силача, который подарил ему двугривенный, и был доволен. Тем временем, выбрав наилучшее расстояние между кулаком и костью, Аламжи размахнулся и обрушил на нее такой удар, что кость сломалась. На мгновение Загде показалось, будто священная гора Хан-Ула вздрогнула и закачалась.

Толпа ревела от восторга. Загда пошарил в подоле халата и на земле вокруг себя,— мешочка не оказалось. Хохочущий Намдак указал ему на удаляющихся Аламжи и Мо Фея.

Горе разорившегося Загды никого не тронуло, все устремились к белым юртам, возле которых появился верблюд с подвешенным к шее большим барабаном. Хуварак с бритой головой в красном, перекинутом через плечо орхимжо принялся размеренно бить в барабан. Люди шли на эти звуки. Ламы сидели на олбоках на северной, почетной стороне образовавшегося круга. Ниже всех, подбоченясь, восседал чернобородый лама в латунной шапке, похожей на большую тарелку. Рядом с ним скрестил ноги пожилой лама. Намотав на руку четки, он шептал молитву. Еще выше сидел молодой лама с аккуратно подстриженными усиками. Чаше всего он оборачивался в сторону, где толпились женщины и девушки.

В толпе шептались:

— Это Чойжиншо... Он приехал из Лхасы, от самого Далай-ламы. Привез деньги для награждения победителей.

— Смотри, какой красивый!

— Долго ли будет он в наших краях?

Но вот смолкли разговоры, водворилась тишина. Высокий сухощавый человек с длинной белой бородой подошел к ламам и поклонился. Получив благословение, он взял латунные тарелки и, ударяя ими друг о друга, обошел круг изнутри. Тотчас же пятьдесят борцов вышли в круг и тоже направились к ламам за благословением. Под звуки латунных тарелок они разделились на две группы и опустились на землю друг против друга. Белобородый

поочередно подходил к каждому силачу, и тот быстро вскакивал на ноги. Бородач осматривал на борце одежду, совал кулак за пояс, проверяя, туго ли затянут... Вот он остановился возле Бухэ-ламы. Грузный лама только чуть-чуть приподнялся и сразу же сел. Тогда седобородый ткнул его кулаком в лоб с такой силой, что лама откинулся назад и наконец, весь красный от стыда, поднялся на ноги.

— Кто этот седобородый?

— Силач Лубсан, приехал с Онона.

Лубсан сильно потянул ламу за тугой, шириной в ладонь пояс, почти невидный в складках жирного живота.

— Слабо завязал, очень слабо. Затянись как следует!

Поглаживая бороду, Лубсан отошел от Бухэ-ламы, стал делать замечания другим борцам.

Неспроста гордился Лубсан своей солдатской выправкой, своими наградами и всей своей жизнью: он служил в Селенгинском полку, который в свое время стяжал себе славу под Смоленском в боях против войск Наполеона. Разве есть в Российской империи человек, который не гордился бы знаменем своего полка! Под этим знаменем и Лубсан сражался с врагами отечества в Крымскую кампанию 1853—1856 годов. Александр II пожаловал селенгинского бурята солдатским «Георгием» и медалью.

Много воды утекло с тех пор. Сперва Лубсан был начальником пограничной заставы Тугшин на Ононе, а потом по старости вышел в отставку. Памятуя его прошлые заслуги перед престолом, начальство назначило Лубсана заседателем при тайше. Местные буряты, даже из богатых, не очень радовались этому: за долгие годы службы Лубсан разучился укрощать свой горячий нрав и часто пускал в ход кулаки. Не раз поступали на него жалобы, но начальник Нерчинского уезда защищал старого служаку.

— Назад, назад! — кричал Лубсан.

Люди безропотно пятились, раздвигая круг пошире. Со стороны, где сидели женщины, слышался смех и затаенный звон, словно множество рук перебирало серебряные монеты: это тихонько позвякивали украшения, вплетенные в волосы женщин.

Самый последний бедняк имел при себе и нож, и огниво, и трубку. Пусть они были отделаны не рогом, не

серебром, а простой медью, все равно каждая вещь была отмечена мастерством. Недаром путешественники писали, что произведения лучших бурятских мастеров соперничают и с тульскими, и с китайскими. В последние годы сильное влияние на ремесла оказали русские, сосланные сюда царским правительством, а также развивающаяся торговля с центральной Россией: русские купцы привозили сюда железные, серебряные и золотые вещи в обмен на пушнину, а сами буряты с обозами собольих, беличьих и выдровых шкурок доходили до Волги и дальше...

Расширив круг, Лубсан снова загредел латунными тарелками. Двое парней в подвернутых до колен штанах и без рубашек отделились от борцов и поклонились ламам. Чойжиншо-лама едва прикоснулся к их головам. Сидящий посредине настоятель Агинского дацана старался во всем подражать высокому ламе из Тибета. Зато чернобородый лама, цугульский гэгэн¹, вопреки своему сану, благословляя борцов, ударял их по головам тангутской книгой в деревянном переплете, да так сильно, что те морщились от боли.

Парило солнце. Настоятель Агинского дацана лениво обмахивался пышным веером из хвоста яка. Казалось, земные страсти не волнуют его. Зато цугульский гэгэн весь преобразился, когда в круг вошел Бухэ-лама. Очевидно, гэгэн тайком поставил немалые деньги на своего давнего друга. Биться об заклад святому служителю не подобало, но гэгэн был еще сравнительно молод и не думал о грехах.

Бухэ-лама, по всему видать, решил оправдать надежды тех, кто поставил на него, а заодно положить в свой карман триста рублей золотом, отпущенные из казны Далай-ламы. Некоторых борцов он так сжимал, что те садились на землю и больше уже не помышляли о схватке. Одного из противников Бухэ-лама швырнул с такой силой, что бедняга обеими руками схватился за землю.

Цугульский гэгэн захохотал. Настоятель Агинского дацана поморщился и, сделав вид, что тянется за зонтиком, ткнул в бок потерявшего приличие соседа.

Откуда у цугульского гэгэна могла взяться воспитанность? В дацан принесли трех младенцев, родившихся

¹ Гэгэн — святой.

вскоре после кончины старого гэгэна. Бросили жребий и нарекли счастливца Сахия-гэгэном.

С тех пор как Сахия-гэгэн надел желтое монашеское одеяние, почти единственным его занятием стало благословлять верующих. Это занятие ему прискучило. Благословляя, он уже не шептал священные тексты, а попросту бил верующего по голове тангутской книгой.

Состязания продолжались. Из пяти десятков отобранных силачей оставалось не больше десяти: побежденные сразу же одевались и смешивались с толпой.

Каждого борца сопровождали свои люди. Вокруг Бухэ-ламы вертелись дацанские послушники и молодые ламы. После каждой победы они отводили его в черную тибетскую палатку, разбитую на склоне холма. Лама падал на разостланный войлок, а послушники обмахивали его тело веерами, смачивали лицо водой.

После того как Аламжи одним ударом переломил верблюжью кость, Намдак забрал деньги, поставленные на Бухэ-ламу, и стал держать сторону своего бывшего батрака. Он сам привел Аламжи в свою белую палатку и принялся обмахивать его влажным платком. Помогали Намдаку десять человек, поставивших на Аламжи. Все шумели. Некоторые пытались успокоить себя хмельной аракой. Но больше всех волновалась, конечно, Жалма. В конце концов, если Намдак проиграет, так ему и надо. Но сколько бедняков поставило на Аламжи! Неужели он не оправдает их надежд?

Зрители все еще освистывали селенгинца Дамдин-Сонгола, которого он только что поборо.

Изнывая от жары, Аламжи отпил из кувшина холодной колодезной воды. Надо было как следует отдохнуть перед решающей схваткой...

Белобородый Лубсан в очередной раз ударил в латунные тарелки, в круг вошли Бухэ-лама и баргузинский борец Тэнэг-Бухэ¹. Кто-то из этих двух «бухэ» должен будет схватиться с Аламжи.

Прошло несколько минут, и палатка вздрогнула от гула:

— Баргузин! Баргузин!

Аламжи решил, что Бухэ-лама побежден, и на сердце

¹ Тэнэг-Бухэ — Глупый Силач.

у него стало спокойнее. Накинув на плечи халат из синей далембы¹, он выбежал из палатки.

Преждевременно было его торжество! Оказалось, что повержен баргузинец, а не силач Бухэ-лама. Он гордо пританцовывал перед зрителями. Послушники увели его в палатку, чтобы освежить перед последней схваткой. А баргузинский Тэнэг-Бухэ сидел на земле и одевался. Глаза у него покраснели, к ободренным щекам прилипли комочки земли. Вид у него был настолько жалкий, что Аламжи отвернулся...

Вокруг шумел народ, прославляя Бухэ-ламу, сильнейшего из сильных.

Аламжи поцеловал детей, заглянул в любящие глаза жены, и как всегда, ободряющий ее взгляд вернул ему спокойствие.

Скоро, сопровождаемый двумя хуvaraками, в круг вошел Бухэ-лама. К Аламжи подскочил Намдак и застонал от волнения. Он повел его на сближение с противником. Тысячи глаз следили за каждым движением борцов. Они еще не сделали ни единого шага навстречу друг другу, а люди уже кричали:

— Этот, высокий, победит!

— Нет, победит толстый лама, ему помогают боги!

Вспомнив, видимо, свои молодые годы, Лубсан так разволновался, что забыл на этот раз ударить в тарелки.

Борцы сошлись. Аламжи рванулся и зажал голову Бухэ-ламы под мышкой. Тот быстро выпрямился и освободил голову. Лама тяжело дышал, ворочал налитыми кровью глазами. Отступая, он вытер потный лоб и остановился. Аламжи настиг его и хотел дать подножку, но получил сильный удар в грудь. В следующее мгновение Бухэ-лама схватил его за плечо, но не удержал. В глазах у Аламжи потемнело. Бухэ-лама отступил на шаг, нагнулся, намереваясь нанести последний удар головой в грудь Аламжи, но тот ловко нырнул под него. Воспользовавшись этим, Бухэ-лама захватил шею Аламжи и стал пригибать к земле. Аламжи задыхался. Он пытался приподняться, отшвырнуть ламу и не смог. А Бухэ-лама все сильнее сжимал его шею.

Зрители затаили дыхание. У Жалмы и Булада округлились глаза. Намдак скорчился и опустился на траву.

¹ Далемба — вид ткани.

Цугульский гэгэн, не помня себя, вскочил с олбоков и дико закричал.

На лице у Бухэ-ламы исчезли все дырочки, даже нос потерялся на его лице. Вблизи было видно, как дрожат его щеки. Было страшно смотреть, как Бухэ-лама пытается задушить противника: ведь правила борьбы разрешали любые приемы, можно было даже тыкать пальцами в глаза.

Все ниже пригибалась к земле голова Аламжи, все радостнее становилось на душе у Бухэ-ламы. Сперва чуть-чуть, а потом все смелее начал он приоткрывать глаза, вскоре на его лице обозначились узкие прорезы. Бухэ-лама попытался дать подножку, но его короткие ноги никак не доставали до ног противника.

— Аба! — не выдержал Булад и вбежал в круг. — Он тебя ногой хочет поддеть!..

— Не мешай, щенок! — метнулся к нему Лубсан.

Малыш вернулся к матери, уткнулся носом в подол и заплакал. «Жалма, Жалма! Разве ты не видишь: такая тяжесть под силу не каждому смертному!..» Упираясь ладонями в колени, Аламжи думал только об одном — не коснуться руками земли, выждать миг, когда можно будет собрать воедино все силы и рвануться. До него донесся голос Жалмы, она успокаивала детей. И он почувствовал, что то единственное мгновение наступило. Он подался назад, снял правую руку с колена и с силой ударил противника в живот. Железные руки Бухэ-ламы разжались, он отлетел на несколько шагов. Аламжи выпрямился и полной грудью вдохнул воздух.

Бывает, несколько камешков срывается со скалы и с шумом увлекают за собой другие. Проходят секунды, и по крутому склону уже грохочет камнепад. Вслед за отдельными выкриками, подобно камнепаду, рев разразился над многотысячной толпой. Сторонники Бухэ-ламы сыпали проклятия на голову бездомного бродяги, а его противники ликовали. Забыв про свои годы, Намдак прыгал на одной ноге, как ребенок. Размахивая островерхой шапкой, старик Тагар тряс своей козлиной бородой.

Из носа Аламжи сочилась кровь, но он не замечал этого. Лиственница возле шалаша была куда тяжелее, чем Бухэ-лама. Значит, не надо бояться, надо смелее наступать. Приблизившись к противнику, Аламжи ухватился за его пояс, потянул на себя. Лама сделал то же. И вот

они снова сцепились, каждый одной рукой держась за пояс противника, а другой — пытаюсь вывернуть пальцы друг другу. Согнувшись под прямым углом, упираясь плечом в плечо, они двигались по кругу, изматывая один другого. Потом они ухватились за пояса обеими руками, тесно прижались головами и плечами... Неожиданно Аламжи рванул ламу на себя, откинулся назад и дал подножку. Бухэ-лама едва удержался, ноги его дрожали. Чувствуя, что противник слабеет, Аламжи нырнул под него, схватил его под колени, выпрямился, повернулся несколько раз кругом и бросил семипудовую тушу назад.

Толпа взревела. Интерес к поверженному Бухэ-ламе остыл, все обратились к победителю. Даже Чойжиншо-лама, до сих пор степенно сидевший на олбоках, приподнялся и стал что-то кричать по-тибетски. На нем была высокая, простроченная по бокам шапка с белым шелковым кружком посередине. Пристегнутый костяными пуговицами поперек груди передник с вышитым драконом, черные плисовые сапоги с подошвой в три пальца, подстриженные усики — все это было ему к лицу.

Шэрэтэ¹ Агинского дацана, прислушиваясь к словам гостя, почтительно кивал.

Аламжи побежал по кругу. Поравнявшись с ламами, он низко поклонился, чтобы получить благословение. Чойжиншо-лама по-прежнему что-то кричал старенькому настоятелю, но Аламжи мог разобрать только слово «Далай-лама», — никто здесь кроме настоятеля, не понимал по-тибетски... Получив благословение, Аламжи еще раз пробежал по кругу, кланяясь зрителям, и свернул наконец к белой палатке Намдака.

Всеми покинутый Бухэ-лама медленно приподнялся и посмотрел по сторонам.

— Конец! Собачий конец! — выплевывая кровь изо рта, прохрипел он.

Аламжи вошел в палатку и сразу же свалился на землю. Несколько человек кинулись к нему, стали обмахивать его платками. Жалма от радости не могла произнести ни слова. Молча обняла она мужа, положила голову ему на грудь и заплакала.

Булад не мог понять, отчего мать плачет.

¹ Шэрэтэ — настоятель.

— Не плачь, мама! Теперь у нас будет и молоко, и мясо.

— Да, сынок! — приподнялся Аламжи. — Теперь мы будем жить лучше.

Он гладил жену по волосам и улыбался. Все с завистью смотрели на могучего борца.

И тут в палатку вбежал Намдак.

— Еще один борец приехал! — объявил он. — Хочет бороться!

— Ламы разрешат? — спокойно спросил Аламжи.

— Кажется, уже разрешили...

— Ну что же! Если он победит всех, кого победил я...

Жалма схватила мужа за руку.

— Не беспокойся! Выдохнется, не добравшись и до баргузинского Тэнэг-Бухэ, какой-нибудь хвастунишка. Ничего не поделаешь... Совсем отказаться нельзя, что скажут люди нашей степи?

— Мы не дадим тебе бороться! — в один голос запротестовали Намдак и Мо Фей.

— Подожди, подумай еще, — поддержал их Шара-Дамба. — Сплеча рубить не следует.

— Подготовься, Аламжи! — крикнул вошедший в палатку старик Тагар.

У входа показался белобородый Лубсан с латунными тарелками в руках. Он молча постоял, послушал, о чем здесь говорят.

— Так нельзя! Все бедняки ставили на Аламжи!

— Не соглашайся, Аламжи!

— Чего испугался, мальчик? — улыбаясь, обратился к Аламжи Тагар. — Ты вон какой здоровый, верблюду не уступишь. Победишь, слава по степи впереди тебя поскочет!

— Готовься, Аламжи! — сказал наконец Лубсан.

Он похлопал его по плечу, одарил сочувственной улыбкой, повернулся по-солдатски налево кругом и вышел. Народ валом повалил вслед за ним.

— Аламжи, а если вдруг...

— Не беспокойся, Жалмахэн! Только дьявол сейчас может со мной потягаться. Тому с двадцатью бороться надо, а мне с одним.

— Кто посмеет спорить со старым настоятелем! — раздвигая вход в палатку, зло проворчал Намдак. — Он упрям, как тибетский осел.

— Откуда прибыл борец? — поинтересовался Аламжи.

— Говорят, из Верхнеудинска. Многие парни боялись идти на него... Сейчас он схватится с баргузинским Тэнэг-Бухэ!

— Ничего! — взял себя в руки Аламжи. — После Тэнэг-Бухэ остается еще Бухэ-лама. А это не ягненок!

Все кинулись из палатки к пригорку. Жалма задержала Аламжи.

— Побереги себя! Без выигрыша мы проживем. А без тебя...

С пригорка донесся нарастающий рев. С печальными лицами вошли Намдак и Мо Фей.

— Остался один Бухэ-лама. Баргузинского борца он уложил, как сопливого мальчишку. Готовься, Аламжи!

Намдак наклонился к уху Аламжи:

— Виноваты ламы. Они ставили на Бухэ-ламу, просчитались, и теперь им надо все запутать, чтобы оставить денежки при себе. Окажись победителем твой противник, они бы собаками затравили того, нового...

С пригорка слышался смех. Потом зазвенели латунные тарелки и, словно вихрь степной, пронесся людской гомон.

— О боги, оградите нас!

Намдак вышел, вслед за ним побежали и остальные. Жалма уже не могла удержать мужа. Она лишь крикнула ему вдогонку:

— Возьми халат, плечи прикрой!

Аламжи не вернулся.

Подходя к толпе, он услышал звук, напоминающий падение мешка с песком. Народ снова зашумел, как лес на ветру.

Аламжи протиснулся вперед и увидел Бухэ-ламу, распластанного на земле. Покачиваясь как вол, везущий воз, сутулый широкогрудый человек шагнул к черной палатке.

Аламжи прошел на середину круга.

— Готов? — спросил Лубсан.

— Да, готов! — ответил Аламжи.

Раздался звон тарелок. Из черной палатки показался сутулый борец. И вот противники уже пошли друг против друга. Лицо сутулого борца было непроницаемо. Нижнюю часть его красных щек закрывали мохнатые усы, на лоб упали пряди черных волос с проседью. Противники нагнулись, стукнулись головами, закружились по пло-

щадке, как барсы. Сутулый схватил Аламжи за руку и сжал пальцы. Тот высвободил руку и откинулся назад. И тут произошло что-то непонятное. Вместо того чтобы вновь кинуться на противника, сутулый замер как могильный камень. Волосы его растрепались, обнажив на лбу широкий красный шрам, уходящий к виску. Кровавый шрам этот задвигался, желтые глаза остановились на руке Аламжи, где не хватало пальца.

Страшная догадка мелькнула в голове Аламжи. Глаза его разом погасли, скулы покрылись испариной и стали походить на мокрые булыжники. Он снова глянул на красный шрам и почувствовал, что ноги его начинают дрожать, спина сгибается, как нагретая свечка, тело слабеет. Ему захотелось упасть на колени и заплакать... Людям, которые держали на него пари, показалось, что черный сутулый борец наступил им на сердце.

А тот неотрывно смотрел на куцый палец Аламжи. Его глаза сузились, синие губы отвисли...

Зрители продолжали молчать. Даже выдавший виды старик Лубсан ничего не мог понять. Он неподвижно стоял возле замороженных борцов. «Что случилось с ними?» — мысленно спрашивали себя люди и не могли ответить. Лишь ревнители желтой веры обратили наконец внимание на то, что у обоих борцов нет кос, и у них начали возникать подозрения...

В давние времена богдыхан приказал всем своим подданным носить косы, но монголы отказались выполнить это повеление. Жестокое преследование ни к чему не привели: араты упорно не хотели вводить у себя маньчжурские обычаи. Тогда хитрый богдыхан издал другой приказ: права ношения кос лишались воры, бандиты и убийцы. И понятно, что никому не захотелось ставить под сомнение свое доброе имя...

Когда Аламжи бросал на землю одного силача за другим, никто не обратил внимания на его голову. Но теперь — другое дело. Кто он, этот Аламжи? И кто его сутулый противник? Ведь оба они нарушили установленный обычай.

Борцы по-прежнему не двигались с места. Колени Аламжи подгибались, руки повисли как плети, голова упала на грудь. В эти томительные минуты он вновь пережил все, что произошло между ним и отцом семь лет назад. Он вспомнил, как сжег палец, как схватился с

отцом у колодца и, спасая любимую, ударил его листовенным брусом. Покидая милые степи, он терзался тогда, что убил отца. Но нет, он не убил его! Вот стоит он, его отец. Вспомнил ли сам отец, как пытался женить семнадцатилетнего сына на старой дочери Шаралдая? Как заставил его возжечь светильник собственным пальцем? Как темной ночью бросил в колодец непокорную батрачку Шаралдая? Неужели забыл он, как мелькнула дубина в руках сына и он, отец, обливаясь кровью, упал?

Нет, ничего не забыл Наван-Чингиз. Не его вина, что судьба столкнула отца и сына, как собак, готовых драться из-за брошенной кости. И все-таки он пойдет наперекор судьбе, он не поднимет руку на сына...

Аламжи то ли сам пошатнулся, то ли качнулся навстречу ему отец, но в это мгновение ему почудилось, что отец хочет накинуться на него.

Аламжи схватил Наван-Чингиза под колени, но силы оставили его, хотел сделать подножку и не мог. Его глаза будто заволокло туманом, уши его будто залепило глиной. Он не сознавал, что делает.

У Наван-Чингиза не осталось времени для размышления. Он видел, сын нападает на него, значит, он не отказался от мысли завоевать подачку Далай-ламы. Шрам на его лбу снова задвигался, глаза округлились, на висках забились синие жилки. Отец нагнулся, выпрямился, обе ноги Аламжи мелькнули в воздухе, и он полетел головой вниз.

Наван-Чингиз подошел к ламам, наклонился, получил благословение, отошел в сторону и лег. Никто не мог даже предположить, что победитель плачет.

* * *

Шея у Аламжи болела, будто в нее воткнули деревянный кол. Теплый ветер ласкал его, лицо его орошал дождь. Но это был не дождь, а слезы Жалмы. И не ветер ласкал его, а все та же любящая и многострадальная Жалма. Она так измучилась, что могла лишь беззвучно плакать да гладить большие, сейчас уже бессильные руки своего Аламжи.

Вскоре тень Хан-Улы легла на долину. Людской говор, скрип телег, ржание и топот коней стали стихать. Постепенно степь замолкла.

«Разве я в лесу, возле шалаша?» — приходя в себя, подумал Аламжи. Он открыл глаза, попытался поднять голову. Тело его было тяжелым и неподатливым. Наконец ему удалось приподняться на локте. Праздник закончился, все разъехались. Аламжи увидел возле себя плачущую жену, а немного поодаль — одинокую повозку Мо Фей. Китаец увязывал котел и гремел посудой.

Разобрав дырявую палатку, Мо Фей натянул ее над повозкой, запряг комолого вола. Затем он положил в тарелку несколько буз и направился к Аламжи. Ему жаль было этого большого хорошего человека, но он не знал, как выразить свое участие.

Булад жадно смотрел на тарелку: он был голоден. И Мо Фей протянул бузы ему.

— Бери, мальчик!

— Кушай, сынок! — пришла на помощь сыну Жалма. — Дядя Мо Фей добрый, он тебя любит.

Булад не заставил себя упрашивать.

Мо Фей присел на корточки.

— Да, я люблю детей. У меня их девятеро. Люди зовут меня скупым. Разве я скупой? Аламжи, ты хороший человек, и не печалься шибко: ты можешь взять на плечи своих детей и идти куда хочешь. А как я своих возьму?

— Но куда же мне идти? Ни юрты у меня, ни очага, ничего...

— Не беда это! Работать надо. Одолеешь человека — все равно до смерти на выигрыш кормиться не будешь. Только работа может кормить. У меня тоже не было дома, не было даже места, где поставить палатку. Родился я в Шанхае. Отец натянул палатку в лодке и жил на воде. У него было восемнадцать ртов. Таким, как твой Булад, я уже работал, кормил себя. — Улыбнувшись, Мо Фей добавил: — У вас земля такая хорошая! Разве можно на ней погибнуть? На ней работать надо...

Мо Фей глянул на свою телегу, положил Аламжи на плечо руку:

— Что же сидеть, печалиться? Садитесь, довезу вас до Цугульского дацана или до Онона. — Он взял у мальчика пустую тарелку и направился к телеге.

— Нет! Нам в другую сторону...

— Зачем в другую сторону? — обернулся Мо Фей. — Когда человеку негде жить, любая сторона хороша.

— Спасибо, Мо Фей... Поезжай один.

Китаец подошел к своей повозке. Ленивый вол покоился на хозяина, мотнул головой, качнулся и медленно тронулся с места...

— Счастливо доехать, дядя Мо Фей!

Сумерки сгущались. Громада Хан-Улы уже слилась с горизонтом. Мо Фей, шагавший за телегой, становился все меньше. Наконец он совсем скрылся.

Аламжи ошибся, думая, что все уже покинули подножие священной горы. Юрты лам только разбирали и грузили на телеги. Вдруг с той стороны раздался выстрел и эхом прокатился по горам. У южного склона Хан-Улы кто-то промчался на телеге, запряженной белыми лошадьми. Следом за ней со скоростью камня, выпущенного из пращи, пронесся тарантас.

Через несколько минут к Аламжи подкатил легкий ходок, и из него вывалился Самбу-лама!

— Кто там стрелял?— спросил Аламжи.

— Урядник... Пустяков.

— В кого?

— В того дьявола, что приехал из чужих мест. Я думал, Пустяков убьет его, но он промахнулся... Это дьявол! Как он тебя бросил, Аламжи! Сейчас он то же самое проделал с урядником. А Демьяшка тоже молодец: хоть и ударился башкой об землю, но сразу вскочил и ба-бах! Жаль, что не убил... Кукушкин и Пустяков погнались за ним.

— За что же стреляли в него?

— Из-за денег... Из призовых денег уплатили господину Кукушкину, убытки, так сказать, возместили. Ну, и еще кое-кому... А черный борец заартачился, потребовал все сполна.

— Разве святой Далай-лама послал деньги для того, чтобы платить штраф за собаку?

— Чудак ты, Аламжи!

— Шакалы!

— Не надо расстраиваться, Аламжи! Ты не очень жалеешь, что не получил приза. Все равно тому черному бродяге не много досталось...

Аламжи не отозвался. Он думал о судьбе отца. Опять, как тогда в лесу, привиделось ему, что под бугром поднялась во весь рост его фигура. «Все из-за вас я должен скитаться по свету! И все потому, что не сумел заставить сына следовать заветам предков...»

Аламжи взгляделся в надвигающуюся темноту и понял: это не отец стоит там, а клубятся на горизонте черные облака.

— Садитесь в телегу! Зачем томить детей?

— Нет, мы пойдем пешком!..

— Уважаемый ламбагай, не тревожьтесь,— тихо проговорила Жалма.

Аламжи крикнул ламе:

— Убирайтесь отсюда!

Лама стегнул лошадь.

И снова стало тихо кругом, нигде ни души. Там, где недавно стояла палатка Мо Фея, появились собаки.

Облака над Хан-Улой слились в косматую тучу, опускалась ночь.

КЛЯТВА АЛАМЖИ

Жара. Дорожная пыль горяча, на нее больно ступать босою ногой.

— Видишь, дацан близко!— подбадривая сама себя, сказала Жалма.

Она и до этого отставала, а сейчас и совсем, должно быть, обессилела. Аламжи обнял за плечи жену. Что ждет их там, среди добротных домов и золоченых храмов? Может, следовало бы послушаться китайца Мо Фея, податься в батраки? Или сесть в повозку Самбу-ламы и сразу ехать к нему в дацан?

— Папа, пить!

— Видишь, дацан... придем и напьемся,— едва проговорила Жалма.

Булад лег на землю и загреб в пригоршни песок.

— Вставай, сынок!

Аламжи нагнулся к сыну, вытер полый халата пыль с его лица. Мальчик открыл глаза, и Аламжи увидел в них страдание. Он взял сына на руки и зашагал вслед за женой.

Черные мысли, подобно грозovým облакам, надвинулись на Аламжи. Как его встретит Шаргай-нойон? Даст ли он ему работу? А Самбу-лама? Что скажет он при встрече? Да и захочет ли он разговаривать. От недавних схваток с борцами у Аламжи нестерпимо болела шея, ныло тело, от тяжелых дум разламывалась голова. Он не мог простить себе, что первый бросился на отца.

Но вот наконец и дацан: золоченые шпили главного храма ярко горят на солнце, на четырех загнутых углах крыши стоят отлитые из бронзы лани.

В дацанском поселке проживало не менее восьмисот мужчин, и большинство из них — ламы, связанные обетом безбрачия. Но этот обет последователи Цзонхавы — желтошапочники соблюдали не очень строго. Вот почему богдыхан запретил китайцам, отправляющимся к желтошапочникам брать с собой жен. Буряты и монголы, работающие в дацанах, тоже оставляли свои семьи в родных кочевьях.

Запах вареного мяса, жареного лука и чеснока напоминал путникам, что они со вчерашнего дня не держали во рту даже щепотки поджаренной муки. Буладу вспомнился Мо Фей с его вкусными бузами. «Вот бы подошел к нам такой же добрый дядя», — подумал мальчик.

Аламжи зашагал быстрее. Но разве можно уйти от голода? А тут еще увидел он стоящий посередине улицы на каменном очаге огромный котел, тот самый, что был привезен в дацан на быках ранней весной, Аламжи сразу же узнал этот котел. В разных направлениях от котла уходили хуvaraки с медными кастрюлями.

Жалма притронулась к руке мужа:

— Попроси для детей чашку супа.

Аламжи не хотелось просить, но взглянув на Булада, он переборол себя и направился к котлу.

— Отойдите подальше! Отойдите подальше! — закричал лама, разливавший суп.

— Пожалуйста, чашку супа для голодных детей.

— Разве ты не знаешь, что из ламского котла посторонним нельзя выдавать еду?

— Дети почти сутки не ели...

Исполненный скорбной покорности голос Жалмы больно отозвался в душе Аламжи.

— Пойдем, Жалма! Не надо просить у них... Правду люди говорят: мы и сами в этот котел попасть можем. Они и нас готовы сожрать!

У домика, окруженного частоколом, Аламжи остановился.

— Придется зайти к Самбу-ламе.

Жалма так устала, что ей было безразлично, куда заходить и у кого что просить. В эту минуту ей больше

всего хотелось присесть где-нибудь, хоть среди дороги, а того лучше — прилечь и ни о чем не думать. Все же благоразумие заставило ее возразить:

— Не хочется!

— Останемся на улице?

— Как знаешь...

Говорят, беда одна не приходит. Дом Самбу-ламы оказался на замке. Жалма молча опустилась в тени частокола. Аламжи расстелил свой халат и уложил на него Булада.

— Папа, пить!

Аламжи шагнул к невысокому срубу колодца. Ни ведра, ни веревки не было. Поднялась и Жалма. Она держала в руках бутылку, в которую брали молоко для Балбара. Аламжи привязал к бутылке кушак и стал опускать в неглубокий колодец. Оба наклонились над срубом, в лицо повеяло прохладой. А Жалма вспомнила ту страшную ночь и отшатнулась.

Давно Аламжи не пил такой прозрачной, холодной, такой вкусной воды. Напившись, он еще намочил себе голову, взлохматил волосы.

— Ай, как хорошо! Освежись и ты, Жалма...

Жалма одиноко сидела в тени. Аламжи разом все понял. Он подошел, опустился на колени, но не мог сразу найти слов. Дети уснули в благодатной тени, а сами они еще долго сидели, не решаясь вымолвить слово.

Отец! Он хотел утопить ее вот в таком же колодце. Считали его умершим, а он явился — такой же сильный, как в молодые годы, дерзкий, как чиновник. Откуда он приехал? Что делает сейчас? Где взял он белых коней, с которыми могут сравниться только лебеди? Удалось ли ему уйти от этих коршунов — урядника Пустякова и купца Кукушкина?

Аламжи хотел верить, что отец спасся. Он уже не так, как прежде, был зол на него; невзгоды одинаково гонят их по свету, как ветер гонит по степи вырванную с корнем траву.

— Здравствуйте, дорогие гости! Хорошо ли дошли?

— Здравствуйте! Здравствуйте! — враз поднялись Аламжи и Жалма...

...Самбу-лама отлично накормил их, не забыл и о детях.

Познакомились они года два назад, зимой. Тогда поч-

тенный Самбу-лама гостил у его хозяина, богача Намдака. Он поел вволю, а потом вышел во двор, прихватив с собою несколько обглоданных костей, рассудив, очевидно, что бросать кости, не высосав из них мозг — большой грех. Он разрубил их топором, принялся сосать, но тут кусок мозга вывалился на топор. Не пропадать же ему. Самбу-лама осторожно лизнул его языком, и язык в один миг приварился к железу. Лама попробовал отогреть топор дыханием, но к железу примерзли и губы. Самбу-лама растерялся, не идти же с топором в юрту, где сидят именитые гости и такие хорошенькие женщины-хохотушки?.. Аламжи в это время работал во дворе. Ни слова не говоря, он принес чайник горячей воды, нагрел топор и освободил из железного плена язык и губы ламы... Несколько дней гостил Самбу-лама у богатого приятеля и все эти дни с опаской поглядывал на молодого батрака: не выдаст ли? Тот молчал, будто не было ничего.

«Помнит ли об этом Самбу-лама?» — подумал сейчас Аламжи.

Он чистосердечно рассказал гостеприимному хозяину о своем положении, попросил помочь ему ради малых детей. Самбу-лама внимательно слушал.

— Разве я не вижу твоих мучений? — сокрушался лама. — Еще там, на празднике, я хотел кое-что посоветовать, помочь, как подобает учителю-ламе. Но с тобой стало трудно говорить... Гордость обуяла тебя, Аламжи!

Над поселком раздался трубный рев. Это на крыше храма ламы дули в длинные медные трубы, призывая к вечерней молитве. Самбу-лама вышел из дома. Аламжи последовал за ним. Он тоже решил помолиться, попросить богов вразумить его.

Как того требуют каноны, они три раза обошли главный храм по ходу солнца и уже потом приблизились к недавно выстроенному храму божества Майдари. В обширном дворе ламы копошились и были похожи на пчел, сидящих на шляпке подсолнуха. Ламы сшивали расстеленные на земле полосы желтого шелка. «Сколько здесь красивого шелка! — поразился Аламжи. — Для женщин целого улуса можно бы из него пошить праздничные халаты...»

Они вошли в храм Майдари. Статуя божества, поддерживаемая тремя львами, возвышалась на восемьде-

сят локтей. Она была отлита по частям монгольскими мастерами из восьми тысяч пудов латуни, а потом покрыта золотом. Статуя только недавно была собрана. Из желтого шелка ламы шили для божества одежду. Сложив руки и шепча молитвы, Аламжи трижды поклонился золотой статуе. Потом, по совету Самбу-ламы, он решил обойти дацан по кругу в девять верст.

Те, кто хотел заслужить великие милости богов, двигались особым образом. Они привязывали к ладоням и коленям дощечки, падали плашмя на землю, вытянув руки вперед, затем становились на то место, которого коснулись пальцы, и снова падали. Мучительный путь! Аламжи и сам некогда совершил один из страшных обрядов буддизма, на который способны лишь фанатики,— возжег пальцем светильник.

Отправив Аламжи по кругу в девять верст, Самбу-лама вернулся домой и здесь, неподалеку от дома, встретил Жалму. Она уложила детей и тоже шла в храм.

— Зачем вам ходить?— остановил ее лама.— Вы можете перед моей божницей возжечь светильник и молиться.

Он провел ее в юрту в глубине двора. Здесь стоял запах благовоний. Юрта имела два окна, пол ее был выстлан желтыми досками, а жерди, поддерживающие верх юрты, выкрашены в красный цвет. На стенах висели иранские ковры искусной работы.

Самбу-лама вручил Жалме бутылку с застывшим топленным маслом, вату, стебли сухого ковыля. Подавая большую молитвенную чашку из латуни, он сжал пальцы Жалмы, глаза слегка затуманились, губы задрожали. Жалма слегка оттолкнула его.

— Что с вами? — спросил Самбу-лама и принялся перебирать четки. Его тон и смиренный вид сбили Жалму с толку.— Не бойтесь! Ведь ламы и боги одинаково служат людям.

Жалма обернула ватой стебель ковыля, воткнула его в середину молитвенной чашки, положила туда масла, зажгла светильник и поставила перед богами. Помолившись, она коснулась лбом стола, на котором стояли бурханы, потом преклонила колени перед ламой, чтобы получить благословение. Самбу-лама слегка погладил ладонью ее щеку. В ожидании благословения Жалма

продолжала стоять на коленях. Самбу-лама снова прикоснулся к ее щеке. Жалма вскочила на ноги.

— Какая пугливая! — удивился Самбу-лама.

Глаза Жалмы сверкнули недобро, брови ее сошлись у переносицы. Вдруг она подняла голову:

— Балбар плачет!

— Да, да!.. И очень острый слух...

Когда Жалма вышла из юрты, Самбу-лама в сердцах швырнул на стол четки. Через несколько минут он появился в доме.

— Отчего заплакал хороший малыш? — спросил Самбу-лама. — Не заболел ли он от дневной жары?

Выхоленная рука Самбу-ламы прикоснулась к волосам мальчика.

Но тут вошел Аламжи.

«Этот длинноногий, однако, быстро пробежал по кругу!» — поморщился Самбу-лама. И поднял глаза к потолку:

— Ну, ничего! Все будет хорошо...

— Что с Балбаром? — шагнул Аламжи к ребенку. — Заболел?

Озабоченные родители присели за печкой...

— Уважаемый хозяин дома?

Самбу-лама вышел на голос, с кем-то поздоровался. Затем слышались тяжелые шаги, будто на крыльцо ступил подкованный конь, и в комнату ввалился урядник Пустяков. Под его растопыренными руками по ту сторону раскрытой двери мелькнули чьи-то головы с торчащими косичками и скрылись. Вскоре Самбу-лама вернулся в дом с двумя пожилыми бурятами.

— Проходите, садитесь сюда, — пригласил он, показывая место справа от себя.

Те продолжали стоять. Кланяясь Пустякову в спину, маленький тщедушный бурят говорил:

— Вы садитесь. Повыше садитесь, господин урядник!

Другой, припадающий на правую ногу, в халате с заткнутыми за кушак лапами, махал руками:

— Да, да, пусть садится повыше! Пусть первым садится!

Пустяков опустил по правую руку Самбу-ламы.

— А вы, Рабсал, сюда, — продолжал суетиться тщедушный. — Вот так!..

Наконец после долгих препирательств гости расселись.

— Дэбэр, расскажи, по какому делу мы пришли к уважаемому ламе,— проговорил Рабсал, мотая головой, подобно лошади, отгоняющей оводов.

— А может быть, вы, уважаемый господин, будете говорить первым о своих делах? — обратился Дэбэр к Пустякову.

— Нет, рассказывайте сперва вы сами,— нетерпеливо возразил Самбу-лама.— А господин Пустяков потом...

— Да, я потом, давайте сперва вы,— ломаным бурятским языком подтвердил урядник.

— О тала¹, у вас получается все лучше и лучше! — повернулся Самбу-лама к Пустякову.— Очень хорошо начинаете говорить по-нашему.

— Действительно, господин Пустяков очень хорошо говорит на нашем языке,— в один голос подтвердили Рабсал и Дэбэр и даже вскочили со своих мест.

Самбу-лама и не взглянул в их сторону, он что-то тихонько говорил Пустякову на ухо. Урядник слушал ламу, согласно кивал головой и бросал косые взгляды на притихших бурят.

Пустяков считал себя владыкой в здешних улусах и деревнях, он мог, что называется, казнить или миловать, двинуть в скулу или позволить облобызать свою карающую десницу. Он брал взятки у русских крестьян, у бурят-скотоводов и даже у мелких чиновников с видом человека, который сам жалует их золотым империалом. И ни русские, ни бурятские боги не могли спасти того, кто осмеливался перечить ему или кто по наивности полагал, что может распоряжаться своими средствами без его, Пустякова, вмешательства. Урядника боялись и ненавидели. Но у него не было охоты вникать в чувства, которые питали к нему окружающие. Он знал свою власть и умел ею пользоваться.

Сейчас он будто невзначай вынул из кармана продолговатую картонку, приблизил ее к глазам и перевел взгляд на Рабсала. Тот заметил: на картонке были изображены три человека, похожие друг на друга. Рабсал не был простым аратом, он знал, что это значит. Конечно же, русский кого-то разыскивает и сейчас сравнивает его

¹ Т а л а — друг, приятель.

наружность с тем, кто в трех видах изображен на фотографии.

Самбу-лама и Дэбэр тоже уставились на Рабсала. Еще минуту назад Рабсал был оживлен, доволен собою, а теперь стал бледнеть и озираться по сторонам. Еще минуте спустя он уже дрожал, как преступник, попавший в руки правосудия. К счастью, Пустяков спрятал картонку.

Это действительно была необычная фотография, она доставила хлопот не одному Пустякову. Тысячи урядников и полицейских вглядывались в нее, разыскивая человека, который был на ней изображен. Важный государственный преступник убежал из Верхнеудинской тюрьмы и как в воду канул. За его поимку правительство назначило большую награду.

Аламжи не знал, что за бумажку только что держал в руках Пустяков, но он с ненавистью поглядывал на того из-за печки. Ему противны были неподвижные синевато-серые глаза урядника, напоминающие воробьиные яйца в гнезде, его усы, похожие на истрепанную щетку.

— Уважаемый Самбу-лама! — прервал наконец молчание Дэбэр. — Мы приехали из далекой Хори. Ищем разбойника и вора, известного под именем Наван-Чингиз.

Аламжи, сидя за печкой, похолодел. Он тут же хотел крикнуть этим людям: «Не врите! Мой отец не вор и не разбойник!» Но Жалма, почуя это, повисла у него на руке.

— Молчи! — умоляюще прошептала она.

— Он крупный вор, этот Наван-Чингиз! — словно споря с Аламжи, продолжал Дэбэр. — Ему мало грабить простых людей! Он осмелился украсть у нашего нойона карету с лошадьми. По слухам, он будто перебрался куда-то к вам, в Агу.

— Кони белые? — спросил Пустяков.

— Белые, господин урядник!

— Так, так, — пробормотал Пустяков, — на празднике мы видели и этого вора, и карету, и белых коней.

Дэбэр вскочил и посмотрел по сторонам, будто надеялся сейчас же увидеть бандита.

— Просим вас погадать, уважаемый лама, бросить кости. Нам бы хотелось узнать, где искать разбойника.

— Помогите нам, очень просим! — присоединился к Дэбэру Рабсал.

— Нехорошо получилось, господин Пустяков,— сказал Самбу-лама.— Крупного зверя вы упустили... Этот почище сохатого будет, зверь-то!..

Неподвижные глаза урядника заворочались, щетина под носом поползла куда-то в сторону.

— А что бы вы на моем месте сделали? — рявкнул Пустяков. Рабсал и Дэбэр вздрогнули.— Этот бандит подпустил нас к себе саженой на пятьдесят — и давай стрелять...

Самбу-лама улыбнулся.

— Только бы нам его найти... Смотрите! — Дэбэр вытащил из-за пазухи офицерский револьвер.— Если мы настигнем этого бандита, то попросту застрелим его. Жизнь его нам не нужна. Нам нужна его голова и награда.

Самбу-ламу не интересовали стоимость головы какого-то там Наван-Чингиза, он не собирался ловить его. Ламу беспокоило сейчас другое — много ли дадут эти хоринцы за гадание. Он взял мешочек с костяными кубиками и, шепча молитвы, начал встряхивать его.

— Где вы взяли револьвер? — вскинул голову Пустяков.— По какому праву...

— Дэбэр — сотский полиции, а я десятский,— не дал договорить ему Рабсал и тоже вытащил револьвер!

— Ну, другое дело. Молодцы, молодцы!

А сам подумал: «Хоть и молодцы, но заплатить придется. Все равно без меня вам не обойтись. Вы хоть и хитрые, черти, но и меня на пегой кобыле не объедешь!» И он заговорил с ними по-приятельски, как со своими.

Наблюдая за этой дружной компанией, Аламжи думал о том, что Дэбэр и Рабсал никогда не видели урядника Пустякова, однако хорошо понимают его. А своего сородича поймут ли? Вот выйдет он сейчас из-за печки и скажет: «Я сын того Наван-Чингиза, которого вы разыскиваете». Пустяков его схватит, а они помогать будут. Почему так? Потому что все они слуги царя.

«Раз ищут отца, значит, он цел. Эх, отец, отец! Зачем ты приневоливал меня, жили бы мы все вместе, как было бы хорошо!»

— Шаралдай откормил быка, хотел с выгодой продать его по весне. И этого быка украл Наван-Чингиз! — рассказывал Рабсал, то и дело облизывая кончик большого пальца правой руки, как это делают картежники.

— Невелика мудрость быка украсть! — зашевелил усами Пустяков.

— Да, невелика, господин урядник. Но вы послушайте, вы только послушайте, как он это сделал! Он привел одноколку, поднял передние ноги быка и привязал к деревянному брусу.

— А на задние... на задние надел обыкновенные ичиги¹, — перебил своего приятеля Дэбэр и расхохотался.

— Ичиги? — недоверчиво переспросил урядник.

— Как это ичиги... на быка? — Самбу-лама даже перестал встряхивать мешочек с гадальными кубиками.

— Обыкновенные, сыромятные! — перебивая друг друга, загалдели Дэбэр и Рабсал.

И они стали рассказывать подробности этой необыкновенной кражи. Оказывается, старый Шаралдай, обнаружив между колеями телеги следы человека, собрал чуть ли не всех жителей Тунки и стал сличать обувь с найденными следами. В конце концов загадочные следы обнаружились в сарае самого Шаралдая, они принадлежали его вдовствующей дочке, той самой, на которой он собирался женить Аламжи.

Наван-Чингиз ни разу не попадался с поличным, хотя все улики были против него. Стоило только этому человеку появиться в улусе, как у богачей исчезала скотина. Всякие предосторожности ни к чему не приводили. Потом, когда Наван-Чингиз перебрался в Хори, Дэбэр сам решил изобличить и арестовать неуловимого вора. Встретив Наван-Чингиза, Дэбэр пригласил его домой и попросил обучить воровству. Черный человек якобы согласился. Вьюжной темной ночью, по указанию Наван-Чингиза, Дэбэр запряг в сани самого лучшего коня, и они отправились на промысел. Как только выехали за околицу, Наван-Чингиз взял вожжи и погнал коня что есть силы. Из-под копыт иноходца летели куски льда и снега, били по лицу, но Дэбэр не обращал на это внимания и следил за каждым движением черного человека. А тот все размахивал кнутом, гнал и гнал коня. Но вот что-то больно обожгло Дэбэру глаза, уши, всю голову. Он отпрянул назад и тотчас же почувствовал, что шапка его куда-то полетела, и комья снега полетели ему не только в лицо, но и за воротник. Оказывается, черный человек, погоня ко-

¹ Ичиги — сапоги.

ня, так взмахнул кнутом, что ременная плеть хлестнула Дэбэра по голове, ослепила его и сорвала шапку. Как докажешь, что сделал он это нарочно? Да и к чему доказывать? Дэбэр поднял воротник дохи, закутался в нее с головой и сотворил молитву: не может быть, чтобы боги забыли его в такую минуту...

Неожиданно сани остановились возле чьего-то загона. Наван-Чингиз послал туда Дэбэра, приказав выбрать самую лучшую овцу. Продрогший от холода, страдающий от боли, сотский не заставил себя упрашивать. Он быстро принес овцу, бросил ее в сани, и лошадь снова помчалась. Ночью Наван-Чингиз зарезал овцу, внес мясо в дом Дэбэра. Сварили потроха, сытно поели и улеглись спать. Проснувшись поутру, Дэбэр решил расправиться с Наван-Чингизом. Лежа в постели, он крикнул ему:

— Эй, Наван-Чингиз! Тайша приказал арестовать тебя. Теперь у меня есть улики. Ты в руках полицейского сотского Дэбэра.

— Знаю, кто ты такой, но я не воровал,— ответил Наван-Чингиз, который давно уже оделся и, сидя за столом, завтракал.

— А кто сегодня ночью украл овцу и привез сюда?

— Если найдется хозяин той овцы, я поговорю с ним.

— Ну, это ты уж того... врешь. Вон лежит голова. На ушах метки, по ним любой хозяин узнает... Будем искать хозяина...

— Метки на ушах? Посмотри получше, я что-то не вижу.

Дэбэр глянул и обомлел: перед ним была голова его овцы. Да еще какой овцы — священной! Не веря глазам своим, Дэбэр вскочил с кровати в чем был, схватил голову овцы, поднес ее к окну. Сомнений быть не могло, это его собственная овца с белым пятном на лбу, с подрезанными сзади ушами.

— Сегодня ночью мы ездили на санях...

— Да,— перебил его Наван-Чингиз,— и вы своими руками принесли эту овцу. Есть ли здесь преступление? Если есть, то вы его совершили сами: у богов украли овцу.

Разговор затягивался. Сотский и десятский спохватились, полезли в карманы. Дэбэр положил на стол перед ламою три серебряных рубля, Рабсал последовал его примеру. А тот помешал костяные кубики, разбросал их по столу и стал бормотать:

— Сказал, уходи — пришел, сказал, приходи — ушел... Уши лошади вперед торчат, носки сапог назад торчат... Стой, говорю,— пошел! Ходи, говорю,— стал!..

Искоса поглядывая друг на друга, Дэбэр и Рабсал хлопали глазами. Наконец Рабсал не выдержал:

— Велика ваша мудрость, святой лама, трудно ее уразуметь. Не можете ли вы сказать, стоит он или ушел? Здесь он бродит, проклятый, или опять в Хори удрал?

— Я говорю по велению богов,— поморщился Самбу-лама.— Как поняли, так и поступайте.

Аламжи еле сдерживал себя. Эти люди, конечно, пристрелят отца, попадись он им на глаза. Может быть, подпоить их, отнять оружие и бросить в воду? Ну, а дальше?..

— Аба! Этот Наван-Чингиз — батор?¹

— Да, сынок, настоящий батор! — Он погладил сына по голове.

Вскоре Рабсал и Дэбэр ушли, Самбу-лама провел урядника в другую комнату. Едва они остались одни, Пустяков стал оправдываться:

— Сразу после праздника я собирался отдать вашу долю...

— Я не дождался и вернулся домой.

— Надеюсь, вы не беспокоились? — урядник вынул пять золотых и положил в ладонь Самбу-ламы.

— Зачем беспокоиться? Я имею дело с одним из самых честных людей.

— Кукушкину я дал две монеты...

— Вам лучше знать,— Самбу-лама вздохнул.

— Жаль, что так получилось... Все бы деньги остались у нас, если бы хоринские молодцы вовремя подоспели. Разбойника мы бы арестовали...

— Конечно, так было бы лучше. Но кто же знал!

Так поздним вечером при свете зари в окошке, в уединении, в благости и в согласии беседовали двое — духовный властитель Самбу-лама и светский властитель урядник Пустяков.

* * *

Прошло три дня с тех пор, как Аламжи с семьей пришел в дацан. Шаргай-нойон еще ничего не сказал ему.

Удивляло и поведение Самбу-ламы. Всякий раз, когда Аламжи обращался к нему, тот отговаривал:

¹ Б а т о р — богатырь.

— Не связывайся с Шаргаем. Придумаем что-нибудь другое... Лес валить всякий дурак сумеет.

— Что же мы придумаем?

Самбу-лама только загадочно улыбался и просил еще подождать.

Прошло еще несколько дней, и Аламжи совсем загрустил. Он не привык сидеть без дела, баранина и чай Самбу-ламы не шли ему впрок.

— Прямо не знаю, куда руки девать!

Аламжи набил свою трубку. Жалма, укачивая Балбара, тихо напевала. В песне было все хорошо: баторы садились на быстроногих хулэгов, прогоняли с родной земли завоевателей, ярко светило солнце, в один день вырастали сочные травы, жирели и размножались стада, араты восхваляли защитников-баторов...

Аламжи курил, прислушиваясь.

— Песню эту я знаю. Но откуда в ней про хоринского тайшу и про батора Наван-Чингиза?

Жалма смутилась:

— Сама не знаю. Напутала что-нибудь...

Звякнула щеколда калитки, и вошел улыбающийся Самбу-лама.

— Боги вняли твоим молитвам, Аламжи! Наш благодетель, Туван-хамбо живет в Лхасе. Настоятель ищет надежного человека отослать пожертвования святому Тувану. Я назвал тебя...

Аламжи стоял с опущенной головой. Самбу-лама не увидел в его лице радость.

— Великая честь выпала тебе. Соглашайся!..

— Что будет с женой, с детьми!

— Дацан даст деньги, Жалма купит юрту, корову...

Аламжи молча кивнул.

— Ну, а ты, женщина? Что скажешь?

— Большое вам спасибо...

На западной окраине дацанского поселка стоит большой дом на каменном фундаменте, срубленный из толстых лиственниц. Забор здесь такой высокий, что за ним не видно ни черемухи, ни берез, ни лиственниц, ни тополей, растущих вокруг дома. Но забор не в силах удержать свежее дыхание деревьев. Не задерживает он и запахи вареного мяса, поджаренного лука и чеснока. Всякий человек, проходя мимо, непременно вспомнит, что на свете

есть бараний бульоны, сочные бузы, тающее во рту печенье. Даже в часы молитв, утренних и вечерних, благовонные травы не в силах заглушить запахов монгольской кухни.

Ламам запрещается курить табак, жениться и пить вино. Настоятель Агинского дацана делал и то, и другое, и третье, и еще многое сверх того.

«Я не простой лама, я настоятель дацана, а так много делаю грехов! — так, терзаемый совестью, думал настоятель, лежа на ковре в доме за высоким забором. — Лучше закурить, — пришел он к выводу и потянулся за трубкой. Трубка его успокоила, и он отвлекся на другие, более приятные мысли. Например, хорошо бы вырастить свой табак, какого нигде нет... Или другое: взять человеческий скелет, к рукам подвесить две золотые чаши и провести к ним тоненькие веревочки. Это были бы весы, на которых можно было бы взвешивать греховность и праведность. Придет самостоятельный человек, можно потянуть за веревочку: грехи перетягивают. Пусть он совершит молитвенный круг и пожертвует скотину, золото. После этого чаши весов нетрудно уравновесить: праведные дела и грехи сравнялись. Хорошо бы, в самом деле, смастерить такие весы! Но поверят ли? Теперь так много безбожников!»

От такой мысли настоятель омрачился. Вытащив трубку изо рта, он бросил ее, взял фарфоровую табакерку и насыпал на нготь щепотку нюхательного табака.

— Да, большой грех я совершаю! — сокрушенно покачал он головой и заложил понюшку в нос.

Теперь он забыл про весы и вспомнил молодые годы. Лицо его посветлело. Перед глазами, как живая, встала Сэлсэндуг-Жалма. Он был в хороших отношениях с ее отцом, богачом Шагдаром. Много приятных дней и ночей провел лама с его дочкой. А потом она вышла замуж, ее выдали за очень догадливого человека. У мужа оказывались дела где-нибудь на стороне всякий раз, когда ламе нужно было навестить прекрасную Сэлсэндуг-Жалму. Он совершал молитвы перед ее богами, благословлял ее и в длинные зимние ночи и в короткие летние вечера.

«Если существуют грехи, то я совершил их столько, сколько не совершить десятерым, — снова принялся сокрушаться праведный лама. — Давно я уже должен быть в аду...»

Ему стало жалко себя. Губы его дрогнули, глаза наполнились слезами. Чтобы успокоиться, он взял деревянную чашку, глотнул чаю. Полежав немного с закрытыми глазами, он вспомнил, что перед отъездом дал Чойжиншо шесть золотых по десять рублей каждый. Не зря потрагился? Пожалуй, нет... Этот молодой лама, наверное, еще честный. Если он сдержит слово, замолвит словечко перед Далай-ламой, то настоятель станет главой всех бурятских буддистов. Тогда он будет вторым лицом после ургинского хутухты¹ Чжэбузун-Дамбы и сумеет достойным образом отблагодарить славного Чойжиншо.

Так оно, конечно, и будет. А грехи — кто же их не совершает? Дело только в том, чтобы люди ничего не знали. Вот он, настоятель, научился употреблять табак всеми тремя способами: курить, жевать и нюхать. Не отказывается он и от водки, что считается самым большим грехом. Провожая Чойжиншо, он так напился, что проболел несколько дней. Но разве должен об этом знать каждый хуварак? Для чего же тогда существуют высокие заборы?

Окончательно успокоившись, настоятель встал. Кругом стояла благодатная тишина. Дневная жара спала, солнце медленно опускалось.

Настоятель взял китайскую сигарету с золотым мундштуком, но в это самое время зазвенел колокольчик калитки, и Самбу-лама в сопровождении Аламжи вошел во двор. Настоятель быстро открыл лакированную шкапу, бросил туда сигарету, трубку и табакерку. На верхней крышке шкапулки было написано «ом-мани-падмехум»². Ни один мирской человек не имел права поднять крышку с такой надписью. А ламы не станут шпионить за настоятелем, у них у самих грешки...

Оправив халат и покрыв шапкой голову, настоятель пошел навстречу. Подобно родному отцу, поздоровался он с Аламжи, потом попросил Самбу-ламу принести орхимжо. В ожидании Самбу-ламы настоятель успел перекинуться несколькими словами с Аламжи. Тот посетовал на худые дела.

— Ай-я-я! Нехорошо получается... Но не теряй веры,

¹ Х у т у х т а — глава буддистов Внешней Монголии.

² «О м-м а н и-п а д м е-х у м» — мистическая формула, начало молитвы. В переводе означает: «О, сокровище лотоса». По верованиям буддистов, трон Будды покоится на цветке лотоса.

сын мой. Шолмос похитил твое счастье. Молись всемогущему, и он вернет его...

Самбу-лама принес пурпурное орхимжо и подал настоятелю. Бормоча молитвы, тот накинул его на плечи и направился к храму. Самбу-лама и Аламжи молча последовали за ним.

Миновав высокие заборы, они прошли мимо трехэтажного храма Майдари, по тропинке спустились в небольшой овражек. Отсюда настоятель зашагал к одноэтажному храму, карнизы которого были украшены искусной резьбой, похожей на русские кружева; крыша по углам была загнута как полозья саней, навес над входом опирался на колонны.

Вдоль внутренних стен храма, на высоких подставках, стояло множество бурханов. Одни были величиной с мизинец, другие — с кулак, третьи — с локоть, а некоторые величиной с человека. Все эти золоченые статуи тускло мерцали при свете множества светильников. Агинский дацан расходовал на светильники тридцать пудов масла в год — не так то уж много, если вспомнить, что тибетские дацаны тратили в год до девяти тысяч пудов.

То и дело останавливаясь возле бурханов, настоятель что-то шептал, как бы разговаривал с ними. Здесь были божества двурукие, шестирукие, с тремя и даже с двенадцатью ликами. Иные восседали на лошадях, подобно степным наездникам, а иные мчались на свинье без седла. У Аламжи пестрило в глазах.

Не оборачиваясь, настоятель прошел в следующую комнату и остановился возле Яман-Дага, сидящего на коне с огненной гривой. В руке божества сверкала изогнутая сабля. Аламжи стало не по себе, когда сквозь туман благовоний он увидел его красные глаза и высунутый язык.

Тяжело отдуваясь, подошел Самбу-лама и подал Аламжи кожаную сумку с ремнем шириною в ладонь. Она была небольшая, но оказалась такой тяжелой, что Аламжи от неожиданности чуть не выронил ее.

— Мне передали, что ты согласился ехать в Лхасу, — тихо проговорил настоятель, обращаясь к Аламжи. — Поручение важное, дорога дальняя. Подумал ли ты об этом?..

— Подумал, высокородный учитель... Да, я согласен!

«Вот и все! — мелькнуло в голове Аламжи. — Теперь уже не отступишь, поздно...»

— Вот с ним поедешь! — указал настоятель на горбоносого ламу, который стоял рядом с ним.

Горбоносый Шобдок-лама имел куда бóльшие полномочия, чем отвезти золото Туван-хамбе: Чойжиншо передал настоятелю повеление старейшего учителя Далай-ламы Ионцзын-Римбоचे прислать в Лхасу доверенное лицо для какого-то очень важного дела. Шобдок-лама глянул на Аламжи и обнажил ряд зубов, похожих на ветхий частокол. Аламжи ответил ему наклоном головы.

— Начинайте! — велел настоятель.

Самбу-лама опустился на колени. Шобдок-лама последовал его примеру.

— Вы тоже, вы тоже... — прошептал настоятель, и Аламжи опустился тоже.

— Перед ламами, перед богом... — начал Самбу-лама.

— Повторяйте! — снова прошептал настоятель.

— Перед ламами, перед людьми... — неуверенно произнес Аламжи.

— Не перед людьми, а перед ламами и богами, — поправил его настоятель.

— Перед ламами и богами...

— Буду честным и правдивым...

Настоятель удовлетворенно закивал головой.

—...буду творить святое дело жизни. Клянусь в целости доставить святому Туван-хамбе дары верующих. Если я потеряю эти деньги, пусть лопнут и вытекут мои глаза, пусть они станут пищей змей! Пусть голова моя отделится от тела и станет пищей червей.

Аламжи не смотрел на грозного Яман-Дагу, угрожающего ему саблей. Он механически повторял слова клятвы и следил за Самбу-ламой, который теперь стоял, расставив толстые кривые ноги. Короткие матерчатые голенища его сапог были хорошо подогнаны, обтягивали полные икры. Будто тусклый светильник, трепетал вопрос: «Неужели Самбу-лама помогает нам только из-за одной любви к людям? А может, не одна доброта?»

На другой день Самбу-лама сказал Аламжи, что ему следует поселить семью на южных склонах Алханая, и распорядился выдать ему из дацанской казны двести

рублей. Аламжи купил рабочую лошадь, корову, трех овец, юрту и кое-что из домашней утвари. Мечты Жалмы наконец-то сбылись.

Устроив семью на новом месте, Аламжи снова отправился в Агинский дацан. Версты две провожал его на коне Булад. Он был счастлив: отец подарил ему не только коня, но также новый халат и шелковый кушак с большими кистями!

— Ты теперь большой,— сказал отец на прощанье.— Старший мужчина в юрте... Береги маму. Я не скоро вернусь...

— Хорошо, аба. И маму буду беречь, и Балбара. Я уже, правда, большой...

В дацан Аламжи пришел в полдень и сразу же отправился к китайцу-лавочнику: завтра в дорогу, надо было кое-что купить. Возвращаясь домой, он встретил Горбуна с покупками.

— Галсан,— протягивая руку, назвал себя Горбун, как это принято у русских.

— Я знаю ваше имя,— поспешил сообщить Аламжи.— Шара-Дамба рассказывал...

— Шара-Дамба мастер сочинять. Приветы передал он?

— Передал, спасибо.

Они присели на камень у высокого дацанского забора. Аламжи с интересом разглядывал Горбуна, спасителя Булада. Его, пожалуй, и нельзя было назвать горбуном, а скорее сутулым. Большие черные глаза Галсана смотрели пытливо, на высоком лбу пролегли морщины.

— Слышал, что в обитель богов собираетесь?— положив возле себя костыль, спросил Галсан.

— Так получилось...— Аламжи взял костыль, повертел его в руках и положил на место.— Семью оставил...

— Плохо, что оставил! — в упор посмотрел на него Галсан.— Можно было что-нибудь другое придумать.

— А что придумаешь? — Аламжи не выдержал его взгляда, опустил глаза.— В батраки идти?

— И в батраки можно... А то подался бы на завод в Балигта. Сейчас не можешь отказаться?

— Поздно. Завтра уходим.

— В Балигта мы бы тебе хорошее место подыскали.

— Зачем говорить теперь об этом? Бедняк, может, потому и бедняк, что всю жизнь ошибается. Скажите лучше, как тот... русский. Есть ли вести от него?

Галсан уперся локтями в колени, положил острый подбородок на ладони и устремил взгляд мимо дацанских построек в степь.

— Наш русский друг уехал далеко-далеко. Он очень добрый человек. Он хочет, чтобы такие, как мы с тобой, не ошибались.

— Говорил он и мне об этом. Но как переменить жизнь?

— Надо убрать царя! — шепотом проговорил Галсан.

Утром, пятнадцатого числа первого летнего месяца, в год железной мыши, а по христианскому летосчислению 15 июня 1890 года, Самбу-лама вышел из дацана и направился на юго-запад. В руках он держал серебряное блюдо, на котором стояла фигура человека, сделанная из теста. За Самбу-ламой следовали двенадцать хуваров. В правой руке каждый из них нес приподнятые над головой чашки с крепкой аракой. Хувараки шли гуськом, соблюдая равные промежутки. У Шобдок-ламы через плечо было перекинута красное орхимжо, у Аламжи, одетого в новый халат, свисала на бедро кожаная сума.

Самбу-лама остановился у жертвенных камней. Хувараки выстроились против него. Когда настоятель поставил блюдо на камни, хувараки громко закричали:

— Ум, ум пад!

Самбу-лама поднес к голове чучела светильник. Замешенное на масле тесто занялось пламенем. Один за другим хувараки начали выливать крепкую араку на блюдо... Затем на горячий пепел, оставшийся от сгоревшего теста, Самбу-лама положил два английских револьвера.

Подняв над головой горячее блюдо с помощью своих орхимжо, хувараки стали читать молитву на тибетском языке. Шобдок-лама подъехал к ним и, не сходя с коня, взял один револьвер и положил за пазуху.

Испугавшись желто-красных одеяний, лошадь Аламжи никак не хотела приближаться к хуваракам. Рассердившись, Аламжи огрел норовистого коня плетью, тот шархнул, встал на дыбы. Наконец Аламжи удалось подъехать поближе. Он наклонился и схватил револьвер.

Тем временем Самбу-лама вынул из-за пазухи два мешочка с патронами и вручил всадникам. Зарядив револьверы, Шобдок-лама и Аламжи выстрелили вверх. Перепуганные кони сразу же пустились вскачь. Молитвенно сложив ладони, хуvaraки смотрели вслед путникам до тех пор, пока те не скрылись.

Самбу-лама облегченно вздохнул.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПУТЬ В ЛХАСУ

Брахмапутра — одна из величайших рек Азии. Ее воды, окрашенные в цвет неба и зелень лугов, настолько поражают путников, что они останавливаются и в немом благоговении обнажают головы. Даже бывалый путешественник, исходивший полмира, и тот может часами стоять на ее берегу.

Тибетцы любят Брахмапутру. Их глаза, воспаленные от дыма очага или горна, отдыхают на величественном движении вод. Они гордятся, что Брахмапутре отдают силу бесчисленные ручьи и потоки. Они и боятся ее, матери многих рек. Спокойная в своем величии, Брахмапутра в любое время может обрушить гнев на людей. Вот почему жители глинобитных домиков с трепетом думают о завтрашнем дне.

Преклоняясь перед силами природы и канонами желтой веры, земледельцы и ремесленники делят с нищими последний кусок мяса, щепотку ячменной муки и грош, припрятанные на черный день. По селениям и городам ходят ламы, калеки, дети-сироты, потерявшие заработок люди. Они часами стоят перед домом состоятельного хозяина, пока тот не бросит на ладонь кусочек мяса, пусть такой, какой за один раз может склевать сорока.

...По узенькому проулку маленького селения, подобно ласточкину гнезду, прилепившемуся к склону горы, шел толстый человек, отбиваясь палкой от наседавших на него собак. В матерчатых сапогах с подогнутыми голенищами, в желтом халате и с сумкой бадарчин-ламы¹, он походил на катящийся клубок. Лохматый пес бросился на спину ламе и прокусил в его сумке дырку. Пере-

¹ Б а д а р ч и н - л а м а — собиратель жертвований.

пуганный бадарчин пустился бежать, размахивая позади себя палкой, как размахивает хвостом як, отгоняя оводов.

Полуголые ребятишки, наблюдавшие за этим издали, выбежали на середину улочки:

— Бродячий лама!

— Бадарчин-лама!

Дети были голодны. Увидев, что из порванной сумки ламы вывалился бычий пузырь с маслом, они бросились наперегонки, но собаки опередили их. Там, где лежал бычий пузырь, образовалась свалка. Ребята и собаки сцепились между собой. Наконец черный пес, тот самый, что первым бросился на спину ламе, схватил в пасть пузырь и большими прыжками побежал к окраине селения. Остальные собаки преследовали его. Перепачканные в пыли, с царапинами на лицах, ребята тяжело дышали и смотрели на удаляющихся собак. Пожива ушла...

— Бог и ламы едины! Только они помогут вернуть потерянное... У злого человека длинные рукава, но руки короткие. А мои руки всю жизнь перебирали четки...

Это говорил, конечно, тот самый лама, что скрылся за воротами от собак. Ребята забрались на глиняный забор. В глубине двора увидели они круторогого черного яка, а у входа в дом — деревянное ведро в луже молока, перемешанного с грязью.

Глядя на разлитое молоко, лама обращался к хозяину — человеку с длинными, почти до плеч, волосами, в цёбе¹ из грубой шерстяной ткани, подпоясанной толстой волосяной веревкой. Хозяин стоял перед ламой с молитвенно сложенными ладонями и кланялся. Тут же находилась его жена. В волосы ее были вплетены серебряные монеты и ленты. Она сокрушалась:

— Что есть будем?

Женщина уронила голову на грудь, и монеты в ее волосах зазвенели.

Не спуская глаз с ламы и не разжимая ладоней, муж ее отвечал:

— Белая пища проливается к счастью.

— Правильно говоришь... К вам непременно придет счастье.— Лама пытался улыбкой подбодрить хозяев, но его глаза оставались тусклыми, как у вареной бараньей головы.

¹ Цёба — верхняя одежда тибетцев, род халата.

Кланяясь и отступая назад, Чжума попросила гостя войти в дом.

— Пожалуйста, просим вас! — вторил ей муж. — Сделайте милость!..

Не ожидая иного, лама важно пошел к двери. Хозяин постелил ему войлок и попросил сесть. Лама обратил лицо к изображению Будды, перед которым горели две тусклые свечи, пошептал молитву и только после этого опустился на войлок. В полутемной комнате ничего нельзя было разглядеть. Едкий дым кизяка слепил глаза, трудно было дышать.

Женщина протянула пустое ведро мужу:

— Поставь на место. Пойду к соседям, может, выпрошу молока.

Динчжен Норбо виновато посмотрел на жену. Когда, отбиваясь от собак, во двор заскочил лама, Чжума доила, а он, Динчжен Норбо, держал матку за рога. Матка испугалась, вырвалась и опрокинула ведро. Надо было крепче держать!

Показались чумазые физиономии мальчишек. Сын лавочника уставился на янтарные четки ламы и зашевелил пальцами, будто хотел подсчитать, сколько там бусинок. Длинноногий мальчик-сирота, протиснувшись вперед, смотрел на вздувшийся халат ламы и пытался угадать, что у него за пазухой. Ему хотелось, чтобы там было мясо. «Если он даст мне кусочек, — думал мальчик, — убегу к оврагу и съем один».

А лама думал свое. «Надо любыми путями добыть еще несколько монет. Тогда можно будет купить осла и спокойно доехать до Лхасы. Плохо, что попал в дом бедных людей. Здесь, по всему видать, не разживешься... — Он взглянул на Чжуму и закончил свою мысль: — Может, мне удастся завладеть монетами, вплетенными в ее волосы?»

Между тем Чжума взяла кувшин, повернулась к выходу и прикрикнула на ребят. Те выпорхнули во двор. Уходя, хозяйка плотно закрыла пологом вход в дом. В доме стало темнее.

Динчжен Норбо о многом хотелось поговорить с ученым человеком, но он не смел начать разговор. А лама продолжал думать о своем. Когда его глаза привыкли к темноте, он увидел прибитую к стене полку для посуды и на ней — большой медный ковш, выдолбленные рога

яка, надутый и высушенный ячий пузырь. На рогах, вбитых в стенки, висели кожаные сумки, в которых тибетцы держат молоко и сливки. Потом взгляд его задержался на котле, вмазанном в очаг. «Да, живут бедно...»

Тут он вздрогнул от крика, донесшегося откуда-то сверху. Вскинув глаза, лама увидел детскую зыбку из шкуры яка. Чья-то высохшая рука раскачивала зыбку за длинную волосяную веревку.

— Почему так высоко? — приподняв голову, спросил лама.

Динчжен Норбо смутился:

— Мышей у нас много...

Лама пристально посмотрел на хозяина.

— Один мой знакомый родился в год железной мыши. Всех мышей он считает священными. Думаешь, они причиняют вред человеку? Ты заблуждаешься. Нельзя обижать ни мышь, ни самую малую тварь. Так учит вера.

Динчжен Норбо поклонился:

— Помяни нас в молитвах, учитель. Мы не обижаем даже мух, жуков, комаров. Но ребенок малый... Кожа яка... Они могут ее изгрызть...

— Слова твои от шолмоса, а не от бога! Известно ли тебе, что Будда, наш великий учитель, однажды странствовал в образе зверя? Ему встретился такой же, как я, который не мог распознать бога и попросил у него шкуру. Ни слова не сказал Будда, отдал шкуру. На него тотчас же налетели комары, жуки, приползли муравьи и всякая тля. Но бог наш не стал роптать и не обидел ни мошки.

Динчжен Норбо уже стоял на коленях и клал земные поклоны, а бадарчин-лама продолжал говорить:

— Надо во всем следовать богу, и тогда даже самая тяжелая болезнь отступит.

Тут из темного угла донесся хриплый кашель, потом протяжный стон. Только теперь разглядел бадарчин-лама похожего на скелет человека, лежащего на конской шкуре. Динчжен Норбо снова поклонился ламе:

— Это мой старший брат, Цюньчжу... Именем богов прошу вас, учитель, облегчить его страдания лекарствами и молитвами.

Бадарчин посмотрел на больного, потом еще раз окинул взглядом комнату и помрачнел. Динчжен Норбо стал просить еще настойчивей. Наконец лама поднялся и подошел к больному. Весь в пролежнях, исхудавший, Цюнь-

чжу был так страшен, что даже выдавший виды бадарчин отшатнулся, увидев его. Тяжелый запах исходил от больного.

...Родился Цюньчжу, как и все тибетские дети, под открытым небом: крик новорожденного может потревожить покой только одного божества. Едва он стал на ноги, отец уже сажал его на яка. К семи годам Цюньчжу мог скакать на коне и метать пращей камни. А это значит, что он мог уже пасти яков, потому что только камнями, выпущенными из пращи, можно собрать животных и направить их в нужную сторону.

Когда Цюньчжу было тринадцать лет, отец дал ему цёбу, сапоги из шкуры яка и сказал:

— Теперь ты мужчина.

Мужчины ткали из ячьей шерсти сукно, изготавливали домашнюю утварь и обрабатывали землю. Сколько надо труда, чтобы вырастить на участке ячмень! Хорошо, если есть як, тогда поле можно вспахать. А если нет, тогда приходится ковырять землю рогом яка, насаженным на палку. Поле надо пахать наискосок, от левого края к правому. Только так можно выгнать с участка чертей и дожждаться урожая. Правда, за последнее время черти стали хитрыми, они все-таки пробирались на поля. Чем иначе объяснить, что ветры выдували семена, заморозки убивали всходы, град губил колосья ячменя?

Досталось от чертей и семье Цюньчжу. Неурожай следовали один за другим, скот гибнул, одежда рвалась, а боги или не видели этого, или мстили за грехи.

Кроме Цюньчжу в семье было еще три сына. Одного, Лон Чена, отдали в монастырь хуваракон замаливать грехи и просить у богов лучшей жизни в следующем рождении. Но не повезло бедному Лон Чену. Он в чем-то провинился перед ламами, был ослеплен и изгнан из дацана. Двое других братьев работали в хозяйстве, так же, как и он, Цюньчжу. Наконец Цюньчжу достиг такого возраста, когда ему надо было выбрать жену и для себя, и для младших братьев. С давних времен установился такой обычай: все сыновья одной матери берут одну жену и все дочери одной матери — одного мужа.

Выбирал жену Цюньчжу как старший среди братьев. Ему приглянулась юная красавица Чжума. С благослове-

ния родителей он послал в дом невесты стрелу с четырьмя лентами. «Примет ли отец Чжумы стрелу, даст ли согласие на свадьбу своей дочери с ним, бедняком?» — с этой мыслью Цюньчжу провел бессонную ночь. Но тревога оказалась напрасной: перед рассветом послышался топот коней — привезли невесту. Глаза Чжумы были заплаканы, но в душе она радовалась, ей нравился Цюньчжу. Недаром тибетская пословица гсворит: «Выходя замуж, девушка плачет, а ноги ее танцуют в стремях».

Отец Цюньчжу принял повод жеребой кобылы, на которой сидела Чжума, и передал его сыну. Возле кобылы поставили несколько чувалов с зерном и покрыли их барсовой шкурой. Чжума слезла с лошади, взобралась на шкуру — иначе нельзя, не будет родиться ни ячмень, ни просо, — а потом взяла кувшин с молоком и побрызгала над очагом: надо задобрить хранителей очага, сообщить им, что в доме появился новый человек.

На свадьбу приехало много нарядных гостей. Мужчины в разноцветных халатах и черных цёбах, обшитых полосками желтой материи, в меховых малахях и огромных шапках, похожих на жернова; женщины в ярких халатах и безрукавках, в головных уборах в виде коромысла.

Легко жилось с Чжумой, хотя богатство и не приходило в дом Цюньчжу. Она ласково относилась ко всем братьям, одинаково любила их, умела предотвратить ссору, семейный разлад.

Общим любимцем в семье был самый младший брат Цинпэ. Цюньчжу до последнего дыхания не забудет о нем, о его короткой жизни и неожиданной гибели.

Как-то весенним утром ушел Цюньчжу вместе с Динчженом Норбо и Чжумой в горы, чтобы посеять ячмень. Цинпэ оставили дома присматривать за кобылой. В полдень услышал он страшное слово:

— Вода!

Цинпэ выскочил на улицу и увидел, что люди, бросая скот и жилища, бегут в горы, а со стороны Брахмапутры надвигается водяная смерть. Он не хотел оставлять в низине кобылицу и яка и поплатился за это: волна величиной с дом его накрыла и унесла с собой. После наводнения голодная смерть нависла над каждым. Умерли родители. Не выдержал и Цюньчжу, надорвался. Сможет ли он опять подняться?

Наверное, об этом думал Цюньчжу, молча глядя на склонившегося ламу. Тот прикоснулся к холодному лбу больного, попросил воды и, сполоснув руки, тщательно вытер каждый палец.

— Он будет жить? — не выдержала Чжума.— Подайте хоть надежду...

Лама молчал. Ему надо было спешить в Лхасу, а тут такое положение... Как объяснить им, что он не лекарь? Лама-лекарь должен долгие годы сидеть над книгами, выучить наизусть каноны тибетской медицины. «Основной корень», «Разъяснения», «Тайны» и «Добавления» — так, кажется, называются эти четыре тома. Он, бадарчин, только понаслышке знал, что болезнь можно определить по пульсу, по цвету глаз, языка и кожи, что существует множество лекарств, больше шести тысяч. Кроме лекарств применяется кровопускание, прижигание, иглоукалывание и много других способов. Но не все ламы знают это. «Подайте хоть надежду!» И бадарчин решил успокоить ее.

— Я помолюсь, попрошу богов... Думаю, он будет жить...

Лица Динчжена Норбо и Чжумы посветлели.

— Слышишь, Цюньчжу, ты будешь жить,— приглаживая волосы старшего мужа, говорила Чжума.

Динчжен Норбо достал с полки кувшин с молоком и протянул его Чжуме:

— Угости доброго ламу.

Чжума поклонилась гостю:

— Откушайте, святой учитель!

— Трудно нам,— оправдывал свою бедность Динчжен Норбо.— Посевы вымерзли, нет ни пшена, ни дзамбы. У нас хоть молоко бывает, а у других и этого нет. Одни грифы сыты...

Лама был голоден и плохо слушал хозяина. Он поспешно пошарил за пазухой, поискал чашку, чашки не оказалось, она потерялась, наверное, когда пришлось спасаться от собак.

Бадарчин жадно прильнул к кувшину. Он на глаз определил, что в нем будет не меньше трех цзиней молока. И какое вкусное! Когда он протянул пустой кувшин хозяйке, снова заплакал ребенок. Бадарчин смутился и стал поспешно собираться. Чжума стала снимать с себя монеты. Ламу она догнала уже во дворе.

— Примите от нас, окажите милость...

Лама протянул руку за монетами.

— За вашего мужа, Цюньчжу, мы помолимся,— пообещал он и спрятал деньги в кожаный мешочек.

В добром расположении духа выходил бадарчин-лама на улицу. Одна только мысль его беспокоила: «Нужно ли было брать монеты?» Но он отогнал эту мысль. «Лама не может отказаться от подношений. Это бы вызвало подозрения»...

А Динчжен Норбо и Чжума сидели у постели больного и ожидали, когда он поднимется. Тот не поднимался. День ото дня ему становилось все хуже и хуже, и пришел наконец час, когда он навеки закрыл глаза. Только рот его не закрывался, будто Цюньчжу хотел перед смертью сказать что-то важное, но не успел.

Похороны не заняли много времени. По обычаю, тело бедного Цюньчжу вынесли на утес, здесь лама разрубил его на куски и заиграл в рожок.

Широко распластав крылья, белоголовые грифы сейчас же прилетели и стали кружиться над телом Цюньчжу. Вот один его кусочек вознесся на небо, другой, третий... Остальные птицы, видимо, где-то насытились и не захотели приближаться к останкам. Снова заиграла дудочка ламы, но грифы улетали все дальше.

Несчастье! Боги отвернулись от Динчжена Норбо и его жены Чжумы. Но нельзя роптать. Только страдания могут привести к счастью. Динчжен Норбо и Чжума решили отправиться в Лхасу, совершить молитвенный круг у дворца Потала.

...И вот они вышли из опустевшего дома. В углу осталась изъеденная мышами кожаная зыбка; за спиной у Чжумы — ребенок.

— Именем бога всемогущего прошу вас, помогите, кто чем может,— останавливался Динчжен Норбо возле каждой лачуги.— Великое несчастье обрушилось на нас. Идем в обитель богов — Лхасу...

На голос Динчжена Норбо вышел черный от сажи кузнец, человек презренного ремесла, и протянул медную монету.

— Не сладко живется! Теперь в цех приказано в два раза больше платить, чем раньше.

Из соседнего, покосившегося домика вышел носильщик камней:

— Мы отдаем хозяину двадцать камней из ста...

Земледелец, хорошо знавший Цюньчжу, положил в шапку Динчжена Норбо несколько шелковых ленточек, кусок медной проволоки, бусинки и какую-то мелочь.

— Цюньчжу не обидится на меня, — сказал он.

Каменистая дорога уходила куда-то высоко-высоко, к самым облакам.

ПАЛОМНИК-БУДДИСТ

Все дороги ведут в Рим, сотни лет утверждали ксендзы, а за ними это изречение повторяли и повторяют католики многих стран Европы. Все дороги ведут в Лхасу, говорят тибетские ламы, а последователи желтой веры из Бурятии, Тувы, Халха-Монголии вторят им.

Все дороги!.. Но разве можно назвать дорогами узенькие тропинки, проходящие по выступам скал и повисшие над бездной, проложенные через высочайшие горы, которые упираются в небеса!

В Тибете нет более оживленного пути, чем тот, который связывает резиденцию Далай-ламы — Лхасу с монастырем в Шигатзе, где живет Панчен-Эрдэни, второе лицо в этой заоблачной стране.

Знойным днем на обочине этой пыльной дороги, неподалеку от своего осла, сидел бадарчин-лама. Бездумно смотрел он на всадников без седел на ослах, на пешеходов, медленно бредущих по обочинам, на нищих и калек с посохами. Но чаще всего взгляд его останавливался на паломниках, которые продвигались ползком. В одежде, изорванной на локтях и коленях, двигались они мучительно медленно, через каждые три шага припадая к земле. Каноны желтой веры повелевали паломнику преодолеть путь в божественную Лхасу именно таким способом. Привязав к ладоням и коленям защитные дощечки, многие ползли месяцами и даже годами. Буддийская религия, одна из самых мрачных и могущественных в мире, проповедует: не надо стремиться вперед. Всякое желание порождает зло и зависть, а зависть, родная сестра мести, порождает борьбу. Если хочешь быть верным учению Будды, отрекись от всего сущего: никаких желаний, никаких стремлений — только тогда перед тобой откроется светлый путь.

Двигались по дороге и обыкновенные люди, обуреваемые земными желаниями. Они тоже шли в Лхасу. Среди

них легко можно было узнать литейщиков из Непала, подрядившихся отлить колокол для дворца Потала, кашмирских купцов, сбывающих цветные шарфы и всемирно известные ковры из тонкой шерсти... Те и другие шли пешком, подгоняя тяжело нагруженных яков. Двигались также крестьяне — отбывать трудовую повинность при дацанах. Туда и обратно проносились на резвых конях курьеры Далай-ламы и Панчен-Эрдэни.

Глядя на пестрый людской поток, бадарчин подумал: «Велик человек! Нет ему равных среди всего живого и неживого на земле! Море дышит. Трава не только дышит, но и растет. Животные не только дышат и растут, но и двигаются. Як сильнее человека. Конь быстрее человека. Почему же тогда человек стал хозяином коня? Потому что так было угодно богам. Но кто разделил людей на бедных и богатых, на князей и рабов?»

Мимо него стремительно прошел человек в желтом халате. Он был высок, поджар, широкоплеч, кисти шарфа, завязанного по-тибетски, наполовину закрывали его щеки. Взгляд его был направлен к земле, как взгляд лисицы, которая охотится за мышью. Бадарчин подозрительно глянул на длинноногого, быстро встал, закинул за плечи суму и вскочил на своего осла.

Между тем высокий человек шагал и шагал. Он шел издалека. Мучимый жаждой, он часто оглядывался по сторонам в надежде увидеть ручеек. Но вокруг только горькая пыль клубами поднималась над дорогой, оседала на одежде, скрипела на зубах.

Толпа впереди вдруг остановилась, подобно запруженной реке. Человек протиснулся через людской затор и увидел шелковый, украшенный кистями паланкин, в котором сидел амбань¹. Несколько человек несли его на длинных шестах. Полы носильщиков были заткнуты за кушаки, спины согнуты, ноги, обутые в остроносые сапоги, едва передвигались. Возле паланкина, размахивая плетями, шли чиновники в очень широких шляпах. Люди протягивали вперед руки, высовывали, насколько возможно, языки².

Глаза амбаня были закрыты. На голове у него была шапка, отороченная черной выдрой, а на плечах — бар-

¹ Амбань — важный китайский чиновник.

² Таким способом тибетцы приветствуют друг друга, показывая, что не имеют оружия и не говорят худых слов.

хатный халат со стоячим воротником, с рукавами до пола.

Начался спуск с горы, дорога стала опасней. Где-то слышался предсмертный крик осла, гулко стуча, в пропасть полетели камни. Сгрудившись на площадке величиной с юрту, люди кричали:

— Человек свалился в ущелье!

— Вместе с ослом свалился!

Тот, высокий (он давно заметил, что бадарчин-лама следит за ним), кинул взгляд на идущих впереди. «Может быть, этот дурак свалился в преисподнюю?» Он подошел к краю и тотчас же увидел осла, висящего на выступе скалы, но это был не тот осел: именно в эту минуту к нему приблизился на своем пугливом ослике бадарчин-лама.

Человек сделал вид, будто не заметил его. Перевалив крутой бугор, он огляделся по сторонам и сел. Здесь никого не было. Он кинул на землю четки, вынул из-за пазухи большой медный хурдэ¹, вытер с лица пот и огляделся. Убедившись, что за ним никто не следит, он вынул из медальона зеркало, вынул пузырек с йодом, разбавленным ореховым соком, и намазал шею, в тех местах пот смыл краску и обнажил белую кожу. Затем из фарфоровой табакерки он накапал на палец черной краски и подкрасил усы...

Тем временем бадарчин-лама, потерявший из виду странного путника, достиг на ослике вершины горы, доступной всем ветрам, и остановился передохнуть у груды камней, над которыми реял на длинном шесте белый флаг — даржак. Это был жертвенник. Проезжие и прохожие приносили здесь дары богу — монеты, лоскуты материи, сахар, чай. Люди, пустившиеся в столь далекий путь по важным делам, оставляли даже туши баранов и туески с маслом. Вокруг жертвенника стояли паломники, с криками носились белоголовые грифы. Не страшась людей, они подхватывали куски мяса и, присев поблизости, принимались клевать.

Бадарчин-лама вырвал из ослиного хвоста десяток волосков и положил их на камни. У тибетских бедняков, ничего не имеющих за душой, было принято вырывать

¹ Хурдэ — молитвенный цилиндр, вращаемый по ходу солнца, то есть по часовой стрелке. В хурдэ закладываются священные письмена.

несколько волосков из головы, но он, бритоголовый, не мог сделать этого, и пришлось позаимствовать жертву у бессловесного своего спутника.

Солнце жгло. Тени облаков скользили по зеленым, виднеющимся далеко внизу берегам Ки-Чу. Где-то еще дальше она сливалась с рекой Ти и зигзагами уходила в невидимую, закрытую знойным маревом долину. Увидав реку, человек в тибетском шарфе взбодрился. Он довольно быстро спустился с перевала и вскоре увидел мост длиною сажень в пятьдесят, на каменных опорах.

Достигнув реки, он в изнеможении опустился на лед, тонкий лед треснул. Вода фонтанчиками брызнула вверх. Он приник к струе и пил очень долго. Не в силах дотянуться до шапки, он лежал, печально глядя на берег: «Неужели так и умру в этих проклятых горах, не дойду до Лхасы? Нет, нет, надо двигаться!» В эту минуту какое-то животное уткнулось мордой в трещину, откуда все еще шла вода, и он сразу же узнал ослика бадарчин-ламы.

— Посидим вместе, — подошел тот, высунув язык и протянув вперед руки.

Человек тоже протянул руки, но язык не повиновался ему, словно прирос к нёбу.

— Вы же духовное лицо! Зачем сбросили шапку? Может быть, вы немой?

— Я очень устал. Очень...

Станный выговор не ускользнул от бадарчин-ламы. «Кажется, я угадал, он нездешний», — подумал он, слезая с осла. Он тоже опустился на лед и приложился к трещине.

— Как вас зовут? — не поворачивая головы, спросил бадарчин.

— Меня зовут Кончун-Сойбон.

Услыхав тибетское имя, бадарчин догадливо кивнул про себя: у тибетцев, живущих в Непале — тамангов, киратов и чапангов — выговор нечистый, так как многие слова они заимствовали у народов Индии и Сиккима.

Они продолжали путь вместе, когда наконец на мосту Кончун-Сойбон зажал нос рукой и, как подобает истинному тибетцу, чихнул на подол бадарчин-ламы и сплюнул на мост. «Теперь этот бродяга отвяжется от меня». И действительно, бадарчин, понукая осла, оставил позади нового своего знакомого и вскоре затерялся среди паломников.

...На другой день за поворотом дороги засверкал на солнце многокрасочный дворец бога и вождя тибетцев — Далай-ламы.

Пораженный зрелищем, Кончун-Сойбон остановился и невольно издал возглас удивления. Вскоре показались развалины древней крепости Донгкар и храмы одного из крупнейших монастырей мира.

Каменистая почва постепенно сменилась болотистой, дорога повернула от реки. В небольшом селении нищие назойливо попрошайничали, хватали прохожих за руки. Кончун-Сойбон выставил вперед посох, задрал голову, как это делают слепые, и продвигался таким образом, не обращая внимания на вой калек, нищих и оборванцев.

За селом дорога стала шире, но и путников много прибавилось. Кроме жителей близлежащих селений, появилось много лам. Чем дальше, тем шумнее, пестрее и гуще становился поток людей. Все спешили в Лхасу.

Высокий, в ламском одеянии Кончун-Сойбон обращал на себя внимание прохожих. Одни разглядывали его украдкой, другие приветствовали, третьи пытались даже заговорить. Он шел, не оглядываясь, закрыв половину лица шарфом.

Предосторожность была не излишней: в девятнадцатом веке сюда проникали англичане. Далай-лама вынес строжайший указ: усилить надзор за границей, карать всякого, кто пропустит чужестранцев в Тибет. За каждого чужестранца, проникшего в Тибет, несли ответственность жители тех селений, через которые он проходил. Особенно строгим наказаниям подвергались старшины селений. На охрану границ Тибета были двинуты и китайские войска, так как захват Англией Индии, Бирмы, Непала и Сиккима создавал непосредственную угрозу Китаю.

Солнце клонилось к закату. Справа возвышалась похожая на четырехугольную башню Железная гора, на южном склоне которой находилась Тибетская медицинская школа. А на южном склоне левой горы раскинулся дворец — крепость Потала, постоянная обитель Далай-ламы.

Кончун-Сойбон обогнул дворец с севера и, нигде не останавливаясь, спустился к подножию. Отойдя подальше от дороги, он присел за выступом скалы и вынул хурдэ.

В цилиндре вместо молитвенников хранилась карта, в которую был завернут белый шелковый платочек, напоминающий узорами листья дерева.

Спрятав карту в хурдэ, Кончун-Сойбон стал разглядывать узоры на платке. Это был замаскированный план селения Потала-шол, улицы которого отлично просматривались из-за скалы. Сверив натуру с планом, Кончун-Сойбон удовлетворенно крикнул, сунул платочек за пазуху, поднялся и зашагал дальше. Вскоре он свернул на тропинку, сильно сокращающую расстояние до дворца, и очутился перед его величественной громадой. Он долго разглядывал его, как человек, который хотел бы запомнить навсегда: девять верхних этажей дворца выложены из красного кирпича, низ белокаменный, причудливая кровля позолочена...

Затем Кончун-Сойбон спустился к подножию горы в Потала-шол, где находились жилища дворцовых служащих, склады, конюшни, лавчонки, дома купцов и знатных людей.

— Капитан Троттер!

— Пандит!

Люди грозили кулаками в сторону высокого дома, слали проклятия на чьи-то головы. Сердце Кончун-Сойбона сжалось. Он думал сейчас о нелегком своем занятии, о том, что только мужественным людям по плечу оно. Несколько дней тому назад он вынужден был спешно покинуть монастырь в Шигатзе, успев захватить с собой лишь четки и хурдэ. Последнюю мелочь из разменной индийской рупии он истратил сегодня утром. Здесь, в этом доме, он должен был встретиться с пандитом Сингом, проникшим в Тибет. «Значит, Синг провалился...»

— Сегодня казнили Парханг-дзаса! Он имел связь с Сингом, а тот — с английским шпионом Троттером... Вот до чего дошло!

«Может, Синг сумел удрать?» — думал Кончун-Сойбон. Возле него остановился оборванный человек, глаза его были прикрыты кожаными кружочками. Слепец кричал:

— Убивайте чужеземцев! Из-за них, проклятых, мне выкололи глаза. Дайте мне хоть одного в руки, и я задушу его! Мои глаза не разглядели японца, и я лишился их!

Страсти в толпе понемногу улеглись, люди начали разбредаться. Только слепой продолжал молотить палкой

по камням, проклиная чужеземцев. Наконец в припадке бессильной ярости он упал.

— Бедный Лон Чен! — участливо произнес кто-то, проходя мимо него.

Странно ведет себя человек: то он боится всего на свете, шарахается от собственной тени, то в безрассудной храбрости идет на риск. Нечто подобное происходило сейчас с Кончун-Сойбоном. Когда толпа поредела, он решил поговорить со слепым, подошел к Лон Чену и дотронулся до его руки. Ладонь у слепца была большая и шершавая, как ступня верблюда. Вот такие ладони полируют дороги между монастырями Шигатзе и Лхасы.

— А кто вам выколол глаза? — спросил Кончун-Сойбон, забыв про свое не совсем чистое произношение.

— Я сам виноват! Я сам виноват! — выкрикнул Лон Чен и замолчал, прислушиваясь.

Кончун-Сойбон затаил дыхание. Слепой, казалось, успокоился и снова повторил, уже тише:

— Я сам виноват!

Дружеское участие незнакомого человека пробудило в несчастном что-то хорошее. Уже без надрыва и выкриков он поведал ему свою историю.

Десять лет тому назад Лон Чен был красивым юношей, одним из учеников-послушников в монастыре Брайбан. Сейчас он стал бы уже ламой, если бы не подружился с одним человеком. Кто знал, что под ламским одеянием скрывается японский шпион? Этот японец по имени Ямадзуки наносил на карту дороги, реки и горы его божественной страны, делал какие-то пометки на хонхо и дамаре¹. Японца не успели схватить: почувствовав неладное, он сбежал. Лон Чена и нескольких послушников, знавших японца, ослепили. С тех пор прошло десять лет.

В Лхасу Лон Чен пришел только сегодня. По пути он заходил в родное селение, хотел встретиться с братьями Цюньчжу и Динчженем Норбо. Но там его ждало страшное известие: Цюньчжу скончался, и грифы не захотели унести его тело на небо. А Динчжен Норбо и Чжума ушли в Лхасу...

— Вы же ни в чем не виноваты! — посочувствовал ему Кончун-Сойбон. — Вы были тогда еще очень молоды.

¹ Хонхо и дамара — ламские музыкальные инструменты — маленькие колокол и барабан.

Лон Чен вскочил на ноги:

— Вы так сказали?!

Кто смеет оправдывать его? Лон Чена осудили святые учителя, выше которых один только божественный Далай-лама. Слепой стал размахивать руками и проклинать иностранцев. Кончун-Сойбон отошел в сторону и быстро зашагал прочь. Потом, слыша проклятия Лон Чена и гулкие удары его палки, он бросился бежать.

Зеленоватый отсвет костра поднимался в небо. Слышались завывания, будто выла стая волков. Воюющие звуки, несомненно, издавали ганданы¹.

Кончун-Сойбон, три года изучавший буддизм в Непале, вспомнил этот обряд. Он обернулся на шорох: Лон Чен, прощупывая палкой землю, шел прямо на него. Проклятая страна! Здесь даже слепые охотятся за людьми. Кончун-Сойбон лег у глинобитной стены...

Ганданы внезапно замолкли. Шкура барса с головой и лапами, лежавшая на олбоках, казалось, шевелилась в красноватых отблесках костра. Восседающая на шкуре, заклинатель Чойжиншо-лама размахивал трехгранным стилетом:

— Пад, пад!

Потом звуки, напоминающие рычание зверя, заглушили рокот толпы. К костру приблизились три человека в масках, похожих на человеческие черепа, с нарисованными скелетами на черных одеждах. Они выкрикивали имя богини Палдан-лхамы — повелительницы гнева, смерти, войны, которая питалась кровью. Вскоре явилась и сама богиня. Даже искушенные люди не могли без трепета смотреть на эту картину: с черным как сажа лицом, богиня, сидя на сером осле, пожирала мозги из черепа мертвеца. Сотни дрессированных мышей с писком ползали по бронзовой статуе, залезали в ноздри и рот деревянного осла. Ламы, несущие богиню-всадницу, остановились перед Чойжиншо. Тот опять закричал:

— Пад, пад!

Ламы поднесли к нему сделанное из теста и одетое в европейский костюм чучело человека. Продолжая выкрикивать, Чойжиншо несколько раз взмахнул стилетом и вонзил его в чучело. Толпа завывала на разные голоса. Ламы бросили чучело в костер. Замешенное на масле, оно

¹ Г а н д а н ы — трубы из полых человеческих костей.

ярко загорелось. Земля содрогалась от рокота барабанов, хонхо и дамары.

Кончун-Сойбон этого уже не слышал. Забравшись в яму у глиняной стены, он внезапно уснул как убитый. Вода из речки Ки-Чу булькала у него в пустом животе. Видимо, поэтому ему приснилось, будто плывет он по Атлантическому океану... Налетает шторм, корабль идет ко дну... Из пассажиров и команды остался в живых лишь он...

«Хорошо, что я уцелел!» — просыпаясь, подумал Кончун-Сойбон. Не успел он собраться с мыслями и сообразить, как же, собственно, попал он с корабля в эту яму, как в разных концах города раздались выстрелы. Кончун-Сойбон пополз вдоль стены. Но тут в небе лопнула ракета, кругом стало светло, пришлось снова притаиться. В последних отблесках фейерверка он заметил пролом в стене и скрылся в нем.

Ракеты погасли. Прошло несколько минут, прежде чем Кончун-Сойбон смог различить что-либо. Так и есть, здесь тоже люди! Тихонько переговариваясь, они толпились возле высокого каменного дома.

— Еще раз говорю — потушите свет! За ослушание не ждите милости...

В окнах верхнего этажа разом погас свет. Пользуясь темнотой, Кончун-Сойбон примкнул к толпе. Из разговоров он узнал: каждый вечер, в определенный час, с четырех углов городской стены пускают в небо китайские ракеты, после чего всюду должны быть погашены огни, а жители не имеют права ходить по улицам.

Люди расходились, говор стихал, улицы погружались в сон. Даже к востоку от дворца Потала все реже вспыхивали огненные языки; чучело догорало.

В УЗКОМ КРУГУ

Двое высокопоставленных лам поднялись в гору и направились к потайному входу во дворец. При свете китайских бумажных фонарей их заметила дворцовая стража Далай-ламы. Стражники были в шапках с птичьими перьями и в железных кольчугах, какие носили в старину японцы. В руках они держали овальные щиты и короткие мечи... Окликать и останавливать людей, идущих к потайному входу, не разрешалось: им пользуются только

сам Далай-лама да семеро его учителей. Надо по походке и по дыханию знать каждого. К потайному входу приближались двое: старший учитель бога Туван-лхамбо и Чойжиншо-лама, заклинатель. Стражники опустились на колени.

Некоторое время ламы шли длинным коридором, потом поднялись по лестнице и очутились в большом зале. Здесь царил полумрак, воздух был насыщен благоуханиями.

Чойжиншо-лама, впервые вошедший во дворец через потайную дверь, как слепой следовал за Туван-хамбой. Еще недавно с устрашающим видом восседавший на барсовой шкуре, молодой Чойжиншо выглядел сейчас тихим и робким, как паломник из далекого улуса. Оглянувшись по сторонам, он, к великому своему изумлению, обнаружил, что зал не пуст, вдоль стен на олбоках с обнаженными до плеч руками сидят люди. Чойжиншо растерялся. Сесть ли ему тоже? Упасть ли на колени?

— Садитесь!

Это был сам Далай-лама. Он сидел на саженном возвышении из олбоков, скрестив ноги и положив свои детские руки на белое шелковое полотно. На голове у него была остроконечная шапка, на запястье правой руки в пять рядов намотаны были четки из красного янтаря. Фигура Далай-ламы рельефно выделялась на фоне картины: на шелку изображены были три божества. Чойжиншо упал на колени, три раза поклонился до пола и подошел под благословение.

...Туван-хамбо и молодой Чойжиншо были знакомы не первый год. Когда шла борьба за избрание санидхамбы¹, Чойжиншо поддержал Туван-хамбу, уроженца Забайкалья. Он склонил на сторону Тувана своего родственника, могущественного Парханг-дзасу, и это решило исход дела: бурят был избран старшим учителем Далай-ламы от монастыря Брайбан. Чтобы оценить в полной мере значение дзаса-ламы, достаточно сказать, что он входил в кашак².

Туван-хамбо тоже оказывал немаловажные услуги ламе-заклинателю. В свое время Чойжиншо, оказавшемуся

¹ С а н и д - х а м б о — старший из семи учителей Далай-ламы.

² К а ш а к — кабинет министров при Далай-ламе, состоящий из пяти человек,

одним из знакомых японца Ямадзуки, грозило ослепление. Туван, к тому времени получивший свой титул, сумел выгородить юного Чойжиншо. Сейчас для заклинателя снова наступило тяжелое время: его родственник, Парханг-дзаса, был обвинен в государственной измене и казнен. Только заступничество Туван-хамбы спасло Чойжиншо от опалы, а может быть, и от смерти.

Чойжиншо поддерживал Туван-хамбу и в вопросах внешней политики. Вот почему Туван-хамбо провел его на это тайное совещание.

В зале царило молчание. Ламы беззвучно молились, прося живого бога ниспослать им покой и блаженство. Далай-лама показал ручкой колокольчика на Туван-хамбу, потом на себя. Это означало: предстань предо мной! Туван-хамбо на четвереньках приблизился к своему великому ученику.

— Ты пригласил сюда этого человека?

— Да, мой владыка... Это Чойжиншо-лама из монастыря Брайбан.

— Он родственник Парханга?

— Да, мой повелитель...

По лицу Далай-ламы пробежала тень. Он прикрыл глаза.

— Садись на место!

Туван-хамбо сел и стал украдкой наблюдать за Ионцзын-Римбоче, своим давним недругом. Оба они — и Туван-хамбо и Ионцзын-Римбоче — почти по всем внешним и внутренним делам придерживались разных взглядов. И тот и другой старались внушить юному Далай-ламе, что его точка зрения единственно правильная. На сегодняшнем тайном совещании снова должны были скреститься их мечи.

Далай-ламе было пятнадцать лет. Его продолговатое лицо с круглыми, не по-детски строгими глазами было суровым. Он казался человеком, способным разгадывать тайные помыслы людей. Даже самые близкие к Далай-ламе люди забывали, что он подросток... С младенческих лет преклонялись перед ним, и никто не задумывался, счастлив ли этот живой бог. Он не испытывал того, что испытывают дети бедняков: не бегал в летнюю пору по травяному ковру, не взбирался на каменистые кручи, где свивают свои гнезда орлы и откуда начинают свой бег реки.

Он был владыка земли, всесильное божество и вместе с тем игрушка судьбы. В большинстве своем Далай-ламы были куклами в руках сил более могущественных, чем все буддийские боги. С ними мало считались регенты, к ним пренебрежительно относились крупные феодалы. Их приказы-святости претворял в жизнь кашак. Но на всех заседаниях этого кабинета министров присутствовали два маньчжурских амбаня — представители богдыхана. И если бы по повелению Далай-ламы был издан указ, противоречащий маньчжурским законам или ущемляющий права ламаистской верхушки, его место занял бы другой правитель. После Далай-ламы Пятого все последующие были отравлены, не достигнув совершеннолетия.

Туван-хамбо верой и правдой служил Далай-ламе. Божественного своего ученика он приучил с подозрением относиться ко всему окружающему, есть только ту пищу, которая приготовлена под его присмотром. С годами подозрительность вошла в привычку, и теперь Далай-лама не во всем доверял даже старшему учителю.

Сейчас Туван-хамбо с опаской поглядывал на ученика. На тайное совещание он привел Чойжиншо, представителя монастыря Брайбан, с целью одержать наконец верх над зазнавшимся Ионцзын-Римбоче. Далай-лама не мог не уразуметь этого, несмотря на свой отроческий ум. Не обернется ли этот его поступок против самого Туван-хамбы? Тогда тело его будет разрезано на куски и выброшено на съедение грифам.

При возникновении сложных государственных проблем, имеющих отношение ко всему Тибету, созывалось Национальное собрание, куда приглашались высшие духовные и светские чиновники, а также представители всех уездов. В других случаях созывалось малое совещание из представителей трех крупных монастырей — Брайбан, Сэра, Гандан, светских и духовных чиновников... Сегодняшнему же совещанию, созванному Ионцзын-Римбоче по поручению Далай-ламы, предстояло предварительно обсудить важные вопросы без ведома Национального собрания и втайне от кашака. Ионцзын-Римбоче, или Драгоценный Учитель, в звании лхарамбы, обучавший Далай-ламу высшим канонам буддизма, собрал на это совещание представителей главных монастырей и семерых приближенных Далай-ламы.

Намотав на руку длинные четки, Ионцзын-Римбоче сложил ладони и стал перед Далай-ламой. Туван-хамбо поморщился и уставился на загнутые концы его сапог. Ионцзын-Римбоче был опасный противник. Он пользовался непререкаемым авторитетом при толковании канонов желтой веры. Это он выпустил в новой редакции философское сочинение Цонг-Копа «Ламрин чемпо, или Великий путь», с помощью которого люди могут найти путь к спасению, сократил и заново переработал многотомный «Ганжур», издав его под названием «Маани сутар». Ионцзын-Римбоче изучил английский язык, много читал, знал все, что происходит в странах Европы. Но в оценке важных вопросов внутренней и внешней жизни Тибета он, по мнению Туван-хамбы, стоял на ложных позициях. Корень этих ошибочных взглядов был, как полагал Туван-хамбо, не в простом заблуждении, а в чем-то другом...

— Гэндэб-дуб, Гэндэн-чжямца, Содном-чжямца, Иондон-чжямца, Агван-Лобсан-чжямца, Санжай-чжямца, Агван-Еши-чжямца, Чжямбал-чжямца, Приньлай-чжямца, Тубдэн-чжямца!

Ионцзын-Римбоче перечислял имена всех Далай-лам, и сидящие в зале повторяли их. В этом нестройном хоре заметно выделялся голос Чойжиншо-ламы. Ионцзын-Римбоче недовольно поглядел на него. А Туван-хамбо, повторяя имена прежних правителей Тибета, вспомнил, как несколько дней назад Ионцзын-Римбоче обрушился на Чойжиншо за то, что тот якобы действовал заодно со своим родственником, казненным Пархангом, что некогда заклинатель имел связь с японцем Ямадзуки. «Нужно ли было приводить сюда Чойжиншо, еще совсем неопытного в дворцовых интригах? Знает ли Ионцзын-Римбоче, что я заступался за него?»

Чуть прихрамывая, Ионцзын-Римбоче подошел к низенькому столику, на котором стоял кувшин, вынул из-за пазухи павлинье перо и, несколько раз обмакнув его в воду, побрызгал по сторонам. Произнеся молитвы, обращенные к земле, небу и воде, он начал речь:

— О великий Далай-лама, бог, воплотившийся в образе человека! По вашему повелению решили мы собрать святых сподвижников буддийской веры, дабы обсудить, как спасти нашу страну от влияния лжерелигий, от дьяво-

лов-чужестранцев. Близится конец эры, мы находимся накануне войны Шамбалы¹.

Проклиная дьяволов-чужестранцев, Ионцзын-Римбоче требовал более строгих мер к тем, кто перешагнет рубежи священной страны и кто окажется их вольным или невольным пособником. Он предлагал перейти в решительное наступление, дабы в ближайшие годы, с благословения Далай-ламы Тринадцатого, добиться мирового господства желтой веры. Наконец он дал понять, что только союз с сильной державой, находящейся по ту сторону морей, принесет им честь, силу и независимость. Речь свою Ионцзын-Римбоче закончил пословицей: «Если не можешь одолеть врага, притворись его другом».

Вслед за Ионцзын-Римбоче выступили с речами и другие учителя Далай-ламы. О сильных державах мира они говорили еще осторожнее, чем Ионцзын-Римбоче. Только наиболее проникательные могли понять, куда клонит тот или иной. Один лишь толстый лама с подстриженными усами громким басом прерывал речь каждого:

— Нет, не так! Говорю вам — не так!

— Лхасаран-хамбо! Не следует горячиться, — с неудовольствием глянул на него Ионцзын-Римбоче.

Лхасаран-хамбо как ошпаренный вскочил на ноги:

— Вы затыкаете мне глотку?

Угловатое лицо, плоский веснушчатый нос и большой, с кривыми зубами рот делали Лхасарана комичным. Рост у него был около сажени, а толщина такая, что один человек ни за что не смог бы его обхватить. При всем этом он отличался большой подвижностью и был сварлив, как сварливая женщина.

Тонкие губы Ионцзын-Римбоче то расплывались в улыбке, то прятались под длинными седыми усами. Черные узкие глаза его вспыхивали. Бритая голова то и дело склонялась, как у бодливого яка. Всем видом своим он показывал, что не доволен.

— Я хочу говорить! — закричал Лхасаран-хамбо.

И тогда послышался голос бога:

— Говори, Лхасаран-хамбо!

Ревнителю желтой веры в пылу спора совсем забыли о присутствии Далай-ламы. Теперь они смущенно за-

¹ По буддийскому учению, настанет время, когда все живущие на земле люди начнут воевать друг с другом. Это и будет война Шамбалы.

молкли и воззрились на него. Тот спокойно рассматривал китайский календарь, подарок богдыхана.

— Говори! — повторил Далай-лама.

Лхасаран-хамбо сложил ладони и неуклюже, как-то вбок поклонился.

— Я думаю, великий Далай-лама, надо во всех дацанах отслужить молебствия в честь богини Палдан-лхамы. Этим мы защитим нашу священную землю от врагов желтой веры!

Лхасаран-хамбо сел на свое место и победоносно глянул по сторонам. Никто не улыбнулся ему, не кивнул головою в знак согласия. Ламы пожимали плечами: «Шумел-шумел и ничего не сказал!»

Эмчи-Соном-хамбо, известный скептик и ворчун, сделал такую гримасу, будто ему вместо куска мяса подсунули обглоданную кость. Но когда он сам стал высказываться, то говорил так запутанно и безалаберно, что ламы поняли лишь одно: земля представляет собой цилиндр, на вершине которого якобы находится Тибет, и следует убрать какие-то лестницы, чтобы в их страну не могли проникнуть дьяволы...

Страсти разгорались. Хамбо-ламы вскакивали со своих олбоков и стоя передразнивали друг друга, обвиняли в невежестве. Они спорили, как невозддержанные европейцы...

Тогда снова заговорил Ионцзын-Римбоче:

— Известно, что японцы, поклоняясь тридцати трем храмам неба, сократили духовенство и увеличили армию. Солдаты крепнущей Японии с оружием в руках отстаивают и распространяют свою религию. А три тысячи дацанов нашей страны и тысячи дацанов в других странах совершают одни молебствия. Что нам следует сделать? Нам надо заключить договор с Англией и снабдить народ оружием. Только так мы защитим веру. Другого выхода нет!

Туван-хамбо все еще молчал. Он ждал, когда ламы наговорятся вволю, переругаются между собой и начнут искать союзников. Тогда-то он и выступит. Но все, кроме Ионцзын-Римбоче, высказывали такие убогие мысли, что Туван-хамбо решил наконец ввязаться в спор.

— Я понял так: вы, Ионцзын-Римбоче, предлагаете нам, буддистам, взять в руки оружие и проливать человеческую кровь? Так?

— Для спасения веры боги-хранители могут взять не только оружие, но кое-что и пострашнее,— медленно процедил Ионцзын-Римбоче.

— Послушать вас, так на крыше Потала надо установить пушку,— издеваясь над противником, проговорил Туван-хамбо.

Хамбо-ламы молчали, украдкой поглядывали на Далай-ламу.

— Если надо будет, то и пушки установим на храмах, но не пустим в нашу страну чужеземцев! — продолжал стоять на своем Ионцзын-Римбоче.

— Как все это неразумно! — поднимаясь наконец с олбоков, воскликнул Туван-хамбо.— В истории нашей многострадальной родины было много тяжелых дней. Мы боролись и будем бороться против тех, кто идет к нам с оружием, кто хочет поработить народ и осквернить наши храмы. Стране приходилось воевать с Монголией, с Китаем, наши войска доходили до далекого Багдада. Но наибольшего расцвета Тибет достигал тогда, когда имел мирные сношения с другими странами. Наши предки обменивались с европейцами письмами и духовными книгами. Одно время было решено даже построить в Лхасе католическую молельню. Держать на запоре двери своей страны и вооружать народ — это безумие. Все равно никого мы не устршим!

— Я не говорил, что надо держать двери на запоре,— возразил Ионцзын-Римбоче.— Речь идет о договоре с Англией...

— Это еще страшнее!

— Вы умник, Туван-хамбо! — с издевкой воскликнул Ионцзын-Римбоче.— Я всю свою жизнь посвятил изучению буддизма, и не только здесь, но и в Индии. Я знаю историю других религий, читал иезуитские и англиканские духовные книги. И знаю, что духовники устанавливают свои законы в других странах, распоряжаются имуществом единоверцев. А мы? Наши дацаны постоянно враждуют между собой. Позор, что Брайбан и Сера все время ссорятся!

Туван-хамбо перебил его:

— Почему именно с Англией договор? Может, потому, что вы изучили английский язык?

— Вопрос, достойный хуварака! — отмахнулся Ионцзын-Римбоче. — Вы должны говорить о спасении родины, если она у вас есть...

— Можно подумать, что только Англия печется о спасении нашей страны. С помощью таких агентов, как вы!

— Как вы смеете! — закричал Ионцзын-Римбоче. — Всем известно, что вы — шпион России. При дворе русского царя вас лишили разума, отвратили от желтой веры. Чем занимались вы с Бадмаевым? Тибетской медициной или еще чем-нибудь? Отвечайте!

— Довольно! — стараясь сдержать себя, проговорил Туван-хамбо. — Вера дедов и пращуров моих — святыня. Печетесь ли вы об истинной вере, когда протягиваете руку англичанам?

Ионцзын-Римбоче побледнел, он, казалось, готов был вцепиться в горло своему недругу.

В это мгновение пронесся звук, напоминающий шипение змеи. Ламы подняли головы, стали оглядываться по сторонам. Туван-хамбо взглянул на маленького, величиной с теленка, бронзового слона. Из множества дырочек на его спине курился благовонный дым. Над слоном, в дыму, извивался черный шестиногий дракон, вырезанный из сандалового дерева искусными китайскими мастерами.

В пустотелого слона закладывали горячие угли, на них кидали пахучие травы, и в сильных потоках дыма дракон, каждая чешуя которого была вырезана отдельно, начинал извиваться, как живой. Все это было давно известно Туван-хамбе. Но откуда шипение? Даже Ионцзын-Римбоче, старый придворный, и тот, кажется, растерялся. У Туван-хамбы мелькнула мысль: «Не к добру! Только я начал говорить...»

Зловещее шипение нарушил вдруг звонкий смех Далай-ламы. Он смеялся как ребенок: плечи его тряслись, шелковое покрывало на коленях вздрагивало, губы расползались до ушей, обнажив мелкие белые зубы. Он растер на щеках слезы и достал шкатулку из слоновой кости, полученную в подарок из Бирмы по случаю Нового года.

В другое время все осудили бы Далай-ламу за легкомысленное поведение, но сейчас они с восхищением смотрели на него: во время такого трудного спора он сохранил поистине божественную выдержку.

В шкатулке помещались часы, стрелки которых сейчас сошлись на верхней цифре. Всадник с копьем — маятник часов — мотался из стороны в сторону, будто насккивал на противника. Показывая на всадника, Далай-лама рассмеялся еще громче. Хамбо-ламы тоже рассмеялись, прогоняя недавний свой страх. Лхасаран-хамбо хохотал раскатиисто и гулко, держась обеими руками за огромный живот.

Одному Чойжиншо-ламе не было весело. Кто победит — Ионцзын-Римбоче или Туван-хамбо? В самом деле, если Ионцзын-Римбоче обвинят в шпионаже в пользу Англии, то родственнику Парханг-дзаса не сносить головы. Если обвинят Туван-хамбу, то он, Чойжиншо, лишившись поддержки влиятельного учителя, станет добычей грифов. Он поглядывал то на Ионцзын-Римбоче, то на Туван-хамбу, и смеющиеся их физиономии казались ему холодными, как морские камни.

Верхняя крышка диковинных часов вдруг поднялась, откуда-то изнутри выскочила кукушка с позолоченной головой и кивнула двенадцать раз. При каждом движении кукушка издавала короткий крик: «Ох-ох!» Ламы продолжали смеяться. Тут Далай-лама рассердился: почему она стонет, а не кукует? Он закрыл шкатулку и недовольно посмотрел на учителей. Треск обрушивающихся потолков не мог бы напугать хамбо-лам так, как напугал их щелк шкатулки. Они мгновенно замолчали... Посмотрев на Ионцзын-Римбоче и Туван-хамбу, Далай-лама приказал:

— Садитесь!

Не поднимая глаз, оба учителя молча пошли на свои места.

Пахучие травы в животе слона сгорели, дым стал быстро таять. Сандаловый дракон вырисовывался теперь отчетливее, уже можно было разглядеть раскрытую пасть и сжатые когти. Взглянув на эти когти, Чойжиншо почувствовал себя совсем плохо. Чтобы отвлечься от невеселых дум, он стал рассматривать картины на стенах.

Вот китайский бог дождя Лун Ван, вот прикрепленные над каждым олбоком картины с изображением трех святых — Шоу, Ции, Пэнцзу. По верованиям конфуцианцев, чтобы прожить долгую жизнь, надо поклоняться этим святым. Китайский император, по преданию, подарил эти картины Галсан-чжямце, которого назначил Далай-

ламой Шестым. Однако ни сам император, ни Далай-лама не порадовали своих соотечественников долголетием.

— Говорите! — обратился Далай-лама к Туван-хамбе.

Ламы вытянули шеи. Они никак не могли привыкнуть к тому, что в минуты крайнего раздражения Далай-лама Тринадцатый был способен выслушивать самые противоречивые мнения.

Ионцзын-Римбоче даже привскочил на олбоке. «Зачем выслушивать чужеземца, приехавшего из России? Что может сказать этот бурятский хамбо-лама, шпион белого царя?»

Сложив холеные руки, Туван-хамбо поднялся с олбока. Тонкие губы его были плотно сжаты, глаза лихорадочно блестели, ноги, обутые в матерчатые сапоги с подошвой в три пальца, стояли прочно.

Ионцзын-Римбоче с беспокойством посмотрел на соперника. Что ждет его, Драгоценного Учителя? Победа или позор поражения? Сколько раз убеждал он Далай-ламу искать у Англии защиты от богдыхана и всех других врагов страны! Но ведь и его соперник не дремал, он беспрестанно убеждал владыку Тибета, что Англия поработит их родину, как уже поработила Индию...

Даже подросток Далай-лама понимал, что борьба этих двух его учителей смертельно опасна для него самого. Но был еще Панчен-Эрдэни, который знать ничего не хотел, кроме маньчжурского императора. Ни одного из них — ни Панчен-ламу, ни Туван-хамбу, ни Ионцзын-Римбоче — нельзя было попросту убрать. За спиною каждого стояли многочисленные приверженцы из числа светских и духовных лиц. Жертвой этой придворной борьбы, не утихающей ни на один день, и пал Парханг-дзаса.

Поклонившись Далай-ламе, Туван-хамбо хотел было начать речь, но вдруг почувствовал, что горло его пересохло, а мысли прыгают, как пугливые зайцы. Он прокашлялся и уже открыл было рот, но Ионцзын-Римбоче опередил его:

— Чем это вы подавились, санид-хамбо? Что мы будем делать, не услышав вашего мудрого слова?

Кровь прилила к лицу Туван-хамбы. Он медленно повернул голову в сторону противника и, сдерживая ярость, проговорил, отделяя каждое слово:

— Без моего совета вам и на самом деле не обойтись. Нам надо подумать о том, как спасти жизнь великого

Далай-ламы Тринадцатого от убийцы Ионцзын-Римбоче, того самого, который в сговоре с Номин-ханом отравил Далай-ламу Двенадцатого. А ведь он получил от него титул Драгоценного Учителя!

— Сумасшедший шаман! Тебе камланием заниматься, а не лезть в святую желтую веру! — с места крикнул взбешенный Ионцзын-Римбоче.

Однако он тотчас же взял себя в руки и замолчал. Замолчал и Туван-хамбо.

Водворилась такая тишина, что было слышно, как тикают часы в футляре. Чтобы обвинить Ионцзын-Римбоче в отравлении Далай-ламы Двенадцатого, не было достаточных улик. Но каждый из них, глядя на свирепое лицо старого учителя, подумал, что этот мог бы быть участником убийства.

— Жизнь собравшихся здесь хамбо-лам находится в руках Демо-хутухты¹ и Панчен-Эрдэни, — зловещим голосом произнес Ионцзын-Римбоче. — Они вошли в тайный сговор с амбаниями, этими холоуями маньчжурского богдыхана. Ни на минуту не следует забывать, что Тибет все еще под контролем маньчжурских правителей. Стоит ли нам в такое время затевать бесплодные ссоры, вместо того чтобы объединиться против истинной опасности? — Ионцзын-Римбоче помолчал и угрожающе добавил: — Если хоть одно слово кто-либо вынесет из этого зала, тела наши станут добычей грифов!

Сердце Чойжиншо-ламы похолодело, как будто к нему приложили лед. Да и у одного ли только Чойжиншо? Туван-хамбо по-прежнему стоял. При последних словах Драгоценного Учителя он сделал нетерпеливый жест и, уже не глядя на своего противника, проговорил:

— Что можно сделать, если теленок стоит на привязи в неогороженном дворе и к нему подкрадываются два хищника? Наша страна уподобилась этому теленку, она стоит на привязи у маньчжурского богдыхана и смотрит в рот Англии и России.

Туван-хамбо вынул шелковый платочек и, вытирая пот с лица, украдкой глянул на хамбо-лам. Ему показалось, что взоры их смягчились, и даже Далай-лама ласково смотрел на него, будто просил продолжать. Он почувство-

¹ Д е м о - х у т у х т а — высокопоставленное духовное лицо, в данном случае имеется в виду правитель города Лхасы. (Прим. перев.)

вал такое облегчение, словно сию минуту обезвредил змею, которая обвивалась вокруг его тела.

Оглядев еще раз Далай-ламу и его высокорожденных учителей, Туван-хамбо заметил, что только Ионцзын-Римбоче уставился на него ненавидящими черными глазами. На его лице ходили желваки. «Что за хитрость затаила в себе эта старая лисица?» — подумал Туван-хамбо, не в силах оторвать от него взгляд.

— Каким же способом хотите вы спасти нашу страну? — Лицо Ионцзын-Римбоче вдруг озарилось приветливой улыбкой, как озаряется солнцем земля после непогоды.

Готовый живьем снять кожу с противника, Драгоценный Учитель с изумительной ловкостью переменял маску: там, где еще недавно раскачивалась голова змеи, теперь трепетал цветок.

— Каким образом? — переспросил Туван-хамбо, чтобы хоть немного освоиться с новым обликом Ионцзын-Римбоче.

— Да!

Пытливые глаза Туван-хамбо мгновенно прошлись по лицам, как бы ища поддержки у присутствующих. Он твердо сказал:

— Наша священная страна может стать независимой лишь в случае, если заключит договор о дружбе с большой державой.

— Можно ли узнать с какой? — ласково спросил Ионцзын-Римбоче.

— Как спасти привязанного теленка от английского льва и русского медведя? — продолжал Туван-хамбо, не отвечая прямо на поставленный вопрос. — Позвать хозяина он не может, ибо тот не защитит его. Броситься в объятия льва — значит наверняка пожертвовать своей шкурой...

— По-вашему выходит, что лапы русского медведя будут гладить спину теленка? — Ионцзын-Римбоче едко рассмеялся и посмотрел по сторонам, но никто даже не взглянул на него, все были заняты своими мыслями.

Туван-хамбо понимал, что Ионцзын-Римбоче не одинок, что среди сидящих здесь лам есть у него единомышленники и противники, готовые обвинить забайкальского бурята в шпионаже и прочих грехах. Ведь расправа с

ним, Туван-хамбой, будет означать, что один из сидящих здесь учителей станет санид-хамбой...

Чтобы окончательно добить Туван-хамбу, Ионцзын-Римбоче повторил свой вопрос:

— Значит, у русского медведя лапы мягкие?

В зале царило молчание.

— Отвечайте на вопрос! — неожиданно произнес Далай-лама, и Туван-хамбо уловил в его голосе недобрые нотки.

Только что сочувственно глядевшие на старшего учителя хамбо-ламы отвели от него взгляд и уставились на носки своих сапог. А Ионцзын-Римбоче, снова переменив маску, сверлил соперника глазами: «Что скажешь, чужестранец?..»

Туван-хамбо почему-то вспомнил, как пришел он в Тибет много лет назад, с каким упорством изучал буддийские каноны, богословие, тибетскую медицину, как получил звание лхарамбы. Все свои силы отдал он Тибету. Неужели по-прежнему остался он для этих людей чужестранцем, человеком, чьи предки исповедовали шаманизм? Видимо, так и есть, потому что лица сидящих здесь людей холодны. А Далай-лама, его божественный ученик? Вот он сидит на олбоках, скрестив ноги, и смотрит куда-то вдаль, как смотрят орлы, гнездящиеся на неприступных скалах...

Двенадцать лет воспитывал и учил его наукам он, Туван-хамбо! Неужели Далай-лама разделяет взгляды Ионцзын-Римбоче, неужели разделяет? Может быть, упасть, пока не поздно, к ногам своего ученика и сказать: «Спасите меня! Все силы отдал я вам и нашему священной Тибету. Кто посмеет усомниться в моей честности и преданности?!» Но нет, так нельзя!

— С кем же вы предлагаете заключить договор? — продолжал наседать Ионцзын-Римбоче.

Теперь все ламы глядели на Туван-хамбу с напряженным ожиданием и подозрением. Даже Далай-лама скосил округленные глаза на своего старшего учителя. Чойжин-шо-лама опустил голову, чтобы не встречаться взглядом с Туваном.

Туван-хамбо твердо выговорил:

— Мы должны заключить договор с Россией! Только с Россией!

Хамбо-ламы вздрогнули. Ионцзын-Римбоче быстро взглянул на Далай-ламу. Но тот ничем не выдал своих мыслей, по-прежнему глядел он поверх людей. Выдержку перенял он у своих учителей. Теперь же эти уроки обрачивались против них.

— После того как Англия окончательно захватила Индию, наша южная граница стала беспокойной,— продолжал Туван-хамбо.— Начиная с первого генерал-губернатора Индии Гастингса, все английские правители посылают к нам пандитов. Только слепые не видят, как Англия проглатывает одну страну за другой. Бирма, Непал, Бутан, Сикким... они ведь тоже заключали договоры с Англией. Англичане знают, какие богатства таятся в недрах китайских провинций. Не захватив Тибета, они не смогут протянуть свои руки к этим богатствам. И если мы заключим с ними договор, мы окажемся в тисках между Англией и Китаем и обречем святую веру на гибель. Пока не поздно, надо заключить договор с Россией. Ее границы от нас близко, ее государственные деятели терпимо относятся к нашей вере. Пример тому — Бурятия, которая вот уже двести пятьдесят лет находится в составе Российского государства. Дацанов за это время там не стало меньше. Как вы знаете, я сам недавно вернулся оттуда.

— Вы что же — предлагаете нам последовать примеру Бурятии? — перебил Ионцзын-Римбоче.— Присоединиться к России?

— Никто этого не предлагает. Я только хотел сказать, что на окраине России живут наши единоверцы, которые хотят, чтобы Тибет был сильным и независимым. Но Тибет не может стать такой сильной страной, как Япония, нам не под силу в одиночку отстоять себя от внешних врагов. А наш покровитель Китай из-за хозяйничанья маньчжуров настолько ослаб, что не в силах защитить свой западный край от посягательств англичан.

— Значит, вы думаете, Россия спасет нас?

— Я уверен, что она сможет удержать руку Англии в любом конце света, будь то в Персии, Сербии или в Китае,— не глядя на Ионцзын-Римбоче, ответил ему Туван-хамбо.

Одни ламы слушали Туван-хамбо со смешанным чувством удивления и недоверия, другие, подобно Эмчи-Соному, попросту дремали. Лхасаран-хамбо, и сотовой доли не

понявший из того, что сказал старший учитель, вопросительно посмотрел на Чойжиншо-ламу. Но тот сердито отвернулся от него. «Чего он на меня уставился? — с досадой подумал молодой лама-заклинатель. — Уж не думает ли он, что я первый стану поддакивать санид-хамбе? Еще неизвестно, чем это кончится...»

Далай-лама сидел с опущенной головой, и его остроконечная шапка, как перст указующий, была нацелена прямо на Ионцзын-Римбоче. Драгоценный Учитель взглянул на Далай-ламу, потом на притихших лам, и сердце его болезненно сжалось.

— Искренне ли Россия хочет помочь нам? — спросил Далай-лама, когда Туван-хамбо закончил.

Слова эти заставили радостно забиться сердце Ионцзын-Римбоче. Надо быть великим дипломатом, чтобы ответить на такой щекотливый вопрос. Но в Тибете нет великих дипломатов. Только он, Ионцзын-Римбоче, мог бы, пожалуй, выпутаться из этого трудного положения. Ведь он, и только он, самый выдающийся дипломат Востока!

Туван-хамбо, то ли по необходимости, то ли нарочно, три раза кашлянул, прежде чем ответить. И этого было достаточно, чтобы снова посеять сомнения в душах трусливых лам.

— Нет! — раздался твердый голос Туван-хамбы. — Нет! У России есть свой интерес...

В который уже раз ставил он сегодня в тупик хамболам и даже великого хитреца Ионцзын-Римбоче... Драгоценный Учитель разочарованно облизал губы.

— Значит, Тибет представляет для России какую-то выгоду? — снова спросил Далай-лама.

— Конечно. Ей выгодно заключить с нами договор, — спокойно продолжал Туван-хамбо. — Но выгоду она будет искать не в Тибете. Мы для нее слишком далекая и призрачная страна. Сейчас Россия спешно строит в своих среднеазиатских владениях железную дорогу. Это — руки, протянутые к Туркестану, — Туван-хамбо вспотел, стал обмахивать платком шею, в то же время продолжая наблюдать за Далай-ламой и его учителями.

Ламы молчали. Напряженную тишину время от времени нарушал лишь тоненький свист крепко спящего Эмчи-Сонома.

— Англия постарается отрубить любую руку, протянутую к ее богатствам. Трудно предугадать, чем кончится эта борьба и сколько времени она будет продолжаться. Одно лишь ясно — она отвлечет внимание великих держав от нашей священной страны.

Даже Эмчи-Соном перестал свистеть и открыл глаза. Сразу стало ясно, что симпатии хамбо-лам теперь уже окончательно на стороне старшего учителя. «Как же мы не знали, что среди нас есть такой умный человек?» — читал Туван-хамбо в обращенных к нему взглядах.

— Правильно ли говорит Туван-хамбо? — обратился Далай-лама к Драгоценному Учителю.

Этот вопрос поразил хамбо-лам еще больше, чем прежде. «Наверное, он произнес такие мудрые слова по повелению самого Будды!» — подумали они. Но Будда был здесь ни при чем.

Не только Ионцзын-Римбоче, но и Туван-хамбо беседовал накануне с Далай-ламой и тоже постарался подсказать ему некоторые вопросы. Далай-лама был исправным учеником не одного Драгоценного Учителя...

Туван-хамбо по-прежнему не глядел на своего противника, но ответа ждал с нетерпением. А тот не спускал взгляда с Далай-ламы, и его поблескивающие под длинными ресницами глаза то расширялись, то сужались, словно издалека читали тускло отпечатанную книгу.

— Туван-хамбо сказал мудро, — пролепетал наконец Ионцзын-Римбоче и молитвенно сложил руки.

«Ах ты, старая лисица!» — подумал Туван-хамбо и посмотрел наконец в глаза Ионцзын-Римбоче. Тот чуть улыбнулся и ответил не менее выразительным взглядом: «А, ты хотел меня на этом поймать?»

— Если люди в самом деле стремятся к счастью и благоденствию своей страны, они не должны ссориться друг с другом. Ссора и месть противны вере нашей, — назидательно произнес Далай-лама. — Ионцзын-Римбоче, Туван-хамбо! Сейчас же вы должны помириться! Обнимитесь как братья!

Туван-хамбо и Ионцзын-Римбоче нехотя, словно их тянули на веревках, приближались друг к другу. Но лица лам, напуганных длительной перепалкой двух могущественных людей, посветлели.

Подавив отвращение и изобразив на лице подобие улыбки, Туван-хамбо обнял Ионцзын-Римбоче за шею.

Он подумал: «Хорошо бы эту голову снять с плеч», — и улыбка в этот момент у него получилась совсем натуральной.

С благословения Далай-ламы тайное совещание решило, что договор с Россией выгоден для Тибета. Он поможет укрепить международные позиции страны, спасет ее от алчных происков англичан и прочих иноземцев. Туван-хамбе было приказано собираться в далекую дорогу, чтобы заключить с царским правительством тайный договор о дружбе.

Высокопоставленные ламы пришли также к мнению, что пора прекратить разлад и борьбу между сектами буддистов. Первым шагом к этому должно стать повсеместное празднование пятнадцатилетия Далай-ламы, святого из святых на земле. Чтобы еще больше укрепить влияние живого бога, решено было послать от имени Далай-ламы Тринадцатого подарки и золото для награждения лучших борцов и наездников — победителей на предстоящих празднествах при дацанах Бирмы, Китая, Японии, Индии, Цейлона, Монголии, Бурятии...

Тут снова послышался звук, похожий на шипение змеи, но никто уже не испугался. Далай-лама открыл шкатулку, посмотрел на стрелки. Было три часа ночи. Хамбо-ламы один за другим поднимались с олбоков, складывали руки, кланялись Далай-ламе и пятились к дверям. Только Ионцзын-Римбоче и Туван-хамбо не спеша расхаживали по сумрачному залу, доливая масло в светильники.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ХОРОШИ ЛИ

СТЕПИ МОНГОЛЬСКИЕ? .

Серые холмы, однообразные, как застывшие волны, бугры галечника и кусты сахилзаны много дней проходят перед глазами. Сахилзана! Похожая на обнаженные сабли, она так жестка, что ни одно животное не решается к ней прикоснуться. Позади остались сочные травы, исчез ковыль. Голодные лошади тычутся мордами в галечник, не находят пищи и, пошатываясь, бредут дальше. В выжженной этой степи могут обитать лишь полевые мыши, тарбаганы да прожорливая саранча.

На перевале, где сходятся тропинки, показался сложенный из камней жертвенник. Изъеденные насекомыми, исхлестанные ветрами, священные лоскутки обвисли на шесте. Где-то недалеко, видать, живут люди. Снова спуск и снова подъем. Саженьях в десяти от тропинки лежат белые кости верблюда. Два ворона, сидя на оскаленной верблюжьей голове, смотрят вслед Аламжи и Шобдоку. «Кар! Кар!» Чуть подальше — груды черных камней, остатки древних мастерских. Здесь ковались те самые сабли для орд Чингисхана, которые слепили глаза народам. Копыта коней, проносившихся по этим местам, высекали искры из камней и заставляли содрогаться мир... Следы истории некогда могущественных племен, а потом заостеневших в своей отсталости на сотни и сотни лет!.. Аламжи все чаще поднимался на стремянах, до боли в глазах всматривался в распаханную степь. Ветерок донес до него запах дыма.

А вот и юрты... Аламжи и Шобдок направились к кочевью. Их встретили голодные худые собаки, у которых не было сил даже лаять. Потом появилось несколько полуголых ребятишек, за пологами рваных юрт замелькали женские лица. Пока женщины приводили в порядок свои головные уборы и переругивались, путники спешили у коновязи.

— Здравствуйте! — приветствовал нежданных гостей пожилой арат. — Здоровы ли? Хорош ли путь?

Обычай степей: на доброе слово отвечать добрым словом, на шутку — шуткой, а на чашку чая — признательностью. Как бы ни был беден арат, он не отпустит гостя, не попотчевав. Прими из рук хозяев чай, выпей этот пахучий настой, уважь обычай степей.

Камень родного гнезда таится в желудке орла,
А в сердце любого арата — кочевий родных ароматы.

Эту древнюю пословицу помнят и седобородые старцы, и юнцы, едва достающие до луки седла...

Шобдок-лама и Аламжи хорошо знали обычай степей. С одинаковой охотой пили они чай и в бедной, и в богатой юрте.

Посланцы Агинского дацана вышли из дырявой юрты и направились к своим лошадям. Жители кочевья достойно проводили гостей, уважающих обычаи народа. Не успел Аламжи отвязать своего коня, как ребятишки с

криком набросились на скотину, принялись отгонять ее от колодца. Появились и ведра, женщины достали воды, и сам хозяин юрты напоил лошадей. Все, от мала до велика, вышли из юрт, кланялись путникам. Аламжи и Шобдок вскочили на коней, поблагодарили, взмахнули плетками и вскоре скрылись с глаз.

Снова холмы без растительности, галечник да проклятая сахилзана в низинах. Неотвязная тоска вползает в душу. Опустив голову на грудь, Аламжи затянул песню:

У Хангая-хребта, в поднебесье взметнувшего кручи,
Верблюжонок-сиротка на слабеньких ножках шатается.
Он по матери плачет, он счастья на свете не знает,
Его ветер безжалостно хлещет и гонит в бескрайнюю степь...¹

— Что голову повесил? — раздался оклик Шобдок-ламы.

Аламжи посмотрел вперед. В дрожащем мареве вырисовывались зеленые луговины, а еще дальше, у горизонта, сверкало озеро. Аламжи дал коню поводья, наклонился над лукою седла и понесся вперед. Шобдок-лама тоже стегнул своего.

Пыль уже не клубилась под копытами коней, земля здесь была влажной. Трава все выше поднималась по обочинам тропы. Показались цветы: то белые, как снег, то голубые, как небо, то желтые, как барханы. Над головами стремительно пронеслись турпаны. На берегу залива, вытянув шеи, стояли два журавля. Стадо горных коз пронеслось совсем близко и скрылось за увалом. От озера тянуло прохладой.

Аламжи придержал коня, перевел его на шаг. Лама догнал его, поехал рядом. Путники молча оглядывали благодатные просторы. Аламжи думал, что в открывшейся перед ним долине жить вольготнее, стада здесь должны быть сытыми, а сами араты — богатыми. Почему же бедняки не перекочуют сюда? Шобдок размышлял о другом. В притороченной к седлу суме вез он малахитовые камни, собранные у Байкала. Впереди — богатое кочевье, обменяет он камушки на чистое золото. Лишняя монета никому не приносила вреда...

Еще один холмик, и в долине показались белые юрты, словно грибы, выросшие из-под земли.

¹ Перевод Н. Рыбко.

— Смотри, юрты!

— Я давно их вижу,— безразлично отозвался Шобдок. Позади юрт, меж пологих берегов, протекала река.

— Какая широкая река!

— Давно ее вижу,— тем же тоном повторил Шобдок.

— Однако люди из того кочевья, где мы сегодня были, глупые люди. Зачем жить на краю такой богатой степи? Зачем кочевать по камням, пить соленую воду из колодца?

— Они умнее, чем ты думаешь. Кто же уступит им такие хорошие пастбища? На земле все поделено по справедливости: кому мясо, а кому кость...

Трава стала еще выше, она уже задевала за стремя. Цветы на длинных стеблях выглядывали из темно-зеленой травы. По ту сторону реки пенились отары овец, паслись табуны. Резвились жеребята, ржали заботливые кобылицы, распустив по ветру гривы, носились ревнивые жеребцы. А над долиной, такой нарядной и приветливой, трепетал и заливался жаворонок. На пригорке показался тарбаган, встал на задние лапки, свистнул, а потом залаял. Аламжи потянулся к револьверу, но передумал: не хотелось нарушать тишины.

— Озеро какое! Здесь рыбы, наверное...

— Рыбы много, но ее никто не ловит: желтая вера запрещает... А озеро... что ж, оно большое, Далайнор...

— А река? Название какое у нее?

— Керулен.

— Здесь хорошо!

Араты встретили их радушно, угостили чаем, аракой, свежей бараниной. А потом уселись вокруг.

— Какие новости в степи?

— Откуда и куда путь держите?

— Далеко ли отсюда ваше кочевье?

— Здоровы ли сами, не притомились ли ваши кони?

По простоте душевной Аламжи хотел обстоятельно рассказать, куда и зачем они едут, однако Шобдок-лама сердито покосился на него.

— Из Агинского дацана едем в Лхасу,— сказал Аламжи.

Хозяин юрты, не проронив ни слова, сидел возле очага и попыхивал трубкой. Зато его дочь-вдова, женщина лет тридцати, говорила без умолку.

— Много ли у вас детей? А всего в семье сколько народу?

— Двое детей у меня. А всего в семье четверо нас...

Ответ Аламжи не разочаровал вдовушку; она подкладывала в его чашку самые жирные куски, в чай подливала молоко с пенкой.

— Что это у вас в сумке тяжелое? — спросил хозяин.

Шобдок-лама потянул сумку поближе к себе.

— Так, разные вещички...— Он вынул круглый зеленый камень и показал хозяину.— Нравится?

Хозяин молчал.

Шобдок-лама вынул еще несколько камешков и положил на ладонь.

— Какие красивые шарики! Ой-е, какие красивые!

Вдова опустилась возле на корточки. Немного подумав, Шобдок протянул один камушек хозяйке:

— Это вам подарок...

Вдовушка с благодарностью приняла. Полные щеки ее заметно порозовели.

— Спасибо вам, святой учитель.

Шобдок-лама смотрел на полное тело хозяйки, обтянутое узким халатом. Губы его расползлись до ушей.

А вдова подошла к Аламжи:

— Красивый камень, правда?

— Как тебе сказать...— Он хотел получше разглядеть подарок, потянулся к хозяйке, натолкнулся на ее пальцы и замолчал.

...Перед кроватью на северной стороне юрты она постелила ему постель — войлочный тюфяк, обтянутый далембой.

— Этот тюфяк почтенному ламе постелить бы,— неуверенно проговорил старик. Верующий человек, он преклонялся перед желтым халатом и красным орхимжо, хотя Шобдок и не нравился ему.

— Пусть почтенный лама на конском одеяле спит,— обернулась к старику дочь.— Святые люди и на голых камнях отдыхают.

Старик сложил ладони, повернулся к бурхану и стал тихонько просить богов не осуждать его глупую дочь...

Аламжи снял ичиги и лег, накрывшись одеялом. Хотя оно было и не новым, однако сохранило еще приятный

запах дыма. Монголы, подобно бурятам, при выделке шкур окуривают их дымком аргала. Звуки кочевья постепенно замирали. Стихло мычание коров, блеяние овец и ягнят, все реже раздавался собачий лай.

...Рано поднялись хозяева и гости. Шобдок-лама и Аламжи напились крепкого чая, принялись седлать лошадей. Мужчины и женщины, дети и старики — все вышли провожать путников. Поблагодарив новяина, Аламжи молодецки вскочил на коня, поскакал в степь, потом резко натянул поводья, вздыбил скакуна, обернулся к юртам и помахал на прощание.

Целый день путники ехали вверх по Керулену, за ночевали в степи, а ранним утром тронулись дальше. Шобдок-лама поднялся с зарей: ему не спалось. Зато в седле он начал клевать носом, тяжело опираясь на высоко подтянутые стремяна. Скоро воды Керулена остались позади, наши путники свернули к Буирнору. Копыта их коней ступали уже не по мягкой траве, а по звонким камням. За камнями потянулись неоглядные песчаные дали, тропинка часто исчезала, приходилось ехать наугад... При свете заходящего солнца пески приняли медный оттенок, потом стали темнеть и вскоре превратились в серую тьму. Лошади, страдая от жажды, обнюхивали землю.

Голова Шобдока склонилась так низко, что казалось, его горбатый нос вот-вот ткнется в луку седла. Он изредка приоткрывал глаза, бросал сонный взгляд на пески и снова засыпал. Мучила жажда. К счастью, встретился небольшой островок ирисов, покрытых вечерней росой. Путники и их лошади освежились, насколько возможно, этим спасительным даром степи и тронулись дальше.

Аламжи то и дело терял исчезающую в песках тропинку. Как пригодились бы сейчас верблюды!

— С коня лучше слезть, пешком надо, а то погибнем...

Шобдок не отозвался. Низко опустив голову, упираясь руками в луку седла, он лишь взглянул на спутника мутным взглядом.

— Дорогу потеряли. Что будем делать?

Шобдок-лама по-прежнему не отвечал.

Аламжи распустил нитки кушака, отрезал их и, свернув жгутиком, положил на дно чашки, где сохранилось немного масла. Светильник вспыхнул, Аламжи двинулся вперед. Вскоре масло выгорело, огонь затрепетал и погас. Со всех сторон надвигалась темнота.

— Аламжи! А-ла-мжи! — донеслось из темноты: перепугавшись, Шобдок-лама обрел наконец дар речи.

Они долго ехали во тьме, предавшись воле коней, и кони вывели их из беды. Аламжи заметил, что под ногами хлюпает вода. Озеро! Прямо в одежде шагнул он по пояс в воду, стал черпать ее пригоршнями, подносить к опаленному зноем рту. Лошади тоже припали к воде. Аламжи поднял голову: конь Шобдока стоял без седока.

— Шобдок! Шобдок-лама!

Аламжи бросился на поиски и скоро нашел своего спутника лежащим на земле недалеко от берега. Лама обеими руками обнимал песчаную кочку. Аламжи приподнял его. Шобдок стал жадно хватать ртом капли, стекающие с халата Аламжи.

Истомленные жаждой, проголодавшиеся, они вынули жареное просо, смешали его с озерной водой и поели. Топлива поблизости не было, аргал ночью не соберешь, а значит, и чаю не сварить. Но это уже не такая большая беда: хорошо, хоть вода есть.

— Аламжи! — словно очнувшись, закричал Шобдок. — Где сумка? — Он бросился к своему седлу.

Аламжи оторопел. Он совсем забыл про золото.

— Отвечай, где моя сумка?!

— Вы же сами ее везли.

— Да, я!.. А куда глядел ты? Куда глядел, спрашиваю?!

Шобдок метнулся в темноту. Недавно совсем обессиленный, лама бегал теперь по степи как порный пес. Всю ночь колесили они у берегов неизвестного озера. Начало светать.

— Может, она где-нибудь возле воды, — робко предположил Аламжи.

Они вернулись к берегу. Седла лежали на прежнем месте, лошади щипали траву. «Ни о каком золоте не думают наши кони, — с завистью подумал Аламжи, — неужели животным живется лучше?»

— А ты не спрятал ее? Может, решил себе забрать? — Шобдок вынул из-за пазухи револьвер.

— Смейтесь надо мной? Если бы мне понадобилось ваше золото, я мог бы взять его и пораньше...

Шобдок понуро стоял, понимая, что никакие угрозы не могут подействовать на этого человека. Вдруг он вытянул шею и открыл рот. Глаза его устремились на водяную рябь. Аламжи повернулся в ту же сторону и увидел ремень от сумки. Он шагнул в воду, схватил сумку и швырнул ее на берег.

— Вот ваше золото!

— О боги! — возликовал Шобдок-лама. — Молитвы мои не пропали.

Он обхватил сумку обеими руками, поднес ее к лицу, прижался щекой. В обнимку с сумкой он проспал до утра.

ПОТЕРЯ

Солнце уже поднялось над горизонтом, в лазоревом небе уже запел свою песню жаворонок, а путники все спали. Лицо Шобдок-ламы покрылось испариной и походило на лепешку, смазанную маслом. Синяя стрекоза села на его нос, будто хотела разбудить ламу. Шобдок чихнул и протер глаза. Оглянувшись по сторонам, он вскочил.

— Аламжи! Вставай, Аламжи!

Аламжи повернулся на другой бок.

— Вставай же скорее! Лошади пропали, слышишь! Где лошади?

Аламжи вскочил и стал оглядываться.

— Разбойники, должно быть. Коней увели...

Их глазам открылась широкая степь. Но не только лошадей, а совсем ничего не обнаружили они в этом пространстве.

— Лошади притомились. Не могли они сами уйти. Но кто же их увел? — недоумевал Аламжи.

— Плохи наши дела.

— Может, поблизости есть кочевье?

На западном берегу озера им помешалось нечто похожее на юрту. Шобдок поднял с земли сумку и зашагал туда. Аламжи взвалил на плечи оба седла и потники.

— Молились, дьявола жгли, и все напрасно! Из одной беды в другую...

— Замолчи! Как роптать на богов?

Аламжи замолчал.

— Сами-то мы живы? Это и есть благословение божье,— продолжал Шобдок.— Не будь их заступничества, порешили бы нас разбойники!

Он опустил сумку, сложил ладони и забормотал. Но и молитва не могла успокоить его: куда подевались кони, кто поможет им в этой безлюдной степи? Шобдок передал сумку Аламжи. Тот шел теперь навьюченный, как верблюд.

— Это не юрта,— всматриваясь в даль, тихо сказал Аламжи.

— Что ты сказал?

— Не юрта, говорю! Это куча камней.

— Да, верно. Камни.

Разочарованные и уставшие, они присели на берегу озера, недалеко от груды камней и снова подкрепились жареным пшеном и озерной водой.

Шобдок-лама отошел в сторону и опять стал молиться:

Войну войной не прекратить,
Врага бедой не укротить.
И не проходят без следа
Ни ложь, ни прошлые года.

Отринь наследие веков:
За око око, кровь за кровь.
Кто верен истине такой,
Тот обретет в себе покой.

О, если б, как бадму-цветок,
Рукой безжалостной ты мог
От сердца зависть оторвать,
Найти и свет, и благодать! ¹

Прошедший длительную дацанскую школу, он знал наизусть целые страницы из ставосьмитомного «Ганжура», «Сокровенного учения Будды», а также из других священных книг.

Вслушиваясь в слова молитвы, Аламжи не хотел думать ни о пропаже коней, ни о будущих бедах. Зачем жалеть о том, что рано или поздно пройдет? Зачем стремиться к удовлетворению мимолетных желаний, если впереди у тебя избавление от страданий и вечное блаженство?

¹ Перевод Ю. Кузнецова.

— Кто здесь читает святой «Джамма-над»?

— Ум-мара-зуе-ман-суу-хаа! Ум-мара-зуе-ман-суу-хаа! ¹ — нараспев произнес перепуганный Шобдок-лама и стал кланяться на четыре стороны.

Однако мистическое заклинание не помогло: из расщелины в камнях вышло человекообразное существо саженного роста. Ветер шевелил полы его рваного халата и пожелтевшую бороду.

«Шолмос!» — мелькнуло в голове у Аламжи. Он весь похолодел.

— Когда приходит лама, отшельник встречает его. Ковер мой — зеленая степь, питье — ключевая вода, дворец мой — лазурное небо, наука — ученье богов.

Узнав, что перед ним отшельник, Шобдок-лама перестал дрожать. Как подобает мирскому человеку, Аламжи опустился перед отшельником на колени.

Седобородый старик стал молиться, продолжая священные строки, начатые Шобдоком:

Издали сияет
Знакомое всем, как солнце,
Высокое, как горная вершина,
Лицо просветленного.
Черная беда уходит от нас,
Как стрела сквозь черную ночь.
Ты не зови ее цепью,—
Это не цепь.
Есть настоящая цепь —
Стальная:
Страсть, прелюбодеяние,
Золото, любовь.
Солнце блистает на чистом небе,
Месяц блуждает в глухом тумане.
Слава героя — сабля,
Слава святого — ум.
Заточи свою черную совесть в камень,
Тогда покоришь сердца ².

Крепнувший ветер рвал на отшельнике полы халата, трепал седые волосы, бросал в лицо песок. Старик стоял, большой и негибемый, решительный и непреклонный, как его вера. Произносимые им строки из индийской кни-

¹ Согласно буддийскому учению, это тибетское заклинание останавливает злые деяния дьявола — шолмоса: глаза его слепнут, руки и ноги перестают двигаться, и дьявол уже не в состоянии причинить человеку ничего дурного.

² Перевод Ю. Кузнецова.

ги «Сутта-Нипад» входили в душу. Теперь уже не только Аламжи, но и Шобдок-лама стоял перед отшельником на коленях.

Наконец старик умолк, указал на землю рукой, пригласил садиться.

— Хотел бы я знать, как зовется источник, утоляющий жажду наших сородичей, степь, где кочуют они, гора, на которую опираются.

— Из прозрачно-чистого, лазурного Байкала пьют воду сородичи наши, кочуют по бурятской земле, украшенной цветком Будды. Со склонов скалистых Саянских гор направляемся мы в Лхасу.

— Почему вы пешком идете? Где ваши лошади?

Шобдок-лама поведал ему о всех злоключениях. Старик слушал молча.

— Есть ли близко люди... кочевье? — спросил Шобдок. — Нам бы лошадей купить.

— Полперехода отсюда, — ответил отшельник.

Шобдок-лама и Аламжи сразу повеселели.

— А продадут ли там коней?

— Где же и покупать добрую лошадь, как не в Халха-Монголии.

— Мы хотели в Лхасу из Урги направиться. Но услышали, что после дунганского восстания дорога стала опасной. Через Далайнор решили...

— Кто сказал, что здесь не опасно? Разве до ушей ваших не дошел слух о хинганских разбойниках?

— Нам посоветовали взять проводника по имени Тумэр-тайжи, — ответил Шобдок. — Говорят, он хорошо знает дороги.

Отшельник изменился в лице. Но Шобдок не заметил этого:

— Если в Далайноре Тумэр-тайжи не окажется, плохо будет нам.

Старец выпрямился во весь рост и, схватившись за горло, покачнулся. Полы его желтого халата извивались на ветру.

— О-ох! О-о-о-о-о-о! — простонал он и скрылся в расщелине.

Шобдок-лама поклонился в сторону его убежища.

— Простите нас, ради всех богов. Простите...

Аламжи прислушался, и ему показалось, что он различил сдавленный голос отшельника. Он приблизился

к расщелине и заглянул внутрь. Извиваясь на камнях, отшельник стонал и, чтобы заглушить стенания, зажимал себе рот полрой халата.

Плачет ли старец или смеется? По спине Аламжи проползли мурашки. Из оцепенения его вывел голос Шобдока:

— Скорее, Аламжи! Идем!

Взвалив на плечи седла, Аламжи быстро пошел на зов. Свисающие подпруги мешали идти, но позвякивающие стремяна как бы подгоняли его: «Иди-и! Иди-и!..»

Слава богам, у подножия холма виднелись три войлочные юрты. Это были юрты степных монголов: вокруг них ни коновязи, ни топлива, ни загонов для скота. Огромные черные собаки кинулись одна за другой навстречу путникам. От быстрого бега они не могли лаять и от этого казались еще страшнее. Шобдок-лама спрятался за спину Аламжи. Возле юрты появились хозяева. Они криками отогнали собак.

Шобдок-лама первым заметил животное, лежащее перед крайней юртой с задранными вверх ногами.

— Скот режут! — обрадовался он: наконец-то они отведдают свежего мяса.

— Кажется, корову, — подтвердил Аламжи. — Но почему летом?

Однако перед юртой лежала не корова, а белый конь с роскошной гривой. Животное билось в предсмертных судорогах. Накинув на его шею петлю, несколько человек тянули концы веревки в разные стороны. Задние ноги задыхающегося животного задвигались, словно ножницы, и наконец застыли. Аламжи сбросил с плеч седла, подошел и увидел: перед ним лежал его быстроногий скакун! Открытые глаза лошади сверкали, как стеклянные шары. Мухи облепили ресницы, ползали по черным зрачкам. Бедный конь уже не мог моргнуть, чтобы прогнать насекомых.

— Что вы делаете?.. — закричал Аламжи.

Собаки снова залаяли. Из юрт сбежались. Аламжи вырвал из рук аратов концы веревки, опустился на землю, снял петлю и обнял верного своего коня за шею. Он гладил его челку и гриву, заглядывал в потухшие глаза. Ему показалось, что в этих умных и не мигающих теперь глазах застыл немой укор. Так смотрит, наверное, преданная женщина в лицо любимому, который убивает ее

из-за слепой ревности. Уже никогда не поднимется белый скакун, не взмахнет гордой шеей, не распустит по ветру гриву, не закусит железных удила — черную землю закусил он в свой смертный час!

Аламжи молча поднялся на ноги. Стоящие вокруг него отодвинулись назад. Один лишь коренастый арат, старательнее других тянувший за конец веревки, не шелохнулся. Он вызывающе глядел на пришельца-великана. Аламжи подошел к нему вплотную, окинул взглядом его плотную фигуру, сунул руку за пазуху... Размахнувшись, он ударил его рукояткой револьвера по лицу.

Коренастый устоял на ногах, лишь голова его на короткой шее чуть-чуть подалась в сторону. На мясистой щеке появилась капелька крови.

Люди перестали дышать. Но через секунду все с криком и проклятиями бросились на Аламжи. Он разбросал людей, как пучки высохшей травы, и отошел в сторону.

Шобдок-лама понял наконец, что вся эта история может кончиться очень плохо и для него, и для Аламжи. Протиснувшись в круг, он поднял над головой четки:

— Подождите! Послушайте повеление богов!

Хотя араты и были возмущены дикой выходкой незнакомца, — глаза их сверкали ненавистью, а пальцы сжимались подобно когтям орла, собирающегося схватить добычу, — они все же остановились.

— Мы все ученики и последователи Цзонхавы и должны понимать друг друга, — сказал Шобдок-лама.

— Все это правда, святой отец, — ответили ему несколько голосов, — но надо наказать этого человека!

— Воры, — не сдерживаясь, крикнул Аламжи.

— Что ты сказал? — коренастый монгол с окровавленной щекой подскочил к обидчику.

Вслед за ним протиснулся юнец с топором в руках. Какой-то старик вырвал топор и швырнул его в сторону.

— Вы моего коня украли! — не отступал Аламжи. — Украли, но зачем было душить?

Коренастый спросил:

— Конь твой?

— Да, мой!

— Не познав истины, зачем горячишься? — остановил его старик, отобравший у юноши топор. — Мы нашли твоего коня в степи. С поломанными ногами лежал он...

Откуда-то прибежала женщина с непокрытой головой:

— О боги, что творится!

Она вытерла кровь с лица низенького монгола и, обняв, пыталась оттащить его в сторону. Люди стали успокаиваться, их гнев потухал. Женщина поспешила увести раненого...

Шобдок-лама рассказал, как они потеряли коней и с каким трудом добрались до кочевья.

Аламжи тем временем подошел к труп лошади. В самом деле, ноги у него были перебиты. Не смея взглянуть окружающим в глаза, он стоял над бездыханным конем с опущенной головой.

Как вскоре выяснилось, хинганские разбойники захватили коней Шобдок-ламы и Аламжи, а потом налетели на табун этого кочевья и угнали еще десяток лошадей. Вооруженные араты погнались за грабителями, но не смогли догнать. Один разбойник скакал на белом коне, но вскоре бросил его, когда тот угодил ногой в кротовую нору. Кочевники пожалели искалеченного коня и подтащили его к юртам. Когда старики определили, что скакун все равно не поправится, решено было избавить его от страданий. По здешнему обычаю, резать коня или убивать топором не разрешалось, так как это священное животное, первый друг человека. Его задушили веревкой.

Когда недоразумение разъяснилось, старый монгол пригласил путников к себе в юрту. Проведя всю жизнь в седле, старик передвигался по земле мелкими шажками, наклонив туловище вперед. Кривые его ноги были полусогнуты в коленях, и он переваливался на них, будто нес чашку с водой и боялся ее расплескать. Рядом с ним бойко семенил мальчишка в длинном до пят халате. Следом за стариком двигался Шобдок-лама. Он хотел выпрямиться, принять перед незнакомыми людьми внушительный вид, но не мог: усталость брала свое. Ноги Шобдока заплетались, спина горбилась, голова склонилась на грудь.

В северной стороне юрты сидел коренастый монгол, а женщина, недавно обнимавшая его, перевязывала его рану белой тряпкой с солью. Тот морщился от боли.

— Садитесь повыше, — обратился старик к гостям, указывая им место на западной стороне юрты,

Те помолились и, по обычаю, поздоровались с хозяевами. Когда все расселись, Шобдок-лама проговорил:

— Чуть было не приключилась беда. Мы не бродяги, нет. В Лхасу едем, молиться...

Хозяин, слушая, время от времени запускал через воротник рубашки изогнутую палку и чесал себе спину. Нос у старика был маленький, острый, как воробьиный клюв, а на левом глазу синело бельмо. Когда он удивлялся или не понимал собеседника, то переставал мигать, и невидящий глаз его будто нацеливался на говорившего.

По просьбе Шобдока старик рассказал об отшельнике:

— Зовут его Нима. Хороший это человек, лошадей имел, сарлыков¹, баранов. Очень сына любил. Рослый сын, здоровый, красивый, не одна девушка заглядывалась на него. И полюбилась ему девушка по имени Мэдэг. Дело к свадьбе шло, когда маньчжурскому амбаню та девушка приглянулась. Абаахаем звали амбаня. Рассердился амбань на сына Нимы, отправил его в солдаты, дунган усмирять. Храбро сражался одноулусник наш, пули миновали его. Потом в Пекине побывал, награду получил — амбаньскую шапку с красным шариком. Вернулся храбрец на Далайнор, и все удивляться стали: ведь шапка с самым высоким амбанем поравняла его. Шибче стал сердиться Абаахай. Бродячего ламу Осора настоятелем китайской кумирни поставил и приказал ему отравить сына Нимы. Храбрец проведал об этом, сжег кумирню вместе с Осором, прихватил Мэдэг и ускакал на коне в Далайнор. Солдаты Абаахай-амбаня погнались за ними, Мэдэг застрелили. Подхватил сын Нимы свою возлюбленную, в камыши Далайнора ускакал. И никто не видел с тех пор Тумэра-тайжи...

— Как, вы сказали, того храбреца звать? — переспросил Аламжи.

— Тумэр-тайжи, — повторил старик и продолжал. — Абаахай-амбань все камыши на озере сжег, храбреца искал. Долго искал, да так и не нашел. Все считают, что Тумэр-тайжи с Мэдэг бросился в озеро. Отдал беднякам старый Нима весь свой скот и отшельником стал. Натаскал камней с озера, шалаш построил, седьмой год за сына молится.

¹ Сарлык — як.

— Может, это и есть тот самый Тумэр-тайжи, которого мы ищем? — повернулся Аламжи к своему спутнику.

— Какой, тот самый?

— Да тот, что в озере утонул...

— Пожалуй, так оно и есть, — сообразил наконец Шобдок.

Все молчали, опустив головы. Образ храброго Тумэр-тайжи витал над ними.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЗАГОВОР

...Через проломы в глинобитной стене лучи утреннего солнца проникли в конюшню, превращенную нищими в ночлежный дом. Протерев глаза, толстый человек с желтым лицом приподнялся в недоумении: как он сюда попал и что это за сарай, набитый оборванцами? Толстяк стал шарить за пазухой, извлек оттуда узелок. На его ладони лежало несколько монет чеканки монетного двора Далай-ламы.

— Ай-яй-яй! Это все, что осталось от продажи осла?

Голова его трещала после ячменного пива, смешанного с водкой. Он положил холодные монеты к вискам. Одна монета выпала и покатилась.

Позади толстяка, прислонившись к стене, сидя спал худощавый человек. Как раз в тот момент, когда монета покатилась, он проснулся и посмотрел на сверкнувший металлический кружочек.

Владелец монеты обернулся, увидел, что к блестящему кружку тянется жилистая рука, и стал наблюдать. Он узнал охотника за монетой. Несомненно, это был его вчерашний знакомый Кончун-Сойбон. Бадарчин-лама — а то был он — хотел окликнуть его, но вовремя сдержался.

Кончун-Сойбон быстро вскочил на ноги и, переступая через спящих, вышел. Тибетская монета, зажатая в кулаке, прибавила ему сил. Легкими шагами пересек он дворик и за оградой увидел бедно одетых людей, толпившихся возле одноэтажного каменного дома, каких в Тибете немного: обычно здесь строят двухэтажные каменные помещения — внизу содержится скот, наверху живут люди;

в случае нападения грабителей дом превращается в крепость.

Одноэтажный дом, возле которого стояли люди, не был предназначен для жилья: в нем находилась харчевня заезжего двора. Кончун-Сойбон направился туда.

Бадарчин-лама, всунув голову в дверь ночлежки, стал следить за похитителем монеты. Тот подошел к харчевне, спросил о чем-то у стоящего в сторонке человека и вошел. Не теряя времени, бадарчин-лама последовал за ним.

Вдоль стен стояли низенькие столики, в южной стороне было несколько столов на длинных ножках. К ним и направился Кончун-Сойбон. Оглядев зал и не обнаружив нигде умывальника, он украдкой вынул из кармана платок и вытер руки.

Тангут¹ не заставил себя долго ждать.

— Тупка!² — коротко распорядился Кончун-Сойбон.

Бадарчин-лама проскользнул в зал и уселся прямо на пол, за шкаф для посуды.

— Чашку чанга!³ — приказал он.

— Момо!⁴ — приказал Кончун-Сойбон, не глядя на тангута, который поставил на стол большую чашку с супом и положил две палочки.

Тангут поклонился и снова отошел. А Кончун-Сойбон взял в руки костяные палочки, помешал ими суп, поддел длинную полоску теста и отправил ее в рот. Ничего больше поймать он не смог, как ни старался. Бадарчин-лама понял, что человек, назвавшийся Кончун-Сойбоном, совсем не тибетец.

Потеряв терпение, Кончун-Сойбон отложил палочки и стал втягивать в себя суп через край чашки. Тангут принес пирожки. Кончун-Сойбон набросился и на них.

— Эй, подойди сюда! Неси скорее чашку чанга! — закричал тангуту бадарчин-лама. Он понял наконец, что подозрительный паломник может ускользнуть и ему придется бегать за ним, не опохмелившись.

Кончун-Сойбон насторожился: голос из-за шкафа показался ему знакомым. Он заглянул за шкаф, и внутри у

¹ Т а н г у т — прислужник.

² Т у п к а — суп с лапшой и мелко нарезанным мясом.

³ Ч а н г — ячменное пиво.

⁴ М о м о — пирожки с диким чесноком, называемые в Тибете са,

него оборвалось. Отпрянув назад, он положил на стол монету и вышел.

В конюшне никого уже не было: нищие разбрелись попрошайничать. «Что делать! Как отвязаться от этого лама?» И тут вошел его преследователь.

— О-о! Старый знакомый! — с притворной радостью воскликнул Кончун-Сойбон.

— Пришел, чтобы увидаться с вами, — шепотом проговорил бадарчин-лама. — Ищу человека из-за моря... Вы мне нужны.

— Как вы узнали, что я из чужих земель?

Отступив, он сунул руку под орхимжо. В кармане широких тибетских штанов он всегда носил заряженный пистолет. В случае опасности он стрелял во врага, не вынимая пистолета.

— Отвечайте, зачем я вам нужен!

— Вам незачем скрываться от меня... Я вас...

Кончун-Сойбон взвел курок. Бадарчин-лама уловил щелчок, подскочил к Кончун-Сойбону и, сквозь одежду сжал кисть его правой руки. Тот левой рукой схватил бадарчин-ламу за грудь и приемом джиу-джитсу¹ хотел опрокинуть его назад. Хитрый бадарчин моментально присел.

— Хэ-хэ-эй! На эту штуку вы меня не поймаете. Вы слышали что-нибудь про капитана Троттера?

Кончун-Сойбон перестал мигать.

— Вы знакомы с Троттером? О, как хорошо! — Кончун-Сойбон обеими руками обнял бадарчин-ламу, незаметно ощупывая его одежду. Пальцы наткнулись на что-то жесткое. Сомнений быть не могло: за пазухой у лама был револьвер. Бадарчин-лама в свою очередь хотел обнять Кончун-Сойбона, но тот отстранился и стал вытирать платком лицо. На платке виднелся уголок с вытканым зеленым листом.

— Вы же наш человек! — воскликнул бадарчин. — По платку узнал... Томас!

— Синг! — бросился навстречу ему мнимый паломник.

Они обнялись.

Да, они встретились — индус и англичанин, оба английские наемники, опасные враги Тибета. Только случай

¹ Д ж и у - д ж и т с у — японская борьба.

заставил их обняться. При других обстоятельствах Томас не стал бы сентиментальничать с туземцем.

Синг тоже не питал горячей привязанности к англичанам, хотя работал на них. Когда он вспомнил, что во дворце Великих Моголов разместились английские военные склады, кулаки его сжимались. Разве это не поругание святыни? Разве позволительно плевать на мраморные стены великого дворца и держать там лошадей?

Судьба заставила индуса и англичанина обняться. Они понимали, что жизнь того и другого в этой дикой стране была на волосок от смерти. И только взаимная помощь и великая осмотрительность могли обоих спасти.

Служащий Англо-индийского топографического общества пандит Синг повел Томаса на окраину Поталашола. У ворот высокого глиняного забора, который уже начал осыпаться по углам, они остановились. Индус трижды приподнял и опустил на воротах железное кольцо. Никто не отзывался. Тогда Синг лег на землю, просунул руку под ворота, что-то нащупал, потянул за веревку, и ворота распахнулись.

Войдя во двор, они накрепко закрыли ворота и подошли к каменному дому с обвалившейся штукатуркой. Навстречу им по лестнице спешила горбатая старуха.

— Здравствуйте! — Томас, как полагалось тибетцу, высунул язык и протянул вперед руки.

Старуха низко опустила седую голову, посмотрела на незнакомца и ничего не ответила.

— Не обращайтесь на нее внимания, — по-английски сказал Синг. — Она совершенно глухая.

Он показал старухе два пальца. Та еще более изогнулась и, чуть не касаясь руками земли, пошла в глубь двора. Они последовали за нею.

— Это моя запасная конура. Кроме внучки-сироты, у хозяйки никого нет. Скота у нее тоже нет. Она приспособила нижнее помещение для паломников.

Горбатая старуха открыла дверь позади высокого крыльца и провела постояльцев в низенькую полутемную комнату, где, кроме очага и огромной бочки с водою, ничего не было. «Действительно, конура... Здесь ни один черт не найдет!» — обрадовался Томас.

Синг тем временем объяснился с хозяйкой. Он пошевелил пальцами, словно заплетал косы, затем опустил

руки на пояс. Старуха никак не могла уразуметь, что спрашивает у нее постоялец. Не мигая, она глядела на него гноющимися глазами. Томас отвернулся: не хватало еще, чтобы он подцепил какую-нибудь заразу!

Синг продолжал жестикулировать. Наконец старуха поняла его, часто-часто заморгала, растерла по лицу слезы и вышла.

— Я спросил, куда девалась ее внучка.

— Куда же ее внучка девалась?

— Говорит, что умерла, — с сожалением ответил Синг. — Такая молодая и умерла...

— Что же тут странного? Все люди смертны.

Синг намекнул на расходы:

— Старушке я плачу больше, чем другие паломники.

— Надеюсь, она довольна?

— Да, она хорошо ко мне относится. Важно и другое: она не знает моего имени.

— И это неплохо! — совсем успокоился Томас.

Он вытащил из-за пазухи хурдэ, пренебрежительно швырнул его в угол. Осмотрев свою одежду, руки, поморщился: с тех пор как он покинул Непал, его тело не знало мыльной воды. В Тибете не было не только бань или душевых, — даже обыкновенного корыта с теплой водой нельзя было попросить, чтобы не навлечь на себя подозрение. Синг выпросил у хозяйки закопченный котел и медный кувшин, кое-как объяснив, что они собираются варить мясо. Томас нагрел на очаге воду; сел в котел и начал мыться, а Синг и в самом деле принялся готовить еду. Разрезав на кусочки соленое ослиное мясо, индус взглянул на жилистого Томаса в котле и отвернулся.

Десять лет назад, когда пало консервативное правительство Биконсфилда, к власти пришел либерал Гладстон. Среди индийцев стали распространяться слухи, что новый кабинет положит конец насилиям, все касты получат одинаковые права. Синг знал: надо терпеть, ждать. Но жизнь, идя своим чередом, показала, что для индусов Гладстон ничуть не лучше, чем Биконсфилд. Лишившись работы, Синг нанялся к капитану Троттеру. Он тайно пробрался в Тибет и занялся топографическими съемками. Теперь он уже не интересовался политикой. Помочь англичанам проникнуть к сокровищам Потала, разбогатеть самому и вызволить из нужды семью — этим целям он посвятил остаток жизни.

Нелегко достигнуть успеха на пути к такой цели! Гярханг-дзаса недавно был уличен в предательстве и казнен. Самому Сингу едва удалось спастись. До поры он боялся пользоваться запасной квартирой, надел на себя одежду бадарчин-ламы и пошел странствовать по дорогам Тибета. Так встретил он высокого паломника, в котором заподозрил иностранца. Он знал, что в Лхасу должен прибыть новый человек, и знал его имя.

Томас тщательно вытерся, оделся, побрился и стал похож на европейца. Настроение у него было прекрасное, он рассказывал о своих злоключениях по дороге из Непала в Лхасу...

Последний отрезок пути он шел с двумя проводниками. Его имущество было навьючено на единственного осла. В резиденции Панчен-ламы он нарвался на опасность: ночью стук в дверь и крики: «Выходи, чужестранец!» Пришлось выскочить через другую дверь. Когда один из преследователей стал настигать его, он обернулся и выстрелил в упор.

— А вещи все пропали. В суматохе проклятые проводники угнали осла.— Он хотел было обозвать туземцев шакалами, но сдержался.— А тебя я и в самом деле принял за бадарчин-ламу.

Синг, в свою очередь, рассказал англичанину, что вынужден был сжечь все материалы, добытые за несколько лет. Когда взаимная исповедь закончилась, они сели обедать. Суп из прокисшей ослятины, заправленный пшеном, показался отощавшему Томасу пищей богов. Насытившись, он постелил халат и прилег. Синг уселся на полу, прислонившись спиной к бочонку с водой. Но сон не шел ни тому, ни другому.

— Кто разукрасил эту комнату?

— Внучка,— безучастно ответил Синг.

— Откуда достала она китайские газеты?

— Привычка у нее такая была: оставит постоялец бумагу, она подберет и наклеит. Вон ту обертку из-под чая я в прошлом году оставил...

Оба замолкли. Томас то закрывал глаза, то снова открывал, пока рядом с чайной оберткой не увидел обрывок английской газеты, приклеенный вверх ногами. Он поднялся на четвереньки и осторожно отодрал бумагу. «Стандарт»...

— Откуда здесь английская газета? — спохватился Синг.— Есть тайные резиденты?

— Чепуха! — отмахнулся Томас.— Наши газеты читают на всех материках. Газету мог привезти какой-нибудь монах или торговец... Да и англичан ты не обязан всех знать.

Снова приподнявшись, Томас принялся рассматривать оклеенные стены. Долго и подозрительно рассматривал он японские газеты «Ници-Ници Симбун» и «Тея Симбун». Потом взгляд его остановился на китайской газете «Цзин-бао».

— Много же побывало здесь желтокожих! Не служит ли эта «конура» запасной квартирой и для русских резидентов?

Кто-то снаружи прислонился к бычьему пузырю. В комнате стало темнее...

— За нами подглядывают! — Томас отскочил в дальний угол.

Синг глянул в окно и прижался к стене: он успел заметить, что неизвестный соглядатай отпрянул от окна.

— Стой! — крикнул Томас.— Ни в коем случае не открывай!

Недавно еще розовый от мытья, он выглядел бледнее меловой горы.

Синг вынул из кармана револьвер, прикрыл его длинным рукавом халата и стал у двери. Что-то снова мелькнуло за окном, послышался еле уловимый шорох, и бычий пузырь, распоротый, видимо, чем-то острым, тихо загудел от свежего ветра.

— Кто там?

Никто не откликнулся. Зато между дрожащими краями разрезанного пузыря, шурша, проползла бумага.

Синг приоткрыл дверь и выглянул во двор. Ни единой души! Тогда он выскочил из комнаты, подбежал к углу дома, за которым находилось окно... У ворот мелькнул подол желтого ламского халата, ворота с грохотом закрылись. В несколько прыжков Синг очутился у ворот, приоткрыл их и увидел длинного тощего ламу в нарядных лушанских сапогах, спокойно шагающего по улице. Прихрамывая, лама удалялся и вскоре скрылся за углом.

«Походка знакомая!» Наконец он сообразил, что стоять здесь больше нельзя, запер ворота и вернулся.

Англичанин вглядывался в бумажку величиной с ладонь.

— Кто там был?

— В ламской одежде... успел выскочить на улицу.

— Нет, не случайно эти газеты попадали в руки покойной внучки! Я начинаю приходить к убеждению, что наш дом — совсем не безопасен. Здесь находят приют не только иностранные шпионы, но и те, кто следит за ними.

Томас протянул пандиту бумажку. Сингу бросилось в глаза, что записка, без даты и подписи, написана на английском языке.

— «Ночью на тайном совещании у Далай-ламы обсуждался вопрос о путях спасения Тибета. Шел спор, с кем заключить договор о дружбе: с Англией или Россией,— вслух прочел он.— Через месяц, в бимба-гараг, утренней порой, Туван-лхарамбо в сопровождении нескольких лам выезжает под видом паломника в Халху, в Богдын-Хурэ¹. Истинной же его целью является поездка в Петербург для ведения тайных переговоров с Россией».

— Понял теперь? Эти люди хотят спровоцировать нас!

Синг не ответил. Из головы у него не выходил длинный прихрамывающий лама, скрывшийся за углом высокого глиняного забора.

— Ты не думаешь, что тибетские разведчики нас испытывают?

Синг потер ладонью лоб и твердо сказал:

— Нет, не думаю. Это действует человек, связанный с нами. Это... Ионцзын-Римбоче, самый старый учитель Далай-ламы. Я вспомнил его походку...

— Откуда тебе знать его походку?

— Он приходил сюда с недавно казненным Парханг-дзасой. Лама этот — друг Великобритании, он ищет у англичан защиты. Я не мог ошибиться, это был Ионцзын-Римбоче.

— Отчего же он не зашел?

— Он действует осторожно.

— Вполне вероятно! Наконец-то нам улыбается счастье, Синг! Надо настигнуть этого Тувана в пути и... обезвредить!

— Он не один!

— Людей и мы найдем.

¹ Богдын-Хурэ — Урга, столица Монголии, ныне Улан-Батор.

— Нужны деньги, а нам с вами не на что купить даже свежего мяса.

— Деньги будут!

— Я должен составлять карты. А тут... убийство.

Томас рассмеялся.

— Кровопролитие? Это не входит в мои планы. Мы захватим этого ученого ламу и увезем в Англию. Зачем ему ехать в Россию, когда он может пожаловать к нам!

— Без людей, без денег...

— Э, потолкуем начистоту. Испуг туманит голову. Но это пройдет.

Томас поднял с пола хурдэ, подошел к окну и сел.

— Ни один буддист не поднимет руку на учителя Далай-ламы,— возразил Синг.

— Успокойтесь! Вы слышали что-нибудь о кукунорских разбойниках?

Он вынул из молитвенного цилиндра географическую карту, развернул и положил на колени.

— Слышал. Все они — монголы-буддисты. Они скорее нас прикончат, чем поднимут руку на хамбо-ламу.

— Вы их мало знаете! Имейте в виду, главарь дунган, казахов и уйгуров в Синьцзяне Якуб-бек был не глупее нас с вами. В свое время он создал самостоятельное государство... Великобритания снабжала его оружием через Турцию. Мы, конечно, первыми признали эту страну. Много ли там буддистов? Их почти нет! Сейчас среди кукунорцев находится английский миссионер Гордон. Это как раз на путях, ведущих в Монголию. У Гордона есть золото и люди. Нам нужно скорее выбраться отсюда и найти Гордона.

— Зачем английский миссионер поехал к кукунорцам? — спросил Синг.

— Чтобы обратить их на путь Христовой веры,— ответил Томас; не мог же он в самом деле посвящать туземца в политические замыслы государственных деятелей Великобритании.

С какой стороны ни взгляни на шар, он шар. С какой бы стороны Томас ни посмотрел на поездку Туван-хамбы в Россию, она виделась ему опасной.

— Нам нужно золото — и мы его достанем!

— Золотом кукунорских монголов не купить. Не пойдут они против хамбо-ламы.

— Упрямец! — Томас поднес к глазам Синга карту. — Смотри сюда: Цайдам!.. Тэтэнгэ!.. Здесь живут не только монголы-буддисты, но и мусульмане. А какое им дело до Тувана? Им все равно, что хуварак, что хамбо-лама, лишь бы платили золотом. Был бы поблизости сам Будда, они бы и ему накинули веревку на шею!

Томас умолк. Как похож этот индус на тибетца! Он, конечно, свободно может дойти до Кукунора, не вызывая подозрений. И при этом никаких расходов: в пути можно питаться подаяниями. Надо уговорить упрямого азиата, вырядить его как полагается, а самому играть роль слуги или нищего. И никто тогда не страшен до самого Кукунора. А в Кукуноре деньги будут: там епископ!

Терзаемый сомнениями, Синг молчал.

— О чем же вы думаете? — принялся наседать на него Томас. — Размышлять тут не о чем: через месяц, а то и раньше вы будете иметь в кармане тысячу рупий. Ну, а если хотите оставаться нищим, сидите в этой дыре. Но, поверьте, вам уготовлена иная судьба!

ТАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Ионцзын-Римбоче не находил себе места: Далай-лама целые дни проводит с Туваном. Драгоценный Учитель знал, что они составляют секретное обращение к русскому царю.

«Всю жизнь посвятил я тому, чтобы возвыситься над Далай-ламой, — размышлял он. — С Двенадцатым ничего не вышло... И вот теперь Тринадцатый... Глупый мальчишка, ты дал волю этому Тувану, потомку шаманистов! Знай же, я вырву власть из его рук!»

Неожиданно донеслись выстрелы. Он, прихрамывая, подошел к окну. На площади, окруженной храмами, как муравьи, копошились люди. На звуки выстрелов сбегались толпы.

Забыв о преклонных годах, Ионцзын-Римбоче набросил на плечи орхимжо и в парадном одеянии бросился на улицу. Прихрамывая заметнее обычного, он зашагал по улицам, ни на кого не глядя, и вскоре достиг невысокого, с золоченой крышей, монастыря святого Будды — Лхасы, что означает — обитель бога. Здесь, вокруг храма,

стояло множество субурганов¹. На каменных плитах верующие за многие сотни лет вытоптали борозды.

В давние времена на месте монастыря, как рассказывает легенда, было озеро. Тибетский царь Сронгстон по просьбе жены-буддистки решил здесь построить обитель бога. Чтобы выбрать место для будущего храма, царь привязал к ноге священной птицы сугсэты золотое кольцо и выпустил ее. Под тяжестью кольца птица упала на середину озера и утонула. Царь приказал забросать озеро камнями и на них воздвигнуть храм...

За молельней водяного дракона в ущелье возвышался квадратный черный камень. По преданию, он перекрывал источник, который некогда питал озеро водою. Рассказывают, будто бы каждый раз в первые дни нового года камень приподнимается, и из-под него доносится гул. Не оттого ли, поклоняясь водяному дракону, паломники приносили сюда дары?..

В новогодний праздник в монастырь Будды — Лхасу ежегодно прибывал Далай-лама, и тогда здесь в больших котлах варили чай для двадцати тысяч лам. В первый месяц нового года возле монастыря устраивались гадания, определялась судьба Тибета. На площади разбивались три палатки, в которые помещали курицу, зайца и козла. Каждому животному подвешивали священный амулет. Далай-лама произносил над этими амулетами заклинания. Потом стреляли по палаткам. Если хоть одного из животных убьют или ранят, это будет означать, что на Тибет обрушится несчастье. В этих случаях из монастырей Брайбан, Галдан и Сера собираются доромбы и лхарамбы², обладающие басами, и в течение двадцати суток служат молебны. Бывает, что и курица, и заяц, и козел остаются невредимыми, а пострадает кто-нибудь из стреляющих. Это предвещает спокойствие и благоденствие для Тибета.

Стараясь не попадать в борозды на каменных плитах, Ионцзын-Римбоче вышел на площадь. Здесь он остановился: стреляют по палаткам! Кто разрешил? Не Новый же год!

И тут Драгоценный Учитель понял: гадания проводятся по случаю отъезда Туван-хамбы. Палили из русских бер-

¹ Субурган — памятник.

² Доромбы, лхарамбы — ученое и духовное звание лам,

данок, из карабинов Фруберта, из китайских штуцеров, из каких-то других ружей, добытых бог весть где и когда. Пожилой человек в спущенной с одного плеча цёбе, без всякой меры, насыпал в стол порох, забивал туда пули и, не целясь, стрелял по палаткам. Ионцзын-Римбоче хотел спросить у этого одержимого, кто приказал ему стрелять, как вдруг раздался оглушительный грохот.

Когда дым рассеялся, все увидели, что лицо старика опалено, большой палец правой руки оторван. Старик выронил исковерканое ружье, опустил руки и в недоумении озираясь по сторонам.

В ту же минуту палатки были раздвинуты и оттуда выскочили насмерть перепуганные животные.

Толпа разразилась ликующими криками. А когда увидели, что один из стрелков лишился пальца, ликование стало еще сильнее. Пытаясь остановить кровь, старый тибетец сжал искалеченную руку. Никто не пришел ему на помощь: чем тяжелее, тем лучше.

Ионцзын-Римбоче, глядя на раненую руку стрелка, сокрушался: при таком исходе невозможно уже помешать действиям Туван-хамбы.

Да, гадание было устроено ради Туван-хамбы, ради его благополучия в дороге. Не посоветовались с ним, Драгоценным Учителем! Значит, Далай-лама не верит примирению, по-прежнему считает их врагами. Что ж, враги так враги!.. Охваченный ненавистью к буряту, Ионцзын-Римбоче решил отправиться во дворец Потала, чтобы изобличить чужестранца в нарушении канонов веры.

Кто-то сунул ему в ладонь бумажку, сложенную как пакетик для иголок, и, не показывая лица, нырнул в толпу. «Неужели так быстро от Синга?» удивился Ионцзын-Римбоче.

При виде учителя бога ламы низших званий поспешно уступали ему дорогу и кланялись до земли. Высокие служители дацанов приветливо улыбались ему и тоже отвечивали поклоны. Ионцзын-Римбоче кивал всем подряд. Он очень торопился и, казалось, уже не хромал, а подпрыгивал на каменных плитах, как человек, который опасается замочить обувь после дождя. Подойдя к высокой каменной стене, Ионцзын-Римбоче оглянулся по сторонам, шагнул за угол и развернул бумажку.

«Жду вас там, где вы были вчера. Не бойтесь, мы люди одной веры».

Он хотел разорвать записку и выбросить, но передумал и, свернув комочком, отправил ее в рот. Преодолевая отвращение, он долго и сосредоточенно жевал бумагу, а потом решительно проглотил ее и пошел дальше.

Засветло идти к горбатой старухе было рискованно. Ионцзын-Римбоче решил выбраться с грязных улиц Лхасы, побродить в окрестностях города, еще раз все хорошо продумать. Прижимаясь к домам, чтобы не попасть в какую-нибудь зловонную лужу и не выпачкать свои расшитые золотом сапоги, он миновал несколько переулков и вышел на сухую дорогу.

«Как расправиться с этой собакой Туван-хамбой? Неужели Далай-лама навсегда вышел из-под его влияния? Может, поступить с ним так же, как и с Двенадцатым? Опасно? Подозрение сразу же падает на меня. Этот мальчишка стал осторожен. Признать поражение и склонить голову? Но чужестранец найдет удобный предлог и отправит меня на вершину священной горы к грифам».

По многолетнему опыту он знал, что ненависть и отчаяние, рожденные страхом,— плохие советчики. К намеченной цели надо идти спокойно, уверенно и осторожно. Недаром же он считал себя хорошим дипломатом, в совершенстве познал каноны учения Сакья-Муни и Цзонхавы, изучил английский язык, читал не только духовные, но и светские книги. Он знал государственное устройство Англии и Японии, имел представление о великих дипломатах Ито и Бисмарке, о таких выдающихся шпионах, как мадам Винью и Мадам Луиза да Керауль... Вспоминая дела всемирно известных людей, он не мог отделаться от навязчивой мысли: «Как случилось, что я, такой осторожный, настойчивый и образованный человек, упустил власть?»

* * *

Еще в школьные годы Синг завидовал белым и боялся их. Позднее эти чувства стали привычными. Даже вспышки ненависти к англичанам не могли их изменить. Синг беспрекословно подчинялся своим хозяевам.

Ему хотелось потолкаться среди людей, отдохнуть от спертых воздуха запасной квартиры, но он не мог забыть предупреждение Томаса: «Смотри, не долго!»

Люди кругом веселились: гадание прошло хорошо, Далай-ламе и его высокорожденным сподвижникам не угрожали никакие опасности. Синг, вобрав голову в плечи, спешил в дом горбатой старухи. Вдруг он замедлил шаг, а потом и совсем остановился. В двух шагах от него стояла Чжума, та самая, что пожертвовала ему монеты — единственное свое украшение. Одежда на ней обветшала, волосы растрепались, лицо стало маленьким и черным. Рядом стоял Динчжен Норбо. Цёба на нем болталась. Он держал в руке старенькое хурдэ и неотрывно смотрел на искалеченного взрывом старика. Что-то похожее на улыбку скользнуло по лицу Динчжена Норбо.

«Тоже радуется,— отметил про себя Синг.— А тот, его брат, должно быть, уже вознесся на небо.— Мнимый бадарчин еще раз посмотрел на Чжуму, вспомнил про детскую зыбку.— А ребенок? Неужели и он умер?»

Синг подумал о своих детях, оставленных близ Калькутты, и ему по-настоящему стало жаль этих бедных людей из маленького тибетского селения на берегу Брахмапутры.

Вернувшись в дом горбатой старухи, Синг сел на пол возле бочки с водой и долго сидел так, не обращая внимания на разглагольствования Томаса.

Сгущались сумерки.

Томас поставил принесенную Сингом свечу на бочку.

— А если этот влиятельный лама не придет? — в который раз спрашивал Томас.

Он то и дело подходил к окошку, силился сквозь бычий пузырь разглядеть: не идет ли?

— Он осторожен,— безучастно отвечал Синг.— Придет, когда на улицах не будет людей.

Время тянулось убийственно медленно.

Но вот, словно преследуемый, кто-то подбежал к двери и несколько раз сильно постучал. Томас метнулся в угол, просунул руку под орхимжо и нащупал револьвер.

— Открывай!

Держась ближе к стенке, Синг приблизился к двери и снял крючок. В ту же минуту дверь с силой открылась и захлопнулась. На пороге стоял полуголый человек в коротенькой юбке. Он тяжело дышал. Томас и Синг направили невидимые револьверы на грудь этого человека. Догадываясь об опасности, полуголый внимательно по-

смотрел в лицо Синга, перевел взгляд на Томаса и чуть-чуть улыбнулся. Глаза его остались холодными.

— Успокойтесь! — проговорил незнакомец. — Я с добрыми намерениями... — Я — Ионцзын-Римбоче... Не узнаете меня?

— Хэ-хэ! Очень трудно узнать вас, Драгоценный Учитель, — усмехнулся пораженный Синг. — Сядьте, пожалуйста, — и он показал на разостланный у стены халат.

— Дайте воды, — попросил гость. — Смыть грязь.

Томас не верил ушам своим. Неужели учитель живого бога может прийти голым к английским разведчикам? Или он глуп, или слишком уж осторожен. Да и он ли это? А Синг уже кланялся странному гостю и поливал ему на руки из миски. Вода растекалась по полу.

Изгибаясь в поклонах, Синг подал гостю полотенце, провел его в глубину комнаты, усадил на халат. Вид у Драгоценного Учителя стал теперь другим: нежная кожа лица и рук, белая борода, чисто выбритая голова.

— Здравствуйте! — сказал гость.

Томас, поздоровавшись, осторожно спросил:

— А не опасно ли вам, высокородный учитель, ходить в таком виде по улицам?

— Чтобы не узнали, я вымазал лицо грязью. Но теперь, когда узнали... мне не приличествует сидеть голым. Не найдется ли у вас халата и орхимжо?

...Было это так. Погруженный в думы Ионцзын-Римбоче не заметил, как солнце, блеснув на золоченых крышах Пютала, скрылось за хребтами. Опомнился высокородный лишь тогда, когда дошел до канавы со стоячей водой — русла бывшей речки Кий. На горбатом мосту Юток-Сампа с крышей и стенками всегда стоял воин, проверяя входящих в Лхасу. Почему его нет? Ионцзын-Римбоче замедлил шаги. Вдруг что-то упало на него сверху, чьи-то сильные руки схватили его. Он хотел крикнуть, но рот его был уже забит вонючей шерстью.

«Разбойники!» — догадался Ионцзын-Римбоче.

Разбой и грабежи в Тибете, он знал, за последние годы участились. Среди любителей легкой наживы были не только отпетые преступники, но и люди духовного звания — бродячие ламы. Они грабили одиночек, нападали на дома и целые кочевья, угоняли скот, забирали имущество.

— Я святой человек, наставник Далай-ламы! — попробовал он крикнуть, но не услышал своего голоса.

— Снимай!.. Сапоги снимай!..

— О, совсем новые! С вышивкой...

— Юбка бархатная!

— Лама-торговец! Не хуже нас грабит.

Кто скажет, сколько времени прошло с тех пор, как он лишился чувств! Но вот он пришел в себя и стал шарить по земле. Ионцзын-Римбоче сообразил, что разбойники давно убежали. Схватившись обеими руками за ременный шнур, он попытался разорвать его. Напрасно!

Ионцзын-Римбоче решил взять хитростью. Хладнокровно обдумав положение, он опустился на четвереньки и пополз: ему надо найти два острых камня. Вот один, вот еще один... Теперь он принялся тереть камни о ременный шнур. Последнее усилие — и мешок сброшен! Стуча зубами, он побежал по дороге к городу.

...Ионцзын-Римбоче надел юбку Синга, потом свою рубашку, накинул на плечи орхимжо Томаса и снова уселся на разостланный халат. Говорили о дневной жаре, ночной прохладе, о незначительных событиях, происходящих каждодневно в Лхасе. Никто первым не решался заговорить о том, что свело их в поздний час в доме горбатой старухи.

— Я слышал, что вы честный, прямой человек, — решил приступить к делу Томас.

— В каком смысле? — не поднимая глаз, спросил Ионцзын-Римбоче: он ждал, когда европеец откроет карты.

— Я много слышал о вас от своего друга, — покосился Томас на примолкшего Синга. — Знаю, что вы посвятили себя благородной идее. Великий и независимый Тибет — это благородная идея, она делает вам честь...

— Кто хочет, чтобы его родине было плохо? — Ионцзын-Римбоче глянул англичанину прямо в глаза: «Кто ты и какие замыслы таишь?»

— Это верно, святой хамбо-лама. Плохо лишь, что многие не видят истинных путей к благополучию своей страны. Такому государству, как Тибет, очень нужны выдающиеся умы. А где их искать, как не среди просвещенных людей, служителей святой веры?

Томас терпеливо ждал, когда Драгоценный Учитель заговорит о главном. Но тот лишь бросал на него вопро-

сительные взгляды. Теряя терпение, Томас решил высказаться более откровенно:

— Правительство ее величества уважает обычаи вашей страны. Мы, англичане, как и вы, тибетцы, считаем землю эту священной, обиталищем бога. Мы ничего не хотим навязывать силой. Но, посудите сами, страна ваша еще не имеет той цивилизации, какой достигли европейские державы. Это бросилось мне в глаза во время нашей экспедиции в Непал. Войска великого Далай-ламы Тринадцатого оказались плохо обученными, им не хватало оружия. Словом, доблестные солдаты священной и уважаемой нами страны не могут противостоять не только английской, но и любой другой армии. Вам нужен очень сильный, надежный и бескорыстный защитник. Китай для этого не годится. Китай большая, но дикая страна. Она сама нуждается в помощи цивилизованных государств. Все это вам, высокородный, известно. И вы, и ваши друзья, и мудрый Далай-лама понимали, что мы могли преследовать ваше войско и на его плечах вторгнуться в Лхасу. Но мы этого не сделали, ибо в лице англичан вы имеете истинных друзей...

Ионцзын-Римбоче непроницаемо молчал.

Томас продолжал развивать свои мысли:

— Кто в Лхасе не знает, что страной богов правят сейчас маньчжурские амбани? Они диктуют волю вашему мужественному народу, выкачивают из вашей страны богатство. А что дают взамен? Известно также, что чужеземец Туван хочет продать Тибет России...

Томас заметил, как дрогнули губы Ионцзын-Римбоче. Видимо, он хотел что-то сказать, но передумал и взглянул на Синга. Да, высокопоставленный придворный был не так прост, как вначале казалось!

— Дорогой мой друг,— проговорил Томас, обращаясь к Сингу,— я совсем забыл про наших лошадей. Им надо бы подбросить корму...

Синг, поняв, что от него хотят на время избавиться, встал и, ни слова не говоря, вышел.

Томас закрыл за ним дверь на крючок, прошелся по комнате и снова уселся у стены, ожидая, что скажет Драгоценный Учитель.

Ионцзын-Римбоче по-прежнему вглядывался в лицо собеседника. Отдавать свою страну на съедение англичан он не хотел. Он намеревался лишь с их помощью добить-

ся победы над Далай-ламой и Туван-хамбой, взять власть в свои руки. А потом... Но каковы истинные цели англичан? В их бескорыстие он, конечно, не верил.

Но если Ионцзын-Римбоче не мог проникнуть в тайны дипломатии Великобритании, то в далеком Петербурге давно уже догадались об истинных ее целях. Еще князь Горчаков, будучи министром иностранных дел, понимал, что вторжение англичан в Тибет создаст опасность не только для Китая, но и для России. В то время вооруженная агрессия в Тибет могла бы привести к сближению России и Китая. В таком случае Великобритании пришлось бы туго. В Лондоне опасались такого сближения и до поры до времени довольствовались мирным проникновением в «страну богов».

— С благословения всевышнего я прибыл сюда, чтобы помочь спасти вашу страну,— снова начал Томас.— Вы, постигший высшую мудрость божественного учения, знающий язык и обычаи моей страны, поймете меня.

— Моя страна, обиталище бога, и в самом деле нуждается в поддержке могущественной страны. Мы не можем сами освободиться от тирании маньчжурских правителей. Мы не можем идти с поклоном и к России, ибо она только и печется о каких-то добрососедских отношениях с Китаем. Вспомните хотя бы договор тысяча восемьсот шестидесятого года... Россия, кажется, считает Тибет и Китай единым целым. Остается обратить взоры свои к более мудрым правителям. Государственные мужи Великобритании куда прозорливее. Достаточно небольшого нажима при дворе богдыхана, и независимость божественной страны обеспечена... Времени терять нельзя.— Ионцзын-Римбоче говорил медленно, взвешивая каждое слово.

— Очень рад, что вы так проницательны... Поистине вашими устами говорит сама истина,— оживился Томас.— Договор с Великобританией окажет вам неоценимую услугу. Вы сможете пригласить военных советников, позволить нашим предпринимателям вести свободную торговлю. Страна будет процветать...

Ионцзын-Римбоче насторожился. Он понимал, к чему могут в конце концов привести Тибет все эти предприниматели и военные советники.

— Между прочим, Панчен-лама делает правильный выбор: надеяться на богдыхана теперь бесполезно. Он

склонен принять нашу сторону,— пустил в ход главный козырь Томас, предполагая завистливый характер своего собеседника.

Черные глаза Ионцзын-Римбоче взметнулись вверх. Перед его взором предстали два могущественных противника: хитрый Туван-хамбо и коварный Панчен-Эрдэни, сторонник и верный слуга маньчжурского богдыхана. Панчен-лама, конечно, изворачивается. Ему не выгодно ссориться с англичанами, но и с императором он не может расстаться... Любой ценой надо захватить власть в свои руки и расправиться с чужеземцем Туваном! Во имя этой цели можно заключить союз хоть с самим дьяволом!

— Да, да, времени терять нельзя,— сказал Томас.— Упустим время — Туван-хамбо приведет сюда русских. Если это случится, русский шпион не пощадит ваших седин... Может статься, что Панчен-Эрдэни окончательно порвет с богдыханом и обратится за помощью к правительству ее королевского величества. Не думаю, что давний недруг божественного Далай-ламы Панчен-Эрдэни окажется более милостивым, чем Туван-хамбо... Значит, выбор у вас может быть только один...

Наступило тягостное молчание. Томас исподлобья поглядывал на Драгоценного Учителя и удивлялся его спокойствию. На самом же деле в груди у старика бушевала буря. Но долгие годы службы при дворе Далай-ламы научили его улыбаться, когда хотелось грызть железо, рвать горло противнику и топтать его тело. «Допустим, с помощью английских войск я захвачу власть,— размышлял он.— Но придут в нашу страну чужестранцы, заставят делать то, что им захочется... А потом и вовсе вышвырнут меня... Нет, этого они не сделают! Наш народ не может без дацанов. А все ламы будут в моих руках! Значит, англичане могут действовать только через меня...»

— Нужен решительный человек, подобный Якуб-беку. Нужна ваша искренняя помощь. Действовать придется решительно, чтобы враги не успели опомниться.

Томас не смог удержаться от радостного восклицания.

— Такой человек есть! Мы организуем беглецов и разбойников, действующих сейчас в районах Кукунора и Цайдама, захватим восточную окраину Тибета, создадим республику. Ее руководителем будете вы, святой учитель! Надеюсь, ваши многочисленные друзья и служители

монастырей окажут вам полную поддержку... Ведь они видят в вашем лице подлинного вождя!

«Да, я смогу руководить этим делом! Я создам в каждом дацане отряды скотоводов, земледельцев и ремесленников. Предводительствуемые ламами, они будут в моем распоряжении! Действовать решительно и беспощадно!»

— С нашей стороны задержки не будет,— продолжал Томас.— Но и вам медлить не следует. Надеюсь, завтра же вы пошлете надежных людей на Кукунор и в Цайдам... Там есть наш человек. Будет очень хорошо, если ученые ламы помогут ему насадить военную дисциплину среди разбойников и прочего сброда.

Ионцзын-Римбоче поднялся, сложил ладони и, полукрыв глаза, чуть произнес:

— Вашей мудрости нет границ. Я подумаю...

Наступил час, когда огни должны погаснуть, а улицы замереть. Томас подошел к двери, снял крючок. Стуча зубами от холода, вбежал Синг.

КНЯЗЬ-САМОЗВАНЕЦ

На берегу стремительной Тэнтэнги, под прикрытием высоких и мрачных скал, стоит дацан Чейбзэн. Он не входит в число знаменитых монастырей, но по богатству может поспорить и с ними. Когда наступает новогодний праздник белого месяца, сюда стекаются большие толпы верующих.

В летнюю пору на вершинах скал отдыхают лохматые тучи. Теснимые тучами, низко кружат грифы. Горделиво вскинув рога, покажется на выступе красавец козел, посмотрит на свое отражение в реке и скроется. Когда же туман расстанется с Тэнтэнги, в ущелье проникает солнце. Его лучи играют на золоченых крышах дацанских построек, на шпилях субурганов. Двое красных ворот, украшенных драконами, ведут за высокую глиняную ограду монастыря.

Среди дацанских построек бросается в глаза белый, в китайском стиле, двухэтажный дом. Здесь живет настоятель Ригби-хамбо. К дому примыкает тенистый сад. Мраморные львы с оскаленными зубами охраняют обитель настоятеля. По углам дома возвышаются фарфоровые вазы, в них пламенеют цветы.

Ригби-хамбо занимает комнаты внизу. Верхний этаж не разгорожен, здесь — маленький зал. Красные резные колонны подпирают его потолок; на стенах развешаны шелковые полотнища с изображением богов. Посреди зала, на постаменте, восседает Будда. Ригби-хамбо уверяет, что на позолоту статуи пошло не менее пуда драгоценного металла. Может быть, это и так...

Утром, в полдень и вечером, перед едой, Ригби-хамбо поднимается на второй этаж и подолгу молится. Поэтому ежедневно, в ранний час, задолго до того, как проснется настоятель, два хуварака являются в молитвенный зал, вытирают пыль, возжигают светильники.

Сегодня что-то случилось с настоятелем: ни он сам, ни его гости еще не поднимались в зал, не преклонили колен своих перед Буддой.

Почтенный настоятель никого не приглашал ни по одному, ни по пять раз¹, но вынужден был принять незваных гостей. Странные гости не промышляли в молитвах, никуда не выходили, а предпочитали проводить время за разговорами...

Самая большая комната в доме настоятеля находилась в правой половине. Здесь вдоль стен стояли маленькие столики. Их отполированная, покрытая китайским лаком поверхность позволяла каждому видеть свое отражение. В обеденную пору гости уселись за эти столики в строгом соответствии с чинами и заслугами перед богами.

Хувараки разнесли мелко нарезанное мясо, фрукты, восточные сладости, подогретое китайское вино...

На почетном месте, в кресле, покрытом дорогим ковром, восседал самый важный гость. У него был выпуклый лоб, громадный, круто загнутый книзу нос, тонкие, резко очерченные губы, острый подбородок. Почетный гость держался прямо, слегка вскинув голову. Благородная осанка, проницательные светлые глаза, наконец, накинутый на широкие плечи шелковый халат, какие носили тайжи² еще со времен Чингисхана, — все это внушало почтение к гостю.

...Год назад хобдынские монголы подняли восстание против маньчжурского богдыхана. Этим воспользовался

¹ По китайскому обычаю человека приглашают в гости не менее трех раз.

² Т а й ж и — монгольский князь,

епископ английской церкви Гордон. Он выдвинул в руководители повстанцев авантюриста Дамби-Жалсана и стал распространять слух, что правительство ее величества поддержит угнетенных монголов. Под диктовку Гордона Дамби-Жалсан написал от имени монгольского народа письмо в Лондон, в котором просил английское правительство оказать повстанцам помощь. Хобдынские монголы поверили Гордону. В знак особого уважения крупнейшие феодалы вкупе с ламской знатью обрядили его в княжескую одежду и нарекли Очиром-тайжи. Когда же войска богдыхана подавили восстание и начали расправляться с повстанцами, епископ Гордон решил на некоторое время скрыться...

Теперь опять сложилась благоприятная обстановка: против богдыхана готовы были выступить могущественные представители феодальной знати и высшего духовенства. Епископ Гордон снова появился среди монголов и снова накинул на плечи княжеское одеяние.

Епископу надлежало прежде всего захватить специального посланника Далай-ламы Туван-хамбу, который, по донесениям верных людей, выехал в Петербург, чтобы вести тайные переговоры с царским правительством. Не допустить сближения Тибета с Россией означало еще шире открыть ворота для проникновения англичан в северо-восточные провинции Китая, и Гордон под именем Очира-тайжи приехал из Пекина на Кукунор, где брожение среди монголов чувствовалось особенно сильно.

Когда войска богдыхана вошли в город Синин, Очир-тайжи сколотил из бежавших в горы мусульман небольшой отряд и занял перевал на хребте Бурхан-Будда. Здесь-то и повстречался мнимый монгольский князь с караваном тибетских лам, который двигался на север, к Урге. Старший из них назвался Туван-хамбой, имел, по его словам, широкие полномочия от Далай-ламы на ведение переговоров с Россией. Это ли не удача! По приказу Очира-тайжи все ламы, сопровождавшие Туван-хамбу, были убиты, а следы жестокой расправы искусно замаскированы. Самого Туван-хамбу Очир-тайжи передал Томасу, чтобы тот доставил его в Лондон.

Однако ни епископ Гордон, ни Томас не подозревали, как они просчитались. Учитывая, что и Панчен-лама, и Ионцзын-Римбоче со своими приверженцами ни перед чем не остановятся, чтобы помешать ему выполнить важ-

ную миссию, проницательный Туван-хамбо не рискнул сразу пуститься из Лхасы в далекий и опасный путь. Чтобы сбить своих недругов с толку, он направил до Урги пробную делегацию, наказав старшему из лам в случае подозрительной встречи в пути выдать себя за Туван-хамбу. И преданный лама не подвел учителя бога.

Когда гости и хозяева насытились, хуvaraки убрали посуду и принесли в маленьких фарфоровых чашечках то, без чего не обходится ни один китаец или монгол, — крепкий душистый чай.

Вместе с хуvaraками бегал и суетился китаец в синем шелковом халате. Его гладкое, без единой морщинки, лицо смахивало на опаленную баранью морду: сверху широкое и угловатое с нелепо торчащими ушами, снизу — узенькое, с мелкими оскаленными зубами. Ни на щеках, ни на подбородке, ни под носом у него не было признаков растительности, поэтому не легко было догадаться, к какому полу он принадлежит.

— Цзин Пин-хуа¹, — повернулся к китайцу Очир-тайжи и указал ему на самое низкое место у противоположной стены.

Китаец попятился и уселся, где было велено.

Цзин Пин-хуа получил это странное имя по прихоти своего повелителя... Было это так. Бедняк Лю долго скитался по разным городам, где мог — зарабатывал, а где не мог — воровал. Однажды в Пекине он украл у купца золотую вазу для цветов, какие обычно ставят возле божества, покровителя домашнего очага. За этот великий грех он был нещадно избит и осужден к пожизненной ссылке в бесплодные приилийские степи, куда ссылают всех совершивших кощунство. К счастью, в ту пору епископу Гордону понадобился слуга. Триста лян решили дело — Лю отдали в услужение епископу. Гордон назвал слугу Цзин Пин-хуа — в память о последней его краже. Очир-тайжи всюду возил его за собою как верного пса. Остановившись в дацане или просто в заезжем доме, он отправлял Цзин Пин-хуа на кухню, чтобы тот помогал поварам, подсказывал им, что любит его господин. На самом же деле его господин попросту боялся, что вместе с вином или чаем выпьет дозу какого-нибудь яда...

Пиршество продолжалось.

¹ Ц з и н П и н - х у а — цветок в золотой вазе.

— Хорошо ли чай?

— Очень хороший чай!

— Удивительно, какой мудростью награждают боги человека! Я говорю о нашем письмоводителе Энхэ Тайване. Он может не только разговаривать, но и писать на многих языках. Речь его сладка, мысли глубоки.

— Мудрость ваша безгранична, уважаемый Энхэ Тайван! Не хотите ли еще отведать чаю, привезенного нами в подарок высокорожденному Ригби-хамбо? — спросил Очир-тайжи.

— Кто откажется от чая, подаренного дорогим гостем?

— Цзин Пин-хуа! — не спуская глаз с дацанского письмоводителя, позвал Очир-тайжи. Когда китаец подошел к нему, он сказал ему по-японски: — Я дал тебе ампулу с ядом. Добавь в чай и подай высокорожденному ламе.— И кивнул в сторону Энхэ Тайвана.

Китаец удалился. Очир-тайжи продолжал наблюдать за Энхэ Тайваном.

Чтобы объяснить повышенный интерес английского шпиона к скромному дацанскому письмоводителю, надо вспомнить кое-что из прошлого. Как уже известно, лет десять назад в тибетском дацане Брайбан под видом ламы окопался японский шпион Ямадзуки. Когда над ним стали сгущаться тучи, он поспешно бежал, под видом бродячего ламы добрался до монгольских степей. Грамотному шпиону не трудно было втереться в доверие к настоятелю Чейбзэнского дацана и сделаться не только его секретарем-письмоводителем, но и самым близким человеком. Он принял новое имя Энхэ Тайван и считал себя в полной безопасности. Продолжая получать инструкции из Токио и восстановив связи с другими японскими агентами, Ямадзуки стал вербовать сторонников доктрины «Азия для азиатов», которая расшифровывалась в Токио как «Азия для японцев». Ямадзуки лелеял надежду, что скоро все страны Азии, включая Китай, Тибет, обе Монголии и Бурятию, окажутся под опекой Страны Восходящего Солнца...

Гордон, как и Ямадзуки, вынужденный изменить свое имя, тоже полагал, что азиатам нужен хороший хозяин, но в отличие от японца таким хозяином он считал Великобританию. Он знал, что Ямадзуки не уехал в Японию и продолжает действовать где-то в ином доме и под иной вывеской. По донесениям его людей, на Кукуноре стали

заметно усиливаться прояпонские настроения. Не туда ли перебрался хитрый японский разведчик?

С первой же минуты пребывания в Чейбзэнском дацане Гордон интересовался наружностью ламы-письмоводителя. У него возникли подозрения, и он решил проверить их. Еще перед обедом он сказал своему китайцу:

— Если я произнесу несколько слов по-японски, немедленно принеси Энхэ Тайвану чашку чаю.

Цзин Пин-хуа не понимал по-японски, и упоминание о капле яда было целиком рассчитано на Энхэ Тайвана: если тот знает японский язык, то он не станет пить, а постарается незаметно пролить чашку или уйти под каким-нибудь предлогом.

Энхе Тайван в свою очередь тоже давно слышал об Очире-тайжи, знал его настоящую фамилию и подлинные его цели, но только сегодня довелось ему встретиться с ним лицом к лицу. Японские слова Очира-тайжи привели его в смятение, — похоже, что он попал в руки этому англичанину... Но он продолжал сидеть невозмутимо, помня, что ни словом, ни жестом не должен выдавать себя.

Вошел Цзин Пин-хуа, с низким поклоном поставил перед Энхэ Тайваном чай и удалился на свое место.

«В этой малюсенькой чашечке моя смерть!» — с ужасом подумал японский шпион. Однако он владел собой. Поднял чай, поклонился Очиру-тайжи. В этот момент у кого-то из объевшихся явилась острая нужда покинуть застолье. На короткое время поднялся шум, что-то упало, кажется, чашка. А когда все улеглось и англичанин едва перевел взгляд на Энхэ Тайвана, тот спокойно допивал свой чай. То ли он успел вылить и теперь делал вид, что допивает, то ли в самом деле решил рискнуть.

На склоне дня, когда гости вышли гулять в сад, Энхэ Тайван почтительно поклонился Очиру-тайжи и пошел с ним рядом. Он рассказывал князю забавные истории, вспоминал былые похождения, от души смеялся над собой. По его словам, он работал литейщиком в Далайноре, потом добрался до Урги, стал хувараком большого дацана. Жажда знаний и славы привела его в Лхасу. Здесь-то и познал он языки, удостоился скромного звания бэшэ-шэ-ламы¹. Рассказывал он остроумно, правдиво, и Очир-

¹ Б э ш э ш э - л а м а — духовное звание.

тайжи заколебался: похож ли этот простодушный парень на агента?

Когда сгустились сумерки, Ригби-хамбо пригласил гостей обратно в дом. На ужин подали угощения, какие можно встретить только в Китае. В числе блюд были плавники акулы, сушеное мясо дикого коня, жареная лапа медведя, тучная саранча, величиной с мышь.

Поужинав в правой комнате, гости, по приглашению хозяина, перешли в левую отдыхать. Проходя мимо открытых дверей спальни, гости невольно замедлили шаги. Кровать была отполирована и покрыта дорогим китайским лаком, ее спинки окованы серебром. Над кроватью нависал балдахин из лучшего батиста, занавески опускались до самого пола. Шелковыми нитками на отороченных серебристой бахромой занавесах были вышиты причудливые птицы и цветы.

В комнате, где предстояло провести остаток вечера, обстановка была достойна гостей: нарядные, с золотыми драконами, обои украшали стены; цветные бумажные фонарики гирляндами свешивались с потолка, рассеивая ровный, приятный свет; здесь было много стульев, кресел, больших и маленьких столов из красного дерева; стояли фарфоровые вазы с фруктами, светло-желтые чашечки, стаканчики и тарелочки из стекла, украшенного драгоценными камнями. На середине самого большого стола возвышался стеклянный аквариум.

Когда высокопоставленные ламы уселись, Очир-тайжи повел речь о будущей Цайдамской республике. Особенно пространно говорил он о способах завоевания самостоятельности, высказав немало мудрых мыслей и предложив ряд смелых решений. Что будет представлять собой эта республика? Какая намечена форма правления? Чье покровительство она примет? Где пройдут ее границы? Все эти вопросы волновали собравшихся. Очир-тайжи отвечал обстоятельно.

Беседа затянулась... Несколько раз уже китаец подходил к Очиру-тайжи, что-то шептал ему на ухо и, кланяясь, исчезал.

Из рассказов Очира-тайжи можно было сделать вывод, что сторонников у новой республики много. Однако ни его логика, ни скрытые угрозы не могли сломить Ригби-хамбы: настоятель никак не соглашался, чтобы свя-

щенными войсками республики командовал грабитель и безбожник Ван Тумэр.

В пылу спора никто, кроме Очира-тайжи и его китайца, не заметил, как на пороге появились два незнакомца: молодой, повязанный платком чахар¹ и средних лет широкоплечий, коренастый монгол с шашкой в серебряных ножнах. Плоский нос, толстые губы, высокий, изборожденный морщинами лоб — все в нем отталкивало.

Очир-тайжи откинулся на спинку кресла и несколько мгновений наслаждался немой сценой. Не поднимаясь с места, он громко поздоровался:

— Привет тебе, Ван Тумэр!

— Здравствуй, князь! — ответил знаменитый разбойник.

Его губы не шевельнулись, — слова, казалось, вылетали из ноздрей.

Ламы продолжали молчать. Каждый из них думал об одном и том же: если дать такому человеку власть, он ни перед чем не остановится.

— Я прибыл сюда по вашей просьбе. Что вам нужно от меня?

Он говорил с трудом: Ван Тумэр привык действовать руками, а не языком.

— Что же ты смотришь на меня, как на чужого? — продолжал Очир-тайжи. — Мы с тобой старые знакомые. Помнишь Ланьчжоу? Тебя хотели отправить к предкам, но я подкупил мусульман.

Уголки рта у Ван Тумэра поползли к ушам, обнажив кривые желтые зубы. Откуда-то изнутри слышалось тихое клокотание. Молодой чахар повернулся к нему и улыбнулся застенчиво, как девушка, лишь он один знал, что Ван Тумэр смеется.

— Когда я про смертную казнь слышу, радуюсь: будто хороший друг поздоровался со мной. Когда тюрьму вижу, очаг родной юрты вспоминаю. В каждом городе я бывал в тюрьмах — нельзя обходить стороной свой очаг, это грех великий! В тюрьмах меня хорошо принимают, очень даже хорошо. Под ногти бамбуковые иголки загоняют, пальцы на ногах скручивают шпагатом, кожа лопается, и кости трещат... Хорошо! И я не жалуюсь, молчу.

¹ Ч а х а р ы — одна из групп южных монголов, живущих в Китае.

А добро я всегда помню. Того не ограблю, кто руку подаст.

Ригби-хамбо поежился. У него был такой вид, будто за ворот халата ему льют из ведра холодную воду. Что-то близкое к этому почувствовали и другие ламы: лица их вытянулись и посерели. Даже Очир-тайжи поморщился, хотя тут же восстановил на лице прежнее выражение. Да, именно такой человек нужен был ему — смелый, наглый, готовый на что угодно!

— Вы, конечно, знаете, зачем сюда приглашены? — переходя на официальный тон, проговорил Очир-тайжи. — Надеюсь, мы договоримся...

Ламы переглянулись. Сперва чуть слышно, а потом все громче и громче стали они переговариваться между собой. Так волк, попадая в капкан, мгновение смотрит на железные челюсти, а потом начинает рычать и выть от боли и обиды... Перед этими высокопоставленными служителями дацанов распластался бы всякий, исповедующий желтую веру. Но здесь стоял не верующий, сам шолмос.

— Боже всесильный, спаси веру нашу!

— Постоим за правду! Не быть ему военачальником! Святой Ионцзын-Римбоче будет на нашей стороне...

Очир-тайжи прислушался, уловил общее настроение и решил закончить дело.

— За свои кровные права, с благословения богов, поднялись против маньчжурского богдыхана дети дунган, потомки Потрясателя Вселенной, мужественные тибетцы — хранители заветов Цзонхавы. Они садятся на быстрых коней, обнажают грозные сабли! — Голос Очира-тайжи звучал торжественно. — Вспомните историю пращуров своих. Грозные военачальники вели их на врага и побеждали. Нам и сейчас нужен богатырь со стальным сердцем и конь с железными копытами. Мы все, здесь сидящие, благословляем Ван Тумэра на ратные подвиги, просим его быть военачальником... Мы будем молиться, чтобы ваше имя, храбрый Ван Тумэр, прославилось, чтобы ваш острый меч беспощадно разил врагов!

Слушая эту речь, Энхэ Тайван ломал голову над тем, как избавиться от Очира-тайжи. Может быть, Ван Тумэр поможет ему? О, за такую услугу можно заплатить не жалея золота! Поговорить бы с ним сегодня ночью...

Энхэ Тайван стал ждать, что ответит прославленный разбойник. Ревнители желтой веры единодушно были против черного дьявола, но и они ждали его ответа. А Ван Тумэр не спешил: он подсчитывал, сколько золота находится в одном только доме настоятеля дацана...

Сидящие вблизи Ван Тумэра уставились на ноги разбойника.

— Кто вам дал эти сапоги? Где вы их взяли? — спросил один из лам.

— Подарили... Друг подарил, — ответил Ван Тумэр.

— Друг? Ваш друг?! Сам Драгоценный Учитель подарил? — зашумели все разом.

Ван Тумэр понял, в чем дело: оказывается, сапоги принадлежали не ламе-торговцу, а кому-то другому. Но он решил до конца сыграть навязанную ему роль.

— Вы угадали. Это подарок моего лучшего друга.

Один лишь настоятель смотрел на него с нескрываемым отвращением. Не снимая руки с эфеса шашки, Ван Тумэр решительно шагнул к Ригби-хамбо, тот отодвинулся к стенке вместе с креслом и задрожал. И было с чего: недавно он сообщил властям об ограблении Чейбзэнского дацана. Как замороженный глядел несчастный на изрезанное вкривь и вкось лицо разбойника.

Насладившись вдоволь испугом настоятеля, Ван Тумэр отошел на прежнее место, к чахару. А ламы теперь уже в один голос твердили:

— Вас, уважаемого друга Драгоценного Учителя, просим спасти желтую веру и край наших отцов! Будьте военачальником, и вы сотворите благо, принесете нам счастье!

Энхэ Тайван по-прежнему не понимал, что произошло, — он сидел слишком далеко от Ван Тумэра. Однако хитрый японец не стал молчать, он вплел в общий хор свой голос, стремясь показать Очиру-тайжи, что является настоящим монголом, что интересы потомков Чингисхана — это и его личные интересы.

— Это унты почтенного учителя Ионцзын-Римбоче! — возвестил наконец один из лам. — Вы удостоились божеской милости.

Служители дацана сложили руки и поклонились Ван Тумэру.

Не очень сильный в тонкостях буддийской религии, Очир-тайжи лишь смутно догадывался, что произошло

недоразумение, которое решило все в его пользу. Он мельком взглянул в сторону Ван Тумэра, потом подозвал к себе китайца и что-то шепнул ему на ухо. Он наконец уразумел, что привело в трепет всех этих высокорожденных: на ногах Ван Тумэра были лушанские сапоги, принадлежащие Ионцзын-Римбоचे. Все знали, что Драгоценный Учитель надевал эти сапоги в особых случаях. Никому и в голову не могло прийти, что Ван Тумэр попросту ограбил старейшего учителя Далай-ламы. Ведь для этого надо было проникнуть в охраняемый денно и ночью дворец. Случись кража, о ней сразу же узнали бы во всех дачанах, подняли бы на ноги всех. Пропажа священных сапог — случай чрезвычайный, ибо они, сапоги эти, были символом божественного могущества. Великий грех совершает человек, посягнувший на одежду святого.

Вспоминая, как попали к нему эти сапоги, Ван Тумэр подмигнул приятелю, который помогал ему снимать их на мосту со святого. Видно, Ионцзын-Римбоче так и не решился рассказать о своем позоре...

Двое самых расторопных лам подхватили Ван Тумэра под руки и усадили его рядом с Очиром-тайжи.

Ван Тумэр радовался, если случай приносил ему удачу, но и не отчаивался, если судьба обрушивала на него несчастье. Чему радоваться? Вот ламы окружили его, но никто не глядит ему в лицо, все рассматривают только его сапоги...

Почувствовав под ногами твердую почву, Очир-тайжи обратился к Ван Тумэру:

— Надеюсь, вы поняли, чего мы хотим, уважаемый друг Драгоценного Учителя? Если сумеете сформировать вооруженные отряды, подчинить их своей воле, то никто не помешает вам выступить против войск богдыхана. Не только вам, но и всему народу маньчжурские чиновники причинили много зла. Своими подвигами вы спасете край своих отцов, великого Далай-ламу — бога на земле.

— Спасая желтую веру, вы очистите себя от грехов. Вы обретете нирвану! ¹ — подхватили ламы.

Очир-тайжи смотрел на Ван Тумэра и ждал. «Чего медлит эта скотина? — думал он. — Я же передавал ему через своих людей: согласен служить мне — пусть прихо-

¹ Н и р в а н а — по учению буддистов, блаженное состояние, отрешение от жизненных забот.

дит. Не согласен — пусть катится ко всем чертям». А Ван Тумэр сидел и молчал.

С отроческих лет он скитался по юртам сородичей, попрошайничал, не обижал ребятишек, с благоговением слушал внушения старших. Не рубил он одинокое деревцо в степи, не топтал нежных цветов, не мутил прозрачной воды. Но на каждом шагу он словно натывался на острые камни. Он сперва боялся людей, а потом перестал им верить. Не имел маленький Ван Тумэр ни бога, которому мог бы помолиться, ни юрты, которая укрывала бы его в холодные зимние ночи, не помнил отца, который научил бы уму-разуму... Мать он помнил смутно. Кажется, это было под вечер. Возвращаясь из степи к родному кочевью, увидел он стоящего в отдалении человека, похожего на мать. Да, это была она, мать, повешенная на столбе. Обливаясь слезами, он всю ночь гладил холодные материнские ноги, а с первыми лучами солнца ушел в степь. Теперь ничто не связывало его с родным улусом, он бродил по кочевьям, питался отбросами, отнимал порой обглоданные кости у собак... Позднее он узнал, что его отец, монгол из Ордосы, был казнен маньчжурскими чиновниками за то, что любил правду, ненавидел богдыхана и был участником арадын-дугайлана...¹ Позднее Ван Тумэр сам пытался найти эту правду и у присмиривших сородичей, и у непокорных дунган², и у рассудительных китайцев, но нигде не находил ее. Тело его покрывалось все новыми и новыми рубцами, из обветренных губ вечно сочились кровь. И тогда он понял, что нет на земле правды, что всюду, где живет человек, бесчестие, ложь и насилие. После долгих раздумий он избрал собственный путь. На протяжении последних двадцати лет он перебивал почти во всех тюрьмах Китая и Монголии, дважды ссылали его в голодные пустынные края, трижды приговаривали к смертной казни...

Теперь он уже ни к чему не стремился, ничего не желал. В потаенных местах припрятал он золото, в неприступных горных ущельях и в дремучих лесах ждали его верные друзья, такие же бродяги, воры и разбойники,

¹ А р а д ы н - д у г а й л а н — народный круг, народное собрание; освободительное движение, получившее название дугайланского, носило антиманьчжурский и антифеодальный характер.

² Д у н г а н е — народность, живущая в Северо-Западном Китае.

как он сам. Они никогда не оставят друга в беде, выручат из-под семи замков.

Ван Тумэр окинул взглядом людей, которые ждали его ответа.

Закипела в нем злоба, и, не сдерживая себя, он закричал:

— Чего уставились? Не видели еще такого уроды?! Тогда смотрите! — Он поворачивал свое изуродованное лицо то к одному, то к другому. — Может, хотите, чтобы я поклонился вам, зубами землю грыз, на небо задом уставился? Не дождетесь!.. Вот этим кулаком могу пришлепнуть ваши носы ко лбам!

Ван Тумэр заходил по комнате: тигр среди косуль. Ламы жались к стенам. Только Очир-тайжи все так же сидел на своем месте, изредка бросая взгляды на этого не в меру разошедшегося дьявола.

В суматохе Энхэ Тайван не сразу заметил, что китаец опять куда-то пропал. Японец глянул в коридор. Там, в конце коридора, мелькнуло несколько темных фигур.

— Я понял так: вы хотите напаялить на Ван Тумэра мундир военачальника, — глухо проговорил черный дьявол. — Я подумаю, высокорожденные учителя...

Пронесся вздох облегчения: хорошо, что этот дьявол успокоился и начал говорить разумно. Он казался страшнее самых уродливых буддийских божеств, страшнее чудовищ, что пожирают мозги из белых человеческих черепов: те чудовища привычнее, их выдумали святые отцы и отлили из бронзы мастеровые. А кто породил этого черного человека?! Ведь при рождении дети невинны...

— Ну, что молчите? — вращал белками Ван Тумэр. — Если согласны ждать, я подумаю, а нет — займусь своим делом...

Каждый понимал, что означало «займусь своим делом». Вот почему Ригби-хамбо, преодолев страх, шагнул вперед и с поклоном проговорил:

— Вверяем в руки ваши священное оружие. Наши молитвы дойдут до бога, и удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях...

— Ладно! — выдохнул Ван Тумэр. — Сейчас мы уедем, обсудим все на месте и дадим ответ... Но для начала деньги нужны... Пока немного — пару тысяч лян, — последние слова он проговорил таким тоном, словно отдавал распоряжение,

— Цзин Пи... — хозяин не успел еще договорить имени своего слуги, как тот уже оказался рядом. — Там есть сундучок... Отсчитай две тысячи лян и передай уважаемому Ван Тумэру.

Китаец поклонился.

«Куда же он пойдет? — недоумевал Энхэ Тайван. — Я своими глазами видел — никаких вещей при князе нет». Очень хотелось последовать за проворным слугой, но Энхэ Тайван снова поймал на себе взгляд Очира-тайжи и остался на месте. И все же он успел разглядеть в приоткрытую дверь, что в конце коридора от стены отделилось несколько человек и последовало за китайцем. «Значит, я не ошибся, — продолжал рассуждать проницательный японец, — здесь на самом деле скрываются английские агенты. Они пришли, наверное, под видом паломников, литейщиков, плотников... Но — терпение, не надо прежде времени отдавать себя в руки этого мнимого князя!»

Он решил сегодня же ночью разделаться с этим господином в монгольской цёбе. На Ван Тумэра теперь нечего рассчитывать, он уже нашел себе хозяина. Придется отравить... Или заколоть...

Энхэ Тайван нащупал тонкий нож, спрятанный под орхимжо, и решил: если понадобится, покончу разом и с англичанином, и с собой. Тогда его самурайское имя ничем не будет запятнано, память о нем надолго сохранится в Стране Восходящего Солнца.

Это решение успокоило Энхэ Тайвана. Без тени страха глядел он теперь и на Очира-тайжи, и на Ван Тумэра.

Неожиданно, как всегда, появился Цзин Пин-хуа и вручил Ван Тумэру тугой мешочек.

— Две тысячи, можете пересчитать, — пробормотал китаец и низко поклонился.

Ван Тумэр подбросил мешочек на ладони, спрятал его за пазухой и, не попрощавшись, шагнул к двери.

— Уважаемый военачальник! — с несвойственной ему поспешностью закричал Очир-тайжи. — Когда берут деньги деловые люди, они выдают расписки!

Ван Тумэр круто повернулся, извлек откуда-то блестящий, как зеркало, нож и быстрым шагом направился к Ригби-хамбо. Бедный настоятель жалел в эту минуту лишь об одном: почему не родился он маленьким мышонком, тогда можно было бы юркнуть в любую щель. Не спуская с Ван Тумэра глаз, он сделал несколько шагов

к двери. Снова вспомнилось, что именно он сообщил сининским властям об ограблении дацана. Это бы куда ни шло, но зачем было вдвое увеличивать стоимость похищенных вещей?..

Очир-тайжи не двигался с места, глядел на будущего своего помощника: «Порезвись до поры до времени! Я оседлаю тебя! Не такие, как ты, верблюды бывали в моих руках! Я могу дать золота еще, но служить заставляю... А не укротишь свой нрав — пойдешь на съедение червям!»

Энхэ Тайван хотя и успокоился, все же клял себя за оплошность. «Все могло быть по-другому, — размышлял он, — надо было лишь посыпать здесь, на столах, порошком... Сейчас все спали бы беспробудным сном, а меня — попробуй догони, я и хвоста бы им не показал. И агенты остались бы с пустыми руками... Да, большую глупость я совершил на старости лет!..» Он пощупал спрятанный под рубашкой пакет снотворного зелья, тяжело вздохнул и с сожалением взглянул на Очира-тайжи.

Все эти страсти в просторном зале не коснулись, видимо, одного лишь чая. За весь вечер он ни разу не раскрыл рта.

Ван Тумэр взял висящий на стене веер из павлиньих перьев, отломил покрытую лаком деревянную ручку, сделал на ней две зарубки. Потом он расщепил палочку и одну половинку подал Очиру-тайжи. Тот взял палочку, повертел ее в руках и вопросительно взглянул на Ван Тумэра:

— Расписка?

— Мои грубые пальцы не умеют выводить буквы, — объяснил Ван Тумэр. — Я рад, что не мучился в дацанах, не корпел над бумагой. Тут я вырезал две черточки, значит, две тысячи. Когда будем рассчитывать, соединим обе половинки... Если ты прибавишь — не сойдутся метки, я убавлю — тоже не сойдутся.

Незаметным движением Ван Тумэр спрятал куда-то палочку и нож, повернулся и вышел вместе с чаем.

Наконец-то ламы почувствовали себя в безопасности. Как по команде, они вынули носовые платки и принялись сморкаться, кашлять, вдыхать воздух, словно долго сидели в закупоренной бочке.

Энхэ Тайван, вытирая лицо и шею, спешно соображал: «Если хочу остаться в живых, не надо терять ни минуты!»

Рассматривая палочку, Очир-тайжи думал, что такие «расписки» в его положении куда лучше бумажных. Он спрятал ее, окинул взглядом святых отцов и поднялся с кресла:

— Ушел разбойник?..

Прислушиваясь к ночным звукам, гости один за другим вышли во двор. Расходясь, они вытягивали вперед руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь в темноте.

* * *

Ван Тумэр приехал в Чейбзэнский дацан в сопровождении верных друзей. Опытный разбойник, он принял необходимые меры предосторожности: конные его разъезды затаились в лесистых окрестностях дацана, под прикрытием их он сейчас и ехал узенькой тропкой по выступу скалы. Далеко внизу катилась по камням Тэн-тэнга.

Ни на шаг не отставал от Ван Тумэра молодой чахар. Когда тропинка расширялась, он ехал рядом со старшим другом, а когда сужалась, пропускал его вперед. С тех пор как выехали, он не проронил ни слова: если нужно, Ван Тумэр спросит. Но Ван Тумэр сам был не разговорчив и не любил болтунов.

Сужаясь, тропинка вползла в лес, стало совсем темно. По верхушкам деревьев ходил ветер. На душе становилось тоскливо.

— Гун Эрбэд!

Услышав свое имя, чахар насторожился, подождал, что еще скажет его друг.

— Почему ты молчишь?

Юноша растерялся. На всякий случай он подъехал вплотную.

— Гун Эрбэд, если я умру, что будешь делать?

— Я тоже умру,— не задумываясь, ответил молодой чахар.

Он с такой силой натянул поводья, что уши коня почти коснулись его груди. «О смерти ли говорить такому человеку?» — подумал чахар и снова поехал стремя в стремя с Ван Тумэром.

Ван Тумэр больше ничего не сказал. Кони мягко ступали по травянистой лесной дороге, речка уgomонилась, ветер присмирел. Хорошо думать в такой тишине; ничто не спугнет мысли.

Мало радости видел Ван Тумэр за свою жизнь. Может, и совсем ничего светлого не увидел бы, если бы не Гун Эрбэд.

...Лет двадцать назад Ван Тумэр бродяжничал в окрестностях Хух-хото. Однажды вечером шел он по городу в надежде раздобыть еды. Вдруг услышал в переулке крик женщины и бросился туда. Зачем — понятно: на крик прибегут люди, в суматохе легче залезть в карман, стащить какой-нибудь узел. Он уже трое суток не ел, и его бедный желудок начал прирастать к позвоночнику.

В переулке лежала женщина с распоротым животом. Ван Тумэр приподнял умирающую, соображая, что же с ней дальше делать. Откуда-то появились полицейские и скрутили ему руки. Его обвинили в убийстве и посадили в тюрьму.

— Смотрите, нож мой не окровавлен, — пытался доказать Ван Тумэр. — Я не убивал никакой старухи...

— Но у тебя руки в крови, — отвечали ему, — нас не обманешь! Может, два ножа с собой носил.

— Думал, сбегутся люди, найду что-нибудь поесть...

— Значит, ты был голоден, как бездомная собака, и решил убить и ограбить!

В тюрьме Ван Тумэр узнал, что существует китайский свод законов Хонг-пу, выпущенный в давние времена. Согласно этим законам, ему предстояло сидеть в тюрьме до тех пор, пока он не сознается в убийстве. Но он не мог сознаться, потому что не убивал, и должен, стало быть, просидеть до смерти. С другой же стороны, сознаться — значило подписать себе смертный приговор. Если убийство совершено умышленно — человеку отрубают голову, если по ошибке — отравляют ядом, если в целях самозащиты — душат веревкой. Последняя казнь считалась самой желанной: у задушенного человека дух якобы не расстается с телом. Вот почему к тяжелобольному иногда приглашали ламу из китайского дацана, и тот с помощью веревки облегчал его страдания и отправлял прямо в рай.

Но, как оказалось, правосудие этим не исчерпывалось: нашлась еще одна статья закона, которой надлежало облегчить участь Ван Тумэра. Прежде чем найти ее, дотош-

ный судейский чиновник перерыл гору запыленных бумаг. По его словам, закон был подписан пятнадцатилетним императором Сян Фыном и гласил следующее: «Если человек, заподозренный в убийстве, будет отказываться от такого преступления и утверждать, что его оклеветали, ему разрешается подойти к дому убитого и самому покончить с собой. Если это случится, то есть подозреваемый покончит самоубийством, он считается оправданным, а родственники убитого должны заплатить штраф родственникам того, кто покончил самоубийством».

Одним словом, не было такого закона, который позволил бы выпустить Ван Тумэра из тюрьмы. Удрать? Это не так-то просто. Руки и ноги его были скованы цепями, а сами цепи прикреплены к бревенчатой стене. Стерегли Ван Тумэра двое часовых — наружный и внутренний. Чтобы заключенный все же не сомневался в надежности охраны, внутренний часовой был соединен с ним цепью. Ван Тумэр не попадал еще в такие темницы, он впервые обвинялся в убийстве. Ему не оставалось ничего другого, как предложить часовому удрать вместе. Честный солдат, верой и правдой служивший властям, ответил:

— Чего ради буду я удирать вместе с заключенным?

В ту пору Ван Тумэр еще мог смеяться, как все нормальные люди. Он от души хохотал над честностью бедняги-солдата, а повеселившись вволю, стал обдумывать, как ему быть дальше. Конечно, разница между ним и охранником не маленькая: Ван Тумэр сидел на цепи день и ночь, а внутренний часовой — только по ночам, утром его освобождали, он уходил домой, спал, ел, занимался огородом и лишь вечером появлялся снова.

По ночам часовой частенько тайком курил опиум. Однажды, когда ему грезилось райское блаженство, Ван Тумэр задушил его, забрал нож и спички. Он не стал разгонять тоску опиумом, а принялся прожигать деревянную стену тюрьмы как раз там, где были вбиты крепления его цепей. Когда пламя разгоралось больше, чем нужно, и грозило пожаром, Ван Тумэр тушил его. Перед рассветом он прожег такую дыру, что мог свободно пролезть в нее. Освободившись с помощью ножа от мертвого часового и подобрав длинные цепи, он выбрался наружу и обрадовался, как дитя... Потом были еще побеги, но того ощущения свободы, какое он испытал тогда, уже никогда не переживал... Начиналась гроза. Он шел навстре-

чу ветру и свободе, и раскаты грома заглушали звон его цепей. Уже близился рассвет, когда он добрался до знакомого кузнеца. Перепуганный ремесленник сбил с него кандалы, однако приютить его отказался.

Не выпив и чашки чая, Ван Тумэр зашагал к дацану, чтобы затеряться среди богомольцев. Тяжелые тучи раздвигались, молнии хлестали по глазам. Прижимаясь к домам и глиняным оградкам, он побежал за город, подалее от блюстителей закона. Как затравленный зверь бежал он под дождем по скользкой дороге. Но вот до его ушей донеслись какие-то звуки не с неба, а с земли. Он остановился, прислушался:

— Помогите-е! Умираю-ю!

Человек просил о помощи. Ван Тумэр забыл о всех небесных чудовищах, о карах, которыми они угрожали, и кинулся на голос. В придорожной канаве он нащупал человеческую руку.

— Кто такой? — Ван Тумэр схватил человека за грудь и хотел приподнять.

Рубашка порвалась, и в руке у него осталась тряпка. Вскоре блеснула молния, и он увидел дряхлого старика в рубище. Вскинув его на плечо. Ван Тумэр пошел к дацанской постройке. То ли от тепла, которое передавалось от разгоряченного юноши старику, то ли еще от чего, умирающий вдруг вздохнул глубоко и встал на ноги. Оглянувшись по сторонам, он прошептал:

— Уйдем отсюда, сын мой, уйдем!..

— Что с вами? Куда вам идти?

— Скорее уйдем! Видишь, это дуган¹, в нем хранится жертвенное золото дацана.— И он показал на каменный домик.

— Ты правду говоришь?

— Сединами клянусь! Скорее уйдем...

При свете молнии Ван Тумэр успел разглядеть на двери дугана отлитую из чугуна бычью голову. В темноте он нащупал этот замок, потрогал обеими руками.

— Не думаешь ли ты, сын мой, проникнуть в дуган?

— Мне грех, не тебе.

Ван Тумэр облокотился на перила крыльца. Неожиданно мелькнула мысль: вот железные палки, из них сделаны перила. Он напряг все силы, вырвал толстую желез-

¹ Д у г а н — часовня.

ную стойку, шагнул к двери... Раздался скрежет, замок упал.

— О боги, вразумите его! — запричитал старик.

— Тише! Замолчи!

Ван Тумэр нажал на дверь, втолкнул старика в дуган и сам вскочил следом за ним. Захлопнув ногою дверь, он зажег спичку.

— Где золото? — охрипшим от волнения голосом спросил Ван Тумэр и снова зажег спичку. Взгляд его упал на кованный железом сундук.— Здесь?

Старик дрожал. Не ожидая ответа, Ван Тумэр зажег третью спичку. Прямо над сундуком на стене висел огромный лист бумаги с изображением божества — скачущего всадника с обнаженной саблей и высунутым языком. Ван Тумэр сорвал со стены бумагу, свернул ее жгутом и поджег. От такого кощунства старик застонал. Ван Тумэр подскочил к нему, поддержал, сунул в руку горящую бумагу. При этом довольно ярком свете молодой, но уже опытный вор осмотрел запор и снова пустил в ход железный прут. Он присел на корточки, рванул прут на себя и сломал запор. Как бы этот старец не помешал ему! Сквозь чадный дым увидел он полузакрытые глаза и дрожащие руки.

— Эх! — выдохнул Ван Тумэр и поднял крышку.

В свои двадцать лет он многое повидал, не раз находился на волоске от смерти. Но никогда он так не пугался, как в этом дацанском хранилище. Не золото увидел он в сундуке: навстречу его протянутым рукам поднялся завернутый в белый саван детский скелет.

Ван Тумэр будто окаменел: ужас сковал его по рукам и ногам. А за спиной слышался шорох, потом раздался более громкий звук, похожий на короткое блеяние козы. Что-то грохнулось на пол — и стало темно.

Ван Тумэр отскочил от сундука, хотел бежать без оглядки, но услышал слабый детский голосок:

— Не уходите... Я боюсь...

Кто это? Живой ли человек или дух? Он рванулся назад и увидел на земле догорающий жгут и распластанное тело старика.

— Не уходите!.. Возьмите меня!..

Ван Тумэр вспомнил ночь, когда ночевал с мертвой матерью в степи. Тогда он не испугался. Отчего же в

двадцать лет пугаться ему? Он поднял с земли тлеющий клочок бумаги и поднес к сундуку:

— Ты кто такой?

— Был хуvaraком... Провинился, и ламбагай спрятал меня в сундук...

Ван Тумэр зажег спичку и увидел худого ребенка, который пытался выбраться из сундука. Значит, золота нет, значит, старик обманул.

— О-эй! Где же золото, бабай?

Ответа не последовало. Ван Тумэр нагнулся к старику, стал приподнимать. Тонкие, как плети, руки безжизненно повисли... Должно быть, старик решил, что из сундука вылезает дьявол, и умер от страха.

— Иди сюда, хубун! — Ван Тумэр поднял малыша и не почувствовал тяжести...

За что же ребенок понес такое наказание? Он зажег светильник в молебном зале своего учителя-ламы, оставил его рядом со стопкой книг. Пламя стало лизать шелковые обертки священных книг и уже грозило пожаром...

Только случай избавил мальчика от ужасной смерти в окованном железном сундуке.

Так двадцать лет назад Ван Тумэр спас жизнь семилетнему мальчику и с тех пор не расставался с ним, странствовал по белу свету в сопровождении Гун Эрбэда. Он стал не только спасителем, но и отцом мальчика. До поры до времени он оберегал его от лишений, часто сам ложился спать голодным, но не забывал накормить приемыша.

Но всему бывает конец. Однажды они бродили по Калгану в надежде разжиться хоть какой-нибудь монетой.

— Как хочется есть! — то и дело повторял юный Гун Эрбэд. — Кажется, я скоро умру от голода... Достань же хоть кусочек!

Этот просящий, жалобный голос не понравился Ван Тумэру. Ведь его воспитанник стал уже взрослым, мог скакать на коне и рубить саблей не хуже его самого. Так почему же сам он не делает ничего, надеется только на других?

Вечером они подошли к лавке. Хозяин-китаец ругался с каким-то монголом. Ван Тумэр послушал их перебранку, потушил свечи и почти одновременно стукнул левой и правой рукой монгола и китайца. Те, не разобравшись в чем дело, вцепились друг в друга. Ван Тумэру только

это и нужно было. Он сунул юноше что-то завернутое в тряпку и шепнул:

— Беги!

Гун Эрбэд побежал на окраину города и стал ждать. Учитель долго не приходил. Гун Эрбэд не мог больше терпеть и, желая подкрепиться, развернул тряпку. К великому своему огорчению, он обнаружил в свертке... кирпич, плюнул от злости и поплелся в город.

— Зачем ты кирпич мне дал? — обиженно спросил он Ван Тумэра, когда они встретились.

— Ты же большой, Гун Эрбэд... Ты способен натянуть самый тугой лук и пронзить стрелой тучу. Но ты совсем ничего не умеешь делать. Пора самому заботиться о себе. Что ты будешь делать, если я умру?

Прошло несколько лет, но юноша не забыл о том странном вопросе. Он не мог представить себе жизнь без доброго и сильного Ван Тумэра. И вот сегодня учитель снова спросил:

— Что ты будешь делать, если я умру?

Лесная дорога по-прежнему вела в гору. Казалось, она никогда не кончится, будет петлять до неба.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

НАСТОЯТЕЛЬ

ОБРЕТАЕТ НИРВАНУ

В доме настоятеля дацана смолкали голоса, то в одном, то в другом окне гасли огни. Пора бы и спать, но нет, в эту ночь не спалось никому.

Ригби-хамбо поднялся на второй этаж, преклонил колени перед золотым ликом Будды и долго стоял так. Равнодушный к земным страстям, Будда смотрел куда-то далеко, словно стены дома и нависающие над дацаном горы были прозрачны.

Очир-тайжи не уповал на богов. Он отлично понимал, что малейший просчет может привести к краху. Он всю ночь не сомкнул глаз, обдумывая дальнейшую свою игру.

Энхэ Тайван тоже не спал, сидя в своей комнате по соседству со спальней настоятеля. Письмоводитель часто подходил к двери, смотрел в замочную скважину и возвращался к столу. Проклятый китаец! Он удобно устроился в кресле, у двери хозяина, и поднимал голову, как только слышал какой-нибудь шорох.

«Может быть, предложить китайцу золота? — подумал Энхэ Тайван и сразу же отверг эту мысль.— Не годится!» Он метался от двери к столу. «Только одну бы щепотку порошка сунуть ему в замочную скважину!»

Медленно тянулась ночь. Очир-тайжи изредка поднимался со своего кресла, осторожно подходил к двери: спит ли эта желтая собака. Но нет, Цзин Пин-хуа не спал, он бдительно охранял своего хозяина, и Очир-тайжи снова садился в кресло и закрывал глаза.

Наступил рассвет. В дом Ригби-хамбы он проникал медленно, словно желал, чтобы люди до конца додумали свои думы.

...Это было лет десять — двенадцать назад. Миссионеру Гордону в ту пору едва перевалило за сорок. В сопровождении надежных агентов высадился он тогда на азиатском континенте, имея задание первостепенной важности: помешать укреплению торговых связей между Россией и Китаем.

С неприязнью смотрел он на русских купцов, которые торговали на китайских рынках отличным ситцем и, довольные удачными сделками, бражничали и бахвалились. Его тошнило, когда он видел, с каким аппетитом ели в Пекине морскую капусту, привезенную из Владивостока. Он молил Иисуса и всех святых, чтобы в Гоби денно и нощно свирепствовали песчаные бури, когда видел в Калгане верблюжьи караваны с русскими товарами. Наконец он не вынес подобного и сам отправился в Кяхту, где свили себе гнездо русские купцы-бородачи. Он поселился на окраине Кяхтинской слободы в скромном домишке-землянке.

Прошло немного времени, и несколько партий капусты, привезенных из Владивостока, безо всяких видимых причин начали червиветь и гнить, подошвенные кожи и романовские овчины — гордость русского купечества — то там, то тут оказывались испорченными. Оптовые торговцы и перекупщики осторожнее стали относиться к русским товарам. Роптали погонщики караванов: все это тяжело отражалось и на их заработках.

Гордон вспоминает, как русские ищейки пытались напасть на его след. Но разве можно было его выследить? Оборванный, обросший щетиной, выходил он из своей землянки, просил милостыню. Ни с кем не разговаривая, он шел на базар, покупал кости или самое никудышное

мясо, возвращался домой и варил бульон. И никому не приходило в голову, что в шапку нищего каждый день попадали монеты с загадочными царапинами, цифрами, вмятинами. Их бросали ему в шапку его же агенты-соглядатаи. Возвращаясь в землянку, он расшифровывал надписи на монетах и узнавал, где и какой караван находится, какой товар отправляется в Китай, когда и в какие города поступит он в продажу. На новеньких монетах он нацарапывал свои цифры-распоряжения и опять отправлялся на базар, где торговал дрянным мясом его агент, связной многочисленной своры диверсантов, в обязанность которых входила порча русских товаров...

И все же он не мог окончательно подорвать доверия к русским. То ли плохо действовали его агенты, то ли погонщики караванов стали более осмотрительными, — гнилой ситец и изъеденные молью овчины все реже попадали в Калган.

Гордону некогда было выяснять причины неудачи — он получил новое задание. А его соотечественники тем временем все глубже проникали в провинции Китая, увеличивали ввоз товаров. Вместе с дешевыми тканями и безделушками англичане завозили в Китай огромные партии опиума.

Гордон вспомнил, как по возвращении в Англию он гостил однажды у своего приятеля Джозефа Брука, занимавшего большой пост в правительстве Гладстона. Славно проводили они время. С полным основанием он сказал тогда Джозефу:

— Бог позаботился, чтобы я был не простым англичанином. Я не терял времени даром ни в Гонконге, ни в Пекине. Может быть, мне суждено быть первым среди тех, кто превратит желтокожих в подданных ее величества.

— Вы давно стяжали себе славу одного из самых искусных агентов Великобритании.

Польщенный Гордон засмеялся:

— Я не напрашиваюсь на комплименты. Но, право, смешно смотреть, как нынешние агенты пишут донесения симпатическими чернилами, как прячут важные бумаги в курительные трубки или в каблуки сапог. Даже древнегреческие шпионы были куда хитрее. Они, например, брили тайному гонцу голову, писали на ней донесение

и отправляли только тогда, когда отрастут волосы. А монголы?

...На берегах Желтой реки Чингисхан встретил многочисленное китайское войско и обошел его с тыла. Китайцы, заметив этот маневр, смеялись: «Монголы не умеют скрывать свои действия! Разве мы не видим, что они зашли к нам в тыл?» И они повернули войска лицом к неприятелю, переоборудовали укрепления... Монголы до ночи купали лошадей в реке, не предпринимали никаких действий и ждали донесения из вражеского лагеря. Донесения готовил монгольский шпион, который свободно разгуливал с палочкой в распоряжении китайских войск. Он подсчитал отряды на одной стороне реки и сделал столько же зарубок на палке, подсчитал на другой — и сделал зарубки на противоположном конце палки. Отряды в горах он отметил треугольником, в лесу — крестиками. Ему не требовалось перебегать к своим войскам. Он бросил палку в реку, монголы поймали ее и узнали все, что нужно. Китайцы были разбиты.

— Что ни говорите, а трудно прибрать к рукам китайцев,— возразил Джозеф Брук.

Сейчас епископ Гордон мог бы существенно дополнить слова друга. Действительно, с китайцами трудно: их много, они сообразительны, быстро перенимают достижения цивилизации. Еще лет десять — пятнадцать назад китайские конники вооружались луками и бамбуковыми копьями, сидели на лошадях не лучше старых баб, их кремневые ружья стреляли плохо, дисциплина в войсках никуда не годилась. У них не было пароходов, не было своих заводов, они не имели понятия о телеграфе... А сейчас китайские пароходы плавают к берегам Японии и даже Америки. Значит, немало английских судов потеряли выгодные заказы. В Шанхае, Ланьчжоу и других городах отливаются пушки, снаряды, изготавливаются машины, строятся суда. Китайцы все больше и больше выпускают шерстяных тканей. О шелке и фарфоре и говорить не приходится. Чего доброго, Манчестер и Бирмингем, Шеффилд и Лион совсем лишатся доходов. Еще шесть лет назад в этой стране телеграфный столб вызвал бы удивление. А теперь телеграфная линия тянется почти на девять тысяч километров. Установлена подземная телеграфная связь со многими странами Европы.

...Послышался осторожный стук в дверь. Очир-тайжи вскочил с кресла, будто его ударили по лбу. Обеими руками погладил он веки, помассировал щеки, чтобы придать лицу более или менее свежий вид. Стук повторился.

— Очир-тайжи! — послышался голос Цзин Пин-хуа.

Очир-тайжи отпер дверь. У порога стояли невыспавшийся Цзин Пин-хуа и улыбающийся Энхэ Тайван. Прижимая руки к груди, оба кланялись.

— Просим к чаю, ваша светлость.

— Благодарю, я сейчас плохо чувствую себя, — холодно ответил Очир-тайжи. — А ты, — повернулся он к китайцу, — зайдешь ко мне через полчаса.

В комнате, где был приготовлен чай, за плечами Цзин Пин-хуа словно из-под земли вырос Энхэ Тайван. Он проворно взял чашечку двумя пальцами.

— Очир-тайжи заболел... Чаю не хочет, — сокрушенно покачал он головой. — А я выпью.

С чашечкой в руках он прошел в свою комнату. Улыбка погасла на его лице: «Кто-то усердно молится за этого английского бродягу. Ну, пусть молится!»

Вскоре на лакированном подносе китаец принес завтрак своему господину.

— Энхэ Тайвана видел?

— Нет, господин.

— Подожди!

Очир-тайжи переложил палочками в одну чашку по-немногу из каждого блюда.

— Ты славный малый, Цзин Пин-хуа... Прости, я не всегда бываю справедлив, но я вижу твою преданность... Покушай со мной.

Отчего не уважить просьбу хозяина? Цзин Пин-хуа быстро опустошил чашку. Успокоенный Очир-тайжи уже начал завтракать, когда в который уже раз в это утро раздался нетерпеливый стук. Очир-тайжи не успел отозваться. Открылась дверь и на пороге явился Энхэ Тайван. Он с поклоном протянул Очиру-тайжи фарфоровую тарелку, на которой лежал лист вчетверо сложенной бумаги. Очир-тайжи вопросительно глядел на письмоводителя и не заметил, как из его рукава в чашку с мясом высыпалась щепотка порошка.

— От уважаемого настоятеля...

Записка была коротенькой:

«Многоуважаемый Очир-тайжи! Прошу вас подняться в молитвенный зал и в знак верности, для торжества усилий ваших в пользу желтой веры, преклонить колени перед ликом всемогущего Будды. Настоятель Ригби-хамбо».

Очир-тайжи вернулся к завтраку. «Отчего этот человек все время вертится перед глазами? Что ему от меня нужно?.. Проклятая жизнь! Ни минуты даже нельзя считать себя в безопасности... Однако пора и к настоящему».

Проглотив последний кусок, Очир-тайжи почувствовал сильное головокружение. Он выпил чаю, но легче не стало. Вдруг качнулась и поплыла стена. Перед глазами замелькали круги.

— Японец! — крикнул Очир-тайжи.

С усилием он поднялся из-за стола, сделал два шага к двери, качнулся и упал. Желтая цёба монгольского князя накрыла его.

Плывет туман. Сквозь туман проступают высокие башни и острые шпили лондонских дворцов и храмов. Звонит колокол. В полном облачении стоит перед храмом епископ Гордон. Ему кажется: лохматый як поддает лбом язык большого колокола. Вздывая метелку хвоста, як-звонарь оборачивается к нему и говорит человеческим голосом: «У меня лоб зачесался...» И уже не голова яка, а все в рубцах лицо Ван Тумэра склоняется над ним.

— О-ох! — тяжело протянул Очир-тайжи и затих.

Ригби-хамбо глубоко верил в могущество богов. Когда в его душе зародились сомнения относительно намерений Очира-тайжи, когда имя разбойника Ван Тумэра вызвало в нем образ черного шолмоса, он решил, что это боги предупреждают о грозящей опасности. Ему непонятен был смысл разговоров о создании Цайдамской республики, о войне против богдыхана, не верилось, что Драгоценный Учитель Ионцзын-Римбоче мог подарить разбойнику священные сапоги. Великим грехом считал он все, что творилось вокруг.

Всю ночь молился Ригби-хамбо.

— Что происходит вокруг, всевидящий? Научи меня, наставь на путь!

Будда безучастно глядел вдаль.

Подталкивая друг друга, вошли два хуварака. Они потоптались на месте, а потом заговорили сразу:

— Почтеннейший хамбо-ламбагай! Что происходит у нас? Мы видели уважаемого бэшэшэ-ламу... Он в лес убежал. Мы спросили, куда он бежит. Он стал стрелять...

Действительно, трудно было что-нибудь понять, тем более что следом вбежал с сумасшедшим видом китаец, а за ним человек в европейском костюме. Тот наотмашь ударил китайца рукой по лицу.

— Кто умертвил английского путешественника? Я — английский офицер. Отвечайте!

Настоятель приподнялся, взял протянутую ему бумагу. Руки его дрожали, он не мог читать. Тогда офицер объяснил, что это удостоверение, выданное военным министерством английскому миссионеру Гордону. Оно разрешало ему передвигаться до Кукунора и содержало просьбу оказывать всяческое содействие благородному делу путешественника.

— Спускайтесь вниз, там поговорим! — распорядился англичанин и взял удостоверение из рук Ригби-хамбо.

— Да, да, идите вниз! А я останусь, мне надо сказать слово перед богом.— И он поклонился англичанину.

— Даю вам десять минут! Пусть никто не помышляет о бегстве, дом окружен.

Следом за ним вышли ламы. Китайца подхватили под руки и поволокли вниз.

Ригби-хамбо подошел к шкафу, где хранились ритуальные снадобья, растопил над светильником кусок воска и стал заливать себе уши.

— Всемогущий, я ничего не слышу,— опускаясь опять на колени, прошептал Ригби-хамбо.— Я стал на светлый путь, отрекся от земных страстей...

Он не слышал, как вошли двое вооруженных:

— Офицер просит вас к себе!

Не удостоившись ответа, они подняли настоятеля на ноги и стали объяснять, что его ждут внизу. Но он ничего не слышал. Его взяли под руки и повели вниз...

В том самом зале, где вчера люди кланялись друг другу, принимая угощение почтенного Ригби-хамбы, на сдвинутых столиках, покрытых белым полотном, лежал труп Очир-тайжи. Впрочем, после смерти это был уже не Очир-тайжи, а епископ Гордон: на голове у него был черный колпак, а вместо монгольской цёбы — длинный черный сюртук с белым воротничком. Тело его вытянулось, орлиный нос посинел, щеки провалились. На выпук-

лом лбу выступили черные пятна. Его глаза, еще вчера метавшие стрелы, были закрыты навсегда.

Ламы в скорбном молчании стояли вокруг столиков. Ригби-хамбо будто не замечал ничего, он глядел вдаль.

Закусив губу, английский офицер сердито уставился на Ригби-хамбу. Как человек деловой, он успел уже выяснить обстоятельство смерти Гордона. Да, письмоводитель написал записку от имени настоятеля, чтобы проникнуть в спальню миссионера и отравить его. Да, письмоводитель удрал сразу же, как только насыпал яд в чашку Гордона. Двое лам отправились, видимо, с донесением в Лхасу. Но какое дело ему, английскому офицеру, до всего этого? В дацане умерщвлен епископ, подданный ее величества.

— За убийство английского миссионера ответите вы!

Ригби-хамбо не шевелился. Напуганные ламы хранили молчание. Никто не сомневался, что смерть англичанина дорого обойдется Ригби-хамбе. Его же собственные мысли были далеки: настоятель уже отрешился от всего земного.

ЛАМА ВЗЫВАЕТ К БОГАМ

Чтобы продолжать путь в Лхасу, Шобдок-лама и Аламжи стали подыскивать себе новых лошадей.

Лошадка понуро опустила голову, закрыла глаза, будто дремала. Хозяин-монгол решил вернуть ей бодрость с помощью ременного бича.

— Не бейте, не бейте! — шагнул к нему Аламжи.

Лошадь плакала. Тогда Аламжи полез за пазуху, вынул несколько монет, передал их монголу и принял у него повод. Шобдок-лама стал ругаться как необученный хуварак, плевал под ноги Аламжи, грозил оставить его в горах Алашаня: разве можно на таком коне пускаться в дорогу?

Аламжи не отвечал на брань. Он больше знал толк в лошадях, чем святой лама, а кроме того, успел кое-что разузнать. Лет восемь назад этот неказистый с виду конь не знал себе равных в округе, стройные, подобно натянутой струне, ноги, благородная посадка головы, черная, как вороново крыло, блестящая шерсть. На скачках во время больших праздников он неизменно выходил победителем.

Монгольские скачки! Сотни отборных лошадей по знаку распорядителя одновременно устремляются вперед. Верст двадцать пять мчатся по степи, вздымая пыль, высекая копытами искры. Слабые не выдерживают такого напряжения и падают бездыханными, и сотни других копыт топчут их вместе с наездником.

Аламжи погладил костлявую спину лошади: прошла через все и состарилась. Слезы все так же нависали у нее на ресницах. О чем плакала она? Может быть, о тех днях, когда приносила радость людям, когда кормили ее травой и поили чистой родниковой водою? Может, жалела о безвременно утраченной резвости?

Со временем прославленный скакун стал хиреть, его копыта обломались. Еще недавно богатые араты давали за коня большую цену, а теперь и бедняк не смотрел на него. Все же хозяину удалось сбыть его с рук владельцу конной мельницы. На скакуна надели хомут с постромками и заставили его с утра до вечера ходить по кругу. Новый хозяин завязывал лошади глаза, кричал на нее, бил кнутом, а потом уходил пить чай. Умная лошадь, опасаясь новых побоев, продолжала ходить по кругу. Но сил становилось все меньше, она замедляла шаг, а потом и вовсе останавливалась. Наконец мельнику надоело возиться с малосильной лошастью, и он продал ее водовозу. Бедный арат, подвозивший воду к китайской кухне, запрягал клячу в двуколку с огромной бочкой и бил уже не кнутом, а палкой. Вскоре и бочка оказалась ей не по силам. Тогда водовоз прозвал ее Черноленивой и продал подслеповатому пастуху. Она не могла теперь не только догнать ужаленную оводом корову, но едва поспевала за пешим человеком. И снова на нее сыпались побои... Эту-то лошадь и купил Аламжи.

Шобдок-лама выбирал себе коня долго и остался доволен покупкой. Его конь был высокий и гладкий, на ребрах жиру не меньше, чем в три пальца. И они тронулись в дальний путь. Один на кляче, другой — на надежном коне.

Но добрый конь попал в недобрые руки.

Шобдок часто бил его, забывал на привалах разнуздывать, не поил его по целым суткам. Занятый своей полудохлой лошадкой, Аламжи не замечал этого. А когда заметил, от прежнего гладкого коня осталась едва ли не тень.

Изменилась и кляча. Пока двигались берегами Желтой реки по Восточному Гоби, степям Ордосы и склонам Алашаня, лошадка вдоволь ела сочные травы, на каждом привале пила свежую воду. Силы у нее прибавилось, бока начали округляться. Аламжи радовался и по-прежнему холил ее.

На каменистой тропе в ущелье Тэнтэнги Аламжи слез с лошади, взял ее за повод и пошел вперед, а Шобдок-лама остался сидеть верхом, понукая коня плетью. Но ничего уже не помогало — конь разбил копыта, хромот и шатался.

Они присели на камни, поджаренную муку — дзамбу смешали в чашечках с водой. Подкрепившись, Аламжи пошел к лошади: в тороках¹ была приготовлена свежая трава, которую он нарвал про запас днем, проезжая цветущую долину.

— А правду ли говорят, что по этой дороге никто теперь не ездит? Будто какой-то русский начальник с бородой² в последний раз проезжал тут...

— Боишься разбойников? — удивился Шобдок-лама. — Не верь старикам, которые ни на шаг от юрты не отходят. На меня надейся. Хоть и нет у меня бороды, как у русского начальника, я смогу за себя постоять...

Аламжи усмехнулся: Шобдок-лама когда устанет, только и знает, что хнычет, а как немного отдохнет, начинает хвастаться. Будто не знает он, что после Дунганского восстания не только одиночки паломники, но и караваны с охраной обходят эту дорогу? Не напрасно удивляются храбрости русского путешественника. Никто не запомнил его имени, называли — сердитый амбань.

Шобдок-лама не переставал выхваляться:

— Ежели я рассержусь, то стану страшнее самого сердитого амбаня!

Аламжи его шутки не веселили. Вот уже сколько времени едут они под палящим солнцем, мерзнут в горах, задыхаются на перевалах от недостатка воздуха. Халаты их превратились в лохмотья, унты еле держатся на ногах. Губы их покрылись трещинами, кровоточат, кожа на лицах шелушится и постоянно болит.

¹ Т о р о к и — ремешки позади седла для пристежки.

² Имеется в виду Николай Михайлович Пржевальский. (Прим. перев.)

Аламжи снова взглянул на оборванного, ссутулившегося спутника своего и подивился его бодрости. Должно быть, глубоко верит он в важность того дела, которое ему поручили, если до сих пор не разучился шутить. Но тот уже спал, прислонившись спиной к скале. Оттопырив губы, Шобдок-лама громко храпел.

Аламжи припомнил, как прикасалась Жалма губами к его лицу, как сам он щекотал Балбара усами, как сажал на колени Булада и учил его скакать на воображаемом коне. Думы, думы, невозможно остановить ваш ход, как нельзя уйти от самого себя! Аламжи ничком лег на землю. Долго лежал он с закрытыми глазами, переживая все то, что пришлось вынести за последний год... Лютая зима, вечно шумящая тайга, шалаш... Потом Агинские степи, схватка с борцами, встреча с отцом, нестерпимая боль во всем теле, разлука с женой и детьми. И, наконец, этот путь, которому, наверное, не будет конца: безлюдные пустыни на сотни верст, человеческие черепа, скелеты караванных верблюдов, ржавые обломки оружия. Страшно подумать, сколько прошло по твоей груди народов, родная земля, какие жестокие битвы видела ты, свидетельницей каких трагедий довелось тебе быть!

— Вставай! — раздался над самым ухом ошалелый крик Шобдока. — Вставай, мы погибли!

Аламжи вскочил. Ущелье, на дне которого еще недавно чуть заметной ленточкой пробегал ручеек, теперь наполнялось водой. Горный поток с каждой минутой подступал к площадке, где путники с лошадьми остановились на отдых. Вода стремительно разливалась во все стороны.

— Нам не выбраться! — бросился в панику Шобдок-лама. — И впереди и сзади дорога отрезана. Что будем делать?

Вода прибывала не только из верховий. Она низвергалась с горных склонов, увлекая за собой камни, обгоняя друг друга, плыли вырванные с корнем деревья.

Вода подступала все ближе. Еще аршин, поларшина — и стихия подхватит их. Глыбы обрушивались со скал, гулко падали в поток, со скрежетом терлись одна о другую.

Шобдок-лама опустился на колени и стал взывать к богам.

В ответ на молитву показался плывущий медведь. Он крепко облапил толстый ствол дерева и, оглушая воздух

ревом, приближался к выступу. Не посланец ли это богов? Или, может, сам шолмос в образе медведя решил расправиться со святым ламой?..

Возле площадки образовался водоворот. Сюда-то и тащило бревно, за которое ухватился медведь. Вода становилась все яростнее, волны перекатывались через голову зверя, и он уже не ревел, а только тряс головой да еще крепче вгонял когти в дерево... Почувяв приближение зверя, кони стали храпеть и бить копытами. Прибитый водоворотом к площадке, медведь уже царапал скалу, готовый вот-вот потребовать, чтобы люди потеснились. Шобдок страшным голосом закричал:

— Стреляй!

Он все еще стоял на коленях, сложив руки для молитвы.

Аламжи смотрел на огромное животное, на его отчаянные попытки спастись, и рука с револьвером сама собой опустилась. Ему пришла в голову дерзкая мысль — помочь медведю! «Неужели в такие минуты он может броситься на лошадей, на людей?»

В водоворот попало еще одно дерево и толстым концом стукнуло медведя по голове. Он коротко рывкнул и скрылся под водой. Деревья еще некоторое время колыхались возле площадки, затем, подхваченные новым потоком, понеслись вниз.

— Боги, спасите! — жалобно простонал Шобдок-лама, заметив, что вода подмывает суму.

Аламжи рванулся, поймал ремень, швырнул суму поближе к скале. Шобдок заплакал и, не разжимая рук, прикрыл своим телом драгоценную ношу...

Вода доходила уже до щиколоток. Аламжи глядел, как она пенится вокруг его ног, мечется на площадке, и все-таки ему не верилось, что через несколько минут она подхватит его, как того медведя, и похоронит в гучине. Такого не может быть! И тут он заметил, что на выступе скалы вода больше не прибывает: по краям площадки образовалось заметное возвышение из камней, песка и глины. Сами волны построили эту плотину и теперь, ударяясь об нее, уходят дальше.

— О-о-о! — простонал Шобдок, и только теперь Аламжи увидел, что лама лежит в воде, придавленный грудой камней, сползших с откоса.

Аламжи извлек ламу из-под камней и поставил на ноги.

— Беда миновала, святой учитель!

— А я что говорил? — возвысил голос Шобдок. — Я говорил, что русскому амбаню не сравняться со мной. Я просил богов оградить нас, и они оградили! — Шобдок показал на образовавшуюся насыпь.

Аламжи смущенно молчал: может, и в самом деле боги ниспослали им спасение. Чем же иным можно все это объяснить?

Между тем вода быстро шла на убыль. Стихия улеглась так же неожиданно, как и взъярилась.

Тучи постоянно клубятся у вершин Ганьсу и Наньшаня, но на этот раз они заволокли небо на сотни верст. Опускаясь все ниже, они наконец разверзлись, и водная масса ринулась по склонам многоярусных гор в ущелье. Такие потоки иссякают сразу же, едва прекращается дождь.

Аламжи не знал этого и потому верил Шобдоку.

— Ты увидел могущество богов! — продолжал Шобдок. — Когда к ним обращается праведный человек, они могут все. Почему грабители не нападают на нас? Потому, что я угоден богам.

Аламжи задумался: может, правду он говорит?

НА ВЕРШИНЕ

САДИ-САРУК-СУМА

Сказочный Сад-Сарук-Сум купается в облаках. С южных его склонов открывается картина, способная поразить воображение даже видавшего виды человека. Там, подернутые голубой дымкой, виднеются нагромождения Восточного Наньшаня, дикие скалы Ганьсу. И всюду, куда ни бросишь взгляд — нескончаемые массивы то темных, то светлых лесов, прорезанные серебристыми лентами рек. Крики ушастых павлинов, щебетание птичьей мелюзги сливаются с шелестом зеленой листвы и журчанием горных ручьев. То величественная, как просторы, то неудержимо-стремительная, как движение рек, музыка Сад-Сарук-Сума способна наполнить сердце и радостью и страхом...

На пологой вершине Сад-Сарук-Сума раскинулись черные войлочные палатки. В самой маленькой, покрытой

белым полотном с орнаментом, называемой «тумэн жаргал»¹, сидит Ван Тумэр.

Мрачные думы одолевают Ван Тумэра. Весь он ссутулился, нахохлился, как птица в холодную погоду. Голова его повязана шелковым платком, на плечи накинут дэгэл из темно-синего бархата со стоячим воротником, отделанным мехом.

Ван Тумэр приподнялся, сгреб лежащие посреди палатки стрелы, ощупал их наконечники. Сегодня ночью кто-то из тех, кому не дает покоя слава предводителя, решил расправиться с ним... Ван Тумэр оглядел продырявленную со всех четырех сторон палатку.

— Собаки!

Переломив стрелы, он швырнул их к выходу.

...Поздней ночью Ван Тумэр вернулся в свой стан, собрал ближайших друзей и рассказал им о встрече с Очи-ром-тайжи. Было решено, что он станет во главе войска. Послали людей сообщить о его согласии стать военачальником. Посланцы прибыли растерянными: важный начальник Очир-тайжи оказался отравлен, хамбо-ламы ускакали в Лхасу, сам Ригби-хамбо оглох.

Ван Тумэр не жалел о том, что Очир-тайжи отправился к предкам. Он только выругал себя за то, что мало золота запросил у монгольского князя. Но почему разбежались хамбо-ламы, почему настоятель прикидывается дурачком? Неужели они решили посмеяться над ним?

На вершину Сади-Сарук-Сума уже тянулись разбойники и бродяги, всякого рода жулье и дезертиры, а также рассеянные богдыханскими войсками повстанцы. Их гнал сюда слух, пущенный цайдамскими и кукунорскими ламами. Одни хотели еще раз сразиться за свободу родного края, другие искали легкой наживы.

С каждым днем люднее становилось на вершине горы. Прибывали пешие и конные, вооруженные до зубов и с пустыми руками, по одному и группами. Глядя на эту разношерстную толпу, Ван Тумэр твердо решил, что он не проявит малодушия, создаст крепкие отряды. Но кто враг? Во имя чего поведет он в бой эти отряды? В конце концов он решил, что главный виновник людских бед — богдыхан, значит, против него и выступят его воины.

— Говорить с ними будешь? — спросил Гун Эрбэд.

¹ Т у м э н ж а р г а л — тысяча счастлих,

Ван Тумэр вышел. Одни кланялись ему в пояс, другие смотрели свысока.

Долго стоял против шеренги Ван Тумэр, разглядывая с ног до головы каждого, определяя, на что тот годится. Чем дальше смотрел он на пеструю эту вольницу, тем яснее чувствовал, что нелегко будет собрать их в пучок и зажать в руке.

Ван Тумэр стоял черный, недвижимый и грузный. Потом, тяжело ступая, он двинулся к крайнему, видать, самому разговорчивому детине и, размахнувшись, ударил его. Тот упал. Сотни глаз впились в Ван Тумэра.

— Если хотите, буду вашим начальником. Но шабганцу¹ прогоню. Мне нужен отряд быстрый, как ветер, дружный, как два кулака одного человека. Я отберу самых сильных, дам хорошее оружие, лучших коней.

С этими словами он ударом кулака свалил с ног человека, разодетого в шелк.

— Кто боится — пусть выйдет! Предупреждаю — я буду бить каждого! Слабые заранее могут надеть желтые халаты и убираться в дацан!

Все продолжали стоять на месте.

— Не бойтесь?! — усмехнулся Ван Тумэр. — Храбрыцы. Кто на земле окажется, пусть вот туда отползает.

Ван Тумэр подошел к низенькому китайцу с большой головой на короткой шее. Как давнишнему знакомцу, китаец подмигнул грозному человеку и улыбнулся. Усмешка не понравилась Ван Тумэру. Удар пришелся по скуле. Голова китайца откинулась. Китаец шагнул к Ван Тумэру и, глядя снизу вверх, воскликнул:

— Шао-хай! Хай!

Ван Тумэр снова ударил китайца, и снова тот устоял на ногах.

— Хорошо бьешь, капитан, — размазывая кровь по лицу, проговорил китаец. — Добрый кузнец из тебя может получиться. Смотри, как бьют кузнецы, — и нанес Ван Тумэру удар в подбородок.

Чтобы не грохнуться навзничь, тот отступил. Говор прошел по рядам. Люди ждали, что голова китайца с тоненькой косичкой слетит с плеч. Ван Тумэр и в самом деле положил руку на эфес шашки.

¹ Ш а б г а н ц а — престарелая женщина, посвятившая себя богам.

Китаец хладнокровно следил. Низенький, с опущенными вдоль тела руками, чуть прищурившись, смотрел он на Ван Тумэра. Тот коротким движением руки бросил шашку в ножны и стал потирать подбородок.

— Кто ты такой? Как звать?

— Жень! Ни-жень, во-жень!.. Человек! Ты человек, я тоже человек!

— Откуда ты пришел?

— Долго рассказывать, капитан.

— Говори!

— Тогда слушай, капитан. Работал я у испанцев на Филиппинах, у голландцев на Яве, у англичан в Австралии. Везде — обман. Что заработаешь, отбирают. Убежишь от одного, к другому попадешь. Я вернулся на родину без единого лян. Пришлось опять в батраки. Работал два года, долги. Тогда я стал думать, капитан. Взял в руки не мотыгу, а копье.

Ван Тумэр положил руку на плечо китайцу.

— Мне такие нужны.— Обращаясь ко всем, он добавил: — Будет начальником гвардии!

В тот день Ван Тумэр избил восемьдесят человек. Лишь семь из них выдержали силу его кулака. Их-то и отобрал он в охрану. Остальные были зачислены в обычный отряд.

— Хорошо ли спалось, капитан?

Ван Тумэр не ответил.

Китаец ничего не мог понять. Он заметил уже и стрелы, и отверстия в стенах палатки. Неужели капитан подозревает его в постыдном деле? От этой мысли дрожь прошла по его телу.

Сердце Ван Тумэра не могло ошибиться. За многотрудную свою жизнь он научился распознавать добрых и злых, коварных и простодушных, наивных и бессовестных. Сейчас перед ним стоял честнейший.

— Почему ты молчишь, Жень?

— Ночью прострелили палатку... вас хотели убить, капитан?

Ван Тумэр помолчал.

...На том месте, где вчера стояло больше восьмидесяти добровольцев, теперь выстроилось девять новых. Но что привело сюда маленькую девушку? Косички, вразлет брови, чуть приоткрытые пухлые губы — дитя! Ван Тумэр сначала не глядел ни на кого в отдельности и не заметил эту девушку.

Повергнуть никого не удалось, все монголы оказались на редкость крепкими. Одни из них только чуть шатались от удара, другие гнулись, третьи еще шире расставляли ноги и словно вращались в землю. Ван Тумэр старался бить с наскока, вкладывая в каждый удар всю тяжесть тела, но монголы продолжали стоять.

— Ты!.. — занесенный кулак Ван Тумэра опустился.

— Бей! Слышишь, бей! — крикнула девушка.

— Зачем ты пришла сюда? — спросил Ван Тумэр.

— Чтобы служить тебе.

— Разве не видишь, какая здесь служба? Бабам не место!

— А хитрые не нужны? Я не могу взять силой, но хитрость — та же сила.

— Посмотрим, на что ты годишься!

Он отошел в сторону и позвал:

— Жень!

— Слушаю, капитан!

— Этих молодчиков прими в свою ватагу.

— Слушаюсь, капитан.

— Как тебя зовут? — прохрипел Ван Тумэр.

— Юлдас. Таджичка я... Отец убит в дунганской войне... Ни дома, ни родных...

— Вон твой дом! — Ван Тумэр указал на свою палатку. — С этого часа ты в нем хозяйка.

...Высоко в небе стояло солнце. Под его лучами свернулись в трубочку листья деревьев, поникли травы, поблекли цветы. Стояла тишина.

— Гун Эрбэд! Жень!

Те не замедлили явиться.

Ван Тумэр приказал выстроить отряды: направо тех, кто выдержал его удары, налево — кто свалился. Когда люди собрались, он отобрал лучшее оружие и вручил его своей личной гвардии: русские берданки, семизарядные Спенсера, купленные правительством богдыхана в Америке, сабли китайских офицеров, разными путями попав-

шие в руки разбойников, отнятые у европейских путешественников револьверы.

Остальных Ван Тумэр разделил на десятки, назначил командиров и вооружил их саблями и пиками, старыми кремневками и фитильными ружьями, какие можно встретить только у тибетцев. Однако оружия на всех не хватило: на каждый десяток пришлось по три огнестрельных ружья да по четыре сабли.

Оглядев войско, Ван Тумэр объявил первый свой приказ.

— Убирайтесь ко всем чертям! Десять дней никто не смеет попадаться мне на глаза. А через десять дней соберетесь на этом месте. Горе тому, кто не приведет коня с седлом, не привезет ружье, запас пороху и свинца.

Шеренга зашумела: спешили к палаткам, брали свои пожитки и, не задерживаясь, скрывались в лесу.

После этого Ван Тумэр подошел к гвардейцам:

— К вам особое слово! У вас уже есть лошади, ружья и сабли. Но где же пушки? Они в Синине, у войск богдыхана. Вы скачите туда, захватите пушки, те самые, что перевозят на вьюках. Не забудьте про картечь... Тебе, Жень, придется скакать вместе с ними.

* * *

Благополучно миновав заоблачный перевал, Шобдок-лама и Аламжи ехали по каменистой тропинке. Усталые лошади то и дело останавливались. Путники устали не меньше лошадей.

Показалась речка, но доступ к ней преграждало болото. Пришлось проехать еще несколько верст вверх по течению, пока они не отыскивали сухой берег... Так очутились они у подножия Сади-Сарук-Сума, на сочной луговине. Лошади накинулись на траву.

— Остановимся здесь,— сказал Аламжи.— Пока будем искать брод, лошади отдохнут.

— Давай, давай! — обрадовался Шобдок-лама.

Он уже хотел сойти с коня, но в эту минуту со склона горы донесся людской говор и конское ржанье. Лошади вскинули головы, Аламжи оглядел склоны и обмер: саженьях в двухстах, в седловине четко обрисовывались пятеро всадников. Один из них ткнул в их сторону рукояткой плети,

— Гу-ук! Гу-ук! — раздался клич, и под копытами коней взметнулась земля, сверкнули сабли.

Шобдок-лама повернул коня и поскакал во весь опор. Аламжи, как замороженный, все еще стоял и глядел на людей, низвергающихся с горы.

Передний придержал коня — это был сам Ван Тумэр — и что-то крикнул, указывая на убегающего ламу. Гун Эрбэд понесся за Шобдоком. Гу-ук! Гук! Следом поскакал человек на белом коне. Полы его халата развевались на ветру подобно крыльям.

Только теперь Аламжи поверил, что это действительно разбойники. Пригнувшись вперед и опустив поводья, он понесся навстречу неизвестным. Черноленивый преобразился. Будто вспомнив свои молодые годы, он пригнул уши, вытянул шею и рванул во весь дух.

Скачущий мимо Ван Тумэр так натянул поводья, что его конь присел на задние ноги. Откинувшись назад, почти лежа на крупе коня, он крикнул:

— Живьем его, живьем!

Теперь наперерез Аламжи мчались два всадника. Один из них, видно, не слышал команды и мчался на него с поднятой саблей. Схватки не миновать! И тут Аламжи пустил в ход свой револьвер. Прицелившись в живот, он спустил курок. Прогредел выстрел, и всадник, выронив саблю, поник на голову коня. Но другой коротким взмахом бросил аркан. Веревка захлестнула шею. От неожиданности Аламжи чуть не вылетел из седла. Чувствуя, что хозяин вот-вот упадет, Черноленивый мгновенно повернулся и стал как вкопанный.

Разбойник накручивал на руку аркан. Задыхаясь, Аламжи ухватился за веревку и стал целиться; промахнуться — значило потерять жизнь!.. Спустив курок и почувствовав, как сейчас же ослабла веревка, Аламжи понял, что свалил врага.

Едва управившись с двумя противниками и не успев даже освободиться от петли и перезарядить револьвер, Аламжи повернул коня, надеясь спастись бегством. Ван Тумэр мчался за ним с саблей. И в тот миг, когда участь Аламжи была уже решена, Черноленивый сделал бросок в сторону. Конь Ван Тумэра промчался мимо.

За те несколько мгновений, пока Ван Тумэр поворачивал коня, Аламжи успел снять с себя и бросить аркан

на преследователя. Он почувствовал, что имеет дело не с простым бандитом. Затягивая петлю, Аламжи обвязал второй конец аркана вокруг себя; так надежней!

Однако не бывало еще человека, который стащил бы Ван Тумэра с седла. Два седока, связанные одной веревкой! Две лошади тянут в разные стороны!

Случилось невероятное: Аламжи чуть ослабил аркан, а потом с силой дернул на себя. Ван Тумэр вместе с седлом очутился на земле, будто пень, вырванный с корнями. У Аламжи лопнул стременной ремень, он потерял опору и тоже повалился с коня.

Барсом метнулся он в сторону поверженного врага. Но Ван Тумэр выхватил кинжал, перерезал аркан и стал подниматься. Аламжи ударил его ногой в локоть. Кинжал отлетел в сторону.

Еще ни в одной схватке Ван Тумэр не лишался оружия. Разъяренный, он бросился на Аламжи, начал его душить, бить, кусать. Аламжи вырвался, обхватил врага, положил на бедро и бросил на землю. Сцепившись, они клубком покатались по траве и оба оказались в канаве, наполненной вонючей водой. Тут счастье изменило Ван Тумэру: он оказался внизу. И все же ему удалось вцепиться в противника зубами. Аламжи рванул голову вверх и оставил в его челюсти собственную бровь. Он ударил поднимающегося Ван Тумэра по голове... Красноглазый великан медленно, будто нехотя, разжал руки и опустился в густую грязь.

Вырвавшись из рук смерти, прямо через болото, спотыкаясь и падая, Аламжи побежал к лесу.

Пока происходила эта короткая схватка, Гун Эрбэд гнался за Шобдок-ламой. Он настиг его, опустил руку на плечо и выдернул из седла. Так степной орел, выследив добычу, камнем падает на нее.

Шобдок-лама дрожащими руками подтянул к себе суму и прикрыл ее грудью. В эту жуткую минуту он как никогда в жизни молил богов. Скакавший следом за Гун Эрбэдом разбойник спрыгнул с коня, подошел к ламе с обнаженной саблей. Шобдок схватился голой рукой за саблю, но Гун Эрбэд пинком в лицо отшвырнул его и рванул суму.

— Алтан!.. Золото отдайте! — заплакал Шобдок-лама, протягивая к Гун Эрбэду изрезанную ладонь. — Не мое золото, божеское...

Стоявший позади него грабитель коротко взмахнул саблей, и бритая голова ламы покатилась по траве. Разбойники равнодушно посмотрели на обезглавленное тело Шобдока и, прихватив суму, вскочили на коней.

Никогда еще не был Гун Эрбэд так красив! Он скакал на высоком тонконогом коне, и разноцветная бахрома кушака развевалась у него за спиной. Приподнявшись на стремянах, он склонился навстречу теплову ветру. Как хотел он, чтобы Ван Тумэр увидел его в эту минуту, любовался его молодецкой посадкой!..

Кони шарахнулись в сторону. Гун Эрбэд вздыбил скакуна. В канаве лежал человек, за которым с детства следовал он, которому верил, как высшему существу, который стал ему опорой и наставником в жизни. Гун Эрбэд соскочил с коня, вытащил с помощью товарища могучее тело Ван Тумэра из грязи и опустил на колени.

Ты ли это, непобедимый Ван Тумэр, лежишь бездыханным у подножия Сади-Сарук-Сума? Молчал Ван Тумэр. Его глаза, залепленные грязью, уже не видели, как белоголовый гриф в небе, распластав крылья, высматривает добычу...

— Воды! Скорее воды!..

Вскоре юный разбойник обмывал лицо и руки своего предводителя. И тут ему послышался слабый вздох. Гун Эрбэд припал ухом к груди Ван Тумэра.

— Он жив! Вы слышите, жив!.. Вина ему! Во весь дух скачи!

Сидящий на коне разбойник стрелой полетел в становище Ван Тумэра.

— Где дьявол, что свалил атамана? — вскричал Гун Эрбэд, вскакивая на ноги.

Ему указали:

— Смотри!

Гун Эрбэд обернулся подобно волку, которого собака укусила за хвост. Взглянув на болото, он увидел широкий след, ведущий к лесу. Посередине болота из грязи торчало голенище унта.

— Я найду тебя, будь ты сам дьявол! — погрозил кулаком Гун Эрбэд.

...Аламжи бежал. Ветки рвали его халат, били его по лицу, кровь текла по его щекам. Переходя вброд реку, он погрузился по горло в воду, прислушался, нет ли погони. Все было тихо кругом. Аламжи стал пригоршнями бросать воду в израненное лицо, жадно глотать ее.

— Проклятая жизнь! — в отчаянии проговорил он. — Весь век ищу правду. Есть ли она?

В мокрой рваной одежде, с унтом на одной ноге побрел он по склону Сади-Сарук-Сума. Куда идти, где преклонить голову? Э, не все ли равно!.. Шобдок-лама, конечно, убит, золото потеряно. Значит, незачем идти к святому Туван-хамбе... Но и домой возвращаться нельзя — клятва будет нарушена.

— Боги, научите!

День кончился, солнце скрылось за горами, в лесу сгущался сумрак. Выбрав расщелину в скале, Аламжи опустился на землю и закрыл глаза.

Наступила холодная ночь. Мокрая одежда затвердела, а он все перебирал в памяти пути-дороги, которые привели его в этот неизведанный край. Что же делать? Замерзать среди диких скал? Нет спичек, чтобы разжечь костер. Нет одежды, чтобы укутаться потеплее. Нет людей, которые приютили бы. Неужели смерть? Нет! У него на родине жена и дети.

— О боги, научите! — Аламжи вынул бурхана, что висел у него на груди, приложился к нему лбом.

Его рука коснулась чего-то мягкого. Кизяк дикого яка! Он затолкал его под рубашку. Стало теплее, повеяло родным... Он принялся шарить вокруг, собирать кизяк и толкать за пазуху.

Только с восходом солнца Аламжи забылся в коротком сне. Куда же все-таки идти? Вспомнилось, как Туван-хамбо обошелся с ним там, в далекой Аге, как помиловал на глазах многотысячной толпы. Да, он добрый, как и подобает святому. Может, он выдаст расписку, что получил золото? С такой бумажкой можно и домой вернуться... Эти мысли успокоили Аламжи, и он решил любой ценой добраться до Лхасы.

...Второй день шел он по дикому лесу, не встретив и признаков человеческого жилья. Страдая от голода и жажды, он срывал листья, разжевывал их и проглатывал

горький вяжущий сок. Босая его нога была изрезана камнями. В который уже раз отрывал он полоску от халата и привязывал к ноге кусок древесной коры.

К вечеру Аламжи нашел небольшое углубление в скале и стал располагаться на ночлег: постелил сухой травы, собрал кизяк, насыпал его за пазуху. Заснул он почти мгновенно.

Ему снилось, что стоит он с Жалмой на опушке леса и мимо него одна за другой проезжают телеги с большими котлами.

— Смотри, Жалма, опять котлы повезли!

На третий день Аламжи вышел к большой поляне. Силы окончательно покидали его, ноги начали подкашиваться. Некоторое время он шел, опираясь на палку, а дальше пополз на четвереньках.

Полдня полз Аламжи, но так и не мог достичь противоположного конца поляны. До деревьев оставалось еще около версты, когда он в изнеможении прилег на траву. Раны, полученные в схватке с Ван Тумэром, стали уже нагнаиваться. Он сорвал какую-то траву, пожевал и приложил к месту, где некогда была у него правая бровь.

Хватаясь за траву, почти без сознания, Аламжи снова пополз, но уже через несколько саженей потерял последние силы. В глазах у него потемнело. Запах свежей травы, легкие испарения, поднимавшиеся от земли, перенесли его в родное Забайкалье.

— Здравствуй, Жалма, здравствуйте, мои дорогие ребятишки! Нет, прощайте... Прощайте, родные!

Неподалеку каркнула ворона, заметив добычу.

Аламжи лежал недвижим. Ему чудилось: он на коленях перед седеньким настоятелем Агинского дацана. Тот грозит ему скрюченным пальцем: «Дьявол похитил твоё счастье. Молись!»

**Книга
вторая**

В БУРЮ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТАЙНЫ
БОЛЬШОГО ЛОНДОНА

Шел 1894 год. Уже была известна длина всех рек, известны глубины морей и океанов. Позади еще дымились пожарища яростных битв за землю, на которой живут люди, за воду, которую они пьют, за богатства материков и крохотных островов. Позади остались годы, когда законы писались только железом и кровью, когда человечество делилось только на победителей и побежденных. Шар земной оказался исполосованным на всех широтах. Завоеватели обильно оросили его кровью аборигенов, присвоили их скот, выжгли леса. Целые народы, оставившие после себя следы удивительного и загадочного ума человеческого, были стерты с лица земли. Во всех этих делах пальма первенства принадлежала англичанам.

В проеме узкого окна, на башне собора святого Павла, одного из самых знаменитых среди тысячи ста соборов и церквей Лондона, рисовалась человеческая фигура со скрещенными на груди руками. Смуглое, без морщин лицо, выдающиеся скулы, приплюснутый нос делали человека похожим на Будду, отлитого из меди. Позади него возвышался шкаф, прислонившись к которому спал богатырского сложения мужчина. Стоявший у окна человек смотрел на город. Громоздились разноэтажные каменные и деревянные строения, с высоты башни они напоминали лестницу.

Неподалеку от башни, в одном из окон мерцал огонек.

В стороне будто переплелись крышами несколько зданий. В прогалах между ними тоже видны огоньки. Дальше домá, сгрудившиеся по сторонам узенькой улочки, образуют сплошной черный провал. Какие страсти обуревают жителей этих громад, что творится в этих человеческих гнездах?

Никто об этом не расскажет, да и горько будет слушать, если расскажут.

Человек с ликом Будды молчал. Завидовать судьбе этого человека не осмелился бы никто. На далекой родине его звали Осором. Более четырех лет назад под именем Туван-хамбы он отправился в рискованное путешествие из обители богов — священной Лхасы. Подлинный Туван-хамбо сам снаряжал его в это опасное путешествие и строго наказал отвечать всем, что он — посол, который едет с поручением Далай-ламы в далекую Россию. На перевале Будды английские разведчики в сопровождении наемников подкараулили караван мнимого посла, уничтожили его свиту, а самого доставили сначала в Индию, а потом в Лондон.

Осор-лама, преданный Туван-хамбе, даже под страхом смерти не открыл бы никому той роли, какую ему было приказано играть.

— Да, я Туван-хамбо, учитель и наставник Далай-ламы Тринадцатого,— упрямо повторял он всякий раз, когда английские агенты сомневались в его личности.

В Лондон Осор-лама прибыл на пароходе. Его, как посланника Далай-ламы, встречала толпа людей, одетых в черные фраки, высокие цилиндры, лакированные ботинки, с тростями и зонтиками, в очках и без очков. Мнимого Туван-хамбу усадили в большую карету, запряженную восьмеркой отменных лошадей. При всем богатстве воображения и природной смекалке Осор-лама, однако же, растерялся: во сне все это или наяву?..

Народу на улицах Лондона оказалось больше, чем в священной Лхасе в дни самых больших хуралов¹. Люди двигались в разных направлениях, и нельзя было понять, кто из них куда идет. От этого кружилась голова. Осор-лама на минуту прикрыл глаза, потом обернулся назад. Следом за ними двигалась точно такая же карета. Сидели там важные начальники, встречавшие его в порту. Все, не отрываясь, смотрели на него. Толстый господин, говоривший при встрече о любви англичан к тибетскому народу, приветливо улыбнулся и кивнул головой.

Что-то на мгновение заслонило тусклое солнце, Осор поднял голову и увидел, что проезжают под мостом.

¹ Х у р а л — большое молебствие.

С моста глядели на него люди, увешанные бумажками. Послышались звуки барабана, прогромыхала телега, похожая на домик и тоже разукрашенная трепыхающимися на ветру бумажками. Впоследствии Осор узнал, что эти бумажки, щиты и шары с письменами извещают лондонцев, где и когда открылся новый магазин, где найти учителя такого-то языка, где снять удобную квартиру, где купить собаку.

Шум поездов, говор многолюдной толпы, истошные крики зазывал могли бы ошарашить и не такого человека, как Осор-лама. Мрачное однообразие, механическое движение, чрезмерная громадность всего тяготило воображение и сердце...

И Уэст-Энд, населенный аристократами, и Ист-Энд, дающий приют беднякам, с утра до ночи, во всякое время года наполнены сутолокой: все, расталкивая друг друга, вечно куда-то спешат, и нет такой силы, которая могла бы остановить это неудержное стремление. Не найти человека, который не помышлял бы о фунтах, шиллингах и пенсах. Завершив дневные дела, лондонцы ложатся в постель, если она есть, но и во сне не оставляет их та же забота. Даром никто не даст куска хлеба, и бедняк до утра ворочается с боку на бок с одной лишь мыслью: найти работу и покончить с проклятой нуждой.

...Торжественный поезд вскоре остановился у великолепного дворца. Осор-лама посмотрел на шпиль, упирающийся в небо, на лепные раззолоченные украшения и зажмурился. «Зрячий может ослепнуть, слепой — прозреть». Он сравнил здание с дворцом Потала в Лхасе и остановился на том, что Потала строже и величественнее, как и подобает обители живого бога... На память пришли напутственные слова, сказанные Туван-хамбой:

— Помните всегда и всюду: вы — ученики Будды. Куда бы вас ни занесла судьба, вам всегда будет сопутствовать одиннадцатиликий Арья-Бала...¹ А ты, Осор, с сего дня забудь свое имя и возьми мое. Ты — Туван-хамбо. Даже тени своей не открывай тайны...

Осор-лама на мгновение воскресил в памяти облик своего наставника, его острые глаза, тонкие губы, белую

¹ А р ь я-Б а л а — верховное божество буддистов.

кожу щек и тяжело вздохнул: «О боги, дайте сил недостойному рабу!»

Сопровождающие его господа уже стояли неподалеку в почтительных позах. Еще минуту назад Осор-лама не знал, как себя вести, но воспоминание о Туван-хамбе вселило в него решимость. Он поднял руки с четками и, благословляя, опустил их на голову ближайшего англичанина. Тот, видимо, хотел возмутиться, но тотчас же изобразил на лице нечто вроде улыбки. Такое поведение англичанина Осор-лама истолковал как уважение к его богам и, воодушевившись, начал благословлять всех подряд. Какой-то очень толстый господин жестом пригласил высокого гостя в дом. Этого англичанина Осор-лама счел здесь самым главным. В отличие от прочих, одетых во фраки и цилиндры, на том был черный халат, но только без кушака, и красная шапочка величиной с чашку. Осор-лама догнал толстого и зашагал с ним рядом...

Перебирая в памяти события последнего времени, Осор-лама задумался. Удар колокола заставил его вздрогнуть. Оглянувшись, он увидел, что дверцы шкафа открыты, а недавно спавший человек возится со странным механизмом, заполнявшим шкаф. Осор-лама уже не первый день обитал в соборе, но никак не мог привыкнуть к звону необычного механизма. Тут были колеса, колесики, цепи, веревки, устрашающего вида колотушки, тонкие пружины и еще множество неизвестных Осору вещей. «Если сунуть в этот ящик живого барана — что с ним будет?» Озадаченный этой странной мыслью, Осор опять надолго задумался.

Осор-лама уже знал, что все эти колеса, цепи и пружины составляют механизм часов, днем и ночью отсчитывающих срок жизни лондонцам. Смотрителем башенных часов был Чарльз Макдональд, тот самый, что заводил сейчас пружины. Он с гордостью посмотрел на Осор-ламу. «Видишь? Я даю жизнь единственной в своем роде машине. Человек, который держит в руках душу и сердце великого Лондона — это я».

Чуть покатый, в морщинах лоб, крупный нос, впалые щеки и глубоко сидящие глаза — таков был Макдональд. Когда, забыв об окружающих, он вдруг улыбался, его

верхняя губа исчезала, а нижняя оттопыривалась, открывая кривые зубы. При этом подбородок его выпячивался и вздрагивал, на месте кадыка возникало углубление.

Осор-лама хоть и привык к Макдональду, однако улыбку его переносил с трудом. Замечая, что верхняя губа Чарльза медленно пропадает, он каждый раз опускал глаза, будто ему непременно нужно было разглядеть свои гутулы¹.

Макдональд отлучился и вскоре вернулся, держа в одной руке корзину с яблоками и булочками, а в другой — блюдо с жареным гусем. Разложив обильный завтрак на столе, Макдональд по-своему улыбнулся. Но теперь Осора уже не интересовало ни лицо друга, ни тем более собственные дырявые сапоги: его взгляд блуждал по истекающему жиром гусю.

Друзья уселись рядышком. Макдональд умело разрывал гуся. «Так-то, дружище», — похлопал он Осора по плечу. На желтом халате Осора осталась жирная пятёрня. Таких пятен было множество на халате Осора, и нетрудно было заключить, что подобные завтраки и разговоры у них были нередки.

Рассвело. Макдональд погасил газовый рожок и подошел к окну. Осор-лама еще некоторое время разгрызал косточки, потом, облизывая губы, подошел к приятелю. Лондон просыпался. На улицах уже властвовал шум. Грохотали поезда, тарахтели кэбы, выходили на промысел нищие, скоротавшие ночь в подъездах домов, под мостами и в скверах. Толпами двигался рабочий люд — докеры, текстильщики, металлисты. Лишь состоятельные господа, до поздней ночи гулявшие в клубах и на балах, еще нежились в постелях, обнимая своих постоянных или временных подруг.

Нехотя растворялся туман, упавший на город с вечера. Наконец за каменными громадами домов поднялось солнце.

Стоя на башне собора, вдыхая влажный воздух, остужая лицо ветерком с Темзы, Осор-лама снова и снова возвращался к своему недавнему прошлому. Оно было печально.

...Вот он поднимается по ступеням дворца в сопровождении епископа Эдуарда. Его всюду принимали как

¹ Г у т у л ы — сапоги.

почетного гостя, угощали невиданными яствами и винами, везде любезно разговаривали, мило улыбались и сулили земной рай.

А потом его схватили и бросили в тюрьму на три мучительных года. Мистификация не могла длиться слишком долго: английский посол в Петербурге спешно доложил своему министерству о том, что в Российскую столицу прибыл подлинный Туван-хамбо, его встречал царь Александр III. За умышленный обман Соединенного Королевства Осор-ламе и надлежало нести кару.

Тюрьма, куда водворили Осор-ламу, не относилась к ряду обыкновенных застенков. Это был знаменитый Тауэр, служивший некогда прибежищем королям, надежная крепость, позднее превращенная в грозное узилище. Здесь находили свою смерть наиболее опасные политические и религиозные противники могущественных правителей. Да и сами короли, случалось, выпускали здесь последний вздох.

Бой часов на башне собора каждый раз почему-то восстанавливал в его сознании самые тяжкие дни заточения. «Ад, настоящий ад! Слава Арья-Бале, он не покинул меня... Все-таки я остался жив».

Что прошло, то прошло. Надо было думать о том, как поскорее покинуть эту страну. Надежда на спасение вскоре явилась. Он случайно встретился с единоверцем, агинским бурятом Локсом, сыном известного богача Торговойн Жапа. Этот купец вывозил янтарь из Италии, продавал его в Китае и Монголии, имел мясные магазины в Чите и Верхнеудинске. Локсой, завидев ламу, подошел под благословение. Оказалось, что сын агинского богача хорошо владеет английским языком, он обучается тут врачеванию.

— Постараюсь отправить вас, святой учитель, в Петербург, к Петру Александровичу Бадмаеву. А уж он-то вам поможет.

После этого разговора Осор-лама спал и видел себя в Петербурге.

Трудно было уразуметь Осор-ламе, почему после такого жестокого заточения он получил относительную свободу. Ему неведомо было, что все эти годы за ним пристально наблюдал епископ Эдуард, тот самый, что встречал его в день торжественного въезда в Лондон. Эдуард, как мог, облегчал его страдания в Тауэре, а затем убедил

светские власти передать необычного пленника на его попечение. Он поместил буддийского священника в собор, поручив заботам бескорыстного Чарльза Макдональда. Осору вменили в обязанность совершенствоваться в знании английского языка, изучать Библию, проникаться учением англиканской церкви. Эдуарду хотелось иметь постоянное представительство в Лондоне от буддийской державы, чтобы в будущем завязать более тесные связи с Лхасой. Осор-ламу хотели сделать первым сотрудником будущего посольства.

Пока Осор-лама размышлял о прожитых в Лондоне годах и о туманном своем будущем, в одном из дворцов решалась его судьба. За лакированным столом сидели: секретарь государственного департамента внутренних дел Уайд Ридли, епископ Эдуард, Томас, Синг и несколько высокопоставленных лиц. Министр Артур Джемс только что кончил говорить. Кервуд закрыл папку с бумагами и встал.

— Мысль его преосвященства епископа Эдуарда ценна,— начал он.— Ею следует воспользоваться, но в более солидных масштабах. Вершить дела с бродячим ламой — это мелко. Туван-хамбо добился, что в столице православной империи строится буддийский дацан. Христианские проповедники на колониальном Востоке вот уже сколько времени грызутся между собой, а рядом появляются миссионеры из Японии.

— Да, недооценивать японских миссионеров-буддистов мы не можем,— согласился Джемс.

— Улыбка истории,— усмехнулся О'Коннор, знаток Востока.— Японцы сами восприняли буддизм от китайцев еще в конце V века, а сейчас преподносят им его как некое откровение. Они уже арендуют у них землю, открывают школы. Их духовные занятия нас не могут тревожить. Но под ламскими одеждами скрывается немало офицеров японской разведки...

— Когда я имел честь выполнять обязанности советника в Японии, то неоднократно доносил в Лондон о сколачивании этого миссионерского общества,— изогнул свои тонкие брови Кервуд.— Секта носит название Син. Это, пожалуй, самое богатое религиозное объединение Японии. Оно располагает собственным университетом.

У него свой банк. Всем известно, чего стоит отправить в другую страну тысячу человек под видом буддийских священников. Ламы заполонили Китай. Они открывают там филиалы буддийских миссионеров. По такому же образу и подобию филиалы создаются в Индокитае и даже в Турции... Кстати, священник этой секты Хонхазы приходится свояком императору Муцухито Мэйцзи.

Наступило молчание. Уайд Ридли переводил нетерпеливый взгляд с одного собеседника на другого. Кервуд придвинулся вплотную к столу и, положив на него сухощавые руки, ни на кого не глядя, продолжал:

— Великобритания удерживает первенство в колониальном мире. Пока удерживает... Но усиливается могущество Франции. Начав с Индокитая, она проникла затем в Центральную Африку, заняла Мадагаскар. Военный флот Германии растет с каждым годом. За океаном поднимаются Соединенные Штаты. Укрепляет флот и сухопутные силы император Мэйцзи. Россия и Франция тяготеют друг к другу. Они уже заключили между собой договор. Япония имеет тайный договор с Америкой. Будет хорошо, если такой же договор с ней заключит и Великобритания... Я в меру возможностей готовлю для этого почву.

После паузы, необходимой в таком обществе и обстановке, вниманием окружающих завладел Джемс.

— Блестящую мысль епископа Эдуарда следует осуществить немедленно. Мы обратимся к мэру города с просьбой не препятствовать строительству храма. Выделим некоторую сумму, имея в виду, что буддисты в Англии и за ее пределами тоже не останутся в стороне. Об этом решении должны узнать во всех странах Востока. Что касается бродячего ламы, то его надо бы поместить в приличный особняк. О слугах, я думаю, позаботится мистер Ридли... Пригласите портного, пусть он сошьет ему новое одеяние...— Артур Джемс повернул лицо к Томасу: — Я попрошу вас, Томас, доставить в Лондон несколько буддийских священников. Понятно, не простых, а со званиями. У меня все, джентльмены.

* * *

Не подозревая о том, какая ему уготована судьба, Осор-лама теперь стоял на Пикадилли рядом с Локсоем. Он пропускал мимо ушей ценнейшие сведения, какими

надеялся его Локсой, и думал только об одном: «Наконец-то я выберусь из этого проклятого города!»

Локсой, видя довольное лицо святого учителя, продолжал:

— В Бурлингтон-Хаузе есть библиотека, святой учитель, в ней тысячи книг, множество ценнейших рукописей. Я люблю работать в этой библиотеке. Там же помещается музей. Чего только нет в нем, святой учитель! Солнечные часы, сделанные самим Ньютоном в юности (об этом человеке я вам как-нибудь расскажу), его телескоп, его не-напечатанные труды, серебряная булавка Карла Второго...

Осор-лама понял из сказанного не больше того, что мог бы понять тибетский як из многотомного «Ганжура».

— Когда же ты вызволишь меня отсюда?

Жизнерадостный Локсой поспешил успокоить ламу.

— Вы столько претерпели здесь бед, что два-три дня уже не повредят. Ведь вы не видели Лондона!

Он подозвал кэб и уселся в него вместе с Осором. Просвистел бич, и кэб, будто спичечный коробок в половодье, понесся по шумной улице.

Локсой не отважился повести оборванного ламу в ресторан, чтобы достойно угостить его. Лучше, пожалуй, съездить на окраинный рынок, где в сутолоке никто не обратит на них внимания.

Осор-лама в который уже раз смотрел по сторонам и думал: «Зачем люди создали для себя такую тесноту!»

Навстречу двигались повозки, доверху нагруженные ящиками и тюками, трехколесные велосипеды, шли пешеходы — праздные гуляки, пьяные бродяги, нищие с заплечными торбами, оборванные дети. Торговцы булочками, огурцами и помидорами толкали впереди себя тележки. На хитрых печках жарился картофель, пеклись каштаны, и криками зазывались покупатели. Тут же орали во все горло те, кто хотел сбыть устрицы, яблоки, рыбу, зелень. Иные бухали в барабаны.

— Вот лекарство от чахотки! Дешевле, чем в самой дешевой аптеке! Мне жалко вас, леди и джентльмены, поэтому я продаю лекарство так дешево!

— Не верьте ни одному моему слову, уважаемые леди и джентльмены! В мире не сыщете другого такого лжеца, как я. Когда я говорил правду, родители секли меня роз-

гами. Зато теперь вы поверите, что мой товар — самый дешевый. Я не платил за него ни пенса, просто взял... в кредит!

То и дело попадая в объятия торгашей, Осор-лама и Локсой добрались наконец до небольшого павильона под брезентовым навесом, поблизости от которого расположился оркестр бродячих музыкантов. Здесь можно было присесть.

Накормив Осор-ламу, Локсой напомнил:

— Начнем знакомиться с Лондоном. Вы должны увезти отсюда воспоминания не только о муках.

Локсой, во-первых, был верующим, а во-вторых, он надеялся, что дружба с человеком, выполнявшим задание самого санид-хамбо Тувана, не мешает ему. Что стоит, например, этому Осору по прибытии в Петербург сказать несколько слов о нем крестнику Александра III Петру Александровичу Бадмаеву. Исколесив несколько кварталов и побывав в Британском музее, они направились на Стренд, одну из самых шумных улиц по вечерам. Здесь находились театры, бесчисленные рестораны и гостиницы, пивные, кафе, винные погребки. Ошеломленный блеском и шумом, Осор-лама очутился в окружении раскрашенных девиц. Совсем еще молоденькая девушка вцепилась в Осор-ламу. Осор пытался вырваться от молоденькой проститутки, но та удерживала его. Другая девица подхватила под руку Локсою:

— Не надо ругаться, сэр... Дайте, пожалуйста, пару пенсов, а то меня сегодня выгонят из дому...

...У ворот особняка уставших за день друзей встретил привратник. Он поклонился Локсою, подозрительно осмотрел рваный халат Осора и, не проронив ни слова, открыл. Локсой поднялся по ступенькам к флигелю, обернулся к Осору и жестом показал, что тому первому надлежит перешагнуть порог жилища.

Локсой уложил Осора на диван, а сам ушел в соседнюю комнату. Несмотря на усталость, лама долго не мог уснуть. Воспоминания горького детства и юности нахлынули на него. Перед ним, будто в тумане, проплывали стены китайских городов, обитые железом двери, измученные переходом через пустыню караваны верблюдов... Ворота в китайских городах с вечера закрываются наглухо. Сколько раз бездомному Осору приходилось ночевать за такими воротами вместе с бродячими собаками.

Утром, когда стража распахнет ворота,ходишь в город, а там уже тысячи людей. Нет, они не бегают, как тут, в Лондоне, усевшись под навесами, они либо чинят фонари, либо ставят заплатки на обувь и одежду, либо точат ножи, либо готовят пищу и тут же продают ее, либо мастерят очки, пользуясь успехом у сельских чиновников. Кругом стучат, сверлят, паяют, пилят... В одном китайские города сходны с Лондоном: и там и тут одинаково свободно можно подохнуть с голоду или окоченеть на морозе. На это одинаково равнодушно взирают окна домов и китайских мандаринов и английских лордов.

Покосившиеся деревянные дома в узеньких и вонючих переулках... Да, жизнь везде одинакова, если пусто в карманах.

Лама зарылся головой в подушки, но сон не шел. Он вспомнил одного китайца, служителя кумирни мяо¹, который, накурившись опиума, мгновенно засыпал. То был добрый человек, он пригрел бездомного Осора, наставил его на истинный путь, устроил хуварак.

От пагубной своей привычки он избавиться не мог. Ляжет, бывало, на кан², набьет иголкой опиум в трубку с аршинным чубуком и маленькой, с наперсток, головкой, поднесет ее к огню и жадно глотает одуряющий дым. На некоторое время он становился веселым, разговорчивым, но вдруг, прервав на полуслове какую-нибудь занятную историю, крепко засыпал. Проснувшись, он стонал, его голова и руки тряслись, и он снова тянулся к трубке. Так пустил он в одуряющий дым все здоровье, все деньги и скончался нищим. А он, Осор, с тех пор стал бродячим ламой.

Однажды он забрел в долину, где жили монголы и где чинил неправый суд амбань Абаахай. Молодому Осору ламе амбань показался добрым. Но откуда ему знать, что этот самый Абаахай несколько лет домогался любви красавицы Мэдэг, а та боялась и ненавидела старика. Она души не чаяла в юноше по имени Тумэр, сыне почтенного Нимы. Чтобы избавиться от соперника, амбань отправил Тумэра на военную службу в надежде, что горячий юнец сложит голову в первом бою. Но Тумэр отличился и заслужил шапку с павлиньими перьями. Тумэр-тайжи, как

¹ М я о — китайская молельня.

² К а н — топчан.

звали теперь юношу, вернулся в родное кочевье и стал готовиться к свадьбе. Тогда-то Абаахай и призвал к себе Осора:

— Убьешь самозваного тайжи — станешь настоящим кумирни мяо. Не убьешь — опозорю перед народом и выгоню.

Что было делать бедняге Осору? Убивать ему не хотелось, но желание стать настоящим одержало верх. Видимо, сами дьяволы помогали тому Абаахаю.

О сговоре Абаахая и Осора бог знает как узнал Тумэр-тайжи. Он запер Осор-ламу в дугане, поджег его, а сам ускакал с прекрасной Мэдэг к озеру Далай-нор. За беглецами, взяв солдат, поскакал сам Абаахай-амбань. Он подстрелил Мэдэг, а Тумэр-тайжи на полном скаку подхватил тело любимой девушки, скрылся в приозерных камышах, и с тех пор его никто не видел.

Чудом спасшийся из горящего дугана, Осор-лама добрался до Чейбзэнского дацана и был радушно принят праведным Ригби-хамбо. Через настоятеля столь крупного дацана Осор-лама познакомился с высокорожденным Эмчи Сономом, врачом, а тот взял его с собой в Лхасу и здесь представил Туван-хамбе.

Сам познавший несправедливость и лишения, Осор-лама оказался причастным к гибели двух людей. Богач Локсой не отвернулся от него, хочет отправить его в Петербург, но если бы он знал все о прошлой жизни Осора, не переменил бы он к нему отношения? Говорят, что у одних людей черные мысли, у других белые. Каких же мыслей больше у него, Осора, — черных или белых?

...Туман медленно плыл над городом и таял под лучами солнца. Осор-лама и Локсой миновали колонну Нельсона на Трафальгарской площади.

— Как, святой учитель, вам понравился Лондон?

— Туман, сплошной туман, — ответил Осор. — Даже здесь вот туман, — дотронулся он до виска.

Локсой рассмеялся: оказывается, этот лама может выражать свои мысли.

— Надо уметь видеть и сквозь туман. Каждая столица имеет свой облик. Рим — город монахов, Берлин — город солдат, Париж — город дамских панталон, Петер-

бург — город полицейских. Ну, а Лондон... Весь мир торгует в этом тумане...

Пробиваясь сквозь толпы, шарахаясь от кэбов и дилижансов, Осор-лама и Локсой вышли наконец в район доков. Восемь лондонских доков — это сложные сооружения, представляющие искусственные бассейны с причалами и шлюзами, куда могут во время приливов заходить морские суда. Они поразили Осор-ламу до такой степени, что он, услышав от Локсоя об их назначении, надолго застыл на месте.

Они пошли по одному из самых больших доков, носящему имя королевы Виктории. Сюда заходят для ремонта корабли, прибывающие с Балтийского и Средиземного морей с грузом леса, хлеба, мяса, масла и фруктов. Локсой договорился встретиться здесь с капитаном парусника «Тамань» Штоксом. Трудно, конечно, в толчее найти нужного человека, но капитан «Тамани» имел приметную фигуру: ростом он был не меньше сажени, притом носил черную окладистую бороду. Завидев какого-нибудь великана с бородой, Осор-лама дергал Локсоя за рукав, но тот, всмотревшись, отрицательно качал головой.

У складов известных всему миру пивных заводов «Берклей, Перкинс и К°» Локсой остановился и посмотрел по сторонам:

— Договорились встретиться здесь...

Осор-лама тоже озирался, и сердце его билось тревожно: скоро он покинет опостылевший ему город. Но может случиться всякое: вдруг нагрянет полиция, схватит его и опять в Тауэр... Да и в Петербурге неизвестно еще как обернутся его дела. Как посмотрит на своего посланца Туван-хамбо? Ведь Осор нарушил клятву.

Бородача Штокса, капитана «Тамани», Локсой увидел неподалеку, рядом с каким-то худосочным англичанином: оба навеселе, они вели веселый разговор.

— Здравствуйте, господин капитан! — по-русски поздоровался Локсой.

— Здравствуй, дружище! — по-русски же ответил Штокс.

Осор-лама, не зная ни слова по-русски, молчал и лишь поглядывал снизу вверх на бородатого великана. Англичанин что-то пробормотал и направился в пивной склад. Штокс кивнул в его сторону:

— У него берем груз... В море выйдем после полудня.— Бросив взгляд в сторону Осора, он спросил:— Это и есть приятель, которого мы должны прихватить?

— Он самый.

Штокс наклонился к Локсою и тихонько спросил:

— Это, случаем, не женщина?

Понимая его заботу, Локсой сказал:

— Нет. К сожалению... Перед вами буддийский священник. Лама называется.

— Вспомнил, ты говорил! Лама — мама...

Штокс повернулся к Осору и протянул ему руку. Маленькая ладошка ламы утонула в огромной лапе капитана.

— Проклятое место, того и гляди собьют с ног,— отмеривая шаги, жаловался капитан.— Все куда-то бегут, торопятся, кричат. И пожирают тонны... И какао, и кофе, и сахар, и ром, и российская водка! Двести тысяч тонн на одном только складе! Слоновая кость из Африки, рыбий клей с Антильских островов, страусовое перо из Абиссинии, ладан с Черноморского побережья, и все давай-давай, хапай побольше!

Капитан остановился и показал на парусник.

— Вон она, «Тамань»! Еще мальчишкой я плавал на этом корабле с отцом, а теперь мне уже за пятьдесят. Оба мы постарели...

Локсой повернулся к ламе и по-монгольски сказал ему:

— На этом корабле сегодня вы поплывете в Петербург. Желаю вам удач в столице белого царя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СОВЕТНИК БЕЛОГО ЦАРЯ

Апрельское солнце с каждым днем пригревало сильнее. Снега, еще недавно покрывавшие склоны гор, растаяли и потоком вливались в Агу. Река вышла из берегов. Уже расцвел всегдашний вестник весны — ургуй. Почки на березах и багульнике, на черемухе и диких яблонях набухли. Ворковали голуби. Потешно продирая глаза лапами, ослепленный полуденным солнцем, заспанный медведь вышел из берлоги.

На Шулутайском перевале зазмеилась длинная вереница повозок. Жители улусов выбегали из своих юрт:

— Едет!

— Бадмаев едет!

— Советник белого царя!

— И на лошадях, и на верблюдах!

— Сотворите перед бурханами святую молитву...

Суслики и те вставали на бугорки и свистом приветствовали появление столь внушительного каравана. Пугливые косули сбивались в кучу, стремительно пересекали дорогу и скрывались.

Вся Агинская степь, бурятские улусы и поселения русских старообрядцев, обе Монголии — Внутренняя и Внешняя — были взбудоражены. По всем дорогам и тропам, ведущим в Агинскую степную думу, тянулись телеги, запряженные быками, нарядные тарантасы и легкие ходки состоятельных хозяев. Скотоводы везли в повозках мясо, шерсть, кожу, масло, сметану; русские хлебопашцы — пышные калачи, зерно, муку. Конно и пеше двигались умельцы-дарханы, мастера на все руки, славящиеся изделиями из серебра и золота, железа и дерева, из кожи и драгоценных камней. Русские и буряты, ламы и шаманы, дальние и ближние говорят только об одном:

— Жамсаран Бадмаев!.. Стал сыном белого царя, забыл свое имя, стал называться Петром Александровичем, повесил на шею крест. Как же он переступит порог дацана?

— Повезло человеку... Говорят, у него теперь не меньше трех миллионов...

На протяжении семи километров от агинского дацана до Степной думы вдоль берега реки выстроились юрты, временные сараи из тесовых досок, амбары на колесах, столбы и коновязи.

За последние годы дацан изменился. К сотне ламских домов прибавилось еще столько же, рядом с трехэтажным храмом высилось недавно построенное сумэ¹, сверкая позолоченной кровлей. Теперь уже не один котел, специально отлитый на заводе в Балигта, а и второй на две тысячи ведер стоял на дацанском дворе. Хуvaraки то и дело подкидывали под котлы сухие поленья. Ламы,

¹ С у м э — храм.

поднявшись по приставленным лесенкам к краю котлов, вилами переворачивали бараньи туши.

С крыш храмов раздались мощные звуки, будто взревело стадо быков: дацанские музыканты длинными трубами стали созывать верующих. Ламы у котлов, вытирая потные лица рукавами халатов, осматривали паству: среди молящихся попадаются красивые молодки, а главное — чем больше людей, тем больший сбор.

Улицы и переулки, прилегающие к храмам, были забиты людьми, повозками, оседланными конями. Народу собралось, сколько не собиралось, наверное, в дни пребывания здесь наставника Далай-ламы Тринадцатого высокорожденного Туван-хамбы. Людей притягивали сюда не только храмы, но и ярмарка.

— Пятнадцатого числа первого летнего месяца, в день рождения Будды, здесь появится на свет живой бог. Его можно будет увидеть в главном храме дацана!

Эта весть взбудоражила людей. Как томимые жаждой рвутся к роднику, так рвались верующие со своей надеждой к дверям храма.

Дюжие ламы-гэсхы с дубинами, окрашенными в красный цвет, грубо отталкивали нетерпеливых. Орали дети, истошно вопили беременные женщины, жаловались на свои недуги калеки и больные, ржали лошади, ревели трубы, били барабаны, звенели колокольчики.

Те, кому удалось прорваться в храм, у самого порога падали на колени и ползли на северную сторону, где сверкала золотом гунгарба. Достигнув ее, они приподнимались, складывали ладони и, потрясенные увиденным, падали ниц. В божнице, завернутое в желтый шелк, шевелилось что-то живое. В длину это существо было с аршин, в ширину — два; голова его напоминала надутый бычий пузырь, сплюснутый сверху и снизу; линия рта доходила до ушей; глаза, лишённые бровей и ресниц, были приоткрыты. Это существо тяжело дышало, его губы то и дело шевелились. Да, ребенок был несомненно божественного происхождения: на его низком лбу отчетливо виднелось красное пятно величиной с шуре¹.

При виде божества многие от страха и удивления забывали молитвы и просьбы, с которыми собрались обратиться к нему, и отползали назад. Некоторые потом рас-

¹ Ш у р е — янтарный шарик,

сказывали, будто видели у божества пламя, полыхающее над головой, или сияние, похожее на радугу.

Намдак-баян, собрав все мужество, коим наградили его предки и которое накопил он сам за пять десятков лет, распластался перед гунгарбой и начал молить божество, чтобы оно даровало ему детей и укротило жену, которая лежала тут же поодаль и не выказывала никаких признаков жизни. «Вот она, смерть,— содрогнулся Намдак.— Боги поразили сварливую жену в самом храме». Голова у богача пошла кругом. Он хотел произнести молитву, но язык уже не повиновался ему. Мужество покинуло Намдака. Он не в состоянии был ни бежать, ни ползти, он рухнул рядом с женой.

Рядом с Намдаком на коленях стоял Шаралдай из далекой Тункинской долины. Он только что собрался умолять божественного младенца, чтоб тот сделал его самым именитым царским чиновником, но при виде обезумевшего Намдака бросился бежать и угодил в котел, куда верующие бросали подаяния.

Блюстители порядка бросились к тункинцу, схватили за шиворот и выволокли на улицу. Походя они обшарили его карманы: не прихватил ли тот горсть-другую монет.

Молодая, но уже поседевшая женщина стояла на коленях, не обращая внимания на переполох.

— О боги-покровители и ты, живой бурхан! Помогите мне, возвратите мне крошек невинных, сыновей моих — Балбара и Булада... Если они наказаны за мои грехи, то покарайте лучше меня. И пусть вернется к родному очагу заблудившийся Аламжи, муж мой...

Ламы-гэсхы, исполнявшие роль полицейских, давно уже выволокли из храма Балму и Намдака, а также других прихожан. Но женщину не трогали. Откуда-то явился и встал рядом с ней Самбу-лама. Он сделал знак, и ламы-гэсхы закрыли двери храма. Женщина все еще стояла на коленях. Живой бог уже не мог помочь ей. Он был неживой... В уголках его широкого рта выступила кровавая пена.

Что же произошло? Может быть, на Агинский дацан и в самом деле снизошла благодать? Об этом мог бы рассказать только один человек — Самбу-лама.

— Выведите! — повел он бровью.

Ламы подхватили женщину под руки. Оставшись один, Самбу-лама огляделся, открыл божницу, завернул изуродованного младенца в орхимжо и полез на верхний этаж святилища...

Страшный это был человек, Самбу-лама. С тех пор как узнала его Жалма, четыре раза степь покрывалась цветами и четыре раза выпадал снег.

Проводив Аламжи, обитатели юрты, затерянной в степи, стали его ждать. Каждый день они делали на палке зарубку.

— Уже скоро вернется аба,— считал зарубки Булад.— И я, мама, буду ездить на рысаке.

И тут же, как в сказке:

— Принимай коня!

На легком ходке, запряженном гнедым жеребцом, восседал Самбу-лама.

— Принимай же коня!

Низко кланяясь, Жалма взяла поводья коня, привязала его и повела почетного гостя в юрту.

Самбу-лама уселся по правую сторону очага, вынул фарфоровую коробочку, зарядил табаком свой плоский нос и оглушительно чихнул. Маленький Балбар заплакал, Жалма принялась его унимать.

— Хорошая примета,— нашелся Самбу-лама.— Когда дети подают голос вошедшему в юрту, значит, желают ему благ.— С этими словами он извлек из-за пазухи два ярких бумажных пакетика и протянул их Буладу.— Возьми шэхэр¹. Один пакетик тебе, а другой — братишке. Покушай... И пойдь, мухахэн², к моему коню. Стань спереди, и подожди. Если конь фыркнет — значит, счастье будет сопровождать вашему отцу.

Мальчик вышел. А лама снова запустил руку за пазуху. Вскоре перед глазами Жалмы засверкал яркими красками кусок парчи. Самбу-лама развернул его, перебросив один конец на кровать, другой положив себе на колени.

— Посмотри, Жалмахэн!

— Вижу... Очень красиво.

На куске материи были изображены бирюзовое небо и темно-синее море. Среди моря возвышался обрамлен-

¹ Шэхэр — конфеты, сладости.

² Мухахан — ласковое обращение.

ный зеленую остров. На нем росли невиданные деревья, их пышные ветви гнулись под тяжестью оранжевых плодов, распустив радужные хвосты, прогуливались павлины.

— Стань вот сюда, еще красивее покажется... Да походи же!..

Самбу-лама обнял ее за плечи, притянул к себе и приложил мокрые губы к ее щеке. Женщина в испуге отшатнулась.

— Да ты не бойся, бедняжка. Я пошутил. Никто тебя не съест и не обидит.

— Не нужно мне от вас ничего!— Жалма прошла за очаг, склонилась над люлькой и рукавом вытерла щеку.

— Баяртэ!— стал прощаться наконец Самбу-лама.— Сегодня я должен еще совершить молебен на горе Алхана.

Самбу-лама все чаще стал наведываться в юрту Жалмы. Каждый раз он ласково обходился и с хозяйкой, и с ее детьми. Вскоре все обитатели уединенного жилища привыкли к его посещениям. Жалма поддалась уговорам Самбу и приняла парчовый ковер с божьими птицами. Несколько раз лама приезжал с почетным гостем — богатеем Лонхо, перекочевавшим к подножию Алханы. Это был тот самый Лонхо-баян, уши которого были такие большие, что ими можно было вытереть глаза, который на вид был так глуп, что казалось, не в состоянии был разрезать пополам волосяную веревку, но по хитрости и коварству он в семь раз превосходил своего простоватого брата Намдака. Лонхо вел себя в юрте Жалмы тихо и мирно, почтительно отзывался об Аламжи, о его силе и трудолюбии. Однажды, сопровождаемый Самбу-ламой, он привез ей несколько серебряных монет в счет будущих трудов, а Буладу подарил козленка.

Так жили они не богато и не бедно, пока не сделали на палке тридцать седьмую зарубку.

— Мэндэ! Будьте добры, примите лошадь, встречайте гостя.

Жалма от неожиданности вскрикнула и кинулась искать платок: зайдет сейчас гость и увидит ее с неприбранный головой!

В обычном своем ходке сидел Самбу-лама.

— Пожалуйста, пожалуйста, ламбагай...

Жалма с поклоном приняла лошадь, Самбу-лама проворно соскочил на землю. Вид у него был праздничный.

Он первым зашел в юрту и уселся не на правую сторону, как подобает гостю, а на северную, на место хозяина. Рядом с собой он поставил плотно набитую сумку.

— Вы не ошиблись, ламбагай?— оторопела Жалма.— Пристало ли вам сидеть на северной стороне у бедной женщины?

Приосанившись, Самбу-лама соврал:

— Теперь я сельский лама. Думаю уйти из дацана.

— И что же?— не понимая к чему клонит гость, пожала плечами Жалма.— Там место хозяина...

Самбу-лама повторил с досадой:

— Теперь я сельский лама. Я решил поселиться тут, возле Алханы...

Сбитая с толку Жалма только и могла проговорить:

— Хорошо, если так,— и стала подбрасывать в очаг кизяки.

Поднявшись, Самбу-лама будто невзначай обхватил хозяйку за плечи и прижался к ее волосам. Жалма вспыхнула.

— Глупая ты!— хрипло рассмеялся лама и похлопал Жалму по щеке.— Пугливая какая...

Жалма начала беспокоиться. «Вот сейчас подойдет, бросит на постель... И никто не поможет, не защитит. Некуда бежать, поблизости — ни одного аила¹...»

— Жалмахэн, убери-ка эти гостинцы. Покормишь детей, сама отведаешь...

— К чему это, ламбагай? Сколько раз просила — не надо подарков.

— А-а, так?— он набрал в обе горсти пряников и разложил на гунгарбе.— Это приношение богам или нет? Боги видят черное твое нутро, и пусть видят!

Жалма в ужасе прижала обе ладони к щекам.

— А это видишь?— он вынул из складок одежды вместительную бутыл с топленным маслом и поднял ее над головой.— Думаешь, для чего я привез масло? Разве забыла, что перед ликом богов должен гореть светильник?

Жалма застыла на месте и не знала, пасть ли ей на колени или выскочить из юрты и бежать, куда понесут ноги.

— А это видишь?— Самбу-лама достал из-за пазухи кожаный мешочек и помахал им перед носом Жалмы.— Если не ослепла, то, может, поймешь, это санзай² для

¹ А и л — стойбище.

² С а н з а й — благовонная трава.

богов! Поднималась ли ты хоть раз на священную вершину Алханы, чтобы сделать приношение богам? Или ты шаманка? Неподалеку от твоей паршивой юрты недавно высох родник. Истинно верующий Лонхо-баян сам поехал в Агу просить, чтобы здесь был совершен молебен. А кто осквернил родник, отчего высох он?

Самбу-лама кричал. Острые крылья его желтой шапки раскачивались, и Жалме казалось, что это козел стоит перед ней: вот сейчас разбежится и боднет ее в живот.

— Тебе не нужны мои приношения, мерзкая пожирательница огня... Приняла в дар от почтенного Лонхо козленка и держишь его голодным на привязи... Да откуда может быть скотина у таких людей! Кто совершит за вас молитву, кто попросит у богов, чтобы вы были богаты, как восемь Намсараев, и знатны, как восемь Намдаков? — Он схватил несколько пряников и поднес к морде козленка. — Ешь и благодари!

— О, силы небесные! — вырвалось из груди Жалмы.

— Замолчи! Какие силы зовешь? Есть ли у тебя бог?

— Есть! — Жалма молитвенно сложила ладони. — Есть!

— А знаешь ли ты, кто твой покровитель? Молчишь! Маха-Гала твой покровитель! Вместо волос на голове у него пламя, взгляд проникает сквозь камень, зубы крошат железо. Я много раз служил перед ним молебен. А ты? Ты забыла своего покровителя?

Жалма упала на колени:

— Пожалейте, Самбу-ламбагай... Я буду слушаться вас...

Она упала ниц, пытаясь дотянуться до полы желтого ламского халата.

«Проняло! — приоткрыв рот и еле дыша, он подошел к Жалме. — Не торопись, Самбухан... Нежный соловушка сам уселся на твою ладонь».

— Не лежи на холодном полу, Жалмахэн. Встань же... Плохо, плохо... — Он легко приподнял ее и, осторожно ступая, понес на кровать.

Самбу-лама гладил ее спину, груди, ноги, целовал ее губы, глаза, шею, но вдруг Жалма сильно ударила его по лицу.

— Не отпущу тебя! — мертвой хваткой вцепился он в нее. — Ты моя... Я не могу жить без тебя... Два дня я теряю, чтобы добраться сюда... А сколько раз приезжал?

Крик вырвался из груди Жалмы. Она рванулась раз, другой, она боролась изо всех сил.

— Мэндэ! — донеслось со двора приветствие. — Есть ли живые люди?

Самбу-лама обмяк и сник. Воспользовавшись этим, Жалма отодвинула от себя насильника, соскочила с кровати и принялась приводить себя в порядок. Лама накинул на плечи орхимжо, сел с правой стороны очага и принялся вытирать пот.

Жалма пошла к выходу.

— Не узнаете меня... Жалма? Разве забыли, вытаскивали соринку из моего глаза?

— Шара-Дамба! — обрадовалась хозяйка.

Кланяясь своему спасителю, Жалма повела его на почетное место.

— Вот так штука! — воскликнул Шара-Дамба, усаживаясь на хойморе¹. Он увидел на полу затоптанный ободой² и осторожно, двумя пальцами приподнял его. — Что я вижу! Шапка святого учителя?

Лама молчал, глядя в землю.

...Уходя, Самбу-лама погрозил кулаком в сторону юрты:

— За все отомщу тебе... Глаза твои высохнут, на их месте будут зиять дыры. Твои волосы превратятся в труху! Твои розовые щеки съедят черви. Голова твоя станет круглой костью.

На другой же день, после того как удрал Самбу-лама, Жалма обнаружила, что маленький Балбар заболел. Шара-Дамба отвез женщину с ребенком в дацан и поместил их поблизости у своего приятеля, русского плотника. Вскоре разразилось новое несчастье. Когда она отлучилась из дома плотника, Балбар бесследно исчез. Никто не видел, как его унесли из сарая, в котором ночевала Жалма. Много дней искала женщина сына, но не нашла. «Не уберегла... Приедет Аламжи, спросит, что отвечу?» С этой мыслью она вернулась в юрту к подножию Алханы и сама слегла.

Как-то утром, когда Булад угнал отару Лонхо в степь, Жалма собралась с силами, встала и зажгла светильник перед ликом бурханов. Неужели и на сей раз

¹ Х о й м о р — почетное место в юрте.

² О б о д о й — священная шапка.

боги не окажут ей своих милостей? Перед ее глазами проносились раздирающие душу картины: вот грозит кулаком Самбу-лама, тянется ручонками Балбар, стоит с ясной улыбкой любимый Аламжи... Мысли путались, она часто впадала в забытие. Жалма не заметила, как козленок вскочил на гунгарбу и опрокинул светильник. Занялся пожар. Когда пламя начало лизать деревянную кровать, Жалма выползла из горящей юрты и без чувств упала в траву.

Проезжий торговец, у которого Жалма изредка покупала муку, возвращался в это время из стойбища Лонхо и заметил дым. Он положил в телегу бесчувственную женщину и увез ее в Ара-Илею, где проживал знакомый фельдшер из ссыльных поселенцев.

Булад пас овец по другую сторону увала. Вернувшись вечером домой, он увидел пожарище, и ему подумалось, что мать сгорела вместе с юртой. Так он и сказал Лонхо-нойону. Тот забрал в свое стадо всю их скотину, а мальчишку прогнал в степь...

* * *

Минуло четыре года. Много событий пронеслось над степями, но самым важным из них была ярмарка. Более десяти тысяч человек всех званий и сословий, разного достатка и верований съехались в Агинск. Одних тянула сюда жажда наживы, других — стремление продать по сходной цене плоды трудов своих, а заодно помолиться о спасении души, третьих — простое любопытство. Среди этой разношерстной толпы блуждала и Жалма, потерявшая обоих сыновей, так и не получившая вестей о своем муже. Оборванная, с растрепанными седыми волосами, она выглядела безумной.

— Посторонись!.. Разве не видите: идет бешеная баба, заразить может!

— Чего бродишь, покупателей разгоняешь! Чертово отродье, сожравшее собственных детей!

— Эй, посторонись, идет жена Аламжи, она сегодня при деньгах...

Среди безжалостной толпы с застывшим взглядом, не замечая ни насмешек, ни брани, ходила она и день, и другой, и третий, словно прислушиваясь к чему-то такому, чего не могут понять ни степной князек, ни даже

нищенка, прижавшая к тощей груди ребенка. После молитвы, после удачного торга каждый может взять на руки родное дитя. Чего же она ищет, к чему прислушивается? Не надо об этом спрашивать! Раздайся над ее ухом пушечный выстрел — она и головы не повернула бы, разразись громы небесные — она не содрогнулась бы.

Где-то плачет ребенок, и Жалма устремляется туда, расталкивая знатных и безродных, не Балбар ли? На зеленой лужайке разыгрались мальчишки, и она спешит к ним, спешит: нет ли среди них Булада? Дюжие мужики согнулись под тяжестью тюков, и Жалма уже там: может быть, счастье все-таки пришло к ней, может быть, вернулся Аламжи? Но не было никого из ее близких среди этого многолюдства... Детские голоса жгли ее сердце. Тяжелые тюки падали на землю, будто глыбы льда на ее исстрадавшуюся душу.

И всюду кричат на нее, улюлюкают, шарахаются в стороны....

Когда в глазах Жалмы вспыхивали искорки разума и с ресниц скатывалась слеза, даже тогда она не замечала ни врагов, ни друзей. Знакомый добрый Мо Фей, все еще торгующий бузами, ее окликнул, она прошла мимо. Желтобородый каретник Кузьма Кузьмич, хорошо знавший Аламжи, обратил на нее внимание:

— Жалма, подь сюды, родная! Аль случилось чаво? Она прошла мимо.

— Кость, кость! Где же силачи?

Жалма подошла к подножию холма и увидела знакомую картину. Она узнала даже старика, ибо это был Загда, завсегдатай праздничных гуляний, больших ярмарок и базаров, сурхабанов и дацанских хуралов. В помутившейся памяти Жалмы всплыли события четырехлетней давности. Они приехали к подножию Хан-Улы на праздник в честь Далай-ламы, все было точно так же: сидел на холме этот старичок и выкрикивал те же слова.

— Кость, кость! За три удара — двугривенный.

Все было так же. Только сейчас нет ни Аламжи, ни детей. А было ли это? Может, приснилось?

— Кость, кость! — вопил Загда.

Собралась толпа. Подошли Шара-Дамба и Кузьма Кузьмич, остробородый Тагар, подскочил Бухэ-лама и сразу же схватился за кость. Его удары сначала были

размеренными, а потом посыпались так быстро, что Загда не успевал их считать.

— Все, постарел! — плюнул Бухэ-лама и бросил кость на землю.

— Подайте-ка сюда, — показал на кость Шара-Дамба, потому что сам из-за больной коленки нагибаться не мог.

— Денежки вперед, молодец, — предупредил его Загда.

Шара-Дамба молча посмотрел на Кузьму Кузьмича. Каретник пошарил в карманах и протянул полтинник...

Зная Шара-Дамбу не только по богохульным его словам, но и по схваткам с силачами, люди затаили дыхание. Длинные рукава Загды зашевелились, деньги из мешка стали пересыпаться в складки одежды. По всему видать, хозяин кости не расстался со старыми привычками.

Силач глянул на Загду, ослабил больную ногу и нанес удар. Послышался хруст, и вслед за этим все разом загалдели. Шара-Дамба почти вырвал кожаный мешочек из рук Загды и высыпал себе на ладонь деньги. Там оказалось несколько медяков. Он вопросительно глянул на Кузьму Кузьмича.

Жалма все вспомнила, все поняла.

— Старый Загда утаил деньги!

— О, смотрите, не хватало здесь еще сумасшедшей бабы! — заорал Загда. — Смотрите на эту шаманку, погубительницу детей!

...На большой ярмарке всегда есть что посмотреть. Неподалеку от бугра палатка вдруг задрожала, обвисла и упала на землю. Из-под брезента сперва показался урядник Пустяков, а следом за ним — горбатый Галсан. Блюститель порядка и законности преследовал смутьяна, тот ловко отбивался костью. На помощь Пустякову пришел известный храбрец Шаргай-нойон, однако, получив меткий удар, предпочел держаться в тылу. Вывернулся из-под палатки также купец Кукушкин, а рядом с ним, молотя друг друга кулаками, показались тункинский Шаралдай и Намдак. У Шаралдая в одной руке были зажаты карты: богачи обвиняли друг друга в подтасовке и сводили счета способом, какой известен всем мошенникам мира. Не зная, в какую сторону кинуться и кого лупцевать, Кукушкин постоял не-

множко в раздумье, потом разразился пьяным хохотом и закукарекал. Подоспевший Лонхо присоединился к брату, а баргузинский Тэнэг-Бухэ решил напакостить агинцам и ринулся на них. У обеих сторон нашлись союзники, поэтому свалка быстро разрасталась в побоище. В ход были пущены не только кулаки, но и кнуты, палки, камни. Вскоре на месте потасовки один только жадюга Намсарай-тайша бродил среди обрывков одежды, потерянных унтов и подбирал все это в мешок.

Были и тихие уголки. Не только шуметь, но и подходить близко не разрешалось к высокой желтой палатке, стоящей особняком. С десятков людей в красных кафтанах, вооруженных тесаками, несли возле нее охрану.

«Может, Аламжи сидит там,— думала Жалма.— Наверное, его опять арестовали. Надо пойти туда».

— Стой, кто идет?

Трое в красных кафтанах кинулись к Жалме, схватили ее, потащили к палатке и бросили ее на землю перед усатым человеком. Женщина не сказала ни слова, не уронила ни единой слезинки. Упираясь руками в землю, она поднялась и, медленно переставляя ноги, пошла прочь. Ее не стали преследовать.

Кто нагнется, чтобы поднять выброшенную из воды рыбку и вернуть ее в родную стихию? Кто пожалеет женщину, потерявшую все, даже надежду? А ведь человек без надежды умирает. Не окажется ли спасителем Жалмы кто-нибудь из тех, кого охраняют дюжие воины в красных кафтанах? Бывают и чудеса: четыре года тому назад высокорожденный Туван-хамбо спас ее мужа....

В восточном углу за низким столиком сидели трое. Один из них, по всему виду, хозяин, с черными, без прогибов бровями, скуластый, костлявый, длинноногий, молча разглядывал свой перстень. Другой, с длинным бледным лицом, лысый, положив кулаки на стол, о чем-то думал, прикрыв глаза. Поглядывая на дверь, вполоборота к собеседникам сидел третий — тучный человек. Он многозначительно произнес:

— Мда-а...

Его взгляд остановился теперь на персидском ковре: золотистые искры-звездочки и яркая радуга, нависшая над заснеженными вершинами гор, хозяин палатки тоже задержал взгляд на ковре, будто видя его и не видя.

— К сожалению, господа, у нас не все еще понимают то, что на Западе давно стало ясным, — сказал он.

Державший кулаки на столе поднял глаза.

— Если хорошенько подумать, Петр Александрович, мне кажется, что это дело огромной государственной важности...

Тучный человек оторвал взгляд от ковра и замотал головой, будто собираясь боднуть.

— Нашему бы теляти да волка забодати!

Бадмаев ответил ему:

— Все правильно, господин губернатор. Хорошо бы только научиться отличать теленка от волка. Ведь некоторые путают... Вы, надеюсь, понимаете, о ком речь.

— Понимаю, Петр Александрович, — не очень охотно отозвался губернатор Мациевский. — Сергей Михайлович Дуковский, генерал-губернатор, на самом деле получает чуть ли не каждый день жалобы от местных купцов и предпринимателей, особенно читинских. Бадмаев-де чересчур своевольничает, нарушает нормальную коммерцию.

Мациевский не выдержал взгляда собеседника и снова уставился на ковер.

— Ваше превосходительство, — смягчил тон Бадмаев, — надеюсь, вы правильно поймете мои намерения... Да, я закупил триста кобылиц, привез из Европейской России девять породистых жеребцов и шесть чистокровных маток. Открыл завод. Для чего? Полагают — для собственной выгоды. Но мною руководят другие побуждения, а именно — интересы империи. Через четыре года я снабжу драгунские и артиллерийские полки самыми сильными, выносливыми и резвыми лошадьми. За такие дела не бранят. Я занимаюсь и коммерцией. Имею всего девять сотен верблюдов, чтобы наладить торговлю с Востоком: с Ургой, Пекином, Далай-Нором, Калганом... Думаете, здесь ждут меня капиталы? Хорошо, если так. Но мне важнее всего завязать политические знакомства, выгодные престолу...

Бадмаев кинул вопросительный взгляд в сторону лысого человека: «А что скажете вы?» Господин Шишмарев

был старый дипломат, знаток Дальнего Востока, прослуживший не один год генеральным консулом в Богдын-Хуре. Он промолчал.

Бадмаев продолжал:

— Вашему покорному слуге пришлось в некоторых местах заарендовать земли... Здесь, в Аге, в Чите, в Акше, Богдын-Хуре, Кяхте, Пекине...

«...Кроме того, этот наш покорный слуга уже здесь, в Аге, закупил около двадцати тысяч овец и не меньше трех тысяч коров,— мысленно продолжал за Бадмаева губернатор.— Во имя высоких целей? Как бы не так! Все это пойдет на золотые прииски Читы и Амурского края. Гостиница в Чите, кожевенный завод в Урге, фабрика по переработке шерсти, извоз, почта от Кяхты до Урги — ничто не ушло от тебя! Только не обожгись, крестник! Неизвестно еще, как к тебе отнесется наследник престола».

А Бадмаев между тем следовал дальше:

— Теперь мы строим железную дорогу через всю Сибирь. Я имел честь лично беседовать с министром финансов, господином Витте. Достигнута договоренность, что наша железная дорога дойдет до берегов Тихого океана. Китайцы, разумеется, с помощью европейцев тоже будут строить свои дороги. Кто выгадает от этого? Укрепившись на берегах Тихого океана, мы сможем диктовать Европе условия, каковые еще более возвысят наше отечество.

Мациевский заерзал в кресле. Не нравились ему ни тон, каким говорил Бадмаев, ни его чересчур смелые суждения, ни размах, с каким выскочка-бурят начал проникать во все сферы жизни вверенного ему края. Лицо его сделалось багровым. «Кажется, назревает скандал. Черт меня дернул ввязаться в эту канитель». Шишмарев отвернулся и стал смотреть в слюдяное окно. Одни люди самое малое и самое большое предприятие осуществляют молча, а другие любят шумиху. К этой, второй, категории, принадлежал Бадмаев, Шишмареву, во всяком случае, показалось, что он начинает бахвалиться:

— Начал строить в Чите типографию. Лично мне она будет в обузу, но зато ваш край получит газету на русском и монгольском языках.

Уже не сдерживая себя, губернатор быстро заговорил:

— Господин Бадмаев! По всей вероятности, читинские купцы все-таки правы. Вы на самом деле потеряли

всякую меру, возомнили, что на просторах Сибири и Забайкалья нет ни одной светлой головы. Самый умный — вы! Самый богатый — вы! Самый могущественный — опять вы! Вы вмешиваетесь во все дела Забайкалья и Приамурья.

— Продолжайте, господин губернатор, выкладываете все начистоту. Нам нечего скрывать друг от друга.

Мациевский вскочил с места.

— Извольте, господин Бадмаев! Кто домогается, чтобы казаки-буряты перешли в ваше распоряжение? Кто подавал его величеству рапорт о том, чтобы местные власти не вмешивались в ваши действия? Наконец, кто, минуя губернатора, обратился с «наинижайшим» прошением к императору и вымогал у него награды для служащих вашего торгового дома?..

— Я, все это сделал я! — высоким голосом закричал Бадмаев и, откинувшись на спинку кресла, вызывающе глянул на губернатора.

Мациевский уже растерял свой пыл. Погладив усы, он заговорил спокойнее. Только багровый цвет лица все еще выдавал его волнение:

— Поймите, уважаемый Петр Александрович, что поведением его императорского величества давно учреждена Приамурская губерния. Генерал-губернатор господин Дуковский и ваш покорный слуга губернатор Мациевский пока еще исполняют свои обязанности...

— Простите, господин губернатор, — перебил Бадмаев, — к чему вы все это говорите? Я же прибыл не в ваше распоряжение, я выполняю предписания, данные мне государем.

— Но его императорское величество, — расправил могучую грудь Мациевский, — насколько мне известно, не упразднил Приамурскую губернию и не поручал вам руководить таковою... Вы просили государя, чтобы он всемилостивейше разрешил увеличить дацанские земельные наделы. Но это отнюдь не входит в ваши полномочия... Вы узурпировали право давать пропуска уезжающим за границу и приезжающим оттуда. Что это значит? Чьим доверием вы злоупотребляете?

— Нельзя ли потише? — поморщился Бадмаев.

— Плевать! — рыкнул Мациевский. — Это вы кричите, а не я... Попрошу выслушать до конца и не перебивать. Итак, мне стало известно, что вы домогались до

ступа к тайному шифру, дабы самому сноситься с двором. Сноситься, минуя нас, знающих местные условия, нужды и чаяния народные...

— Полноте, господин губернатор, что за тон? В ваши годы следовало бы смотреть правде в глаза. Откуда такое наивное представление о делах Востока?

Мациевского окончательно сразили эти слова. Он вытянулся и прохрипел в бешенстве:

— Прощайте! Не желаю больше выслушивать ваши сентенции!

Повернувшись по-военному, он направился к выходу.

Шишмарев оторвал взгляд от окошка и посмотрел вслед губернатору. Он ничего не упустил из этого разговора. Его не интересовало, кто из этих двух господ прав, а кто находится на ложных позициях. Он прекрасно понимал, что столкнулись карьеристы крупного пошиба: с одной стороны — генерал-губернатор Дуковский и губернатор Мациевский, с другой — выскочка Бадмаев, которому в последнее время страшно везет. Какую сторону принять?

Вдруг раскрылась дверь, и к Бадмаеву, широко расставляя ноги, направился человек в красном кафтане.

— Петр Александрович! — вскинул руку охранник. — Там собрались почтенные гости... Те самые, агинские, и из других мест... Ждут, когда их примете.

— Зови всех! — приказал Бадмаев.

У входа уже толпилось человек пятнадцать — двадцать в цветных одеждах. Гости приветствовали хозяина по обычаям предков и по законам своей веры.

Женщины расположились по левую сторону от хозяина, мужчины — по правую. Самые знатные — тяньцзинский купец Старцев, плантатор из Ханькоу Цзо Цзун-тань, приехавшие в Агинск на ярмарку, а также Намсарай-тайша, Торговойн, отец Локсоя, — уселись на северной, почетной стороне, в одном ряду с Бадмаевым и Шишмаревым. Среди гостей находились Няндоксон-гэгэн из Лаврана, Цультим-гэгэн из Чейбзэнского дацана, французский путешественник Анж, Самбу-гэгэн, ставший недавно настоятелем Агинского дацана, Лубсан, заседатель при тайше, читинский врач Кириллов. Украшением столь почтенного общества суждено было стать жене и дочери хозяина чайных плантаций Цзо Цзун-таня, а также прелестной дочери Старцева.

Кириллов, хорошо знавший всех купчих и купеческих дочек Читы и ее окрестностей, был очарован Старцевой. Он хорошо знал, где таятся корни этой привлекательности. Декабрист Бестужев, будучи в Селенгинской ссылке, имел от бурятки сына. Когда тот подрос, его отдали на воспитание кяхтинскому торговцу Старцеву. И вот он, сын Бестужева и безвестной бурятки, принявший фамилию своего воспитателя, сидит сейчас рядом с Бадмаевым и о чем-то беседует, как равный с равным. От матери он унаследовал темный цвет волос, теперь уже изрядно побелевших, и чуть выдающиеся скулы. Дочь его не походила ни на русскую, ни на бурятку, ни на китаянку, хотя одежда на ней была китайская: длинное, под цвет неба, расшитое золотыми и серебряными нитями платье с короткими широкими рукавами, из-под которых струились еще одни рукава, более длинные, скрывающие ее полные гибкие руки. С пояса, облегающего ее тонкую талию, ниспадала кисточка, достигающая колен. Она небрежно держала веер. В волосах, уложенных кругом, виднелись два цветка, весьма гармонизировавших с подрумяненными, по китайскому обычаю, щеками девушки. С небольшой горбинкой нос, алые, резко очерченные губы, ниточки черных бровей — казалось, природа отобрала самое лучшее у десятков тысяч европейцев и азиаток и создала такое совершенство.

Заглядевшись на дочку Старцева, Кириллов совсем не следил за разговором, который уже завязался.

— Господин Кириллов! — громче чем следовало бы произнес Бадмаев. — Что нового в Забайкальском отделе Русского географического общества?

Услышав свою фамилию, Кириллов стряхнул с себя оцепенение. Вопросы он или не понял, или совсем не слышал.

— Здесь интересуются делами Забайкальского отдела географического общества, того самого, что вы создаете вместе с господином Кузнецовым, — повторил Бадмаев.

— Дела таковы, Петр Александрович, — пришел в себя Кириллов. — Отдел приступил к работе, но... очень большая нужда в средствах. Мы намеревались открыть публичную библиотеку с фондом хотя бы в две тысячи томов, однако не можем изыскать денег...

— Прекрасно, прекрасно, доктор,— перебил его Бадмаев.— Большое дело начали вы и продолжайте... Что касается средств... Как думаете, господин Старцев, в состоянии мы с вами выделить некую сумму на две тысячи томов?

Из всех гостей самыми скромными и самыми внимательными выглядели Цультим-гэгэн из Чейбзэнского дацана и французский путешественник Анж. Причин для скромности и любознательности у обоих было достаточно. Дело в том, что под видом Цультим-гэгэна скрывался японский резидент Ямадзуки, а липовые документы на имя француза-путешественника носил в кармане известный английский разведчик Томас.

Как попали они в скромный Агинск, отстоящий от морей и океанов на тысячи верст?

Ямадзуки, несколько лет тому назад носивший странное звание письмоводителя при особе Ригби-хамбо, отравил, как известно, английского разведчика Гордона и сумел скрыться. Вскоре он появился на родине и вошел в сношения с богатейшей сектой Син. В Китай он возвратился во главе тысячи шпионов, одетых буддийскими монахами. Получив информацию о приезде в Забайкалье Бадмаева — вершителя восточных дел, он заспешил в Агинск. Вывеска Цультим-гэгэна из Чейбзэнского дацана обеспечивала ему безопасность. Осложнений он не опасался, ибо прекрасно знал всех духовных сановников знаменитого монастыря.

Что касается Томаса, то после бегства Осор-ламы он получил новое задание и отправился в Азию. Как и Ямадзуки, его интересовала и личность Бадмаева, и тем паче политика, которую он намерен был проводить на Дальнем Востоке. Пути японских и английских шпионов опять скрестились, на сей раз в Забайкалье.

— Как идут дела у наших фирм,купающих чай в Ханькоу, Цзюцзяне и Фугжоу? — обернулся Шишмарев к сидящему рядом с ним плантатору.

Этот вопрос интересовал и Бадмаева, он ближе придвинулся к китайцу. Однако плантатора опередила уставшая от долгого молчания его жена. Изобразив на лице улыбку, она прогнусавила:

— Хао-хао!

Плантатор сердито глянул на супругу.

— Если верить моей жене, то наши скупщики чая работают лучше других... В данном случае она права.

— А еще из каких держав приезжают скупщики в Ханькоу? — решил уточнить Бадмаев. И тут решила проявить эрудицию дочь.

— Ин-го, Фа-лань-си, Пу-люсь, Ту-эр-ци, И-та-ли... Сие означало, что в Ханькоу собираются представители чайных фирм из Англии, Франции, Пруссии, Турции, Италии.

Плантатор сердито засопел, поискал глазами, чем бы запустить в болтливую дочь, и, не найдя подходящего предмета, бросил в нее свои собственные очки. Девушка стала ярче пунцового бархата. Подобрав очки и низко согнувшись в поклоне, она передала их отцу и попятилась на свое место. Цзо Цзун-тань водрузил очки на переносицу и обнажил в улыбке мелкие зубы.

— Порт Ханькоу — центр чайного экспорта, — сообщил он. — Торговля начинается в мае, когда приступают к первому сбору чайного листа. Второй сбор — в июне, третий — в июле...

«Француз» давно искал подходящего момента, чтобы вмешаться в разговор и направить его по желаемому руслу. Пользуясь тем, что китайский плантатор замолчал, полагая, что не стоит дальше утомлять уважаемое общество, Анж окинул гостей восхищенным взглядом.

Как только заговорил Анж, Цультим-гэгэн приложил ладони к уху, боясь пропустить хоть слово. Он подался вперед и впери́л взгляд в путешественника. В душе он ликовал. Всему миру известно, что французы — народ болтливый, они не могут сохранять ни личных, ни государственных секретов. В то же время он не выпускал из поля зрения ни Бадмаева, ни Шишмарева.

Анж откашлялся и продолжал:

— Франция и Россия во всем находят общий язык. Узнав, что вы, уважаемый господин Бадмаев, прибываете с высокой и благородной миссией в Забайкалье, я счел своим долгом засвидетельствовать вам свое глубокое уважение, как человеку, сведущему в делах Востока... В Китае и в Индии хозяйничает наш общий недруг Великобритания. Я вижу, здесь собрались святые отцы буддийского вероисповедания. Нельзя ли, пользуясь этим, обсудить наши общие задачи в борьбе с английским проникновением на Восток? Только русские и фран-

цузы, поверьте мне, являются истинными друзьями монголов, тибетцев, ханьцев.

Бадмаев и Шишмарев, выслушав эту патетическую речь, насторожились. «С какой стати праздношатающийся француз начал вдруг призывать к борьбе с Англией? И откуда у него такие сведения?» Русские переглянулись. Цультим-гэгэн, видимо, что-то смекнул и стал усиленно перебирать четки. Не успел Бадмаев ответить французу, как снаружи послышался шум, и в палатку ворвалась оборванная, седая женщина. Оглядев присутствующих, будто птица, случайно залетевшая в помещение, она бросилась перед Бадмаевым на колени и протянула к нему руки. Следом за ней вбежали оторопевшие стражники. Они набросились на Жалму и стали выкручивать ей руки.

— Перестаньте! — не выдержал Шишмарев.

Стражи во главе со своим начальником попятились к выходу. Высокие гости советника белого царя с удивлением и страхом рассматривали вошедшую.

— Вы по какому делу? — спросил Бадмаев и с неудовольствием глянул на стражников.

Жалма еще раз обвела скорбными глазами собравшихся в палатке, задержала взгляд на Бадмаеве, открыла было рот, но не смогла проронить ни слова.

— Гоните ее отсюда прочь! — завопил Самбу-лама. — Это бешеная шаманка.

Как раненая орлица бросается на врага, так Жалма бросилась на гэгэна и обеими руками вцепилась ему в глотку.

— Куда ты дел моего мужа? Верни мне моих детей! Пусть проглотит тебя, проклятого, земля, пусть черви источат бесстыжие твои глаза, пусть матери пугают детей своих твоим именем. Не святой учитель ты, а дьявол!

— Уберите ее! — властно приказал Бадмаев. — Сумасшедшая...

Стражники только и ждали этого приказа. Они схватили женщину за ноги и поволокли к дверям. Однако Жалма не выпускала своего обидчика и тащила его за собой. Высокочтимый Самбу, свалившись на землю, попытался вырваться, пустив в ход даже зубы, но и это не помогло. Только когда в руках женщины остался клочок ламского халата, Самбу почувствовал себя на свободе.

Успокоившись, гости стали интересоваться, что за странная женщина, почему она не изложила свою жалобу Петру Александровичу, а набросилась на служителя дацана высокорожденного Самбу-гэгэна.

Роль адвоката Самбу-ламы принял на себя Намсарай-тайша: женщина эта, проводив мужа, стала распутничать, растеряла своих детей. Боги сожгли ее юрту, лишили разума...

И все успокоились.

Стемнело. Прислужники принесли свечи.

Беседа пошла своим чередом, а Самбу-лама все еще не мог опомниться от потрясения и позора. А ведь он по своему любил эту женщину. Он впервые увидел ее, свежую, как распутившаяся саранка, доверчивую, как дитя. Он увлекся ею, стал обхаживать ее. Для этого он отправил ее мужа в Тибет. И тогда его любовь, как это нередко случается, сменилась ненавистью. Он решил сломить эту нищую гордячку, растоптать ее, опозорить, довести до отчаяния. С помощью лам-прислужников он выкрал из дома русского каретника ее сына Балбара, хотел прибрать к рукам и Булада, но жадный Лонхо помешал ему, выгнал мальчишку в степь. Следы Булада затерялись. Зато с Балбаром получилось так, как он хотел. Сговорившись с настоятелем, он поместил младенца в специальный ящик-колыбель, который позволял ему расти только в ширину. Когда тело мальчика было достаточно изуродовано, он, чтобы привести верующих в священный трепет, объявил, что в дацане родилось живое божество. Отпрыск Жалмы и Аламжи испустил свой последний вздох в разгар молебствия. Пришлось тело его сжечь, а верующим объявить, что божество покинуло их, недостойных благодати.

И эту женщину он любил? Его охватил ужас. Он закрыл лицо руками.

Снова явился начальник охраны. Подражая русским солдатам, он щелкнул каблуками.

— Там двое каких-то приехали. Одеты не по-нашему. Приехали, говорят, из этого... Ну, город есть за морем.

— Из Лондона? — догадался Бадмаев. — Это Осор и Локсой, я сам пригласил их к себе. Встретил сегодня на ярмарке.

Гости оживились. Увидеть людей, побывавших в Лондоне, услышать рассказы о сказочно богатой державе —

не часто такое случается... Один лишь «французский путешественник» почувствовал себя дурно, как только было произнесено имя Осор-ламы.

Воспользовавшись оживлением, Томас-Анж накинул плащ, выскользнул из палатки и перевел дух, будто пробежал без отдыха несколько миль.

— Уф-ф! Хорошо то, что хорошо кончается...

Он вынул из кармана револьвер, сунул его за пояс и зашагал к берегу Аги.

При свете луны тускло блестела река.

Раздвинув кусты, Томас подошел к воде, осмотрелся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, принялся обдумывать свое положение. Хладнокровный, привыкший к опасностям, он и теперь не сомневался, что выпутается из этой сложной истории. Вдруг он насторожился, пригнулся к земле. Где-то близко зашуршала галька, громко всплеснула волна, и над рекой пронесся крик, полный тоски и отчаяния:

— Прощай, солнечная земля! Спасибо тебе!

Это был голос женщины. Томас выхватил из-за пояса револьвер, взвел курок и попятился к кустам. Не провокация ли? И снова тот же крик кинжалом полоснул его по сердцу:

— Прощайте, дети мои! Прощ...

Голос замер на самой высокой ноте. Томас глядел направо и налево, вертелся, как табунный жеребец, почувший волка, однако ничего разглядеть не мог. Но вот облачко, прикрывавшее луну, проплыло дальше, речка засеребрилась ярче, и Томас увидел над водой голову человека.

— Аламжи, любимый мой, прощай!

Больше ни слова не успела сказать миру Жалма. Захлебнувшаяся, полуживая, она собрала остатки сил, какие не успела растратить за тридцать лет своей много трудной жизни, вынырнула, чтобы произнести самое дорогое для нее имя. Сама она уже никогда не насладится восходом солнца, но может случиться, что голос ее повиснет в воздухе, завтра поутру его обогреет солнце и сохранит навеки. Когда-нибудь на это место придет Аламжи, придут дети, в которых продолжается ее жизнь, и услышат последнее стенание ее души.

Прощай, Жалма! В жизни своей ты исколесила

много дорог, и не часто на твоём пути встречались нежно-голубые ургуйи и пурпурные саранки.

Зато теперь ты выбрала прямую дорогу. Скромная речка Ага хоть и бывает мутной, хоть и ночи над ней нависают темные, не потеряет извечного своего направления и бережно донесет тебя до Онона. Не будешь ты долго томиться и в многоводном Ононе. Стиснутый прибрежными утесами, под прощальный клекот орлов он обнимет тебя убаюкивающими волнами и передаст своему старшему брату Амуру. Широкий, как море, мудрый, как тысяча улигершинов, Амур-батюшка примет тебя в свои объятия, покачает на могучей груди и отправит к Великому океану. Не суждено тебе мучиться больше. Прощай, Жалмахэн!..

ПУТИ СКРЕСТИЛИСЬ

Томас глядел в черные воды степной речушки, прислушиваясь к тихому всплеску волн и пытался отогнать от себя беспокойные мысли. «Утопилась какая-то баба, а я раскис. Да пусть прыгают в эту лужу хоть все азиаты, мне ни жарко ни холодно». И все же ему было холодно. Он не забыл вопль женщины.

Видимо, не все человеческое было вытравлено из души Томаса. Он не ушел тотчас же, а приблизился к самой воде и пошел вниз по течению. Журчали на перекатах волны, пробиралась сквозь облака луна, тихо шелестела прибрежная листва, а он все шел и шел, будто повинуюсь зову неизвестной женщины. Что это блеснуло там возле черной коряжины, может, она? Не раздумывая, Томас шагнул в воду, достиг коряги и протянул руку. Да, это был человек. Женщина. Он вытянул ее на берег. Страх напал на отважного разведчика. Он положил оба револьвера в карманы шаровар, тыльной стороной ладони вытер пот и оглянулся на прибрежные тальники. Все тихо кругом — ни людских голосов не слышно, ни собачьего лая.

Томас двинулся к зарослям тальника. Он протягивал руки, раздвигая ветви и, не оглядываясь, бежал навстречу огонькам неугомонившейся ярмарки. Хотелось закурить, но не оказалось спичек, да еще вылез гвоздь в ботинке...

«Подлецы азиаты! Даже ботинки не умеют сделать как следует. Гвозди вылезают...»

Присев на поваленное дерево, англичанин принялся расшнуровывать ботинок.

— Интересно, кто здесь расположился?

Сердце у Томаса ушло в пятки. Он поднял голову и медленно, очень медленно повернулся на голос.

Недалеко от англичанина стоял низкорослый широкоплечий человек. Он не то улыбался, не то скалил зубы, как это делает зверь в предчувствии скорой поживы... Что нужно бродячему ламе в такой час на берегу речки? Почему он не спит, каналья, или же, на худой конец, не пьянствует со своими сородичами? Неужели он его узнал?

Томас быстро надел ботинки и попытался вскочить.

— Ни с места! Сделай только шаг — и сдохнешь как собака!

— Не узнаешь? — тоном невинного ребенка спросил Томас и потянулся к карману. — Осор! Я совсем недавно узнал, что ты вернулся на родину.

— Руки вверх! Теперь ты меня не обманешь, английский пес.

Сгорбившись и выставив длинный нож, Осор медленно приближался к врагу. Тот поднял обе руки и заговорил о том, как соскучился без Осора, как искал его в этой стране, населенной медведями и косматыми мужиками. Когда Осор подошел шага на два-три, Томас внезапно сделал рывок и ударом в живот опрокинул Осора навзничь, затем отскочил шагов на десять назад и выхватил оба револьвера. Осор выронил нож и теперь корчился от боли. Он сел в траве и, обхватив обеими руками живот, с ненавистью смотрел на англичанина. Кидаться с одним ножом на этого зверя! Видно, тебя, Осор, только могила исправит.

А Томас тем временем раздумывал, стоит ли его убивать. Мертвый он, конечно, не доставит хлопот, но и пользы от этого мало. Да, да, пользы мало. А вот живой может еще пригодиться.

— Дурак! — подошел Томас. — Прешь на меня с ножом, как на разбойника... Не веришь — на, возьми, — кинул Осору один из револьверов. — Бери!

Осор, завладев оружием, быстро выпрямился и взвел курок.

— Не верю я тебе, ни одному твоему слову не верю, сволочь паршивая. Молись!

Томас скрестил на груди руки.

— Стреляй! Что же ты стоишь истуканом, стреляй, говорю!

Револьвер сухо щелкнул, выстрела не последовало, он еще раз нажал — такой же результат: англичанин над ним издевался.

— Ну что ж, мои намерения ты узнал. Слово за тобой.— Осор кинул револьвер под ноги, рванул на груди рубашку.— Стреляй!

Томас нарочно стал греметь высыпанными в карман патронами.

— Ты, приятель, брось эти шуточки. Я не привык... Думаешь, зря искал тебя? Нет, англичанин не станет совершать такие прогулки ради вашего мерзкого климата. Если уж он рискнул, то игра должна стоять свеч. Я намерен тебя обогатить, как ты на это смотришь?

Томас приблизился к Осору, поднял револьвер, подул на него и положил в карман. Затем поднял длинный тонкий нож, которым Осор пытался свести с ним счеты.

— Как думаешь, кто помог тебе выбраться из Тауэра? Кто настоял, чтобы тебя поручили заботам простака Макдональда? Кто, наконец, позволил тебе так свободно улизнуть из Англии? Все это сделал я. Если бы не моя помощь, до сих пор ты сидел бы за решеткой. Жаль, что об этом спросить тебе не у кого. Локсой ничего не скажет, такой у нас с ним уговор. Накануне твоего побега я сунул ему золота, чтобы ты мог безбедно добраться до этих мест. Он тебе ничего не скажет, потому что, как я догадываюсь, золото он попросту прикарманил... Макдональд тоже немало деньжишек из меня выкачал. Говорят, лама без жареного гуся жить не может. Он тебе тоже не мог говорить... по той же причине.

Осор молчал. Неужели все это правда?

— Знаешь, сколько я истратил денег, чтобы вызволить тебя из тюрьмы? Хватило бы на выкуп сотни солдат. А теперь ты мне нужен. Теперь ты мне pomoжешь. Выполнишь маленькое поручение, получишь кучу золота и сможешь жить припеваючи. Что тебе дает это ламское звание?

— Не пойму, куда ты клонишь...

— Не бойся, не покушаюсь я на твою непорочность. Сюда собрались многие знатные ламы из Тибета и Монголии. Надо склонить некоторых на сторону Британии. Ты же помнишь, наверное, что в Лондоне хотят открыть дацан. Какой же дацан может обходиться без шэрэтэ, гэсхы, гэгэнов? Мне нужно на первый случай хотя бы десяток лам...

— И тогда что? — Осор сам не заметил, как уже шагнул вместе с Томасом к ярмарочным огням.

— Ламы — это еще не все. Главное — выкрасть Туван-хамбу и увезти его в Лондон... Если бы нам удалось такое предприятие, мы бы тогда не горстями золото гребли, а лопатами.

Осор радостно встрепенулся. Золото! Однако он тут же вспомнил Лондон, застенки Тауэра и сразу отрезвел. «Ты сегодня дважды обманул меня. А я чем хуже? — размышлял Осор. — Ты идешь на хитрость — я тоже пойду. И посмотрим, кто в конце концов окажется хитрее...»

— Как думаешь насчет Туван-хамбы?

— Сразу трудно сказать, — ответил Осор. — Это ведь не просто — схватить учителя Далай-ламы. У него охрана явная и тайная. Как бы самим не очутиться в подземельях какого-нибудь храма. Уверяю, там будет гораздо хуже, чем в Тауэре.

Томас не торопил его с решением. Он понимал, что поспешность в таком деле может только навредить. Да и человек, сразу бросающийся в какую-нибудь рискованную авантюру, не мог в его глазах пользоваться доверием. Поэтому он согласился с доводами Осора.

— Что же, я тебя не тороплю. Взвесь все хорошенько. Я все же надеюсь, что мы с тобой столкнемся... А для начала возьми вот, — Томас протянул ему увесистый кожаный мешочек. — Тут хватит тебе, чтобы добраться до Лхасы. Ты, конечно, понимаешь, что вместе нам туда нельзя возвращаться.

Осор взвесил в руке мешочек и сунул его за пазуху. На душе у него стало светло. Выходит, у этого горбоного англичанина есть деньги. Где же он их хранит? Вот бы разузнать... Наверное, не здесь все-таки, а где-нибудь в Монголии или в Тибете тайник устроил. Открыть тайник, потом спровадить проклятого англичанина на тот свет. Но как это сделать? В Тибет Осор не пойдет и за

Туван-хамбой охотиться не станет. Хватит, он уже поси-
дел в темнице: для одной жизни достаточно...

Примирившиеся для вида враги приближались к кост-
рам, горящим возле палаток. Они шли бок о бок, словно
ничего между ними и не происходило.

— Куда пойдём? — спросил Осор.

— Действительно, куда бы? — задал самому себе
вопрос англичанин. — Может, вернемся к Бадмаеву? Ты
уходил оттуда, там гости еще оставались?

— Оставались. Начали пить водку. Мне, при моем
ламском одеянии, неприлично было оставаться, вот я и
ушел.

— Значит, пьют водку, — обрадовался Томас. — Лю-
бопытно! Пойдем?

— Я не пойду, — наотрез отказался Осор-лама.

— Ну, как хочешь. Где завтра встретимся, когда?

Осор-лама быстро сообразил, что надо назначить
встречу не на утро, а к середине дня. К тому времени он
уже будет далеко от английского шпиона.

— К обеду приходи к палатке Торговойн Жапа. У не-
го я ночую.

Они разошлись в разные стороны. Томас уповал на
завтрашний день, а Осор надеялся, что их пути никогда
в жизни больше не скрестятся.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СТОЛИЦА

ПОДНЕБЕСНОЙ ИМПЕРИИ

Семьдесят верблюдов, навьюченных тюками величи-
ной с копну, медленно двигались по дороге к Пекину. Во
главе каравана, ведя за длинный повод верблюда-самца,
шел высокий человек с подоткнутыми полами монголь-
ского терлика¹. Размеренной походкой он и сам напоми-
нал уставшего караванного верблюда. Это был «передов-
щик», главный из семи караванщиков. В его обязанно-
сти входило наблюдать за общим порядком и задавать
нужную скорость во время переходов, определять место
и время привалов, ночевки, дневки. За это он получал
плату чуть повыше рядового своего собрата. Вторым ли-

¹ Терлик — халат.

цом в караване считался «здевщик», шедший в самом конце. Он следил, чтобы не отстал верблюд, подбирал случайно упавшую кладь, предупреждал, если позади их догоняли подозрительные люди.

Караван подходил к Пекину. Вскоре постройки образовали улицу. Белые штаны и рубашки, широкополые соломенные шляпы, платки...

Головной верблюд с высоты своего роста оглядывал толпу. Стали попадаться торговцы прохладительными напитками, фруктами, сладостями, пирожками. Горели переносные печурки, шипели раскаленные сковороды, на которых что-то жарилось, парилось и пеклось.

Караван миновал ворота Пекина и вступил в город. Передний верблюд замотал головой, брезгливо выпятив губы. Передовщик время от времени покрикивал на него, дергал за повод, а сам разглядывал цветные вывески над магазинами и ресторанами, крыши домов, маленькие пруды, обсаженные кустарником, каналы.

Вскоре внимание караванщиков привлекли стены Запретного города, где живет скрытый от всего света повелитель Китая — богдыхан. Внешним поясом Запретного города служил широкий канал. Над стенами в некоторых местах виднелись верхушки деревьев, возвышались крыши и купола дворцов.

— Сайн байна!

— Мэндэ, мэндэ! — обрадовался передовщик и пожал руку незнакомому сородичу. — Вы за нами?

— Да, провожу вас до складов Бадмаева.

Верблюды почувствовали конец пути и пошли ходко. Вскоре миновали обшитые железом ворота и оказались на широкой площади, окруженной высокими глинобитными стенами. Началась разгрузка тюков с шерстью и кожей. На шум возле головного верблюда явился главный приказчик Бадмаева господин Степанов.

— Что тут стряслось?

— У передних верблюдов недостает четырех тюков, — объяснил один из русских. Указав карандашом на Аламжи, он добавил: — Вот у этого молодца не хватает... У четырех верблюдов по тюку...

Степанов разразился бранью:

— Собака! Потерял самую дорогую шерсть. Может, ты успел ее продать?

— Я не умею воровать,— сдержанно ответил Аламжи Степанову.

Приказчик выхватил у него из рук бич и, размахнувшись, полоснул его по лицу:

— Собачье отродье!

Аламжи зашатался, но устоял. Из носа хлынула кровь, багровый рубец пересек лицо. Шрам на месте правой брови пополз вверх, глаза сузились, он прикусил губу и смолчал.

Вечером в просторной фанзе, где жили служащие фирмы Бадмаева, сдав груз и получив расчет, уставшие караванщики развлекались кто как мог. Уже отведавшие рисовой водки, они резались в карты с младшими приказчиками и амбарщиками бадмаевской базы. Лишь Аламжи отказался от всего, как только переступил порог, он лег на топчан. Прикрывшись дырявым терликом, он обдумывал свое положение. Денег ему, понятно, не заплатят. Приказчик заставит его в течение года работать в Пекине, чтобы покрыть долг. А через год, возможно, сюда приедет хозяин, он и решит, как быть дальше. Куда же все-таки могли деваться злополучные тюки? Ведь он видел их, когда караван уже вступил в город.

— Что с тобой, передовщик? Голова болит?

Аламжи открыл глаза. Над ним склонился какой-то мужчина.

«Как похож этот человек на Осор-ламу»,— подумал Аламжи.

— Ты не Осор ли? Очень похож...

— Что с тобой? — рассмеялся Осор, ибо это был действительно он.— Не узнал приятеля... В самом деле, ты болен.

Перед Аламжи стоял чистенький человек, одетый в новую китайскую одежду. Он получил у приказчика расчет и сразу же пошел толкаться по шумным лавкам, облюбовал себе штаны и хурму, побрился и вымылся у цирюльника.

Глядя на тоскующего Аламжи, Осор грустно качал головой. Он знал историю Аламжи, как, впрочем, и все в караване. Он успел даже подружиться с этим парнем, таким могучим и таким беспомощным.

Во всем они сходились, пока разговор не заходил о желтой вере. Изблороздив моря и океаны, побывав в дальних странах, испытав застенки Тауэра, познакомившись

с писаниями англиканских архиепископов, Осор пришел к убеждению, что нет ни монгольских, ни английских, ни китайских богов. И второго рождения никогда не наступит, потому что душа умирает вместе с телом. Значит, смирение, воздержание и покорность ничего не дадут, и не обретишь ты нирваны. Есть солнце, есть земля, есть человеческий разум и есть жизнь, которая больше никогда не повторится для одного и того же человека. Надо жить, пока тебя не снесли на съедение грифам, жить так, чтобы тебе улыбалось небо, чтобы женщины тебе дарили поцелуи и сам ты кратким бытием своим, жаром сердца помогал другим людям достойно прожить отпущенные природой годы. Осор выкинул свою священную шапку — ободой.

— Бога нет! — решительно заявил он своему другу. — Не долго довелось мне быть в России, но сколько раз я слышал там и от простых, и от вельмож: «На бога надейся, а сам не плошай». Мудрые слова. А ты жил среди русских и ничему не научился... Не называй меня больше ламой.

Аламжи слушал Осора с тайным ужасом. Он не мог не согласиться с доводами Осора. Но как же так: всю жизнь поклоняться божествам — и вдруг отвернуться. Чему же тогда верить?

— Не могу я... — умоляюще смотрел на него Аламжи. — Не могу. Вот попал я однажды в тюрьму. Кто вызволил меня, к детям, к жене вернул? Святой Туван-хамбо. Кто купил юрту, корову, лошадь семье моей? Самбу-лама за счет Агинского дацана.

— Туван-хамбо, говоришь? А знаешь, сколько мучений я перенес из-за него, сколько крови пролилось по прихоти Тувана? Он отправил нас безоружными на верную гибель. Он знал это. И не позволил взять с собой ни одного ружья, доброго ножа не было даже у нас. А какие крепкие ребята были! Их всех перерезали, как баранов, остался я один...

Оставив Аламжи, Осор ушел.

Аламжи никак не мог ни уснуть, ни впасть в забытие. Ничего не оставалось, как обратиться к нерадостным своим воспоминаниям.

Шобдок-лама погиб ни за что ни про что. Да и он, Аламжи, не думал, что останется живым. После схватки с разбойниками он блуждал, пока не выбился из послед-

них сил, и очнулся в дымной фанзе бедного китайца-огородника... Здесь он отлежался, силы постепенно вернулись к нему, он поднялся на ноги и некоторое время вскапывал огород хозяину, носил воду с дальнего родника. Потом он присоединился к каравану, идущему в Лхасу, но не нашел там Туван-хамбы: тот уже уехал в Петербург. Прощения за потерянные деньги просить было не у кого, за душой ни монеты, и он присоединился к армии нищих. Высокий, еще недавно чувствовавший в себе избыток сил, он ходил с протянутой рукой, как бездомная шабганца.

Проклятые воспоминания, они будоражат душу, не дают забыться ни на минуту.

— Худо тебе, дружище?

Открыв глаза, Аламжи опять увидел возле себя Осора.

— Мои дети теперь уже выросли. Младшего я бы и сам не узнал, ведь ему шестой годик. А Буладу уже одиннадцать лет. Двое их у меня. Батыры!

— Что ты там бормочешь, Аламжи? Четыре года назад у твоей жены было двое детей, а теперь, может быть, пять, а то и шесть. Потому что она женщина...

Аламжи приподнялся на локте.

— Что ты болтаешь? Как у тебя язык поворачивается? Если слышал что-нибудь, то выкладывай.

— Ничего я не слышал, отвяжись.

Осор сплюнул на циновку, лениво отвернулся от Аламжи и отошел к картежникам.

* * *

Аламжи снова остался наедине с собой.

Прибывший с богомольцами в столицу Халха-Монголии, Аламжи с утра до ночи пропадал у торговых рядов. Зазывные крики купцов, продающих мясо, скотину, хлеб, изюм, кумыс, ткани; говор тысяч лам, бормотание целого сонма богомольцев, рев скотины, драки пьяных картежников, скрип немазанных двухколесных арб — такой шум, какого, наверное, не услышишь ни в одной столице мира. Нищий Аламжи вскоре нашел пристанище в юрте одинокой старухи недалеко от торговых рядов. Старуха не помнила, когда в последний раз надевала новую одежду, не умывалась, не обрезала ногтей и не стригла волос. Никто не знал, где она родилась, как ее зовут и как по-

пала она в Богдын-Хурэ. Аламжи раз в день приносил ей в деревянной чашке кипяток, а если удавалось, то и остатки супа с кухонь.

Однажды в холодное утро старуха отдала богу душу, ее тело сволокли за город на съедение бездомным собакам. Аламжи остался один. Как-то он разговорился с общительным монголом — конюхом русского консульства в Монголии. Тот сжалился над ним и взял к себе в помощники. Постепенно Аламжи узнали некоторые сотрудники консульства, стали приглашать его то убрать двор, то заготовить топлива, то привезти воды. Всякую работу он выполнял хорошо, поэтому его стали уважать и платили по-божески. Секретарь консульства господин Долбежев обещал при удобном случае отправить его в Кяхту, а пока предложил ему поработать прислужником в местной тюрьме.

На первый взгляд монгольская тюрьма не в состоянии устрашить даже простого арата, не говоря уже о закоренелых преступниках. Глазу непосвященного виден только высокий забор из кольев, вбитых в землю. Но вот отмыкается ржавый замок, отворяется калитка, вы входите внутрь тюремного двора и видите еще один забор, чуть пониже внешнего. Между заборами расхаживают вооруженные часовые.

Затем еще одна дверь, и вы оказываетесь возле мрачного крестообразного строения. Даже глаза слезятся от невыносимого зловонья. Протерев глаза, вновь прибывший человек увидит нечто вроде деревянных гробов, поставленных друг на друга.

Окнами в мрачном этом помещении служат амбразуры, пробитые под потолком и забранные в решетки. На каждом гробу висит массивный замок, как на сундуке. Заткнув покрепче нос, вы подходите к ящикам и слышите шорохи, стоны, а порой и громкие проклятья. Там, в деревянных гробах, заживо похоронены узники. Даже в ящиках этих, где можно лишь с трудом повернуться с боку на бок, заключенные лежат в цепях. Кормят их два раза в день обедками со стола маньчжурских солдат и выдают еще по чашке солоноватой воды.

Сама по себе служба не обременяла Аламжи: чего проще — подносить чашки с обедками? И все же это было невыносимо. Смрад лишал его аппетита, он еще больше похудел. А душевные муки? Ведь он помогал тем,

кто засадил в эти ящики таких же бедняков, как он сам. Один, доведенный нищетой до отчаяния, украл овцу, другой отказался платить налоги, потому что за душой ни гроша, у третьего с языка сорвалось неосторожное слово. Лежали в гробах и неистовые бунтари и разбойники, грабившие караваны богачей, чтобы разделить добро с бедняками.

Много раз Аламжи слышал, что человек ко всему может привыкнуть. Он не мог привыкнуть. Последний вопль умирающего, проклятия, посылаемые на весь солнечный мир, слова ненависти к маньчжурам, сотни лет сосущим кровь монгольского народа, бред изнуренных людей, зовущих к себе жен, детей...

Один только узник никогда не стонал, не жаловался, не призывал к себе близких. Сначала Аламжи полагал, что человек впал в беспамятство и скоро обретет вечный покой. Однако тот и не думал умирать — ел больше всех, просил даже передавать ему похлебку тех, кто безропотно дожидался смерти, беспрерывно двигал руками и ногами, не давал застаиваться крови. Этот бунтарь даже пел иногда. Одна его песня запомнилась Аламжи:

Жизнь моя бескорыстная, краткая,
Озари эту землю,
Как падучая звезда.
Аргамак мой с железными копытами,
Как стрела
На врагов лети!
О, воспеть бы Алтай, как свою колыбель,
И монгольской степи седину!
О, спасти б от огня
Тех, кто любит меня,
А потом — умереть!¹

При звуках этой песни сердце Аламжи начинало замирать. Чего хотело его сердце, чего просили руки?

Почти каждый день в этом аду умирало несколько человек. Приходил равнодушный чиновник-маньчжур, отмыкал ящик, и солдаты уносили тела в долину смерти на съедение собакам. Места умерших узников никогда не пустовали. Аламжи проработал в тюрьме чуть больше месяца, и за это время в каждом ящике побывало по два-три человека. Лишь в крайнем гробу не умирал непокорный преступник. По-прежнему смеялся он в лицо пала-

¹ Перевод Ю. Кузнецова.

чам и по-прежнему пел. Аламжи даже казалось, что голос бунтаря крепчал день ото дня.

Однажды Аламжи пошел на риск: он принес вместе с остатками супа кусок жареной баранины.

— Держи и помалкивай. Мясо тебе раздобыл.

Гремя цепями, заключенный рвал баранину на куски и, не прожевывая, глотал.

— За какую вину муки терпишь?

— Я — терплю муки? Кто сказал тебе, желторотый птенец, что я мучаюсь? Разве не видишь ты, сын зайца и тарбагана, что я просто устал от человеческого любопытства и решил здесь немного отдохнуть... Слышал ли ты, недостойное дитя блудной своей матери, что-нибудь про Ван Тумэра?

Заключенный посмотрел на перепуганного Аламжи.

— Пожалуйста, говорите потише...

— Я не привык говорить тихо! — прохрипел узник. — Спрашиваю — слышал ли про Ван Тумэра? Ну, теперь услышишь!.. Убери мясо, не нуждаюсь в подачках!

Ван Тумэр вышел из себя: его жалеет какой-то теленок, неспособный отбиться даже от лисицы! За кого он его принимает — за младенца или за бабу? Он выбросил из ящика баранину и плюнул в отверстие.

— Ни слова больше! Стисни челюсти, откуси язык, черная собака! Ты пожалел меня и принес кусок тухлого мяса. В другой раз принесешь лягушку. Разве такой, как я, нуждается в жалости? В свободе он нуждается, вот в чем. Принеси мне в другой раз оружие, перегрызть железо.

Ван Тумэр придвинул лицо к отверстию. Обросшее, похожее на морду льва, оно показалось Аламжи знакомым. «Где я видел эти шрамы?»

На следующий день он протянул ему чашку с супом, а вслед за нею — кругленькую коробочку с изображением бурхана.

— Держи!

— Что это? Ты продолжаешь издеваться надо мной?

— Дурак! — в свою очередь рассердился Аламжи. — Ты открой! Внутри найдешь то, что нужно.

Ван Тумэр схватил коробочку и затих. Там вместо бурхана оказалась пилка, свернутая пружиной.

Аламжи отпрянул, увидев рядом со стражником маньчжурского мандарина и монгольского чиновника.

— О чем вы здесь беседуете? — вежливо осведомился мандарин.

— Принес вот пищу... раздаю по камерам.

— Слышали? Он ни с кем не разговаривал. И мясо Ван Тумэру он вчера не приносил.— Глаза маньчжура постепенно суживались. Аламжи молча разглядывал нарядные гутулы маньчжура и думал о том, что влип.

— Будешь отвечать перед командующим Цзянь Цзюнем. Снимут с тебя шкуру, тогда признаешься! Убейся отсюда, бурятский выродец!

— Бешеные собаки! — закричал в своей клетке узник.— Ван Тумэр плевал на маньчжурских псов! Каждому из вас достанется от меня, дайте только срок!

Маньчжур повернулся к монголу:

— Бандиту я запрещаю выдавать пищу! Неделю держать на одной воде. Посмотрим, каким голосом он тогда будет петь.

— Плюю! — еще громче закричал Ван Тумэр.— В морду плюю твою, в глаза!

Мандарин заспешил к выходу, а монгольский чиновник вместе со стражником поволок Аламжи в комендатуру. Там по приказу начальника гарнизона его исполосовали плетями так старательно, что он чуть не захлебнулся собственной кровью, хлынувшей горлом.

Благодаря могучему здоровью и беспечности пьяных стражников, он все же очнулся ночью и полуживой добрел до русского консульства. Долбежев, увидев избитого, в кровоподтеках Аламжи, ахнул от изумления.

— Вот смотрите, господин русский чиновник, как умеют обрабатывать наши шкуры маньчжурские солдаты,— невесело пошутил Аламжи, принимая из рук секретаря консульства кружку водки.— Били, сильно били, но рука их слаба. Я бы каждого из тех десяти уложил одним ударом. Но не хотел подводить вас.

— И правильно сделал,— поддержал его Долбежев.— У нас очень натянутые отношения с маньчжурами.— Черт бы их побрал вместе с их богдыханом... Иди, отлежись, я что-нибудь придумаю.

И придумал.

Он предложил Аламжи отправиться в Пекин сопровождать караван Петра Бадмаева.

— Если дерзнешь махнуть в Кяхту, все равно тебя выследят. А двинешь в Пекин — кто подумает, что с ка-

раваном самого советника белого царя идет человек, преступивший законы. Получишь деньги, вернешься через Калган в Ургу. К тому времени история эта порастет быльем... Понадобится, то и паспорт дам на другое имя.

Аламжи согласился с доводами русского чиновника, так хорошо владевшего его родным языком. Он стал передовщиком бадмаевского каравана...

Так почти всю ночь провел он в воспоминаниях. Образ отважного Ван Тумэра помог ему хладнокровнее, со стороны, посмотреть на себя. «Удалось ли спастись тому человеку? Помогла ли ему моя пила? Кому же это взбрело в голову построить такую тюрьму?»

ПРИНЦ ДУАНЬ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Между тем автор проекта тюрьмы в Богдын-Хурэ сидел в это время в Запретном городе, в приказе колоний, ведающем делами Монголии. Это было совсем недалеко от фанзы, в которой поворачивался с боку на бок Аламжи. Человека того звали принц Дуань. Ему совсем недавно перевалило за пятьдесят, так что он считался мужчиной в расцвете сил. При случае он любил напомнить, что в его жилах течет маньчжурская кровь без примеси ханьской. Ничего устрашающего в его внешности не было: низкорослый, крутолобый, подбородок прикрыт реденькой растительностью, лицо бескровное, глаза грустные. Только шрам на левом виске придавал его облику мужественность. Осведомленные люди говорили, что шрам этот заработан принцем в подавлении дунганского восстания. Несмотря на низкий рост, он немного сутулился, ходил мелкими и неслышными шагами, как хищник на охоте. Звериная походка соответствовала его славе первого интригана при дворе китайского императора...

Он отличался медлительностью, но легко менял политическую ориентацию и неуклонно добивался своего. «Морская улитка не боится скользких скал, поэтому добирается до вершин». Следуя этому изречению, он многого сумел добиться. С инакомыслящими он не ругался, но подстраивал такие ловушки, из которых дорога вела только на небеса.

В последнее время медлительный, но неутомимый Дуань готовил новую аферу. Наследнику престола Цзюй Тяню исполнилось шестнадцать лет, и императрица Цы

Си вынуждена была уступить трон своему сыну. Дуань собрал маньчжурскую знать и задал им задачу: «Куда движется наша империя? Мы, конечно, не против законного богдыхана, однако опасно верить судьбу Поднебесной империи незрелому юноше. На наш взгляд, достойная мать должна учредить над богдыханом политическое опекунство». Сановники не знали, конечно, кто разделяет этот взгляд, и молчаливо согласились. Однако Цзюй Тянь не согласился. Он считал, что матери пора уже замаливать грехи, а не вмешиваться в его действия. Между юным императором и его престарелой мамашей пробежала черная кошка. Этого как раз и добивался Дуань. Он надеялся, что рано или поздно императрица прикончит сына и тогда Дуаню останется лишь завершить аферу, посадить на престол своего сына.

Соблюдая обычаи маньчжурской династии, императрица считала, что пора изгнать всех европейцев из Китая. Этой же политики придерживался Дуань. «Уважать императора и очищать страну от чужеземцев» — в такой форме он выражал свою идею.

Среди противников этой ориентации был Ли Хун-чжан. Вельможа родился в маленькой деревушке и рано осиротел. Его усыновил известный в свое время писатель Ли, давший ему блестящее образование. Сын такого уважаемого в империи человека без особого труда сумел сдать экзамены на звание государственного чиновника. Ли Хун-чжан участвовал в подавлении Тайпинского восстания и был назначен губернатором провинции. Вскоре преуспевающему чиновнику представился случай отличиться при подавлении восстания в Шанхае и Нанкине, после чего он был произведен в чин вице-короля провинций Квангси и Квангсу.

Время работало на него. Когда в Тяньцзине было убито несколько французских миссионеров и европейские державы хотели ввести в Китай войска, якобы для охраны своих граждан, при дворе вспомнили о Ли Хун-чжане и вызвали его в Пекин. Изворотливый вице-король уладил конфликт. Императрица приблизила его к себе, однако вместе со щедрыми подарками не могла передать ему свои убеждения.

Наперекор Дуаню Ли Хун-чжан принялся доказывать императрице: чтобы покончить с изоляцией Китая, надо закупить современное оружие, создавать по евро-

пейскому образцу флот, строить железоделательные заводы. Дуань в ответ подстегнул министра финансов, и тот оказался выдавать деньги на бредовые затеи. Но нашлись дальновидные люди среди военных, которые поддержали начинания Ли. Таким образом ему удалось приобрести несколько партий новейшего нарезного оружия, приступить к перестройке флота, связать с помощью телеграфа важнейшие гарнизоны.

Однако на политическом небосклоне не всегда светит солнце, событие, происшедшее далеко, может разразиться над твоей головой. Так случилось с Ли Хун-чжаном... В Корее вспыхнуло восстание. Тонхакане, члены левой партии, придали ему направление: «Изгоним японцев с земли Утренней свежести!» Коварные японцы не замедлили выпустить пробный шар: «Удивляемся вашей медлительности,— гласила телеграмма, поступившая в Пекин.— Восстание полыхает у ваших границ. Не возражаем против ввода войск». Номер удался: Ли Хун-чжан отправил в помощь корейскому правительству отряд в составе двух с половиной тысяч человек. Повлиять на ход событий такое войско, понятно, не могло, зато оно дало повод Японии для ввода своих войск. В отличие от Китая страна Восходящего солнца направила в Корею больше двенадцати тысяч хорошо вооруженных солдат. Гнилая веревка, протянутая между Пекином и Токио, стала натягиваться и в любую минуту могла лопнуть. В воздухе запахло порохом.

Чтобы воспрепятствовать глубокому проникновению японцев на материк, Ли Хун-чжан решил пойти на сближение с Россией.

РАБОТА ЗУБАМ И ТРЕПКА НЕРВАМ

Министр иностранных дел Николай Карлович Гирс по поручению его императорского величества Александра III распорядился начать переговоры с китайским правительством. В назначенный день русское посольство в Пекине в составе посланника графа Артура Павловича Касини, его первого секретаря Павлова, драгомана¹ Попова и военного атташе полковника Вогака прибыло в

¹ Драгоман — переводчик.

Красный город. Надо было добиться разрешения богдыхана на строительство железной дороги, которая, пройдя через Маньчжурию, соединила бы кратчайшим путем Забайкалье с русскими портами в Приморье.

У ворот Красного города русских встретил дзун-бани, чиновник в ранге секретаря посольства и несколько мелких служащих. Чинно и молча все двинулись по чистенькой аллее, миновали несколько больших зданий и вошли в скромный домик, напоминающий дацанский дуган. Здесь русских просили подождать. Десять минут прошло, полчаса прошло, час прошел, наконец! Граф Кассини, хрустнув пальцами, наклонился к Павлову:

— Не кажется ли вам, что нас дурачат?

Первый секретарь посольства только пожал плечами.

Прошло едва ли не столько же времени, прежде чем опять вошли чиновники и пригласили графа Кассини с сотрудниками следовать дальше. Некоторое время русские шли вдоль миниатюрного железнодорожного полотна и поезда, построенного для забавы богдыхана, затем вдоль такого же миниатюрного озера, на берегу которого стояли три шатра-паланкина, крытые цветным шелком, и, наконец, подошли к дворцу Цзы Чуань-че, месту церемоний и официальных встреч.

В просторном зале этого дворца русские остановились перед пустым императорским тронном на четырех львиных лапах, с подлокотниками в виде львиных голов и спинкой в виде драконов. Рядом с тронном сидел родственник богдыхана, возглавляющий министерство иностранных дел. Поклонившись пустому тронну и надутому сановнику, русские выстроились по рангам-званиям и двинулись дальше.

В следующий зал, где все уже было готово для приема, Кассини вошел первым и сел на указанное ему место. Сейчас же отворились двери, и вошли слуги с подносами. Поданный суп не вызывал аппетита, русский сановник осторожно, с большими паузами отхлебывал непонятное варево и вскоре отодвинул тарелку. Суп был диковинный для европейца: из плавников акулы, трепангов, пузырей осетра и еще бог знает из чего.

После супа явился вареный горох, очень кислый по запаху и по вкусу, еще через паузу — остуженные гусиные лапки со снятой кожей и, наконец, мясо. Не успели дип-

ломаты вытереть слезы от обилия уксуса, перца и других приправ, как появились тарелочки с маринованным чесноком, пришлось и чесноку уделить внимание.

Все чувствовали себя скверно, исключая полковника Вогака, который встречал каждое блюдо причмокиванием. Но когда на столе появились странные яйца серого цвета, даже гастроном и чревоугодник Вогак повел бровью.

— Это очень полезная пища, — сообщил гостям принц Дуань. — Утиные яйца готовят следующим образом: их варят, потом солят, покрывают известью, после чего на несколько месяцев зарывают в землю. От этого они приобретают неповторимый вкус.

При последних словах принц отправил яйцо себе в рот и зажмурился от удовольствия.

Гости ожидали традиционный чай, после которого граф рассчитывал приступить к деловой части визита. Но вместо чая опять появился суп — на этот раз из... ласточкиных гнезд. Принц Дуань, видя замешательство среди гостей, поспешил с объяснениями.

— Не подумайте, что готовят это блюдо из гнезд обычных ласточек. Нет, это особая птичка, ее гнездо стоит больших денег. В прибрежных провинциях за фунт гнезд платят фунт серебра, а далеко от моря — в четыре раза дороже...

— Простите, ваше высочество. Китайской кухней мы займемся несколько позже, я уже и за то вам благодарен, что вы изволили нам сообщить. Однако хотелось бы послушать ваше мнение о вещах более близких двум империям, интересы которых нам выпала честь представлять.

Переводя сказанное графом, Попов как мог старался сгладить углы, но такая уловка могла обмануть кого угодно, только не принца Дуаня.

— Мы не позволим, чтобы нам в нашем доме предписывали, как себя вести, — не глядя на графа, ответил принц. — Мы представители сына неба, великого богдыхана, и этим все сказано... Что касается интересов России и Поднебесной империи, то я не могу обсуждать их с вашим посланником господином Кассини, ибо он оскорбил нас. Прощайте, господа!..

Радоваться было нечему. Вернувшись в посольство, русские дипломаты чуть было не перессорились, прежде чем разойтись по домам. Кассини, не раздеваясь, повалился на диван и начал обдумывать донесение министру Гирсу. На душе было противно. В желудке было тоже противно. Там без конца урчало и квакало, будто граф проглотил болото со всеми лягушками, какие в нем есть. В дверь осторожно постучали. Еще постучали...

— Можно войти, ваше сиятельство?

Вошел начальник почтовой конторы Гомбоев, а следом за ним — кто-то огромный, в рваной одежде, с кровоподтеками на лице.

— С какой ноги сегодня встали маньчжуры, господин Кассини? — спросил Гомбоев. — Они ведь, шел слух, готовились к этой встрече.

— Готовились! Оно и видно, что готовились. Пока к их векам не поставишь железные подпорки, они не пожелают ничего видеть. — Граф остановился напротив великана и оглядел его. — Что-то я не признаю этого гостя.

— Наш соотечественник, ваше сиятельство. Русский подданный, зовут Аламжи. Он шел во главе каравана господина Бадмаева. На его несчастье, уже здесь, в Пекине, кто-то стащил четыре тюка с шерстью. Виноват караванщик, а охрана осталась в стороне...

— Вот что значит разевать рот!

Почтительно, но настойчиво Гомбоев возразил:

— Попавшего в беду грешно оставлять без помощи...

— При чем здесь я? Что вы от меня хотите, милостивый государь?.. Выражайтесь яснее.

— Думаю, он подошел бы конюхом в наше посольство.

Время для ходатайства о своем сородиче Гомбоев выбрал самое неудачное.

— Конюхом? — переспросил граф. — Ты, голубчик, злоупотребляешь доверием. Оставьте меня в покое. Я занят,

Сородичи сами не заметили, как очутились на улице. Было уже совсем темно.

— Вот уже действительно тебе везет! — пошутил Гомбоев. — Я спросил у посланника, с какой ноги встали маньчжуры, а надо было спросить, с какой ноги спустился с кровати он сам... Пойдем лучше к Попову.

Он зашагал, широко расставляя ноги, как всякий, кто привык к седлу. Аламжи поспешил за ним.

— А шерсть, между прочим, стащили городские воры. Когда грабят европейцев, маньчжурские власти не вмешиваются.

В домик Попова они зашли без стука: так было заведено. Здесь оказались веселые люди. Они громко смеялись, что-то выкрикивали, топали ногами. И все смотрели на посудину из стекла. Аламжи у порога постепенно стал разбирать отдельные слова. «Коли его, коли!» — «Еще, еще раз!» — «В голову норови его, каналью!» Аламжи ничего не мог понять. Должно быть, сегодня все посходили с ума.

Гомбоев присоединился к орущим, топающим и хохочущим. Через минуту он и сам уже вместе с ними вопил: «Ага, так, еще раз, хорошенько!» Вскоре люди стали отходить от посуды, а Аламжи увидел бегущее по полу насекомое. Человек с вьющимися волосами склонился над козявкой:

— Поделом тебе, трусливая тварь!

Каблуки лакированных туфель попеременно опустились на то место, где еще минуту назад метался не то жук, не то таракан.

Аламжи продолжал топтаться на месте и разглядывать людей. Вот хозяин дома взял фарфоровую коробочку, извлек из нее насекомое и опустил в посудину. Гомбоев подошел к Аламжи, взял его за руку и подвел. В стеклянной банке сидели друг против друга два сверчка.

— Посмотри на их борьбу. Спор на два рубля.

Все опять принялись кричать. Поддавшись общему возбуждению, Аламжи сам увлекся и стал орать простуженным голосом: «Так его, так!» Как потом рассказал Гомбоев сородичу, в Китае увлекаются боем сверчков. Эти маленькие насекомые очень воинственны и сражаются до тех пор, пока один не будет убит или, струсив, не улетит. На базарах Пекина продают этих насекомых и цены заламывают бешеные — от рубля серебром на русские деньги до тридцати. Азартные игроки, бывало, проигрывали на этих побоищах состояния.

...Прошло несколько дней, и караван Петра Бадмаева, груженный тюками с шелком и парчой, ящиками с изю-

мом и чаем, отправился в обратный путь через Калган, Ургу и Кяхту.

Степанов, одетый по-дорожному, помахал на прощанье плеткой. Непонятно было, желает он благ или грозитя расправиться в следующий раз. Служащие бадмаевских складов улыбались грозному стражнику и тоже махали — кто шляпой, кто платком, кто бичом. Аламжи показал Степанову кукиш.

Осор устроился хранителем книг в монастыре Юнхэгун. Помощь ему оказал Сая-лама, который больше десяти лет корпел над книгами в храме. Нынче ему предложили сделать перевод стовосьмитомного «Ганжура» с китайского на монгольский для Барагханского дацана близ Баргузина. Он обрадовался, что нашел человека, хорошо знающего китайский, монгольский и тибетский языки. На лучшее место бывший бродячий лама и не рассчитывал.

Проводив караван и распрощавшись с Осором, Аламжи и Гомбоев отправились к русскому посольству.

В конце улочки Гомбоев повернул к аккуратному домику, возле которого был разбит садик и вырыт небольшой пруд. Войдя в этот домик, Гомбоев открыл дверь одной из пяти комнат.

— Жить будешь здесь. Если бы ты знал, с каким трудом нам с Поповым удалось уломать упрямого графа!.. Но дело уже не в том... Кроме казенных лошадей, на твоём попечении будет мой конь и конь Попова. Посольство платит хорошее жалованье — двадцать пять рублей в месяц. От Попова будешь получать по пятерке в месяц. Итого — тридцать целковых. Думаю, с меня денег не потребуешь: комната чего-то стоит...

— Спасибо. Никогда не забуду...— принялся благодарить Аламжи.

— Ну и отлично,— дружески похлопал его по плечу Гомбоев.

Кровать, прикрытая солдатским одеялом, столик возле стола, два стула, на полу коврик из дерюги. Чего еще нужно! В такой комнате можно жить целой семьей. Хватало же места на четверых в шалаше, когда он заготавливал лес. Вот поселиться бы тут всем..

— Наверное, тебе понадобится немного денег вперед. Так я похлопочу. На харчи, на сверчков... Сначала надо просто пари держать, а потом уж и своих козювок заводить. Если повезет — станешь богачом.

Когда Гомбоев ушел, Аламжи лег на кровать.

«...Триста шестьдесят рублей в год, — начал он складывать. — За десять лет — три тысячи шестьсот рублей, за двадцать лет — семь тысяч двести. Если не очень много есть, не менять одежды, то через двадцать лет можно будет заплатить долг Агинскому дацану... Двадцать лет! Подожди, а бой сверчков? Может, в самом деле попробовать!»

Отвернувшись к стене, Аламжи стал думать об Осоре. Вон его куда увезли, за океаны, посадили за железную решетку, а он вернулся оттуда веселый, сразу же нашел себе выгодную работу и будет жить припеваючи. Всемогуший Арья-Бала! Вразуми заблудшего человека, подскажи, наставь на путь...

Он закрыл глаза. Шалаш в лесу, примерзшая коса, огромный котел для дацана — все-все стало проплывать. Стон захлебывающейся в колодце Жалмы, ее крик в ночи, плеск речки Зун-Мурэн... Рычи, как лев за решеткой, стони, будто на грудь тебе положили семипудовый камень, вздыхай, как шабганца, выпускающая дух, плачь кровавыми слезами — не придет к тебе ни милая Жалма твоя, ни Булад, мечтающий о скакуне, ни маленький Балбар. Как они там, дорогие, у высоких круч Алханы, пахнувшей сосновой смолой и багульником, у речки Аги, похожей на косы красавицы? Скучают, а сами сном-духом не ведают, какие муки пришлось перенести ему.

«Кто же мой враг? — стал думать Аламжи. — Намдак-баян? Просто скупой богач, а богатство заработал ловкостью. Мне тоже никто не мешает стать богачом, только я не знаю, как это сделать. Может быть, Самбу-лама? Тоже нет, он мне так много помогал!.. И ламой я тоже мог бы стать, не родись в бедной семье. Неграмотных лам не бывает. Может, нойоны и русские чиновники мои враги? Но кто же мешал мне познать науки, поступить на царскую службу и вознестись даже выше того Бадмаева? Да и Осор только благодаря грамоте стал служителем монастыря. А ведь и он недавно бродил, как и я, без куска хлеба...»

Долго ломал он голову, но так и не нашел того, кого можно было бы назвать врагом. Решив, что во всех бедах виноват сам, Аламжи уснул.

...Он стоял в позе графа Кассини: повернувшись спиной к двери, заложив руки за спину. Перед ним голубым ковром с причудливыми облаками расстился пруд, из воды выпрыгивали золотые рыбки. Кто-то без стука вошел. Аламжи повернулся и увидел Жалму в шелковом терлике, в красивом платке, чуть прикрывающем волосы, расчесанные на прямой пробор. Держа за руки сыновей, Жалма на цыпочках шла навстречу Аламжи и улыбалась.

— Жалмахэн, родная моя, откуда ты? Как выросли вы, милые мои мальчишки. Довольно, Жалмахэн, не плачь. Хватит плакать. Теперь мы вместе, никто нас не разлучит.

Жалма привлекла к себе сыновей и показала на Аламжи:

— Смотрите, как измучился ваш отец! Откуда у тебя столько шрамов?

Булад и Балбар смотрели исподлобья, словно осуждали отца за то, что он бросил их у подножия Алханы без пищи, без всякой помощи. Он усадил их на кровать — Жалму посередине, и стал на них глядеть.

— И почему не говорите, как меня нашли?

— Сила божья охраняла нас и сюда привела...

— Да, да, — согласился с нею Аламжи. — Я всегда верил в силу богов.

Он снял с цепочки медальон с изображением бурхана, поцеловал его несколько раз, приложил ко лбу и хотел благословить жену и детей. Оба сына спрятались за мать.

— Не надо! Это разве бог?

— А скажи мне, Булад, откуда произошел твой род? Из щели земной? Но ведь из земли только черви рождаются, и то по велению богов.

Он шагнул к сыновьям, намереваясь все же осенить их священным медальоном, но откуда-то появился Осор и вцепился ему в рукав. Аламжи схватил Осора за воротник и рывком притянул к себе...

— Твоя сила тут не поможет, — заговорил Осор, — Бурхан из глины, смешанной с навозом! Ха-ха-ха!..

Аламжи оттолкнул Осора, тот ударился о стенку головой.

— Сволочь! — кричал он на Осора. — Как смеешь богохульничать в моем доме? Пока живой, не позволю, чтобы шолмосы поносили святых. Вон отсюда!

— Что ты наделал? — кинулась к Аламжи жена. — Ты убил человека.

Осор неподвижно лежал на полу. Руки его были разбросаны в стороны.

Аламжи проснулся, протер глаза: ни Жалмы с детьми, ни Осора. Тишина. Тысячью степных костров пылала за окном заря.

Обхватив голову руками, Аламжи стал ходить по комнате. «Что за сон приснился мне... Страшный сон! Должно быть, предвещает что-то плохое. Может, они попали в беду? Может, умирают с голоду? Помогите мне, всемогущие!»

Он упал на колени и протянул руки вперед.

**ГДЕ НАЙДЕШЬ,
ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ...**

Тревожная весть дошла до сотрудников русского посольства: неожиданно-негаданно заболел Александр III и выехал в Ялту. Что станет с Россией, ежели, упаси бог, его императорское величество преставится и трон займет Николай?

Беспокоились и английские дипломаты: в марте пало правительство Гладстона, к власти пришел лорд Росбери. Изменится ли внешняя политика Великобритании, и если изменится, то в каком направлении?

Во дворце богдыхана тоже разгорались страсти. Все чины двора, не исключая слуг и прислужниц, разделились на два лагеря — сторонников молодого Цзюй Тяня и приверженцев престарелой императрицы Цы Си. Они вили друг на друга арканы, не подозревая, что конец самой длинной веревки находился за пазухой у принца Дуаня. Ему уже удалось выставить в невыгодном свете деятельность Ли Хун-чжана, разыграть комедию на приеме русской дипломатической миссии, сравить между собой самых могущественных людей империи.

Между тем отношения Китая с Японией все более обострялись, достаточно было искры, чтобы разразился

пожар. Предусмотрительный и энергичный Ли Хун-чжан, заручившись поддержкой императора, дал указание всем китайским дипломатам за пределами страны просить у европейских держав помощи против Японии. Об этом тоже стало известно приближенным микадо. И он отдал приказ: не терять времени в разговорах, пора заговорить пушкам.

В Корею спешно стали отправляться караваны судов с самураями, пушками, лошадьми, амуницией. Уже ничто не могло отвлечь грозы. Ли Хун-чжан забегал по иностранным посольствам, умоляя вмешаться в назревающий конфликт. Он хорошо знал, что ни Англии, ни Франции, ни Америке, ни тем более России не понравится белое полотнище с изображением солнца, если оно будет развеваться над Запретным городом. Но время шло, а ни одна держава пока не спешила ввязываться в японо-китайские отношения. В его теперешнем положении оставалось только бегать в посольства европейских держав. Обращаясь к британскому посланнику О'Коннору, он настоятельно просил его, чтобы командующий флотом Великобритании поскорее совершил визит в Иокогаму.

Война неизбежно помешает нормальной торговле на Востоке, от этого не могут не пострадать интересы английских компаний. Играя на англо-русских противоречиях, он давал понять, что Россия настойчиво интересуется Кореей. Пока туда не проник еще петербургский медведь, следовало бы поторопиться британскому льву. О'Коннор пообещал снестись с Лондоном.

С подобной же просьбой Ли Хун-чжан обратился к французскому посланнику. Там тоже успокоили его: как только Англия начнет давить на Японию, мы вместе с Россией окажем вам вооруженную поддержку. Американцы ответили осторожнее: посланнику в Японии даны инструкции, надеемся, что он сможет оказать соответствующее влияние... В немецком посольстве развели руками: до сих пор из Берлина не поступило никаких указаний... А ведь Ли Хун-чжан сам составил телеграмму кайзеру: «Германия заинтересована в торговле на Востоке, поэтому надеемся, что вы убедите Японию вывести войска из Кореи». Кассини, хотя и был оскорблен приемом, оказанным ему в Красном городе, все же начал вести тайные переговоры с Ли Хун-чжаном. Но, согласив-

шись было на военную помощь Китаю, Россия после битвы при Асане заколебалась.

А между тем события в Корее принимали все худший оборот. Штыки японцев нацелились на Сеул. От китайских генералов Юань Ши-ная и Е. Чжи-чао ежедневно поступали телеграммы с просьбой прислать подкрепления. Ли Хун-чжан швырял эти телеграммы в корзину и рвал на себе волосы: резервов не было.

Вскоре японцы штурмом взяли дворец престарелого короля Кореи и вынудили его подписать обращение к микадо. В обращении содержалась просьба помочь ему, немощному старцу, изгнать китайцев из-под Асана. Это было равносильно объявлению войны.

* * *

Война всколыхнула Китай. Так или иначе она задевала интересы всего населения, от обитателей императорского дворца до самой бедной хижины. Богдыхан боялся, как бы не рухнул его трон, сановники дрожали за тепленькие места, простые женщины, отправляя мужей на фронт, уже не чаяли увидеть их живыми, невесты оплакивали женихов, дети — отцов и братьев. Старцы прощались со своими посохами и, кряхтя, брались за плуги, за мотыги, за грабли. Даже иностранцы не могли оставаться безучастными к разгорающейся битве двух народов. Они постоянно совещались, рассылали во все концы телеграммы и дипломатические депеши, делали запросы, переводили деньги в более надежные банки. Уличным газетчикам уже не приходилось надрывать глотку, к ним с раннего утра выстраивались очереди.

Но безучастным ко всему оставался Аламжи. С тех пор как привиделся тот страшный сон, его днем и ночью преследовала навязчивая мысль: «Что бы украсть? Маленькое, но дорогое... Иначе не увидишь ни родных степей, ни жены, ни детей».

В большом городе, как Пекин, такие мысли приходили в голову многим. Но ведь он в жизни своей не украл ни клочка шерсти с хозяйских овец, не утаивал приплод, когда случались двойни, даже годную подковку, подбранную в степи, старался возвратить владельцу коня. Воровство он считал самым великим грехом. Что же случилось с ним, если он решился на преступление?

В жизни он видел столько несправедливостей, столько зла, испытал столько мучений, что их с избытком хватило бы на целый улус. Людей, сеявших зло, чаще всего обходили и божьи и человеческие законы. Может, пронесет? Может, боги останутся глухи и к его преступлению? Ведь иначе он не сможет вернуться к семье, отдать утерянные деньги дацану. Великая клятва, данная перед лицом богов, тяготеет над ним... Но если неизбежно возмездие, то пусть оно падет на его голову. Итак, решено: украсть и вернуться в родные степи, где воздух, настоящий на полыни и ая-ганге¹, крепче рисовой водки, где ждут его жена и сыновья.

Аламжи нередко заходил то на один базар, то на другой, присматривался, куда купцы прячут деньги, где хранят драгоценности. Но ему не суждено было ни украсть дорогую вещь, ни выиграть какой-нибудь приз. Вскоре он оказался и без работы, и без крова над головой. Однажды вечером, прогуливая Гнедка по парку, он попал под грозу. Стало совсем темно. Заторопившись домой, он пустил коня крупной рысью, тот сбился с дорожки и угодил ногой в яму. Нога была сломана, конь оказался непригодным. Требовалось долгое лечение.

Попов переживал потерю коня, как любящий муж переживает смерть жены.

— Прочь с глаз моих, негодяй! — бросил он в лицо потрясенному Аламжи.

Гомбоев не выгнал его с квартиры, но, встретившись в доме, старался пройти в кабинет и закрыться там. Он хотел, чтобы Аламжи ушел сам.

Собрав свои пожитки, Аламжи хотел незаметно покинуть уютный дом, но неожиданно столкнулся с хозяином.

— Спасибо вам за приют.

Гомбоев смутился, но не стал удерживать земляка.

— Не подумай, что я выгоняю тебя... Попов хотел взыскать деньги за коня, но я отговорил его. Помещение у меня просторное, но ты понимаешь, что оно не мое... И Кассини узнал обо всем...

Куда пойти, где искать пристанища? Осор человек добрый, хотя и безбожник, но он сам живет у Сая-ламы в фанзе. Аламжи устраивался на ночлег то под забором,

¹ А я-г а н г а — благовонная трава.

то в разрушенном доме, то в какой-нибудь яме, устланной сухой травой. А днем слонялся по базарам, выпрашивая кусок лепешки, подбирая отбросы.

Теряющий силы и мужество от постоянного голода, Аламжи все чаще стал навещать Осора. Тот смотрел на большого и беспомощного человека, тяжело вздыхал, говорил слова сочувствия и стыдливо совал ему то монету, то бобовую лепешку. Однажды, поразмыслив дольше обычного, Осор направился в комнатку Сая-ламы. Можно ли устроить куда-нибудь на работу его друга? Можно, конечно, можно. Такие, как его друг, непременно получают работу в прокатной конторе для рикш. Греха в этом нет, ибо сказано, что вся наша жизнь — страдания. Осор повел Аламжи в жэньхэган — место, где мужчины, продав свою силу, становятся рикшами, то есть двуногими лошадьми.

Жэньхэган состоял из трех строений, среднее было наиболее внушительным.

Между средним и правым строениями ощерились ворота, когда-то покрытые зеленой краской. Над ними четкими иероглифами значилось: «Прокатная контора для рикш жэньхэ». За воротами — двор, в котором могли бы разместиться с десятков богатых юрт. Там стояли коляски, покрытые черным или коричневым лаком с белыми сиденьями.

Проводив глазами Осора, скрывшегося в хозяйских покоях, Аламжи стоял в воротах и гадал: «Возьмет ли меня хозяин?» Вскоре друг вышел, поманил его к себе, и они вместе зашли к хозяину. Их встретил сутулый человечек с узенькими глазками и крупным носом, его губы кривились в улыбке, глаза ощупывали фигуру нового рикши. Это был хозяин Ти Ду.

...Итак, бурят Аламжи стал двуногим рысакom в городе великого богдыхана. Нелегкой оказалась эта работа даже для силача Аламжи. Только побежал от Красного города до храма Неба, не успел дух перевести, как в тележку ввалился пудов на шесть человек:

— Быстрее, банк закроется!

У банка, где Аламжи вывалил этот мешок, он и оглянуться не успел, как в коляску вскочил тощий офицерик и приказал как можно скорей доставить его к «белым домам», в обителище проституток. Потом заплаканная старушка попросила свезти ее до кладбища Дунчжимынь,

на могилу сына. Затем остановил студент, по всему виду, из богатых. Он бормотал под нос стихи какого-то древнего поэта и отрывался от этого занятия только для того, чтобы прикрикнуть:

— Спишь на ходу...

Белая рубашка, полученная от хозяина, дорожащего репутацией фирмы, прилипла к телу. Отвязавшись от студента, Аламжи попал в распоряжение господина, который держал в руках божество. Подобного рода изображения помещают в домах, где есть тяжелобольной.

— Живее! Фью!

По мощеным улицам и по песку, в жару и в дождь бегал Аламжи. Другой раз повиснет зной, что даже собаки заползают в тень и лежат там с высунутыми языками, не в состоянии ни шевелиться, ни таять. Но Аламжи все бегал. Ему нужны были деньги. Вот колодец, подбежал к нему, потеснил задумчивых осликов и припал к корыту с водой. Хорошо, есть вода, которую можно пить сколько угодно.

— Эй, оставь хоть немного ослам,— пошутил седок.

Аламжи было не до шуток. Он метался по улицам от розоватого утреннего солнца до густых сумерек, но зарабатывал только на скудное пропитание.

По ночам его неотступно преследовала мысль о далекой родине, о бирюзовом небе над широкими степями, о семье. Вспоминалась дикая, прекрасная сарана, расцветающая пурпурными цветами в середине лета. Ее палит солнце, бьют дожди, тербит ветер, а она живет. Но время уносит нежные лепестки, иссушает тоненький стебелек, чтобы потом сломать его. Вот и Жалма, наверное, как та сарана... Откуда ждать ей помощи, на чью руку она может опереться, если судьба забросила мужа за тридевять земель? Булада и Балбара та же судьба швырнет в неведомую даль. А может, все это уже свершилось? Ведь тот страшный сон, конечно же, предсказывал беду.

Иногда Аламжи до рассвета ворочался с бока на бок, не мог заснуть... Порой ему мерещился усыпанный плодами сад. То был сад жизни. В том саду посадил он деревце — нежное, как Балбар и Булад, расцветающее по весне, как Жалма. У деревца набухают почки, чтобы дать жизнь плодам. У Жалмы набухают груди, чтобы дать жизнь его детям. Но почему он посадил заветное деревце в чужом саду? И кто будет собирать с него плоды?

Судьбу свою он посеял в степи, но тень мрачного времени накрыла посев. Были когда-то и песни в кругу друзей, но и они развеяны черным временем лихолетья. Не языком, а руками говорил он с землей с самых младенческих лет.

Яркое солнце делало из Аламжи двуногую скотину, и только ночь возвращала ему человеческий облик. Он и ждал и боялся ночи. Редкий из людей на своем веку не испытывал радостей и бед. У него же в груди не осталось теперь ничего, кроме желчи и горечи. Оттого страшили его ночи.

Когда-то настоятель дацана сказал, что счастье его похитил шолмос. Но куда же девались боги? Аламжи и раньше не любил много разговаривать, а сейчас и вовсе замкнулся, отгородился молчанием от всего света, заказал кузнецу длинный нож и теперь носил его на груди под белой рубахой. За несколько чохов купил он добротный брезентовый мешок и спрятал его под сиденье тележки. После этого он немного приободрился. В его безучастных раньше глазах появился блеск. Десятки раз в день его правая беспалая рука поглаживала украдкой костяную рукоять ножа. Теперь на бегу Аламжи часто оборачивался и смотрел на пассажира. Когда богатый господин расплачивался с ним, он набирался наглости и заглядывал в его кошелек... Никто не видел у него ножа, никто не догадывался, что на улицах Пекина появился опасный рикша.

Пассажиры разнятся не только весом, но и разговорами. Женщины сетуют, что продукты в лавках дорожают. Сельские мандарины жалуются на плохой урожай и на худые времена. Прибрежные жители недовольны чиновниками. И все ругают войну.

С некоторых пор Аламжи стал требовать половину платы вперед. Если кто возмущался, он объяснял:

— Война! Даже хорошо одетые господа оказываются обманщиками. Что я скажу хозяину, если вы не заплатите?

Он, конечно, не боялся обмана, ему попросту надо было узнать, много ли денег в кошельке у седока. В прокатной конторе он выбирал теперь самую лучшую коляску. Его быстрый бег и красная тележка стали привлекать порядочных пассажиров. «Ага, клюнуло! Подождите, не то еще будет...» Он взял у Ти Ду денег взаймы,

купил себе новую одежду и обувь. Теперь не стало отбою и от богатых седоков. Некоторые решались даже переплатить, чтобы попасть в коляску этого великана.

Пищей Аламжи по-прежнему была рисовая похлебка или соевая лепешка с водой. Даже в лесу он вволю ел мясо диких коз... Но надо потерпеть, ведь у него есть продуманный план.

Голодные глаза Аламжи зорко следили за содержимым кошельков. Должна ведь наступить когда-то счастливая минута, которой суждено изменить его жизнь. Во имя этой минуты он недоедал, залезал в долги, даже взял у знаменитой фирмы «Дугэнжан» тележку новейшего образца. Легкая, на резиновом ходу, с золотыми драконами по бокам, — разве при ее виде не дрогнет сердце у самого распоследнего скряги? Не только у Ти Ду, во всем Пекине не сыщешь такой коляски.

Странно, с тех пор как Аламжи завладел такой замечательной тележкой, он стал лучше спать и по утрам вскакивал со своего жесткого ложа бодрый и подтянутый, как перед решающей борьбой. Бег его стал ровным и еще более быстрым, у важных господ в ушах свистел ветерок.

Однажды ранним утром Аламжи выкатил свою коляску со двора и двинулся по улице Сисыпайлоу. Едва он подкатил к воротам Сюуаньумынь, как к нему бросилось несколько богачей:

— Я первый, давно жду...

— Это неправда, первый я...

Пока господа спорили между собой, на тележку взобралась подозрительного вида бабенка. Щелки глаз, пухлые щеки, брезгливо сдвинутые губы... Не говоря ни слова, она принялась сигналить — давай, дескать, скорее вези.

— Куда прикажешь?

Вместо ответа бабенка извлекла из складок платья коробочку сигарет и закурила.

— Будешь курить? Бери!

Аламжи оглядел необычную пассажирку, и смутное подозрение закралось к нему в душу.

— Слезай, или деньги вперед!

Бабенка вытянула из-под полы холщовую сумку, запустила в нее руку. Остроглазый рикша увидел у нее на ладони с десяток монет. Они засверкали, как может свер-

кать только золото, и посыпались в сумку, издавая звон. Аламжи так рванул, что бабенка едва удержалась в коляске.

На повороте Аламжи еще раз посмотрел на пассажирку. «Не меньше десяти тысяч золотом везет с собой», — подумал он, и его рука потянулась к ножу. Аламжи было и радостно и тревожно. «Нашел. Наконец-то нашел то, чего так долго искал...» Завернув за угол, он хотел было уже вытащить нож, но навстречу ему попались два рослых китайца. Аламжи выругался про себя и побежал быстрее.

— Налево!

Подчиняясь, Аламжи свернул в узенькую улочку, никогда не видавшую солнца. «Такой тихий переулок... Схватчу за глотку, проткну ножом и — в мешок».

Улица кончилась, Аламжи замедлил бег, свернул в темный закоулок и остановился. Позади что-то зарокотало. Оказывается, смеялась довольная пассажирка. Округлив глаза, раздувая ноздри, Аламжи быстро огляделся и как рысь бросился на бабенку. Левой рукой он зажал ей рот, правой потянулся к ножу. Но... прошло мгновение, недостаточное даже для того, чтобы испуганная блоха успела завершить свой прыжок, как нож описал дугу и вонзился в стенку. Он еще дрожал под тяжестью рукоятки, когда Аламжи застонал от страшной боли в правой руке. Она повисла у него вдоль тела, будто на перерезанных сухожилиях. С левой кисти капала кровь: должно быть, баба вонзила в нее зубы. Аламжи быстро опомнился и подскочил к ножу. «Левой прикончу!» — только успел подумать он, как перед ним возникли двое мужчин в халатах. Не обращая внимания на рикшу, они улыбались и кланялись проклятой бабе. Аламжи тяжело переводил дыхание.

— Довольно баловаться! — сказала пассажирка густым голосом. — Никому об этом не сболтни. А теперь проваливай!

Что же произошло, боги милосердные! Вместо бабы на тележке сидел мужчина с крупной бритой головой. Одна щека-пампушка исчезла с его лица. Он взял с сиденья рыжий парик и оторвал вторую пампушку.

— Я буду следить за тобой. Ну, пошел прочь!..

Не понимая, во сне ли все это происходит или наяву, Аламжи медленно приблизился к тележке, впрягся в нее

и неровной походкой двинулся вдоль улицы. Потом он оглянулся на недавнего пассажира и бросился за угол, к центру города, туда, где есть люди, где светит солнце.

— По всему видать, рикша не здешний...

— Хватит об этом,— оборвал его только что прибывший.— Все ли готово?

— Да, готово, мой господин.

— Только вас ожидали,— добавил второй.— Пароход стоит на рейде...

Они открыли потайную дверь в стене, ту самую, в которую вонзился нож рикши. Тот, кто шел последним, с усилием вытащил его, полюбовался искусно вырезанной рукоятью и захлопнул дверь.

Аламжи бесцельно шел по улицам, изредка отвечая надоедливym чиновникам и мандаринам: коляска неисправна, посадить такого уважаемого господина он не может. Солнце все припекало. До боли в глазах блестели выложенные известняком мостовые. Жестяные и стеклянные вывески на магазинах накалились так, что на них, наверное, можно было бы жарить пирожки. Куры, собаки, обезьяны, обычно разгуливающие по аллеям императорского парка, сейчас забились в тень. Люди плелись по улицам, прикрывая головы зонтиками и широкими шляпами. Мастеровые, ремесленники спешат на работу, они не могут распоряжаться ни своим временем, ни своими руками. Но куда торопится вон тот китаец, одетый в европейскую одежду? Это служащий банка или богатой конторы. Его тоже толкают в спину дела. Вон тот мандарин, паланкин которого несут четыре здоровых парня, мог бы спокойно вздремнуть на ковре, расстеленном возле спасительного пруда, или охладить свое тело в ванне. Но и он куда-то спешит, покрикивая на носильщиков. И над ним есть хозяин, и на него кто-то покрикивает. Военный в высоком чине, только что отчитавший младшего по званию за не очень почтительное приветствие, через пять шагов может быть избит другим военным за такой же поступок.

Где же тот, который никому не подчиняется, кто мог бы назвать себя свободным? Богдыхан? Но и он, говорят, шагу не может ступить без повеления матушки, а сама императрица окружена таким кольцом, что не в состоянии распорядиться ни одной своей минутой. Кто же

свободен в этом городе, а кто раб? Неужели все подневольные?

У стен Красного города, на мраморном мосту, стоит седобородый старик. Он общителен, ценит острое слово, его уважает вся обездоленная часть Пекина. Без тени улыбки он именует себя Свободой, ибо никто не в праве повелевать им, равно как и сам он никем не повелевается. Всякий неимущий, кому случайно перепала лишняя монета и без которой он может прожить остаток дня, готов поделиться с ним.

— Есть ли у тебя дети, Свобода? — поинтересуется другой раз любознательный собеседник.

— А как же, есть и сыновья у меня, и внуки. Самый старший сын отдал жизнь за богдыхана. Хотел стать амбанем, а стал пищей для червей. Два других возомнили себя вельможами и перестали работать. Один другого рабом хотел сделать. Дошло до того, что младший у старшего дом разрушил. Власти заставили его починить тот дом. Не знаю, поумнели они с тех пор или нет. Ушел я от них.

— Значит, три сына?..

Старик улыбался, дергал себя за белую бороду.

— Думаю, что еще будут, — многозначительно отвечал он. — Как же Свободе без детей жить? Обязательно народятся.

Чувствуя, что силы покидают его, Аламжи остановился неподалеку от нищего и присел в тени тележки. Морщась от боли, он положил больную руку себе на колени. Надо было перевязать укушенный палец, но не нашлось тряпицы.

— Что с тобой, сынок?

— Руку вот покалечил... Ладно, заживет.

Свобода порылся в своей торбе, извлек из нее белую тряпицу и подвинулся.

— С японцами схватился? — спросил он, перевязывая палец рикше. — Они на такие дела мастера!

Аламжи не ответил. Вытирая здоровой рукой лицо, он почувствовал, как боль начинает утихать и по телу разливается благодатный покой.

Тихо в Пекине. Ни говора, ни перебранки баб, ни скрипа колес, ни топота копыт. Только из кузницы, расположенной неподалеку, время от времени доносятся удары молотов. Даже в самую адскую жару мастеровые

не прекращали ковать пики и сабли для китайского войска... Рикши и те лишь изредка попадались на улицах, с трудом волоча за собой коляски. Освободившись от седоков, они сворачивали к колодцам.

— Пекин! Всегда он такой?

— Всегда! — ответил старик. — В морозы беднякам здесь жарко, а богатым тепло. А что ты хотел, сынок? Остудить свое тело в мраморном бассейне с розовой водицей? Это не для нас с тобой... Пекин вобрал в себя все болезни европейских городов да еще своих добавил. Его дыхание — стон обездоленных. Его тело — кожа да кости праведников, которые в тюрьмах, а ум — молоденький месяц, отражающий свет Европы. Наш туман — опиум. Пекин — вспаханное поле, где всходят сорные травы всех религий и лжеучений.

Прежде чем двинуться дальше, Аламжи спросил:

— Вы, дедушка, разве еще не заработали еды на сегодняшний день? Такая жара...

Нищий погладил бороду.

— Дело, дорогой мой сынок, в другом... Послушает меня добрый человек, глядишь, в нем начнут прорастать светлые мысли. А прорастут и окрепнут — детям передадутся... Взвалил я на себя ношу, дал обет, что буду раскрывать людям глаза на правду. Не отступлюсь...

Аламжи снова присел. Ему показалось, что такие слова он уже слышал. Но где? Может быть, тот русский капитан, которого он спас когда-то в степи, говорил то же самое? Да, он тоже бранил богатых, обещал, что скоро все будут равны...

— До свидания, дедушка, — поклонился старику Аламжи. — Спасибо вам. — Он вытащил из кармана несколько чохов, положил перед Свободой и зашагал к монастырю Юнхэ-гун.

Он хотел побыстрее увидеть Осора, рассказать ему о тех мыслях, которые родились у него после встречи со стариком. Но его остановил толстый чиновник в одежде с позолоченными пуговицами и велел побыстрее везти. Но куда торопится эта туша, почему он так кричит? Аламжи замедлил бег, отодрал на ходу прилипшую к телу рубашку, но это не помогло. Во рту у него пересохло, голова все ниже склонялась. Избавившись от седока и добравшись наконец до парка, где стоял монастырь, Аламжи повалился на траву. Какая тут густая тень, как

прохладен воздух, какие запахи источают цветочные клумбы! Обитатели монастыря, видать, люди добрые, они и сами отдыхают здесь в минуты досуга и другим позволяют. Недаром в полуденную жару сюда стекаются многие рикши, чтобы перевести дух, собраться с новыми силами перед вечерней беготней. В парке собралось не менее тысячи его собратьев. Аламжи, перевернувшись на спину, смотрел на верхушки деревьев. Листья, недавно бестрепетные, неожиданно зашевелились, зашептались, а потом заговорили тревожно. Потянуло прохладой и сыростью — приближалась гроза. Обессиленные рикши встrepенулись, некоторые вскочили на ноги и с надеждой глядели на небо.

— Дождь! Скоро пойдет дождь!

Вскоре солнце померкло. Сверкающий мир в одну минуту стал однотонным, серым.

Ветер усиливался. Кроны деревьев гудели. Тучи плыли над Пекином как стада буйволов. Плетти-молнии полоснули по небу сразу в нескольких местах, разразился грохот и треск.

Чтобы не намочило обшивки сидений, рикши переворачивали тележки вверх колесами. На худой конец, под коробом и самому можно спрятаться.

По иссохшей земле ударили первые капли. Снова полоснул семиглавый дракон-молния и грянул гром. Рикши враз примолкли. Торговцы торопливо закрывали свои палатки, разносчики снеси, толкая перед собой коляски, спешили укрыться под навесом или деревом, некоторые, погрузив товары на осликов, погнали их под мост. Небо грохотало, грозя вот-вот обрушиться. Заткнув уши, вздрагивая при каждом ударе грома, рикши сидели, прижавшись к деревьям. По примеру других перевернув свою коляску, Аламжи сидел безучастный ко всему. Встреча с бабой, которая обернулась мужчиной, владеющим секретами японской борьбы, крушение надежд на обогащение, наконец разговор с нищим стариком — все это заставило его крепко подумать и о своей судьбе, и о судьбе тех, кто ждет его на далекой родине.

Аламжи, привыкший к суровому климату Забайкалья, не знал, какие беды может вызвать гроза. Сколько людей, находящихся в эти минуты на полях, могут простудиться и распрощаться с жизнью, сколько земли скроется под водой вместе с овощами и фруктами, сколько строений

сожгут бичи-молнии! Прибавится нищих и преступников, и многим девушкам придется продавать себя. Об этом думали сидящие в парке рикши. Одни из них возделывали огородики в окрестностях Пекина, другие имели родственников в деревнях. Что станет с теми, кого гроза застанет в пути, кто потеряет весь урожай, кто лишится крова?

После раскатов грома рикши слышали голоса из монастыря. В парк выскочило несколько перепуганных монахов, за ними — священник с воздетыми к небу руками. Народ сыпался из помещения, будто картошка из дырявого мешка. За шумом грозы нельзя было разобрать, о чем кричали люди. Аламжи видел только их открытые рты да воздетые руки. Вместе с другими рикшами он бросился к воротам.

— Пожар! Боги послали нам испытание... Помогите тушить! Торопитесь!

Рикши хватали все, что попадалось под руку, выносили в парк и сваливали в кучу. Узорные подставки, божницы, бурханы, куски тканей в короткое время образовали свалку. Священники бегали вокруг и всякий раз, видя божество, небрежно брошенное на землю, поднимали неистовый вой и спешили исправить оплошность.

Огня вначале не было видно, только клубы черного дыма вились у верхних ступенчатых этажей. Но вот показалось и пламя. Священники заголосили, рикши еще проворней забегали. Бегал и Аламжи. Он вынес бурхана из бронзы, опустил осторожно на землю и с трудом перевел дух. «Наверное, не меньше семи пудов,— вскользя подумал он.— Значит, есть еще силенка...» Не успел он насладиться подвигом во искупление содеянных грехов, как почувствовал сильный удар чуть ниже поясницы. Схватившись за ушибленное место, он обернулся и увидел перед собой Осора.

— Дурак ты, вот кто! — кричал тот. — Стоишь, как тот истукан, которого выволок из огня... — Осор приподнялся на цыпочки, дотянулся до уха Аламжи: — Я нашел вещь, которая обогатит нас на всю жизнь. К чертям службу! Где твоя коляска?

Мимо них с охапкой бумаг пробежал Сая-лама. Он споткнулся о брошенный не у места бурхан и упал. Осор знал: Сая-лама спасает свои труды и начатый уже пере-

вод «Ганжура»; однако не поспешил на помощь. У Осора были собственные дела...

— Ты понял? — переводя взгляд на Аламжи, спросил Осор.— Пойдем отсюда,— он с силой дернул за руку оторопевшего друга.

— А что там? — кивнул Аламжи на странный предмет в руках Осора.— Золото?

— Дороже золота! Не надо терять время, идем!

— Идем! — согласился Аламжи и побежал к тому месту, где оставил свою тележку. Едва он поставил ее на колеса, как Осор уже плюхнулся на сиденье.

— Быстрее, во всю мочь! — приказал Осор.— В скорости твоих ног наше будущее...

Аламжи побежал так, как не бегал еще ни с одним седоком. Казалось, крылья выросли у него за плечами, стоит лишь расправить их — и он полетит. Вперед, вперед! Перепрыгивая через ручьи и лужи, мчался Аламжи по улицам примолкшего города. В голове билась радостная и волнующая мысль, от которой сразу стало легче дышать: домой! Наконец-то он попадет домой, в родные степи, к любимой жене, к детям!

Осор сидел возбужденный, окидывая глазами одну улицу за другой. Ничего подозрительного он пока не видел: гроза напугала людей, заставила их спрятаться в дома.

Ливень потушил пожар. Рикши и обыватели, спасавшие священное имущество, расходились, удовлетворенные тем, что сделали доброе дело, искупили столько грехов!

Был еще один человек в Пекине, который чувствовал себя самым счастливым из смертных. Он сидел в костюме рыбака на борту парохода, отправляющегося к берегам Кореи. Потягивая ром, этот человек говорил сам себе: «Ну вот, господин Ямадзуки, еще одно задание выполнил ты во славу божественного микадо. Домой, домой!»

Да, это был Ямадзуки, который под видом Цультим-гэгэна из Чейбзэнского дацана проник в Агу, кто заставил Аламжи испытать на себе неотразимую силу джиуджитсу, кто, будучи шпионом, принес много зла Китаю и оказал неоценимые услуги стране Восходящего солнца. Его радость была понятной: ступив на корейскую землю, он окажется в совершенной безопасности, а достигнув

родных берегов, получит из рук в руки желанную сумму — пятьсот тысяч долларов. Когда тебя ждет такая награда, право же, грешно впадать в уныние...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗАНДАН ЖУ-БУРХАН

КОЧУЕТ В АГИНСКИЕ СТЕПИ

Давно отправились на летние стойбища самые богатые и самые бедные скотоводы. Зимники, заброшенные до морозов, бесприютно чернели по широким падям у кромки лесов, под сенью маленьких рощ. В хлевах и овчарнях переживали непогоду зайцы, за ними сторожким шагом прибегали широкохвостки-лисы, по ночам жуткий хохот поднимали встревоженные совы и филины.

В местности Ульдурга самым большим было зимовье Лонхо. Не только просторные хлевы и стайки, ягнятники и кошары, но и вместительные амбары возвышались на усадьбе богача. За оградой громоздились сани, отжившие свой век телеги, поленницы березовых дров...

Ульдургу запеленала ночная темень. Стояла такая тишина, какая может спуститься только с небес. Даже глуховатый человек мог услышать комариный писк, лопотанье заячьих ушей, пофыркиванье лошадей. И в эту ниспосланную тишину вдруг ворвался бешеный топот коня. При свете звезд всадник выглядел черным, за кушаком у него мерцал нож.

— Примете ли лошадь, собачье отродье?

Сова втянула в себя голову, сердито уркнула и захотала:

— Ух-ха-ха! Ух-ха-ха!

После столь непочтительного приветствия она расправила крылья, сделала два-три скачка и бесшумно снялась с дранницы.

Всадник спешил, взял коня за повод, подошел к избе и с силой пнул ногой дверь...

— Отоприте, говорю вам!

Молчание. Пьяный протер глаза, тупо уставился на дверь. Ему показалось, что на ней висит опаленная баранья голова. Он ощупал ее, — оказалось, замок...

Гость плюнул в темноту и привязал коня,

— Смеяться? Ну, сволочи, доберусь до вас!.. Еще не родился тот, кто смог бы от меня уйти... Не забывайте, перед вами Шаргай-нойон, не зря я служил в полиции...

Прихрамывая, Шаргай-нойон двинулся к соседнему дому, который оказался амбаром. Бывший десятский приклонился к двери, та поддалась, и он, обалдевший, полетел через порог. Темнота. Поднеси к глазам палец — все равно ничего не увидишь. Подавляя дрожь, нойон спросил:

— Кто-о же тут смеялся?

Подняться на ноги он был уже не в состоянии. Так, сидя на полу заброшенного амбара, он и уснул.

Спал он крепко, будто младенец, не обидевший за жизнь ни твари. Проспал бы нойон до полуденного солнца, не раздайся вдруг рев и топот. Кое-как продрав глаза, он посмотрел перед собой и обмер: восходящее солнце, пробившееся в щели крыши, обрисовало что-то мохнатое. Шаргай-нойон всмотрелся в полумрак и увидел круторогого быка. Нойон хотел крикнуть и бежать, но язык и ноги не повиновались ему. Он попытался спиной открыть дверь, но лишь плотнее прикрыл ее. А красноглазый бык вдруг заревел и задрожал, будто ему всадили нож. Шаргай пополз вдоль стены подальше от опасного животного, но тут же услышал подозрительный шорох и обернулся. Лучше бы ему не оборачиваться, а лечь ничком и молить бога о спасении души: волка со вздыбленной шерстью, с оскалом, готового сделать смертельный прыжок, — вот кого увидел Шаргай.

— О-о-о! — только и мог выдохнуть из себя нойон. Он часто заморгал, провел заскорузлой ладонью по лицу. Нет, глаза не обманывали его. «Постой, а может, это шолмосы, принявшие обличие волка и быка? Может, они из-за моей души хотят подраться?»

При этих мыслях волосы на голове Шаргая стали подниматься. Все же он нашел в себе силы, чтобы произнести заклинание.

— Ум-мара-зуе-ман-су-ха! — одними губами прошептал он.

Молитва не возымела действия: волк по-прежнему скалил зубы, намереваясь напасть на жертву сбоку, а бык готов был поддеть его на рога. «Кто же они такие? — ломал голову Шаргай. — Может, и не шолмосы это вовсе, а Зандан Жу?..»

Соблюдая нелишнюю в таких случаях предосторожность, Шаргай встал на колени, сложил руки и воздел их к дырявой крыше амбара... Мысль о всесильном божестве не сама собой пришла в хмельную голову бывшего полицейского десятского. Ламы Цугульского дацана за последнее время распространяли слухи, будто к ним через монгольские степи следует Зандан Жу-бурхан. Один лама, возвращаясь из Лхасы, якобы своими глазами видел бурхана и поспешил обрадовать прихожан. Что оставалось делать агинским ламам, издавна соперничавшим с цугульскими? Они, в свою очередь, начали говорить всем и каждому: Зандан Жу-бурхан пожалует в Агинский дацан. Самбу-лама, человек непомерной зависти, нанял даже за высокую плату лихих парней, снабдил их добрыми лошадьми и разослал по кочевьям с этой вестью. Шаргай-нойон, к тому времени переметнувшийся к Петру Бадмаеву на должность агента-заготовителя, как нельзя лучше подходил на роль божественного прорицателя. Услышав из его уст о таком великом событии, владельцы богатого аила накормили и напоили его, посадили на лошадь и отправили с подобающими почестями. И не вина Шаргая, что он сбился с дороги и попал в пустующее зимовье Лонхо-баяна...

Агинский дацан был взбудоражен. Ламы низших званий и хуvaraки заново перекрашивали облупившиеся стены храмов, запасали благовонную ая-гангу, убирали мусор и хлам, оставленный богомольцами; шэрэтэ со своими ближними выколачивал у верующих медяки и масло, баранов и быков, чтобы достойно встретить Зандан Жу-бурхана. Ведь у буддистов нет большего праздника, чем чествование этого божества.

Верующие тоже не сидели сложа руки. Батраки и неимушие араты стирали ветхие свои халаты и терлики, ставили на них новые заплаты, пришивали к ичигам и гутулам крепкие сыромятные подошвы, чтобы было в чем прийти за десятки верст на поклонение божеству. Степные богачи и чиновники спешно готовили шелковые наряды дочерям-невестам, сыновьям-балбесам, сварливым женам, сопливым детям. Лошади заново перековывались, на телегах и бричках подтягивались болты, на юртах менялся брезент... Кто же такой этот Зандан Жу, отчего почитают его буддисты всех стран?

Однажды Будда справлял у подножия Сумбэр-горы молебны для обитателей верхних небес. Из лучей солнца сплетал он искусную нить, на серебряном свете луны вышивал мудрые слова своего учения, дабы создать книгу «Бурханай Толи». Отец Будды Шакья Муни призвал сына на землю. Тот не мог покинуть небеса, но и ослушаться не смел. Как и подобает божеству, Будда нашел мудрое решение: вместо себя он отправил собственное изображение. Спешно был вызван художник-небожитель Би-Шу-Гарма, персты которого излучали свет драгоценных камней. Мир, Вселенная не знали еще такого ваятеля и живописца, кто бы мог сравниться по искусству с Би-Шу-Гармой. Художник согласился на предложение Будды, но когда воззрелся на его лик, то на некоторое время ослеп. Будда опять нашел выход: он провел Би-Шу-Гарму к тихому озеру, наклонился над водой и повелел снять копию со своего отражения. И только тогда Би-Шу-Гарма вырезал из сандалового дерева скульптурный портрет Будды. Отец божества Шакья Муни долго смотрел на присланный ему чудесный портрет, так долго, что портрет не выдержал и рассмеялся.

Такова легенда...

Но вернемся к бедняге Шаргаю, который все еще находился в обществе быка и волка. Сей муж, отважный только перед бабой, понял наконец, что перед ним не Зандан Жу-бурхан, смеяться тут нечему, и не в храме он, а в обыкновенном ветхом сарае. Шаргай обшарил все четыре стены и не нашел ничего похожего на дверь. Настроение у него упало, но смекалки прибавилось: он вспомнил, что сзади за кушаком у него торчит нож. Он взял его в дрожащие руки и, съежившись, стал ждать дальнейших событий. «Почему я не могу сделаться маленьким воробьем, о боги! Я бы вылетел тогда в самую пустяковую дырку на крыше». Не удержавшись от соблазна, он поднял голову вверх и действительно увидел множество щелей и проломов. Но до них, во-первых, было высоко, а во-вторых, разве мог бы протиснуться в небольшой пролом он, которому тесны были Агинские степи!

Волк не терял надежды на решающий прыжок, а бык только и ждал момента самому перейти в наступление. Шаргай снова и снова стал обшаривать стены в поисках двери. Он осмелился на мгновение повернуться задом к противникам и тут увидел прибитую к двери подковку,

приспособленную вместо ручки. Теперь он понял, где находится. Не раз в этом амбаре они вместе с Лонхо делились добром, которое попадало им в руки не совсем дозволенным способом...

Времени терять не следовало. Шаргай задышал часто и тяжело, подобрался и в одно мгновение вылетел на улицу. Правый глаз у него сразу же заплыл, с виска сочилась кровь; прыжок оказался не совсем точным, Шаргай едва ли не своротил дверной косяк. И все же он впервые в жизни понял, что такое свобода. Но он не открыл дверь, не прогнал дубиной волка и не освободил быка. Напротив, он отыскал проволоку и крепко-накрепко прикрутил ею дверь.

Не мешкая, Шаргай вскочил на коня и погнал его вскачь. «Кто же запустил в амбар волка и быка? — гадал нойон. — Сами они ведь не могли закрыться...» Сколько ни пытался Шаргай разрешить эту задачу, она не поддавалась ему. А дело было просто. Отбившись от стада, бык подошел к зимовью, где его раньше кормили сеном, случалось, и отрубями. За ним неотступно следовал волк. Заметив опасность, бык прижался к амбару и угрожающе выставил рога. Он топтался на месте до тех пор, пока не нажал на дверь и не открыл ее. Пятясь назад, он зашел в амбар и прижался к стене. Волк прыгнул через порог, хотел отогнать жертву от стены, но не мог. Бык передвигался так, что его рога были нацелены на хищника. Увертываясь от опасности, он сам же и захлопнул дверь...

Шаргай нахлестывал коня. Впереди он увидел точку, которая вскоре превратилась в телегу. «Слава богу, хоть на сей раз не волк и не черт!» Шаргай погнал лошадь быстрее, но силы изменили скакуну.

— Эй, эй! — крикнул Шаргай, пытаюсь остановить телегу.

Но повозка удалялась. В ней сидели хозяин зимовья Лонхо и настоятель Агинского дацана Самбу-лама. Они вели серьезный разговор и не могли услышать ослабевшего от страха и перепоя Шаргай-нойона. Лонхо говорил:

— Самое лучшее — уничтожить их. Вы сами говорили об этом, Самбу-ламбагай.

Дорога была ровная, повозка по ней катилась мягко, изредка покачивая седоков. Хотелось подремать, но раз-

говор затягивался. Сложив ладони и поднеся их к носу, Самбу-лама ответил:

— Да, великая книга Туган Дарма Ваджар предписывает верующим до конца исполнять свой долг. Так что же вам мешает поднять руку на врагов желтой веры! Вы знаете, что говорит о вас горбун Галсан. Горбуну верят, что вы хотели живьем зажарить его в черной юрте как бешеного. А кто, вы думаете, сжег в прошлом году ваши зароды сена? Нельзя медлить. Заплатники сядут нам на шею и будут тыкать свои грязные пальцы нам в глаза. Есть уже такие умники, которые даже при моем появлении не подходят под благословение, а шепчутся, поминают русских каторжников. И все из-за Галсана.

Лонхо-баяну надоел этот разговор, но он не мог смолчать, когда Самбу стал упрекать его в нерешительности.

— Черные дела вы решили свалить на одного меня,— проворчал он.— А как вы полагаете, Шара-Дамба не распускает о вас слухи? Он даже приплел ваше имя к истории Жалмы. Он сочинил богохульную песню, в которой осмеивается ваш сан. Дети и те уже знают эту песню. Почему сами до сих пор не убрали безбожника?

— Людей духовного звания грешно толкать на убийство. А за ваши грехи мы помолимся.

Такая циничность возмутила даже Лонхо-баяна.

— Я зна-аю о вас больше, чем вы думаете... Зна-аю! Помните, я продал Петру Бадмаеву пятьсот коров и лошадей, а отдать хотел только половину... Остальные, мол, утонули в Ононе, когда их перегоняли приказчики. Даже справку достал. А кто разболтал про мой секрет?

Самбу-лама поморщился и взвыл:

— Я принял сан не для того, чтобы обманывать людей!

— Бросьте выдумки! Глупых баб вы можете морочить, но только не меня. Взятку вы получили от Петра Бадмаева, вероотступника.

Самбу-лама стал заметно беспокоиться, однако ему невыгодно было сбрасывать маску.

— Ох, и зачем вы клеветеете на ученика божьего! — Он воздел сложенные ладони и зачем-то осмотрелся по сторонам. — Грех-то какой!

— Яд! Вы предлагаете мне яд, чтобы отравить Галсана и Шара-Дамбу,— начал хитрить Лонхо, его огромные уши двигались.

В продолжение этого разговора кони постепенно умеряли прыть, пока не перешли на трусцу. Этим воспользовался Шаргай-нойон, он догнал повозку. Лама и богач повернули лица в сторону Шаргая:

— Говори, что случилось!

— Сегодня ночью в вашем доме, в вашем амбаре... бык и волк...

— А ты, случаем, не пьян?

Самбу-лама строго глянул на Шаргая:

— О чем ты говоришь? Трудно тебя понять, говори толком.

— Волк... Волк, говорю, там.

— Волк скотину мою порезал? — Лонхо даже приподнялся. — Да говори скорее, черт бы тебя побрал!

— Волк и бык ночевали в вашем амбаре... Я, конечно, не знал об этом, тоже зашел туда и тоже ночевал. Утром я проснулся, а они...

— Он пьян, — успокоился наконец и Лонхо. — Поехали дальше, ламбагай. Нам некогда слушать болтовню.

Шаргай взъярился: ему не верят! Неужели за такую весть жадный Лонхо не даст ни гроша? Он рванул на себе ворот рубахи.

— Если вру — повесьте меня! Если обманываю — пусть лопнут мои глаза. Пусть мой рот очутится на затылке. Пусть язык мой проникнет через нос и превратится в клюв!

Сидеть в седле он уже не мог. Соскочив на землю, Шаргай вцепился в передок повозки и, глядя поочередно то на одного, то на другого, продолжал:

— Мои глаза видели то, чего никому никогда не привидится. В вашем амбаре, уважаемый Лонхо, бык и волк провели всю ночь.

Самбу-лама, видимо, все же заинтересовался необычной вестью. Глянув на Шаргая, он спросил:

— А где они сейчас? Стоит ли нам возвращаться?

— Там они, там, ламбагай! Снаружи дверь я прикрутил проволокой.

Шаргай от нетерпения затопал, Лонхо все еще не сдавался.

— Хочешь сходить с ума — сходи. Чего надумал: ехать с ним в такую даль.

Телега тронулась, Шаргай тихо взвизгнул и вцепился в вожжу.

— Давайте посмотрим. Ставлю свою голову против десяти рублей.

Прикоснувшись к плечу Лонхо, лама шепнул:

— Может, посмотрим?

Эти слова, сказанные доверительным шепотом, в один миг вскипели в котелке жадного Лонхо. Ехали без разговоров. Даже Шаргай, изо всех сил погонявший коня, ни разу не попросил остановиться.

К амбару двинулись втроем: впереди Шаргай, за ним — Лонхо и Самбу. Сучок не хрустнул, трава не шелохнулась, через десяток шагов смельчаки остановились и переглянулись между собой. Шаргай, по всему видать, впредь решил держаться в тылу. Военственный пыл заметно ослабевал и у друзей: у Самбу-ламы колыхались полы халата, у Лонхо-баяна шевелились уши. Первым очнулся Самбу-лама. Подав знак, он шагнул вперед, как шагает обреченный. В эту самую минуту раздался пронзительный крик. Надо отдать справедливость храбрецам: все трое удержались на ногах. Самбу-лама огляделся и кратко сказал:

— Конь...

— Да, рже-ет ко-онь,— более подробно высказался Лонхо.

Шаргай с тихим стоном опустился на землю. Лонхо-баян и Самбу-лама подошли к амбару и попытались заглянуть внутрь. Ни единой щелки! Лонхо приник слоновьим ухом к стенке, его примеру последовал Самбу.

Хозяин придвинул губы к самому уху ламы:

— Вон в той стайке есть лестница. Надо ее притащить и забраться на крышу.

Самбу кивнул и повернулся, отыскивая глазами Шаргая. Того нигде уже не было. Чертыхаясь, богач и лама сами отправились в стайку. Они уже приставили лестницу к амбару, когда появился Шаргай.

— Поганый пес! Ты уже проиграл свою голову!

Полицейский зачем-то снял штаны и теперь никак не мог их надеть. Владелец зимовья и обладатель шапки-ободой поправили лестницу и вскоре очутились на крыше амбара. В отличие от стен крыша изобиловала щелями и даже проломами. Храбрецы без труда разглядели в помещении быка и волка. Бык, как и утром, стоял, прижавшись в угол задом, и не подпускал к себе зверя. Тот сидел в выжидательной позе.

— Это ведь твой бык?

— Мой.

— Вот и хорошо,— удовлетворенно кивнул Самбу-лама.— Один бык не может считаться большим убытком. А волк... Волк не наше добро.

— Верно говоришь...— пошевелил ушами Лонхо.

— Для встречи Зандана Жу я прихватил с собой молитвенный барабан и медные литавры. В телеге они лежат, ты видел,— издалека начал Самбу-лама.— А в твоём амбаре находятся не настоящие бык и волк, а оборотни. Понял? Эти оборотни на хозяина зимовья не имеют зла. Они хотят наказать Шаргая за его грехи.

Лонхо заморгал глазами, пытаясь уразуметь, к чему клонит лама. Почему оборотню надо было воплотиться именно в его быка? Ведь у Шаргая тоже есть быки. Может, лама шутит?

— Придется мне сейчас поворожить, сотворить святую молитву. После мы сожжем оборотней в твоём амбаре. Согласен?

— А потом? — осторожно спросил хозяин зимовья.

Лама сокрушенно покачал головой: какой непонятливый человек.

— Мы скажем Шаргаю, что молитвой и заклинаниями отвели от него беду. Большую беду, тяжелую, посланную самими шолмосами. За это он должен отравить Галсана и Шара-Дамбу.

— Как так? — заерзал на шатких досках Лонхо.— А если он не согласится — пропали бык и амбар? И волчья шкура!..

Самбу плюнул с досады.

— Если бы мы попытались его подкупить, он бы знаешь какую цену заломил? Десятью быками от него не отделаешься. А если бы он попался да показал на нас, и нам бы с тобой влетело. А так я скажу, что Галсан и Шара-Дамба — черти-оборотни, их надо уничтожить. Быка и волка, в которых они превратились, мы сожжем. А он пусть отравит их человеческую суть.

До сознания Лонхо дошел наконец смысл. Пожалуй, важное дело... Кряхтя и останавливаясь на каждой перекладине, добрался до верха и Шаргай.

— Ну как, есть там что-нибудь?

— Ш-ш-ш! — приложил палец к губам Самбу-лама.— Ни звука!

По знаку ламы все они спустились на землю, достали из телеги барабан и расселись вокруг. Лама сотворил молитву, несколько раз подкинул вверх гадальные костяшки, посмотрел, как они ложатся, и тяжело вздохнул. Потом он вытащил из-за пазухи два бумажных пакетика и протянул их Шаргаю.

— Бык и волк — два шолмоса, — начал Самбу. — Они предвещали тебе беду. Но сейчас тебе ничто не угрожает. Горбатый Галсан и безбожник Шара-Дамба пытаются известить тебя. Они подослали к тебе шолмосов в образе быка и волка... Они распускают слухи, что ты хотел сжечь в юрте Горбуна, что ты причастен к аресту Аламжи, что по твоему наущению Шара-Дамба лишился работы. Это коварные люди! Они не люди, а шутхэры¹. Возьми вот это лекарство и незаметно подсыпь в еду Галсану и Шар-а-Дамбе. Если они шутхэры, то в скором времени они сдохнут, свершится божье дело.

Дрожащими руками Шаргай-нойон принял от Самбу-ламы два пакетика и склонился перед ним. Тот благословил его четками и повернулся к Лонхо:

— Пора начинать...

Вскоре амбар со всех сторон был обложен дровами и сухим кизяком. Одновременно чиркнули три спички, и густой сизый дым медленно пополз в небо. Самбу-лама без устали бил в барабан и гремел тарелками. Когда пламя перекинулось на прогнившую крышу, трубно взревел бык. Вскоре и волк подал голос. Шаргай-нойон и Лонхо стояли на коленях с воздетыми руками, но как только взревели животные, они пали ниц и зажали уши. А Самбу-лама, невозмутимый, как посланник самих небожителей, все сильнее бил в барабан.

Но что там случилось? Сокрушив рогами стену, сквозь дым и пламя выскочил бык. Подбрасывая полуобгоревший зад, он мчался прямо на Самбу-ламу. Тот в страхе бросил колотушку и отпрянул. Бык проткнул рогами молитвенный барабан и вместе с ним ринулся дальше.

— Шаргай-нойон, садись на коня, загони шолмоса в ограду.

Шаргай вскочил на коня и принялся нахлестывать. Но уставший скакун лишь нагибал шею.

¹ Ш у т х э р ы — полудьяволы.

Лама бросился к повозке. Лонхо — за ним. Тройка свежих лошадей устремилась в погоню за быком.

Храпели кони, ревел бык, тарахтела телега, словно побитая собачонка, жалобно скулил волк. Вдруг все стихло. Бык вырвался из окружения и помчался в степь, а волк, видимо, нашел уже свою смерть под рухнувшими стропилами амбара. Кони, наткнувшись на ограду, остановились. Замешательство длилось недолго. Вырвав из рук Лонхо вожжи, Самбу направил тройку вслед за быком. Заклубилась пыль, и не успел Шаргай-нойон достойным образом отругать своего скакуна, как повозка скрылась. Вдруг до слуха Шаргая донесся грохот, ржанье и стон.

Это Самбу-лама в пылу погони слишком круто повернул лошадей, вывалился из повозки, а на него грохнулся Лонхо. Телега перевернулась, лошади запутались в упряжи и остановились. Ухо Лонхо оказалось разорванным пополам, у Самбу-ламы сломана нога.

Шаргай выпряг коней, перенес свое седло на коренника и сел верхом.

— С быком я справлюсь живо.— Он вытащил из-за пазухи револьвер и будто случайно направил дуло в сторону оторопевшего Лонхо.

— Поезжай, поезжай,— замахал на него Лонхо.

Лишь к вечеру все трое добрались до летнего становища Лонхо. Сидя возле пылающего очага, они с жадностью ели мясо убитого быка.

Когда Шаргай пропустил полдюжины чашек араки, Лонхо приступил к главному: надо садиться на рысака и мчаться в Волчий лог, где проще всего встретиться с Галсаном и Шара-Дамбой.

Потом Шаргая принялся поучать Самбу-лама: надо быть осторожным, при разговоре с Галсаном и безбожником Шара-Дамбой не вступать в спор, поддакивать им, соглашаться. Нельзя говорить, откуда и зачем едешь, кто дал такого хорошего коня...

Шаргай покорно стоял на коленях.

— Не забывай о боге,— наставлял Самбу-лама.— Спешి к Волчьему логу, шолмосы могут быть там...

— Ну, ламбагай все сказал, уважаемый Шаргай-нойон. Пора в дорогу. Иди, твори божью волю.— Лонхо почтительно взял Шаргая под руку и вывел из юрты,

Два батрака держали наготове черного как смоль скакуна с длинной гривой и с хвостом до земли. Несколько дней простоявший на привязи, жеребец нетерпеливо перебирал ногами, грыз удила и всхрапывал при каждом шорохе. Шаргай принял поводья из рук хозяина, легко вскочил в седло, поклонился в сторону юрты и ускакал.

Проклятое время! Люди, рожденные помогать друг другу, продают себе подобных, как скотину, убивают, грабят, насилуют. Двуличная тварь считается почтенной персоной; тупоголовый убийца — доблестным мужем; наделенный светлым разумом — безумцем; глупец и болтун занимает место рядом с теми, в чьих руках закон и правосудие.

Непроглядная ночь окутала сознание и чувства людей. Но и в этой ночи то тут, то там вспыхивают костры. Мудрые старцы, окружив себя внуками и правнуками, поют возле этих костров улигеры о храбрых багатурах¹, сокрушающих крошечную тьму.

Народ велик, и среди него рождаются сыновья и дочери, чьи спины никогда не сгибались ни перед богачами, ни перед ламами, ни перед ликом бурханов. Они-то видят наступление утра, видят, как поднимается из туманной дымки могучее солнце.

Что же мешает народу разглядеть на своем теле зловредных клещей, день и ночь сосущих его кровь?

Самый страшный враг на пути к прозрению — буддизм. Он превратил страны Востока в тюрьму, а ключи отдал в распоряжение сотен тысяч лам. Двери и окна темницы не открывались уже века. А если бы открылись, если бы засиял солнечный свет — о, тогда бы сама себя обнаружила грязь тысячелетий. Обуздай свои страсти, человек, повесь на них замок, не помышляй о счастье — и ты займешь место в одном ряду с небожителями! Под грохот барабанов и лязг медных тарелок такие мысли вбивают в головы ламы всех степеней и званий — вот почему смельчаки в одиночестве. Уронив кудлатые головы на грудь, они тихо засыпают, жалея о том, что так и не смогли открыть двери всенародной темницы.

¹ Багатур — то же, что и батыр, богатырь.

Ранним весенним утром, когда степь оденется в зеленый наряд, когда в поднебесье взвьется жаворонок, поющий хвалу солнцу, улыбнется батрак и подумает о смельчаках, которые не боятся цепей.

— Эй ты, заплатник! Хочешь узнать, о чем поет небесная птичка? Так знай: она поет о том, что тебе надо заплатить долги и отдать старшего сына в дацан хува-раком.

Бедняк не посмеет ослушаться. Он отведет сына в дацан, он будет пасти хозяйские табуны, он отдаст богачу малолетнюю дочь, но ничто уже не поможет вытравить из его сознания мысль о храбрецах, погибших ради света и разума...

...Рассветало, когда к Волчьему логу прискакал Шаргай-нойон. Несмотря на ранний час, возле каждой из шести юрт стояли телеги-одноколки, верблюжьи повозки, легкие ходки, лежали на земле оправленные черным железом седла. Из дымоходов валил дым, разносились запахи жареного мяса и пригоревших лепешек. Отовсюду слышались громкие голоса, смех, перебранка женщин.

Остановив коня у крайней юрты, Шаргай-нойон спрыгнул на землю. «Кажется, я прибыл вовремя. Не иначе Галсан и Шара-Дамба решили учинить бунт».

Шаргай-нойон, стреножив коня, легкой рысцой направился к батрацким юртам.

Без труда он мог разобрать каждое слово.

— Неужели так и не удастся лицезреть Зандана Жубурхана? Уже сто верст проехали от дома...

— Не ворчите! Ведь вы на верблюдах едете, а сколько людей тащится пешком. Как дойдет до Хара-Нора восьмидесятилетняя шабганца с малыми сиротами? Подумали вы об этом?

— Арья-Бала-бурхан, если мне не суждено при этом рождении увидеть всесильного Зандана Жу, то пусть я умру на дороге. Возвращаться нет сил, сидеть на месте тоже не могу...

— Ну, дедушка, куда же вы пойдете, у вас ноги опухли, руки дрожат. Уж посидите здесь, подождите.

— Разве сытый поймет голодного? Разве едущий на скакуне поймет пешего?

— Это вы зря про нас такое сказали. Коня мы попросили у Намсарая-тайши. За это целый год будем пасти его коров. Так-то, милый человек...

— Всякое бывает, всякое. У меня обветшал халат. Взял у гулвы шесть метров далембы. Должен выкосить за это шесть десятин угугов. Да уже не придется, как вижу. Помру!

Нет, тут сидели не бунтовщики. Шаргай осторожно перебрался к другой юрте, потом к третьей, наконец, к последней, но ни Галсана, ни Шара-Дамбы нигде не услышал. А между тем дух этих бунтарей витал почти над каждым очагом, кружил батракам головы.

— Пожалуй, прав Шара-Дамба,— услышал Шаргай.— Много бед приносят ламы...

— Не болтай! Грешные слова заставляешь слушать. А впереди — дорога...

Шаргай ближе придвинулся к юрте, заглянул внутрь и увидел старика с козлиной бородкой, сидящего на корточках у самого входа. Это был богобоязненный старик Тагар.

— Твои Галсан и Шара-Дамба — порождение шолмоса,— подняв указательный палец, сказал он.— Из-за кого, думаешь, нынешним летом подохла половина скота?

Молодой парень, сидящий неподалеку, покосился в его сторону:

— Откуда вам это известно?

Тагар хлопнул себя обеими ладонями по коленям:

— Не от шолмоса, конечно, а от Самбу-ламбагая!

Рыжебородый по другую сторону от Тагара сказал:

— Ваш Самбу-лама добрый обманщик, а может, и убийца. Придет срок, мы обо всем дознаемся, выведем его на чистую воду.

От такого кощунства завопили старики и старухи:

— О боже, спаси нас и сохрани от черных людей!

А сидевший на хойморе десятилетний мальчишка приподнялся и громко сказал:

— Я тоже об этом слышал... О Самбу-ламе...

— Что ты там слышал? Сиди на месте и не мешай,

Мальчик, видимо, не понял угрозы и звонким голосом отбарабанил перенятые у кого-то стихи:

Кто к чужой жене ходил,
Тот за это получил
По щеке, не так ли?
Отомстить решил злодей.
Вместе с матерью детей
Загубил, не так ли? ¹

¹ Перевод Ю. Кузнецова.

В юрте на мгновение оцепенели. Первым сорвался с места хозяин, отец мальчишки. Он отвесил любителю стихов оплеуху, от которой тот упал и залился слезами. Затем мать, вцепившись в его уши, стала теревить их, как свалявшуюся шерсть.

— Негодник, где ты подцепил эти слова? Откуда? Отвечай, кто научил тебя?

— Шара-Дамба пел,— не выдержал мальчишка.— Я слышал, как он пел, и запомнил.

С первыми лучами солнца богомольцы тронулись в путь. Тарантасы с верхом от солнца и дождя, запряженные парой, а то и тройкой коней, одноколки с большими колесами, бычьи и верблюжьи упряжки, всадники и пешие — все это вытянулось по степной дороге.

Когда передние всадники достигли холма, будто из-под земли вынырнули двое людей и остановились на середине дороги. В них сразу же узнали Галсана и Шара-Дамбу. Безбожники и не думали сходить с дороги.

Подстрекаемый Шаргаем, суетился Тагар. Он собрал вокруг себя фанатиков и двинулся на смутьянов. В это время Галсан поднял руку и спросил:

— Куда спешите? В Халху кочуете?

— Прочь с дороги!

— Разве не знаете: Зандан Жу-бурхан удостоит нас милостью?

— Откуда детям шолмоса знать о богах?

— Не за грехи ли ты стал горбатым, Галсан? Уходи, пока кара не разразилась над твоей порожней башкой!

— Даже собаки ушли за хозяевами навстречу Зандан Жу-бурхану. Вы хуже собак!

Галсан не трогался с места. Печаль заволокла его глаза.

— Да, собаки убежали...— начал он.— Но вы не собаки, трусцой бежать туда же за нойонами и богачами! Вы, бабай¹, ослепший на хозяйской работе, зачем идете к Хара-Нору? А ты, старая, зачем потащила за собой детей? Если они заболеют в пути, кто возьмется их лечить? Ты, брат, на коне, скажи, за какую плату взял у богача лошадь и упряжь? Кто накормит твоих детей,

¹ Б а б а й — дедушка.

когда ты будешь работать на хозяина? Ведь тебе самому придется грызть обглоданные кости.

Галсан отыскал глазами того, кто попрекнул его горбатой спиной, приковылял к нему вплотную и продолжал:

— Спросили про мой горб? Если поднять из земли несколько поколений предков, не увидите ни одной прямой спины. Все согнуты! Лишь кости богачей и лам каждый из нас опознает без ошибки: прямые! Один только жир на них.

— Уходи прочь! Не уйдешь — будешь ковылять на двух деревяшках!

Шара-Дамба выступил на защиту Галсана:

— Я ломаю самую крепкую подкову, и все же был беспомощней ягненка, пока не узнал, где правда, где ложь. Если думаешь, что ты умнее и сильнее других, то поделись разумом, отдай силу на общее дело.

От этих слов на Тагара почему-то напал смех:

— Уморили, ох уморили меня эти бродячие болтуны. Ха-ха-ха! Я же их знаю с пеленок. Это они обрели счастье? Ха-ха-ха!

Галсан поднял костыль:

— Да, мы знаем, что такое счастье! Рано или поздно мы добудем его для народа. Что вам оставил в наследство отец? Оставил свои же муки. А сами вы что заработали, кроме вот этих седин? То же наследство оставите сыновьям и внукам. Посмотрите в любую сторону — на запад или восток, на юг или север, гляньте вниз или вверх, — везде таких, как мы, ожидают одни мучения. Будь ты мужчина или женщина, молодой или старый, все равно впереди не будет просвета, пока не поймешь, кто твой враг...

Люди молчали. В спор со смутьянами уже никто не хотел вступать: что там ни говори, а много верного есть в их словах.

— Хватит болтать, поехали.

Скоро на степной дороге одиноко маячили фигуры Галсана и Шара-Дамбы. Их лица были скорбны, будто каждый из них только что проводил в последний путь родного отца.

Раздался топот коня, оба от неожиданности вздрогнули. К ним подъезжал всадник на вороном скакуне.

— Ай-яй-яй! — мотал он головой. — Как же вы могли отпустить их?

То был Шаргай-нойон.

— Чего тебе надо, почему остался? — пошел на него Шара-Дамба.— Убирайся отсюда, полицейская собака! Шаргай изобразил на лице удивление.

— Тащиться в такую даль на поклонение деревяшке? Когда я слышал ваши слова, у меня прямо-таки глаза открылись. Мы такие люди... такие темные люди...

— Паршивый пес! — крикнул Галсан.— Ползаешь, вынюхиваешь...

— Пожалей ты меня, Галсан! — взмолился Шаргай.— Тогда я не разобрался, на веру принял болтовню проклятого Лонхо. Попадись он мне, я бы его задушил! — показал Шаргай грязные свои кулаки. Он несколько раз вздохнул и спрыгнул с коня.— А если не веришь, то задуши меня. Кому верить? Разве среди нас, неграмотных степняков, есть такие, кто не ошибался?

— Ошибка ошибке рознь! — отрезал Галсан.— Старик Тагар заблуждается, и он когда-нибудь прозреет. А тебя давно бы я задушил, да нет охоты руки марать.

Галсан глянул в степь, туда, где белели юрты Волчьего лога. Ему показалось, что к ним еще кто-то приближается. Вскоре он различил мальчишку, того самого, кто поплатился сегодня за свою память. Тот уже забыл про недавнюю трепку и улыбался.

— Кого я вижу! — издали крикнул ему Галсан.— Наш молодой друг...

Шара-Дамба привлек к себе мальчика. Галсан полез за пазуху, долго шарил там и наконец нашел кусочек сахара.

— Вас, дядя Галсан, и вас, дядя Шара-Дамба, приглашают на чашку чая.

— Кто бы нас мог пригласить? — развел руками Шара-Дамба.— Не мама ли твоя?

Отвернувшись от взрослых, мальчик ковырнул носком ичига дорожный песок.

— Нет, приглашает бабай вон в той юрте,— показал мальчик рукой.— А наша мама вас не любит.

— Не огорчайся, сынок, твоя мама когда-нибудь поймет нас и полюбит,— успокоил его Шара-Дамба.

Взяв мальчишку за руки, друзья направились к одинокой юрте. Шаргай некоторое время постоял в раздумье и пошел вслед за ними, ведя коня на поводу...

Далеко видно в широкой степи. Галсан и Шара-Дамба несколько раз оглядывались туда, где на горизонте пылил караван богомольцев.

У входа в юрту гостей встретил седой как лунь старик с длинной узкой бородой. Хозяин обеими руками указал друзьям на правую, почетную сторону юрты, а Шаргаю — на левую. Мальчишка пристроился рядом.

Помешивая в очаге железной клюкой, старик посмотрел на Галсана и Шара-Дамбу, погладил длинную бороду, словно хотел выдоить из нее мысль:

— Значит, ездили по степи, сыны мои, любовались богатством народа?

— Ходили и ездили, — ответил Галсан.

— С богомольцами встретились, слово им сказали?

— Поговорили, отчего не поговорить... Только слова наши не достигли их ушей...

Старик подал гостям чай в деревянных чашках, присел на потник.

— Кто не скрывает злобы, тот понятнее. Кто не видит добра в человеке, тот недостоин уважения. У каждого тлеет искорка добрых дел. Как она ни мала, ее можно раздуть. Но уж если огонек залит делами несправедливыми, его не сможет разжечь и буран.

— Трудно бывает угадать, о чем думает человек, — вздохнул Шара-Дамба.

Старик подтвердил:

— Правильно, сын мой! Не все красное надо принимать за огонь, следует узнать, излучает ли оно тепло. Обнаженные зубы нельзя принимать за улыбку... Надо знать, кто пойдет рядом с тобой, когда ты собираешься в долгий путь. Доблесть настоящего мужа — отличать скромных от равнодушных, любовь сердца — от любви по расчету, речи краснобая — от речей мудреца... Человеческая жизнь коротка, прожить ее нужно подобно молнии, сверкнувшей между тучами. А жизнь народа бесконечна. Молнии нужны, чтобы развеять мрак.

Шаргай-нойон, сидевший по другую сторону очага, плохо слушал беседу. То и дело дотрагиваясь до пакетиков у себя за пазухой, он обдумывал, как ловчее приблизиться и подсыпать лекарство. Наступила тишина. Шаргай вздрогнул и посмотрел на собеседников. Ему показалось, что они наблюдают за ним. Он затаил дыхание. Но собеседникам было не до него.

После короткого молчания Галсан сказал:

— Мы видели монголов, прискакавших в Агу с известием о Зандаи Жу-бурхане. Всадники не останавливались ни перед реками, ни перед оврагами, выкрикивали весть и мчались дальше. И вот я думаю: почему бы им, похожим на степных барсов, не подняться и не изгнать маньчжуров?

Надломились брови старика, тоскою наполнились его глаза, голова склонилась на грудь. Он крепко задумался: не так-то легко было ответить на этот вопрос.

...Необъятна ты, монгольская земля — колыбель улигеров, душа арата. Степи твои протянулись во все стороны света на сотни караванных переходов. Правой рукой ты опираешься на отроги Алтая и Хэнтэя, левой — достигаешь Хингана. Голубой Керулен и золотистый Онон служили тебе вожжами, а красавица Селенга — лучезарной косой. Дремлешь ты, монгольская земля, усыпанная костями своих врагов. Резали тебя и кромсали хитрые маньчжурские императоры, сеяли рознь между народами и племенами.

Английские колонизаторы покорили разобщенные народы Индостана горсткой завоевателей: двести миллионов индийцев не могли противостоять стотысячному отряду наемников. Монголов трудно было одолеть в открытом бою. С детства они знали силу товарищества, умели лучше врагов владеть саблей и пикой, маневрировать на просторах своей земли. Тогда вместо воинов маньчжуры напустили в степи клопов: десятками тысяч ламы расползались всюду, именем бога призывая аратов к смирению, обещая им вечное блаженство в следующем рождении. Боясь лишиться стад и пастбищ, монгольские князья поддакивали желторясникам и шли на службу к маньчжурам. Их офицеры и генералы вскоре превратились в крупных помещиков и ростовщиков — оплот маньчжурской династии.

По этой закабаленной земле из Асыр Сумэ двигался необычный отряд. Двухколесную тележку под желтым балдахином увлекали за собой два всадника, сидящие на белых лошадях. Гривы обоих коней были украшены пятицветием — желтым, красным, зеленым, белым и голубым. Коляску окружали около двухсот монголов на таких же белопенных конях, каждый всадник имел еще заводную лошадь. Меняя уставших скакунов на свежих,

отряд двигался безостановочно, преодолевая за день большие расстояния. Впереди всех мчались два всадника на черных конях, тоже украшенных пятицветными хадаками¹. Подобно пламени, за плечами всадников развевались пурпурные плащи.

На всем пути отряд встречали и провожали араты. Издали завидев пыль, они вздымали над головами руки, и лишь взору их открывался шелковый балдахин, падали ниц с криками радости и торжества. Только когда конники скрывались и рассеивалась пыль, люди поднимались с земли.

Порою вороны кружили над стремительным караваном, надеясь поживиться павшей лошадью или отбросами пищи. Но ничего не оставляли на пути неугомонные конники. Куда же устремился этот отряд? Начиная от верховий Онона, через Чжалай-Нор до самой Аргуни протянулся вал Чингисхана. К этому-то валу и спешили конники, сопровождавшие коляску под балдахином. Солнце уже заметно склонилось, когда в зеленой долине отряд миновал улус Алтан-Эмэл. Всадники и не думали натягивать поводья, хотя до цели оставалось не меньше восьмидесяти верст.

Когда смотришь на всадников, скачущих стремя в стремя от утренней зари до вечерней, поневоле уверуешь, что монгол большую часть жизни проводит в седле. В топоте коней, в свисте ветра монгол с детства слышит милую его сердцу музыку. Солнце соскользнуло за горы, в долине стало сумрачно, но всадники продолжали мчаться. Испуганные тарбаганы проворно прятались в норы и снова показывали свои мордочки. Спешившие на ночевку журавли, завидев пыль, дружнее взмахивали крыльями. Во власти движения лошади шли и шли. Под их копытами гибли испуганные дрофы, застигнутые врасплох ящерицы и змеи, в прах рассыпались скелеты караванных верблюдов.

Наконец всадники остановили коней. Не успел бы медлительный человек сосчитать и до тридцати за то время, какое понадобилось монголам, чтобы расседлать и развьючить лошадей, протереть им спины, стреножить и выгнать на пастбище. Опустились сумерки, подул

¹ Х а д а к — шелковый шарф для подношений.

прохладный ветерок, пала роса. Лошади с хрустом поедали траву, утоляя и голод и жажду.

Темноту ночи озарили двадцать жарких костров по кругу. Внутри этого круга стояла коляска под балдахином, где на мягких подушках покоился Зандан Жу-бурхан. Крепкие парни плотным кольцом обступили тележку: разве можно завершить такой счастливый день, не помолившись? Потом запахло бараниной. От обильного жира, стекавшего в костры, пламя взметалось так высоко, что становились видны пасущиеся в полуверсте лошади. Чем шире растекался запах жареного, тем глуше становились молитвы, громче смех, чавканье и беззаботные выкрики. Пошли рассказы о степных похождениях, настолько неправдоподобных, что парни надрывают животы от смеха. Араты постарше, качаясь из стороны в сторону, затянули протяжную песню. Слова этой песни обращены к бурханам, но мелодия родилась задолго до того, как Монголию посетил первый желтошапочник. Может быть, поэтому песня была так вдохновенна. Привлеченные запахом баранины, издалека пришли к становищу волки. Не решаясь подойти близко, они сгруппировались на расстоянии и подняли вой. А потом, подкладывая под изголовья седла, провожатые Зандан Жу-бурхана стали ложиться спать.

Лишь один человек продолжал сидеть у костра. Он не слышал ни шуток, ни песен, ни воя волков. Закинув руки за голову, он лежал на спине и смотрел на звезды, которые указывали ему дорогу в Агинские степи, к родному очагу. Мысленно он проживал заново каждый день, проведенный вдали от Алханы, от жены и детей, от скромной речушки Аги. Служба в русском посольстве, беготня по улицам Пекина, пожар в пекинском монастыре и радостный возглас Осора: «Нашел вещь, которая обогатит на всю жизнь!» Аламжи сел на траву и огляделся. Только у одного костра еще продолжался негромкий разговор, да откуда-то из темноты доносилась песня. Аламжи снова прилег. Вспомнился нож, с которым он бросился на странного человека в Пекине. Взял ли тот оборотень нож с собой, или он и до сей поры торчит в заборе? Хороший был нож...

Хоть и улыбнулся Аламжи при воспоминании о своем бегстве из Пекина, однако не мог не признать, что это был самый тяжелый день его в большом китайском го-

роде. Он бежал по лужам, перепрыгивал какие-то рвы и ямы и потом диву давался, как не сломал хрупкую коляску, как удержался в ней Осор вместе с божественным Занданом Жу. Потом стала болеть вывихнутая утром рука. Аламжи хотелось свалиться на землю и выть. Вспомнилась страшная монгольская тюрьма и несгибаемый узник, из-за которого он сам чуть не попал в тюремный ящик. В условиях, когда подохла бы самая неприхотливая собака, он смеялся над палачами, плевал на их раззолоченные мундиры. Мысль о бесстрашном заключенном помогла Аламжи забыть о собственных муках. Даже сейчас, в этой степи, ему слышался голос неустрашимого Ван Тумэра.

Наступила ночь, когда они с Осором выбрались с улиц Пекина. Они бежали без передышки, надеясь к утру достигнуть какой-нибудь деревушки, отдохнуть там и запастись едой. Но неудачи преследовали их. Они сбились с дороги, вышли на какое-то поле, все изрытое канавами, и чуть не заплакали от досады. В довершение всего Аламжи свалился в яму. Осор схватил его за больную руку и дернул с такой силой, что Аламжи сразу же очутился наверху. Боль пронзила все его тело, но зато вывихнутый сустав был вправлен.

Аламжи прикрыл глаза и сразу же: Жалма. Ожидание... Какое тяжелое слово! Четыре с лишним года, зимой и летом, в ясные дни и в непогоду, выходит она на дорогу и ждет. Но степь пуста, как в первый день ее сотворенья. Заходит солнышко. Эх, если бы иметь крылья, бросить все и улететь к подножию Алханы. Булад уже вырос. Увидит слезы у матери и, как взрослый: «Чего ты опять? Придет наш аба». А сам выйдет во двор, приклонит голову к столбику и плачет, пока не иссякнут слезы... «Отсюда уже двести верст осталось. Только двести верст! А если махнуть напрямиком к Алхане, то и ста не будет. Вот бы!.. Но пусть еще недельку подождут. В Цугуле получу деньги, расплачусь с Агинским дацаном и тогда уж...»

Успокоив себя такими мыслями, Аламжи уснул.

НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ

Проплутав ночь, Осор и Аламжи к утру добрались до селения Шахо на берегу речки с таким же названием.

Тут они передохнули, кое о чем порасспросили людей и пошли к местному скупщику. Не только владеющий китайским языком, но также обладающий даром торговца, Осор сумел обменять коляску на осла да еще получить в придачу несколько тысяч чохов, хотя после ночного пробега на коляске новыми выглядели только золотые драконы. Они-то, видимо, и привлекли перекупщика. Засунув за пазуху деньги, Осор с видом банкира повел Аламжи в ближайшую харчевню. Здесь друзья промочили глотки, досыта наелись и хотели продолжать путь, но Осор предложил:

— Отдохнем. Не могу, сплю на ходу.

— А вдруг погоня?

— Ничего! Они могли и не спохватиться. А спохватились — вначале там все перероят. Никому и в голову не придет, что кто-то решился украсть самого Зандан Жубурхана. В общем, поищем ночлега.

Так и сделали. На другой день рано утром закупили продуктов, погрузили их вместе с бурханом на осла и тронулись дальше. Следуя по дороге на Калган, друзья несколько раз ночевали под открытым небом, пока не добрались до станции Нань-Коу, где обычно делали дневку едущие из Урги караваны. Ложась спать, Аламжи поставил завернутого в шелковое покрывало Зандана Жу у изголовья, а утром его разбудил сильный толчок в спину.

— Куда делась наша вещь? — шепотом спросил Осор. — Ты никуда ее не перепрятал?

Едва ли не обезумевшие от горя, они обшарили дом, выскочили на улицу. Бурхана нигде не было. Заскочив опять в дом, они разбудили хозяев и всех караванщиков.

— Воры! Сознавайтесь, кто украл!

— Почему так громко разговариваете? Нельзя в моем доме, уважаемые гости, так себя вести.

— Это какие-то пьяные, гоните их отсюда!

Хозяин распахнул дверь и вежливо распорядился:

— Ай-яй-яй, как расшумелись! Берите своего осла и уходите. Так лучше будет и мне, и вам, и конечно, моим почтенным гостям.

Была утеряна последняя надежда. Аламжи дико повел глазами и неожиданно для самого себя закричал на хозяина:

— Сам украл! Нет, прежде всего заплати! Двадцать тысяч русским золотом стоит вещь!

Маленький тщедушный китаец, спавший по соседству с Аламжи на полу, вздрогнул и пополз на четвереньках под топчан. Испугаться было чего: Аламжи, казалось, потерял рассудок, пена выступила у него на губах, глаза покраснели, огромные кулаки готовы были обрушиться на голову каждого, кто рискнул бы приблизиться. Даже Осор, взглянув на друга, отшатнулся.

В открытой двери показалось семеро детишек — лесенка, мал мала меньше. Они выглядывали оттуда, сверкая коричневыми глазенками.

— Что же такое у вас украли? — спросила хозяйка. — И притом двадцать тысяч...

— Зандан, — начал было Аламжи.

— Не болтай! — оборвал его Осор.

Китайцы и подумать не могли, что на их земле кем-то украден священный бурхан¹. Окрик Осора был как нельзя кстати...

— Какой такой «зан»? Не знаю такого...

— Говорю, вещь! — все больше накалялся Аламжи. — Если украл — сам знаешь, какую вещь!

— Нет, скажи! Двадцать тысяч русским золотом — это очень много.

Осор и Аламжи, припертые к стене, молча переглядывались.

— Правильно, пусть скажут, — подал голос кто-то лежавший у стены. — Может, у них нога монгольского верблюда была. Так ей цена два чоха.

Остряк глянул на соседей, но те молчали, и он прикусил язык.

Плюнув себе под ноги, хозяин вышел.

На лицах друзей было такое безысходное горе, что даже трусишка, забившийся под топчан, высунул голову и спросил шепотом:

— В самом деле у вас что-нибудь украли?

¹ Факт похищения деревянной скульптуры Зандан Жу действительно имел место.

В 1905 г. предприимчивый лама из Бурятии, подкупив настоятеля пекинского храма, где находилась скульптура, завладел ею и доставил в Эгэтуйский дацан. Сразу же после исчезновения деревянного Зандана Жу храм был подожжен. (Прим. автора.)

Убитые, с опущенными головами друзья вышли во двор. Здесь они еще раз обшарили взглядами закоулки, но, кроме собственного вислоухого осла, ничего не обнаружили. Собираясь заплакать, Осор скривил рот, отвернулся и, махнув безнадежно рукой, поплелся куда-то. Аламжи стоял будто вкопанный.

— Хэ-хэ! Аламжи, слышишь, Аламжи! — вдруг закричал из-за ограды Осор. Голос у него был пронзительный.

Аламжи бросился на помощь. «Хозяин подкупил людей и учинил расправу, — успел сообразить он. — Погодите же, подлые воры, я вас проучу». Калитка оказалась закрытой, ему некогда было искать задвижку, он навалился на нее грудью, выломал и в несколько прыжков очутился возле Осора. Странно: его друга никто не бил, он подпрыгивал на одном месте и кричал как сумасшедший, указывая пальцем на какой-то сарай. Аламжи ничего не понимал.

— Чего ты стоишь как неживой? — кричал Осор. — Ты разве ничего не видишь? Ну, посмотри вон туда! — Он показывал на бамбуковый сарай, в котором китаец, по всей вероятности, жарил пампушки на продажу караванщикам.

Аламжи вгляделся и от изумления раскрыл рот. Там, за реденькими стволами бамбука, он увидел козу и рядом с нею бурхана, завернутого в шелковое покрывало. Аламжи кинулся к сараю. И в самом деле тут валялся вымазанный в грязи небожитель, а рядом с ним — порожняя торба, в которой друзья хранили запас китайских пампушек и две-три горсточки рису. Дело было ясно: привлеченная запахом пампушек, коза прокралась ночью в дом, попыталась полакомиться, но запуталась в веревках и вынесла на рогах все богатство двух беглецов. Уединившись в сарае, коза прогрызла не очень-то крепкое полотно торбы, всласть поела, но выйти не смогла, запутавшись в веревках. Аламжи хохотал. Подвернувшегося под руку Осора он обхватил и подбросил к потолку. То же самое он проделал и с хозяином, который в сопровождении постояльцев прибыл на место необычного происшествия.

— Как хорошо, как хорошо! — повторял почтенных лет китаец, освободившись от объятий Аламжи. — Как хорошо, что нашлась моя коза и ваши драгоценные вещи... Боги внемлют...

На шум подроспела хозяйка. Уперев кулаки в рыхлые бока, она подступила к постояльцам:

— Ах вы, мерзкие твари! Да как вас только земля носит! Обвинили нас в краже, а сами успели привязать мою козочку к своему грязному барахлу. Слава богу, не удалось вам очернить меня, сами попались. Как вы думаете? — повернулась она к постояльцам. — Разве не видите, что за люди перед вами? Сломали калитку, мою козочку связали...

Китайцы придвинулись. Их вид не предвещал ничего доброго. Аламжи приготовил кулаки, но его вовремя остановил Осор. Со свойственным ему хладнокровием он объяснил хозяйке и взбудораженным караванщикам, как все произошло, почему козочка очутилась в сарае. Для пущей убедительности он поднял с земли торбу и показал жалкие остатки того, что в ней хранилось. Китайцы от души посмеялись и пошли досыпать. Осор и Аламжи, не мешкая, погрузили вещишки на ослика и двинулись в путь.

На ближайшей станции беглецы накупили продуктов и после короткого отдыха поспешили вперед. По обеим сторонам дороги возвышались утесы, потом потянулась равнина с извилистой речкой, тут и там виднелись купы деревьев, лоскутные плантации гаоляна, гороха, чая. На все это великолепие друзья не обращали внимания: они решили еще сегодня к вечеру пересечь Великую китайскую стену, после чего погоня казалась им маловероятной.

За равниной дорога стала каменистой. Кое-где она совсем пропадала, но Осор, знавший эти места, находил луть по приметам. Камней становилось все больше, казалось, недавно тут случилось землетрясение. Но вот наконец они вышли на хорошую дорогу, местами даже устланную мраморными плитами. Стали попадаться одинокие всадники, группы пеших ремесленников, паломники, возвращающиеся из Тибета, европейские путешественники в сопровождении переводчиков и проводников, караваны русских и китайских купцов. В одном из таких караванов среди погонщиков Осор и Аламжи узнали недавних своих друзей по переходу из Урги в Пекин и пожелали им счастливо завершить путь.

Солнце еще не село, когда друзья добрались до Великой китайской стены. Даже усталые, они залюбовались этим сооружением, утопающим в предвечерней дымке.

То теряясь в горах, то возникая на фоне чистого неба, стена уходила в расщелину скалы. Сколько надо было вложить труда, сколько пролить пота и крови, чтобы воздвигнуть такое сооружение! Неимоверной величины камни, известку, песок и вековые деревья — все это люди переносили на себе, поднимали вверх, укладывая по единому плану.

Дорога то петляла по склонам, то круто поднималась к самым облакам, то шла чуть ли не отвесно вниз. Ее пересекали бурные речки с ветхими мостами и без мостов, широкие овраги, глубокие рвы. Может, китайцы, опасаясь набегов, нарочно содержат дорогу в таком состоянии? Тут была, пожалуй, доля истины, ведь и Великая стена была построена для того, чтобы навсегда преградить путь кочевым племенам.

Вконец измученные друзья с Зандан Жу-бурханом кое-как добрались до Калгана. С двух сторон Калган обнесен высокими стенами, которые упираются в скалы. Где-то недалеко в горах берут начало две речки Дунхэ и Сихэ, причиняющие горожанам немало хлопот.

Улицы в Калгане вымощены булыжником, для пешеходов сделаны тротуары — наспех набросаны камни. Горожане предпочитают ходить серединой улиц, где булыжник отполирован и утрамбован.

Калган так же шумен, как и все китайские города. На каждом шагу здесь встречаются палатки и магазины, где торгуют галантерейной мелочью и снедью. Но чего особенно много в Калгане — это чеснока. Он лежит почти в каждой лавке, гроздьями висит в открытых сараях, заполняет лотки и корзины торговцев. Продают здесь и чай, но его не так много, как чеснока.

Достигнув монгольских степей, друзья не хотели оставаться в городе. Переночевав и пополнив запас еды, они поутру двинулись к городским воротам. Только сейчас Аламжи заметил, что, кроме бурхана и харчей, на ослика навьючен еще один тюк. Он спросил, что там такое, но Осор только улыбнулся:

— Не торопись, скоро узнаешь.

Из Калгана в монгольские степи ведут двое ворот — одни узкие, оборонительные, построенные в древние времена, а другие широкие, пробитые в стене уже после того, как маньчжуры покорили Монголию. Пройдя узкими улочками и переулками через весь город, минуя древ-

ние ворота, Осор и Аламжи остановились. Ветерок волнами пробегал по расцвеченной траве, ласкался к путникам, будто соскучившийся ребенок. В голубом небе заливался жаворонок.

— Вот они, родные просторы! — не удержался от восклицания Осор. — С этих степей и начались мои странствия.

— Каждому известно начало его пути, — глубокомысленно заметил Аламжи. — Однако только богу известно, где он кончится.

Завидев первые монгольские юрты, Осор остановил ослика и снял небольшой тюк, которым еще сегодня интересовался Аламжи. Там оказалась монгольская одежда — халаты, рубашки, штаны, даже кожаные гутулы.

— Халат шелковый! — удивился Аламжи. — Где ты все это взял?

— Зачем так много вопросов? — отшутился Осор. — Надо было — взял. Показываться на глаза монголам в наших грязных одеждах нельзя. Мы же сопровождаем Зандан Жу-бурхана, мы не какие-нибудь бродяги.

О своей встрече с Томасом, о том, что тот дал ему денег, Осор предпочел умолчать. К чему тревожить взрослого ребенка?

Принарядившиеся Осор и Аламжи выглядели настоящими степными князьками, их встречали с почетом. Совершив молебен перед ликом Зандан Жу-бурхана, шаргольцы хорошо накормили путников и подвели к ним коней. Хоть и не отменные это были скакуны, все же скорость передвижения наших друзей значительно возросла. Уже через восемь дней они добрались до Ногогто Сумэ, в четырехстах верстах от Калгана. Подвесив узел с бурханом на палку и взявшись за оба конца, они проехали по селению, строгие и величественные, как сами небожители. Весть о Зандан Жу-бурхане с быстротой молнии дошла до стариков и юнцов. Ламы отслужили молебен, собрав с прихожан изрядное приношение, и подарили «святым людям» — Осору и Аламжи — двух отличных иноходцев. Несколько десятков молодых аратов вызвались проводить их до Асыр Сумэ на границе Внутренней и Внешней Монголии.

С первыми лучами солнца Осор и Аламжи вскочили на украшенных хадаками коней. Зандан Жу-бурхан был

помещен в коляске под желтым балдахином. Сопровождающих набралось не менее полусотни.

— Ой-е! — вырвалось из груди Аламжи, когда он оглянулся на принаряженных монголов.

— Подожди, не то еще будет, — шепнул ему Осор.

Они мчались на лихих скакунах, и встречный ветер уносил к границам Китая все их горести и страдания. Впереди них соколом летела весть: в сопровождении могучих баторов движется богоподобный Зандан Жу, в Асыр Сумэ состоится большой хурал, здесь можно поклониться бурхану, вымолить у него прощение за грехи, попросить, чтобы скот всех пяти видов размножался также быстро, как размножается саранча.

К приезду Осора и Аламжи в Асыр Сумэ собралось несколько тысяч монголов из ближних становищ. Здесь были и халха-монголы, и баргуты, и буряты, и бурбэты, и чахары, и олеото-монголы, и шумэты, и узэлешэ, и хушото, и сунит-монголы. Бурхана, сотворенного самим небожителем, они встречали, распростершись на земле. Три дня и три ночи не умолкали в Асыр Сумэ рокот молитвенных барабанов, вой больших и малых труб, перезвон священных колокольчиков. Степь наполнилась запахами санзая, ароматных свечей, вареной баранины.

Собрав невиданные приношения, ламы решили устроить Аламжи и Осору такие проводы, каких удостаиваются только высокорожденные посланцы самого Далай-ламы. Их нарядили в шелковые темно-синие халаты, набросили на плечи огненные плащи и, благословив в дальнейший путь, подвели черных скакунов. Когда Аламжи, одетый в дорогие одежды, вскочил на коня, на него с завистью посмотрели не только бедняки, но и сыновья знатных князей. Что касается молоденьких богомолок, то их сердечки учащенно забились. Аламжи и в самом деле выглядел красавцем батором. Широкоплечий, осанистый, с горделивым взглядом — он не мог не вызвать зависти одних и восхищения других. Конь будто чувствовал, что все взгляды устремлены на его седока. Он пританцовывал, грыз удила, сбруя его издавала приятный звон.

По знаку настоятеля дацана всадники сорвались с места и помчались на север по направлению к Далай-нору. Впереди скакали Осор и Аламжи, за ними два

монгола на белых, как лебеди, лошадях с тележкой под желтым балдахином, а дальше — двести всадников, представляющих все монгольские племена.

* * *

Всю ночь полыхали костры у седого вала Чингисхана. Только перед рассветом погрузились в сон и самые набожные и самые разговорчивые.

Будто напуганное приближением утра, припало к земле и пламя костров. Ни единого звука не рождала в эти минуты степь.

Аламжи спал, как ребенок, не успевший за свою короткую жизнь совершить ни доброго, ни худого дела. Его правая щека плотно прилегла к траве, руки были широко раскинуты, словно он хотел обнять степь.

Когда он проснулся, мимо него бежали монголы. Пятеро парней стояли среди потухших костров и дули в раковины, извлекая из них трубные звуки. Значит, настала пора трогаться в путь.

Осор и Аламжи вскочили на подведенных к ним вороних скакунов, и все заняли места в заранее установленном порядке, когда из утреннего тумана вынырнула коляска, запряженная четверкой горячих лошадей. За ней следовала большая группа конников. Конники стали вытягиваться в длинную цепь и по ходу солнца окружать желтый балдахин со всеми сопровождающими его монголами. На землю спрыгнули двое дюжих лам в сверкающих шапках и помогли сойти с коляски молодому человеку с окладистой бородой. Аламжи узнал чернобородого.

— Цугульский гэгэн, — повернув голову в сторону Осора, прошептал он. — Благословлял меня, когда я боролся на приз Далай-ламы.

Аламжи почтительно сложил ладони и, не слезая с коня, склонил голову перед высокорожденным.

Ни на кого не глядя, гэгэн двинулся к балдахину. Его опередили двое лам и отвели в сторону белых коней, оглобли упали на землю, издав резкий звук. Гэгэн возле тележки опустился на колени и стал молиться. Монголы, затаив дыхание, следили за каждым его движением. Потом он опустил руку, не меняя торжественного выражения лица, обвел взглядом конников и поднялся с колен.

Совершив вокруг тележки круг по ходу солнца, гэгэн осторожно приподнял шелковое покрывало и заглянул внутрь.

Довольный осмотром, он вернулся к своей коляске. Лама передал ему какой-то мешочек, а сам побежал к Аламжи. Взяв под уздцы его коня, он тихо сказал:

— За то, что Зандан Жу-бурхан пожаловал к нам, примите благословение.

Аламжи спешился, подошел к гэгэну и опустился на колени. Тот передал ему увесистый мешочек и жестом пригласил стать по правую сторону. Осор, получив такой же мешочек, занял место по левую руку гэгэна. Высокорожденный воздел руки к небу:

Пред высочайшим ликом
С тридцати трех великих небес
Прибывшего к нам Зандан Жу-бурхана,
Дарящего счастье смертным,—
Падаем ниц, преклоняемся!
Досточтимых Аламжи и Осора
От имени восьми отцов
Благословляю,
Каждого восемью тысячами
Одаряю.
Да будет легок бег коней ваших!
По-монгольски, по-бурятски
Благословляю! ¹

Осор и Аламжи еще раз преклонили колени, и высококорожденный лама вторично благословил их.

— Высокочтимые араты, пришедшие от подножий Хинганского хребта и Хэнтэйского хребта, вы, породнившиеся с горными орлами, примите из рук всесильного Зандан Жу-бурхана священный юрол ².

— Да исполнится юрол! — на разные голоса подхватили монголы.

— Настала пора проводить дальше солнцеликого Зандан Жу-бурхана. Желаю вам счастья, араты!

Аламжи, сам от себя того не ожидая, сделал шаг вперед, упал перед гэгэном на колени и сложил ладони:

— Высокорожденный гэгэн, мудрый учитель, разрешите молвить слово!

¹ Перевод Ю. Кузнецова.

² Ю р о л — напутственное слово, благопожелание.

Гэгэн попятился было назад, но вовремя взял себя в руки.

— Чего тебе, сын мой?

— Святой учитель, я вернулся из дальнего странствия, не видел свою семью четыре года. Моя родина — Алхана. Отсюда до моей юрты ближе, чем до Цугула. Не позволите ли вы отсюда направиться домой?

Гэгэн согласно закивал головой.

— Ты уже исполнил свой долг, заслужил покой и отдых. Отправляйся домой.— Высокорожденный обратился к Осору.— Ты отдай ему своего коня, а сам садись со мной. Пусть твой друг, меняя коней, едет домой.

Осор сложил ладони и подскочил к Аламжи.

— Этот негодяй,— шепнул он ему,— надул нас. За такое не по восемь тысяч надо, а втрое больше.

Набожный Аламжи изменился в лице.

— Не говори так!

— Эх, ты все такой же... Ну, ладно, я им покажу!..

Телега, запряженная четверкой резвых коней, понеслась. За ней, в окружении многочисленной охраны, поскакали два всадника. Дрогнула степь, дорожная пыль обдала пряным запахом одинокого Аламжи.

На правом берегу Хара-нора собрались тысячи. Ромашки и одуванчики, иван-чай и сарана были вытоптаны и смешаны с землей. Собрались здесь подданные белого царя: нойоны, купцы и промышленники, богачи и батраки. На телегах, запряженных лошадьми и верблюдами, быками и даже коровами, прибыли они сюда. Многие приехали семьями, с домашним скарбом, с собаками. Около трех сотен самых знатных лам расселись на олбоках, покрытых коврами, и образовали полукруг длиною сажень в двести. У каждого ламы на коленях лежали священные книги, колокольчики, барабаны; кое-кто, по тибетскому обычаю, крутил хурдэ. Ламы рангом пониже и хувараки собирали в степи аргал и подносили его к котлам, где варились чай и похлебка. Нищие и калеки выпрашивали кусочек мяса или грош.

Старик Мо Фей раскинул свою дырявую палатку, разложил костер и уже сварил суп. Он совсем постарел, этот добрый китаец, и не может, как прежде, делать бузы, да и не из чего их готовить. Если дела и дальше так

пойдут, то ему уже недолго останется до нищеты. К его котлу подходят такие же бедняки, как и он сам. Что они могут заплатить? А богачи похваляются друг перед другом достатком, бросают деньги торговцам и не требуют сдачи.

В сторонке от жующих и пьющих одиноко прохаживается старик Загда. Он часто бросает взгляды в степь, откуда должен явиться Зандан Жу. Вид у старика неважный: его лицо совсем почернело, щеки ввалились, только губы кажутся еще толще. Нет у него в руках ни верблюжьей кости, которая столько лет кормила его, ни заветного мешочка с деньгами. Наверное, Загда окончательно запутался в долгах, ему теперь может помочь один бурхан.

Прошел человек с обвисшим животом, с дряблыми щеками, в изношенной, давно не стиранной одежде. Люди почтительно расступаются перед ним.

— Неужели Бухэ-лама стал такой развалиной?

— Он ли это?

— Он самый.

— Не верится, что он мог бороться с Аламжи.

Судьба бывшего силача волновала многих.

— Что с ним случилось?

— Заболел человек, потерял прежнюю силу. Всю жизнь добывал пропитание силой, а тут ослаб. Подаяния стесняется просить. Будет ходить так, пока кто-нибудь не пригласит поесть. Но ведь не все люди догадливы.

Обросший бородой до бровей, грязный, в рваном бурятском халате и дырявых русских сапогах, человек подошел к Мо Фею:

— Не узнаешь?

Китаец отрицательно покачал головой. Нет, он не знает такого человека, не встречался с ним.

— Бывший урядник полиции Пустяков. Когда-то меня величали господином. Так-то, брат...

Сердобольный «брат» сжалился над Пустяковым и протянул ему тарелку супа. Зачем ворошить старое, вспоминать прошлые обиды? Ведь каждый может очутиться в его положении. Пустяков вылил себе в рот содержимое тарелки и зашагал прочь.

— Какой бравый был урядник!

— Так ему и надо, собаке!

Что же стряслось с урядником? Сперва его отстранили от должности за незаконные поборы, мордобитие и шантаж. Имея тугую мошну, он сунул две-три взятки нужным людям и был прощен. Теперь он решил показать свое рвение, и случай подвернулся. Когда-то давно каторжник Дегаев убил жандармского офицера Судейкина и бежал из Верхнеудинской тюрьмы. Следы Дегаева затерялись, но предполагалось, что он находится где-то в окрестностях Читы. Полиция назначила за поимку ни больше ни меньше как десять тысяч рублей. Его фотографии были разосланы во многие концы Сибири. Дегаев был изображен в трех видах: обритый наголо, с шевелюрой и с бородой. Снимки попали и в руки Пустякова. Демьян Пустяков решил, что перед ним три преступника, и все трое носят одну фамилию. Шло время, и ни один, похожий на них, не попадался ему на глаза. И вдруг свалилось счастье — он увидел в своих «владениях» всех троих вместе. Один, бородатый, правил коляской, другой бритоголовый, сидел на заднем сиденье рядом с кудрявым, но безбородым. Вид у всех был ухарский, если не сказать бандитский. Сомнения быть не могло — Дегаевы. Он арестовал их и послал в Читу донесение. Через неделю к Демьяну прибыл специальный нарочный. Каково же было удивление, когда нарочный самолично опознал в арестованных сына приамурского жандармского полковника, его секретаря-собутельника и кучера. Разразился скандал, крепко досталось всем чинам Читинского управления. Что же касается Демьяшки, то он был изгнан из полиции без права занимать там какую-либо должность. Пока у него водились деньги, он жил припеваючи. Но потом стал замечать, что прежние друзья от него отворачиваются, даже глупый Шаргай нос воротит. Пустяков ударился в пьянство. Нашлись новые приятели, которые помогли ему спустить не только имперIALы, но и последние гроши. Он остался яко наг, яко благ.

Купец Кукушкин, заметивший бывшего друга Пустякова, юркнул за палатку, разбитую для монгольского князька. Нет, он не питал к Демьяну враждебных чувств; он его стыдился. Нынче Кукушкин не только купец, но и управляющий конным заводом Петра Бадмаева. А этот советник белого царя очень строго

относится к своим подчиненным, он не любит, когда его люди якшаются с подозрительными.

Не мог отстать от богомольцев и старик Тагар. Он не изменился за последнее время, даже как будто помолодел. Видимо, боги благосклонно относятся к нему за его приверженность к желтой вере. Ходит здесь и горбатый Галсан с Шара-Дамбой, и улусные парни, известные кто силой, кто умом, а кто бахвальством. Прискакали сюда на отменных конях и Намсарай-тайша и Намдак со своим братом Лонхо. Не захотели сидеть дома и их жены. Навесив на себя все украшения, какие есть, они важно расхаживают в толпе, точно степные дрофы.

— Эй, люди, слушайте и смотрите! Сюда едет Зандан Жу-бурхан!

Показалось облачко. С каждой минутой оно росло, будто туча, которая вот-вот обрушит молнии. Но толпа не отпрянула, она устремилась навстречу, как устремляются караваны пустыни навстречу источнику. Когда показались всадники, многие пали на колени, более усердные распластались на земле. Через толпу пролетели телега с гэгэном, коляска с Зандан Жу-бурханом, охрана. Не всем удалось увернуться от копыт скакунов. Кому раздробило ногу, кому руку, а кто и совсем распрощался с жизнью. Но какое это имело значение? Главное — всесильный бурхан достиг агинских земель. Поэтому — вперед, вон к тем высокорожденным ламам, что сидят на олбоках, бьют в барабаны и медные тарелки, дуют в трубы.

Когда бешеная скачка внезапно оборвалась и гэгэн ступил на землю, весь народ оказался на коленях. Ползком богомольцы продвигались поближе к ламам и коляске с желтым балдахином. Даже гэгэн преклонил колени. На ногах остались только Галсан и Шара-Дамба. Позвав с собой наиболее верных друзей, они стали оттаскивать в сторону раненых и убитых, передавая их в руки родным.

— Погляди-ка, Галсан, не Шаргай ли это?

Шара-Дамба не ошибся. На земле лежал Шаргай-нойон, насмерть затоптанный лошадьми. Голова его была проломлена, нога неестественно подогнута под туловище, руки раскинуты. Его оттащили в сторону.

Когда Шара-Дамба и Галсан вышли из юрты улигер-шина и отправились вслед за богомольцами, Шаргай увязался за ними. Сколько ни гнали его, бывший десятский не хотел расставаться с намеченными жертвами и с теми деньгами, которые посулили ему. Он следовал за ними до самого становища, выжидая, когда можно будет подсыпать в чай содержимое пакетиков. И вот он лежит... Ирония судьбы: вместо того чтобы погубить других, он погиб сам; вместо ожидаемых милостей — заросшая чертополохом ямка, куда его кинули.

Друзья, конечно, не знали злых намерений, какие гнали этого человека по их следам. Но они были уверены, что ждать от него добра — все равно что ждать от волка раскаяния.

Собаке — собачья смерть.

Ламы-распорядители между тем прокладывали дорогу к Зандан Жу-бурхану самым знатным и самым богатым. Но на пути к заветной коляске стояли не только упрямые бедняки-заплатники, стоял еще котел и лежали свитки бумаги. К бурхану нельзя было попасть, не бросив в котел золотые или медные вещи, импералы или полтинники, не записав на бумаге быков, овец или последнюю корову. Цугульський гэгэн сидел возле котла и зорко следил, кто сколько жертвует.

Великое торжество в честь Зандан Жу-бурхана началось.

ПРОКЛЯТЬЕ НЕБЕСАМ!

По опустевшим дорогам, через притихшие улусы и летние стойбища Аламжи скакал к Алхане, забыв про усталость и жажду, помня лишь об одном: надо чаще менять лошадей. И он менял, перескакивая из седла в седло на ходу. Впереди, по сторонам дороги, в голубой дымке, вырисовывались увалы. Аламжи казалось, что не он, а они бегут ему навстречу. На память пришла песня, слышанная от Шаралдая. Тот всегда ее пел, когда был под хмельком. Аламжи тоже был пьян сейчас, но не от араки, а от близкого счастья. Переиначивая песню, он пел:

Скачет, скачет бегунец мой по степи —
Знает, что к Жалме я тороплюсь.
Горы синие бегут навстречу мне —
Посмотреть хотят на новый мой дэгэл.

Кое-где в падах ему виделись табуны коней, растянувшиеся цепочкой, как перистые облака, отары овец, стада коров.

Богаты мои степи травами густыми,
Богат мой край стадами и землей.
Так отчего же счастья не найти мне,
Так отчего расстались вы со мной? ¹

Он не заметил, как преодолел перевал и очутился в Агинской степи. Попридержав коней, Аламжи начал всматриваться туда, где должна была стоять его буса ². Но ничего похожего его взгляд не встретил. Только вершины гор, увенчанные белыми облаками. Только склоны, томящиеся в зеленой дымке. Только бескрайняя степь. Он вдыхал ее запахи, благословлял день и час, которые ниспослали ему случай вернуться на родную землю, но не чувствовал себя счастливым. Где же юрта, почему он не видит даже слабого дымка у подножия Алханы, не слышит лая собак?

Воздух родных степей стал обжигать ему горло. Страх пополз по спине. Аламжи протер глаза и почувствовал, что они затуманились не от пыли, а от слез.

Он что-то сделал с лошадьми, а что — потом уже никогда не мог вспомнить, — и те понеслись. Если бы кто-нибудь посмотрел на него, то мог бы подумать, что это летит огнекрылая птица. Он и в самом деле походил на птицу: края его оранжевой накидки надувались за спиной и разлетались в стороны.

Сколько времени он скакал? Может быть, четверть перегона, может, и целый перегон, пока не очутился в том месте, где должна была стоять юрта, за которую он заплатил страданиями, сотнями бессонных ночей и никому не ведомыми слезами. На месте юрты он увидел лишь черный круг. Он так рванул поводья коня, что тот приподнялся на задние ноги и прочертил ими две борозды в густой траве. Да тут был пожар! Сгорело все, осталась только коновязь, которую он сработал своими руками в канун отъезда в Лхасу. А что там желтеет среди зелени? Да это же котелок! Хоть и прошло много времени, он поржавел, но Аламжи сразу его узнал, они пользовались им еще в лесу, его нес за плечами Булад, когда шли к подножию Хан-Улы.

¹ Перевод Н. Рыбко.

² Б у с а — стойбище.

Вся буса заросла лебедой, крапивой и горькой полынью. Бегали мыши, запасая корм на зиму. А что же случилось с его семьей, есть ли у них на зиму уса? ¹ Да и сами они где?

Седеющая голова Аламжи опустилась на грудь. Он тихонько дернул коня за повод, и тот отяжелевшим шагом стал отходить от пепелища. Сорока опустилась на коновязь и застрекотала. Что она хотела сказать?

Боже милостивый, зачем ты меня мучил до сих пор, отчего не подсказал того, что открылось сейчас! Надо ехать к Самбу-ламе. Надо вернуть ему злосчастные шесть тысяч рублей, какие предназначались для святого Туван-хамбы. Самбу-лама всегда хорошо относился к его семье, он-то уж знает, где она сейчас мыкает горюшко.

Аламжи направил коней на дорогу к Агинску, хлестнул их поводьями, и те понеслись...

Самбу-лама лежал с поврежденной ногой, стонал и ругался. Как случилось, что цугульский гэгэн перехитрил его? Балбес и неуч, как он смог обвести его вокруг пальца! А ведь он клялся, что прежде всего завезет Зандан Жу-бурхана в Агинский дацан, а потом уже — в Цугульский. Ну, погоди, бабник! Нога у меня заживет, но твоя порожняя башка никогда не излечится от глупости. Я тебе еще покажу!

Находившиеся здесь ламы подносили ему то чаю, то араки, то русской водки. Двигались они не очень проворно, и это еще больше злило Самбу.

— Ой-ой-ёо! Где там чай? Сволочи, вам не орхимжо носить, а драные козы шубы. Совсем забыли о сане духовном, только и знаете, что обжираться да лапать молодых баб! Ой-е, почему чай холодный? И почему даете только чай? Хотите, чтобы я с голоду подох? Подохнете и вы! Вы же ничего не умеете делать!

Брюхастый унзад ² тяжело отдувался, заплывшие глазки бегали по сторонам.

— Понимаем, понимаем... Что еще можем сделать для вас?..

Снаружи послышался шум, распахнулась дверь, и в покой шэрэтэ ввалился высокий человек. Ламы попяти-

¹ У с а — откормленные на мясо животные,

² У н з а д — чин ламы.

лись ближе к наставнику. Испугаться было чего. Человек был одет в темно-синий халат, подпоясан дорогим кушаком, за спиной у него висела огненная накидка, на ногах сверкали лушанские гутулы. Высокий, широкоплечий, со шрамом на месте правой брови, он тихонько подходил к постели Самбу-ламы. Шэрэтэ вгляделся в детину и почувствовал, как у него холодеют руки. Да, он узнал этого человека.

— Аламжи-и, ты вернулся! — возопил Самбу. — Долго я тебя не видел!

Услышав имя гостя, ламы прилипли к своим местам и затаили дыхание. Ведь они знали, как расправился Самбу с его женой, а некоторые из них даже принимали в этом участие.

— Самбу-ламбагай, я вернулся. Наказа вашего не смог выполнить. Но не беспокойтесь, пожалуйста, в долгу перед дацаном я не останусь... Вот не знаю только, куда подевалась моя семья.

Лицо Самбу-ламы почернело, рот открылся, он не мог вымолвить ни слова, будто нечаянно проглотил дюжину иголок.

— Случилось что-нибудь, ламбагай? Говорите прямо, не мучайте.

— О боги, приключилось такое, что трудно даже сказать. Беда из бед, худшее из худшего, проклятие из проклятий обрушилось на твою голову, сын мой.

Не то от испуга, не то в порыве запоздалого раскаяния шэрэтэ заплакал. Ламы тоже начали шмыгать носами и прикладывать платки к глазам.

— По наветам горбатого Галсана и безбожного Шара-Дамбы, этих людей, опаганивших землю, осквернивших родники и реки, продавших души свои шолмосам, из-за колдовства этих двух тварей дети твои растворились в степи, а добродетельная жена лишилась рассудка и сгинула. За светлые души дорогих тебе сыновей, за Жалму мы денно и ночью молимся.

— Да, да, молимся, — хором подхватили ламы. — Помолись и ты, Аламжи.

Аламжи стоял посреди опочивальни, крепко закусив губу. Лицо его было синим, как лед в пасмурную погоду. Глаза прикрыты.

— Вот деньги, — глухо сказал он. Сверток вывалился из рук, звякнул об пол. Золотые монеты разлетелись.

Ламы, позабыв страх, бросились на пол, как куры на просыпанное зерно. Они хватали монеты и торопливо засовывали их в карманы, за пазуху, в рот.

— А-а-а! — заревел Самбу-лама и начал сползать с кровати.— Негодяи! Оставьте все на месте, я сам подберу! Уходите!

Забыв про сломанную ногу, шэрэтэ двинулся на четвереньках к Аламжи. Тот смотрел на него с высоты своего роста.

— У дома привязан карий скакун. Дарю его дацану. Молитесь за жену и детей.

Ничего больше не сказав, он повернулся и вышел. Вскоре послышался топот копыт.

— Обманул? Не оставил коня...

Один из лам подскочил к окну:

— На двух конях приезжал. Одного оставил.

У Самбу сжалось сердце: какой-то недотепа Аламжи разъезжает на двух конях, возвращает такие деньги, одет лучше князя... Неужели Шаргай не сумеет подсыпать яду Галсану и Шара-Дамбе? А ну — они встретятся с Аламжи. Не миновать тогда беды. О боги, помогите в трудный час своему служителю!

— Будь благословен сей дар. Примем его во славу веры.

Ламы склонили головы.

* * *

Аламжи мчался по дороге в Могойто, хвост пыли волочился за ним. Издали могло показаться, что по степи скачет двуглавый конь без седока — так низко Аламжи склонился к гриве. В груди его клокотала злоба.

«Кто бы мог подумать! Люди, которые слыли друзьями аратов, продали души шолмосам. Но погодите же, найду вас! Галсан, Шара-Дамба, как они могли? Все эти годы я думал не только о семье, но и о вас. А теперь...»

Прошло два дня. Аламжи скакал от аила к аилу, от улуса к улусу в поисках Шара-Дамбы и Галсана, а молва о его приключениях неслась впереди него. Неведомыми путями люди во всей округе уже знали, что вернулся из дальних странствий силач Аламжи, тот самый, что одолел пять лет назад непобедимого Бухэ-ламу;

Аламжи был в стране Жу¹, даже в самом Пекине, он разъезжает на черном коне в одеянии небожителей и разыскивает семью.

То же, что и несколько лет назад: голые ребятишки, натруженные руки мужчин, прежде времени состарившиеся женщины. Чашка чаю, теплое слово, кусок мяса подавались ему даже в самой бедной юрте. К богачам он и не заезжал. И никто ему не мог сказать, где сейчас Галсан и Шара-Дамба. Да, их недавно видели здесь, они вели разговоры о несправедливостях жизни, но где они сейчас — этого никто не ведает.

Ему приходилось, конечно, рассказывать о своих злоключениях в кругу доброжелателей; рассказывал он осторожно, боясь напугать сородичей. Но и то, о чем сообщал, производило большое впечатление.

— Капля, упавшая с лучезарного солнца,— говорили старики о его скитаниях и возвращении.

— Звезда, спустившаяся с небесного моря,— говорили девушки.

— Обломок алмаза, случайно попавший в грязь,— говорили сверстники Аламжи.

А некоторые шептали на ухо соседу:

— Судьба отвернулась от Аламжи. Он помечен перстом шолмоса!

А иные страдальчески повторяли:

— Мучается человек. И за что мучается? За преступления предков своих...

Где бы ни останавливался Аламжи, чтобы принять из рук хозяина чашку чаю и покормить коня, речь шла только о Зандан Жу-бурхане и о большом хурале, устроенном цугульскими ламами. Иногда упоминали о Галсане и Шара-Дамбе, которые хотели задержать богомольцев на пути к Хара-Нору. Чувствовалось, что многие араты не одобряют их, но говорят о вольнодумцах с уважением. Ни разу Аламжи не слышал о них худого слова. О Самбу-ламе никто не говорил. Люди боялись произносить его имя.

Боль Аламжи притупилась, ярость перешла в печаль. Он стал придерживать своего коня, пытался думать о будущем житье, но ничего придумать не мог. Мысль снова и снова приводила его к мщению.

¹ Жу — Лхаса,

Губы его потрескались и запеклись, глаза ввалились, подбородок покрылся щетиной. Где он только не успел побывать! Обскакал десятка два улусов, забирался в тайгу, увязал в болотах, поднимался на кручи. Невдалеке от него парили орлы, чуть ниже громоздились скалы, зияли ущелья. Далеко-далеко угадывались одинокие айлы, змеились дороги и речки.

— Жалма! Отчего ты не дождалась меня? Зачем бросила меня одного? Откликнись, Жалмахэн!

Только эхо откликалось ему.

— Родненькие мои Булад и Балбар! А вы-то где бродите, где мыкаете горюшко горькое? Кто накормит вас, кто согреет? Где искать вас, скажите...

Ветер подхватывал его слова и уносил.

На сей раз Аламжи остановил уставшего, со сбитыми копытами коня на берегу Аги. Речка текла плавно, шептались темные волны, бурлили кипящие водовороты и перебаты.

«Смирная речка... Я полюбил тебя с тех пор, как впервые увидел. Вспоминал о тебе на равнинах Монголии и в горах Тибета, среди рисовых полей Китая и на улицах громоздких городов. Может, ты разлучила меня с Жалмой? Скажи, не скрывай».

Он закрыл глаза и прислушался. Ему почудилось, что кто-то тихонько зовет его:

— Аламжи-и! Слышишь ли ты меня?

Он снова и снова стал прислушиваться, но больше ничего не мог разобрать. Долго сидел он на вороном, не смея оторвать глаз от воды. Потом Аламжи слез с коня, расседлал его, стреножил и пустил на луг, а сам припал к воде. Он целовал нежные струи. «Не бойся, Аламжи, не бойся... Хочешь, мы донесем тебя туда, где ты забудешь свои горести и успокоишься. Спускайся к нам!»

«Нет, нет,— твердил он про себя.— Я не сделаю этого. Если мне не суждено увидеть Жалму, то я должен найти сыновей, должен прикрыть их от непогоды и уберечь от злых людей. Только не теперь...» Он оторвался от воды и лег под ближайшим кустом.

Мысли, одна другой непрогляднее, проплыли в его голове. Вновь и вновь вспоминал он свою жизнь с того дня, когда чуть не убил отца, и до последних дней. Где же он споткнулся? Где отыскать тот маленький поворот,

который привел его в этот тупик? Когда это случилось? Может, там, в Тунке, когда он без памяти влюбился в Жалму и стал навещать ее темными осенними ночами? Или с той ужасной беды у колодца? А может быть, виною всему коса? Ведь он отрезал ее и бросил в огонь, нарушил обычаи предков. А может, сомнения всему виною? Чем больше он молился, тем больше сомнения окутывали его.

Небо показалось ему черным, солнце заволокло пеленой. Снова прикрыл он глаза и впал в забытие. А когда открыл — над головой стояла луна. Потом он уснул опять и спал до утра.

— Аламжи! Вон пасется его черный конь. Аламжи-и-и! Да где ты?

Аламжи сел и протер глаза. К нему шли двое — один высокий, чуть припадающий на правую ногу, другой низенький, широкий в плечах и сутулый.

— Который день мы ищем тебя! — враз заговорили подошедшие. — Как только услышали, что ты, Аламжи, вернулся, сейчас же покинули большой хурал и прямо сюда направились, в Агинск.

Галсан и Шара-Дамба: оба улыбаются, протягивают к нему руки.

— Что вам от меня нужно? — Аламжи вскочил на ноги, схватил Галсана за грудь, оторвал от земли и приблизил к себе. — Говорите, зачем ищете меня.

Шара-Дамба поспешил на помощь другу.

— Что ты делаешь? — закричал он. — С ума сошел... Да как тебе не совестно?..

Аламжи осторожно опустил горбуна на землю и спрятал лицо в ладонях. Через минуту он уже рыдал, слезы струились между пальцами.

Шара-Дамба и Галсан уселись рядом, не смея вымолвить ни слова. Утренняя заря уже отпыхала, уже засветились вершины сопок и солнце выкатилось на небо. Было тихо. Только слышался хруст травы на зубах вороного.

Первым заговорил Галсан. Притронувшись к плечу Аламжи, он начал рассказывать ему, что произошло в степи за эти длинные четыре года. День за днем он восстанавливал страшную картину того, как Самбу-лама преследовал Жалму, какими сетями ее оплел, как довел ее до отчаяния. Ему помогали и Лонхо, и ламы вы-

соких званий, и даже недалекий Тагар, который хотел выслужиться перед князьями. Все сказал ему Галсан, ничего не утаил из того, что сам знал и о чем поведали ему люди.

Аламжи лежал неподвижно, словно опять заснул. Друзья вынули из тороков и расставили на потнике бутылку молока, ячменные лепешки, сушеные пенки: пусть Аламжи подкрепится. Но тот вскочил на ноги. Его глаза засверкали, пальцы сжались в кулаки, дышал он с хрипом, как загнанный конь.

— Хватит!

Он рванул верхние пуговицы халата, вытащил из-за пазухи висящего на веревочке бурхана и положил его на свою заскорузлую ладонь.

— Ты, всесильный, и я, немощный, сколько лет дружили... Столько надежд возлагал я на тебя! Друзьям не всегда верил, а тебе — всегда. А ты играл моей жизнью. Паршивая игрушка! Может, я ошибаюсь? Так покажи свою силу, власть покажи справедливую...— Мгновение помедлив, он сорвал бурхана с веревочки, размахнулся и бросил его в волны.— Я знаю, кого мне надо искать!

Аламжи распутал коня, взнуздал, подтянул подпруги и взвился в седло.

— Вы слышали о Ван Тумэре?

— Нет, не слыхали,— ответили одновременно Шара-Дамба и Галсан.

— Я знаю, кого мне душить! — продолжал Аламжи.— Он мне во всем сознается... Но пощады он не дождется, черная тварь!

Гикнув, Аламжи пустил коня рысью.

ЧЕГО НЕ ПРЕДВИДЕЛ ОСОР

Снова всполошилась Агинская степь... Не на ярмарку, не на игрища собрались толпы аратов, а по случаю прибытия в Цугульский дацан богоподобного Занда Жу-бурхана. День и ночь тянулись вереницы двухколесных телег, блестящих фаэтонов, толпы пешеходов и всадников. Агинский дацан даже при явлении «живого бога» не собирал столько людей, сколько собралось нынче в Цугуле. Верующие прибыли не только с берегов Аги, но и с Онона, Шилки, с Уды и далекого Баргузина.

Больше месяца продолжались молебствия, и высокорожденные ламбагаи так устали, что уже через неделю не могли совершить полные обряды, а лишь выставляли Зандан Жу-бурхана перед храмом, благословляли богомольцев и собирали дань.

Наконец богомольцы схлынули. Тихо стало в Цугуле: ни прохожих, ни всадников, ни лам. Только собаки лениво переходили от одного кострища к другому, доедая то, что оставили богомольцы. Водворив Зандана Жу в келью, ламы принялись за самое серьезное дело — за дележ приношений. Несколько суток подряд подсчитывались деньги, взвешивалось золото и серебро, проверялись списки дарованного дацану скота.

Но и дележ закончился. Самые дорогие вещи достались гэгэну и его приближенным, скот был определен в дацанские стада, кое-какая мелочь перепала и ламам средних званий. Всем же остальным, не достигшим звания тэбши, преподнесли круто посоленный кукиш, и справедливость, таким образом, восторжествовала.

Осор, получив восемь тысяч рублей за доставку бурхана, согласился остаться в Цугуле хранителем Зандана Жу. Гэгэн обещал ему за это ежемесячно выплачивать небольшую сумму из поступающих приношений. Небольшую сумму! Отчего же он не поторговался с гэгэном, согласился на гроши? Ведь сами высокорожденные вон сколько заграбастали за этот месяц, ничем не рискуя.

Осор смотрел на дележ добычи, и жадность все больше одолевала его. Только приляжет, закроет глаза, как ему представляются груды золота и серебра, соболя и рысьи шкуры, табуны лошадей, стада быков. Он вскакивал и пробирался в главный зал храма, где ламы ругались между собой как торговцы; постояв тут, он снова возвращался в свою келью. Ламы относились к нему с подозрением, а гэгэн сказал, что если он, Осор, будет любознателен и болтлив, то окажется без места.

Можно было, правда, мириться. В конце концов он имел уже больше восьми тысяч рублей. Через год капитал удвоится, затем и утроится: не всегда же его будут держать на скудном жалованье. Можно потом уйти из дацана, открыть лавочку, а то и харчевню...

Все можно было сделать с такими деньгами, если бы однажды к нему не ввалился Томас. Похудевший, с за-

павшими глазами, запыленный, он сверлил Осора взглядом:

— Так, так... Положил в карман кошелек и удрал? Как подлый трус, как шакал! Знаешь, что бывает с людьми, подобными тебе? Их порют розгами, а потом убивают дубиной. Так вот, выбирай: или ты будешь честно мне помогать, или отправишься в свою дурацкую нирвану. Выбрал?

— Чего тебе от меня нужно? — хриплым голосом спросил Осор.

— Ты, собачье отродье, не захотел мне помочь в вербовке лам. Черт с ними, с ламами, я и без тебя уговорил дюжину желтошапочников. Туван-хамбу трогать пока нет смысла. Ну, а Зандан Жу-бурхан мне приглянулся. В Лондоне за него миллион отвалят. Так что решай — или Зандан Жу, или смерть.

Раздумывать не приходилось. Осор твердо сказал:

— Хорошо, я согласен. Но надо подождать, когда все успокоятся...

— Хорошо, подождем. Но не думай, что и на этот раз выскользнешь из моих рук.

Томас исчез так же внезапно, как появился. В эту ночь Осор не мог заснуть. Что же делать, что делать? Подошел к двери, пощупал запор. Затем, приблизившись к Зандану Жу, стукнул его по лбу:

— Как думаешь, будет мне счастье?

На мгновение Осору показалось, что бурхан улыбнулся. Бывший лама отступил назад и почувствовал, как задрожали у него колени. Так прошло несколько ночей. Осор даже сам не мог сказать, спал ли он, оставшись наедине с бурханом или бодрствовал. Все чаще и чаще он соскакивал с олбоков, ходил по храму, приближался к бурхану и все думал над задачей, которую задал ему Томас.

«А что если в самом деле рискнуть? Закрыть на все глаза и рискнуть. Живем один раз, второго рождения не дождешься...»

Зачем столкнула его судьба с ненавистным англичанином? И кто его надоумил тогда пойти на берег Аги? Отправился бы спать, и встречи с Томасом могло не быть. А потом кошелек. Дурак, позарился... Надо было бросить ему в лицо деньги и пригрозить. А теперь поздно,

теперь плати за оплошность. Сегодня Томас сообщил в записке, что будет ждать его на берегу Онона.

Он прислушался к шагам охранников, к позвякиванию ключей на их поясах и чувствовал, как решимость покидает его.

Миновала полночь, Осор подошел к бурхану, потрогал его голову и поспешно отошел в дальний угол. Что-то пугало его, а что — он и сам не мог понять. Даже находясь в каменных мешках Тауэра, он не испытывал такого страха. Конечно, тогда он служил не только Туван-хамбе, но и всему Тибету, стране, которая приютила его, дала ячменную лепешку и веру в будущее. А сейчас кому он служит? Бурхану? Томасу? Нет, сейчас он не думает ни о ком на свете, кроме себя. Получить побольше денег, сделаться богачом, заставить других ползать перед собой на коленях, как ползал раньше сам — дальше этого его мысли не простирались.

— Ну, пора, — тяжело вздохнул Осор. Он старался ни о чем не думать. Машинально завернул бурхана в шелковое покрывало, отодвинул внутренние запоры храма, толкнул дверь и вышел в звездную ночь.

Невдалеке замаячила фигура гэсхы в сопровождении двух рослых хувараков. «Шолмосы и те спят в эту пору. Что же делать? Они, наверное, напали на след Томаса и теперь караулят нас обоих. Отступать поздно».

— Прочь! — не очень громко, но твердо скомандовал Осор. — Дорогу, дорогу!

Гэсхы сделал шаг назад, но все же спросил:

— Куда несешь бурхана?

Вопрос обрушился на Осора с тяжестью молота.

— Куда несешь? — еще раз спросил гэсхы и поднял дубинку.

— Разве не знаешь, что каждую ночь, когда все живое засыпает, надо выносить Зандан Жу-бурхана на воздух? — удивляясь собственной находчивости, спокойно проговорил Осор. — Прочь с дороги! Божественный Зандан Жу требует себе дорогу!

Гэсхы и хувараки, не ожидавшие такого оборота, раступились, а Осор неторопливой походкой зашагал вокруг храма, будто совершая ритуальный обряд.

...Уже настало утро, а Осор и Томас все шли. Их путь лежал вдоль берега Онона. Бывший лама прихрамывал, неся увесистого бурхана.

Осор конечно знал, что в Лондоне хотят открыть дацан и не пожалеют денег на столь редкого бурхана. Добраться бы только до первого морского порта, а там уже можно считать себя в Лондоне.

— Нам на Ургу и Калган идти не следует,— говорил Осор.— Надо пробираться в какой-нибудь ближайший порт...

Эх, как все удачно получилось!

Томас молчал.

Весть о пропаже божества разнеслась по степям. Цугульский гэгэн объявил на площади перед храмом, что человек, нашедший бурхана, сотворенного руками небожителя, будет щедро награжден деньгами и скотом, что ему из дацанских земель будут выделены лучшие пастбища. После смерти счастливец причислят к лику святых, его душа обретет нирвану. Разве мог кто спокойно сидеть дома, когда представлялась возможность так хорошо заработать. Пусть титул святого присвоят после смерти, не беда, зато деньги и скотину дадут при жизни...

Все, кто мог ногой достать до стремени, а рукой дотянуться до седла, мужчины и женщины, вскочили на коней и помчались в разные стороны. Даже дети бросили игры и бродили по степи в поисках Зандана Жу.

Но бурхан, сотворенный руками Би-Шу-Гармы, провалился сквозь землю. Долго искали его за сотни верст от Цугула, но так и не могли найти. А потом прошел слух, что в прибрежных кустах Онона обнаружен человек в ламском одеянии. Прибывшие туда посланцы гэгэна опознали в нем бывшего хранителя бурхана Осор-ламу. Его тело в нескольких местах было пробито пулями. Труп не мог выдать тайны...

ГЛАВА ПЯТАЯ

НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ
МИЛОСТЬЮ БОЖИЕЙ...

Валил снег. Крупными хлопьями он ложился на мосты, на памятники военной славы, на громады монументальных дворцов, на проспекты. Снег окутал всадника, простершего руку вперед, и его вздыбленного коня, и лачуги бедняков, и здание университета, и дворец, где

недавно божьей милостью воссел на престол двадцатилетний Николай Александрович Романов.

При жизни своего батюшки, Александра III, будущий помазанник Николай жил в Аничковом дворце и с помощью обер-прокурора Синода Победоносцева готовил себя к политической карьере. Став императором, Николай поспешил жениться на принцессе Алисе, дочери герцога Гессе-Дармштадского. Свадьбу сыграли не очень пышную, ибо не кончился еще траур по усопшему батюшке. Принцесса Алиса приняла православную веру и стала именоваться Александрой Федоровной. После свадьбы августейшая чета уединилась в Царском Селе.

Император стоял у окна, смотрел, как опускается на землю невесомый снег, и думал о своей белокурой жене. Сможет ли она понять все его усилия, направленные на укрепление российского трона?

Россия не оправилась от голода, в народе много недовольных. Крестьяне продолжали разоряться, уходили в города. В одном только Санкт-Петербурге десятки тысяч мастеровых не имели работы. Императора эти неурядицы раздражали, как раздражали его и ближайшие дворцовые заботы.

Адъютант, войдя, доложил, что к его величеству прибыл великий князь Александр Михайлович.

Николай задумчиво побарабанил пальцами, потом круто повернулся и кивнул: пусть войдет. Поздоровались они тепло. Александр Михайлович, женатый на младшей сестре Николая, лишь двумя годами был его старше, и детство они провели вместе.

Низенький, чуть доходивший до плеча зятю, Николай опустился в кресло и пригласил великого князя занять место рядом с собой.

— Чем же вы порадуете меня, дорогой Александр Михайлович?

— Мы никак не можем найти общий язык с Сергеем Юльевичем Витте, — перешел к делу великий князь. — Вопрос тот же: о флоте. Почему он не соглашается сделать Либаву главной базой нашего флота? Неужели для него авторитет великого князя, генерал-адмирала Алексея Александровича ничего не значит? Его поведение становится непонятным. Укрепить Либаву — не согласен, построить железную дорогу до Мурманска —

не согласен. Неужели его всецело поглотила Сибирь? Наверное, так оно и есть. Лавры Ермака не дают ему покоя...

Великий князь скривил губы, давая понять, насколько он возмущен поведением министра финансов. Николай барабанил пальцами по столу и молчал.

— В день своего совершеннолетия вы давали присягу, из бриллиантового зала были вынесены скипетр и корона... Вы поклялись именем бога, что не пожалеете жизни ради отечества и самодержавия...

— Что вы хотите этим сказать?

Розоватый шрам на виске Николая обозначился четко. Великий князь поспешил перестроиться:

— Я хотел сказать, ваше величество, что присягу давали и мы, члены царствующего дома. На верность своему императору... И мой долг предотвратить осложнения. Братья вашего августейшего родителя, Алексей Александрович и Сергей Александрович, а также матушка ваша Мария Федоровна настаивает на строительстве основного военного порта в Либаве. Думается, что всякое другое решение их не удовлетворит. Алексей Александрович заявил, что если вы поддадитесь уговорам своего министра, он сложит с себя ответственность за состояние флота.

Николай пристально посмотрел на великого князя:

— Важную весть принесли. Мы над этим подумаем...

Великий князь остался доволен: другого ответа он и не ждал.

— Государь, я и при жизни вашего августейшего батюшки не понимал многих действий Витте, а сейчас отказываюсь понимать хоть что-либо. Я только сейчас от него. Он настолько возомнил о себе, что даже начал поучать меня.

Николай барабанил пальцами, смотрел в окно и думал: «Когда они перестанут сплетничать друг о друге и оставят меня в покое?»

Но он вряд ли представлял, какая пропасть пролегла между его приближенными. Интриги опутывали его день ото дня. Свора карьеристов, политиканов, духовных и светских кликуш грызлась, кляузничала, сплетничала, писала доносы, шантажировала. При этом каждый старался в меру разума «делать» не только дворцовую политику, но политику России...

Витте знал о происках своих противников, но не мог предположить, что царь так быстро отступится.

Сергей Юльевич стоял возле большого стола, покрытого зеленым сукном, и возмущался: «До чего дошло дело! Впрочем, я это предвидел...»

Зал был пуст, Витте ораторствовал мысленно, в одиночку. Перед ним на длинном столе в беспорядке лежали бумаги, стояло множество чернильных приборов, стулья с высокими спинками были сдвинуты: здесь недавно кончилось совещание. «Опора российского флота — в Либаве... Какая у флота будет маневренность в Либаве? Да его может расстрелять одно торпедное судно неприятеля!»

Витте сидел в покойном кресле, а мысли его были одна другой беспокойнее. На прошедшем совещании подлежало решить, какой политики держаться на Дальнем Востоке после японо-китайской войны. Мнения были вразнобой, ораторы речисты. Сразу же стало ясно: этот словесный поток может потопить любую дипломатическую ладью. Когда наконец это кончится? Когда Россия обретет достойного правителя?

Витте намеревался встретиться с Петром Бадмаевым, знатоком Востока. Он убедился в его обширных познаниях по прежним встречам, по докладным запискам и проектам, которые тот часто выдвигал. Не принадлежит ли он к прожектерам и авантюристам, которые больше пекутся о собственном благополучии? Во всяком случае, воспользоваться его познаниями следует. Недаром же он, черт возьми, разъезжал среди своих соплеменников, не напрасно тратил деньги, отпущенные для мнимого торгового дома «Бадмаев и К^о». Ага, вон, кажется, его шаги...

Жамсаран Бадмаев перекочевал из Агинских степей в столицу белого царя с помощью старшего брата Султима. Учился он в университете, потом совершенствовался в знании восточных языков, постигал тайны тибетской медицины, к зрелым годам он одинаково хорошо знал как историю многих стран Востока, так и современное их состояние.

Человек хитрый, он без колебаний крестился, назвавшись Петром Александровичем, в знак преклонения перед наследником Александром. Впоследствии он часто повторял, что является крестником императора, и требовал особого отношения к своей персоне. Это возымело действие: его стали уважать и побаиваться. Служил он в министерстве иностранных дел, читал лекции в университете, затем стал врачевать недуги, прибегая к тибетской медицине. На счастье, первые опыты прошли успешно, и вокруг его имени возник ореол. Пользуясь популярностью и присовокупив к ней долю самонадеянности, он в 1890 году написал на имя Александра III докладную записку о задачах русской политики. Подпись выглядела так: «Ваш крестник Петр Александрович Бадмаев...»

Стрела, пущенная искусной рукой Бадмаева, на одиннадцатый день достигла цели и нанесла сладостную рану в сердце императора. Толпа авантюристов и прожектеров приняла в свои ряды еще одного искателя счастья. Самая первая и самая трудная ступенька оказалась под ногами Бадмаева. Он удержался на ней и решил идти выше.

Будучи советником, Петр Александрович имел возможность хорошо изучить политику Витте, оценить великое значение железной дороги, прокладываемой в Сибири. Витте и Бадмаев поладили. Сергей Юльевич хоть и называл его про себя азиатом, однако вынужден был признать его ум. Поддержка могущественного министра означала многое. А тут еще занедужил сын императора. Мария Федоровна была наслышана о чудодейственных средствах, которыми располагал Бадмаев, и поручила ему заботы о здоровье своего чада. Бадмаев сразу же вырос в глазах придворных, попутно нажив себе новых врагов из числа завистников. Но они уже не могли волновать его. Бадмаев шел дальше.

Бадмаев не уставая твердит царю о лакомом куске, лежащем к югу от Байкала-моря. Он твердит: на Востоке произошли перемены, выгодные для России. Китайцам надоела династия маньчжурских богдыханов, монголы только и ждут случая взяться за оружие. Вся надежда у них на русских. Недаром степняки-монголы слагают о славном и великом белом хане легенды. Следует организовать обмен товаров между русскими куп-

цами и монгольскими племенами. Монголы будут привозить нам мясо, жир диких коз и тарбаганов, кожи, а мы им в обмен на это — ружья, порох, свинец. Для русских строителей железной дороги мясо и жир диких животных послужат здоровой пищей, а наши ружья будут хорошо служить монголам во время охоты.

Следовало бы на Востоке создать скотоводческие и хлебопашные базы или опорные пункты. Располагать их надо по Онону. Места вокруг баз должны быть заселены надежными российскими подданными. Как только монголы поднимутся на богдыхана, за ними последуют и китайцы. Повстанцев выгодно будет снабжать оружием именно с этих баз...

К нам, на российскую сторону, непременно зачествят ламы из Тибета и Монголии, ученые, князья. Наш долг — принять их с подобающими почестями. Разъехавшись по домам, закордонные гости расскажут своим людишкам о добром приеме, какой они встретили в России. Те с еще большей надеждой будут обращать свои взгляды в нашу сторону. Престиж России поднимется.

Развивая торговлю, налаживая дружественные отношения с монголами и китайцами, Россия, по мнению Бадмаева, будет иметь такое влияние на местное население, что самые знаменитые ученые ламы, тайши и мандарины придут к нам с поклоном и попросят принять их в свое подданство. А пока развернутся такие события, русские не должны терять времени и спешным порядком вести строительство железной дороги от Байкала до Ланьчжоу-фу.

Вот коротко те положения, которые Бадмаев выдвинул перед правительством. Витте, сторонник железнодорожного строительства, ухватился за предложение Бадмаева. Он самолично составил доклад Александру III и приложил его к проекту Бадмаева. В докладе говорилось:

«Сибирская магистраль открывает новые горизонты и для всемирной торговли. Это ставит сооружение ее в ряд мировых событий, которыми отмечаются новые эпохи в истории народов и которые нередко вызывают коренной переворот в установившихся экономических сношениях между государствами...» Далее следовало: «Взгляды Бадмаева представляются мне весьма серьезными, они устанавливают новую точку зрения в прак-

тических вопросах политики». Витте даже намекнул в конце доклада, что если его императорское величество пожелает, то он, министр финансов, смог бы изыскать каким-нибудь способом соответствующие средства для поддержки этого предприятия.

Бадмаев, понятно, знал содержание этого доклада и чувствовал себя на тридцать третьем небе. Он уже предвкушал ту минуту, когда его руки погрузятся в золото по самые лотки. Но ликовать было рано. Александр III выстоял против искушения и ограничился резолюцией: «Все это так ново, необыкновенно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха».

Бадмаеву было от чего упасть духом. Однако не такой он был человек, чтобы остановиться. Он задумал переиначить свой план и выдать его за новый. Теперь он отказывался от строительства железной дороги до Ланьчжоу-фу и предлагал доставлять туда грузы с помощью верблюжьих караванов. Весь остальной процесс «освоения» Востока оставался прежним. Прежней оставалась и сумма, какую испрашивал Бадмаев — два миллиона рублей. Опять потянулись дни ожидания.

На сей раз министр заупрямился. Приостановить строительство железной дороги? Положиться на каких-то азиатских верблюдов? Нет! Лучше отложить план Бадмаева до лучших времен. Он категорически отказался выдать ему деньги и посоветовал больше к нему с подобными прожеками не обращаться.

Закусив удила, Бадмаев обратился к Александру III через голову Витте. Теперь император восхитился планом и дал распоряжение выплатить Бадмаеву испрашиваемую сумму по частям.

Итак, Бадмаев добился своего. 11 ноября 1893 года в Петербурге он основал фирму «Торговый дом П. А. Бадмаева и К°». Ее отделения были открыты в Чите и в других городах Восточной Сибири.

Прошумев по Агинским степям и в Чите, Бадмаев вернулся в Петербург, чтобы установить добрые отношения с новым царем. Временная размолвка с Витте была забыта, они по-прежнему тяготели друг к другу.

— Я пригласил вас, господин Бадмаев, может быть, и не вовремя. Должно полагать, вы занимались важными делами. Но за это уж простите меня. Ведь я каждую пятницу докладываю государю-императору.

— Смею заверить вас, господин министр, что нисколько мне не помешали. Напротив, очень кстати... Я как раз работал над вашим поручением.

Петр Александрович поднял свои быстрые глаза на Витте, чуть задержал их на андреевской ленте, украшенной орденами, и подвинул к себе портфель.

Витте сделал нетерпеливый жест, давая понять, что хочет говорить сам. Бадмаев склонил голову.

— Дальневосточный вопрос,— начал Витте,— становится камнем преткновения для многих держав... Я намереваюсь осветить позицию других стран относительно нашей азиатской политики. Помните, в начале японо-китайской войны мы ввели в Гири небольшие силы. Ввели вопреки желанию японцев. Никакой погоды наш слабосильный отряд в Маньчжурии не сделал, зато вызвал нежелательную для нас реакцию. Этот факт, после явного поражения Китая, стал незаживающей раной при ведении дипломатических отношений. Японцы любой факт могут истолковать в свою пользу. Сейчас Америка решила послать на Восток свою экономическую миссию. Конечно, их интересует не только китайский рынок, но и японская медь, и каучук, и олово, которыми богаты Целебес и Малайя. У них аппетиты не меньше английских. Германские монополии тоже не хотят оставаться на положении пасынков, они стремятся укрепить свои позиции в Китае. Франция и Италия тоже не прочь поживиться за счет Востока. Мы, имеющие общие границы с Китаем, не можем спокойно взирать на подобные вещи.

Витте стал несколько горячиться, будто видел перед собой противников. Он минуту помолчал, потом расстегнул ворот мундира и продолжал спокойнее:

— Вы предлагали хороший план. Но теперь обстановка изменилась, надо находить иные пути. Заседание только что закончилось. Я предлагал господам, военным и статским, продолжать нашу добрососедскую политику в Китае. Надо отдать справедливость господину Ваннсвскому, он высказался в поддержку. Господин Орлов промолчал: не хочет отрываться от Запада. А те, с которых спрос не так уж велик, требуют крутых мер. Покричали и разошлись.

Витте задумался, опустив подбородок на сжатые кулаки.

Возникла долгая пауза, каждый думал о своем. Витте думал о том, что покойный государь лучше понимал его дальневосточную политику. Разве не могут приложить свой капитал наши купцы и промышленники в тех краях? Иркутский губернатор граф Игнатьев в одном из своих отчетов отметил важность строительства железной дороги вплоть до Восточной Сибири. Александр III так откликнулся на эту мысль: «Прочитав отчеты сибирских генерал-губернаторов, я не могу скрыть свой глубочайший стыд и горечь и должен прямо сказать, что наше государство до сих пор не приняло ни одного мероприятия для освоения безгранично богатого и оставшегося втуне края. Пришла пора начать, давно пришла!»

Бадмаев выбирал удобный момент, чтобы вручить министру очередное свое детище. Решив, как видно, без особенных церемоний пойти напрямиком, Бадмаев извлек из портфеля коленкоровую папку и протянул ее министру. То был очередной проект, на выполнение которого надо было потратить еще два миллиона рублей. Кроме того, в проекте был пункт, которому Петр Александрович придавал не меньшее значение, чем миллионам. Этот пункт гласил: «Считаем необходимым назначить на должность главноуправляющего краем г-на Петра Александровича Бадмаева с полномочиями министра и члена Государственного совета».

Витте раскрыл папку и начал читать текст, написанный каллиграфическим почерком: Бадмаев никому не доверял переписку своих бумаг. Он дошел до конца, потом снова стал возвращаться к отдельным местам, делая на полях пометки, потом закрыл папку и одарил Бадмаева лукавым взглядом.

— Милостивейший государь, неужели вы меня принимаете за простака? Я тоже не лыком шит. Славных кровей, хотя и не русских, служу российскому престолу. А у вас, крестник царев, цели, подобные моим, или может быть...

— Именно те же цели...

Министр рассмеялся.

— Сам был не раз близок к подобным планам. Но если говорить об авантюризме, то он у меня более бескорыстен. Вы уже получили два миллиона, но ничего существенного не преподнесли к подножию трона. За

вами недоимка. Вы еще съездите в Пекин на те деньги, кои изволили получить по высочайшему соизволению. А уже потом посмотрим. Не обижайтесь, я не отвергаю ваших услуг, просто я даю время успокоиться вашим чувствам... В вашей записке, как всегда, есть вещи, которых не принять нельзя. А насчет денег — не обессудьте. И к государю обращаться по сему поводу не советую: хуже будет. Потеряете мое доверие.

Бадмаев в упор смотрел на министра: серьезно ли тот говорит. А Витте поднялся, давая понять, что аудиенция окончена:

— Я доложу о ваших предложениях его величеству.

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

Возле фабрики на Васильевском острове собралась толпа. Читали прокламацию, добротню приклеенную к стене, качали головами, вздыхали. Только несколько студентов — беспечное племя — смеялись.

— Удивляюсь,— воскликнул долговязый парень в форменной фуражке.— Неужели и у нас на Руси появились великие люди?

— Я разве не великий? Не смотри на мой рост, Наполеон и Гюго тоже были низенькими.

— Они были низенькими, а ты низкий!

— На нос обрати внимание, он у меня длинный и кривой, как у Вольтера. Что бы такое великое совершить? Разве пойти помощником к Плеве? Пересажали бы всех бедных в тюрьмы, Европа только бы ахнула: «Кто обогатил Россию?»

Рыжеусый мастеровой, закончив читать прокламацию, снял очки, спрятал в футляр и покосился на молодежь. Неласковый это был взгляд. А слова и того жестче:

— Вам бы, господа студенты, на годик бы очутиться в нашей шкуре. Свистуны!..

Полицейские стали разгонять толпу.

— Взять! — унтер-офицер показал на Вольтера.

Студенты сомкнулись и отразили натиск. Тогда унтер-офицер выхватил револьвер и три раза пальнул по верх голов. Вольтер все же был схвачен и увезен прежде, чем остальные «великие» люди успели опомниться.

Рыжеусый мастеровой, успевший перескочить на другую сторону улицы, наблюдал:

— Анархисты желторотые...

Такие сцены или подобные этим часто стали повторяться на улицах российской столицы. Недаром «Правительственный вестник» вынужден был прибегнуть к тону полиции: «Тех, кто говорит о революции, следует лечить пулями». Министр Дурново даже в воскресных школах для простого народа усмотрел крамолу.

Но рабочие уже понимали, что им не по пути ни с Дурново, ни с Победоносцевым, надо надеяться только на себя. И они тянулись к знаниям. Только в Смоленской школе за Невской заставой обучалось около шестисот «простолюдинов». Передовые люди учили рабочих не только писать и считать. Во время перемен рабочие заводили споры по поводу штрафов и стачек, прокламаций и зарплаток. Даже из этих разговоров можно было понять: над столицей подул свежий ветер.

— Выступать с оружием против своих же? Это безумие!

— Нет, дяденька, не совсем так. Вернее, вовсе не так. Есть два класса — рабочие и буржуазия. Мирным путем они не могут договориться...

— А, слышали! Принадлежат эти слова не вам, а Старик. Но скажу вам, Старик сам поет с чужого голоса... Я читал Маркса в подлиннике. Вы думаете, один Старик обо всем может судить? Ваша болтовня далека от социализма, как небо от земли. Лозунги, печатная пропаганда, прокламации и листовки! Возможно, это пригодно для просвещенной Франции, но только не для России. И вы ошибаетесь, что Старик — ваш друг. Тут надо быть осторожным...

Молодой рабочий не мог с ним согласиться:

— Все-таки мы его считаем своим!

— Прекрасно, прекрасно, юноша! А известно ли вам происхождение этого самого Старика? Знаете, откуда он пожаловал к нам?

— Знаем! Старик волжанин, и говорит он правду... Я сам три года просидел в Шлиссельбургской. Да, когда я там сидел, вы, наверное, распевали «Боже, царя храни...» Верно, Богдан?

— Боюсь, что такие вот способны на донос.

Предположение подтвердилось. Действительно, полицейские ворвались в школу на следующий же день. Они искали Богдана, но такого среди учащихся не оказалось. Блюстители закона арестовали пятерых «неблагонадежных», молодую учительницу и с тем удалились.

А Богдан в это время сидел в кругу рабочих, в небольшом домике с четырехскатной крышей. Из ограды этого домика можно было выйти на любую из улиц.

Постучали. Вошел подвижный человек среднего роста, с надвинутой на глаза фуражкой, в осеннем пальто с поднятым воротником.

— Здравствуйте, прошу извинить. Я немножко запоздал, не мог прийти обычным путем. Все собрались?

— Все, Николай Петрович.

— Начнем?

— Все в сборе. Люди фабричные, из разных кружков, правда, но друг другу доверяем.

Николай Петрович начал.

— Пока еще революционное движение не имеет опоры в народе. Такую опору мы должны создать в лице рабочих заводов и фабрик. Наш долг — знать положение дел везде и всюду, изучать нужды народа, чтобы всегда уметь правильно ответить на поставленные вопросы. И учиться постоянно, ибо без знания рабочие беззащитны, со знаниями они — сила... Вот вы, товарищ. Хорошо ли вы знаете свой завод? Какие заработки у рабочих? В чем они нуждаются? Во сколько человеко-дней обходится рубль? Интересовались вы когда-нибудь положением в другой мастерской, на другом заводе?

Кружковцы сидели, боясь пропустить слово. Ведь после лекции — они это знали — Старик попросит рассказать, как поняли они услышанное, столкнет мнения, вызовет спор.

Николай Петрович продолжал говорить:

— Только марксизм открывает перед трудящимися прямую дорогу к освобождению, к свержению самодержавия и установлению диктатуры пролетариата. Анархисты и народники не способны указать этот путь, ибо они находятся на ложных, антинаучных позициях. Не тайные заговоры нужны рабочим, а крепкая партия социал-демократов, способная, подобно стали, противостоять железу, быть солнцем против огня...

— А разве мы не строим такую партию? У нас тоже есть кружки. И начали они работать задолго до твоего приезда, Старик.

— Замкнутыми, разрозненными кружками теперь не обойтись. Нам надо иметь такие кружки на каждом предприятии, и притом подчиненные единому руководству. Повторяю, на каждом крупном заводе у нас должны быть свои люди, преданные марксизму. Когда нас поймет каждый рабочий, мы сможем перейти от пропаганды к широкой агитации. На первых порах будем выпускать прокламации, листовки, потом дойдем до газеты.

— После первой же прокламации арестуют всех...

— Волков бояться — в лес не ходить! — возразил Старик. — Прокламации уже делают и будут делать чудеса. За последние листовки никто не пострадал. Но мы должны быть готовыми ко всему. Мы знаем: на место одного арестованного станут десятки и сотни.

После долгих споров то на Петербургской стороне, то на Васильевском острове, то в посаде Колпино, то на Съезжинской или Большой Пушкарской Николай Петрович поздно ночью возвращался в дом номер 7/4 по Большому Казачьему переулку. Тут его неизменно ждала старушка.

— Почему вы до сих пор не спите, мамаша? Мне ничего и не надо, я сыт... Впрочем, извините. Впредь постараюсь приходить пораньше.

— Беспокоюсь, миленький. Боюсь, как бы в лапы к этим... не попал. Что еще может прийти в голову старухе, у которой два сына ни за что ни про что в Сибири. Ох-ох-хо!.. — И ставила медный чайник на плиту.

— Позвольте, я сам. — Разбил кочергой угли, подбросил два-три полена. — Вот так... А куда подевался ваш самовар?

— Краник у него распаялся, капает. А новый — это уже не самовар...

— Ну-ка, дайте посмотреть. — Постоялец устремился в кладовушку, попутно повесив на гвоздь свое пальто. — Так, так. Завтра же отнесу в мастерскую.

Старушка замахала руками.

— Да куда вы пойдете с таким чудовищем? Срамиться только...

Николай Петрович рассмеялся и потер лоб.

Утро, чуть брезжит рассвет. Старушка, схватившись за поясицу, двигается по кухне. Скоро должен встать этот странный господин. Что же ему на завтрак? Чай, конечно. Поджарим кусочек ветчины да разобьем туда два яйца...

Так хлопотала она и рассуждала сама с собой, пока с улицы не вошел постоялец с самоваром под мышкой. Хозяйка всплеснула руками:

— Ну что за человек такой! Дернуло же меня за язык пожаловаться на самовар. Я целое утро боюсь кашлянуть, думаю, вы спите... Они там, в мастерской, хоть не испортили его до конца?

— Нет, зачем же, сделано добротно.

Постоялец позавтракал и удалился в свою комнату. В доме наступила тишина. Читает и пишет! Но хозяйка знала: долго ему этим заниматься не дадут. Только подумала, как стук в дверь.

— Господин помощник присяжного поверенного здесь проживает?

— Здесь, касатик, здесь. Раздевайтесь, проходите, будьте добры. Они как раз у себя... Занимаются.

Вскоре опять постучали. На сей раз хозяйка впустила двоих. Спор поднялся — батюшки светы! Осерчал, поди, постоялец-то!

— Я, батенька мой, слышал, что вы увлекаетесь танцами. Бросьте это занятие — надо работать! Вы должны развиваться политически, и тогда ваша работа в кружке пойдет вам впрок. Расскажу вам притчу... Однажды волк увидел свернувшегося ежа. «Ай-яй-яй! Как тебе не стыдно, ежик, оброс-то как, посмотрел бы на себя хоть в лужу. Я тебе друг и хочу помочь. Последнее время работаю цирюльником, мигом остригу. Могу и побрить... Пользуйся моей добротой, а то передумаю». Слыша такие слова, ежик высунул нос из-под колючек, пригнул иголки и доверчиво перевернулся на спину. «Ого-го! Какой же ты, дружище, хороший. Дай-ка я тебя понюхаю». Не успел ежик и пискнуть... Жандармерия пользуется примерно такими же приемами, когда разговаривает с рабочими.

— Но мы не такие! — запротестовали посетители. — Уж положитесь на нас!

А в следующее утро постоялец без всяких предисловий заявил:

— Должен на некоторое время уехать, добрая моя хозяйюшка. Не взыщите, если причинил вам неприятности.

Старушка искренне огорчилась:

— Неужто у меня вам было худо? Бог с вами!

Вскоре он уехал за границу. Богдан заскучал. Будто все было как прежде — работа на заводе, встречи, споры, но чего-то недоставало. Вернувшись домой, он часами лежал на железной койке. В таком положении его и застал студент, преподаватель воскресной школы.

— Ну как, Богданище, переписал ты рукопись, которую в прошлый раз я тебе оставил?

— Конечно, конечно! — поспешил ему ответить Богдан и вскочил на ноги. — Не только переписал, но и проштудировал. — Этот Ильин ставит вопросы точно так же, как наш Старик...

Студент перебил Богдана:

— Рукопись, которую ты переписывал, существует только в нескольких экземплярах. Так что держи ушки на макушке. Тем более что несколько человек, которые ее переписывали, уже на подозрении.

Богдан вытащил из-под койки чемодан, раскрыл его, приподнял второе дно и извлек оттуда десятка два страниц, исписанных убористым почерком. Студент пересмотрел страницы и, найдя их в порядке, спрятал под тужурку. Похлопал Богдана по плечу:

— Эту вещичку мы скоро напечатаем. И вот что, дружище. Старик считает тебя одним из надежных людей. Из таких, говорит, рождаются настоящие революционеры...

От похвалы Богдан смутился и взъерошил шевелюру.

— Я знаешь думал о чем? Денег нету у нас — вот о чем. Были бы деньги...

— Э, братец! Были бы они у нас, проклятые, мы бы развернулись. Да что попусту говорить!

— Зачем попусту? Я не попусту... Думаешь, я тут лежу и в потолок гляжу? У меня план есть...

— Ну-ка, ну-ка! — заинтересовался студент.

— Я знаком с доктором Бадмаевым. Хорошо знаком. Может быть, к нему подкатиться? Такую коровку не грех подоить.

— Это что еще за доктор такой?

— Из-за Байкала приехал. Когда я мальчишкой приискивал себе занятие по силам, то встретился с одним

его служащим. Определил он меня в бадмаевскую школу.

Частная школа... Не учеником, конечно, а так, дворником, что ли. Потом за лошадьми Бадмаева смотрел, конюшню чистил. Он неплохо ко мне относился...

— Я о нем ничего не слышал,— засомневался студент.— Да и кто он такой? По взглядам?

— По-моему, аферист большой руки.

— Без таких обойдемся! — отрезал студент.— Просить денег на революционную работу у аферистов — нет!

**БАДМАЕВ
ВЕРБУЕТ СОЮЗНИКОВ**

Петр Бадмаев скорее всего и не принял бы парня, бывшего когда-то у него в служении. Он был занят в это время другими делами: бегал по министерствам, лечил высокопоставленных особ, принимал гостей... А однажды ему посчастливилось блеснуть гостеприимством перед особенно важными гостями — посланцами Далай-ламы.

За столиком сидело чуть больше десяти человек и среди них лама в желто-красном одеянии, в островерхой шапке, с янтарными четками в руках. Сидел он не на стульчике, а на девяти олбоках, как подобает лицу духовного звания. Он говорил:

— Англичане первыми из европейцев заинтересовались Тибетом. Это произошло более ста лет назад, когда правил Индией свирепый генерал-губернатор Уоррен Гастингс. Это он присоединил к Британским владениям Бутан, который раньше платил дань Тибету. Потом англичане делали еще несколько попыток проникнуть в нашу божественную страну, однако безрезультатно. А вот сейчас опять...

— Совершенно справедливо, уважаемый Туван-хамбо,— подал голос один из гостей, человек с жесткими усами.— Англичане никому не дают покоя. Россия сталкивается с ними и на вершинах гор, и в пустынях, в морях и океанах, на всех перекрестках.

Гости закивали. Петр Бадмаев откашлялся и повел линию дальше:

— Борис Владимирович, надо понять: нам следует держать порох сухим. Великобритания тратит на военные нужды сорок миллионов фунтов стерлингов. А мы —

тридцать пять. Это при наших-то границах! Главное на востоке — не пустить Англию в Тибет. Японский вопрос — не вопрос! Самое страшное для нас начнется тогда, когда англичане взгромоздят свои батареи на Гималаях. В Евангелии говорится: «Ищите да обрящете». А я вот ищу, стучусь, прошу, и мало проку. При таком обороте мы скоро кое-чего недосчитаемся.

Бадмаев не зря высказывал свои обиды при гостях. Во-первых, он рассчитывал на Бориса Владимировича, который приходился двоюродным братом императору. Этот князь помогал Бадмаеву в его авантюрах. Во-вторых, Петр Александрович надеялся, что Туван-хамбо не останется в стороне и замолвит за него слово перед государем. Тогда, возможно, удастся получить и те миллионы, которые он просил у Витте для продолжения своей политики на Востоке. Да и любой другой, присутствующий в зале, мог оказать ему посильную услугу. Даже от слабого союзника отказываться нельзя.

— При всех крутых поворотах истории женщина всегда шла впереди,— продолжал Бадмаев.— Всеспасяющее воскресение возвестила женщина. При рождении Христа Марию окружали женщины и дети. В распространении христианства на Руси первую роль играла святая Ольга. Францию спасла Орлеанская дева. Императрица Екатерина насаждала просвещение...

Красивая дама, сидевшая под изображениями буддийских богов, после этих слов ласково посмотрела на Бадмаева: «Какой же вы умница, Петр Александрович».

Звали эту даму княгиней Дондуковой, а происходила она из калмыков.

Лет двести назад один тайша был объявлен правителем волжских калмыков и стал зваться Аюн-ханом. Выражая волю народа, он подал прошение на высочайшее имя белого царя с тем, чтобы все калмыки отныне и во веки веков находились в российском подданстве. Просьба хана была удовлетворена. Но калмыки исповедовали желтую веру, и чтобы не потерять свою паству, Далай-лама, в свою очередь, присвоил Аюн-хану высокий титул хонтайши. После смерти дважды обласканного хана титулы унаследовал его сын Цырен-Дондук. Отпрыском

Дондука и была княгиня Дондукова, вышедшая замуж за князя Корсакова. Когда она узнала, что Петербург жалует святой Туван-хамбо, то одной из первых бросилась его встречать.

Княгиня имела при дворе связи, была близко знакома с семьей Танеевых, вхожих к императору. Анна Александровна Вырубова, урожденная Танеева, в любое время могла передать Николаю II слова Бадмаева в таком виде, в каком желала княгиня и сам Бадмаев. Сейчас эта красивая дама сделала попытку что-то сказать, но успела произнести только четыре слова:

— Моя подруга княгиня Вырубова...

Ее перебил иеромонах Илиодор.

— Кто видит Анну Александровну Вырубову впервые, может подумать, что перед ним просто гора мяса... Недалеко от нее ушла и эта, как ее... Ольга Лохтина. Его императорское величество и августейшая императрица восхотели именем архиерея возложить на меня панагию, но злословная Вырубова и завистница Лохтина воспротивились тому. Отчего воспротивились? Оттого, что я ее, нечестивую Ольгу, не только к кресту не допускал, а даже в обитель. — Илиодор громко высморкался и продолжал: — Неладно у нас в храмах. Черные тени колышутся, а среди них первейшая и самая зловещая тень — епископ Гермоген. Как сказывали мне люди праведные, эти святотатцы уже украли миллион рублей... из приношений православных. Разве это мыслимо? — Иеромонах сгреб в кулак бороду и закончил: — Не позволим им поганить буддийскую веру, ибо они безбожники. А сказано, что вер-то много, а бог един! Защищать Тибет — истинно христианское дело, истинно христианское...

Бадмаев, хорошо знавший безграмотного иеромонаха, с облегчением вздохнул, когда тот закончил свою болтовню. Княгиня Дондукова-Корсакова поморщилась и сделала движение уйти, но ее остановил своим ласковым взглядом Бадмаев.

С минуту длилось неловкое молчание.

— Высокородный, — повернулась княгиня в сторону Туван-хамбы, — мы рады вашему приезду в Петербург. Желаем вам скорейшей встречи с его императорским величеством. Надеемся, что встреча не останется без последствий. Ведь при дворе ценят услуги, какие вы оказали Российской империи.

Массивный лысый человек посмотрел по обе стороны от себя, надел очки и сказал по-монгольски:

— Когда ты стар — помощник палка, когда молод — помощник знание...

Он хотел еще что-то добавить, видимо, то, ради чего привел эту поговорку. Но мысль его прервал Туван-хамбо: услышав чистую монгольскую речь, он улыбнулся и спросил:

— О ком вы? Если о себе — несправедливо, вам только сорок четвертый год идет. Не удивляйтесь нашей осведомленности, мы вас хорошо знаем.

Бадмаев сокрушенно покачал головой.

— Наверное, Алексей Матвеевич имел в виду меня. Ведь мне моя трость — единственный помощник!

Все рассмеялись. Даже Илиодор ощерялся сам не зная чему. Туван-хамбо снова обратился к профессору Алексею Матвеевичу Позднееву: ему известна его книга о жизни буддийских дацанов, а также труды о Монголии, монголах и их поэзии.

— Весьма польщен. Весьма... По белу свету, признаюсь, поездил, а вот в Тибете не был. Жаль. Хотелось бы побывать в стране божественного Далай-ламы.

Туван-хамбо закивал головой:

— Ради этого мы и совершили дальний путь — ради сближения Тибета и России.

— Именно эту цель я хотел подчеркнуть, помянув про знания и про палку. Какой бы возраст ни был, сближение зиждется на подлинном знании. Узнать и понять друг друга — уже само по себе означает сблизиться.

Бадмаев, который уже беспокоился, как бы разговор не ушел слишком далеко в сторону от его собственной цели, сейчас же подхватил эту тему. Он привстал и потянулся за газетой.

— Вот что пишет лондонская «Таймс»... Простите, господа, буду передавать лишь смысл... Тибетцы якобы соглашаются иметь сношение с Великобританией через Пекин. А китайское правительство утверждает, что оно не в силах приказать Далай-ламе расширить торговые связи с Великобританией. Получается тупик... Затем на арене появляется агент России, некий Туван-хамбо, русский шпион, выходец из бурят-монгольских лам, он некогда изучал богословие в Брайруне, а затем проник во дворец Далай-ламы. Немало бед принес он нам...

— И не стыдно! — воскликнул профессор Позднеев. — Как я понимаю, смысл статьи таков: тибетцы не имеют права пускать на свою землю русских потому, что русские не пускают туда англичан.

Гости шумно комментировали услышанное. Но эти благополучные господа, собравшиеся в особняке доктора Бадмаева, рассуждали по бурятской поговорке: человек без штанов смеется над тем, у кого штаны порваны. Обличая пороки Англии, они не желали видеть еще больших пороков в общественном строе России.

Разве Шлиссельбургская тюрьма, например, уступает в чем-либо другим застенкам? Ведь из нее ведет лишь один путь — на виселицу. А Петропавловская крепость? Радищев, декабристы, петрашевцы, революционные демократы — все, что было честного в России, испытывало на себе прелести этой темницы. Над ее входом с полным основанием можно было бы начертать: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Если бы гости Бадмаева знали, что такое тюрьмы Суздальского монастыря, Харькова, Кария, Акатуя, Иркутска, Томска, знали бы они об Алексеевском равелине, — тогда бы Ньюгетская тюрьма и Тауэр в Англии не казались им столь уж страшными.

За 1894 год через Тюменскую тюрьму в Сибирь проследовало 91 257 человек. Проследовало! А сколько их погибло на пути в Тюмень, сколько еще сложат головы, так и не достигнув уготованных им рудников! За шестьдесят лет, с 1823 по 1884 год, в Сибирь было угнано 899 339 колодников. Если даже принять эту цифру на веру, то и тогда нельзя без проклятий говорить и думать об этом.

Между Европой и Азией на Урале, на невидимой черте, стоит каменный столб. Мрачный столб этот будто гласит: «Идите, Азия вместит вас всех». С одной его стороны укреплен европейский герб: «Пермская губерния», с другой — азиатский герб: «Тобольская губерния». Нет на свете другого камня, который бы перевидел на своем веку столько горя.

Любая партия арестантов делает у столба привал. Говорят, что так повелел царь. Но не о кратком отдыхе думают в эти минуты обреченные на страдания люди. Их души закипают гневом.

«Если мы вернемся из того ада, то отомстим. А если уж нам не суждено увидеть родные края, прощайте!

Прости, бедная мать. Прости и ты, отец, лежащий в могиле. Вспомни обо мне, любимая жена, и пожалей. Сынок мой, ты только что научился ходить по земле, много дорог у тебя впереди, и ты их исходишь. Но не стыдись имени всеми проклятого отца. Дочка в колыбели, не обессудь, если в соске твоей вместо молока будет простая вода. Пусть светлые мысли сопутствуют тебе в жизни. И тогда ты поймешь, во имя чего погиб твой отец...»

— Стройся!

Пересчет. И наконец:

— Шагом марш!

Пока мы следовали за каторжниками, гости Петра Бадмаева успели обменяться политическими новостями и поделиться придворными сплетнями. Обо всем они уже договорились. Они сообща будут уговаривать государя, чтобы тот разрешил истратить миллион на строительство двух дацанов в Петербурге. Туван-хамбо надеется, что государь будет к нему милостив.

Борис Владимирович и Петр Александрович, поразмыслив, решили просить у Николая II не только денег на создание «Прибайкальского горнопромышленного товарищества», но и каторжников. Они уже видели себя обладателями пяти миллионов рублей, они мысленно представили, как тысячи кандалников роют в рудниках золотоносный песок. Профессор Позднеев и княгиня Дондукова думали о чем-то невеселом, их лица выражали грусть. А Туван-хамбо, подобрав под себя ноги, перебирал четки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПО СЛЕДАМ ВАН ТУМЭРА

Сквозь пыль и песок солнце видится красным пятном. Который уж день гуляет по степи буран, вырывая с корнем деревья, засыпая барханами скудную зелень. Голодные коровы жмутся к юртам. Привыкшие ко всему монгольские лошадки стоят в низине, повернувшись хвостами к ветру и опустив головы. Овцы сбились в плотную массу, издали отара кажется грязным, поношенным войлоком.

Кормов и здесь нет. Надо двигаться дальше, на юг, в глубинные монгольские земли, где плещутся озера и

речки, где колышутся на ветру травы. Настанет утро, и табуны, отары, стада, вереницы повозок, груженные юртами,— все это поплывет навстречу спасению.

Но это будет завтра. А сегодня можно хоть немного отдохнуть, сварить суп, покормить детей, самим поесть и подумать о завтрашнем. Может, с восходом солнца смилостивятся боги? Сотворив молитву каждый по своему разумению, араты закутывались кто во что и ложились спать с великой надеждой.

Однако настало утро, а ветер не утих.

Что там виднеется впереди? Шесты какие-то... Может, близко улус, может, люди помогут? Если захотят боги, так и случится... Но боги отвернулись от людей.

Караванщики приблизились к шестам и увидели: каждый шест увенчала отрубленная голова. Сразу же за кольями стали попадаться трупы, брошенные сабли, поломанные бамбуковые копья, луки, ружья. Да, большое побоище произошло тут!

Чем дальше продвигался караван, тем чаще попадались следы кровавых схваток между китайцами и монголами. Теперь не только павших воинов, но и трупы женщин и детей, остатки сожженных китайских деревень и монгольских айлов засыпал песком ветер.

Караван двигался двадцать первый день. Запах гари и разлагающихся трупов становился все сильнее. Там и тут бродили лошади, сарлыки и овцы, потерявшие своих хозяев. Вот дымится китайская деревня, вот чудом уцелел очаг, когда-то обогревавший семью монгола. Вот китаянка с детьми оплакивает безвременно погибших. Монголка, слепая от слез, идет навстречу каравану! А ветер все воет и свищет.

— Проклятый Ван Тумэр!..

— Замолчи! Вся степь знает: виноваты одни маньчжуры. Это ваши солдаты ограбили нас, сожгли юрты, а нашим мужьям отрубили головы.

Как рассудить этих людей? Хунхузы ли всему виной или войска богдыхана, рыскающие по степям?

Хунхузы... Известно, что после захвата Китая обширные владения попали в руки маньчжурской знати. Чтобы укрепить союз с китайскими феодалами, маньчжурские власти стали наделять их большими участками земли.

Многие миллионы простых земледельцев лишились наделов. Под угрозой голодной смерти часть обездоленных двинулась в города, а другие — на север, в поисках новых земель.

Пустующие земли были найдены. Правда на их просторах кочевали разрозненные монгольские племена, однако пришлые рассудили, что места хватит всем. Они стали селиться по соседству с монгольскими кочевьями, распахивать степь, выращивать хлеб и овощи, обзаводиться хозяйством. Кочевые племена с каждым годом оттеснялись вглубь. Они вынуждены были покидать земли своих предков, обильные травы и уходить все дальше. Начались стычки. Отряды монгольских племен поднимались против незваных гостей, поджигали их дома, разоряли плантации. Конечно, среди летучих монгольских отрядов были такие, для которых грабежи оставались единственной целью. Их называли хунхузами, желтобородыми разбойниками. Потом хунхузами стали именовать всех, кто выступал против засилия.

Ван Тумэр еще недавно принадлежал к хунхузам — грабителям. Но годы борьбы показали ему, кто его главный враг — маньчжурские чиновники и все, кто служит им. Его карающая сабля с одинаковой беспощадностью опускалась и на маньчжурского солдата и на монгольских князьков.

...Песчаная буря утихла. Вот уже и солнышко очистилось от пыльного покрывала и засияло над степью. Поникшая трава выпрямилась. Люди остановили повозки, стали выпрягать лошадей и верблюдов.

Скот стал медленно расползаться по травам. Запылали костры, пахло жареным и вареным. Мужчины, собравшись кучками, толковали о бесстрашном Ван Тумэре: неплохо бы его найти и оказать подмогу. Любопытные подошли поближе к шестам. За ними увязалась древняя старушка, сын которой лет двадцать назад убил монгольского амбана и скрылся в степях. Она остановилась возле шеста и глянула вверх. Там, безучастная ко всему, мертвым взглядом смотрела на мир голова красивого монгола. Старушка воздела к небесам руки:

— Зачем же ты бунтовал? От кого ты хотел спасти нас? О каком спасении помышлял ты, ничего так и не познавший в жизни?.. Льется кровь, полыхают пожары, стонет несчастная степь. Дети, дети!.. — Старушка

опустилась на колени и закрыла лицо руками.— Может, и сын мой нашел такую же смерть?

Мужчины пытались успокоить старушку, увести ее к становищу, но она билась на земле, хваталась за траву.

Небольшой отряд показался у стойбища. Впереди скакал монгол в ярких одеждах на вороном жеребце. Придержав коня, главарь отряда вскинул единственную бровь кверху и по очереди осмотрел головы на жердях. Вдруг лицо его посерело, он зашатался в седле. Голова, густо поросшая седыми волосами, показалась ему знакомой. Правое ухо и правая часть щеки были срезаны вражеской саблей.

— Сволочи, как обрили моего отца,— прошептал Аламжи.— Ну, погодите же, не один из вас поплатится за это.— Он повернулся к монголам, утешавшим старушку.— Зачем плакать? Слезы тут ни к чему.

Так он говорил, а сам смотрел на мохнатую голову, и слезы струились по его лицу. Ему казалось, что старый Наван-Чингиз глядит на него: «Так вот, сынок, где мы встретились. Видно, судьба захотела того».

Аламжи подобрал поводья...

— Надо найти Ван Тумэра. Он где-то совсем близко. По коням, араты!

* * *

Как же он, богобоязненный, никого не обидевший за всю жизнь, оказался среди тех, кого называли хунхузами?

Будто пелена спала с глаз Аламжи. Он стал припоминать жизнь и не нашел случая, когда бы лама пришел к нему на помощь как брат к брату, как учитель к ученику. Темной дождливой ночью он пробрался в домик Самбу-ламы. Тусклый светильник перед гунгарбой помог ему разглядеть спящего ламбагая. Тот сопел и во сне скреб волосатую грудь.

Аламжи разбудил врага. Он потребовал, чтобы тот рассказал ему правду о несчастной Жалме и детях. Самбу вилял, но Аламжи схватил его за горло. Лама признался, что склонял Жалму к сожительству, что Балбар скончался в дацане по его вине.

— А Булад где?— взревел Аламжи.— Его кто загубил?

— Н-не зна-ю!

— Врешь, собака!

Тело Самбу обмякло, голова свесилась на плечо. Аламжи отбросил его от себя и тут только понял, что нагрешивший лама уже никогда никому не сделает зла. Он вытер руки о полу халата и тихо убрался. Наутро он услышал, что шэрэтэ ночью скончался, а его приближенные передрались из-за золота, так как Самбу не оставил завещания. Еще через день до него дошла весть: настоятеля кто-то задушил, преступника разыскивают по всей степи.

«Что делать дальше? — размышлял Аламжи. — Пожалуй, надо съездить в Цугул, посоветоваться с Осором».

По пути в Цугульский дацан Аламжи пришла на память песня Ван Тумэра, которой он встречал день. Удалось ли спастись тому храбрецу, помогла ли ему стальная пила? В Цугул он приехал ночью. Аламжи постучался в дверь давнего знакомого. Тот обрадовался встрече. На счастье, знакомый несколько раз встречался с Осором и указал ему дом, где тот жил.

— Нет, туда я не пойду. Сходи лучше к нему, скажи, что я хочу его видеть.

Не прошло и десяти минут, как через порог шагнул Осор. Они обнялись. Разговаривать вышли в степь. Осор держал себя сдержанно. Аламжи спросил в упор:

— Хочу податься в Халху. Как думаешь?

— К тому разбойнику? Если он на свободе — неплохо. А если все еще в тюрьме, то и сам угодишь туда же...

Да, с Осором что-то случилось. Не переметнулся ли он опять к ламам? Хотел рассказать ему о расправе с Самбу, но сдержался.

— Хорошо, я подумаю.

Больше они не виделись. Той же ночью Аламжи, имея запасную лошадь, взял направление на юг. Второй раз он держал путь в эту сторону.

Шелковый халат он переменял на другой, из коричневой далембы, и только с пурпурной накидкой не пожелал расстаться. По этой накидке его и узнавали, приглашали в гости охочие до новостей араты. Они не интересовались, куда он держит путь и почему не остался на родине, зато расспрашивали, как встретили Зандан Жу-бурхана русские, сколько скота и золота пожертвовали дацанам, сколько людей собралось на хурал, много ли дней

продолжались молебствия. Продавать ли скот русским купцам на месте или лучше гнать его в Россию? За сколько баранов можно купить пуд соли? Правда ли, что одного сарлыка достаточно, чтобы приобрести мешок муки? Аламжи и сам толком не знал, как прошел хурал, какие нынче цены, но отвечал обстоятельно, вспоминая все, что раньше знал. В каждом аиле он рассказывал им же выдуманную сказку о багатуре Ван Тумэре, который способен порвать самые крепкие оковы и выбраться из любой темницы. Однажды его вызвал из юрты молодой монгол:

— Ван Тумэр — не сказка. Есть у нас такой багатур! Он был в тюрьме, но давно на свободе. Мой старший брат — с ним. Теперь они где-то у города Юньчэн.

Храбрецов нашлось целый десяток, с ними и начал путь Аламжи. Вскоре у него насчитывалось два десятка сабель. И вот теперь Аламжи встретился с неизвестными кочевниками.

— Видите? — указал он на шест, когда несколько новых добровольцев присоединились к его отряду. — Это голова моего отца. Расстались с ним у подножия Хан-Улы, когда теперешнему Далай-ламе исполнилось пятнадцать лет. С тех пор не виделись... Теперь довелось, да поздно.

Вокруг отряда собралась толпа провожающих. Женщины всхлипывали, мужчины давали советы. Откуда-то появилось несколько китайских сабель, их вручили вступившим в отряд. Аламжи преподнесли большую чашу араки. Осушив ее, он в последний раз взглянул на разлохматившуюся от ветра голову отца, хотел по привычке молитвенно сложить ладони, но пальцы сами собой сжались в кулаки.

* * *

Ван Тумэр разгромил маньчжуров под Юньченом и решил после этого, что неприятель не рискнет теперь напасть на него. Вместо того чтобы усилить отряд, он всю весну грабил караваны купцов на путях перегонов. Этому ему показалось мало: он пошел на город Шуйцюань и взял его приступом в несколько дней. Тем временем прибыла шеститысячная армия маньчжуров с артиллерией и окружила Ван Тумэра. Две недели сражались монголь-

ские конники с маньчжурами, в шесть раз превосходившими численностью отряд Ван Тумэра. Потеряв четыре пятых отряда, лишившись всего награбленного, Ван Тумэр с двумя сотнями смельчаков прорвал кольцо окружения. Однако маньчжуры не теряли его из виду. Они насккивали на него то с тыла, то с фланга. Наконец с горсткой уцелевших воинов его прижали к Ордоской пустыне.

Здесь, на краю песков, где на сотни верст не сыщешь глотка воды, он понял свою ошибку. Забыв о целях борьбы, он позволил воинам предаваться грабежам и веселью, а тем временем генерал Цзо послал гонцов в ближайшие города с требованием подкрепления. Устрашенные слухами о злодеяниях Ван Тумэра, амбани с неprisущей им поспешностью отправили в распоряжение генерала свои отряды. В решающем сражении генерал потерял половину, но и Ван Тумэр недосчитывал девяти сот человек. На краю Ордоской пустыни он оказался с тридцатью всадниками. В этом сражении Ван Тумэр лишился глаза.

Генерал Цзо уже праздновал победу. Надо быть безумцем, чтобы с горсткой уставших и израненных солдат, без продовольствия и запаса воды ринуться в пески. Но случилось неожиданное — Ван Тумэр стал углубляться в пустыню. На что он надеялся? Может, с той стороны он ждал подкрепления? Может, в песках у него есть тайники? Надо было настигнуть злодея и схватить его. За победу над таким хунхузом, как Ван Тумэр, непременно дадут награду и ему, генералу, и его воинам.

Чтобы не упустить добычу, генерал решил отправить в погоню отряд в пятьсот сабель во главе с опытным мандарином. Отряд не стал обременять себя излишним грузом и налегке двинулся в пески.

Прошел день, наступил второй. У солдат от жажды уже не ворочались языки. Кони шатались. А следов Ван Тумэра все не было. Речь шла не об отпечатках на песке — они сразу же заравнивались ветром — маньчжуры имели в виду более существенные следы: подошедших лошадей, павших от жажды и ран людей, брошенное оружие и снаряжение. Неужели он все-таки успел запастись хотя бы водой?

Ван Тумэр не успел запастись ни водой, ни пищей. Его отряд находился в худшем положении, чем маньчжур-

ский. Единственным его преимуществом было то, что он оторвался от преследователей на целый переход. И вот теперь израненные, без воды и пищи, без корма для лошадей медленно брели бойцы Ван Тумэра. Задержка грозила им гибелью.

Но хунхузы понимали необходимость движения, а маньчжурские солдаты рассуждали иначе: «Сдохнет и без нас бандит. Зачем было посылать полутысячный отряд по следам собаки с перебитым хребтом? На верную гибель идем...» Мандарин был непреклонен. Помня строгий наказ генерала, он продолжал гнать свой отряд в глубь пустыни. Кони маньчжуров выбивались из сил. Солдаты не слезали с них с того самого часа, как началась погоня. Даже если лошади увязали по колено в песке, они не покидали седел и нещадно избивали животных прикладами. Боясь засады, они устроили ночной привал, разожгли костры, а с наступлением дня снова тронулись в путь.

Ван Тумэр хорошо знал, что преследователи — плохие наездники, они не заботятся о лошадях, плохо знают пустыню. На это он и рассчитывал. Когда его отряд оторвался от преследователей, он приказал воинам спешиться. Лишь тяжелораненые да присматривавшая за ними Юлдас ехали на конях. В самую жаркую пору дня они делали привалы, а когда наступала вечерняя прохлада — начинали двигаться без передышки до следующего утра. На ночь они покрывали лошадей своими халатами, на которые опускалась обильная роса. Вместе с лошадьми они слизывали капли влаги с халатов и так поддерживали силы.

Чем дальше двигался отряд, тем больше ослабевали раненые, они уже не могли сидеть в седлах. Тогда устроили носилки и подвесили их на кушаках между двумя лошадьми. Когда раненым становилось невмоготу, Ван Тумэр разрешил делать разрезы на коже лошадей и выдавать им по глотку крови. Эту обязанность тоже исполняла Юлдас.

Мужественная и ласковая Юлдас! Единственная женщина в отряде, она скрашивала, как могла, нечеловеческие тяготы этого перехода, успокаивала горячих, подбадривала малодушных, стараясь посеять семена надежды в груди тех, кто уже ни во что не верил. Хотя она и стала женой того китайца, который устоял на ногах под уда-

ром кулака Ван Тумэра, однако продолжала тепло относиться к грозному командиру. Она не забывала менять ему повязки на выбитом глазу, посыпать рану каким-то тибетским порошком. Она шептала ему ласковые слова, проводила рукой по его всклоченным волосам и улыбалась: другую женщину Ван Тумэр отбросил бы от себя пинком ноги, а от Юлдас терпел даже нежности...

На третий день во время привала Ван Тумэр распорядился: и больным и здоровым выдать по десять наперстков лошадиной крови. Для лошадей такая операция была незаметна, а для людей означала многое. Впереди, опираясь на саблю, шел Ван Тумэр. Сгорбившийся, обросший до самых бровей, он походил на смертельно раненного медведя, поднявшегося на задние лапы и решившего во что бы то ни стало догнать и подмять под себя обидчика. Его воины, еще недавно ураганом налетавшие на врага, едва переставляли ноги. Чтобы не упасть в раскаленный песок, многие держались за стремяна.

А позади монголов в четверти перехода медленно брели маньчжурские солдаты. Наконец движение остановилось само собой, без команды.

Мандарин сидел в кругу поредевшего войска и с ненавистью переводил взгляд с одного лица на другое. «Хальцы,— еле ворочая языком, пробормотал он,— разве вы солдаты?»

Тщедушный солдат, лежавший неподалеку, поднял голову и внятно сказал:

— Эй ты, глупый маньчжур! Молись своим богам. Погибнем не только мы, но и ты с нами...

Мандарин хотел крикнуть что-то грозное, но сухой язык уже не повиновался ему. Тогда он вынул из-за пояса пистолет и выстрелил в солдата. Тот беззвучно ткнулся лицом в песок.

Теперь поднял голову солдат, лежавший позади мандарина. Упираясь в песок, он с трудом сел, как слепой, пошарил вокруг себя, нащупал ружье, медленно-медленно приподнял его и приставил дуло к голове мандарина. Раздался выстрел. Солдат опустил ружье и снова лег, безучастный ко всему. Никто не проронил ни слова.

А маленькое войско Ван Тумэра двигалось вперед.

— Ребята, держитесь за седла! Я верю — мы дойдем!

Все придвинулись к лошадям. Но и после этого отряд продолжал двигаться не быстрее прежнего.

— Отходил свое! Нет больше сил.

Ван Тумэр подошел к упавшему:

— Встань!

— Не могу! Убейте меня, дарга... Убейте, уважаемый Ван Тумэр. Я верно вам служил...

Ван Тумэр широко раскрыл единственный глаз и, подняв саблю, слегка ударил воина плашмя по голове...

— Этого нельзя говорить, Чэмэд! Дайте мне ременные поводья.

Когда поводья принесли, Ван Тумэр с помощью других взвалил Чэмэда на самую крепкую лошадь и привязал к седлу.

— Встань, Цэвэгмэд! Не тебе валяться в песке.

Воин встал на колени, потом ухватился за стремя и выпрямился.

— Ну вот, видишь... Так лучше... А на песке пусть маньчжуры валяются. Мы не должны... мы не можем погибнуть. Мы беркуты, а не вороны...

Каждый выкладывал все силы, чтобы не отстать от вожака — даже те, кто готовился к своей последней молитве.

Забылось все, отодвинулось и затерялось в памяти самое сокровенное, осталось одно-единственное «вперед».

Вдруг над отрядом, почти над самыми головами воинов с радостными криками пронеслись два турпана.

— Видите! — Ван Тумэр показал саблей на удаляющихся птиц. В его голосе звучало торжество. — На юго-востоке, вот где наше спасение... Там горы Ала-Шаня!

Повеселели бойцы Ван Тумэра, зашагали они в ту сторону, куда улетели птицы. Им бы сейчас крылья!.. Но к черту крылья! С таким командиром и крылья не нужны.

В отряде остались самые закаленные, те, с которыми Ван Тумэр сдружился еще на вершине Сади-Сарук-Сума.

— Правда — на нашей стороне, — говорил он. — Правда в том, чтобы лупить маньчжуров в хвост и в гриву, лупить, пока они не уберутся с нашей земли.

Как бы там ни было, но с таким человеком можно было идти куда угодно.

И отряд шел.

Родина Ван Тумэра — земля ордоских монголов — с севера, запада и востока омывается водами Хуанхэ. Там, где Хуанхэ встречается с Великой стеной, на самом краю Ордоской земли, стоит город Нинься. Отсюда начинаются Пески Сырта. Вот из этих песков и выбирался четвертые сутки отряд Ван Тумэра. Если бы знал об этом Аламжи, который находился от Песков Сырта в двухстах верстах, он погнал бы свой отряд навстречу Ван Тумэру. Но он не знал. Он стоял близ города Данькоу и ожидал лазутчиков, которых разослал во все стороны, чтобы те узнали о судьбе вожака хунхузов. Отряд у него был всего в пятьдесят сабель, но из опытных воинов, участвовавших еще в дунганском восстании.

Один из лазутчиков привел с собой богомольца, который клялся богами, что хунхуз Ван Тумер потерял всех своих воинов, а сам скрылся в Песках Сырта. Из его слов можно было понять, что если Ван Тумэр не погибнет в пустыне, то непременно выйдет к городу Дэнюаньин.

Раздумывать было некогда, Аламжи поднял отряд. Мгновенно лошади были пойманы, заседланы, следы bivака уничтожены, а сами всадники выстроились в два ряда. На каждых двух воинов была одна запасная лошадь.

— Есть вести о Ван Тумэре! — объявил он перед выступлением. — Повернем к городу Дэнюаньин.

Смеркалось, когда отряд Аламжи достиг намеченной цели. Остановились в лесочке. Искать Ван Тумера сейчас не имело смысла. И все же Аламжи послал четверых лазутчиков в город. Под видом бродячих богомольцев они должны были проникнуть за городские ворота, узнать, есть ли там маньчжурские войска и что слышно о Ван Тумэре. Еще четверых конных он отправил спустя некоторое время в окрестности города.

Воины Аламжи после долгой скачки растянулись на мягкой траве, предвкушая ужин. Прилег и Аламжи. Однако отдохнуть ему не пришлось: вскоре прискакал дунганин и, не слезая с коня, доложил:

— За этим лесом, — он указал направление, — из песков выбралось человек двадцать... Похоже, дальний путь прошли.

— Человек двадцать,— разочарованно протянул Аламжи.— Может, дозорные Ван Тумэра?

Он вскочил на ноги.

— Из второго десятка — шесть человек со мной! — приказал он и взлетел на коня. Тем, кто готовил ужин, он добавил: — Варите побольше мяса!

За время, которого сонному не хватило, чтобы зевнуть, а ленивому — потянуться, Аламжи во главе шести конников скрылся. Достигнув песков, Аламжи спешился, жестом приказал двум воинам следовать за ним и раздвинул кусты. Страшная картина предстала перед его глазами. Более двух десятков людей в изорванных халатах, с изможденными лицами, еле живые пытались достигнуть леса. Сделав один шаг, одни падали, вставали и опять валялись на песок, другие ползли на четвереньках, то и дело останавливаясь, чтобы передохнуть. Им осталось совсем немного — сажень двести, но это расстояние равнялось для них десяткам верст. Впереди этих несчастных стоял обросший густой гривой человек с обнаженной саблей в руке. Он не падал, он стоял прямо, чуть пошатываясь из стороны в сторону, и твердил одно-единственное слово:

— Вперед!.. Вперед!.. Вперед!..

Иногда он и сам делал шаг вперед, потом оборачивался к соратникам и сокрушенно качал головой.

Аламжи подозвал одного из дунган и шепнул ему:

— Оставь оружие здесь и отправляйся к тем людям. Узнай, кто они и в чем нуждаются. Действуй осторожно, сделай вид, что ты прохожий.

Продолжая наблюдать за пришельцами, Аламжи заметил, что несколько человек, привязанных веревками за ноги, волочили за лошадьми по песку. «Зачем это?» Только позже он узнал, что так делают те, кто отступает и не хочет оставить врагу печальных вех своего бедствия.

Между тем посланец поравнялся с обросшим человеком и поклонился ему.

— Ищу отряд славного Ван Тумэра. Не можете сказать, где он сейчас?

— Зачем тебе? — спросил Ван Тумэр, опираясь на саблю.— Хочешь заработать на его голове?

— Нет,— смело ответил дунганин.— Я хочу вступить в его отряд. Я дунганин.

— Каждый бродяга может назвать себя сыном отважных дунган...

Завладев поводьями свежего коня, Ван Тумэр обернулся и крикнул в сумерки:

— Юлдас!

Женщина тотчас же оказалась возле повелителя.

— Садись на коня и поищи, где здесь вода.

С кошачьей ловкостью взобралась Юлдас на лошадь. Славная женщина! Ни один мужчина не сохранил в себе столько сил, сколько этот маленький дьяволенок. Ван Тумэр не позволил ей участвовать в кровопролитной драке перед отступлением отряда. И потом — украдкой от воинов он передал ей свою флягу с водой для тяжелораненых. Он время от времени приказывал ей пригубить эту флягу. «Тебе надо ухаживать за больными, поэтому сохрани силы. Больные без тебя пропадут». Неизвестно, сколько она отпила из той фляги, наверное, не больше других больных, а вот поди ж ты — будто ничего не было.

Доложив о разговоре с вожаком, дунганин сказал Аламжи:

— Это он и есть, тот самый Ван Тумэр. Мой глаз — верный.

Аламжи вскочил на коня и вскоре оказался возле потерпевшего бедствие отряда. Спешившись, он подошел к вожаку.

— Здравствуй, уважаемый Ван Тумэр. Помните монгольскую тюрьму?

— Черти ее забудут, только не я.

— А кто вам передал напильник?

— А, черная тень! Опять наши пути сошлись.— Ван Тумэр крепко прижал своего спасителя к груди, затем кинул саблю в ножны и отступил на шаг.

— Ты настоящий мужчина...

— Давно ищу вас...

— Скажи, где сделаем ночевку? Мои ребята притомились...

Подскакала Юлдас. Осадив коня возле самого Ван Тумэра, она спрыгнула на землю и почтительно преподнесла ему флягу.

— Возьми, пожалуйста, дарга. Вода недалеко.

Ван Тумэр небрежно отмахнулся:

— Напой ребят.

— У меня еще в кожаных сумках есть...

— Делай, что говорю.

Юлдас не проронила больше ни слова. Она проворно побежала к воинам, которые уже дремали там, где их застала прохлада. Подходя к каждому, она молча вливала по несколько глотков в пересохшие губы и шла дальше. Освежившись речной водой, воины Ван Тумэра зашевелились. Истощенные лошади приблизились к опушке и уже похрустывали травой. Аламжи крикнул:

— Тридцать лошадей сюда!

Преодолевших Пески Сырта усадили в седла, доставили на становище, напоили чаем и уложили спать.

Аламжи и Ван Тумэр приняли из рук Юлдас по чашке чаю и присели в сторонке. Аламжи вздохнул: уж больно эта девчонка напомнила ему Жалму.

— Как же вам удалось вырваться из тюрьмы?

Ван Тумэр усмехнулся. И теперь он относился снисходительно к бывшему тюремному служителю. Аламжи не обижался.

— Твоей пилочкой я заставил открыться замок,— начал он, протягивая порожнюю чашку подоспевшей Юлдас.— Потом снял крышку ящика. Подпиливать каждый замок не было времени, я их просто вырвал вместе с пробоями. Все, сколько было в нашем отделении, вырвал вот этими руками,— показал Ван Тумэр свои огромные руки с крючковатыми пальцами.— Когда проснулся стражник, я его... Из ящика я сперва вытащил самого сильного... Вон он, Чэмэд... Этот Чэмэд сильно помогал мне. Когда извлекли всех, стали твоей же пилкой освобождаться от кандалов... Об остальном что рассказывать — сам должен знать.

Тут подбежал повар:

— Суп готов. Сюда подать?

— Разбуди всех и дай каждому. А мы к котлу подойдем.

Они сидели возле котла, на древесной коре перед душистыми кусками баранины. Ван Тумэр, обжигаясь, съел кусок, запил бульоном и поднялся.

— Хочу посмотреть, как чувствуют себя люди. Если едят — дело хорошее, отказываются — плохо.

Оставшись один, Аламжи вспомнил последнюю встречу с отцом, вернее, с тем, что осталось от него. Каким образом он попал в Монголию? А есть ли связь между Наван-Чингизом и Ван Тумэром? Надо спросить...

— Ребята мои проснулись, как только почувствовали запах мяса,— вернулся Ван Тумэр.— Молодцы! А ты что задумался? Смотри, голова лопнет...

Аламжи рассказал о головах, посаженных на шесты.

— Не с вами ли он был? Наван-Чингизом звали.

— Не помню такого... Вот Хара-Чингиза хорошо запомнил. Морда черная, как у шолмоса... Тоже оттуда, с севера...

— А не заметил у того Хара-Чингиза на лбу шрама?

— Как же, заметил... Очень даже заметил. К уху тянется. У, сердитый человек. Хорошим был мне помощником.

— Волосы у него уже маленько поседели...

— Какой — маленько! А что допытываешься?

— Отец он мне...

Ван Тумэр долго смотрел на Аламжи единственным своим глазом.

— Где видел голову отца?

Аламжи назвал местность.

— Никогда там не был, хотя и слышал. Не знаю...

Ван Тумэр вынужден был сказать неправду. Для чего? Не хотел он тревожить душу доброго человека, который дважды встретился на его пути и оба раза спас его. Пусть уж лучше останется в неведении.

Ван Тумэр потянулся за куском мяса, но рука его повисла: он прислушался. Насторожился и Аламжи.

— Сюда скачут! — Ван Тумэр поднялся.

— Должно быть, мои. В город посылал.

Действительно, через несколько минут к костру подскакали четыре разведчика.

— Дарга,— начал докладывать один из них,— в Дэнюаньине стоит отряд маньчжуров. Солдаты хвастаются, что к утру разделаются с Ван Тумэром. Офицеры разместились в доме у амбана, пьют... Солдаты — тут же, во дворе.

— Тоже пьют? — вмешался Ван Тумэр.

— Да, много пьют и много хвастают...

— Сколько их? Успели узнать?

— Как же не успели,— обиделся старший.— Зачем было в город ходить. Двести сабель их...

— Много болтаешь! Аламжи, нельзя терять ни минуты,— властно сказал Ван Тумэр.— Закончить ужин мы сможем и в городе. А сейчас — по коням!.. Юлдас, ты

останешься здесь с моим отрядом. Всех накорми, присмотри за конями. Будет нужно — пришлю вестового.

Будто и не совершал многотрудного перехода Ван Тумэр, будто и не смотрела в его глаза костлявая смерть еще несколько часов тому назад. Голос его походил на рычание льва, крепко сжимались его кулаки, весь он напрягся и дрожал, как тетива.

Вскоре отряд Аламжи в пятьдесят с небольшим сабель выстроился. Двое вожаков еще некоторое время обсуждали план атаки. Перед выступлением Ван Тумэр предупредил:

— Быстрота и храбрость — наша главная сила. Налетим, как беркуты, перерубим маньчжуров, захватим добычу, а потом — ищи ветра в поле. Вперед, ребята!

Кони рванули с места.

Ван Тумэр встретил маньчжурское войско шрапнельным огнем из орудий, захваченных в последнем бою. Маньчжуры понесли ощутимые потери. Генерал Цзо приказал приостановить штурм города, оттянул конницу и выдвинул пушки. Началось уничтожение городка. Рушились стены, полыхали деревянные и бамбуковые жилища, голосили жители, проклиная и хунхузов и маньчжур.

Не имея достаточно снарядов, Ван Тумэр вынужден был оставить догорающий город. Соединившись с отрядом, который оставался на отдыхе, он отступил к скалистым берегам, поросшим лесом.

Передовые разъезды маньчжур вовремя заметили маневр хунхузов и дали знать генералу Цзо. Отряд Ван Тумэра обложили плотным кольцом. Кольцо начало сжиматься. Но почему-то стало сжиматься и сердце генерала. Он приказал высылать к нему гонцов с флангов и с центра через каждые полчаса.

Почему-то не слышно выстрелов. Неужели головорезы решили сдаться без боя? Ага, вон скачет вестовой...

— Левый фланг достиг вершины. Хунхузов пока нет.

Вскоре прискакал гонец от центрального отряда, потом от правофлангового. Сообщения такие же: хунхузов нет...

— Прочесать лес! Засады не снимать! Двинуть все резервы!

Но монголы исчезли, будто улетели по воздуху.

Взобравшись на вершину хребта, маньчжуры увидели далеко внизу величавые волны Хуанхэ, а на противоположном берегу реки — отряд хунхузов. Несколько монголов еще плыли по волнам, держась за хвосты коней.

Генерал понял все, за ночь монголы вырубили в скалах тропинку, перекинули мостики через ущелья и на рассвете спустились к реке.

Генерал заплакал, обнажил шпагу и переломил ее о колено.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЧТО НА СВЕТЕ ДОРОЖЕ?

Почему золото ценится дороже чугуна, железа и стали? Да, из него делают красивые безделушки. Но из железа и стали делают вещи много полезнее. Без воды не может прожить ни человек, ни зверь, ни растение. И все-таки она даровая. Идет усталый путник, от жажды дыхания нет. Все отдал бы за флягу воды. Показалось жилье, путник подходит.

— Напиться, — просит он.

— Пожалуйста, пейте, — и подносят путнику ковш.

— Спасибо.

За что благодарить? Воду не покупали, взяли ее из реки...

Кувшин воды можно выпить за спасибо, но за спасибо никто не даст вам клочка шерсти. Почему? Люди это знали давно, когда еще меняли быка на несколько коз, когда ломали голову, сколько ослов отдать за верблюда и сколько овец за корову. Африканцы в качестве меновой единицы применяли раковины, поваренную соль, слоновую кость. У арабов эквивалентом служили финики и обрубки пальм. У народов Востока и Греции этой цели служили рабы, мера зерна, ткани.

Золото люди узнали раньше, чем железо: самородки желтого металла попадались часто, а самородки железа — редко. Недаром древние арабы ценили железо выше, чем золото.

Кто же первый выпустил из бутылки этого желтого беса — золото? В Китае золотая монета была известна за двадцать шесть веков до нашей эры. Ассирийцы, мидяне, финикийцы и египтяне пользовались золотыми день-

гами за три-четыре тысячи веков до рождества Христова. Золото постепенно вытесняло все другие металлы и стало предметом вождения. Возникло мнение, что смесь ртути и серы обязательно должна дать золото. Веками колдовали над этим жрецы. Средневековый монах Шварц в поисках золота нежданно изобрел порох.

С давних пор золотоискатели стали платить за желтый металл своими головами. Недаром народ говорит: «Через золото слезы льются». Когда оно стало всеобщим эквивалентом, на смену алхимикам пришли промышленные тузы.

В Африке, в Австралии, в Америке были обнаружены богатейшие запасы этого металла. Туда устремились прежде всего господа в черных цилиндрах. Они рвали изпод носа друг у друга лакомые куски, а когда им пытались мешать, они рвали друг другу глотки. Где обнаруживалось золото, там земля орошалась кровью тех, кто добывал богатства господам в черных цилиндрах. Когда запасы золота кончались, господа разлетались к родным пенатам, а канавы и ямы наполнялись костями погибшего здесь люда.

Двадцать тысяч пудов — вот сколько было добыто золота только за 1895 год на всей земле. Русский медведь, до сих пор не очень разворотливый, обрел в этот год такое проворство, что заставил рты раскрыть: за год он один сумел заграбастать две с половиной тысячи пудов золота, больше десятой доли всей мировой добычи!

Какими же секретами овладело правительство его величества Николая II? Тысячи каторжан били ямы в предгорьях Ала-Тау, у Саянского хребта, Даурского хребта, Станового хребта. С Урала и Оби, Енисея и Лены, с Приамурья и Забайкалья потекло золото в Екатеринбург, Иркутск, Томск... Раз в полгода доставляли его туда санно и вьючно и под усиленной охраной транспортировали в Горное управление. Не единожды взвешенное, переплавленное и очищенное от примесей, золото попадало наконец на Монетный двор, где из него чеканились кружочки-империалы.

Никто не задумывался, скольких жизней стоит тусклое мерцание монеты. «Деньги не пахнут», — засовывая за пазуху барыши, говорили барышники. «Что с пылу сорвем, то и глотнем», — вторили заводчики. И только мать,

получившая весточку о смерти сына на приисках, со страхом смотрела на желтые империалы: «Правда и дороже, и чище золота».

* * *

Двести верст отделяют от Читы ничем не примечательную речку Кару. Начало речка берет у отрогов Яблонового хребта, а через шестьдесят верст впадает в Шилку. На этом шестидесятиверстном участке располагались три тюрьмы.

Один из приисков, иссякающих после царевых разработок, принадлежал Александру Александровичу Пышкину. Работали на нем люди, завербованные в Чите, Петровском Заводе, Нерчинске и близлежащих деревнях. Жильем для рабочих служила старая-престарая казарма, в которой уже лет десять не жили охранники-казаки и даже не содержались каторжане, потому что из нее легко было бежать. Закоптелые и покосившиеся стены, сплошные нары, пузатые печурки-очаги с кривыми трубами, утрамбованный земляной пол. Но и такого жилища не хватало для всех. Половина рабочих вынуждена была ютиться в сараюшках и шалашах. Людям худо жилось. Лишь блохи да клопы чувствовали себя здесь вольготно. Как ни боролись с ними золотоискатели — их становилось все больше.

— Вы сами плодите насекомых, так сами же убивайте их,— говорил на это Александр Александрович Пышкин.

...От берега Кары к приисковой казарме ползет тележка с лагуном воды. Толкает тележку босоногий мальчишка. У казармы, возле печки-временки, сидит женщина и время от времени подкладывает дрова. Ветер пригибает дым к земле, слепит глаза, окутывает казарму и сараюшки. Мальчишка остановился у печки.

— Какой же ты молодец, Булад!

— Татьяна-мама, я еще дров наколю! — порозовел от похвалы мальчик.

— Нет, Булад, иди лучше почитай книжку. Пишешь ты у меня хорошо, а читаешь слабо. Иди...

У Татьяны Львовны Искровой и Булада длинная история. Ее следует рассказать, чтобы понятно было, почему русская женщина и бурятский мальчик стали матерью и сыном.

Двадцатилетняя Татьяна Львовна Искрова была арестована в Одессе «за подстрекательство против законных властей». Ее сослали в поселок Акчу на берегу Байкала. Здесь она вышла замуж за ссыльного. Месяца через два после свадьбы мужа перевели еще дальше, куда-то за Читу. Татьяна не вынесла разлуки и последовала за ним. В Чите она узнала, что мужа обвинили в покушении на жизнь забайкальского губернатора, приговорили к повешению и приговор привели в исполнение.

Несколько дней Татьяна Львовна ходила как в тумане. Потом, собрав все душевные силы, она отправилась на рынок и здесь у какого-то подозрительного субъекта за последние деньги приобрела револьвер. Но, вернувшись в свою каморку, она почувствовала толчок под сердцем. Вот оно! На что она идет? С собой можно распоряжаться как угодно, но кто ей дал право распоряжаться жизнью другого? Пусть он еще не появился на свет, но он уже стучится в мир. Она прилегла, стараясь не думать ни о чем, задремала. И увидела сон. Будто бы идет она по степи с мальчишкой. Кругом поднимаются травы, пламенем расцвели саранки, качают головками ромашки, розовеет иван-чай. Мальчик дергает ее за юбку...

— Не плачь, мама...

Проснувшись, она подумала: когда-нибудь придется сказать, что в последнюю минуту смалодушничала, пожалела и себя, и неродившегося сына. И тогда он сам сделает то, чего она не смогла. И погибнет...

Решение созрело. Надо мстить! Ее обязывал долг революционерки. Когда старшие товарищи стреляли в Александра, они не думали ни о себе, ни о семьях.

Не торопясь, Татьяна Львовна начала собираться в последний путь. Пусть люди увидят, что слуги самодержавия не безнаказны, над ними тоже есть судьи, рано или поздно каждый получит то, чего заслужил.

Она пришла в канцелярию генерал-губернатора и потребовала, чтобы ее допустили к его превосходительству. Адъютант начал было выяснять, какое неотложное дело привело ее сюда, но в это время из кабинета вышел сам генерал. Татьяна Львовна вскинула револьвер:

— Получай, подлец!

Раздался выстрел.

Генерал-губернатор в большом удивлении постоял и вдруг рухнул замертво.

Адъютант схватился за кобуру, но женщина бросила свой револьвер к его ногам.

— Не бойтесь, господин капитан. Вы мне не нужны.

— Взять!

Она не пыталась сопротивляться. Она даже улыбалась, когда ей скручивали руки. Свое дело она довела до конца, а все остальное теперь не имело значения.

Искрову бросили в тайную камеру Читинской тюрьмы, где невозможно было ни выпрямиться, ни лечь. Ни один луч света не пробивался в страшный застенок. Несмотря на лето, в карцере от холода и сырости сводило ноги и руки. Одежду у нее отобрали, она осталась лишь в ветхом халате. Чтобы преступница не померла с голоду, ее один раз в день кормили бурдой. Никаких известий с воли не доходило.

Искровой грозил виселица. Но ее не вешали, потому что хотели дознаться, кто направлял ее руку. А тут каким-то чудом по городу разнесся слух, что беременную женщину содержат в карцере, морят голодом, не выпускают на прогулки, отказали в адвокате, не допускают даже священника и хотят казнить без исповеди. Среди народа пошел ропот. Нашлись сердобольные среди купчиков, учителей, врачей. Кое-где прошли даже митинги. Весть об истязаниях подсудимой докатилась и до других городов, проникла в печать. Жандармы вынуждены были перевести Татьяну Львовну в больницу. Здесь она родила мертвого ребенка, а вскоре после этого теплой дождливой ночью выбралась через окно и бесследно исчезла.

Начались поиски. Полицейские и жандармы с ног сбились. Над шерлок-холмсами Читы стали откровенно издеваться. Тогда жандармское управление само распустило слух, что Искрова, боясь возмездия, утопилась в Ингоде. Труп ее, дескать, опознан и предан земле.

А Искрова в это время находилась у одного железнодорожного рабочего, который по поручению тайного кружка скрывал ее в погребе. Когда Татьяна Львовна немного оправилась, ее отвезли в дальний улус, затерявшийся в Агинской степи.

Еще в Одессе Искрова интересовалась медициной и теперь оказывала кое-какую помощь больным. В улусе ее полюбили, называли ород-эмчи¹, приглашали в каж-

¹ О р о д - э м ч и — русский лекарь.

дую юрту, старались угостить по обычаям степей. И все же Татьяна Львовна не могла здесь долго прожить. Она хотела жить среди рабочих. Случай вскоре представился. Через улус проходила партия рабочих, завербовавшихся на Карийский прииск к золотопромышленнику Пышкину. К ним-то и попросилась Татьяна Львовна.

Долго шла Искрова вместе с рабочими по выжженной солнцем степи. Пришлось сочинить версию своего появления в бурятском улусе, назвать себя учительницей, которую бросил муж и которая в отместку ему удалилась к бурятам, чтобы открыть здесь школу. Улусники ее будто не поддерживали, а ведь жить как-то надо. Рабочие улыбались в бороды и качали головами:

— Из учительниц — в повара к копачам...

— Теперь мода такая. По всем деревням то учителя, то фершала ходют. Людей будто изучают...

Однажды увидела Татьяна Львовна недалеко от дороги оборванного мальчишку. Она напоила и покормила его, обласкала.

Так стал Булад помощником Татьяны Львовны, любил ее, как может полюбить лишь детская душа, истосковавшаяся по материнской ласке. Бывало, прильнет к ней, обовьет худенькими ручонками и шепчет на ухо какие-то нежные бурятские слова. Выучившись сравнительно быстро говорить по-русски, он поведал свою печальную историю названной матери. Слово «мама» он произносил по-особенному, будто выдыхал из глубины души благодарность этой доброй, рано поседевшей женщине. Татьяна Львовна тоже искренне привязалась к Буладу и не мыслила теперь жизни своей без этого угловатого и не по годам серьезного подростка. Днем она хлопотала у печки, стирала и чинила бельешко приискателей, в минуты отдыха учила Булада грамоте, а вечерами вела с рабочими беседы.

Год на приисках делился на два сезона: с апреля по сентябрь и с октября по март. В летние месяцы рабочий день длился от зари до зари. Усталые и угрюмые возвращались рабочие к опостылевшему жилью: на плечах кирки, копаты, железные ломики, другие не имеют с собой ничего. Эти последние отвозят тачками песок на промывку и поэтому не боятся, что на их инструмент кто-нибудь позарится. В длинных, до колен, рубахах, подпоясанных

веревками, эти «вольные» приискатели мало чем отличаются от каторжан.

Татьяна Львовна встречала бородачей улыбкой и ласковым словом. Сердцем женским чувствовала она: нет для них сейчас ничего дороже, чем душевная теплота. Ведь у каждого этого копача где-то есть родной дом, жена, дети, может, любимая девушка, о которой он втихомолку вздыхает, но не скажет вслух.

— Булад, ты чего же стоишь, полей дяденькам на руки.

Булад схватил ковшик.

Другие артели, числом в двадцать — тридцать человек, также разбрелись к своим очагам. Здесь было так принято — каждая артель нанимает себе кашевара либо из малосильных мужиков, либо из женщин, либо из китайцев. Женщины в такие ватаги шли с неохотой, китайцы, узнав приискательский паек, убегали. Поэтому артельщики довольствовались каким-нибудь пропащим зубоскалом, которому в жизни ничего уже не осталось, кроме как сыпать прибаутки да подбрасывать в печку дрова.

Из приискательского пайка мудрено было приготовить добрую еду. Пакет состоял из двух с половиной фунтов хлеба, фунта мяса, горстки риса, около половины восьмушки соли и крошки жира. Чаю положена была плитка на месяц. Продукты, как правило, выдавались порченные: солонина — с душком, хлеб — из прелой муки, рис — наполовину с гаоляном. Жаловаться было некому: на сто верст кругом никого старше хозяина.

Доведенный до крайности приискатель мог и уйти. Но куда уйдешь, если в договоре черным по белому: столько времени ты должен отработать, столько получил задатку и какую ответственность несешь, если не выдержишь срока. Главная ответственность — погасить задаток с процентами, какие тебе укажет хозяин. Можно еще пуститься в бега. Но тогда опишут последнюю коровенку и выгонят бабу с ребятишками на все четыре стороны. Вот и оставалось приискателю потуже затягивать пояс да с тоской поглядывать в ту сторону, откуда пришел.

Легко ли надолбить и выкидать из котлована сажень песка? А то еще камень попадется, так его и черти зубами не угрызут. Сделал урок — получай рубль. Кажись, и немалые деньги, но опять же харч: фунт мяса — тридцать копеек, фунт махорки — сорок, фунт мыла — двад-

цать две, кожаные рукавицы — шестьдесят пять. Вот и гадай — мыться или грязному ходить, в рукавицах породу кайлить или кожу с ладоней сдирать, с голоду подыхать или хоть раз в день пожрать. А ведь надо было еще хоть какие-то копёйки откладывать, чтобы не вернуться домой с пустыми руками.

— А скусная похлебка у тебя сегодня получилась, Татьяна. Право слово.

Татьяна Львовна зарделась и, смутившись, притянула к себе Булада:

— Это ему спасибо скажите, сыночку, принес из степи какой-то травы: «Это, мама, мангир наш, лук бурятский». Попробовала я — и правда.

— Ай да молодец, Буладка! Ты завтра побольше принеси, сырьем поесть охота.

— Принесу, дяденьки,— взхлеб ответил Булад.— Я такое место знаю, там его хоть коси.

Помолчали: только вздохи да позвякивание ложек о миски.

— Неча, паря, надеяться заробить туточки. Ни шиша не заробишь. Только хозяин выдаст маненько жалованья, надо бежать. Мочи больше нету. Иначе помрем. Обглодают наши косточки волки да собаки, и вся недолга.

Сосед в испуге покосился на бородача, наложил на себя крестное знамение.

— Боже упаси, о чем толкуешь! Да нас ни за что не отпустят. Поймают и — в батоги. Опять же дело мое такое — забайкалец я. Жена, детишки дома. Придут и того...

Бородач не сдавался. Он, видимо, давно уже думал о побеге и теперь старался утвердиться в мысли.

— Разве не понимаешь, что они обманули нас? Обещали то, се, а на поверку — фи́га под нос. Вот и мы их обязаны обмануть.

Тщедушный старик посмотрел на собеседников, как смотрят взрослые на проделки детей.

— Чаво захотели — правды! — тихонько рассмеялся он.— Разве около золота бывала когда правда? Тут только с обманом люди дружбу ведут.

— Что правда, то правда, дед,— согласился бородач.— Кто имеет золото, может обманывать на дню по семь раз. А потом наймет попа и самого господа бога обведет вокруг пальца. Так-то оно. Поэтому надо бежать... У кого шкура пушистая — тот не мерзнет.

При последних словах бородач поднялся и подмигнул деду. Тот опять рассмеялся, вылил через край миски остатки супа в волосатый рот и тоже встал. Через минуту они уже скрылись за сараем, видимо, для того, чтобы закончить разговор без свидетелей.

Удрать с приисков было не просто.

В каждой артели был особый надзиратель, который обязан был следить за настроением приискателей, подгонять их, когда они устраивали слишком большой перекур, смотреть, чтобы кто-нибудь ни прикарманил самородка. Надзирателя еще можно было обмануть, а как обманешь казачьи кордоны? Уже столько смельчаков натыкалось на эти кордоны и возвращалось. Тех, кто оказывал сопротивление, судили и отправляли на каторгу...

Недалеко от артели сидел один из таких надзирателей — Демьян Пустяков. Отчаявшись найти хоть какое-нибудь «благородное» занятие вблизи города или хотя бы села, он вынужден был наняться в услужение к господину Пышкину. Дело хоть и выгодное, но беспокойное: того и гляди пырнут ножом. Ни уважения, ни страха перед начальством, сущие разбойники!

Демьян Пустяков питался из общего котла. Бывало, что ему предлагали добавочную порцию, и он принимал ее как должное. Но в этой артели еще ни разу не протянули ни лишнего куска хлеба, ни миски супа. Вот уж варнаки! Хуже каторжан... Звякнув последний раз ложкой, он посидел для приличия, потом встал и зашагал к управлению.

Обзывая золотоискателей варнаками и каторжанами, Демьян Пустяков был до некоторой степени прав. Среди них попадались спившиеся чиновники, студенты-неудачники, бежавшие с каторги воры, способные ограбить артель, подкупить кордонных казаков, а то и обойти стороной и удрать от расправы. Такие люди умели добывать спирт, а напившись, куражились, показывали всем «благородное» происхождение. Двое «благородных», поддерживая друг друга, брели по лагерю.

— Нам с тобой надо податься в Америку. Я читал, там можно заработать наигромаднейшие деньги. Десять тыщ в месяц... А в Южной Африке и в Австралии... за год можно стать миллионщиком. Так за каким же хреном мы здесь с тобой торчим?

— Вы, господин студент, наивны, да-с. Никогда не слыхивал, чтобы землекоп стал миллионером. Вот ежели бы найти самородок, тогда другой разговор. Найти и спрятать.

— Украсть?

— Зачем — украсть? Уж больно ты остер на язык. Утаить... Слыхал, где самые большие самородки найдены? В Чили. На девять пудов самородок! Пресвятая богородица, да я бы... Я бы прямо в Петербург!..

— Врешь! Таких самородков не встречал... в книгах. Не помню.

Приискатели не пудами взвешивали свое счастье, найти бы хоть фунтик. Но были и такие, кто не возлагал никаких надежд на золото. «Первое богатство — наука, последнее — скот», — гласит бурятская пословица. Примерно так рассуждали те немногие, которые собрались возле Татьяны Львовны. В одной из землянок на отшибе, пока было светло, Искрова учила рабочих грамоте по букварю, читала им случайно попадавшие на прииск газеты и книги. А потом беседа продолжалась в темноте.

— Да, житуха! — при свете догорающей зари на фоне окна был виден горбатый нос и длинные усы. — Десять лет кряду копачом на каторге, на реке Лене, пробыл. Случалось, к тачке приковывали, гады. Думал, выйду на волю, заживу. Черта с два зажил. В Иркутске, в Верхнеудинске, в Чите счастья пытал. Каторжных, говорят, нам не надо. Вот и опять та же тачка да кайло, как на каторге... Нет, так дальше нельзя. Надо бороться, а то шкуру сдерут.

Татьяна Львовна притянула к себе Булада.

— Правильно говоришь, товарищ. Но чтобы бороться — надо знать, кто твой враг. Ну, Пушкин, скажете вы. Да, конечно, Пушкин нам не друг. Он хитрый и коварный противник. Обещал больницу, а нанял только пьянчужку-фельдшера, при всех болезнях знает одно — кровопускание. Но главный наш враг — самодержавие. Сейчас царский режим как гнилой парусник в океане. Взволнуется народ — и парусник затонет.

— Улита едет, когда-то будет. Мужик — он, кроме коровенки да лошаденки, знать ничего не знает, дальше носа ничего не видит. Мастеровые — те тоже всяк свое. Надо постепенно всяких Пушкиных прижимать. Мы — слово, другие — слово...

— Это, конечно, так, но надо готовиться и к большему. Я верю,— убежденно продолжала Татьяна Львовна,— что настанет время, когда все — и рабочие, и мужики — поднимутся сообща и свалят трон.

Рабочие сидели притихшие.

Булад, прижавшись к Татьяне Львовне, думал о том, что когда он вырастет, непременно будет помогать тем, кто пойдет войной на богачей. «Почему же мама моя не знала, что богачи такие плохие,— думал мальчик.— Папа, наверное, знал, но не успел рассказать ей...»

Опять заговорили о делах на прииске. Что ни толкуй про царя, а Пышкин-то под боком. Опять же водка проклятушая да спирт. Другой раз и не хотелось бы выпить, а тебе суют из-под полы: держи, мол, по дешевке отдам.

— С этим спиртом — дело нечисто,— сказала Татьяна Львовна.— Как думаете?

— Откуда же ему быть чистым? Наполовину с водой!

В землянке рассмеялись: пробовал, дескать, не однажды. Бас не возражал: с кем не бывало?

— Со стороны поглядишь, так наш хозяин особенно энергично против пьянства борется. Кордонов понаставил...

Бывший каторжник с запорожскими усами стал говорить, глядя в окно на уходящую зарю.

— Конечно, хозяину не с руки, чтобы мы поголовно пьянствовали. Вот и понаставил кордонов. А им, спекулянтам, кордоны не страшны. Не захотят поить казаков — обойдут, это как на духу говорю, всю Сибирь прошел. Спиртоносец, думаете, дурак? Он умнящая подлюга! В городе спирт купит подешевле или сворует, наливает в бачки-жестянки из-под керосина, запаивает — и айда! Понюхал ветер раз, другой — учуял караульчиков. Оставляет те бачки в лесу — и шаст до рудника. «Не надо ли, хлопцы, горячего-прегорячего?» Хлопцам, понятно, надо. Выворачивают они карманы и загашники, вытряхивают крупинки золота, посылают надежных ребят с ведром. Утром приходят в казарму надзиратели, а вся артель пьяным-пьяна, как после крещения Руси. Э, да что говорить! Один раз они просчитались: их трое было, а нас за спиртом пятеро пошло... Так мы их того... Спирт отобрали и деньги назад вернули... А они даже жаловаться не пошли.

— С того света не приходят, не возвращаются,— убежденно заметил кто-то.

Нависла тишина. Приискатели, недавние крестьяне, со страхом смотрели на темную фигуру каторжника и пытались представить, какой страх господний был тогда в том лесочке. Оказывается, этот горбоносый — опасный человек...

Еще кто-то подал голос, хриплый, с хлюпаньем...

— Да знаете, что на добрые прииски, где эти самые самородки валяются,— спирт в бочках привозят. И в том спирту хозяин участвует, чтобы, значитца, самородки удить. А вы...

Молодой парень поскреб затылок и несмело спросил:

— А мне можно слово сказать?

— Отчего же нельзя? — подбодрила его Татьяна Львовна.— Говори, пожалуйста.

— Тогда скажу. Служил я в охранниках, то исть в жандармских войсках. Так мы, бывало, спирт в своих ружьях приносили до приисков. Заткнешь дуло, и того... несешь. А другие за голенища резиновые посуды за-талкивали. Всяко бывало. Так что трудно усмотреть.

Все уставились на парня, будто видели его в первый раз. Каторжанин спросил его не без опаски:

— А ты как же... переметнулся?

— Да так,— тряхнул чубом парень.— Не то чтобы шибкая беда, но повадился я в гости к приказчиковой дочке. В окно лазил,— без всякой рисовки признался он.— Ну, однажды приказчик, зараза, и застал меня с дочкой. В воровстве обвинил. Судили меня, погоны при народе срезали и кандалы набили... Рассказывать далее али нет? Больно Татьяны Львовны мне стеснительно...

— А ты рассказывай, а лишнего не болтай,— предостерег его каторжанин.— Сам знаешь, не каждое лыко в строку...

Парень спрятал голову в раскрытые ладони, посидел так, собираясь с мыслями, сказал:

— Золото у меня было об энту пору. Посулил пять золотников стражнику, отсыпал честь по чести и убег. Вместе с приказчиковой дочкой. Веркой ее тогда звали, подлюгу. На золото мое позарилась...

Парень вдруг замолчал, искоса поглядывая на Татьяну Львовну: продолжать ли рассказ. Та перевела разговор на другое.

— У Пышкина есть тайный склад спирта,— сказала она впрямую.— Это проверено. Через Демьяна Пустякова он сбывает его вам и вас же штрафует.

Приискатели недоверчиво загалдели. Чтобы сам Пышкин промышлял продажей спирта — немыслимо! А Татьяна Львовна продолжала:

— Пышкин — один из воротил богатейшего прииска Желтуг. Этот прииск сейчас закрыт. Но у Пышкина и сейчас, кроме нашего, не меньше десяти золотиносных участков на подставных лиц.

— Расскажите, Татьяна Львовна. Слыхали мы про Желтуг...

— Нет, товарищи, поздно уже. Сынок мой уснул... В другой раз...

— Разрешите, я расскажу,— встрепенулся парень.— Я же туда подался со своей Веркой. И Александра Александровича во как помню! Можно?

— Ну, что же, расскажи.

Татьяна Львовна подняла на руки сына и удалилась в каморку.

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

— Та история с Желтугинскими приисками началась лет десять, а может, и пятнадцать тому назад,— так начал свой рассказ парень.— Еще на деревне жил, про те прииски слышал. Разнесся слух, что на речке Желтуг богатейшие золотиносные пески найдены... Ну, хорошо. Многие наши мужики баб своих побросали, подались на те золотые места, рубли с колесо добывать. Мои старшие братья, двое их было, тоже хотели на Желтуг идти. Да только тятка наш крутой мужик был, не пустил. Пойдете, говорит,— все Прошке отдам, мне то исть, а вам ни зуба от бороны, ни клочка шерсти с овцы. А я, признаться, не любил крестьянскую работу. Братья в поле, а я заберусь на сеновал да книжки читаю. Шибко до книг охоч был. У нашего учителя брал...

Смирились братья, думать про Желтуг забыли, ждут, когда отец делить свое хозяйство начнет. А тут как раз призыв на действительную службу. Кому-то нам, братьям, в дорогу собираться. Большаки, понятно, на меня пальцем тычут. Батка мог и откупиться, да не стал... «Иди, сказывает, Пронька, в солдаты, там тебе дурь из башки выбьют, от книжек отучат».

Делать нечего, пошел. Казенные прииски охранял. Парень я видный из себя был, с приказчиковой дочкой гулять стал, а потом и того... Рассказывал вам уже, как получилось. Одним словом, подались мы с Веркой в Благовещенск, а оттуда — на Желтуг. Верка мне паспорт на Степана Благонравова где-то достала, так по нему я и до сего дня живу...

Все я узнал потом про город Желтугинск, даже книжку хотел написать, да не получилось ни черта. А рассказать могу.

Значит, когда слух про Желтуг прошел, то к Благовещенску за полгода собралось много тысяч человек. Были тут и настоящие приискатели, и беглые каторжники, и воры, и ссыльные, и картежники — всякой твари по паре. Прибыли на место, смотрят, а на той стороне реки китайцы с корейцами копошатся, золотишко моют. Значит, правду говорили, стоящий участок.

Прошло два, а может, и три года. На Желтуге уже работало вдвое больше людей. Сперва землянки одни стояли, потом домов понастроили, целый город вырос. Дороговизна пошла, страшно сказать. В Благовещенске пуд мяса — четыре рубля, а в Желтугинске — пятнадцать. Пуд сухарей — четырнадцать вместо трех рублей. Даже за несчастную лопату чуть ли не красненькую платить приходилось. Но люди терпели, потому что заработки в самом деле были добрые, да и самородки, случалось, воровали.

Верка кухаркой к какому-то богачу поступила, да недолго там продержалась: купила себе хибару на мое золотишко и стала жить припеваючи. Сперва в Благовещенск сама ездила, чаю, соли привозила и сбывала на золотишко. Года не прошло — моя Верка уже дом двухэтажный отхватила. Меня не гонит, однако и к себе не зовет.

— Побудем, Степа, здесь еще годика два, поженимся, а потом уедем на запад.

Ладно, думаю, будь по-твоему. К тому времени я уже на промывку перешел, легче и выгоднее. Опять золотишко стало водиться. Да и житуха другая стала. Узнали купцы про наш город, товаров стали завозить. Почитай, полторы сотни лавок за одно лето открыли. Гостиницы, рестораны появились — «Марсель», «Беседа», «Калифорния». Бани,

картежные дома, опиум китайцы стали завозить. Настоящий город стал, даже публичный дом открыли.

Улицу главную «Миллионной» называли, богачи на ней жили. А «Драная», «Заплатная», «Копайгород», это где наша братия квартировала. Площадь тоже была, «Орлиным полем» называлась. Тут голытьба сборища устраивала, в орлянку с утра до ночи жарились. На этой же площади людей наказывали. А надо вам сказать, законы там были свои, неписанные. Город называли автономным, никому он не подчинялся, а только самому себе. На «Орлином поле» лучшие магазины и кабаки стояли. Управление Желтугинских приисков на этой же площади располагалось. Большой такой дом, с деревянными колоннами, с окнами большими, со швейцаром. Против управления колокол двухпудовый висел меж двух столбов на перекладине. В него звонили, когда бумагу какую важную читали и когда казнили. Возле колокола пушки с ядрами стояли, только я не слышал, чтобы из них стреляли. Для острастки, наверное, привезли. Церквушку построили небыльничью на этом же «Орлином поле». Подошел я как-то к ней, задрал голову, смотрю. Ничего церквушка, не хуже чем у нас на деревне. «Придите ко мне трудящиеся и свободные, и аз успокою вы». Черта с два, думаю, ты успокоишь меня, ежели Верка от рук отбилась. Прихожу как-то к ней, а она не пускает, утром, мол, пожалуйста, а сейчас у нее гости. Плюнул я и ушел. Вот же зараза какая стала!

— А много артелей работало на приисках? — спросил копач с усами.

— Много, — продолжал парень. — Только с лопатами да тачками работало семьсот артелей. А люди все шли и шли, будто места им нигде больше не могло найтись. Уже в артели перестали принимать, тогда новенькие начали сбивать свои артели, их прогоняли, отбирали инструмент, били. Они уходили дальше. Беспорядки пошли все чаще, убийства, грабежи. Тогда собрались богатеи, выбрали старшину, а в помощь ему — десятерых старост. Александра Александровича Пышкина, как я после узнал, старшиной выбрали... Ну, хорошо. Старостам велели следить за порядком и без жалости карать. Судили по закону Моисея — «око за око, зуб за зуб»: за убийство и ограбление вешали, за другие провинности тоже убивали, но другим способом. За тайную промывку золота

виновный получал пятьсот плетей. Плетка была сшита из сыромятного ремня, на манер кишки. В эту кишку наталкивали мелких гвоздей. Да, так вот, если кто без дозволения золото мыл,—получай пять сотен ударов той плеткой, если дал зуботычину надзирателю — получай три сотни ударов. За оскорбление начальства — две или три сотни. Редко кто выдерживал больше одной сотни. Над убитыми для порядка махал кадилом попик из бывших каторжных. Он же отпускал грехи повешенным... Иной день на перекладинах болталось до двадцати трупов.

— Вот это жизнь! — с дрожью в голосе произнес кто-то.

— Жизнь — что и говорить! — согласился рассказчик.— Зато грабежи как рукой сняло. Да и сами приискатели присмирели. После этого купцов еще больше понаехало, цены стали падать. Жить стало легче. Но тут старшины другой закон придумали: облагать всех купцов налогом. Десятую часть всех доходов должны были платить управлению купцы, которые продавали провизию, а кто спиртом торговал — двадцать процентов платил. Столько же брали и со всех прочих заведений. Пышкин опять-таки заработал большущие деньги. Пытались убить Пышкина, но где там: у него всегда под рукой были охранники. Не из солдат, а наемные.

Парень замолчал. Молчали и приискатели. Через разбитое окно откуда-то доносилась пьяная песня.

— Чем же все это кончилось? — поинтересовался бывший каторжник.— Убег ты оттуда или женился на Верке?

— Ежели бы женился, здесь бы вы меня не видели. Жил бы купец купцом... Может, сам прииск держал бы. Да, так вот. Вижу, богатеет моя Верка день от дня. На тройке катается, дорогие безделки покупает, сама будто княгиня разодета. Меня через черный ход принимает. Плачет, бывало, обнимает, целует, а от самой вином разит. Глядя на такое дело, и я с горя выпивать стал. Работа у меня легкая, поскольку я уже золото стал принимать и взвешивать, а потом старшему приказчику сдавать. Так что ночью горе заливаешь, а полдня спишь.

Однажды повстречал знакомого бурята, сверстника. Ихний улус от нашей деревни недалече находился. Обрадовался я этому Дондоку, как брату родному. Пригласил его в трактир, накормил, напоил, про новости из наших

краев стал расспрашивать. Он сам, оказывается, уже год в улусе не бывал, в Чите у Торговойн Жапа служит. Но все же слышал он, что тятка мой помер, братья разделились. Меня будто бы искали, чтобы на каторгу водворить. Братья подписку дали — отправить меня по этапу, как только появлюсь в деревне.

Посидели мы с Дондоком, поговорили, и так мне тоскливо стало, хоть иди и сам вешайся на «Орлином поле». Видит мое положение Дондок: не бойся, мол, никому не скажу, что тебя видел. А под конец к себе стал звать, в гостиницу, где они с хозяином остановились, чуть не полдома заняли.

И вот сидим мы с Дондоком в комнатухе маленькой, лакейской называется. В зале господа вино пьют, в карты режутся. Посмотрел я в щелку: Пышкин среди гостей, чиновник какой-то важный, купцы. А на самом главном месте — бурят лет двадцати пяти, а может, чуть старше, Фрак, галстук бабочкой, белая сорочка. И по-русски наяривает без запинки. Это и был Локсой, хозяин моего дружка. Понял я из разговора господ, что купеческий сын Локсой завтра утречком в Благовещенск едет, что это его прощальная выпивка.

Играют господа в карты, Локсою про заморские страны расспрашивают. А он, хоть и бурят, а вида не показывает, отвечает серьезно, только с неохотой. Дондок хоть и не ахти как по-русски толмачит, а подметил нехорошее отношение к своему хозяину, аж зубами скрипит. Тут бы мне и уйти, а я сижу, уши развесил.

«А видели вы наши достопримечательности? — спрашивает у Локсою один купчишка. — Бывали вы у Любки-Бомботки али нет?» — «Бывал, — говорил Локсой. — Очень даже забавно».

Тут подошел к купчику Пышкин, интересуется, о какой такой примечательности разговор идет. «Разве не знаете, батенька, что Любка-Бомботка отчубучила? Переночевал ночку — плати золотишком. Редко она принимает, да метко».

Гляжу, Локсой покраснел весь. «Я, говорит, только посмотрел». — «А золотишко отсыпал?» — не унимается купчишка. «Отсыпал, — признался Локсой. — Каналья баба, зато красивая, есть на что посмотреть».

Гогочут, черти. А меня вроде кто кипятком ошпарил, горю огнем. Неужели, думаю, это про мою Верку такое

брежут? Спрашиваю тихонько Дондока: «Куда это твой хозяин ходил, не в тот ли вон дом?» — и окошко показываю. «В тот,— отвечает он.— Мне тоже разрешал. Два раза я там ночевал, девки шибко хорошие».

Не помню, как я выскочил из гостиницы, как очутился у Верки. Розовенькая такая, ямочки на щеках, в халатик кутается. «Что это ты так долго не приходил?» — и жметя ко мне. Ей-богу, чуть не раскис. «Осенью уедем отсюда. Осточертело все. В Москву или Петербург подадимся. А повенчаемся в Благовещенске».

Страхнул я с себя дурь да как рвану ее за халат, а на ней даже исподней сорочки нет. Одним словом... правильно купчина говорил, все как есть верно. И зваться она не Веркой стала, а Любкой. Чтобы не так стыдно было,

Приискатели засмеялись. Смеялся с ними и Степка. Когда утихло, он продолжал:

— Теперь, конечно, смешно, а тогда я так ошалел, что бить ее, заразу, начал. Сбежались девки, подняли визг, послали за охранниками. Не миновать бы мне плетей триста, если бы вовремя не убрался. Одним словом, дал тягу в тот же вечер. А утром меня нагнал Дондок со своим хозяином. Посадили меня, спасибо им, на вторую телегу, что с провизией была, и довезли до Благовещенска.

Вот такая горячка со мной стряслась.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Однажды вечером, когда артели отужинали и разошлись по баракам, Искрова слышала шум и громкую брань. Все выскочили из хибарки. Предстала такая картина: пьяный Пустяков и несколько отпетых наскакивали с топорами и ножами на артель. Те отбивались чем могли — палками, табуретками, обрезками досок. Кто-то лежал на земле смирно, кто-то орал благим матом, схватившись за живот.

Не успели другие рабочие разнять дерущихся, как верхом на конях подскочили Пышкин, старший нарядчик и с десяток казаков. Александр Александрович спешился, передал повод одному из казаков и приказал драчунам выстроиться в шеренгу. Он прошелся вдоль ряда, вглядываясь в каждого:

— Что же это вы, братцы, сражение открыли? А еще жалуетесь, что работа тяжелая, что голодом вас морят. Молчите, нечего сказать? Тогда назовите зачинщиков.

Унтер-офицер, прибывший с казаками, козырнул Пышкину:

— Да они пьяны, ваше благородие. Не видите разве?

Александр Александрович сделал удивленные глаза:
— Помилуйте, да неужто? Стыд, ребята!

Пока Пышкин сокрушался, старший нарядчик уже вынул штрафную книжку и заносил в нее фамилии рабочих. Наблюдая эту картину, Татьяна Львовна страдальчески морщилась: сцена была подстроена заранее. Слишком быстро нагрянуло начальство, трус Пустяков держался нахально.

Унтер-офицер приступил к допросу:

— Где взяли спирт, ну?

Демьян Пустяков, засунув руки в карманы, в свою очередь спросил:

— А тебе какое дело? Отработали положенное время, а дальше — как хотим...

— Ай-яй-яй! — разыгрывал комедию Пышкин. — Кто-то спаивает моих мужиков, а я и знать ничего не знаю. Нехорошо, ей-богу, нехорошо.. Ну признайся хоть ты, Пустяков, где добывал спиртное?

Пустяков подмигнул приискателям: нашел, дескать, дурака... Теперь и те, кто нападал, и кто оборонялся, враз загалдели:

— Не говори, Демьян!

Александр Александрович безнадежно развел руками и смотрел на старшего нарядчика. Тот подскочил к Пустякову со штрафной книжкой.

— Распишитесь, господин Пустяков... Выходит, с вас штраф.

— Отчего же не расписаться? Раз выпили — можно и расписаться. Верно, ребята?

— Валяй!

— Ну, а теперь платите, — наседали на Пустякова нарядчик

Демьян пошарил в карманах, для убедительности даже вывернул их:

— Нашел у приискателя деньгу! Из жалованья удержишь.

Нарядчик пожал плечами:

— Хорошо, удержим. С вас, ребятушки, тоже...

Нарядчик зачитал список оштрафованных и захлопнул книгу. Все прибывшие с управляющим вместе сели на лошадей, быстро исчезли. Демьян Пустяков сплюнул.

— Раз такое дело, придется еще по одной пропустить. Все едино штраф платить. Только чур не драться...

Выпивохи удалились. Татьяна Львовна стояла в кругу друзей и с грустью думала: как все это грубо подстроено! Простодушные рабочие верят, что Пустяков — свойский парень, что он постоял за них перед хозяином. С Пустякова, конечно, штраф удержат, как и со всех, но потом эти деньги вернутся к нему сторицей. Непременно хозяин его наградит... Вслух она сказала:

— Тут было расписано заранее, кому принести спирту, кому учинить скандал. Недаром Пышкин так вовремя нагрянул.

Рабочие согласно кивали головами.

Когда снова собрались в землянке и Татьяна Львовна приступила к обычным занятиям с неграмотными, бывший каторжник откашлялся в кулак и предложил:

— Дозвольте, Татьяна Львовна, нам со Степкой выследить спиртовиков.

Татьяна Львовна согласилась. Она добавила еще, что надо бы удержать приискателей от одиночных побегов, рассказать им, какими средствами следует бороться против хозяина. А средства такие: когда будет обнаружен потайной склад со спиртом — а он будет обнаружен, — тогда приискатели соберутся и выработают совместные требования. Пусть уже сейчас каждая артель обдумает эти требования: и условия труда, и пища, и врачебное обслуживание, и оборудование жилищ. Пышкину останется либо удовлетворить требования, либо распустить рабочих.

Прошло несколько дней. Кружковцы Татьяны Львовны побывали во всех артелях, провели тайные беседы с приискателями. Началась выработка требований, пошли споры.

— Бросьте бабские выдумки! Ничего все равно у вас не выйдет. Хоть царю пишите, хоть господу богу — все останется как было.

Деревенские, те попросту боялись.

— Нагрянут казаки, всыпят по первое число, вот и вся правда. Не дело затеяли, мужики, как бы хуже не обернулось.

Но большая часть приискателей поддержала Татьяну Львовну. Ее всюду приглашали: включать ли в «петицию» проломленную крышу, блох, тараканов?

— Конечно, надо требовать, чтобы казарму и землянки Пышкин отремонтировал, открыл баню, заодно и прачечную. Ведь большинство приискателей не мылись с тех самых пор, как приехали.

Попутно она рассказывала, как поступают рабочие фабрик и заводов, когда им становится не вмоготу. Особенно много она говорила о стачках. Когда рабочие сплочены, когда горой стоят друг за друга — они непременно выигрывают.

Однажды на прииске появился новый человек. Он ничем не отличался от приискателей — обросший, в старенькой одежде, немного сутулый. Новенький побывал у Пышкина, просил принять его надзирателем, но тот отказал. Татьяна Львовна повеселела: приезжал связной социал-демократического кружка из Читы.

Беседы с рабочими не прошли бесследно для Искровой. Пышкин вызвал ее в контору и заявил:

— Вот что, мадам: или ведите себя смирно, или я вас велю изгнать.

— Боюсь, господин управляющий, как бы вам самому в скором времени не пришлось выбирать. Здесь вам не Желтугинск, не автономия. Вы лишь представитель Горного округа.

— Это угроза? — Александр Александрович потер руки. — Что ж, вызов принимаю. А теперь потрудитесь, мадам, собрать барахло и оставить прииск. Предупреждаю, завтра будет поздно.

И тут вбежал казачий унтер-офицер:

— Бунт, ваше благородие! Эти бандиты обезоружили три десятка моих казаков и вскрыли склад, где э... э... хранятся бочки. Сволочь Пустяков перетрусил и все им разболтал. Теперь они требуют вас, господин Пышкин, — он глянул на Татьяну Львовну. — И вот их, повариху...

Пышкину пришлось смириться. Он переложил из заднего кармана брюк во френчик миниатюрный пистолет и направился к складам. Татьяна Львовна, опередив Пышкина, торопилась к рабочим. «Стихийное выступление, — думала она. — Как бы, завладев оружием, не занялись самоуправством... Вместо политического выступления — обычная уголовщина...»

Опасения не оправдались. Рабочие плотным кольцом окружили восемь бочек со спиртом. В кругу с понурыми головами стояли Демьян Пустяков и забулдыга по прозвищу Рваное Ухо. Бывший каторжник сидел на одной из бочек и вел допрос.

— Выходит, спиртишко-то у вас хозяйский? — допытывался он.

— Выходит так, — нагло ответил Рваное Ухо. — Так что на нас зазря вы того... кулаки сучите... Наше дело — сторона.

Группа приискателей, успевшая, видимо, пропустить дарового спирта, зашумела, придвинулась к бывшему каторжнику:

— Чаво рассусоливать? К стенке их — и баста. А спиртишко разделить по артелям. Все равно Пышкин на нем нажился под завязку. Решили, братва?

Стоявший рядом с каторжанином Степка навел на бунтарей револьвер и неожиданно спокойно приказал:

— А ну-ка, малость охолоньте и отойдите, ребята. Не посмотрю, что свой брат, приискатель, всажу пулю промежду глаз, как пить дать.

Допрос продолжался. Пустяков показания уже дал, признался, что нарочно учинил драку, за что хозяин посулил ему пятерку. Рваное Ухо подтвердил, что такая же сумма была обещана и ему. Оба признались также, что по указанию хозяина, унтер-офицера и фельдшера они собирали с рабочих деньги и золото, а потом приносили им спирт и водку. При последнем признании толпа ахнула и готова была растерзать «шакалов», но Степка успел вскочить на бочку и выстрелить трижды в воздух. Приискатели сразу остыли. Тогда Степка стал перечислять требования, которые должны быть предъявлены Пышкину. Предлагалось вернуть все штрафы, наложенные за выпивку, поскольку здесь больше виноват хозяин; вернуть рабочим деньги, вырученные за продажу спирта; открыть баню; отремонтировать казарму и другие жилые постройки; объявить бойкот тухлой солонине и заплесневелому хлебу; рабочий день довести до десяти часов без снижения жалованья. В случае, если г-н Пышкин откажется выполнить перечисленные условия, то контракт ликвидируется и все рабочие имеют право либо заключить новый, либо покинуть прииск.

Татьяна Львовна ликовала: не зря она все-таки про-

жила здесь больше года, не на ветер были пущены ее слова о борьбе за рабочие права, о рабочей спайке и солидарности.

Александр Александрович стоял в стороне, постаревший. Тряхнув головой, он вошел в круг приискателей.

— Не слушайте смутьянов! Я знаю, многие из вас отбывали каторгу, пришли сюда с немалыми грешками. Я закрывал на это глаза. А теперь вы слушаете бунтовщиков, чтобы опять надеть кандалы. Если вы сейчас не прекратите безобразий, я вынужден буду вызвать дополнительные войска из Читы. Выбирайте.

В круг протиснулась Татьяна Львовна. Она подняла руку, призывая к тишине, и начала:

— Рабочие! Господин Пышкин хочет вас запугать. Но если он вызовет войска, мы пошлем протест против нечеловеческих условий жизни и труда в Горный округ. Мы опубликуем наши требования в газетах. Я верю, что общественность России сурово осудит самоуправство одного человека и станет на нашу сторону. Давайте, товарищи, все подпишем наши требования.

— Пришлите ваши претензии в контору,— скис Пышкин. И ушел.

На душе у него было скверно. Он понимал, что доводить дело до огласки нет расчета. Нагрянет ревизия из Горного округа, учинит допрос, а там начнут шуметь газеты. Прииск он, конечно, потеряет. Откупиться можно от двух-трех чиновников, но как откупиться от газет?

На другой день Татьяна Львовна в сопровождении представителей от каждой артели прибыла в контору. Пышкин принял их любезно, усадил за длинный стол и стал знакомиться с требованиями. «Хитра, шельма! Вишь, как закрутила. Ссылка и на законы, и на предыдущий договор». Пышкин почувствовал, что эта седоволосая бабенка приперла его к стене.

— Хорошо, господа! Штрафы я верну. Часть денег, вырученных за спирт,— тоже. Я ведь не бесплатно его брал, он мне обходился в копеечку. Однако райскую жизнь не обещаю, рабочий день сократить не могу.

— Тогда мы уйдем,— резко бросил Степка.

— Что же, прощайте,— улыбнулся Пышкин.— Надеюсь, эта бумага останется у меня?

— При условии, что вы сейчас же, при нас, уничтожите старые контракты.

— Разумеется,— наклонил голову Александр Александрович. Он тут же извлек из железного сундука пачку бумаг и кинул их на стол. Рабочие изорвали их на клочки.

На другой день Александр Александрович произвел с приискателями расчет, вернул им незаконные штрафы и тут же приступил к составлению новых контрактов. Однако охотников оставаться на приiske нашлось мало. Почти все решили уйти.

«Ну и черт с вами, катитесь колбасой. На ваше место найдутся. Главное — петиция в кармане, все будет шито-крыто».

Однако он не рассчитал, что копия этого документа может остаться у Искровой. А копию она действительно сняла. Даже подписи всех рабочих восстановила. «Раз Пышкин не выполнил всех наших требований,— рассуждала она,— мы вправе действовать по своему усмотрению».

Рано утром Татьяна Львовна вместе с Буладом покидала Карийский прииск. Вместе с ней уходило около трехсот рабочих. В Чите Искрова размножила письмо о положении приискателей на Каре и разослала по многим приискам Забайкалья. В этом письме, адресованном надежным товарищам, говорилось, как приискатели одержали первую свою победу. Такое же письмо было направлено и в Горный округ. Не успел Пышкин нанять новых рабочих, как пришло распоряжение — срочно прибыть в Петербург. Вслед за этим пришла газета из Читы, где положение на Карийском приiske рисовалось в самом неблагоприятном виде.

— Проклятая баба! — рвал и метал Александр Александрович.— Обвела вокруг пальца. Дурак, надо было вызвать войска. И поделом же мне!..

Стоял дождливый осенний день, когда Пышкин уезжал из Кары. Кругом таилась мерзкая тишина. И на душе у него было так же мерзко и пусто, как на заброшенном приiske.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Летели рваные, шалые тучи. Ветер мял их, отбрасывал прочь. Истерзанные тучи удалялись на юг, к вершинам Тибета, слезы их падали на землю дождем.

Навстречу ветру двигались два всадника. Гривы и хвосты их коней развевались. Подставив лица дождю и ветру, всадники вглядывались в мутную пелену, заслонявшую горизонт. Аламжи обрубком указательного пальца прикоснулся к шраму на месте правой брови. Другой всадник, темный, как сумерки, не делал лишних движений, он смотрел только вперед.

Вдали за дождем, словно прикрытая прозрачным шелком, показалась березка. Ударит по ней ветер сплеча, пригнется березка, как борец перед соперником, и выпрямится опять. Издали она походила на воина, друзья которого погибли — из целой рати остался он один.

Высоко в небе с жалобным криком пролетел отставший от стаи гусь. Всадники попридержали коней и долго следили за полетом птицы. А дождь, нудный как блеяние голодных овец, все продолжал лить.

Всадники поравнялись с березкой. В вершину холма вонзилась зеленая молния, загрохотал гром. Кони вздыбились и захрапели.

— Где же остановимся, Аламжи?

Аламжи коротко глянул на сотоварища и промолчал.

Ван Тумэр и Аламжи вынуждены были навсегда покинуть монгольские степи. То собираясь отрядами, то распавшись на группы, соратники предводителя хунхузов шесть лет мотались между Алтаем и Хангаем и наконец не выдержали натиска. Разбитые наголову, хунхузы растаяли в степи. Вожаки оторвались от наседавших на них преследователей и с группой храбрецов достигли границ России. Здесь Ван Тумэр распустил свою гвардию по аилам и вместе с Аламжи вступил на землю белого царя.

Ветер совсем очистил небо. Небо сияло. Солнце стало будто начищенный таз. Выглянули из нор суслики и тарбаганы, седоусые мышки, ящерицы. Каждый приветствовал возвращение солнца.

Погруженные в думы, всадники вдруг разом натянули поводья и остановили коней. Их путь пересекала женщина. Грязная, оборванная, с развевающимися волосами, она огибала подножие холма. На руках у нее было что-то завернутое в лохмотья. Ван Тумэр и Аламжи переглянулись. Женщина продолжала свой путь. Подъехали ближе. Покрытые слоем грязи щеки женщины потрескались. Меж

губ еще торчал стебелёк дикого лука. Руки, державшие ребенка, были черны, как земля.

— Она убьет ребенка! — громким шепотом сказал Ван Тумэр и взглянул на Аламжи. — Надо взять его.

Суеверный человек, встретивший такое страшилище в степи, без оглядки побежал бы в ближайший дацан сотворить молитву.

Безумная, положив ребенка на спину и держа его за ноги, взглянула на всадников. Когда до ее сознания дошло, что перед ней такие же люди, как и она, женщина принялась жевать лук.

— Ты убьешь его, безумная! — прохрипел Ван Тумэр и, выхватив ребенка из рук сумасшедшей, посадил к себе в седло.

— Отдай, верни мне сына! — закричало страшилище. — Зачем взял?

Женщина продолжала вопить. Аламжи удалось приблизиться к ней. Наклонившись с седла, он ласково стал спрашивать:

— Где твоя юрта? Говори, не бойся. Сейчас мы тебя покормим и отвезем до аила. И ребенка тоже...

Женщина замолчала. Некоторое время она стояла потупившись, а потом подняла глаза на Аламжи.

— Зачем спрашиваешь? Нет у меня юрты, нет кочевья, ничего нет.

— А как тебя звать?

— Не знаю. Забыла давно. Меня никак не звали. Не помню...

— А вспомни! Скорее вспомни, как тебя звали.

— Зачем тебе мое имя? Было когда-то имя, да его отобрали боги. С тех пор как пропал муж. Эх-ха-ха-хэ! И детей имела...

Ван Тумэр тем временем распахнул полы халата и согревал малыша.

Аламжи спешил, подошел к женщине и взял ее за плечи. Долго, не отрываясь, глядел он ей в глаза... Может пройти много лет, человек состарится, растолстеет или высохнет, как щепка, но глаза никуда не денешь.

— Вспомни, как звали детей.

— Уже и не вспомню... Зачем тебе? — Безумная сверкнула белками глаз, вырвалась, плюнула ему в лицо. — Нет! — и погрозила пальцем.

— Куда ты сейчас идешь? — ласково допрашивал Аламжи.

— Во-он, видишь? — указала она на север.

Аламжи посмотрел и поначалу ничего не мог разглядеть, кроме пустынного горизонта, потом заметил движущиеся точки. Несомненно, там далеко, у подножия увалов, среди разбросанных юрт, собралась толпа.

— Что в том улусе?

— Свадьба!

— Вот хорошо. Туда и пойдем.

— Ребенка! Отдай моего ребенка!..

— Это твой ребенок?

— Я там его нашла... Мальчик.— И подняла указательный палец.— Я первой нашла...

Неотвязная мысль мучила Аламжи: неужто Жалма?

Скоро подъехали к толпе, собравшейся у подножия сопки. Посередине толпы возвышался настил на толстых лиственничных столбах. Туда поочередно поднимались богатые и бедные, родовитые и безродные. Прислушавшись повнимательнее, Аламжи удивился: богачи ругались между собой, а иные бедняки становились на сторону нойонов. Здесь происходил сельский сход, обсуждавший два царских закона: «Главные основания поземельного устройства крестьян и инородцев Забайкальской области». Первый закон ограничил землепользование пятнадцатью десятинами на душу мужского пола, второй посягал на святая святых нойонов — на Степные думы. Вместо степного управления учреждалось волостное. Значит, тайши и зайсаны лишались всех родовых прав. Значит, араты среднего достатка и даже бедняки не смогут теперь пользоваться степями. Вот почему так бурно проходила сходка.

Аламжи смотрел на подмости, куда взбирался тучный мужчнa в ламском одеянии.

— Толстобрюхому что надо на мирской сходке?

— Почтенный дарга, тот человек будет говорить не как ламбагай, а как волостной старшина.

— Не вижу разницы.

Между тем лама начал свою речь. Он расхваливал царские законы, призывал аратов беспрекословно повиноваться русским властям. Молчание толпы толстый лама истолковал как одобрение. Он еще горячее стал доказывать мудрость царских законов: они уравнивают инородцев с русскими...

— Неправду говорите, святой учитель!

Лама не обратил на эти слова внимания. А к возвышению уже пробирался крепкий парень. Вслед за ним продвигалась седая русская женщина.

— Царь и бог одинаково пекутся о своих приверженцах. Мы не можем поднимать голос ни против бога, ни против царя. А посему возьмем для потребности по пятнадцать десятин, а остальное даруем царю и отечеству. Желтая вера отвращает вас от жадности и непокорности.

Желтошапочник не успел закончить фразу, как на подмостки живо вскочил парень, взял волостного старшину под мышки, приподнял и опустил на землю.

— Араты! — начал он. — Тут говорил почтенный ламбагай и призывал вас оставить по пятнадцати десятин земли на мужчину, а остальное отдать белому царю. Правильно ли это?

Толпа дрогнула. Не меньше тысячи глоток откликнулось на вопрос: «Неправильно!» «Долой волостных начальников!» «Не надо нам сельских старост!»

— А правильно ли говорят те, кто предлагает сохранить Степную думу? И царь, и тайши, и ламы — все они одинаковые враги аратов. Нам надо самим стать хозяевами степей!

Аламжи при последних словах парня передвинул кобуру пистолета с бедра на живот, спешился и взошел на помост.

— Грабители и бандиты, ламы и нойоны не могут быть нашими товарищами, им нет никакого дела до нужд трудового люда! — продолжал парень.

— О каких бандитах ты говоришь, щенок? — спросил Аламжи. — Что они тебе сделали, желторотый? Ты какой сороке сыном будешь?

Они сцепились, норовя сбросить один другого с подмостков. Лиственничные столбы, не очень глубоко врытые, зашатались, грозя рухнуть. Когда настил очень уж наклонялся, передние ряды испуганно подавались назад.

Страшась за приемного сына, Татьяна Львовна проворно взобралась на подмостки. Она ухватила мужчин за руки, стараясь разнять их, и повторяла одно-единственное бурятское слово:

— Боли, болиште... Боли!..

В отдалении Ван Тумэр спокойно наблюдал эту схватку с высоты своего коня.

**Книга
третья**

Обретение

ГЛАВА ПЕРВАЯ

хищники

Державные политические игроки косили глазом друг на друга и ждали, кто сделает первый ход. Лондон и Париж вожделенно поглядывали на Берлин. Однако столица кайзеровской империи и сама кое-куда поглядывала — в крыльях германского орла уже появились стальные перья. Зато российский двуглавый, ошипанный на Дальнем Востоке, не мог вести игры. Ему, российскому орлу, попросту надо было найти жирный кусок, чтобы подкрепить силы, а потом уже думать о новых схватках.

В ту пору над миром сгущалась гроза. Гневный голос Августа Бебеля прозвучал в защиту бастующих горняков Рура. Возмущение рабочего люда в России поднялось с такой силой, что самодержец Николай II уже подумывал, кого бы послать в Портсмут для заключения мирного договора с Японией. События нарастали и вынуждали действовать не только сильных мира сего, но и тех, кто служил опорой владыкам.

Как раз один из таких людей, коротенький, в черном цилиндре, с тростью под мышкой, торопливо шагал по мосту через Шпрее. Неожиданно возле него оказался высокий человек в таком же черном цилиндре и с такой же тростью в руке. Трость выскользнула из рук и упала. Коротенький господин услужливо наклонился за тростью.

— Кажется, из березы?

— С Вашего позволения — нет. Из бамбука...

— Счастлирое стечение обстоятельств! У меня тоже из бамбука.

— Значит, все в порядке. Прошу следовать за мной.

Оставив позади мост, длинный господин нырнул в липовую аллею, высаженную вдоль Унтер-ден-Линден, миновал министерство просвещения, русское посольство,

французское посольство... У здания министерства внутренних дел короткий господин вытащил из кармана носовой платок.

— О, майн готт!

Длинный продолжал отмеривать сажени, не обращая внимания на спутника. Господин Короткий расстегнул пуговицы на сюртуке и ослабил галстук. Вскоре оба очутились на многолюдной Фридрихштрассе, а еще через несколько минут вошли во двор и остановились у одноэтажного каменного строения, похожего не то на склад, не то на конюшню.

Массивная дверь, обитая железом, подавалась нехотя. Оба нырнули в помещение.

— Присаживайтесь, господин Криге! — Длинный господин снял дымчатые очки и протер глаза. — Настало время поменяться тростями.

— Да-да, — закивал господин Криге. — Пора... Именно такие инструкции я и получил... Возьмите, пожалуйста.

Криге протянул трость и попытался улыбнуться. Хозяин принял трость и подал свою. Затем он отвернул рукоять и вынул из полого бамбука бумагу. Сделав то же, господин Криге пробежал бумажку и поднял глаза:

— Господин Соловьев?

Не глядя на Криге, тот протянул руку:

— Будем знакомы.

Обида обожгла чувствительную душу господина Криге. Что за наглый народ эти иностранцы! Почему они с высокомерием относятся к немцам, хранителям древних и славных традиций? Даже этот агент, носящий дикую славянскую кличку, и тот мнит о себе! Жаль, что теперь работать придется не с господином Дениссоном. Тот был корректный, встречи назначал в людных местах — то в королевской библиотеке, то в Гумбольдской академии, то в Тиргартене. А этот завел в берлогу...

Криге подавил свои чувства: в инструкции было ясно сказано, что он должен выполнять все распоряжения этого Соловьева. Указание исходило от Дениссона, того самого корректного господина, который завлек его в сети Интеллидженссервис.

Что поделаешь, Криге вынужден был жить двойной жизнью. Порядочные люди знали его как влиятельную особу при канцлере, как тайного советника, выполняющего важные поручения императора. А вот новому его

хозяину наплевать на это. Он видел в нем самого заурядного шпиона.

Как произошло, что видный чиновник оказался в таком двойственном положении? Криге выполнял сложные дипломатические поручения. Нужно было обосновать какой-нибудь происк — обращались к нему. В истории международных отношений Ганс Криге мог найти подходящий прецедент или преподнести версию, согласно которой вся вина возлагалась на слабейшую сторону. Он слыл мастером дипломатических комбинаций.

Но вот однажды перед ним была поставлена задача невероятная: оправдать возможную войну с Россией или Францией в зависимости от того, как будут складываться отношения между державами. Криге следовало бы взять за основу доктрину «места под солнцем», получившую одобрение кайзера, сиятельных лиц и промышленников. Но он, черт его дернул, решил блеснуть эрудицией. Он обложился книгами Гуго Гроция, Иоганна Каспара Блюнчли и дюжины других правоведов и сотворил ученую похлебку, где современные взгляды соседствовали со средневековыми, один тезис противоречил другому. Сам Криге был доволен своим трудом. Но Вильгельм Второй, ознакомившись с трактатом, разразился бранью: жвачка беззубого слюнтяя, жалкий лепет гимназиста и еще бог знает что. Император потребовал прогнать Криге со службы, но вмешался канцлер Бюлов и взял тайного советника под защиту.

С тех пор Ганс Криге затаил злобу на императора и ждал возможности удрать в Америку. Скоро представился случай насолить Вильгельму, а заодно и округлить состояние. Криге близко сошелся с английским послом Франком Лассалем, а тот, чувствуя, с кем имеет дело, познакомил его с британским резидентом в Берлине Дениссоном. Криге стал осведомителем английской разведки. После выполнения незначительных поручений он наконец удостоился настоящего дела. Ни мало ни много — он должен был выдать секретные сведения о перестройке военного флота Германии. Отступать было поздно, и Криге решился. С немецкой скрупулезностью он выяснил состав новых эскадр, скорость боевых кораблей, толщину брони, дальность стрельбы и калибр пушек. Кроме того, ему удалось собрать сведения о новых

верфях и даже кое с каких чертежей снять копии. Была снята и копия с Бьеркского договора.

Все это Криге только что передал преемнику Дениссона, назвавшемуся Соловьевым.

Тот тщательно рассматривал бумаги, извлеченные из бамбуковой трости. Видимо, резидент был доволен. Он достал из кармана трубку, закурил и поднял глаза на Криге:

— Вы усвоили содержание записки?

— Я внимательно прочитал ее.

— Будьте добры, дайте ее мне.

Когда Криге протянул бумагу, Соловьев еще раз строго взглянул на него.

— Я хочу, чтобы вы поторопились с выполнением нового задания. Надеюсь, вы поняли, о чем речь? — Резидент легонько потряс бумажкой.

— Да, конечно... вполне...

— Помните: каждое воскресенье мы будем встречаться на Курфюртском мосту.

Душой Криге овладевала тревога: только что полученное задание было не легче первого. Речь шла о взаимоотношениях могущественнейших европейских государств. В общем, дело принимало дурной оборот. Выход был один: удрать в Америку.

— Что с вами, господин Криге? — развеяв пепел сожженной бумажки, спросил Соловьев. — Или гложет совесть? Не мучьтесь. Один только подсолнух следует за солнцем. Человек же тянется за счастьем и находит его не всегда при свете дня.

Губы тайного советника дрогнули, но он не произнес ни слова.

— Поднимите край стола, и вы найдете свое счастье. Вот так, немного повыше.

Он наклонился, быстро вывинтил ножку и потрянул ее над диваном. Из отверстия хлынули свернутые в рулончики ассигнации. На лице Ганса Криге выступили багровые пятна, уши его пылали.

— Когда наш добрый друг Дениссон уезжал в Токио, чтобы занять пост советника посольства, он не забыл и о вас, господин Криге, — продолжал английский резидент. — Он просил кланяться вам этими долларами, ибо не сомневается, что вы будете и впредь служить британским интересам. Тут пятнадцать тысяч — половина обе-

щанного. Вторую половину получите сразу же, как только выполните задание.

Соловьев говорил, Криге рассовывал по карманам деньги, рассовав, поклонился Соловьеву.

— Момент, герр Криге,— остановил его английский резидент.— Все должно быть законно...

— Расписку?— догадался тайный советник.

Он взял ручку и нервным почерком удостоверил, что получил от господина Соловьева пятнадцать тысяч долларов. Несмотря на страх быть уличенным, он готов был дать расписку самому дьяволу, лишь бы поскорее унести деньги и приобщить их к сумме, приготовленной на случай побега.

— До следующего воскресенья!— напомнил ему Соловьев.— Да не забываете, черт вас дерит, свою трость! Эдак вы можете оказаться на виселице раньше, чем выполните задание.

Проводив господина Криге до дверей, Соловьев тщательно задвинул засовы и вернулся к столу. Здесь он снова принялся изучать полученные бумаги.

Резидент был доволен. Зажмурив глаза, он уже видел приятную встречу в Лондоне: Джозеф Чемберлен говорит ему: «Поздравляю вас, мистер Томас!»

Хорошо быть просто мистером Томасом. Чаше всего приходится откликаться на дурацкие прозвища, вроде Кончун-Сойбона, какого-нибудь Соловьева, какого-нибудь... Летят годы, летят! Больше десяти лет назад бродил он по каменистым тропам Тибета: в любую минуту ожидай смерти, на сотни миль — ни европейца, одни дикари и фанатики. Он вяло улыбнулся, вспомнив, как вместо высокорожденного Туван-хамбы привез в Лондон нищего монаха Осора. Шельмец держал себя как высокорожденный. Жалко беднягу! Навеки остался лежать он в камышах на берегу Онона. Что поделаешь, не станешь же разрезать пополам драгоценную статую Зандана Жу! Управители Лондонского музея поскупились, скряги, не дали за бурхана истинную цену. Каждый печется о своей выгоде...

От мыслей досадных Томас поспешил вернуться к мыслям приятным. Итак, Джозеф Чемберлен благодарит его за блестящую операцию... Как завидовал ему Томас, когда у старухи в Лхасе прочитал наклеенный на стену обрывок газеты «Стандарт»: либерал Чемберлен

вошел в сделку с консерваторами и по поручению лорда Солсбери отправился с важной миссией в Америку. Там он проявил дипломатическое мастерство, влюбил в себя дочку военного министра Соединенных Штатов, возвращается в славе и в обществе красавицы жены... А вот он, Томас, до сих пор еще тянет лямку. Пришлось-таки поколесить! Индия и Тибет, Китай и Япония, Забайкалье и Монголия — где он только не был. Тысячи миль исходил пешком, на ослах и верблюдах, на азиатских одноколках и в европейских экипажах. Уезжая из Лондона, он пообещал своей увядающей супруге: «Вернусь из Берлина — брошу прежнее ремесло. Купим в Швейцарии виллу и заживем». Сбудется ли?

С надеждой на лучшее Томас вышел и смешался с толпой. Неподалеку от русского посольства улицу перегородила цепь полицейских: встречали высоких гостей.

Витте об руку с Бюловом поднимался по мраморной лестнице в апартаменты канцлера. Следом за ними двигался сонм чиновников.

Беседа началась с темы, которая уже давно занимала ум канцлера.

— В Британии,— говорил Бюлов,— раздаются безответственные заявления людей, облеченных властью. Знаете, наверное, что предлагает его сиятельство граф Сельборн? «Надо без объявления войны напасть на германский флот и потопить его». И это слова не бродяги, а первого лорда адмиралтейства! С каких пор Германия стала угрозой для других держав? Немцы мирный народ. Мы не собираемся делать новых территориальных приобретений. Свободная торговля — единственно, чего мы добиваемся.

Витте слушал вполуха, глядя на портрет Фридриха Великого. Сей муж тоже называл Пруссию миролюбивым королевством. Но это не помешало ему сколотить из наемников самую сильную армию в Европе. Много побед принесла она честолюбивому Фридриху. Только русские оказались способны окоротить этого монарха.

— И на сей раз мы еще раз доказали свое миролюбие,— продолжал Бюлов.— Вам, конечно, известно, что именно его величество Вильгельм Второй проявил инициативу при заключении Бьеркского договора с вашим

государем. Мир между нашими странами зависит только от России. Мы закрываем глаза даже на то, что Россия находится в тесных отношениях с Францией, а у французов, как известно, всегда камень за пазухой для нас. Прошу вас, герр Витте, повлияйте на французского министра Делькассе, он слишком много на себя берет. Вспомните, как много сделали мы для вас. Германия снабдила каменным углем флот адмирала Рождественского, когда он проходил мимо наших берегов. Если бы об этом узнали на Островах или во Франции, нам бы не избежать осложнений! Но мы пошли на риск...

Витте грустно улыбался, и было трудно понять — чему.

— Я прекрасно понял вас, герр Бюлов,— заговорил он.— Употреблю все усилия... Со своей стороны, я просил бы содействовать заключению более справедливого договора с Японией. Надеюсь, в Америке, куда я сейчас направляюсь, ваши дипломатические представители скажут свое слово в пользу России.

Он не мог достойно ответить на вымогательства канцлера, он сам вынужден был просить. Но что делать? Порт-Артур сдан, Дальний и Мукден — тоже. Армия деморализована, флот разбит, командование в растерянности. Мирный договор любой ценой!

Было решено: Германия будет содействовать заключению по возможности почетного русско-японского договора в Портсмуте, а Россия будет препятствовать английским устремлениям против Германии.

«ЗИГЗАГ СУДЬБЫ»

Бюлов сидел в саду, смотрел на спокойную гладь пруда и думал о сложных отношениях, какие складывались у него с Вильгельмом. Субъективно оценивает события, не хватает широты. Поучает других, сам учиться не желает. Честолюбив, завистлив, мелочен. Хочешь протащить свою идею, сделай так, будто она исходит от кайзера. Любит льстецов,— не забывай время от времени говорить ему любезности. Такой кайзер — легковверный, как малое дитя, капризный, как женщина...

— Ваша светлость! Простите, если помешал...

— Отправили почту императору?— спросил канцлер.

— Так точно!— ответил Криге и еще раз поклонился.— Курьер уже в пути.

— Садитесь!

— Покорнейше благодарю.

Ломая голову над тем, как бы отвлечь канцлера от его мыслей и обратить внимание на свою особу, Криге подумал: необходимо сказать что-нибудь близкое сердцу канцлера.

— Посмотрел я на господина Витте,— начал Криге.— Окончательно он обрусел. И хитрость у него стала славянская.

— Да, славянская...— неопределенно повторил канцлер.— Трудно их понять. Вот они и обставляют нас. Прямодушных немцев...

Криге оживился.

— А все-таки не умеют они пользоваться ни дипломатическими, ни военными обстоятельствами. Всякая война заканчивается для них внутренними потрясениями. После победоносной французской кампании у них офицерский бунт. После Крымской войны, правда проигранной, смута, отмена крепостничества. Турецкий поход закончился движением каких-то нигилистов...

— Что есть, по-вашему, Бьеркский договор? — совсем о другом спросил канцлер.— Надеюсь, вы его основательно изучили.

Кровь прилила к лицу Криге. Ему показалось, что кто-то плеснул в него кипятком. Неужели за ним следят?

Канцлер встал и, не дожидаясь ответа на свой вопрос, направился во дворец.

— О договоре предстоит серьезный разговор. Поразмыслите над этим...—добавил он.

Тайный советник долго не мог прийти в себя: «Предстоит серьезный разговор. Поразмыслите. И очередная встреча с Соловьевым...»

— Садитесь в карету,— приказал Томас-Соловьев, встретив его, где условились.— Нас ждут в другом месте.

Не задавая вопросов, Криге влез в коляску.

Цокот копыт, звон и грохот экипажей, нарастающий шум предвечернего Берлина — все это больно отдавалось в сердце Криге. «Уже пора бы сидеть у камина да наставлять на путь истинный внуков, а я ношусь по улицам, как безусый юнец, подвергая опасности не только свою

жизнь, но и честь дворянина, доброе имя детей... И куда везет меня эта английская образина?»

Образина тоже нервничала, и было от чего. Вчера вечером Томас получил предписание из Лондона связать агента с английской разведчицей Ифигени, а самому в срочном порядке выехать в Харбин. Томас понимал: война России и Японии закончилась, мирный договор скоро будет заключен. Как после этого поведут себя Россия и Япония на Дальнем Востоке? Об этих шагах русских Лондон хотел иметь точные данные.

Карета переехала мост через Шпрее. Навстречу пошли башни замка Монбижи.

— Держи правее замка, на пляж,— приказал Соловьев извозчику.

Вскоре коляска остановилась. Кучер повернулся к седокам.

— С вашего позволения, господа...

Кинув несколько монет кучеру, Томас-Соловьев легко выскочил из кареты. Вслед за ним, кряхтя, вылез Криге.

— Идите за мной,— не оборачиваясь, приказал резидент.

В стороне, где было меньше людей, он обернулся, без околичностей объявил:

— С этого дня мы должны расстаться, господин советник.

У Криге от неожиданности перехватило дыхание. Что это значит? Уж не думает ли он удрать, не расплатившись за последнюю услугу? А может, Соловьев предал его?

— Значит, я свободен от своих обязательств?

— Вы не так меня поняли. У вас для связи будет другой человек. Женщина!

— Женщина?— округлил глаза Криге.

— Пойдемте. И не болтайте, пожалуйста, лишнего.

Через несколько минут они растянулись на песке. Рядом с ними лежала довольно молодая женщина—длинные, в меру полные ноги, восхитительные бедра, покатые плечи. Особенно красивой была головка этой женщины: белое личико в светлых волосах, по-детски доверчивые глаза, свежие губы. Ко всему, оказалась еще и остроумной: она без конца рассказывала смешные истории, так что через четверть часа тайный советник сам начал болтать с ней о разных пустяках. Он не заметил даже, откуда

появилась возле них бутылка вина. Когда было покончено с бутылкой, Ганс Криге уже называл женщину своей дочуркой.

А Соловьев лежал на животе и наблюдал.

— Надеюсь, вы познакомились?— Он встал и отряхнул с себя песок.— Желаю успехов. Мне пора.

Когда Соловьев смешался с толпой, мисс Ифигени придвинулась к советнику:

— Я вас буду называть «мой господин». Хотите так?

— Как вам будет угодно,— растерянно пробормотал Криге.

Помахивая тростью, с видом праздногогуляющего, Томас шел вдоль набережной. Занятый своими мыслями, он вдруг уловил несколько слов по-русски, замедлил шаг и увидел двух отчаянно жестикулирующих людей. Один из них был толстый европеец, одетый с иголки, в черном цилиндре и с тростью, а другой — азиат, в поношенном, но вполне современном платье. По всему было видно, они ругались.

— Двенадцать тысяч бурханов!— плюнув на землю, выкрикнул европеец.— Знаешь, во что это нам обойдется! Вот телеграмма от Бадмаева, смотри... Грозится взыскать полняком.

— Почему «с нас»? В телеграмме речь идет о вашей милости. Так что вам, господин Степанов, и придется отвечать.

Томас не мог сдержать улыбки. Положительно счастливый день выдался ему. Конечно же, они говорят о том самом Бадмаеве, которого он видел в Аге. Есть предлог для знакомства...

— Слушай, Гомбоев, как тебе не стыдно взваливать все на меня? В конце концов, это не честно. Ты послан со мной, значит, несешь такую же ответственность. Ты же лучше разбираешься в этих куклах, с малолетства им поклоняешься... Да ежели я захочу, ни копейки платить не стану!

Гомбоев придвинулся к Степанову и показал кулак:

— Вы на меня не орите. Я вам не глупый Аламжи, которого вы стегали и заставили работать на себя. Я знаю себе цену... Вы позабыли, что сами делали заказ фирме Круппа, сами взяли на себя контроль над испол-

нением заказа. Даже профессора Позднеева намеревались привлечь. А я... Моя миссия совсем другого рода. Мне, как бывшему сотруднику русского посольства в Пекине, надо было связаться со здешним посольством, что я и сделал. Ясно?

Степанов оглядел собравшихся зевак и взял Гомбоева под руку.

— Давай кончать этот глупый разговор. Путь у нас не ближний, успеем наговориться... Ты же знаешь, сколько раз я искал этого Позднеева — и никак не мог застать. Сегодня поехал к нему на дачу — и опять напрасно. Ведь он же обещал быть консультантом! А сам ни разу не поинтересовался, как дела...

— Ничего он не обещал. Шутил, а вы шуток не понимаете. Нужны ему эти бурханы! Просто он удивился, как это Бадмаев ловко придумал. Если хочешь знать, Позднеев повыше самого Бадмаева будет; ученая голова, профессор. Приехал он сюда составлять монголо-немецкий словарь...

Обывателям было скучно смотреть на ругающихся иностранцев. Постояв несколько минут, они уходили по своим делам, но вместо них подходили другие.

Европеец взглянул на часы:

— На пароход опоздаем...

В это самое время к ним и подошел мнимый Соловьев.

— Здравствуйтесь, земляки! Простите, был случайным свидетелем вашего разговора.— Пожав Гомбоеву и Степанову руки, он втиснулся между ними.— Приятно встретить своих за границей. Кстати, если я не ослышался, вы называли имя Бадмаева. Уж не тот ли это Петр Александрович Бадмаев, прекраснейший врач и советник его императорского величества?

— Он самый,— подтвердил Степанов.— Значит, вы его знаете? Мы оба служим у него.

— А о каких бурханах речь?

Тут Степанов и Гомбоев рассказали «земляку» следующую историю.

На буддийском Востоке бронзовые статуэтки небожителей отливаются вручную, в примитивных мастерских, и стоят дорого. Бадмаев решил выбросить на мировой буддийский рынок сравнительно дешевых бурханов, изготовленных механическим способом, и договорился на сей счет с фирмой Круппа. Стальные магнаты, во спа-

сение душ буддистов и к собственной выгоде, согласились отлить сто тысяч божков нескольких разновидностей. Все шло хорошо. Бадмаев приобрел славу истинного буддиста и попутно положил в карман несколько тысяч золотых имперIALов. Он торопил своих представителей в Германии, требовал отправки новых партий бурханов.

— На последней партии нам не повезло,— дополнил рассказ Гомбоев.— Мы заказали двенадцать тысяч штук шестирукого и одиннадцатиликого Арья. А форму никто не проверил. Степанов помчался к профессору Позднееву. А много ли времени надо, чтобы отлить двенадцать тысяч бурханов!

— И что же из этого вышло? — полюбопытствовал Томас.

— А то! Немчура перепутал все. Вместо одиннадцатиликого и шестирукого божества нам отлили одноликого и трехрукого. Но это еще не велик грех. Хуже, что руки распределены непотребно: две где-то поверх головы, а одну — ниже того места, на котором мы, грешные, сидим. Получился черт с рогами и хвостом...

— Не беспокойся,— заверил его Гомбоев.— Наши монголы и буряты любого возьмут, пусть у него хоть какая рожа будет. Скажи, что бурхан,— возьмут.

Томас расхохотался.

— Когда отплываете?— осведомился он.

— Сегодня...

— Нельзя ли уехать с вами? Угощение за мой счет. Только час на сборы!

Степанов и Гомбоев переглянулись.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

Который уже день беснуется ветер. По всей Маньчжурии разносит он запахи порохового дыма и гниющего мяса. Над Харбином ползут тучи, заполнили все небо. Мохнатые, как тибетские яки, тучи роняют на город влажную пыль. Редкие гудки пароходов, идущих по Сунгари, звучат глухо, дальше. Пустынны в такую погоду улицы. Только возле железнодорожного вокзала — на стыке Старого и Нового Харбина — как всегда, снуют штатские и военные. Здесь, охраняемые озябшими часовыми, при-

таились пороховые погреба, склады оружия и амуниции русской армии.

Харбин в лето тысяча девятьст пятого года был ближайшим тылом потерпевшей бедствие армии. Подобно шакалам, почуявшим запах добычи, сюда устремились поставщики провизанта и амуниции, английские и американские шпионы, торговцы в розницу и сптом, бродяги, искатели приключений, авантюристы обоого пола. И сейчас, в непогоду, подхваченные ветром, по улицам перекатывались консервные банки с ярлыками на русском, японском, китайском и английском языках, порхали коробки из-под сигар, взлетали обрывки газет...

На вокзале ударил колокол. Вскоре из туманной завесы вынырнул пыхтящий локомотив с хвостом товарных и пассажирских вагонов. Сутолока на перроне усилилась. У последних вагонов вспыхнула перебранка. Из дверей вагонов прямо на шпалы сыпались бронзовые бурханы. Ногами и прикладами их выталкивали из вагонов освирепевшие солдаты.

— Получайте, господа хорошие! В Порт-Артуре мы получали вместо патронов иконы и патреты царя-батюшки, теперь вот и до монгольских божков дошло. Кланяйтесь им! Помогут...

С Гомбоева кто-то сшиб малахай. Шестирукий Арья, пущенный рукой молодого солдата, ударил Степанова в грудь.

— Что вы делаете? Креста на вас нет. Одумайтесь!

Махнув рукой на все, Гомбоев и Степанов пустились в город. Отдышаться они остановились на Первой Механической улице. Прислонившись к забору, Степанов ощупывал обеими руками грудь и постанывал.

— Так тебе и надо! Зачем было ругаться? А вагоны зачем открыл? Сам виноват...

Степанов рванул на себе рубаху, так, что посыпались пуговицы.

— С Берлина твердил мне, что выгодно сбудем товар. Сбывай теперь, когда вагоны разграблены!

— Ничего, не все погибло. Солдаты разойдутся по казармам, вернемся на вокзал и поедем дальше. Здесь буддийские божки никому не нужны.

Пока Степанов и Гомбоев препирались, неподалеку в скверике стала собираться толпа. Мастеровые в замасленных спецовках рассовывали листовки — кому в руки,

кому в карман. Унтеру, который стоял несколько в стороне и с любопытством взирал на сборище, листовку наклеили прямо на спину. Очкастый железнодорожник пристроился у него за спиной и начал читать:

«Товарищи рабочие, солдаты и крестьяне. Царское правительство проиграло войну. Русскому народу эта война не нужна. Через нее он приобрел только страдания. Посчитайте, сколько погибло солдат на этой войне и сколько прибавилось на Руси вдов и сирот. И вы, оставшиеся в живых, обманутые царизмом, неужели вы не подниметесь против кровавого режима? Поднимайтесь на борьбу! С вами вся Россия. Пролетарии всех стран...»

Прежде чем железнодорожник закончил фразу, унтер быстро повернулся и наотмашь ударил его кулаком в лицо. Двое мастеровых подскочили к унтеру, и он дал тягу.

Над головами людей уже колыхалось знамя. Рядом с ним на опрокинутом бочонке появилась женщина.

— Товарищи! — кинула она в толпу. — В революционном движении участвуют не одни студенты. На борьбу против царизма поднялись миллионы рабочих, крестьян и солдат. Льется кровь не только здесь, на маньчжурских полях, но и в России. Царские сатрапы, такие, как Трепов, Победоносцев и Витте, хотят задушить революцию. Но народ будет биться до конца. Многие из вас, товарищи солдаты, скоро отправятся в Россию. Не будьте там карателями. Не будьте и свидетелями революционных битв. Вставайте в ряды борцов! Мир хижинам — война дворцам!

Одни с радостью, другие со страхом слушали женщину. Одни торопились скорее уйти, другие протискивались ближе. Внимательно слушал ораторов и бывший урядник Пустяков. Что-то знакомое показалось ему и в облике смутьянки, и в ее манере высоко откидывать голову. Вдруг он хлопнул себя ладонью по лбу, со всех ног бросился вдоль забора и юркнул в двери ветхой лавчонки. Ее хозяин скупал золотые вещи. За подсчетом этого товара и застал его Пустяков.

— Господин Пышкин, что же это, в самом деле, творится? Вы только послушайте.

Пышкин сгреб в кулак драгоценности и поморщился:

— Вечно ты мешаешь, Пустяков! Ну, говори, слушаю.

— Не меня, а вон ту бабу послушайте, — показал он в окошечко.

Пышкин уставился в оконце.

— Что-то плохо вижу. На таком расстоянии я бы и тебя не признал.

— Так это же Искрова! Та самая, что у вас на прииске бунтовала.

Пышкин расторопно приподнялся с ящика, на котором сидел, рыжая физиономия его посерела от злобы.

— Искрова? Она!

Хозяин и гость выбежали на улицу.

Толпа в сквере продолжала расти. Слова Искровой будоражили народ. Господин Пышкин кипел от негодования. Он готов был задушить смутьянку. Сделала его посмешищем на весь край, чуть по миру не пустила и вот снова баламутит людей...

— Я бегу в полицию! — усердствовал Пустяков.

— Нет, мы оба туда отправимся.

Мимо них в это время прошел одноглазый монгол с дубленным лицом, испещренным шрамами. Татарин, точивший на улице ножи, отложил работу и поспешил ему навстречу. Указав одними глазами на Пышкина, он прошептал:

— Вот этот.

— Далеко птичка залетела!

— Если хотите, я стану их тенью. Пойду за ними... Следом...

— Есть у них золото?

— Три дня слежу. Деньги за товары они превращают в золото. А вон тот скупает золотые зубы. Золото у него есть при себе. Но немного.

— А где остальное?

— В китайском банке, Ван Тумэр...

Ван Тумэр давно уже слышал, что спекулянты помещают свое золото в этот неказистый банк в Старом Харбине. Надо туда проникнуть. Приняв решение, Ван Тумэр сказал татарину:

— Вот что, Тугир, мы не можем больше слоняться по этому городу без дела. Сейчас же найди Бухэ-ламу и приведи ко мне.

— А с этими что делать? — кивнул Тугир в сторону Пышкина и Пустякова.

Ван Тумэр поморщился.

— Понятно, капитан! — догадливо кивнул татарин. Взмахнув рукой на спину, он нырнул в толпу.

Ван Тумэр смотрел на оратора. Где же он видел эту женщину? В России!.. Да, он помнит хорошо. Это было в тот самый день, когда они с Аламжи встретили митингующих улусников в Агинской степи... Да, эта женщина разнимала Аламжи и парня, который оказался его сыном. Вредная, видать, баба!

Вдруг словно ветер пронесся над толпой.

— Казаки!

Застигнутые врасплох, люди продолжали стоять на месте, стараясь понять, откуда опасность. Многие бросились в ближайшие переулки.

Ван Тумэр заметил клубы пыли из-за мыловаренного завода. Оттуда скакала казачья сотня. Его подмывало встать за угол и показать, как умеют стрелять богатыри. Но помогать этой чертовой бабе он не хотел — не по нутру... Он сплюнул себе под ноги и поспешил скрыться.

Казаки начали оцеплять толпу. Лошадь офицера опрокинула седого китайца и промчалась дальше.

— Помогите! — кричал старик.

На него не обращали внимания. Люди в ужасе металлись среди деревьев, перескакивали через изгороди и разбегались. Несколько русских железнодорожников подняли старика и двинулись к переулку. Мо Фей провел рукой по окровавленному лицу:

— Тот начальник стоптал... Ой, ой, шибко больно. Помру...

Офицер заметил отступающих с ношей и, пришпорив коня, сам устремился к ним. Камень, брошенный сильной рукой, угодил офицеру в плечо. Тот откинулся назад, склонился к луке седла.

— Проклятые собаки! Всех перевешаю!

Он выхватил револьвер и выпустил вдогонку железнодорожникам весь барабан.

Посередине тесной каморки на дощатом диване лежал старик. Жизнь уходила из его тела. Старик сделал слабое движение рукой:

— Сынок, видишь, что со мною сделали? Но я не жалею...

Потом он сделал глубокий вдох и вытянулся. Рабочие сдернули картузы.

Почти все знали жизнь Мо Фея. Знали, что он кочевал, торговал то бузами, то чесночными лепешками, то жиденьким супом. Когда умерла жена, он, сокрушенный горем, направил своего коня на родину предков, в Шанхай. Старший сын остался в Маньчжурии на строительстве железной дороги. Шанхай не уготовил Мо Фею ни чесночных, ни тем более масленных лепешек. Не найдя никого из родни в живых, Мо Фей поселился на берегу моря. Здесь он собирал то, что выбрасывала на берег волна, и этим кормился. Потом вместе с сыновьями-подростками он разгружал иностранные пароходы.

Начались волнения. Иностранные суда все реже стали причаливать в Шанхайском порту. Трудовой люд уже выступил против правительства. Европейские державы двинули в провинции свои войска. Настало время, и Мо Фей примкнул к сыновьям, которые уже были членами организации «И-хэ-цюань»¹. Сыновья погибли, остался лишь младший. С ним-то, десятилетним мальчишкой, Мо Фей и перебрался в Маньчжурию, где на строительстве железной дороги еще работал его старший сын. Беда не ходит одна, вскоре не стало и старшего — его придавило во время прокладки Хинганского тоннеля.

Мо Фей устроился на небольшую мельницу. Занятый работой и тяжелыми думами, он и не заметил, как младший Чэнь встал на путь братьев. Вместе с ровесниками он распространял прокламации. Мальчишку поймали и посадили в харбинскую тюрьму. Следователи надеялись, что Чэнь выдаст своих взрослых наставников, но он погиб, не сказав ничего.

Последняя утрата окончательно определила путь Мо Фея. Он продолжил дело своих сыновей. Погиб он, распространяя листовки.

Смерть Мо Фея послужила поводом для серьезных споров среди харбинских революционеров.

— Поднимать столько шума из-за одного старика? Сами китайцы не захотят этого.

— Речь идет о рабочей солидарности!

— Э, бросьте! Мы же говорили вам, что затея с митингом обречена на провал. Не послушались!

¹ Тайная организация «Кулак во имя справедливости и согласия».

— Так могут рассуждать только предатели!

— А не предательство — подставлять рабочую грудь под пули жандармов? Пусть старика хоронят китайцы!

— Зачем делить? Наша-ваша, зачем делить?

Поднялся плотный моряк без левой руки.

— Эти крикуны тянут нас назад. В закоулки заманивают. Надо выходить всей массой на площадь. Вооружаться надо, а не в прятки играть... Драться надо!

Это был Котельников из экипажа крейсера «Варяг», один из тех, кто остался в живых после неравного сражения с японской эскадрой. Когда крейсер затонул, Котельников в тяжелом состоянии был принят на борт французского корабля и оставлен в шанхайском госпитале. Оттуда он перебрался в Маньчжурию, чтобы затем возвратиться в Россию. В Харбине Котельников установил связь с местными социал-демократами.

— Надо драться. Так, как наши товарищи с «Потемкина», — заключил моряк.

— За оружие браться? Чтобы сирот стало больше? Мое мнение — пустить дело на самотек. Кто хочет — пусть идет на похороны, а не хочет — его дело.

Искрова привычным жестом откинула со лба прядь.

— Речь идет о похоронах нашего товарища. Это прекрасная возможность продемонстрировать наши силы. Петр Васильевич, вы возьмете на себя заводы и мастерские. А вы, товарищ Котельников, — казармы. Хорошо бы написать воззвание... Впрочем, это я беру на себя.

...С утра над Харбином повис туман, Сунгари дышала холодом и сыростью. Шли из Старого и Нового города. Шли русские и китайцы, гражданские и военные, старики и дети. Десятки рук бережно несли гроб с телом покойного. Мо Фей, по китайскому обычаю, был завернут в белое покрывало. Впереди плескалось красное знамя. Туман наконец поднялся, брызнуло солнце. Только теперь стало видно, какой могучий поток собрала смерть мало кому знакомого Мо Фея.

Люди шли молча, с обнаженными головами. И так же молча стояла на отшибе казачья сотня.

ВЕСТИ ИЗ РОССИИ

Рабочая группа харбинских социал-демократов долго вела линию на создание крупной вооруженной дружины,

и такая дружина была создана. Штаб ее разместился в центре рабочих кварталов. Руководила штабом Татьяна Львовна Искрова. За последнее время она изменилась. Было видно, что ей не приходилось спать в эти тревожные дни.

Петр Васильевич, один из командиров дружины, застал Искрову за чтением. Они пили чай и советовались, как устроить побег нескольким солдатам, арестованным за распространение листовок. Искрова стала жаловаться:

— Тяжело работать. В России я бы знала, что делать, а тут?.. К чему тут призывать?

— Ясно, что к революции!

— Я говорю о другом — о трудностях работы в нашей организации. Пользуемся сообщениями правительственных газет, а что на самом деле творится в России, не знаем. Какое положение в Хабаровске, Чите, Иркутске?

— Это верно,— согласился на этот раз Петр Васильевич.

— Иногда у меня возникает такое чувство, будто мы делаем не то, что надо...

На крыльце послышался громкий разговор. Кто-то требовал, чтобы его допустили, а рабочий, охранявший вход, требовал пароль. Татьяна Львовна проворно свернула бумаги и спрятала их. Петр Васильевич вышел на крыльцо. Минуты через две он вошел, ведя за собой высокого сухопарого монгола. На нем был ветхий пропыленный халат из далембы и вконец истоптанные ичиги. В одной руке он держал ременную плетть, а в другой — барашковый малахай. Черные волосы его слегка курчавились, на верхней губе пробивались усики.

Татьяна Львовна взгляделась в гостя. Монгол протянул руки и шагнул ей навстречу:

— Татьяна-мама!

— Булад, сын мой! Откуда ты?

Они обнялись, поцеловались, уселись рядышком за стол.

— Как вы поседели, Татьяна-мама! Отчего это?

— А как ты нашел меня?

Булад одно время потерял связь с социал-демократами, а недавно ему удалось эту связь восстановить. И вот он направлен сюда, чтобы выяснить положение дел в харбинской организации.

— Как ты вырос! — Татьяна Львовна провела ладонью по его волосам. — Прямо из Читы?

— Да, из Читы. Поездом ехал, пешком шел, а под конец опять поездом. Целую неделю добирался, потому что обыскивают шибко.

— Выкладывай новости. Мы тут совсем одичали.

Булад полез за пазуху, выложил на стол свернутую в несколько раз бумагу, извлек из голенища ичига другую...

— Виктор Константинович в Чите, слышите, товарищи? — Татьяна Львовна посмотрела на Петра Васильевича и еще двух дружинников, только что вошедших. — Товарищи, Курнатовский в Чите!

— Курнатовский! — удивленно протянул Петр Васильевич. — Ну, теперь жди событий!

— Царь окончательно напуган революционным движением в России, — выхватывала Татьяна Львовна из бумаг. — Железнодорожникам Сибирской дороги «даровал» девятичасовой рабочий день. Так... Не клюнули на царскую удочку, продолжают бороться. С оружием... Что еще? Третий съезд социал-демократической рабочей партии. Под руководством товарища Ленина... «Вперед же, товарищи рабочие, на организованную дружную и стойкую борьбу за свободу! Да здравствует революция! Да здравствует международная революционная социал-демократия!»

Был назначен сбор дружинников. Все больше подходило их к дому. Сказав пароль, они проходили в помещение.

— Вот еще сообщение. Товарищи Курнатовский, Бабушкин, Костюшко-Валюжанич намереваются выпускать в Чите рабочую газету. Просят принять в ней участие.

— Я видел дядю Виктора, товарища Курнатовского, — подал голос Булад. — Просил передать на словах, что товарищ Ленин следит за событиями...

Помолчали. Ни Искровой, ни рабочим харбинских фабрик и мастерских не довелось еще видеть Ленина, но мысли его были им знакомы. И вот из-за тысяч верст Ленин подает свой голос: «Я с вами, товарищи, революция наша, и мы победим».

— Курнатовский хорошо знает Ленина, — тихо проговорила Искрова. — Он — ученик Ленина. — И повернулась к Буладу: — Расскажи, что в Чите.

Булад взъерошил волосы:

— В Чите очень шумно. Не только солдаты с оружием ходят, но и рабочие. Даже несколько улусников с винтовками видел. Слышал, что генерал Холщевников — и тот из дому выходить опасается... Утром посмотришь — то на одном, то на другом доме красное знамя.

— Вот это здорово, язви ты!

— Да тише вы, пусть рассказывает!

Булад рассказывал:

— Железнодорожники объявили забастовку. Забастовали рабочие Могзона, Хилка, Борзи. Пять дней не ходили поезда, на все эти станции привели солдат: работайте! А они отказались. Потом еще другие бастовать стали... В Читу привезли батальон, заставили его стрелять в забастовщиков, а он не захотел...

Давно опустилась ночь. Город спал. Не спали часовые, охранявшие военные объекты. Не ложилась в эту ночь и горстка харбинских рабочих, получивших хорошие вести...

ВО ДВОРЦАХ И ПРИТОНАХ

Не до сна было теперь и командованию царской армии. Все ждали заключения мирного договора. Каков он будет, этот мир?

— У нас выхода нет,— продолжая разговор, заметил генерал Надаров, начальник тыла.— Маньчжурия наш временный плацдарм. Теперь он утерял значение. За каким лешим продолжаем мы за него цепляться? Ведь противник у нас в тылу! Поймите, ваше высокопревосходительство, в тылу!

Генерал Куропаткин сидел в глубоком кресле и смотрел в черный провал окна. Лицо у него было серое.

— Да, да! — кивнул Куропаткин, чтобы отвязаться от надоевшего ему генерал-лейтенанта. По правде сказать, он и не слушал Надарова.

Тридцать лет... К чему годятся ныншние офицеры в таком возрасте? А он, Куропаткин, уже в двадцать девять был начальником штаба пехотной дивизии, а в сорок два командовал войсками Закаспийской области. Славное это было время!.. Когда он стал военным министром, милейший Сергей Юльевич, бывало, делился с ним планами проникновения в азиатские страны: заведем торговлю,

переманим сановников, накопим вооруженные силы и тому подобное...

Полный надежд, отправился Куропаткин в Маньчжурию показать коротышкам-японцам, почем сотня гребешков. Показать не пришлось... Черт знает, откуда у них такая прыть, где взяли они столько оружия, когда сумели построить мощный флот? На эти вопросы он не смог ответить даже после Мукдена. В итоге — смещение с должности главнокомандующего. Не мог предотвратить этого удара даже Сергей Юльевич. Куропаткину предписывалось тотчас же, после передачи полномочий генералу от инфантерии Николаю Петровичу Линевицу, отбыть в Петербург.

Безропотно решил он сесть в специальный вагон и отправиться в Санкт-Петербург. Но что скажет он при дворе, какие оправдания выдвинет? Нет, уж лучше до конца сражаться под командованием недоучки Линевица, чем предстать перед высочайшими очами в оплеванном виде.

В Петербург идет телеграмма на высочайшее имя:

«Согласно повелению Вашего императорского величества, сдал сегодня должность главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке генералу Линевицу и выехал в Санкт-Петербург... В воздаяние всей моей прежней службы и участия во многих походах прошу, как милости, Ваше императорское величество, разрешить мне остаться на театре военных действий до той минуты, пока не грянет последний выстрел в войне с Японией... Полагаю, что с успехом смог бы принять командование одним из корпусов. Смею заверить Ваше величество, что генерал Линевиц найдет во мне самого дисциплинированного подчиненного. Буду ждать решения Вашего величества в поезде по пути в Россию».

Спустя четыре дня из Петербурга пришел ответ, всемилостивейше разрешавший ему принять командование 1-й Маньчжурской армией...

Вот о чем думал Куропаткин в те минуты, когда к нему обращался генерал-лейтенант.

Надаров не замечал душевного состояния собеседника, он сам страдал: у него болели зубы. Видимо, разговор несколько отвлекал его.

— Смею уведомить вас, ваше высокопревосходительство, что фронт, более опасный, чем кое-кому кажется, передвинулся на север. Слыхали, что творится в Чите? Комитетчики имели наглость предъявить свои требования генерал-губернатору Холщевникову. А у нас, в Харбине? Доложите, полковник, что произошло вчера в городе.

Штабной полковник с розовым, как у барышни, лицом приподнялся, тут же опять сел и стал повторять, что недавно сообщил Надарову:

— Вчера на собрании мастеровых были нижние чины. Они называли себя представителями комитетов первой, второй и третьей армий. Мастеровые внушали нижним чинам: патроны и провиант вам задерживают потому, что дороги забиты вагонами с награбленным добром. Это добро генералы отправляют в Россию, в свои имения. Нижние чины не только соглашались, но и сами приводили унижительные для господ офицеров примеры.

Куропаткин очнулся и стал вслушиваться.

О положении в Забайкалье он имел достаточно ясное представление. При встрече с генералом Линеви-чем он осторожно посоветовал ему направить в сторону Читы карательную экспедицию, так как генерал Холщевников, по всей вероятности, не сможет защитить интересы царя и отечества. Следует также поставить в известность об этом его императорское величество.

— Главнокомандующий, наверное, примет меры,— выразил надежду Надаров.— Посудите, в каком положении мы оказались: с фронта японцы, а с тыла — вооруженный сброд...

— Будем надеяться,— сказал Куропаткин.— Что касается меня, то свою точку зрения я уже имел честь ему изложить.

Главнокомандующий, понятно, и без Куропаткина хорошо знал, что происходит в России. Но в те дни 1905 года его больше всего интересовали резервы. Он поставил в известность военного министра Ридигера, что для успешного завершения кампании ему необходимо на самый крайний случай сто тысяч штыков. Всего каких-нибудь сто тысяч... Они где-то задерживались. Неужели Русь оскудела мужиками?

И еще один человек не спал в эту ночь. Это был скромный фельдшер Мо Фу-сянь, избавлявший господ офицеров и девиц Любки-Бомботки от венерических болезней. Он был в одинаковой степени известен в штабах и в воровских притонах, в спаленках девиц легкого поведения и в солидных отелях. Безропотный, молчаливый, готовый услужить всем и каждому, он стал незаменимым человеком в широком кругу обеспеченных людей. Сердобольная Любка даже оставила ему небольшую каморку в своем доме.

Скромный Мо Фу-сянь ходил из угла в угол в этой каморке, прислушивался к предутренним звукам Харбина и время от времени выглядывал в маленькое, забранное решеткой оконце. Он кого-то ждал. Кого мог ждать такой маленький человек?

Но фельдшер Мо Фу-сянь не был маленьким человеком; это был матерый японский разведчик Ямадзуки. Тот самый, который пятнадцать лет назад подвизался в Чейб-зэнском дацане в роли писмоводителя Энхэ Тайвана и отправил на тот свет английского агента Гордона. Тот самый, который потом появился в Аге под видом Цуль-тим-гэгэна, был принят Петром Бадмаевым и разнюхал кое-что о планах проникновения русских на Восток. Тот самый, который ко времени японо-китайской войны возглавил тысячный отряд японских шпионов под видом миссионеров, за особые заслуги удостоился чести лицезреть самого микадо, получил пятьсот тысяч долларов и чин полковника. О нем не забывали. Его берегли для крупных операций.

В течение года мнимый Мо Фу-сянь «практиковал» в Харбине. Как и прежде, он располагал многочисленными помощниками, которых интересовало решительно все, что происходит в русской армии и в России: экономические трудности, связанные с войной, революционное движение, доставка продовольствия и боеприпасов, настрояние солдат и офицеров. Разрозненные сведения, поступавшие в дом Любки-Бомботки, Ямадзуки сопоставлял с другими, обобщал, потом составлял донесения и в зашифрованном виде отправлял в штаб главнокомандующего японской армией генерала Ойяма.

Русской полевой жандармерии было не до японского шпиона. Она всецело была занята крамолой в войсках

и среди железнодорожных служащих. Особенно много хлопот доставили жандармам розыски некоей Искровой.

На западной окраине Харбина, возле гнилого колодезного сруба, стояли четверо переодетых жандармов вкупе с Пышкиным и Пустяковым. Они только что вышли из старенькой мазанки, наполовину вросшей в землю.

— В другое место перебралась, стерва!

— Должна быть где-то поблизости...

— Тише вы, идиоты!

— Что такое?

— Не видишь разве — огонек! Среди ночи только преступники жгут огонь.

— Совершенно верно!

— Чаво?

— Окно занавешено, ничего не увидеть. Но люди есть...

Офицер одним рывком распахнул дверь и, споткнувшись о порог, бомбой ворвался в помещение. За ним устремились все остальные.

За столом, при тусклой коптилке, сидел огромный человек с безобразным лицом и глодал баранью голову. Отломил нижнюю челюсть, вырвал язык, посмотрел на вошедших единственным глазом и спокойно отправил язык в рот. Баранья челюсть полетела к порогу.

В затемненном углу комнаты на полу лежал толстый человек и сопел. Одноглазый покосился на него:

— Ну и вонища от тебя! Жрать надо поменьше.

На вошедших он не обратил никакого внимания.

— Посторонние скрываются? — вспомнил о своих обязанностях офицер. — Женщин нет?

Великан оглядел офицера:

— Женщина? — повернулся к лежавшему на полу. — Ну-ка, Бухэ-лама, сними штаны и покажи им, кто ты есть.

— Тьфу на тебя! — плюнул офицер. — Горшок с кашей!

Едва ищейки покинули дом, лежавший на полу выругался:

— И зачем ты, Ван Тумэр, смеешься надо мной, оскверняешь мой сан? Все-таки я лама...

Не слушая его, Ван Тумэр заговорил о своем.

— Среди этих ищеек есть двое, у которых золотишко водится. Надо бы при случае выпотрошить их.

Бухэ-лама сел на полу, достал из-под кошмы револьвер и спрятал его за пояс.

Бухэ-лама уже несколько лет бродил с Ван Тумэром по дорогам Восточного Китая. В последнее время на родине ему не везло. Бороться он уже не мог, потерял прежнюю силу. Это случилось после долгой болезни. Кормился он подаяниями до тех пор, пока судьба не свела его с одноглазым великаном. Вместе покинули они Агинские степи, вместе занялись новым ремеслом. Теперь к Бухэ-ламе вернулась прежняя сила, но он решил, что борьба — дело хлопотное и ненадежное. Грабеж — вот самое прибыльное занятие для мужчины.

— Со сторожами у банка надо без шума. Никакой пальбы, понял?

— Я имею привычку брать таких за шивороты и стучать их лбами. Особого шума не получается...

— Этого я не видел,— насмешливо сказал Ван Тумэр.— А когда тебя самого поднимали, будто мешок с шелухой,— это я видел. До чего же ты тогда дошел... И где — в степях! Сколько там баранов пасется, сколько диких коней играет на воле! Удивляюсь тебе.

— Очень уж гордым я был,— тихо проговорил Бухэ-лама.— Спасибо тебе...

Вошел Тугир, отшвырнул попавшиеся под ноги бараньи кости:

— Все готово, капитан!

— Люди?

— И люди! Ждут нас.

— Солдаты будут?

— Будут. Как это... которые лакеями у офицеров служат. Они сейчас грузят богатства своих начальников. Как погрузят, так и того... Я договорился.

— Что они запрашивают?

— Сказали, что много запрашивать не станут.

Ван Тумэр вынул из ножен длинный отполированный кинжал и дотронулся до лезвия большим пальцем.

— Помнишь ли ты Аламжи, помнишь, как мы разломали мою саблю и сделали из нее два кинжала? Таких не сыщешь ни в Монголии, ни в Китае... Сабля сделана была в Дамаске...

Бывший предводитель хунхузов погрузился в мрачное молчание. Припадки меланхолии за ним замечались часто. Бухэ-лама и Тугир к ним привыкли. Они знали, что в эти минуты его лучше не беспокоить.

Однако при имени Аламжи Бухэ-лама чуть не выругался. Нет, он никогда не забудет, как из-за этого человека лишился приза Далай-ламы!

— Мужчина был! — подытожил свои размышления Ван Тумэр. — Пяток бы мне таких...

Тугир кашлянул, давая понять, что время не ждет. Ван Тумэр тряхнул гривой и устремил на него глаз.

— Так что говорят офицерские лакеи?

— Говорят, дорого не возьмут, — повторил Тугир.

Бухэ-лама поднялся наконец с пола и сел на лавку.

— Иначе и не может быть, — проговорил он, с трудом усмиряя одышку. — Они тебя любят.

— Тебе-то откуда известно? — Ван Тумэр нацепил на пояс маузер и переспросил: — Откуда у тебя такой большой ум?

Бухэ-лама ткнул себя кулаком в живот:

— Отсюда! На войне их убивают, здесь заставляют бесплатно грузить офицерское барахло. А ты обещаешь заплатить. Вот и суди, кого они должны больше любить — тебя или господ офицеров.

Тугир рассмеялся. Ван Тумэр встал.

— Пойдемте!

На улице стояла глухая, темным-темна воровская ночь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТУЗЫ КОЗЫРНЫЕ

Купец Кукушкин сидел, как купец: шелковая рубаша, воротник расстегнут, рукава завернуты до локтей, на волосатой груди серебряный крестик. Напротив сидел его гость — худощавый седеющий бурят в очках с золотой оправой. Их разделял низенький стол из сандалового дерева, инкрустированный слоновой костью, и фарфоровая статуэтка в виде толстой японской женщины с отвислыми грудями и объемистым животом.

— Очень рад, мы снова встретились, господин Торговойн Жап.

— Да, конечно, господин Кукушкин...

— Не хотите ли выпить?

Кукушкин нажал на темя фарфоровой женщины. Послышалась мелодия японской песенки, затем из живота статуэтки выдвинулся поднос с двумя золотыми рюмками и лег на протянувшиеся руки японки.

— Выпьем для начала,— повторил Кукушкин, стараясь не замечать изумления Торговойн Жапа.

— Ну разве ты не пройдоха, Кукушкин! Недаром я всегда считал тебя самым оборотистым мужиком... Где достал?

— Не торопись, купец Жап, все в свое время узнаешь. Давай сперва пропустим по одной.

Они чокнулись, выпили. Торговойн Жап охнул и выпучил глаза. Так сидел он, прислушиваясь к тому, что творилось у него в животе.

— Не пойму, какая это водка!..

Кукушкин залился смехом.

— Это виски Гогенхеймера! У генерала Надарова встретил американского купца господина Уокера... Он преподнес «российскому бизнесмену» несколько бутылочек...

Жап наклонился к статуэтке, щелкнул ее по лбу:

— А бабенка-то ничего...

— Что верно, то верно,— согласился Кукушкин.— Жена другой раз все бутылки — под замок. Тогда я кланяюсь своей гейше.

Кукушкин провел ладонью по спине статуэтки, и в ту же секунду откуда-то из-под мышек показались еще две рюмки.

Посмеиваясь, купцы еще выпили.

— Ну, а это как называется?

— Это немецкий шнапс!

После двух рюмок налегли на закуску.

— Видел твоего сына в Харбине,— сообщил Кукушкин.— В свите генерала Надарова... Как бишь звать его?

— Локсоем.

— Во-во, Локсой! Молодец же ты, купец Жап! Сына выучил на доктора, аж в Лондон послал. Теперь он с генералами за ручку здоровается. Не то что наш брат лапоть.

Такое признание польстило Торговойн Жапу. Он улыбнулся и, будучи выше Кукушкина ростом, посмотрел на того чуть свысока.

А тот в эти минуты думал о поселке Суусал. Там у Жапа был пивоваренный завод, но все знали, что к нему примыкает еще винокуренный. Завладеть этим богатством и было целью Кукушкина. Но разве жадный бурят продаст?

Торговойн Жап никак не мог отвести взгляда от фарфоровой статуэтки.

«Опьянел, подлец!— решил Кукушкин.— Пока не свалился, надо исподтишка начинать».

Но Торговойн Жап не настолько был пьян, чтобы делать глупости. Напротив, он сам обдумывал, как бы обвести вокруг пальца этого купчика. Хорошо бы завладеть этой штукой. Наливаешь в одно отделение спирту, а в другое — воду. Сам пьешь воду, а собеседника накачиваешь спиртом. Тот быстро пьянеет, а с пьяным легче договориться.

Торговойн Жап не догадывался, что как раз для таких целей и использовалась эта статуэтка. С ее помощью было выведено немало государственных тайн, заключались самые невероятные сделки. Да и теперь эта японская женщина делала то, для чего была предназначена. Ведь в то время, когда Торговойн Жап пил виски и шнапс, Кукушкин опрокидывал в свою утробу жиденький чай. Каких трудов стоило ему выудить эту статуэтку из трофейного барахла!

Чтобы не выдать себя, Кукушкин притворился пьяным. Он то ронял голову на грудь, будто засыпая, то откидывался на спинку кресла, изображая расслабленность.

— Запоматова, когда прибудет вагон от генерала Надарова с награбленными... тьфу, с трофейными товарами?— Язык у купца Жапа заплетался.— Для меня тоже что-нибудь придет... Локсой обещал.

— Сегодня вечером ожидаю. Последний вагон в эшелоне. Чтобы легче отцепить...

Торговойн Жап неожиданно предложил:

— Может, эта японка еще нам нальет?

— К черту эту японку! Я сам налью другу. Из бутылки...

— Это еще что за сорт?

— Не бойся, всего-навсего ханжа¹. Неплохая жидкость, только воняет изрядно... Кстати, говорят, если пить

¹ Х а н ж а — китайская водка.

заграничные вина, скорее научишься иностранному языку.

— Чепуха! Ханжу я мало употребляю, а язык китайский лучше тебя знаю.— Он взял рюмку, приподнял ее, посмотрел на свет и сказал:— Пью за то, чтобы хороший товар пришел с тем вагоном.

Кукушкин, прежде чем притронуться к рюмке, несколько раз перекрестился. Потом сообщил, понижая голос:

— Ожидают, что в Маньчжурию еще сто тысяч солдат прибудет, япошек в море столкнут. Трофеев будет тьма!

Торговойн Жап потер руки:

— Если мне повезет на этих трофеях, прибавлю к капиталам тысяч сто и переберусь в Петербург. Петр Александрович Бадмаев обещает поддержку.— Сложив молитвенно руки, Торговойн Жап устремил взгляд в будущее.

Кукушкину надоело сидеть трезвым. Покосившись на гостя, он опрокинул рюмку китайской водки в рот, сразу же налил вторую — и тоже выпил.

— О чем задумался?— подцепил он вилкой кусок поросятины.— Пей, чего там...

— Боязно мне. Нищие, сволочи, день ото дня наглеют.

— Всех бы задушил, как бешеных собак!— охотно подхватил Кукушкин.— Приезжаю в Суусал и что узнаю: оказывается, мои голодранцы собирают ружья. Против кого воевать собираются? Против нас с тобой. Пришлось казаков вызвать. Здесь, в Борзе, тоже беспокойно. Намедни работники шум подняли, каких-то прав требовать стали, забастовку объявили. Ну, есаул со своими молодцами задал им жару. Десяток подстрекателей до сих пор в амбаре сидят...

— Я тоже недавно по улусам проехал. И что ты думаешь — у аратов появились листовки. «Забирайте земли, принадлежащие кабинету», «Отказывайтесь платить налоги», «Требуйте от ваших хозяев справедливой оплаты» — вот что в листовках. И все это на бурятском языке. На русском мои батраки ни слова бы не поняли... И знаешь, кто всю эту крамолу переводит на бурятский язык? Булад, сын Аламжи. Он же и раздает их заплатникам. Собрались, крик подняли — хоть убегай из степи.

А помощниками у того грамотея горбун Галсан да безбожник Шара-Дамба.

— Это какого Аламжи сын?— спросил Кукушкин.

— Разве забыл праздник возле Хан-Улы? Аламжи Бухэ-ламу повалил. Вспомнил? Вот у этого Аламжи сын вырос.

— Ах, негодяи!— подскочил Кукушкин.— Теперь я вспомнил. Говорили, сюда, в Борзю, приезжал какой-то красный Булад. Должно быть, тот самый. Жалко, не попался он мне.

— Нам вдвоем с ним не справиться, в отца пошел. Пулей брать его...

— Еще недавно Борзя была глухой станцией.— Кукушкин стал мерить шагами зал.— А теперь столько рванья понаехало, голодные, злые. Другой раз ночью прислушиваешься к пьяным песням — и пот прошибает. А ну как ворвутся в дом!

Торговойн Жап уже не слушал его. Он сидел в кресле, имитирующем голову сарлыка, держался за рога, служившие подлокотниками, и раскачивался. Его притягивала к себе фарфоровая статуэтка. «И в самом деле занятная штука,— размышлял он.— Может напугать улусников. За полцены скот пасти станут. Неужели не продаст?»

— Эй, господин Кукушкин! Друг мой единственный! Одна у нас с тобой дорога — или помрем вместе, или разбогатеем вместе. Верно я говорю?

— Совершенно справедливо.

Торговойн Жап пересилил ханжу и подошел к Кукушкину.

— Ты мне как брат родной... Дай поцелую. Ничего для тебя не жалею!

— Я тоже ничего не пожалею для тебя,— растрогался Кукушкин.— Не веришь?

— Верю, дорогой друг! Дай я тебя еще поцелую.

Кукушкину было противно это пьяное лобызание, но он вспомнил о винокуренном заводе и сдержался.

— Кукушкин, милый человек,— продолжал Торговойн Жап, едва держась на ногах.— Продай мне эту фарфоровую старуху. Ты себе другую достанешь.

— Продать эту бабу? Зачем продавать, бери так. Дарю единственному другу. Владей!

— Я так и думал. Спасибо!

Торговойн Жап обнял обеими руками статуэтку и стал целовать ее. Кукушкин положил ему руку на плечо.

— Давно я хотел поговорить с тобой по одному делу, да времени не находилось. Думаю, сейчас время.

— Говори!

Кукушкин открыл бюро и вынул оттуда гербовую бумагу.

— Прочитай и, если согласен, подпиши. Расходы по оформлению беру на себя.

— Какая такая бумага? О чем бумага, спрашиваю?

— Пустяки! Купчая на твой винокуренный завод. Зачем он тебе? Суусал теперь в моих руках, один этот заводик за тобой остался.

Торговойн Жап, будто во сне, прошел к тахте, сел на нее и дико повел на Кукушкина глазами.

— Ты это серьезно? Хочешь завладеть моим заводом? Обманщик!— заорал он.— Грязная сволочь! На свой завод я тебя простым рабочим не возьму! И как у тебя язык повернулся, вонючий ты человек! Тебе собак душишь, а не заводом владеть...

Кукушкин был ошеломлен, но только на мгновение. Взяв себя в руки, он сказал:

— Дело твое. Фарфоровой бабы тебе тоже не видать. Я к тебе всем сердцем, а ты... грязная бурятская морда, смеешь оскорблять меня в моем собственном доме!..

Он подошел к столу, взял фарфоровую статуэтку и унес в соседнюю комнату. Когда он вернулся, Торговойн Жап уже храпел.

— Вот сволочь!— злобно выругался Кукушкин.— В стельку пьяный, а не захотел подписывать. Ну, ничего, рано или поздно я тебя заставлю. Двум хозяевам в Суусале не быть.

Он сполоснул лицо из рукомойника, надел пиджак и вышел из дома — пора было готовиться к встрече харбинского поезда.

СТЕПЬ ДА СТЕПЬ...

Борзя... Если покидаешь пределы России, это последняя крупная станция на востоке империи. Через нее уходили военные эшелоны в Маньчжурию. Часто они простаивали здесь. Солдаты глядели в степь. Широка эта степь! Сколько ни смотри вдаль, не увидишь края. «Что

там, за степью?» — спрашивали солдаты местных. «Степь». — «А за той степью?» — «Опять же степь».

Когда опускался малиновый вечер, можно было услышать переборы саратовской гармонии:

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит...

Многих забросила судьба в неведомую доселе Маньчжурию, но не многим суждено было вернуться. Те, кому посчастливилось добраться сюда назад, плакали, как дети. Рыжебородый великан, потерявший ногу под Мукденом, выполз из вагона, бросил свою папаху на землю.

— Вот она, земля расейская! Нашенская!

— Эй, ты, барин! Может, у тебя осьмушка махорки в кармане завалилась? Так ты поделись...

Кукушкин нащупал в кармане пятак, бросил в окно барака, где размещался лазарет, и, вобрав голову в плечи, прибавил шаг. Знал он, что для тех, кто вернулся с полей сражений, уже ничего святого не осталось. Развинтились. Обнаглели. Лоб перекрестить не желают. Не только господ, самого царя ни во что не ставят. Он спешил к тупику, где на заросших травой рельсах вытянулась цепочка вагонов. В них жило больше сотни семей.

Рассохшиеся стенки не в состоянии были сдержать самого слабого ветра. Зимой же вагонная эта жизнь превращается в ад. Сколько ни топи железную печку, сколько ни кали ее — все равно в двух шагах мороз. Многих вынесли из этих вагонов ногами вперед. Слово «смерть» стало уже привычным для обитателей «красной деревни».

Появление Кукушкина вызвало здесь оживление. Люди высывались из окон и дверей, одни кланялись, другие плевались и отпускали в адрес купца разные словечки. А он шел, заложив руки за спину, и ухом не вел. Что ни говори, а голодранцы больше нуждаются в нем, чем он в них. Только дай знак, кинутся не только из этих вагонов, из улусов и деревень.

Из вагона выскочил здоровенный парень, кивнул ему небрежно и пошел.

— Эй, ты! — окликнул его купец.

Парень остановился. Кукушкин поманил его пальцем. Парень неохотно подошел.

— Кажись, тебя Степкой звать?

— Степкой, а что?

— То-то... Капусту ел мою? Или, может, забыл?

— Ел, а что?

— Заладил «а что, а что», — оттопырил губы Кукушкин. — Дело есть.

Кукушкин зевнул, крестя рот. Степка заглянул ему в рот, увидел огромный красный язык и отметил про себя: «Язычище как у общественного бугая». Кукушкин повел парня за штабеля осмоленных шпал.

Степка, тот самый детина, что удрал от своей ненаглядной Любки-Бомботки, стоял перед купцом и силился угадать, для чего это он понадобился Кукушкину.

— Сегодня для меня прибывает вагон товару. Так ты того... подбери двух-трех надежных ребят. Чтобы не болтали чего не надо и на руку чистые были. Сгрузите — и на склад ко мне.

— Мясо будет?

— Сделаете без шуму да проворно, не только мяса — четверть водки поставлю. Но предупреждаю ещё раз: какой там будет товар — никому ни-ни. Понял?

Степка переступил с ноги на ногу, почесал под мышкой.

— А подводы? А то разгрузим, а потом карауль.

— Десять подвод у меня во дворе будут дожидаться. Часика через два заходи и гони их на станцию.

Кукушкин на прощание дружески хлопнул парня по плечу и удалился. А Степка, обрадованный возможности наесться до отвала, побежал к своему вагону.

Возле вагона стоял огромный человек в бурятских ичигах и истлевшей рубашке. Даже привычного терлика не было на нем. Зато через плечо свешивалась кожаная сумка, а из той сумки выглядывала глазастая голова мальчишки лет пяти-шести. Человек обрубком указательного пальца почесал то место, где должна находиться бровь.

— Дондок тут ли живет? — спросил великан. — Мне бы надо его повидать. Из нашего улуса он.

Едва незнакомец поднялся по приставной лестнице в вагон, как навстречу ему кинулся обрадованный Дондок:

— Дядя Аламжи, откуда вы появились? Проходите, пожалуйста, садитесь вот на этот чурбачок. Здравствуй-те!

Он суетился возле великана, а сам беспокоился, не знал, чем угостить дорогого человека. В вагоне уже несколько дней не было ни хлеба, ни чая.

— Хорошо ли живешь? — усаживаясь на чурбан, задал Аламжи традиционный вопрос. Он снял с плеча сумку с мальчиком и осторожно поставил ее в угол.

— Живем хорошо, лучше некуда, — со смущенной улыбкой ответил Дондок. Его взгляд остановился на спящем мальчике. — Степа, давай хоть чай поставим, что ли?

— Поставить не штука, — развел руками Степка. — Только вот заварка вся вышла.

— Прошу как друга, достань у соседей.

Степка взял закопченную манерку и молча вышел.

— А вы, дядя Аламжи, как поживаете? — в свою очередь спросил Дондок. — У вас все ли здоровы?

— Лучше некуда, — тяжело вздохнул Аламжи. Указав на мальчика, попросил: — Дай чего-нибудь попить ему.

— Что же дать? — почесал за ухом Дондок. — Молока у нас нет, корова нынче не отелилась.

Аламжи ласково посмотрел на Дондока. Дондок рано осиротел, с восьми лет уже батрачил у Намдака, потом ушел из улуса, стал работать с русскими. Жизнь порядочно потрепала его, но не могла сломить его добродушного, незлобивого характера. Всегда веселый, общительный, Дондок в любую минуту готов был прийти на помощь не только знакомому, но и чужому человеку.

— Какое несчастье, — сказал Аламжи, — у нас тоже корова нынче не принесла теленочка. Значит, всю зиму без молока будем.

Ни у того, ни у другого коровы и в помине не было. Шла обычная в таких случаях словесная игра — игра бедняков.

— Спасибо тебе, Дондок, за доброе слово. Я, извини, отдохну... Три ночи не спал, все шел.

— Конечно, ложитесь, дядя Аламжи. Вон на мою полку ложитесь.

Аламжи взобрался на полку, повернулся к стене лицом и забылся тревожным сном. За последние годы его редко брал глубокий, без видений сон. Даже смертельно уставшему, опустошенному, ему являлось по ночам одно и то же. Губы у Жалмы полуоткрыты, будто она хочет сказать ему что-то сокровенное, но не решается. Пальцы ее то заплетают, то распускают конец косы. Ее

брови, будто ласточкины крылья, парят. Вот Жалма отставила мизинец правой руки, как при игре на лимбе...

Видение исчезло. Аламжи протяжно застонал. Сон бросил его в какую-то черную яму. Затем мгла стала редеть, и Аламжи увидел высокие шесты, а на них — головы. Старушка какая-то причитает:

— Зачем же ты бунтовал? От кого ты хотел спасти нас? О каком спасении помышлял ты, ничего не познавший в жизни? Разве ты не знал, что китайцев больше, чем ковыля в степи?..

Сына своего, Булада, не сразу признал он. Вот он стоит перед ним, ладный батор, сын его, а отец никак не может его узнать. Женщина рядом, названная мать... И вдруг радость захлестнула душу ему: «Боги смиловились надо мной и вернули счастье, похищенное злыми шолмосами!»

Но счастье не пришло.

Первые дни отец и сын не расставались ни на минуту, глядели друг на друга и не могли наглядеться, слушали один другого и не могли наслушаться. Аламжи поведал сыну о своих злоключениях по пути в Лхасу, о том, как он наказал Самбу-ламу и после тщетных попыток найти хотя бы осколки семьи ускакал в Монголию, сражался в отрядах Ван Тумэра.

Булад внимательно слушал отца, не перебивал его, не задавал лишних вопросов. А когда Аламжи выговорился, сын напрямик заявил, что весь его путь, от начала до конца, — ложный путь. Никакие молитвы, никакие хунхузы не могут помочь народу в его борьбе за справедливость. Надо объединиться всем аратам, как объединяются в городах рабочие, и общими силами обрушиться на богачей.

— Не только для одного себя должен жить человек. Надо думать и о других. Я всю жизнь решил отдать народу и решения не изменю никогда! Потому что революция — это дорога к счастью.

— Счастье! — повторял Аламжи. — Счастье! Всю жизнь искал я его. Не верю я теперь ни в какое счастье. Не было его никогда и не будет!

— Прости меня, аба, но если счастливым считать всякого, кто может каждый день до отвала набивать свой живот... Сытое животное тоже может считать себя счастливым?

— Животное, говоришь? Скотина счастливее нас с тобой. Ей хоть не надо каждый день заботиться о торбе овса или о клочке сена, ей дают это люди. А вот в твоих речах я не нахожу даже горсти овса.

— За счастье надо уметь бороться...— твердил свое Булад.

— Разве мы не боролись? — перебивал его отец.— Мы с Ван Тумэром разве не разбивали тысячные войска маньчжур? Разве можно было назвать нас трусами?

— Если человек вышел в далекий путь, он не станет останавливаться, чтобы швырять камни в каждую собаку. Можно убить сотню урядников, но от этого жизнь не изменится. На их место придут другие. У нас иной путь борьбы, путь революции.

— Чем больше ты говоришь, сынок, тем меньше я понимаю тебя.

Булад вплотную подошел к отцу, посмотрел в его постаревшее лицо с нежностью:

— Тебе и в самом деле трудно понять нас. Ведь столько лет ты ходил в потемках.

Аламжи помрачнел.

— Муха всегда старается отыскать открытую рану и сесть на нее,—отчужденным голосом произнес он.— Нет, я не пойду с тобой одной дорогой. Я понимаю: тебе, грамотному человеку, не хочется жить в степи. И ты хочешь прикрыться словами.

— Аба, родной мой!

— Отойди прочь!

Они еще продолжали жить под одной кровлей, но с каждым днем все отдалялись.

Что же произошло с Аламжи? Почему он так грубо оттолкнул сына? Понять не трудно. Всю жизнь он поклонялся богам, трепетал под их немигающим взглядом. Подобно ребенку, он верил в добрые намерения людей — и баянов, и лам, и бедняков. Постепенно все это растаяло, выветрилось, улетучилось. Не стало веры ни в силу небожителей, ни в справедливость живущих на земле. Осталась на душе только горечь и чувство загубленной жизни.

Аламжи уходил на берег Могойто и часами сидел там, погруженный в думы. Катил светлые струи свои речушка, что-то рассказывала она и солнцу, и небу, и птицам. А он сидел, не поднимая головы и не разгибая спины.

Вспоминалось, как задушил он Самбу-ламу, и угрызений совести не чувствовал. Страха перед богами тоже не ощущал. Прав был Осор-лама — все на свете тленно, не будет второго рождения. А жизнь загублена, ее уже не переделаешь.

Иногда в голову приходила мысль оседлать коня и умчаться в горы, где шумят древние сосны и раздаются клекот орлов. С этой мыслью он поднимался и шел к дому. Но чем ближе подходил он к деревянной своей юрте, тем нелепее казалась ему эта мысль. К чему тревожить старое? Ничего не вернешь и ничего не поправишь! Один только приемыш Олзобой был его отрадой. Посадит мальчика на плечо и ходит вокруг дома или рассказывает старинные сказки.

Булад, как поселился с отцом в его маленькой юрте, почти не принимал участия в революционной работе, хотя и обещал не прерывать связей с Читинской организацией РСДРП. Изредка к нему приходили не знакомые никому в здешних краях люди, вручали свернутую в трубочку или запечатанную в конверт записку и уходили. Одна из таких записок ставила вопрос напрямик: считает ли он себя социал-демократом или уже успел попасть на удочку богатеям? Если считает, то почему перестал переводить на бурятский язык присылаемые ему листовки?

Вскоре после этого пришло письмо от Татьяны Львовны. Тонко и умно намекала она ему, что он не использует в полной мере своей грамоты и своих знаний. Между строк он прочитал: как могло случиться, что ты ушел в степь, перестал работать на общее дело?

Надо было принимать решение. Если он уйдет из дома, отец рассмеется ему в спину и скажет, что был прав, когда говорил, что Булад попросту хочет покинуть отца. Если останется, то друзья рассмеются ему в лицо и навсегда лишат его доверия.

Однажды поутру Булад сидел на берегу Могойто и бросал в воду мелкие камешки. Тихо булькала речка, от камешков расходились круги. На душе было тихо и грустно.

— О чем задумался?

Булад вздрогнул и обернулся. Позади стоял отец. Его лицо показалось Буладу сегодня особенно морщинистым и худым.

— Вижу, не удержать тебя. Иди на все четыре стороны! Я тоже уйду. Буду ходить, пока носят по земле ноги.

И он двинулся тяжелой поступью к юрте.

— Аба!

Аламжи даже не повернул головы.

С того тяжелого дня он ничего не слышал о сыне. Да и не стал бы, пожалуй, слушать, если бы о нем что-то и сообщили ему...

Аламжи снова застонал и повернулся на спину. Кто-то там ходит по вагону или только кажется? «Иди же сюда, мальчик. Сейчас мы тебя накормим. Выпей вот молочка».

«Добрая душа Дондок! Нашел-таки молочка для Олзобоя», — отметил про себя Аламжи.

— Кукушкин... мясо... бутылка водки, — издали кричит кто-то.

— А вот того не взяли. Жалко!

Теперь Аламжи понял, что возле вагона разговаривают Дондок и Степка. «Того не взяли!» Про него, наверное... А когда его брали? За последние годы он только и слышал: «Аламжи, который усыновил подкидыша», «Аламжи — отец красного чалдона», «Аламжи, у которого ни один бурхан не сочтет грехов», «Нищий Аламжи». Впрочем, он был не в состоянии выполнять сейчас какую бы то ни было работу. Ныли спина и руки, к физическим страданиям прибавлялись душевные.

В прошлом году он обитал в маленьком домишке, купленном на деньги, оставшиеся от продажи коня. Чем меньше оставалось денег, тем чаще Аламжи уходил, чтобы подыскать работу. Иные ему сочувствовали, другие смеялись в глаза, третьи выгоняли в три шеи. Были и такие, что травили собаками. И все новые клочки волочились за ним по степи.

Часто вспоминалась ему минута расставания с монгольским жеребцом. Аламжи подошел к верному другу, обнял его за шею. Конь тихонько заржал и доверчиво положил морду на плечо хозяина. Так стояли они несколько минут, будто оба вспоминали пройденные пути, счастливые и горькие дни, какие им случилось пережить. На-

последок Аламжи ласково провел беспалой своей рукой от глаз до ноздрей скакуна.

Аламжи очнулся от боли в груди. Сердце его билось часто-часто, грудь стеснилась. Внутри все ныло и клоко-тало.

— Оие-йе! — застонал он, хватаясь обеими руками за грудь.

Вдруг мысль об Олзобое пронзила его. Он соскочил с полки. Кругом была тишина. Куда же ушли Дондок и Степка, куда надевался Олзобой? Или все это ему при-виделось во сне?

Он нашарил кожаную сумку, в которой носил прием-ного сына, и затрясся всем телом — Олзобоя в ней не ока-залось.

Со скрипом отодвинулась дверь. Стало светлее.

Вошли Дондок и Степка. Увидев Аламжи, они от не-ожиданности попятились назад.

— Эх-хе-хе-хе! — холодно рассмеялся он, сотрясаясь всем телом.

И трудно было понять, то ли он в самом деле смеется, то ли плачет.

«Ай, бурхан, да и не сошел ли дядя Аламжи с ума», — подумал Дондок и покосился на Степку.

Аламжи встал на ноги.

— Вот так и живу, ребята... А почему я не вижу с ва-ми Олзобоя?

— Не беспокойтесь, он там возле вагонов, с детишка-ми играет.

— Хорошо, хорошо, пусть поиграет...

Детишки...

Однажды Булад сказал о детстве: «Золотая пора, са-мые счастливые дни моей жизни». Думал Аламжи, что после этих слов сын лучше поймет его, останется как опора на старости лет. Но он не мог остаться. Отец сам сделал так, чтоб он ушел, — нельзя насильно удержать человека. Но эти слова... Они не забудутся.

— Вот так живу... Хожу по свету. И горько думать, что не могу прокормить маленького Олзобоя... Все поте-рял! — крикнул он и схватился пятерней за рубаху на груди. Ветхая рубаха расползлась на его огромном теле, он скомкал ее и швырнул на пол. — Кто виноват? Я! Только один я!

Теперь Дондок осмелился подойти к Аламжи.

— И зачем вы только бередите душу? Она и так вся изранена, мы же знаем. И вы совсем тут ни при чем. Жизнь с вами так же обошлась, как и со многими.

Аламжи обмяк.

— Верно, сынок... — Он тяжело опустился на нижнюю полку и закрыл лицо руками.

Тем временем Степка, взобравшись под самую крышу вагона, пошарил на узенькой полке в куче тряпья и спустился вниз.

— Нашел вот рубаху свою, — сказал он и протянул Аламжи сверток. — Берите, она хоть и старая, но еще крепкая. Поносить можно.

— Спасибо, сынок, а только напрасно ты старался. Тут нигде не найдешь такой одежды, чтобы мне впору была. Не налезет.

— Ну, ладно, давайте поедим, а потом уж будем думать, чем помочь дяде Аламжи, — предложил Дондок.

Он рассказал, как они со Степкой и другими ребятами нанялись на выгодную работу к купцу Кукушкину. В счет будущего заработка взяли мяса, хлеба и уже успели сварить суп.

Аламжи слушал безучастно, даже головы не поднял.

Через несколько минут Дондок внес в вагон исходящий паром котел с супом, за ним, ведя Олзобоя за руку, появился Степка. Он поставил рядом с котлом небольшую манерку с душистым чаем.

Дондок перво-наперво наполнил деревянную чашку для Олзобоя, а самую большую миску — для Аламжи. Олзобой сразу же вооружился ложкой и, обжигаясь, начал хлебать суп. От лапши и хлеба щеки его раздувались, как два пузыря, а глазенки выражали блаженство. Аламжи несколько оживился. Заняв свое место за столом, он не отводил глаз от своего приемного сына. Даже нечто похожее на улыбку появилось на его лице.

Степан стоял посередине вагона и смотрел поочередно то на Аламжи, то на его сына. «Вот что такое семья. Вот какую любовь может питать отец даже к приемному сыну! Теперь и у меня были бы уже дети. Эх, Вера, не смогла соблюсти себя, позарилась на чужие деньги... Ты стала продажной девкой, из Верки превратилась в Любку-Бомботку. А я из деревенского парня стал не то рабочим, не то бродягой. Вот уже несколько лет мечусь по Забайкалью и места себе не найду».

Он шмыгнул под нижнюю полку и достал оттуда полбутылки водки. Дондок разлил ее по железным кружкам:

— Выпьем за встречу с дядей Аламжи.

Аламжи будто сейчас только заметил водку:

— Война идет, даже нойонам, сказывали, водку не продают, а вы где-то покупаете. Ловко!

— В степи нашли,— улыбнулся Дондок.

— Зачем перед своими кривить душой? — укорил его Степка.— Просто нам досталась малюсенькая часть того, что награбили генералы. Мы же с ним выгружали вагоны. А в тех вагонах не то что водку — куриное молоко найти можно.

Аламжи молча смотрел на кружку с водкой, будто размышлял, стоит ли пить ее. Внезапно, даже не поблагодарив парней, он опрокинул содержимое кружки в рот. Дондок и Степка последовали его примеру.

Все умолкли и склонились над едой. Аламжи хлебнул две-три ложки и отодвинул миску. Дондок подождал минуту-другую, как того требовали приличия, потом сказал, шутя:

— Видишь, Степка, дяде Аламжи наше варево не понравилось.

— В самом деле, дядя Аламжи, отчего вы не едите? Аламжи нахмурил единственную бровь:

— Я же просил вас, ребята, обо мне не беспокоиться. Вот Олзобоя не забыли — за это спасибо.

— А-ба!

— Чего, сынок?

— Знаешь, как я наелся! Вот потрогай живот...

Мальчик подождал немного и, видя, что его животом отец не интересуется, взобрался к нему на колени.

— Теперь давай поедem, только рысью.

Аламжи нередко сажал Олзобоя на колени и, слегка подкидывая его, изображал езду на коне. А сейчас, уставший, изнемогший от бесконечных видений и воспоминаний, он только чуть-чуть пошевелил ногами.

— Гыг-гыг, быстрее скачи! — подгонял Олзобой «скакуна». Когда он увидел, что слова не помогают, то повернулся и хлопнул ладошкой по голой груди отца.— Быстрее!

Через минуту мальчишка уже забыл о скачках и стал допытываться:

— Аба, ты зачем изорвал свою рубашку? У тебя же нет другой.

— Видишь ли, сынок,— смущенно оправдывался Аламжи,— на улице сегодня очень жарко, вот я и решил раздеться.

— Раз-деть-ся! — тянет повеселевший от еды Олзобой.— Можно было снять рубашку, а не рвать. Вот смотри, как надо,— мальчишка стаскивает с себя рубашонку.— Видел?

Еще не была убрана посуда, еще Дондок разгрызал кости, как с улицы послышался окрик:

— Степка, выходи!

Степка высунулся в дверь.

— Вагон пришел,— пониженным голосом сообщил купец.— Как договорено, сбегай быстренько во двор и вели запрячь лошадей. Не мешкая, подъезжайте, а я тут пока...

— Сию минуту будет сполнено! — тоном заправского купеческого приказчика отчеканил Степка. Повернувшись к Дондоку, заторопил его: — Скорей кончай с костями. Слышишь, купчина орет. Может других нанять.

ЧЕЛОВЕК С ЧЕЛОВЕКОМ СХОДИТСЯ

Аламжи посмотрел вслед парням, перекинул через плечо кожаную свою сумку и взял за руки Олзобоя. Через минуту оба они, полуголые, шагали вдоль вагонов. Вскоре Аламжи заметил скопление людей по ту сторону дороги. Оттуда слышались крики, но ни одного слова Аламжи не мог разобрать.

Он пересек рельсы, миновал несколько домиков пристанционного поселка и оказался на обширном пустыре. Человек тридцать конников были построены в два ряда. Молоденький есаул, уперев руку в бок и слегка склонившись в сторону, что-то кричал. Аламжи протиснулся сквозь толпу и увидел, что немного поодаль стоит другой конный отряд: в шинелях, в бушлатах, в ватниках и даже в бурятских халатах.

Пробираясь дальше, Аламжи оказался впереди собравшейся толпы, посередине между отрядами. Теперь он хорошо слышал есаула.

— Мой долг — выполнять приказы наказного атамана! Попрошу публику разойтись, а вам,— он показал на-

гайкой в сторону пестрого отряда, — приказываю сейчас же сложить оружие.

Будто повинуюсь офицеру, Аламжи глянул в ту сторону, куда он указал, и увидел Шара-Дамбу. Аламжи протер глаза. Ошибки не было — рядом с рыжебородым казаком и в самом деле сидел на коне Шара-Дамба.

— Что ты нам толкуешь! — отвечая есаулу, заговорил рыжебородый. — Сподручно ли нам, казакам, всякую повинность справлять, хоша и в армию не призван? Первым делом — кажинному чиновнику коня подавай? — подавай! Казенные бумаги вози? — вози! Через Онон всех, кого ни прикажут, переправляй? — переправляй! Арестованных сопровождай? — сопровождай! Опять же на службу идешь, всю обмундированию, а паче того коня бери? — беспрременно бери! Так вот мой сказ: мы, ононские казаки, отцы вот тех парней, что стоят за тобой, отказываемся сполнять распоряжения наказного атамана.

— Молчать! — гаркнул есаул и тотчас потянулся к револьверу.

Рыжебородый подал своего коня на полкорпуса вперед и снова начал:

— Мы думали, наши сынки службу справляют, а они, глянь, с бабами да стариками воюют. Как это вы додумались в амбар своих братьев рабочих запереть? Что они — супротивники наши? А промежду прочим, что с вами разговаривать, — заключил он и отмахнулся.

Офицер все время пытался перебить рыжебородого, но тот обращался только к казакам. Наконец есаул взорвался:

— Прекратить! Приготовиться к бою!

Сам он отъехал в сторону.

На команду есаула откликнулись двое-трое, остальные не шелохнулись. Возле есаула очутился горбатый бурят с притороченными к седлу костылями. Стоя в строменах, он в упор смотрел на есаула.

— Ах ты, безволосая жаба! — есаул пришпорил коня и выхватил саблю.

Люди ахнули: сейчас прольется кровь.

Горбатый пригнулся, а его каурый жеребчик так ловко вильнул в сторону, что есаул, промахнувшись, чуть не слетел с седла. Горбатый подскочил к нему и крестнакрест огрел его плетью по спине.

— Галсан, назад! — Между есаулом и горбатым появился Шара-Дамба.

Тот резко повернул жеребчика и обратился к казакам:

— Удивляетесь, наверное: чего нужно здесь этому калеске. Так знайте, до семнадцати лет я был не хуже вас. Но богачи именем белого царя сделали из меня то, что вы видите. И я обращаюсь к вам: переходите на сторону рабочих и трудовых аратов. С нами — настоящая правда!

Аламжи почувствовал за собой пустоту. Он обернулся и в самом деле никого возле себя не увидел. Люди попрятались за заборами.

— Господин есаул! — с должной почтительностью обратился Шара-Дамба. — Волостной начальник и сельские старосты творят беззакония. Без всяких оснований они арестовывают местных жителей и приезжих, морят их голодом, устраивают самосуд. В этом же повинна и железнодорожная администрация. Как командир вооруженной дружины, созданной для защиты интересов народа, требую освободить всех арестованных. Сопротивление бесполезно.

Если бы Аламжи кто-нибудь сказал, что Шара-Дамба способен разговаривать с царским офицером таким образом, он никогда бы не поверил.

— Освободить! — скомандовал есаул и повернулся к казакам: — За мной — рысью марш!

Жители вновь высыпали на площадь, окружили недавних узников и их освободителей.

Люди радовались победе. Один Аламжи стоял безучастный ко всему, держа за руку прижавшегося к нему мальчика. Он смотрел на Шара-Дамбу и чувствовал, что из глубины души поднимается нехорошее чувство. Откуда оно взялось? Столько лет они дружили, случалось, делили последнюю заварку чая. А вот теперь ему отчего-то стало неприятно смотреть на Шара-Дамбу.

Тот увидел его:

— Здравствуй, Аламжи! Как ты оказался здесь? Как здоровье?

Аламжи не проронил ни слова. Чтобы снова не встречаться взглядом с Шара-Дамбой, он наклонился к Олзобою.

— Что с тобой, Аламжи? — подъехал вплотную Шара-Дамба. — Поедем с нами. Завтра же ты увидишь своего Булада. Орел стал!

Аламжи выпрямился. Теперь он понял, почему не может разговаривать с этим человеком, как прежде. Шара-Дамба тоже повинен в том, что его родной сын оставил старого отца. Все накопившееся против Булада он обрушил на Шара-Дамбу.

— Хватит с меня! — трясясь, как в лихорадке, выдохнул из себя Аламжи. — Хватит! Все вы только о себе заботитесь, о своей шкуре... Сбил с пути сына... Зачем? Столько лет морочишь всем головы...

Будто сам ужаснувшись собственным словам, он подхватил на руки Олзобоя и зашагал к железной дороге.

Кукушкин и Торговойн Жап стояли возле отцепленного вагона и смотрели в степь. Там, то теряясь в ложбинах, то появляясь на увалах, растянулся конный отряд. Всадники двигались неторопливой рысью, оберегая силы коней. Аламжи, глянув туда же, узнал дружинников Шара-Дамбы. «Завтра ты увидишь Булада». Нет, он его больше не хочет видеть!

— Господи, обереги раба свою! — истово крестился Кукушкин.

— Великая беда придет в степь, господин Кукушкин, если наши буряты-заплатники столкнутся с ононскими казаками, — не отрывая взгляда от дружинников, проговорил Торговойн Жап. — Если они вместе начнут банды создавать...

— Черт бы их побрал! — разразился Кукушкин. — Только и слышишь везде — «революция», «революция». Будто зараза. Сопливые ребятишки и те понаделали себе деревянных наганов и орут: «Бей буржуев!» Это мы, значит, с тобой — буржуи. В нас, стало быть, и целются.

Только теперь он заметил стоявшего неподалеку полунагого Аламжи с сыном.

— Тебе что здесь нужно?

Аламжи посмотрел себе под ноги и ответил смущенно:

— Ничего не надо.

И вид этого великана, и его ответ показались Кукушкину подозрительными.

— Ну, ежели такое дело, так проваливай, любезный. Торговойн Жап обернулся и узнал его,

— О, да это Аламжи! — воскликнул он с изумлением. — Как поживаешь? Каким ветром занесло в эти края? Надеюсь, скот твой размножается, а семья пребывает в добром здравии?

Вместо ответа Аламжи только пошевелил губами.

Послышался скрип телег. Показались подводы, пригнанные Дондоком и Степкой. Кукушкин и Торговойн Жап подошли к вагону, еще раз проверили пломбу, посмотрели в квитанции.

К вагону подошли еще несколько рабочих, а также приказчики обоих купцов. Не обошлось и без любопытных обывателей — они стояли отдельной кучкой и перемывали косточки купцам. Аламжи никогда не завидовал чужому добру. Но все же ему было любопытно узнать, какие такие диковинные товары вывезли купцы из-за границы.

— Степка, срывай пломбу! — нетерпеливо распорядился Кукушкин.

Степка и Дондок поднялись по стремянке, сорвали пломбу, откинули накладку и сдвинули дверь. Купцыглянули в проем и онемели от ужаса: вместо дорогих товаров показался одноглазый человек с кривой саблей на боку.

Побледневший Торговойн Жап часто-часто заморгал, не веря своим глазам. Кукушкин съежился и стал пятиться назад. Широко расставив ноги, уперев руки в бока, страшный человек продолжал стоять в дверях. Торжествующая ухмылка не могла скрасить его обезображенного лица.

Аламжи сорвался с места и подскочил к дверям.

— Ван Тумэр! О, неужели я опять вижу тебя, друг! — и протянул он руки к страшному человеку.

— Аламжи! А ты-то откуда? Жив еще?

Ван Тумэр спрыгнул на землю и заключил Аламжи в объятия. Затем с силой ударил кулаком по голой груди Аламжи:

— Жив, черт эдакий! А раз жив — будем действовать вместе. — Обернувшись к вагону, он скомандовал: — Хунхузы!

Около тридцати до зубов вооруженных бандитов высыпало из вагона. У всех на поясах висели сабли,

маузеры и револьверы, кое у кого грудь перекрещивали пулеметные ленты. Обыватели поспешили отойти подале.

— Братцы! — рявкнул Ван Тумэр. — Тут вот к нашему приезду русские господа подали запряженных лошадей. Спасибо им за это... Пунцок, Доржо, Тугир, идите к этим лошадям и охраняйте их, а то как бы купцы не передумали. Все остальные — разгружайте вагон. Всю поклажу — на телеги. Да побыстрее!

Из вагона был прежде всего выгружен пулемет, потом винтовки, а вслед за этим — какие-то сундуки, ящики, тюки, мешки. Все это складывалось на подводы, накрепко увязывалось веревками.

Почти лишившийся рассудка, Кукушкин крадущейся походкой приблизился к Ван Тумэру и, осенив себя крестным знаменем, поклонился.

— Господин хунхуз, как же оно так получается? Вагон мой, квитанция на него мне выдана, а товару нету. Где мой товар? Вы меня ограбили!

Ван Тумэр разразился хохотом.

— Еще в Маньчжурии мы слышали, что у вас в России революция. «Все богатства — бедным, а всех богатых — за решетку», — так, кажется? Так вот, мы немножко помогли вашим революционерам — забрали ваш товар и отдали голодным русским солдатам. В благодарность русские солдаты подарили моим хунхузам винтовки, гранаты, патроны. Они посадили нас в этот вагон и под видом товара переправили через границу... Видите ли, русские господа, нам оставаться в Маньчжурии дольше было нельзя. Мы по ошибке взяли в одном банке чужое золото, и нами стали шибко интересоваться. Вот мы и понадеялись на ваше гостеприимство.

— Аламжи! — кинулся Торговойн Жап к полуголому великану. — Я всегда любил тебя. Растолкуй этой скотине, что он должен возместить убытки. Продали товары — ладно. Так у него есть золото, пусть возместит!

— Обоих запряте в вагон! — приказал Ван Тумэр. — Они мне надоели.

Кукушкин и Торговойн Жап один за другим полетели в вагон. Со скрежетом задвинулась дверь.

— А мальчик-то сильно подрос, — неожиданно повернулся Ван Тумэр к Олзобою. — Хорошо помню, как мы его нашли. Не голоден?

Он вынул из ножен длинный кинжал, подошел к одной из подвод и достал из ящика железную банку консервов. Одним ударом кинжала рассек он ее пополам и каждую половину вложил в руки изумленного мальчишки:

— Кушай, друг!.. Ты — мужчина.

Олзобой принялся уплетать за обе щеки консервированное мясо. От удовольствия он щурился и время от времени посматривал на одноглазого человека.

— Как видишь, мой нож из половины сабли еще не затупился, — напомнил Ван Тумэр. — А твой?

Купцы в вагоне бунтовали. Они стучали ногами и кулаками в дверь. Выделялся голос Кукушкина.

— Эй, вы, разбойники! — орал купец. — Немедленно освободите нас... Губернатору доложу!

Лицо Ван Тумэра свела судорога. Он вынул из кобуры маузер и дважды выстрелил в дверь. В вагоне сразу же наступила тишина.

Как только перегрузили кладь на телеги, Ван Тумэр предложил Аламжи:

— Садись со мной. Сейчас ускорим, а то еще, чего доброго, солдат пустят.

Аламжи с Олзобоем сели. Сел и Ван Тумэр. Тугир взял вожжи и глянул на командира:

— Куда теперь, капитан?

— Куда? — рассмеялся Ван Тумэр. — Во всяком случае, не к Любке-Бомботке. Хватит, походили мы с тобой к проституткам, теперь туда не вернемся. — И, обращаясь ко всем, гаркнул: — Хунхузы, за мной!

Тугир стегнул сытого жеребца, и тот с места взял крупной рысью. Одна за другой трогались телеги, растягивались вереницей по улицам Борзи.

— Гык, гык!

Плотное облако пыли заволокло хунхузов, скрыло коней. И только дикие возгласы еще доносились до обывателей:

— Гык, гык!

Но вот затихли голоса, умолк тележный скрип и грохот, осела на дорогу пыль.

«Эх, черт, — почесал себе затылок Дондок. — Попроситься бы мне с ними. Дядя Аламжи непременно бы взял... Да уже поздно теперь...»

Дондок потоптался на месте, соображая, что же теперь делать, и вдруг бегом бросился к вагону. Не успел

он до половины отодвинуть дверь, как из вагона вывалилось тело Кукушкина и шмякнулось о землю.

К двери подполз Торговойн Жап. Он глянул вниз и беззвучно заплакал. Ему помогли выйти из вагона, поставили на ноги, дали попить воды. Он судорожно ощупал себя, будто все еще не веря, что остался целым.

А Кукушкин лежал на спине и смотрел мертвыми, остекленелыми глазами в синее небо. На его лице было то самое выражение, с каким он встретил Ван Тумэра.

Теперь ему уже не нужны были ни шелка, ни золото, ни та фарфоровая японская статуэтка. Теперь ему нужно было лишь три аршина земли...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СТЕПЬ

ПРЕВОЗМОГАЕТ ДРЕМОТУ

Не пенится, не играет волной Ага, не глядятся в ее светлые струи прибрежные ивы — все истомилось под палящим солнцем. Валуны на перекатах обнажились. Лето на исходе, а небеса не послали на степь и капли влаги. По земле вдоль и поперек пролегли глубокие трещины, как морщины без времени постаревшего человека. Только стрекот кузнечиков и свист тарбаганов. Только жалобное мычание голодной скотины, клекот орлов и карканье разжиревших воронов. И над всем этим — белесое небо.

В такую пору дороги пустынно. Но в последний бимба гараг июля на проселках и тропках, ведущих в Агу, можно было увидеть пеших и конных, едущих в повозках, запряженных исхудалыми лошадьми и верблюдами, медлительными быками и даже коровами. Нагоняя друг друга, люди не задавали вопросов о здоровье семьи, об умножении стада, о состоянии пастбищ. И так все было ясно. Люди спешили в Агу, на волостную сходку. Их мучила усталость и жажда. Но они шли в надежде на то, что после сходки последуют какие-нибудь перемены, которые облегчат их участь.

Но не в каждой юрте гнездится несчастье и не в каждом сердце засела тоска. Есть люди, для которых засуха значит столько же, сколько для собаки укус блохи. Это — богатые скотоводы, имеющие запас кормов, баяны,

у которых работают батраки на закладке утугов и и полове лугов. В тяжелые для народа дни такие люди еще больше жиреют.

Одолев седловину, несется по увалу тройка. Запыленный кучер изредка взмахивает кнутом, и сытые кони прибавляют бег. Позади кучера, в хурмаке¹ мужчина не старше тридцати и двадцатипятилетняя женщина, оба нарядные и веселые, пьют поочередно из берестяного туеска.

— Хороший хорзо², до сердца достает.

Женщина наклоняется поставить туесок, мужчина притягивает ее к себе и целует.

— Ведешь себя как мальчишка. Не стыдно?

— Дорогая моя Намсалма. Пожалей своего муженька, единственного сына Намсарая-тайши... Потерпи немного, и я стану тайшой. Тогда все бабы на поклон к тебе потянутся.

— Еще неизвестно, чем кончится эта сходка. Видел, сколько голодранцев обогнали мы сегодня? И каждый из них будет что-нибудь говорить...

Гамбал вынимает из-под ног жены туесок.

— Все будет, как я задумал,— уверяет он, приложившись к туеску.— Не найдется ни одного человека, который бы выступил за сохранение кабинетских земель. За волости никто держаться не будет. Остается одно — восстановить Степную думу и поставить тайшу. Я сын тайши, я получил русское образование...

Мчится тройка степной дорогой, то поднимаясь на холмы, то спускаясь в долины, обгоняя пешеходов, телеги. Да, много людей собрала волостная сходка!

Собирались возле здания, где раньше помещалась Степная дума. Уже несколько лет пустовал этот дом. Только амбар во дворе не пустовал, он использовался для арестованных. Кто-то принес ломик; кто-то стукнул им по замку, и тот упал...

Намсарай Гамбал зашел в числе первых. Окинув хозяйским глазом просторный зал, он обратился к степнякам:

— Уважаемые подданные! Лучшего помещения нам не сыскать. Правильно сделали, что открыли.

¹ Х у р м а к — навес над повозкой из брезента или кожи.

² Х о р з о — крепкая молочная водка, получающаяся после третьего перегона.

«Уважаемые подданные» — так давно уже никто не обращался к народу. Никто не понял — не то в шутку было сказано, не то всерьез.

Рассаживались, как всегда, не по старшинству, не по заслугам, а по достатку: впереди самые богатые скотоводы, чины волостной управы, ламы, потом торговцы всякой мелочью, третьеразрядные чиновники, за ними середняки. У самых дверей толпились те, кто пришел на сходку пешком.

Впереди волостного общества поставили длинный стол, накрыли его желтой материей. За столом заняли места волостной дарга Банзаров, ротмистр, прибывший из Читы, сельские старосты и писарь. Банзаров, расплывшийся, будто тесто из квашни, с трудом приподнялся со стула и глянул в глубину зала: там урядники наводили порядок среди бедняков.

— Скоро вы там?

Тишина никак не устанавливалась, продолжались разговоры, слышался смех. Невдалеке сидела стайка молодых, окруженная мужьями и холостыми почитателями. Вытурить бы их отсюда, чтобы не мешались в мужские дела. Но нельзя было: Читинский съезд бурят недавно постановил, чтобы мирские дела решались в присутствии всех членов общества, не исключая женщин.

— Эй, сороки, подожмите хвосты!

«Сороки» прыснули и замолкли, а дарга склонился к ротмистру, начал с ним советоваться. Улусники тем временем закурили. Вынимали папиросы, набивали трубки махоркой и китайским табаком «дунза», свертывали «козьи ножки», некоторые раскуривали трофейные сигареты. Дымки, острые и мягкие, удушливые, как веревка, и ласковые, как руки неверной жены, потянулись к потолку.

— Перестаньте курить!

— Ха, читинский начальник не переносит агинского дыма. Если так, то пусть убирается отсюда ко всем чертям.

— Молчать! — прикрикнул урядник из середины зала.

Полицейские принялись выискивать острословов, опять поднялся шум. Лама Банзаров стал звонить в колокольчик.

Уловив настроение, Гамбал решил пустить пробный шар. Обернувшись к залу, он подхватил:

— Да, улусники, наша сходка начинает походить на дацанский хурал. А между тем сюда собрались голодающие араты. Большинство из вас козу накормить не может. И все потому, что волостное управление отрезало наши исконные земли и передало их в ведение кабинета. А много ли можно сделать на пятнадцати десятинах?

Уж если богач из богачей против волостного управления, против ламы Банзарова и даже против кабинета, то им, бедным аратам, сам бурхан помощник.

— Вы меня знаете, улусники,— ткнул себя пальцем в грудь Гамбал.— Я слов на ветер не бросаю. Волостное управление готово задушить всех скотоводов. Ты, Банзаров, не отворачивайся, а смотри людям в глаза... Здесь на этой сходке надо предоставить возможность высказаться всем. Пусть каждый использует свои демократические права. Вспомните, как было при тайше. Восемьдесят лет власть тайши свято берегла интересы и обычаи бурятского народа. А сейчас? Мало того что у нас отрезали самые лучшие пастбища,— над нами еще поставили таких нойонов, которые не знают ни наших обычаев, ни традиций... Дожили до того, что юрту поставить негде. А люди, охраняющие кабинетские земли,— зачем они нам, почему они сидят на нашей шее?..— Гамбал даже притопнул шевровым сапогом.— Думаю, что никто против восстановления Степной думы возражать не станет. Только дума во главе с тайшой сможет соблюдать интересы народа: вернуть скотоводам землю, смягчить законы, уважать личность каждого арата.

— Правильно, Гамбал, молодец!

— Крой их вовсю, пусть знают.

Намсалма, скрестив руки под высокой грудью, любовалась мужем.

— Самая справедливая власть,— не вытерпела она,— власть тайши!

Этот возглас подхватили старейшины голзутского, харганайского, хулдатского и других родов. К ним присоединяют свои голоса ламы и богачи.

— Нам нечего искать тайшу где-нибудь на стороне! — крикнул Намдак.— Вот он перед нами, наш многоуважаемый Гамбал, наша надежда.

Гамбал сел и победоносно огляделся. Отовсюду ему улыбались. Его уши улавливали: «Гамбал человек гра-

мотный, зря болтать не будет...», — «В Иркутске учился, гимназию окончил...»

Одни лишь китайцы, в углу за печкой, оставались безучастными и к волостному правлению, и к Степной думе, и к кабинетским землям: чтобы выращивать овощи, много земли не надо. Они беседовали между собой, время от времени затягивались опиумом. Один из них уже прикорнул в уголке и видел счастливый сон...

Неподалеку от китайцев сидел на полу тележный мастер Кузьма Кузьмич. Его борода стала изжелта-белой, от шевелюры остался лишь клочок на затылке. Он разглядывал свои ладони и беззвучно шевелил губами: так он разговаривал сам с собой, в одиночку. Прожито семь десятков. А нажито? Видно, правда сказывают: с топора не богатеют, а горбатеют. Всю жизнь он мастерил телеги и ободья, гнул дуги и гнал деготь, а под старость не скопил ни копейки. Теперь и сила в руках пропала, и глаза худо видят, и дрожь в ногах. Теперь ему уже поздно думать о земельных наделах.

Старик Загда тоже уронил голову на грудь: был ли в его жизни хотя бы один счастливый день? Да, был однажды хороший день, когда он унес с сурхарбана почти полный мешочек медных и серебряных монет.

— Как насчет тайши думаешь? — обратился к Загде сосед.

Загда махнул рукой: будет ли лучше при тайше, он не знал.

Неподалеку от дверей, прислонившись к стенке, стоят Дондок и Степка. Им тоже земля была не нужна, на сходку они приехали из любопытства...

Вслед за Гамбалом стали выходить вперед богатые скотоводы и ламы, бедняки и чиновники. Все сходились на том, что волостное управление чересчур урезало их права, надо его упразднить. Предлагали писать прошение на высочайшее имя, горячие головы требовали произвести реформу самочинно. И большинство высказывалось за Степную думу во главе с тайшой.

Последним поднялся ротмистр.

— Господа, пра-ашу внимания! Его величество император дал всем инородцам право жить по своим законам, соблюдая в то же время законы божьи и законы государства. Эту монаршую милость надо ценить и обере-

гать от смутьянов, бунтовщиков и прочих социал-демократов.

Здесь ротмистр для вящей солидности сделал паузу. Он хотел было вытащить носовой платок, чтобы с его помощью пригладить усы, но случайно вместо платка вынул матерчатый, шитый бисером, кошелек. Сидевший в переднем ряду Гамбал ошибку ротмистра расценил по-своему: «Взятку просит, медная рожка! Ну ладно, на доброе дело не жалко потратиться». И он крикнул, немного приподнявшись со стула:

— Ясно, господин ротмистр!

Тот отнес это за счет своего красноречия и слегка поклонился сыну Намсарая-тайши.

— Продолжаю, господа! Господин Куропаткин, от имени его величества, предупредил всех людей бурятских, что если кто будет себя худо вести, бунтовать и прочее, проявит неповиновение, а тем паче бунт, тот будет стерт с лица земли!.. Это не угроза, господа. Помните, что вы не имеете права требовать, вы можете только нижайше просить.

Степняки онемели: вот так свобода, вот так дума. Зачем же их собрали сюда?

— Совершенно справедливо,— согласно закивал лама Банзаров.— Против царя,— он поднял указательный палец,— ни одна душа не смеет поднять голову.

Ротмистр между тем одернул на себе китель и еще раз прокашлялся:

— Помните день, когда утвердили волостное правление? Тогда ваши смутьяны избили почтенного старшину Намдака, уважаемого судьёю Соктоева и старосту Намжилова. Пришлось вызывать из Читы полицейский отряд. Бунтовщики понесли наказание. Однако, я вижу, здесь еще остались их сообщники. Правильно я говорю?

Соктоев и Намжилов разом вскочили со своих мест:

— Так точно, ваше благородие!

— Кто не согласен с господином ротмистром,— замахал руками Намдак,— пусть выйдет вперед. Мы разберемся...

Выходить вперед дураков не нашлось. Зато люди снова зашумели, заволновались, заспорили. Ротмистр, довольный произведенным впечатлением, стоял, упираясь кулаками в стол, и шарил по залу взглядом. Под этим тяжелым взглядом люди стали умолкать.

«Что же это такое? — думал про себя каждый. — Степную думу, выходит, не вернешь, волостное правление не прогонишь. Неужели так и придется сидеть на пятнадцати десятинах?»

Ломал голову и Гамбал. «Зачем же он тогда просит взятку? Цену набить хочет? Ничего не разберу!»

— Кто еще хочет высказаться?

Дондок и Степка препирались между собой: «Надо обязательно сказать». — «Вот и скажи». — «Я не скотовод, даже не из этой местности». — «Не имеет значения».

Дондок решился. Руки он сперва заложил за спину, потом сцепил спереди, потом нашел им место в карманах.

— Смелее, парень, — подбодрил его лама Банзаров. — Если человек хранит в душе имя божье, а также имя государя нашего императора, если он не собирается перечить законам, — то такого человека, будь он даже молодой, все выслушают с великим вниманием... Мы слушаем тебя, юноша!..

Дондок выпалил:

— Волостного правления не нужно! И закона такого не надо, который отбирает земли. У меня скота нет, но я вижу, как другие бьются на пятнадцати десятинах.

Скотоводы одобрительно загудели. Гамбал тоже подал голос:

— Молодчина, парень!

Дондок продолжал увереннее:

— А зачем нам Степная дума? Чтобы опять обирали нас? Разве забыли, как Намсарай-тайша грабил народ?

— Что же тебе нужно? — спросил лама Банзаров. — Волость его не устраивает, дума — не подходит...

— Сам не знаю, какую власть избрать, но только не такую, как была.

— Подождите! — поднялся Гамбал. — Напомню, что еще Александр Первый даровал нам право самим выбирать себе нойонов и избирать форму правления. В тысяча восемьсот двадцать втором году был издан высочайший указ...

— Ай да грамотей наш Гамбал, — одобрительно кивали со всех сторон богачи и ламы. — Степную думу надо нам вернуть!

Такое дружное выступление богачей и духовенства против установленной власти взбесило ротмистра. Он трахнул кулаком по столу:

— Не забывайте! Хотя вы и живете на окраине Российской империи, но входите в ее состав и соблаговолите подчиняться ее законам. Тут я говорил о господине Куропаткине. Теперь мне остается сказать о его императорском величестве. Три года назад, а именно в тысяча девятьсот втором году, вы осмелились послать свою депутацию в Санкт-Петербург. К счастью, в ту пору его величество отдыхал в Крыму. Ваша делегация не посчиталась ни с чем и отправилась в Крым, намереваясь подать прошение об отмене волостного управления. Царь тогда сказал: «Глупые буряты хорошо видели, что мой дом для них закрыт. Все же они осмелились заглянуть в окно...» Ваши люди передали прошение через коменданта императорского двора, но решения не последовало. Господину губернатору было высказано неудовольствие государя. Кое-кто за самочинные действия был наказан... А теперь вы опять за старое. Вот что, господа, хватит бунтовать, пора за ум браться. В противном случае...

Что произойдет «в противном случае», скотоводы догадывались. Поэтому они сочли уместным несколько попридержать языки. Только Дондок, все еще стоявший перед улусниками, никак не хотел оставить свою речь недосказанной. Воспользовавшись тишиной, он продолжал:

— Поймите же меня! Не надо нам никаких волостей и никаких дум. От них разорение для аратов...

Теперь взъярился лама Банзаров:

— Ты же сам, щенок, признался, что не знаешь, какая тебе власть по нутру! А не знаешь, нечего сопли распускать. Убирайся отсюда!

— Я знаю, что нужно аратам!— услышали уверенный голос из задних рядов. И вот к возвышению направился высокий широкоплечий парень.

Некоторые узнали парня:

— Булад, сын Аламжи!

— Когда царское правительство решило ввести у нас волостное управление, с нами никто не советовался,— начал Булад.— Волость нам навязали.

Скотоводы затаили дыхание.

— Наши исконные земли захватил царь. Разве батюшка царь так обеднел, что ему понадобились наши пастбища? Мы не смиримся с несправедливостью! Если оставить этот закон в силе, народ лишится главного богатства — скота.

— Верно, верно!

— Парень дело говорит.

— Истинно так!— вверх полетели малахаи, поднялись над головами кнуты и костыли, посохи и даже ламские четки.

— Вижу, что общество со мной согласно,— обрадовался Булад.— Теперь дальше. Кто правил нами во времена Степной думы? Богачи, нойоны и ламы. Кто правит сейчас? Они же! Царские чиновники и местные богачи — вот кто наш враг. Поэтому возврат к Степной думе ничего не изменит.

Богачи и ламы, еще минуту назад довольные смелой речью Булада, теперь заерзали.

— Сместить нойонов-взяточников и на их место поставить представителей народа! Выгнать из улусов приставов и урядников! Создать вооруженные дружины...

По залу прошел шорох, как ветер в ковыльной степи.

— Верные слова!

— Выкормыш русской каторжанки! За большие ли деньги продаешь свой народ?

Науськанные отцами, в кучку сбились несколько парней из богатых семей. Взмахивая плетками, они попытались подойти к возвышению и стащить Булада. Путь им преградили другие парни. Произошла короткая стычка. Несколько схваток вспыхнуло и в других местах. Послышался треск ломаемых стульев и скамеек, задребезжали окна. Прямо на стол, за которым восседало начальство, полетела железная печурка и обдала ротмистра золой. Тот выхватил револьвер и два раза выстрелил в потолок.

Не дожидаясь, пока установится тишина, Булад продолжал:

— Надо брать пример с рабочих-железнодорожников! Они отобрали у купцов пустующие дома и вселили туда бездомных рабочих и батраков, сместили многих начальников, установили восьмичасовой рабочий день, открыли библиотеку. Всем этим руководит Читинская организация социал-демократов. Нам нужно крепко связаться с этой организацией. Не подчиняйтесь распоряжениям царских чиновников, отказывайтесь платить налоги!

Ротмистр позеленел от бешенства.

— Да что вы смотрите,— закричал он полицейским.— Хватайте его!

Урядники, оттесненные толпой, никак не могли пробиться к оратору.

— Улусники! — звенел голос Булада. — Отбирайте силой кабинетские земли! Вы, а не они хозяева этой земли!

Полицейские выбрались из толпы и двинулись к возвышению, с которого все еще говорил Булад. Батраки и беднота образовали перед ним сплошную стену.

Побоище охватило весь зал. Трещала мебель, со звоном вылетали стекла из окон, стол начальников оказался опрокинутым.

Гамбал, прихватив плачущую от испуга жену, убежал через окно. Крики, стоны, визг, плач...

Полицейские оттеснили батраков и накинулись на Булада. Двух или трех он отбросил от себя, но когда на него навалились еще пятеро, Булад понял, что сопротивляться дальше бесполезно. Его скрутили и привязали к столбу, подпирающему потолок.

— Молчать! — неистовствовал ротмистр. — Всех на ка-
торгу.

— Революция победит! — кричал Булад.

Урядник выхватил револьвер и, сильно размахнувшись, ударил его по лицу:

— Получай, скотина!

Тут дверь распахнулась, и на пороге показался Шара-Дамба.

— Ну-ка посмотрим, что здесь происходит! — раздался его бас. — Кажется, наших бьют.

Народ расступился, пропуская в глубину зала вооруженных людей.

Шара-Дамба подошел к ротмистру.

— Вы распорядились связать этого человека? — указал он на Булада. — На каком основании?

— А на том основании, — убирая револьвер в кобуру, сказал ротмистр, — что этот инородец занимался пропагандой.

Рыжебородый казак между тем разрезал веревки, стягивающие Булада.

— Кто бил? — оглядывая полицейских, спросил ононский казак.

— Урядник саданул, — показал Дондок. — Наганом по башке.

— Ты? — подступил к нему рыжебородый. — За что?

— За нарушение закона. Я за его императорское величество готов живот положить...

— Успеешь со своим животом,— оглядел казак фигуру урядника.— А сейчас ты арестован. Достань-ка свою стрелялку.

— Не имеешь права!

— Сдать оружие!

Урядник вынул револьвер и протянул казаку. Двое дружинников связали его руки.

Шара-Дамба уже стоял на возвышении, с которого несколько минут назад говорил Булад. Он окинул взглядом присмиривший зал, потом перевел глаза на урядника.

— Предупреждаю вас, господа полицейские: впредь за такие дела будем судить по всей строгости революционного порядка. Вас, господин урядник, будем судить первым.

— Тебе никто не разрешал говорить!— оборвал его ротмистр.— Ты не имеешь никакого права выступать на этой сходке.

— Уши даны человеку слушать,— вставил слово Булад.— А ежели ты, нойон-ротмистр, не хочешь слушать, что говорят тебе настоящие люди, то зачем тогда имеешь уши?

Шара-Дамба поднял руку, давая понять, что хочет говорить. Батраки и беднота дружно подались вперед, заслонив старейшин. Те не посмели даже роптать.

— Баяны и старшины пригласили сюда полицейских, чтобы вы не очень-то давали волю языкам... Не думайте, что я против сходки, продолжайте разговор. Но не бойтесь говорить правду.

Ротмистр заложил руки за ворот мундира:

— Имейте в виду, с вашим мнением здесь никто не будет считаться. Перед нами какая-то банда...

Шара-Дамба всем туловищем повернулся к ротмистру, как поворачивается медведь на лай дворняжки.

— Банда? Меня назначила на эту должность Читинская организация РСДРП!

В дверях топтался на месте Лонхо-баян. Руки у него были связаны, на шею накинута петля. Свободный конец веревки держал в руках Горбун.

— Ай-да Галсан,— слышались возгласы,— какого зверя заарканил!

Лонхо, подталкиваемый сзади Галсаном, медленно приближался к возвышению. Вслед за Лонхо дружинники ввели под руки маленькую заплаканную женщину. Шара-Дамба поставил опрокинутый стул и усадил ее рядом с ротмистром.

— Женщина расскажет кое-что о себе и о своем хозяине Лонхо,— объявил Шара-Дамба.— А потом мы позволим вам, господин ротмистр, высказаться насчет справедливости царских законов... Говори, Долгор!

* * *

Тот злополучный день начался так, как начинались тысячи дней в аиле Лонхо-баяна. Хозяин спал долго и поднялся только к малому обеду. Не умывшись,— Лонхо умывался не всякий день на неделе,— он поел вареной баранины, запил ее густым зеленым чаем со сливками и вышел из летника подышать. В Агинск на волостную сходку его не тянуло: пусть без него решают, какая власть лучше — волостная или думская. Для него это не имело никакого значения.

Долгор, уже успев подоить коров, прибраться в хлеву и выгнать скот на пастбище, хотела пройти в черную юрту, когда ее позвала хозяйка.

— Зайди в амбар, там лежит мешок с табаком. Разложи пучки на солнышке, пусть подсохнут...

Тут она увидела соседа, везущего на телеге дохлую корову.

— Долгор, видишь? У Хара-Шарайты сдохла корова. Опять, наверное, сибирская язва... Так ты убери табак, возьми нож и беги на скотомогильник. Надо содрать шкуру, пока ее не испортили собаки или кто другой не позарился. Да не забудь про жилы, они тоже пригодятся.

Долгор хорошо знала, что если не сдерет шкуру с подохшей коровы, то Лонхо вместе с женой сдерут ее собственную.

Скотомогильник находился в пади, за три версты от аила. Отсюда далеко разносилось карканье воронов, клекот коршунов-стервятников и вой бездомных собак.

Хара-Шарайта, крихтя, слез с телеги. Спрыгнул и сынишка его Ананда. Вдвоем они столкнули подохшую корову и долго смотрели на нее, прощаясь.

Долгор уже ждала их. Она забралась в яму, откуда брали глину для починки очагов, и наблюдала за Хара-Шарайтой. Корову столкнули в падь, и порожняя телега, скрипя, отправилась в обратный путь.

Но как ни предусмотрительна была Долгор, коршуны и собаки опередили ее. Стервятники, описывая круги, все ниже нависали над тушей коровы. А собаки уже набросились на добычу. Долгор швыряла в них камнями, пытаясь отогнать. Псы, злобно рыча, скалили на нее окровавленные морды и с еще более кровожадной яростью набрасывались на тушу. Долгор поняла: ей не справиться. Да и к чему теперь? Шкура была уже испорчена.

С пустыми руками пошла Долгор назад в аил, стараясь догадаться, во что обернется ее неудача со шкурой, и думая о горемычной жизни своей. Когда-то у нее были отец, мать, братишка. Помнит она их уже смутно, померли все. Осталась она одна, как вон та одинокая сосенка, чудом уцелевшая в степи. Собрать бы все слезы, выплаканные тайком и явно, — их бы хватило, чтобы утопить самого Лонхо-баяна.

Лонхо между тем лежал, попил чаю, почесал бока и принялся молиться.

— Всевышний, всевидящий и всемогущий бурхан! Отврати от меня, от семьи, от скота пяти видов и от аила несчастья. Пусть не коснется животин язва, пусть не случится пожар, пусть трава растет выше коней...

Лонхо-баян умолк, придумывая, что бы еще вымолить у Будды. Тускло мерцали свечи в полутемной юрте, сладко пахло подожженной травой санзай. Будда смотрел на молящегося с глубокой задумчивостью. Лонхо-баяну казалось, что бурхан понимает его.

— Пусть умножаться мои богатства, — снова принялся выпрашивать он, — пусть каждый мой шаг оборачивается доходом.

Лонхо упал на колени, чтобы поклониться до земли, но вдруг заметил, что бурхан качнулся, как бы сам кланяясь хозяину юрты. Обезумевший от радости Лонхо запричитал:

— О Будда! О Будда!

Но тут не только бурхан закачался, вся юрта задрожала, будто на нее взгромоздились все шолмосы

Агинских степей. Потом пошатнулась гунгарба и вместе с дюжиной бурханов обрушилась на голову обалдевшему Лонхо.

Вскочив на ноги, Лонхо попятился к двери, повторяя священные слова:

— Ум-мани-пад-мэй-хум! Ум-мани-пад-мэй-хум!

Юрта продолжала шататься. Вскоре северная стенка выгнулась, затрещала ее деревянная основа, и сквозь дыру Лонхо увидел голову любимого своего сарлыка. Огромный бык напирал теперь на юрту всей грудью, и дыра все увеличивалась. Оказавшись в юрте, сарлык наткнулся на гунгарбу, остановился и повел по сторонам красными от бешенства глазами. Насмерть перепуганный Лонхо выскочил из юрты через пролом. Бык саданул рогами дверь и выскочил во двор следом. Дверь повисла у быка на рогах, он тряс головой, пытаясь освободиться. Наконец дверь отлетела, и бык, роя землю передними копытами и наклонив голову, медленно пошел на своего хозяина.

— Помогите! — не своим голосом заорал Лонхо-баян.

Он вбежал в деревянный дом, схватил висевшее на стене ружье и выскочил на крыльцо. Бык стоял в пяти шагах, ревел и рыл землю. Лонхо вскинул ружье. Целился ли он? Кажется, нет. Ружье изрыгнуло из себя огонь с дымом и вывалилось из хозяйских рук. Любимый сарлык Лонхо-баяна упал на передние колени, мотнул головой и повалился на бок.

Когда Лонхо понял, что произошло, он пнул ногою злополучное ружье и бросился к быку. Он обнял его обеими руками за шею и зарыдал. Столько денег стоил этот сарлык Лонхо-баяну! Он ездил за ним в Халху-Монголию, почти к самому Байн-Туменю. Сколько надежд возлагалось на него! Лонхо намеревался скрестить своих мелких коровенок с этим сарлыком и получить крупных жирномолочных хайнаков. Теперь все надежды рухнули. Пропали деньги, пропало несколько пудов муки, израсходованных на корм. Пропал покой.

Продолжая разглядывать быка, Лонхо вдруг заметил, что изо рта у него торчат какие-то листья. Он разжал челюсти сарлыка и извлек пучок табачных листьев. Проклятье! Беспутная девка, оказывается, оставила листья во дворе. Ага, она повесила их на жердь. Вон они висят. Но как мало! Неужели сарлык мог съесть столько табаку?

Лонхо перевел взгляд на искореженную юрту и заметил на стене красный платок жены. Чертовы бабы! Недосмотришь за ними, так они любую пакость сотворить могут. Конечно, сарлык наелся табаку, потом заметил красный платок и начал сокрушать юрту. Кому не известно, что быки не переносят красного цвета? Даже если табак не жуют...

— Что тут у тебя?

— Разве сама не видишь? — набросился он на жену. — Дуры проклятые, только убытки от вас. Одна табак развесила на дворе, другая платок красный на юрте оставила. Где у вас разум находится? Бык мешок табаку слопал...

— Ну и что — сдох?

— Тьфу на тебя! И куда подевалась эта сучка Долгор?

Долгор, никем не замеченная, шмыгнула в сарай. Теперь так же незаметно надо было перебраться в черную юрту. Она выглянула из двери и обмерла: прямо на нее шли хозяин и хозяйка. Куда спрятаться, куда бежать? Долгор шагнула им навстречу: чему быть, того не миновать.

— Смотри-ка на нее! — всплеснула руками хозяйка. — Беду кличет.

— Какое там «кличет», — взревел Лонхо. — Уже накликала. Эта девка как раз опоганила эту сторону. Отсюда бык кинулся на юрту. Где ты шлелась, негодная тварь!

— Шкуру принесла? Где шкура, спрашиваю? — вторила хозяйка.

— Что с ней разговаривать? С ней надо вот так!.. — Хозяин отступил на шаг и с силой пнул девушку ногой в живот. Та изогнулась и присела на корточки. — Вот так! — еще раз повторил Лонхо.

Жена схватила девушку за волосы и принялась дергать их из стороны в сторону.

— Подожди, я ее сейчас заставляю говорить, — отстранил жену Лонхо, ухватил Долгор за руку и поволок на середину двора. — Сними с нее одежду.

Спотыкаясь, Лонхо побежал в черную юрту, взял там топор, прихватил по пути два кола и вернулся к девушке. Очигма за это время успела в клочья изодрать рубашку Долгор. Увидев топор и колья, девушка взмолилась:

— Побойтесь бога! Звери вы! Звери!

Она шагнула навстречу хозяину, но силы уже оставили ее. Со слабым стоном она упала и осталась лежать, вытянувшись. Лонхо забил в землю колья, привязал девушку за руки и за ноги.

— Принеси воды!

Лонхо стегал кнутом не торопясь, будто выполнял очень важную работу.

— Вот так! Лей помаленьку на спину. Да помаленьку, говорят тебе!..

— Кто же так бьет! Пониже надо, по пояснице...

Мальчик Ананда, тот, что сопровождал отца до скотомогильника, вбежал к баяну с какой-то вестью. Пораженный увиденным, он застыл на месте и вдруг с криком ударился бежать прочь.

* * *

Лонхо стоял перед народом, не осмеливаясь поднять голову и посмотреть людям в глаза.

— Что скажете, нойон-ротмистр, об этой истории? — повернулся Шара-Дамба к начальству. — Могут ли покарать этого бандита царские законы?

— Видите ли, подобные случаи... могут происходить лишь в глуши... Вдали от культурных центров... Случай редкий.

— Не такая уж редкость! — оборвал его Шара-Дамба. — Предлагаю предать богача Лонхо суду.

Никто не возразил. Решено было также взыскивать с Лонхо плату за все десять лет, которые проработала на него Долгор. Лонхо заявил, что выплатит эти деньги.

О кабинетских землях: «Вернуть народу все пастбища и лесные угодья в местности Ара, Улэнгэ, Эле и Уре...»

Солнце уже закатилось, когда разошлась сходка. Конные стали отыскивать своих лошадей, а пешие разбрелись по Агинску в поисках ночлега.

В опустевшем зале бывшей Агинской думы остались только Лонхо-баян и Банзаров-лама. Они долго о чем-то шептались. Наконец, завершая беседу, Лонхо-баян сказал:

— Медлить не надо. Послезавтра...

— Вот так-то, дети мои. Кто не верит в человеческую доброту, тот ни разу в жизни не испытает радости. Жалок такой человек. У него черная совесть, и по черной совести своей он мерит всех. Никогда он не протянет руку тонущему, не подаст чашку арсы жаждущему.

Мальчики затаили дыхание. Они были польщены вниманием, какое оказал им сказитель.

— Взрослые ждут какого-то счастья,— приподнялся со своего места Ананда.— Что это такое, бабай?

Старик обвел ясным взглядом притихших ребят.

— Не каждый осмелится ответить...

Старик долго сидел в задумчивости, вырывая волоски из своей бороды.

— Кто работает весь свой век, тот о счастье не думает. Счастье у такого человека всегда с собой.

Дети не поняли.

— Счастлив тот, кто платит добром за добро,— терпеливо объяснял старик.— Поняли меня?

— Поняли... Счастливее всех Лонхо-баян. Ведь он платит...

Улегершин замотал головой: какие они непонятливые! Или у него самого притупился язык и ослаб ум?

— Человек видит дерево, покрытое листьями, и думает: стоять ему сотни лет. А не знает человек, что у дерева уже корни высохли. Цветет это дерево в последний раз. Народятся новые люди и знать ничего не будут о том гнилом дереве. Так и с Лонхо-баяном... Смекнули?

Улигершин собрал в гармошку морщины и стал продолжать:

— Другое дерево... Буран обломал на нем все ветки, а дерево выжило, потому что у него могучие корни. Целое стадо кабанов не в силах вырвать те корни. Так и Лонхо-баяну никогда не удастся вырвать у народа ни силу его, ни надежду на счастье.

В юрту вошла женщина с медным чайником и деревянной чашкой, налила чаю с молоком и подала дедушке. Тот отхлебнул и продолжал:

— Говорят, однажды кошка нашла в степи слепого котенка и стала его выкармливать своим молоком. Котенок рос быстро, оказался он не котенком, а львенком. А дальше вот что было. Как-то раз львенок не мог найти

ни козы, ни тарбагана и решил сожрать кошку-кормилицу. Кошка забралась на дерево. Львенок ждал, что кошка проголодается и спустится вниз. Но кошка терпела. Тогда львенок спросил ее: «Кормилица, ты научила меня многому, отчего же не научила взбираться на деревья?» Кошка в ответ: «Эту науку я оставила при себе». Правильно она сделала?

Улигершин окинул ребят лукавым взглядом: дошел ли смысл? Нет, не дошел...

— Ну давайте разберемся. Есть ли в нашей степи люди, которые кормятся за счет других? Сами разъезжают по гостям, а на них другие работают...

— А как же! — обрадовались ребята. — Лонхо-баян, Намдак, Торговойн Жап.

— Правильно, дети. Они похожи на того льва, который хотел сожрать свою кормилицу. Но у народа есть такая наука, которую не познали богачи. С помощью той науки люди прогонят лонхо-баянов и будут работать на себя.

— А мне отец сказал, что придется в батраки к Лонхо-баяну идти, — сказал Ананда. — А то совсем кормиться нечем...

Старик задумался.

— Ты вот что, Ананда. Постарайся увидаться с Шарамбой или дядей Галсаном.

— Мудрый багша, — стали просить ребята. — Еще что-нибудь расскажите.

— Слушайте. У одной кобылицы родился жеребенок. Чем больше он подрастал, тем больше походил на свою мать. Когда обе лошади сравнялись, никто не мог отличить, которая из них мать, а которая — дочь. А вы бы могли?

Ребята задумались.

— А ответ простой. Лошадям задали сена, одна хватает все подряд, а другая выбирает стебельки пожестче, а которые помягче — оставляет. Так вот эта кобылица и есть мать. Чтобы узнать человека, надо судить не по виду, а по делам. Оскаленные зубы не всегда означают улыбку...

Он принялся гладить мальчишек по головкам. Славный народ эти ребята. Все им интересно, все хотят знать. Старик тихо рассмеялся.

— Припомнил... Как-то ночью лиса забралась во двор. Когда за ней погнались собаки, она с перепугу угодила в бочку с арсой.— Ребята дружно рассмеялись.— Ну переждала лисица опасность, выбралась из бочки и оказалась в кошаре. Больше сотни овец собрались, чтобы выбрать себе нойона. Большой шум подняли овцы. В этот самый момент и перемахнула к ним лисица. Смотрят овцы — существо белое, на них похожее, только с другим хвостом.

— Ты овца? — спрашивают.

— Конечно!

— Так будь у нас нойоном. Ты такая ловкая, даже через забор перепрыгнуть сумела. Нам такую надо.

Лисица согласилась. Настал день, и повела она отару в такую падь, которую люди за версту обходили. В ней жили волки. У лисы среди волков дружок был, вот она и повела ему на поживу отару. На овечье счастье, собрались тучи над степью и хлынул дождь. Смыло с лисицы арсу, и стала она рыжей. Тут только догадались овцы, кого они в нойоны выбрали. Догадались и быстренько повернули назад... В чем мудрость? Не всякого можно в нойоны выбирать.

Улигершин замолчал. Молчали и ребята. Женщина налила чаю всем.

— Бабай, а правда, что есть шолмосы и оборотни?

Старик положил руку на голову мальчика:

— Ламы это придумали...

— Есть оборотни, я сам видел!

Притворно испуганным голосом старик попросил:

— Ну-ка, расскажи!

— В прошлом году,— начал польщенный мальчик,— в нашу юрту зашел незнакомый человек. Он приехал из-за морей. Вечером, когда спать ложиться, он вынул свои зубы и в чашку с водой бросил. Глаз один вынул — и туда тоже. Я сам видел. Проснулись утром, а человека нет. И ни зубов, ни глаза в чашке нет... Отец запряг коня и в дацан поехал.

— Что же ламы сказали отцу?

— Оборотень, говорят! Потом приехал большой лама, молитвы читал, юрту окуривал. Отец ему за это коня отдал...

Глазенки ребяташек устремились на старика: что скажет мудрый улигершин?

— Обманул отца лама. Ни за что взял лошадь.

— Но я же сам видел: человек вынимал глаз и зубы! Мудрый старик никогда не слышал, что такое протезы. Он сам удивился рассказу, но стоял на своем.

— Зачем я буду вас обманывать, я не лама... То был человек...

Не успели ему возразить, как без предупреждающего кашля в юрту вошел старый Загда. В руках у него болтался длинный кнут.

— Сайн байна, седовласый бабай,— поклонился улигершину Загда.— Как поживаете, все ли здоровы в этом аиле?

— Спасибо, живем.

— Уважаемый бабай, я тороплюсь.

— Случилось что-нибудь?

— Случилось! — воскликнул Загда.— В наших местах объявился оборотень. Приехал большой жодшо-лама¹, прибыл Банзаров-лама, будут служить молебн.

— Тебя Лонхо-баян прислал? — спросил старик, — Уважаемый Загда, передай пославшему тебя: я не приеду.

Загда попятился к двери:

— Разве не знаете вы, что мор косит скотину, небо не посылает дождя, земля потрескалась от жажды? Гибель грозит всему нашему краю...

Улигершин поднялся:

— Не тебе задавать такие вопросы, беспутный грешник! Я ровесник твоему покойному деду... Я верю богам, но не верю ламам.

Загда повернулся лицом к двери и вылетел из юрты. Ребята переглянулись между собой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ МЕСТИ

Юрту, развороченную быком, батраки починили. На просторном дворе Лонхо-баяна соорудили очаги, подвесили над ними котлы, навалили дров. В котлах варилось мясо злополучного быка.

Далеко шел запах жирной говядины. На запах спешили люди из ближних и дальних юрт. Сидел в окружении лам и богатых улусников Лонхо: не пропадать же мясу,

¹ Ж о д ш о - л а м а — заклинатель.

видит, кто не слеп, и слышит, кто не глух,— Лонхо добрый человек.

Заклинатель не очень старый и в меру толстый, с круглыми и белыми, как пятнадцатая луна, лицом, басом читал молитву. Его глаза прикрыты были кистями из темных янтарных бус. Немного пониже, на крыльце самого большого дома Лонхо-баяна, сидел лама Банзаров. Он благословлял проходящих толстой книгой со священными письменами. Прибыло уже больше сотни.

Как только жодшо-лама начал молебн, Лонхо опустился перед ним на колени и поднял над головой сложенные ладони. Его глаза-щелки совсем спрятались за набухшими веками. Набожные люди, глядя на Лонхо, думали: весь он во власти богов. Счастливый Лонхо-баян! Поистине, на кого небожители обратят свой взор, у того в любую минуту будет размножаться скот пяти видов...

А Лонхо тем временем клял на чем свет стоит батрачку Долгор, которая так его опозорила. Боясь хозяйского гнева, она сбежала из дому. Но верные люди выследили негодницу — она скрывалась в брошенной землянке за аилом. Не сегодня, так завтра явятся дружинники Шарамбы и вырвут у него кучу денег, плату за десять лет. Нет несчастней человека, чем «счастливый» Лонхо-баян: мало одного позора на его голову, еще и разорение...

Позади молящихся сбились в кучку мальчишки. Приподнимаясь на носки, изо всей силы вытягивая шеи, ребята пытались получше рассмотреть жодшо-ламу, который не боится ни чертей, ни оборотней и каждый день разговаривает с богами.

Грозный жодшо взял в руки гандан и поднес ее к губам. Щеки его раздулись, степь огласилась звуками, похожими на вой волков.

— Па-ад, пад! — отложив гандан, выкрикнул жодшо-лама.

Верующие распростерлись на земле.

Лонхо-баян вошел в юрту, несколько приглашенных им здоровенных молодцев и старик Загда с ними ждали его угощения. Но хозяин вместо араки стал потчевать гостей указаниями.

— Скоро высокорожденные ламы отправятся в степь. Оборотень не скроется от них, он, по прорицанию, близко.

Вы прихватите с собой лопаты, железные ломики, ножи и последуете с народом. Поняли меня?

— Поняли, уважаемый Лонхо-баян.

— А теперь идите. Выходите по одному. Как только ламы подавят оборотня и мы вернемся,— всех накормлю и напою.

Жодшо-лама к тому времени уже делал последнее про-рицание. Несколько раз бросил он перед собой гада-льные косточки, с сокрушением покачал головой. Потом снял янтарные бусы, прикрывавшие глаза, и посмотрел на людей.

— Ученые ламы предсказали, в вашей местности обосновался оборотень. Питается он падалью и отравленным воздухом заражает всю степь. От этого поды-хает ваш скот и болеют дети. Великий мор придет, если не укротить оборотня. Чтобы не слышал он нашего раз-говора, я прочитал заклинание и оглушил его, а чтобы не видел он нас, я ослепил его. Только истинно верующие слышат мои слова даже за семьюдесятью хребтами... Обо-ротень принял образ женщины, так показали шо¹. Его нельзя убить или сжечь, ибо дух его вознесется на небе-са. Вернувшись на землю, он будет заглатывать людей. По наущению многоликого Эрдэни, с благословения все-могущего Яман-Дага, надо этого оборотня живьем по-хоронить на том месте, где он будет застигнут.

В страхе и благоговении перед могуществом богов лю-ди опять распростерлись ниц.

— Где глава здешнего рода, Лонхо-баян?

— Я здесь! — Лонхо подошел и опустился на колени.

Жодшо-лама приблизил губы к огромному уху Лонхо:

— Все идет хорошо.

По знаку Лонхо была подана бричка, запряженная па-рой откормленных коней. Жодшо-лама и Банзаров сели в нее и выехали за ворота. Они три раза объехали вокруг обширного двора Лонхо-баяна по ходу солнца, а все ве-рующие следовали за ними пешком, как и подобаетрядо-вым прихожанам.

Ананда, сын Хара-Шарайты, удовлетворив свое любо-пытство, бросился в степь. Ему не терпелось скорее добе-жать до юрты мудрого улигершина и рассказать обо всем.

Когда закончился третий круг, бричка жодшо-ламы вышла на дорогу, к скотомогильнику. Здесь уже стоял

¹ Шо — гадальные кости, которыми пользуются ламы,

Лонхо-баян. По знаку Банзарова он взобрался в экипаж и сел между двумя именитыми ламами. Лошади пошли крупной рысью. Вслед за бричкой поспешили повозки богачей, всадники, потянулись пешие. Увидев такое необычное скопление людей, коршуны оставили свою поживу и, отяжелевшие, поднялись в воздух. Только могильные черви, наверное, не подозревая, что за важные гости пожаловали, продолжали извечную работу.

«Скорее бы закопать эту гадину,— беспокоился Лонхо-баян.— Как это я не догадался заранее послать людей с лопатами. Теперь яма была бы уже готова».

Он привстал в бричке и глянул в сторону заброшенной землянки. Там дожидались сигнала двое дюжих парней. Один из них сделал знак Лонхо-баяну: «Все в порядке!»

Когда подошли и подъехали все, жодшо-лама выбрал место для могилы оборотня и очертил его рукояткой священного колокольчика. По знаку Лонхо-баяна нанятые улусники начали рыть яму. Старик Загда, чтобы не остаться в долгу перед хозяином, принял на себя роль руководителя.

— Ломиком здесь надо! Не видите разве, земля каменная,— покрикивал он.— Да не так, говорю вам!..

Откуда-то вынырнул совсем уже дряхлый Тагар. Он тоже принялся давать указания. Их не слушали.

Жодшо-лама уже завесил лицо желтыми кистями и уселся на олбоки с северной стороны ямы. Рядом с ним устроился лама Банзаров. Верующие образовали около них полукруг.

Звenea колокольчиком, жодшо читал молитвы на непонятном тибетском языке. Священный трепет проникал в души верующих. Лама Банзаров колотил в барабан, стучал в медные диски. Над толпой кружили коршуны.

Лонхо-баян прислушивался: близится, близится, близится... Пьяный угар восторга и страха, как пожар, объявший сухой еловый сруб, разгорался все ярче, все шире и глубже захватывал толпу. Священный и страшный момент готов был вот-вот наступить.

Лонхо сделал знак двум молодцам возле землянки. Те подхватили связанного оборотня и поволокли к большому ламе. Рокот ужаса прошел по толпе, когда в оборотне все узнали батрачку Долгор. Кроме симпатии и состра-

дания, никто из улусников не питал никаких других чувств к этой несчастной сироте. Но жодшо-лама назвал ее оборотнем, и против этого никто не помышлял восстать. Проснувшуюся совесть люди подавляли в себе иступлением, накликали и еще больше разжигали в себе фанатический угар:

— Ум-мани-пад-мэй-хум!

Долгор была связана по рукам и ногам, завязаны были ее глаза и рот. По шуму она догадывалась, что с нею хотят сотворить что-то страшное, но не только сопротивляться, даже крик отчаяния она не могла издать. Волосы ее распустились по ветру, рубаха и дэгел распахнулись и обнажили грудь.

Жодшо-лама пришел в экстаз. Он подпрыгивал на олбоках, будто хотел улететь. Колокольчик в его руке звенел во всю силу, а потом описал дугу и ударился в грудь жертве.

— Теперь — все! — повернулся он к потрясенной толпе. — Скорее зарывайте! Скорее, скорее!.. Па-ад! Пад! — руки у него затряслись, и сам он дергался как в припадке. — Па-ад! Па-ад!..

Молодчики, нанятые Лонхо-баяном, бросили жертву в яму. Женщины заголосили, мужчины старались не смотреть друг другу в лицо.

Лонхо-баян первым схватил горсть земли и бросил в яму.

— Скорее, скорее.

Несколько лопат разом зачерпнули землю и обрушили на голову несчастной. Толпа издала единый вопль.

Лишь несколько человек, стоявших на отшибе, уловили дальнейшее содрогание земли. Вскоре четко стали видны десятка три всадников, развернутым строем скакавших по степи, не разбирая ни рытвин, ни холмов. Люди еще не успели сообразить, откуда мог появиться в степи конный отряд, а всадники уже опоясывали кольцом толпу.

Раздвигая толпу грудью рыжего скакуна, к яме подлетел Булад. Он натянул поводья, жеребец присел на задние ноги и захрапел, с его морды, с боков, с живота падали хлопья пены. С высоты коня Булад увидел связанную жертву на дне уготованной ей могилы. Догадавшись, видимо, что ее ждет, женщина силилась разорвать путы и переворачивалась с боку на бок в тесной яме.

— Чего остановились? — уже ничего не видя и не слыша, что происходит вокруг, набросился на своих наемников Лонхо-баян.

Он обхватил руками отвисший живот и двинулся на поденщиков. Те попятились от хозяина. Тогда сам Лонхо-баян схватил лопату и, поднатужившись, зачерпнул земли.

Бросить эту землю в яму ему не пришлось: раздался выстрел — и Лонхо, обняв лопату, упал лицом вниз. Галсан передернул затвор и выбросил пустую гильзу.

— Попил ты нашей крови... Даже волостная сходка тебя ничему не научила...

Под копытами рысаков лопнул барабан, зазвенели медные диски-тарелки. Жодшо-лама оставил олбоки и спрятался за спину богобоязненного Тагара. Его бил нервный озноб.

Предводитель дружинников Шара-Дамба опустил на дно ямы две связанные веревками жерди. По этой наскоро сделанной лестнице Булад помог выбраться из ямы освобожденной женщине и выбрался сам.

— Глядите в оба! — распоряжался Шара-Дамба. — Чтобы ни один подлец не сбежал!

— Мой бедный народ! — вздохнул Булад и оглядел верующих. — Когда же ты наконец образумишься?

ГЛАВА ПЯТАЯ

столица востока

Токио, самый большой город на Азиатском континенте, раскинулся в устье реки, протекающей по благодатной, густо населенной долине. От самого истока этой реки до устья не найдешь человека, который бы не любил ее: река возвращает плодородие земле, река, как мать, кормит свое семейство, как мать, сносит она на себе в океан весь мусор жизни. А река не мелела, казалось, что она становилась все полноводней. От слез...

Остров Хонсю часто окутан туманом. В такую пору Токио выглядит сумрачным и потускневшим, как человек, впавший в меланхолию. Но в то утро солнце сразу же прогнало туман и начало господствовать. По каналу, прилегающему к улице Никон-Баси, плыла остроносая лодка, полная юношей и девушек. Избыток радости и дерзости распирали молодых людей. Дух неповиновения, сам сатана,

вселился в них. Ни полицейских, ни самураев, ни императорских чиновников — никого они не признавали и пели песню, от которой содрогались обыватели:

Слезы льются из глаз моих!
Мой брат, пожалей себя.
Зачем тебе русский Порт-Артур?
Чужое — всегда чужое.
Чего ты хочешь на этой земле,
Рыщешь по ней, как зверь?
Счастье изменит. В чужом краю
Прольешь ты горячую кровь свою,
Будешь лежать и стонать, умирая,
Счастьем скорую смерть называя...
О, брат, пощади себя! ¹

По главной улице Гинзе уже спешили мелкие чиновники и рабочий люд. Люди побогаче ехали на конке, сановники — в собственных экипажах на резиновом ходу, а многие — на себе подобных, на рикшах. По количеству рикш Токио оставил позади столицу Поднебесной империи: двадцать пять тысяч рикш, впряженные в коляски, ежедневно выходили на улицы.

Еще публичными домами знаменита столица Страны Восходящего Солнца. Особенностью этой не принято хвастаться, однако выдавшие виды солдаты и моряки не без гордости упоминали об этом. Одно из таких заведений, находящееся неподалеку от парка Уэно, заключало в свои стены двести пятьдесят девиц.

Примечателен также черный рынок Синдзюку, собирающий на берегу Сумидагавы многие тысячи людей. Как в развороченном муравейнике, копошатся здесь скупщики краденого, рыцари счастливого случая, подозрительного вида типы, предлагающие русские мундиры, испачканные кровью, и сибирскую махорку-самосад. Предмет купли и продажи здесь — и редкостная вещь, и единственный гвоздь, тряпка, щепотка соли, обрывок веревки, чашка риса, три сигареты, пара спичек... Спичек рабочий человек почти не тратит. Прикуривает он или с помощью лупы, или у горящего очага.

Солнцеподобный император этой страны возвышался над подвластной ему землей лишь на пять футов и два дюйма, но зато карманы имел объемистые. В них вмещался миллиард американских долларов, не считая па-

¹ Перевод Ю. Кузнецова.

кетов акций компаний: судоходной, каменноугольной, страховой, бумажной и сахарной.

В меру возможностей стремились не отставать от своего императора духовные пастыри: они тоже были держателями акций военных концернов, некоторые из них становились «банто» — руководителями этих концернов, директорами банков, пробирались в министерства, где составлялись планы грядущих войн.

Пытаясь найти утерянную правду, люди толпились на книжном базаре, где есть все, начиная с фолиантов, прославляющих прошлое японского народа, популярных брошюр, излагающих различные философские учения, и кончая многотомными изданиями, доказывающими божественное происхождение микадо. Не было только правды...

— Новое повышение налогов! Письмо русской социал-демократической партии! Потери японцев на Маньчжурском фронте!

А в другом месте:

— Русских — за Байкал! Азия — для азиатов! Вступайте в священную лигу «Тенгу», научившую японский народ владеть штыком и саблей!

Площадь перед дворцом императора бурлила не меньше, чем черный рынок. Сюда собрались вдовы, потерявшие на войне мужей, солдаты, искалеченные на фронте, задавленные нуждой рабочие и ремесленники. Требовали пособий, требовали прекращения войны, протестовали против арестов и казней.

Собрались на площади и самураи:

— Почему войска стоят в Китае? Почему не двигаются в Россию?

Вот шестеро из них отделились от толпы и побежали. На площадке перед дворцом императора они присели и обнажили мечи. Не успел никто даже ахнуть, как они уже лежали на песке с распоротыми животами. Они принесли себя в жертву ради священных идей, как требует обычай самураев «Бусидо», совершили харакири во имя продолжения войны. Увидев плавающих в собственной крови фанатиков, самураи завопили, иные рвали на себе волосы, в исступлении катались по земле.

До хрипоты кричал и наш старый знакомый — Гун Эрбэд. Одной рукой он вел за собой шестилетнего мальчика, другой размахивал над головой, грозя

императорскому дворцу. Следом шла его жена с маленькой девочкой за спиной и тоже что-то кричала тоненьким голоском и тоже грозила дворцу.

Наконец на площадь вступили регулярные войска.

* * *

Гун Эрбэд сидел в бамбуковой хижине, на краю столицы Востока, а мысли его уносились далеко-далеко, где травы скрывают всадника с головой, где гуляют стада, где плещутся прозрачной водой озера и текут спокойные реки. Он прикрыл глаза и увидел пурпурную саранку на тонком стебельке, услышал тоненький посвист ветра и ржание коней.

Потом на память пришел Ван Тумэр, который заменил ему отца и мать, был его наставником с малых лет до зрелого возраста. Это он спросил у юного Гун Эрбэда: «Что ты будешь делать, если я умру?» Не задумываясь, юноша ответил: «Я тоже помру». Интересно, жив ли этот могучий человек, так ли крепка его рука и остер глаз? До мельчайших подробностей помнил Гун Эрбэд свое первое знакомство с Ван Тумэром, как он спас его от страшной смерти в сундуке.

Ван Тумэр взял с собой умирающего от голода и страха ребенка, выходил и вырастил его. Так состоялось второе рождение Гун Эрбэда... Не раз выручал он из беды своего спасителя, когда, будучи хунхузами, они воевали против маньчжурских солдат. Но в одном таком бою сам Гун Эрбэд получил тяжелое ранение и отстал от своего отряда. Его выходили старики — монгол и монголка — и хотели навсегда оставить в своей юрте. Но Гун Эрбэду не сиделось на месте. Он поколесил по Монголии в надежде встретиться с Ван Тумэром, но так и не нашел его. Тогда он перебрался в Китай и нанялся грузчиком в одном торговом порту.

В этом же китайском порту состоялось его знакомство с общительным и милым японцем, которого звали Ямадзуки. С его помощью Гун Эрбэд перебрался в Токио, где его попросили обучить группу взрослых парней монгольскому языку. Это была трудная работа, потому что Гун Эрбэд очень плохо разговаривал по-японски. Вскоре познакомился он с японской девушкой Хироко и женился на ней. Теперь у них уже двое детей. Гун Эрбэд близко сошелся со

старшим братом жены — Ивасаки, социалистом; вместе с другими своими товарищами тот участвовал в движении протеста против войны с Россией. За это он сидел в тюрьме. Вот почему Гун Эрбэд оказался на площади перед дворцом.

Хироко разделила сваренный рис и подала чашки детям. Затем она вынула из шкафчика соевую лепешку, разрешила ее на четыре и две положила перед детьми.

Гун Эрбэд с грустью подумал: «Бедная, она никогда не пробовала бухулера из осенней монгольской баранины. Кто хоть раз пробовал, никогда не забудет».

Он знал, из чего варит суп Хироко. Это была не баранина и не говядина, даже не конина, а змеиное мясо. У японцев мясо змеи считается деликатесом, что же касается Гун Эрбэда, то он, выросший в монгольских степях, даже не подозревал, что люди могут питаться такой дрянью. Постепенно Гун Эрбэд приучился и к змеиному мясу, и к безвкусному рису, и к терпкой морской траве, и ко многому другому.

Хироко поставила на стол чугунок с супом, остро пахнущим тертым китайским луком. Дети протянули матери чашки и загладели.

— Сейчас, сейчас! Гун Эрбэд, садись вот сюда.

Меньше фунта мяса, две картофелины, немножко морской капусты — вот обед на целую семью. Удивительный народ японцы.

«Жизнь! — философски думал Гун Эрбэд. — Что ни час, событие какое-нибудь, да главного события нет и нет. Жизнь не меняется...» Занятая обедом, семья Гун Эрбэда не заметила, как в помещение прошмыгнул человек и сразу же заложил за собой дверь на крючок.

— Зря ты сварила суп из этого мяса. Надо было приберечь его для передачи в тюрьму.

— Сколько можно беречь! Никаких передач тюремщики не принимают.

— Хироко правильно поступила, — слышался голос у двери. — Никаких передач уже не понадобится...

Все повернулись и застыли от изумления: у двери стоял Ивасаки.

— Дорогой брат!

Поднялся и Гун Эрбэд.

— Здравствуй! Свобода?

— Поймите, я больше не мог терпеть!

— Значит, ты убежал?

— Вначале не хотел сюда заходить. Боялся навлечь на вас подозрение...

Ивасаки принял миску и прямо через край отхлебнул.

— Можно сказать, мне повезло. А все же не хотелось бы навлечь на вас беду...

— Пустяки! Мне тоже здесь осточертело, готов хоть сейчас удрать куда угодно.

Ивасаки вынул из миски кусочек мяса, пососал его, пожевал...

— Не забывай, дорогой, мы находимся в аду, со всех сторон окруженном океаном. Думаешь, что меня не ищут? Меня арестуют сразу, как только подойду к какому-нибудь пароходу или паруснику... Со мной и тебя прихватят. А что с детьми? — он съел несколько ложек супа и спросил: — Полицейские к вам не наведывались?

— Что у тебя с руками?

— Теперь уже, пожалуй, не страшно, — разглядывая свои пальцы, начал рассказывать Ивасаки. — Так вот, родные мои, когда терпение наше иссякло, мы, человек десять, решили устроить побег. Подкоп сделали голыми руками. Но когда мы оказались по ту сторону стены, охранники подняли тревогу. Предполагаю, был провокатор... Стража погналась за нами и расстреляла в спины всех. Мне одному удалось скрыться. Я прыгнул в реку и нырнул. Было раннее утро, стоял туман, тюремщики меня не заметили. Укрылся в пещере, пролежал не то трое, не то четверо суток. Из пещеры и пришел к вам...

— Не сладко, вижу, пришлось вам...

— Да, не баловали, — сознался Ивасаки. — Сунгамо — не простая тюрьма. Каждый день блюстители покупали на бойне двадцать — тридцать содранных шкур...

— Суп из шкур варили? — всплеснула руками Хироко.

— Нет, зачем же! Для супа администрация бесплатно берет рыбы внутренности на свалке консервного завода.

— А шкуры? — удивился Гун Эрбэд.

— О, шкуры — главное оружие тюремщиков! Ты решил объявить голодовку, непочтительно посмотрел на стражника или, что еще хуже, потребовал адвоката. В этих случаях арестанта раздевают догола, зашивают в сырую шкуру и выбрасывают на солнце... Ой-ей-ей! — не дай бог еще раз испытать такую пытку! Шкура сохнет и сжимает тебя в тисках. Одни тут же умирают, другие ста-

новятся на всю жизнь калеками... Выдерживают немногие.

В дверь постучали. Гун Эрбэд и Хироко растерянно смотрели друг на друга, не зная, что предпринять. Ивасаки беззвучно выскользнул из-за стола, схватил подвернувшийся под руку нож и, разорвав головой оконную бумагу, выпрыгнул во двор.

Едва Хироко сняла крючок, через порог шагнул офицер в новеньком мундире и приложил руку к козырьку.

— Приказано передать вам письмо. Вас зовут Гун Эрбэдом? Вы преподаватель монгольского языка...

— Да, это правда,— подтвердил Гун Эрбэд, стоя у окна, чтобы прикрыть собою разодранную бумагу.— Но от кого письмо?

— От полковника Ямадзуки. Имею честь! — и щелкнул каблуками.

«Дорогой Гун Эрбэд!

Весьма сожалею, что в продолжение последних месяцев не мог с вами поддерживать дружескую связь: отвлекали неотложные дела. Сейчас несколько освободился и хотел бы встретиться с Вами. Если Вас не затруднит, повидайтесь со мной завтра в отеле «Империял», в номере 360. Желательное время встречи — 10 часов утра. Ямадзуки».

— Зачем он вызывает? — вслух подумал Гун Эрбэд.

ЯМАДЗУКИ В ДВУХ ЛИЦАХ

Девушка с двухэтажной прической без стука вошла в номер:

— Завтрак готов, господин... Прикажете подавать?

— Да, конечно, будьте добры... Да не забудьте там, сверх обычного, еще что-нибудь в монгольском вкусе. Хотя бы баранины...

— Больше никаких приказаний от господина полковника?

— Пригласите моего гостя.

Гун Эрбэд был хотя и в поношенном, но вычищенном и отглаженном платье. Увидев добрейшего Ямадзуки в парадном офицерском мундире, учитель монгольского языка смутился, но все же не забыл отвесить поклон.

— Садитесь, пожалуйста.

Гун Эрбэд решительно не знал, что бы такое вежливое сказать полковнику. Его невольно притягивали к себе

свежие, час назад сорванные яблоки. Полковник перехватил этот взгляд.

— Тебе понравились яблоки?

— Что вы, господин Ямадзуки,— покраснел Гун Эрбэд.

Тот выбрал лучшее яблоко и — «лови» — бросил его Гун Эрбэду. Яблоко пролетело мимо.

— Ах, какой неловкий! Не научился до сих пор ловить на лету... Мне докладывали, ты хорошо справился с обязанностями учителя. Я сносно говорю по-монгольски, китайски, и мне доставило удовольствие поболтать с теми ребятами на твоём наречии. Парни, которых ты учил говорить и писать по-монгольски, теперь призваны в армию. Твои бывшие ученики отправятся на континент, в монгольские степи. Там они станут переводчиками в наших войсках.

В номер опять впорхнула девушка, беззвучно расставила на столе тарелочки, чашки, соусники и удалилась. Полковник пригласил Гун Эрбэда к столу.

— Японцы в большинстве поклоняются Будде, поэтому наши народы близки духовно.— Тут Ямадзуки перешел на монгольский язык. Он заботился о том, чтобы каждое его слово было не только понято, но и прочувствовано.— Один только печальный эпизод во всей истории омрачил дружбу наших народов. Внук Чингисхана, могущественный Хубилай, ослепленный победами, двинул свой флот к Японским островам. Однако после захвата двух-трех наших городов тайфун потопил весь флот Хубилайхана. Но мы понимаем: не монгольский народ повинен, виноваты китайцы. Поверь, китайцы — опасный народ...

Обильный завтрак сделал Гун Эрбэда словоохотливым. Ему захотелось показать, что он прекрасно понял мысль полковника и полностью ее разделяет.

— Да, это правда, господин Ямадзуки.— Гун Эрбэд взял последнее на тарелке.— Был в свое время храбрый предводитель монгольских хунхузов Ван Тумэр. Я сражался в его отряде. Крепко попадало китайцам от нас!

— Знаю об этом, поэтому и люблю тебя. Жалею, что сам не родился монголом.

Гун Эрбэд согласно кивал. Какое ему было дело до китайцев, пусть живут, как хотят. Ему бы только удрать с этих островов и поселиться с семьей где-нибудь в благодатной степи.

Наступила томительная пауза, как всегда бывает, если разговор, внешне согласный, все же не ладен, когда мысли собеседников стремятся не к единству, а врозь. Закоренелый самурай, гордящийся своей родословной, Ямадзуки исповедовал политику «железа и крови» и разделял доктрину «Азия — для азиатов». Он уже знал, что в Южной Маньчжурии будет создаваться плацдарм для будущей войны. Но для Ямадзуки война не прекращалась никогда: ни в войну, ни в мирное время.

Вернувшись в Токио, он создавал школы китайского, монгольского и русского языков, готовил новые кадры разведчиков и диверсантов, чтобы в подходящий момент двинуть свое «войско» на континент, пристально следил за внутренними событиями в Китае. Эта страна, по всему виду, еще не оправилась от войны 1894—1895 годов, народ голодал, роптал, вспыхивали бунты, устои императорской власти шатались. Надо было только чуть-чуть подтолкнуть это громоздкое сооружение, и власть неминуемо перейдет к микадо.

Полковнику Ямадзуки выпала честь стать «ускорителем» событий. Уже были созданы отряды гороцуков, состоящие из самых отпетых людей. По идее полковника, эти отряды установят связь с китайскими и монгольскими хунхузами, затем, взаимодействуя с регулярными японскими войсками, начнут продвижение на север и запад. Если возникнут политические осложнения, можно будет свалить вину на хунхузов. Монгол, сражавшийся в отрядах хунхузов, как нельзя лучше подходил на роль помощника главаря гороцуков. Ямадзуки об этом пока не говорил. Он дарил букет не целиком, а по цветку.

Заглянула девушка с подносом, уставленным пивом «Кири́н».

— Сколько прикажете?

Занятый телятиной, полковник показал три пальца. Прожевав, Ямадзуки взялся за бутылку.

— Думаю, неплохо запить завтрак пивом. Или ты любишь вино?

Гун Эрбэд не отдавал предпочтение ни одному напитку. Так случилось, что он, столько лет провоевавший, не успел пристраститься ни к монгольской архи, ни к китайской ханже.

— Но пиво тебе понравится. Пей!..

В самом деле, пиво оказалось хоть и горьковатым, но приятно освежало и слегка кружило голову.

«Пожалуй, я в нем не ошибся»,— сделал вывод Ямадзуки. Он спросил о жене, ребятишках.

— Скажи откровенно, сколько у тебя в кармане денег?

— Дома ни одной иены...

— Ай-яй-яй!— тяжело вздохнул Ямадзуки.— Отчего я раньше не поинтересовался? На первый случай возьми вот.— Он подошел к столу, выдвинул ящик и протянул потрясенному Гун Эрбэду десятидолларовую бумажку.— Быть моим другом и не иметь в кармане ни цента — это совсем плохо...

— Что же я должен сделать за такой подарок, господин полковник?— спросил Гун Эрбэд, еще не веря счастьем.

— Ничего не должен.— Он сжал руку Гун Эрбэда пониже плеча.— Скоро придет мой близкий друг, познакомлю тебя с ним...

— Не забуду, господин полковник,— поклонился в пояс Гун Эрбэд.— Вы оказали мне великую поддержку.

Когда он вышел, Ямадзуки присел на диван и закрыл глаза. Сделав одно дело, нужно было сосредоточиться на другом.

Поднявшись, он взял тоненькую трость, какую по этикету положено носить офицеру, и спустился вниз. Сейчас же, как он поднял трость, возле отеля остановился крытый фаэтон. Экипаж миновал несколько парков с искусственными озерами, приблизился к возвышенности, где находился императорский дворец. Дорога несколько раз опоясала эту возвышенность и вывела к подъезду министерства иностранных дел.

Ямадзуки вошел в зал заседаний, где во главе длинного, Т-образного стола в черном кресле с высокой спинкой сидел председатель кабинета министров Кацура. Сам он тоже был в черном, издали трудно было различить контуры его тела. Лишь фарфоровое лицо его резко выделялось на черном фоне.

Полковник Ямадзуки остановился возле двери. Министр иностранных дел барон Комура молча указал ему на свободный стул недалеко от себя. Ямадзуки окинул собравшихся беглым взглядом. Министр военно-морского флота адмирал Гомпей Ямомото, главнокомандующий группы войск в Маньчжурии маршал Ойяма. Начальник

штаба этих же войск генерал Кодама. Посол в Лондоне Тодасу. Посол в Вашингтоне Такахира. Несколько военных и гражданских сановников.

Всегда находчивый на самых опасных участках японской разведки, Ямадзуки не совсем уверенно чувствовал себя в министерских кабинетах. К тому же он чтит самурайские традиции, которые строжайше предписывали преклонение низших перед высшими.

Белое лицо, висевшее на черном фоне, качнулось в одну, потом в другую сторону и, наконец, подалось вперед.

— Садитесь же, полковник, — слышался свистящий голос председателя кабинета министров.

Военные и гражданские чины сидели некоторое время молча, прислушиваясь к шуму с площади. Там продолжались манифестации, начавшиеся вчера. Толпы народа начали заполнять площадь с раннего утра. Уже часов в десять новая группа фанатиков совершила харакири. Выпущенные кишки, лужи крови, оскаленные в последней судороге зубы...

Главе кабинета пришлось покинуть дворец и черным ходом перебраться в министерство иностранных дел. Позорнее этого господин Кацура ничего не испытывал в жизни.

— Начали мы войну удачно, — проговорило его фарфоровое лицо. — Мы имели перевес над русскими. Требовалось только одно — решительные действия военачальников. Таких решительных действий мы не дождались ни от адмирала Ямомото, ни от маршала Ойяма. Эти господа, а также генерал Кодама в трудную минуту растерялись и стали вести кампанию за мирный договор. Они пытались оказать давление на нашу делегацию, выезжавшую в Портсмут для переговоров.

Голова премьера подалась вперед, за нею — он сам, и стало видно, что это узкоплечий человек с впалой грудью.

Адмирал Ямомото приподнял свое грузное тело.

— Хороший капитан, попавший в полосу тумана, — заговорил он, — обязательно остановит корабль для выяснения обстановки. Так же действует и полководец: перед лицом опасности ему требуется выяснить силы неприятеля... Наш флот с честью выполнил возложенную на него задачу, и поэтому я отмечаю обвинения, которые возводятся на славных моряков империи. Мы чересчур

много болтали о своей непобедимости и не заметили сами, как переоценили свои силы, стали жертвой собственных иллюзий. Теперь нам не верят. Не верят, что боеприпасы и снаряжения иссякают. Не верят, что мы потеряли убитыми и ранеными большую часть армии, лучших солдат и офицеров — цвет нашей нации, — что финансовые дела наши из рук вон плохи. Окончательно добить Россию мы не в состоянии. Она будет бросать против нас все новые и новые людские массы. А нам уже некого призывать. Если мы поставим под ружье резервистов, то оголим нашу промышленность, наше сельское хозяйство. Кто будет поставлять продовольствие, изготавливать снаряды и пушки? Неужели те крикуны, которые затеяли рисовый бунт? Уже сейчас на нивах остались бабы с ребятишками да беззубые старцы. Разве они в силах обеспечить армию?.. Народ страдает, он требует вернуть на острова наших солдат. И не следует поддаваться настроениям фанатиков, надо вести твердую политику. Разбитые окна, подожженные дворцы — вот до чего довело попустительство. Не нападать мы должны друг на друга, а трезво оценить нынешнее положение и принять правильное решение. Здесь присутствует полковник Ямадзуки...

Все чины кабинета повернули головы в его сторону.

— Тот самый полковник, который добывает для наших штабов сведения о противниках. Этот опытный разведчик донес, что главнокомандующий русскими войсками в Маньчжурии генерал от инфантерии Линевиц как раз в канун заключения Портсмутского соглашения запросил у военного министра Ридигера сто тысяч солдат в качестве подкрепления. Такая помощь ему была обещана. Затем предполагалось призвать из разных округов еще семьсот тысяч резервников. Думаю, что с таким резервом русские могли воевать...

— Насколько точны эти сведения? — подал голос кто-то из гражданских.

— Наша разведка, — повысил голос адмирал, — вообще работает хорошо, а полковник Ямадзуки в особенности. Именно благодаря тем сведениям, которые он добывал, мы действовали внезапно и решительно, и это обстоятельство обеспечивало нам успех... Сейчас, на мой взгляд, нам следует прибрать в свои твердые руки то, что завоевано доблестными войсками его императорско-

го величества. Прочно закрепиться в Корее, Маньчжурии и Южном Сахалине, использовать все богатства этих провинций наилучшим образом. Надо крепче держаться за то, что попало в наши руки! А воевать дальше мы бы не смогли!

Ямадзуки вздохнул с облегчением. Он осмелился даже оторвать глаза от стола и повнимательнее рассмотреть окружающих. Напротив него сидел лысый Локи Виконт, которому уже перевалило за шестьдесят. Многие годы он представлял интересы Японской империи то в Лондоне, то в Вашингтоне, то в Берлине и считался дальновидным дипломатом. Виконт снял очки в массивной оправе, приосанился и уже собрался было говорить, как его опередил старик Ито, неоднократно возглавлявший кабинет министров.

— Позвольте надеяться, господа, что речь уважаемого нашего адмирала Ямомото убедила всех, кто еще недавно помышлял о продолжении войны с Россией...— На этом месте старик поперхнулся и замолчал.

Многие с уважением посмотрели на господина Ито, ожидая, что еще скажет он на таком важном заседании. В Японии считается добрым предзнаменованием, если человек поперхнулся на полуслове, так же, как в Монголии хорошей приметой считается лошадиный зев. Но важнее примет было то, что господин Ито являлся одним из первых авторов японской конституции, конечно же самой лучшей на всем Востоке.

— Уважаемый адмирал Гомпей...— успел выдавить из себя Ито, снова поперхнулся и затрясся в долгом старческом кашле. Одной рукой он достал носовой платок и поднес его ко рту, другую приложил к сердцу в знак извинения за свою старческую немощь.

— Постарел наш ветеран...

Старик Ито безнадежно махнул рукой и вышел из зала.

Виконт опять снял очки. Чуть приподняв руку с растопыренными пальцами и вглядываясь в них, будто пересчитывая, дипломат наморщил лоб и полузакрыв глаза. Старики уже привыкли к чудачествам Виконта, а кто помоложе, прятали улыбки.

— Адмирал Ямомото доложил уважаемым господам, какие на войну израсходованы средства,— не поднимаясь с места, заговорил Виконт.— Эти деньги — англий-

ский и американский займы, и мы обязаны вернуть их нашим друзьям. Следовательно, финансовое положение империи тяжелое. Но позвольте спросить членов делегации на переговорах с русскими: почему они не потребовали контрибуции? Что же мы видим? Победа великой нации сведена к простой бумаге, каким является договор. Когда мы победоносно завершили войну с Китаем, то сумели получить триста шестьдесят пять миллионов иен. Могут сказать, что мы и так немало взяли у русских. А чем мы новые приобретения будем удерживать? Думаете, русские смирятся с потерей половины Сахалина, Курильской гряды, Южной Маньчжурии? Как только оправятся от поражения и подавят внутренние беспорядки, они опять повернутся на Восток. Значит, надо строить укрепления, создавать дальнобойную артиллерию, чтобы надежно закрыть проливы между Камчаткой и северными островами Курил. Надо пополнить армию и флот людской силой, а для этого тоже нужны средства. Мудрые государственные мужи готовятся к войне в мирное время и стараются это делать за счет прошлых побед.

Аббат Хонхаза, с округлым брюшком и такой же круглой головой, посаженной на плечи без всякой шеи, походил на два мяча разной величины. Перед ним лежала копия Портсмутского договора. Он читал и подчеркивал каждую строку.

Едва умолк громовой голос Виконта, со стула вскочил барон Комура:

— Россия — это вам не Китай! Даже Англия и Франция после Крымской кампании не сумели с нее взять ни копейки. Настаивать на контрибуции — значило отказаться от мирного договора.

Откашлявшийся наконец господин Ито, войдя, подал реплику:

— Прикажете ехать в Петербург и грабить государственный банк? У вас есть другой выход, господин Виконт?

Никто даже не улыбнулся этому насмешливому вопросу.

— Упустили такие возможности! — едва не завыл аббат Хонхаза и стукнул кулаком по столу. — Агенты неоднократно доносили о слабости России, о смутах, которые потрясают страну, о растерянности русского царя и его правительства. Были самые благоприятные возмож-

ности для захвата всего Сахалина, Камчатки, Приморья и Восточной Сибири. Но господа военные испугались собственной тени.

— О беспорядках в России вы говорите? — поднялся генерал Кодама, сидевший рядом. — Разве не слышите вы шума на площади? В России беспорядки, а у нас тишина...

— Кто виноват в этом шуме? — вскипел Хонхаза. — Вы сами, ваша медлительность. Не миновать вам беды... Попадете в руки фанатиков!

Барон Комура понял далеко идущую угрозу свояка императора. Она, несомненно, касалась не только генерала. Поэтому военный министр попытался ослабить впечатление от его слов.

— Красная зараза проникла к нам из Европы через Россию. Стоит ли после этого двигать наши войска навстречу заразе? Мы лучше поедem в Россию как гости, притом после того, как там будет покончено с революцией. Благодаря содействию Теодора Рузвельта, мы сумели заключить выгодный для империи договор, и заключили вовремя, ибо у нас тоже растет социалистическое движение. Вы же видели, дорогой мой друг, демонстрантов с красными тряпками. Правда, мы разогнали их, заточили предводителей. Чего мы этим достигли? Очень малого. Появились новые руководители рабочего движения. Продолжать в таких условиях войну... Надо быть гибким в политике.

Спокойная, без нервозности, речь барона произвела впечатление. Все на некоторое время задумались.

— У его императорского величества достаточно сил, чтобы обуздать смутьянов, — прервал молчание аббат Хонхаза. — Испугались кучки крикунов... Вам просто совестно признаться, что попались в сети, расставленные русским Витте и тем же Рузвельтом, которому выгодно, чтобы мы заключили мир, побыстрее вернули заем. Это не только мое мнение, вы хорошо знаете, господа! — еще раз прибег к угрозе свояк императора. — Вместо того чтобы получить деньги с России, вам приходится сидеть на шее Мицуи, Сумитомы и на моей шее.

Такахира с юношеским пылом запротестовал:

— Неправда! Господин Рузвельт не способен...

— Замолчи, мальчишка!

— Я вам не мальчишка!

Свернутым в трубку Портсмутским договором Хонхаза треснул дипломата по голове.

Тот вскочил.

С необыкновенным проворством глава кабинета поднялся с кресла и очутился между аббатом и Такахирой.

— Довольно! — негромко, но властно сказал он и положил руку на плечо Хонхазы. — Мы собрались сюда, чтобы выработать решения, угодные его императорскому величеству.

Аббат Хонхаза тяжело опустился на стул. Премьер тоже уселся, и его бледное лицо еще отчетливей выделялось на черном фоне.

Дебаты продолжались.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

КОГДА

НАСТУПИЛО ЗАТИШЬЕ

В степях Внутренней Монголии и Маньчжурии в октябре и ноябре удерживается благословенная погода. Солнце греет совсем по-весеннему, кое-где во второй раз зацветают травы, отовсюду раздаются крики пернатых. Но все чаще в их голосах звучат нотки тревоги. Тогда начинают тревожиться и люди. Скоро, очень скоро кончатся благодатные дни.

На Доло-Нур холод обрушился внезапно. Еще вчера стояла тихая и задумчивая погода, а сегодня тучи окутали небо. Фанзы и юрты покрылись снегом, стало по-новому неуютно на улицах.

Городок этот состоит из двух частей — китайской и монгольской, разделяет их меньше версты. С раннего утра над фанзами и юртами закурились дымки. В западной, китайской части города, над фанзами и землянками возвышается двухэтажное здание из тесаного камня. Построенное китайцами, оно многие годы служило крепостью для маньчжурских войск. Теперь же в нем обосновался Ван Тумэр со своими хунхузами.

Хунхузам жилось хотя и легко, но скучно. Первое время они посещали дацаны, в которых нашли приют более двух тысяч лам, присутствовали на богослужениях, отмаливали грехи. Но и такое развлечение вскоре кончилось,

потому что ламы сами стали паломниками в резиденцию предводителя хунхузов. Случилось это после того, как Ван Тумэр щедро одарил шэрэтэ-ламу. Не скупилась на подаяния и рядовые хунхузы. Ведь они увезли из Харбина не какой-нибудь пустяк, способный вскружить голову обыкновенному воришке.

К полудню тучи поднялись выше, сквозь них медным пятаком просвечивало солнце.

— Думал, никогда не состарюсь, — меряя шагами комнату, вслух размышлял Ван Тумэр. — А с некоторых пор чувствую, что не та уже силенка... Или от того, что кроме жратвы да водки... Может, от безделия такие черные мысли?

Аламжи промолчал. Он смотрел, как ветер за окном взвихрил снег. Скрылись и солнце, и крепостная стена, и вконец озябший часовой. Зазвенел голосок Олзобоя-найденыша. Аламжи хотел было оторваться от окна, но не смог: выплыла Жалма. Она смотрела на него родниковой чистоты глазами и улыбалась. Горло Аламжи сжалось от спазм. «Как она там, в другой жизни?»

Злости к сыну он уже не испытывал. Остался только осадок печали. Теперь он винил уже не сына, а себя самого. У Булада жизнь только начинается. Может, и найдет он свое место среди нового поколения людей.

Аламжи оглянулся на drobный стук с лестницы и не увидел Ван Тумэра: надоело сидеть целый день в четырех стенах, это его сабля стучит там по ступенькам каменной лестницы.

Аламжи распорядился сменить часового и опять стал глядеть в окно. Через двор прошагал Ван Тумэр с поднятым воротником, миновал калитку и скрылся за снежной завесой. «Неужели опять к девицам завернет?»

А Ван Тумэр и сам не знал, куда идет. Он жадно вдыхал воздух со снегом и все убыстрял шаги, будто хотел уйти и от себя самого, расстегнул верхние пуговицы шубы, оголил грудь.

«Хорошо, хорошо жить на свете! Снежок освежает и молодит... О какой там старости я думал?»

На улицах города ни души. Только тявкали собаки да где-то в ближнем распадке жалобно плакал осиротевший, должно быть, верблюжонок. А над всем этим — ветер и ветер.

— Ван Тумэр-амбань, одну минуточку...

Китайский офицер был закутан до самых глаз, и поэтому голос его был глух.

— В чем дело?— обернулся Ван Тумэр.

— Ван Тумэр-амбань,— повторил офицер, разматывая шарф.— Вас приглашает к себе достопочтенный господин мой, генерал-губернатор. Просит навестить его.

Ван Тумэр подозрительно посмотрел на офицера.

— Откуда вашему генералу стало известно, что я сейчас на улице?

— Он видел, когда вы проходили мимо его резиденции, и послал меня известить о своем приглашении. Но вы шли очень быстро...

— Хорошо, господин офицер,— успокоил его Ван Тумэр.— Вижу, вы преданный генералу человек... Пройдемтесь немного, и я подумаю с котелок...¹

Ван Тумэр медленно шел назад к своему дому и думал о необычности этого приглашения и об отношениях, какие сложились у него с китайскими военачальниками. Когда он с тремя десятками хунхузов прибыл в этот городок, то очень быстро познакомился с китайским мандарином, который объединял в своем лице военную и гражданскую власть во вверенной ему округе. Славный был мандарин, он не только не притеснял хунхузов, но всячески искал с ними сближения. Ван Тумэр оценил его такт и нашел предлог вручить подарок — фарфоровый кубок, наполненный монетами. Мандарин так обрадовался, так долго прижимал руки к груди в знак благодарности, что Ван Тумэр чуть было не расчувствовался. Но это еще не все. На другой же день мандарин милостиво разрешил обосноваться отряду Ван Тумэра в просторном доме, принадлежавшем китайскому военному ведомству. С тех пор Ван Тумэр и мандарин стали друзьями.

И вот третьего дня добрейший мандарин сдал свои полномочия вновь прибывшему генерал-губернатору Шао, человеку непонятному. Не только Ван Тумэр, но и доло-нурские обыватели задавали себе вопросы: «Почему генерал прибыл без генеральской свиты? Почему он не устроил приема для местных властей? Почему, наконец, гражданского чиновника правительство заменило военным и учредило в ничем не примечательном Доло-Нуре генерал-губернаторство?»

¹ Подумать с котелок — значит думать столько времени, сколько надо, чтобы сварить котелок мяса,

Нового генерал-губернатора Ван Тумэр видел только мельком. Это был средних лет маньчжур, довольно полный, с бритой головой и тонкими длинными усами, в бархатной шапочке с павлиньим пером, маньчжур, каких сотни. И что ему надо от хунхузов, которые пока еще не совершили в этих краях ни одного набега? Неужели он осмелится применить к ним оружие, удалить из дома, а потом и вовсе изгнать из этих краев? А может, он попросту решил выманить у хунхузов золото? Всем ведь известно, что Ван Тумэр приехал сюда не с пустыми руками.

Обо всем этом думал старый хунхуз, пока шел к своему дому. Твердо он решил одно: не поддаваться ни на какие провокации. У него достаточно силы, чтобы поставить на свое место генерала и его полсотни солдат, оставшихся здесь после отъезда мандарина.

— Что же передать господину генерал-губернатору? Он ждет вашего слова.

Предводитель хунхузов совсем забыл о китайском офицере, а тот, оказывается, молча следовал по пятам.

«В этом предложении все же есть подвох,— решил в конце концов Ван Тумэр.— Идти туда одному опасно».

— Передайте генералу Шао, что я рад приглашению, но принять его не могу. Слишком неожиданно. Однако, если господин генерал уж очень интересуется мной и моими ребятами, мы его ждем к себе в гости.

Утро следующего дня выдалось тихим и ясным, будто и не свирепствовал вчера ветер, не было снега, не дрожали от холода солдаты и скотоводы.

Ван Тумэр, отяжелевший с вечера от вина и непривычных для него дум, спал дольше обычного. Его с трудом растолкал Аламжи.

— Да проснись же, проснись! Посмотри, что делается на улицах.

Толпы людей заполнили холмистую часть города, откуда открывался вид на весь Доло-Нур. Китайцы и монголы, миряне и ламы кричали на разные голоса, размахивали руками и смотрели на резиденцию генерал-губернатора. Из дворца генерала вышел небольшой отряд ребятишек, построенных в четыре ряда, одетых в ярко-красные платья. Три раза подряд выстрелила пушка.

«Что за чертовщина?— никак не мог прийти в себя Ван Тумэр.— Вроде и праздника нет».

Ван Тумэр приказал:

— Пулемет установить на крыше... Да чтобы проверили, работает ли он, а то эти бездельники, наверное, ни разу его не смазывали. На стены послать человек десять с винтовками. Остальные пусть наготове будут. Не забудь про гранаты. Пусть вставят в них огненные гвозди¹.

Пока Аламжи выполнял распоряжение Ван Тумэра, тот продолжал наблюдать. Вслед за группой мальчиков из ворот губернаторского дворца вышли четыре молодца с металлическими дисками в руках. Эти парни ударяли диски друг о друга и подпрыгивали на одной ноге. Вслед за ними показались восемь солдат, вооруженных не винтовками, а длинными кнутами, потом двое китайцев вынесли большой зонт.

Вернувшись, Аламжи высказал предположение:

— Может, кто-нибудь из китайских офицеров умер?

— Так у них не хоронят. Пошли Тугира, пусть разузнает. По всему видно, генерал нападать не собирается.

А тем временем из дворца вынесли раскрытые веера, потом вместительный сундук. Наконец показался небольшой отряд солдат с винтовками, а затем нарядный паланкин. В нем, видимо, находилась особа самого генерал-губернатора. Шествие замыкали два мандарина, ехавшие на лошадях лебединой масти.

— Тьфу!— сплюнул себе под ноги Ван Тумэр.— Торжественный выезд, и все. Но куда направляется эта картина?

— К вам, капитан!— ответил подоспевший Тугир.

Ван Тумэр не предполагал, что важная персона примет его приглашение. Дела!

— Те шестнадцать мальчиков,— начал объяснять Тугир,— несут в руках красные дощечки, на которых написано все, чем прославил себя генерал Шао... Большой красный зонт — на случай пешей прогулки, а веерами китайцы будут закрывать генерала, если тому придет в голову переодеться. Как раз в том вон большом сундуке его запасная одежда... Солдаты с кнутами — для поддержания порядка.

Пока Тугир объяснял сложный церемониал, над генеральской процессией несколько раз взвились ракеты. И вдруг, будто в ответ на трескотню ракетниц, два раза татакнул пулемет.

¹ Речь идет о запалах к гранатам.

— Это еще что?

— Проверяют!— смутился Тугир.— Приказ был...

— Болваны!— топнул ногой Ван Тумэр.

Топнуть-то он топнул, а сам доволен был: пусть не думает генерал, что его можно голыми руками взять.

После пулеметных очередей в окружении генерала произошло короткое замешательство, но мандарины решили, что их приветствуют.

Аламжи спустился во двор и выстроил хунхузов в две шеренги. Они должны были изображать собой почетный караул.

Тем временем процессия подошла к раскрытым воротам крепости. Здесь генерал оставил паланкин, два мандарина сошли с коней.

Генерал двигался тяжело, будто старый слон. Когда он поравнялся со строем хунхузов, строй почтительно поклонился. Генерал улыбался и шел на Ван Тумэра. На нем был синий шелковый халат, а поверх халата—безрукавка из дорогого меха. Бритую голову генерала венчала бархатная шапочка с ярко-красным, должно быть коралловым, шариком — дэнзэ¹ и павлиньим пером. Подойдя к Ван Тумэру, он склонил голову и произнес приветствие.

Ван Тумэру по этикету следовало бы тоже улыбаться и всячески показывать, как он рад высокому гостю, как не терпится ему разделить с ним стол и насладиться беседой. И, конечно же, гостя надо было пропустить вперед. Но Ван Тумэр не приучен был к церемониям. Вместо всего этого он лишь кивнул генералу головой и показал на вход. Сделав таким образом приглашение, главарь хунхузов пошел вперед, ни разу даже не обернувшись на генерала, и, войдя на крыльцо, остановился. Генерал все еще стоял на прежнем месте. От изумления он поворачивал голову то к одному, то к другому мандарину: полюбуйтесь на этого нахала!

— Отчего же стойшь, заходи!— с разбойничьим радушием приглашал Ван Тумэр генерала.

Кто же так принимает гостей? Генерал засопел.

— Может, у него живот заболел?— беспокоился Ван Тумэр.

У генерала лицо потемнело, павлинье перо на шапочке затрепетало, рот перекосился, глаза сузились. Всем

¹ Генералам положено носить на шапочках дэнзэ — шарики красного цвета, мандаринам — синего, чинам ниже — желтого.

своим видом он выражал возмущение. То же испытывали и мандарины, потому что их лица стали одного цвета с дэнзэ.

Да, Ван Тумэр не знал этикета, зато знал силу своего взгляда. Он посмотрел в упор на генерала, на мандаринов, и те не выдержали. Мелкими-мелкими шажками начали продвигаться они к крыльцу. Ван Тумэр, чтобы показать, что он доволен поведением гостей, низко поклонился и стал ковырять палочкой в зубах. Недаром в народе говорят: кто не знает молитвы, к тому и грех не пристаёт.

Прием прошел не так уж плохо. Пока Ван Тумэр угощал генерала и его многочисленную свиту телятиной и кровяной колбасой, чаем и молочной водкой, его хунхузы, снятые с постов, превратили свои кинжалы в столовые ножи. Они крошили мясо, раскатывали тесто, кололи дрова и топили печи. Через полтора-два часа перед генералом и мандаринами дымились лапша и бузы, исходил маслом саломат, середину стола занимала баранья туша.

Генерал после двух рюмок хорзо стал покладистее, не пыжился, не перечил, а только улыбался и согласно кивал головой. Деловых разговоров не велось. Речь шла о вчерашней пурге, о достоинствах монгольской баранины, о питейных и прочих заведениях, которыми богат Доло-Нур. Когда солнце перевалило за полдень, отяжелевший генерал поднялся из-за стола и пригласил к себе Ван Тумэра. Договорились, что Ван Тумэр-амбань прибудет к генералу через день.

Паланкин генерала пришлось поднести к самому крыльцу, сюда же подвели белых коней, потому что ни он сам, ни его мандарины не могли уже передвигаться самостоятельно.

Подробности этой встречи в тот же день стали известны во всех фанзах и юртах, дацанах и притонах. Доло-нурцы удивлялись, почему простой хунхуз удостоился такой чести, почему генерал-губернатор первым прибыл к Ван Тумэру, как равный к равному.

Один только Ван Тумэр не удивлялся: он не единожды разбивал генералов.

Может быть, поэтому Ван Тумэр не прибыл в назначенное время во дворец генерала. Хунхузы ожидали, что такое пренебрежительное отношение их капитана к особе

генерал-губернатора даром не пройдет. Но они ошиблись. Генерал Шао был терпелив.

Когда Ван Тумэр с хунхузами появился в районе Доло-Нура, «благожелательный» мандарин тотчас же послал донесение в Пекин и запросил инструкции о мерах, какие следует ему принять против бандитов. Ответ был самый неожиданный: не вступать с хунхузами в военные столкновения, напротив, обращаться с их предводителем как с важным амбанем, а его солдатам по возможности предоставить кров.

Конечно, не легко было сановным лицам идти с поклонами к предводителю разбойников. Амбань привык себя считать даже в черной избе ханом, а в серой — уже богдыханом. Но они не могли нарушить распоряжения.

Спустя несколько дней после визита генерала к Ван Тумэру зашел Аламжи. Тот лежал на топчане, покрытом индийским ковром, и смотрел в потолок. На приветствие помощника он не ответил.

— Что с тобой?

Ван Тумэр приподнял лохматую голову:

— О генерале думаю. Неспроста приехал он к нам первым.

Мысли его продолжали ходить вокруг генерала... Почему длинноусый маньчжур ни словом не обмолвился о золоте, ни разу не попрекнул его за даровое жилище? Хочет успокоить их? Усыпить бдительность, а потом внезапно напасть и перерезать всех, как баранов! Надо усилить посты. А может, сняться среди ночи и удрать отсюда? Ну, нет. Ван Тумэр ни разу в жизни не отступал!

— Пошли Тугира в дацан, пусть принесет человеческий череп.

— Череп? — удивился Аламжи.

Ван Тумэр не счел нужным отвечать.

— А тех девушек, что приютили у себя наши молодцы, всех одеть в одинаковые шелковые платья...

— Они сидят внизу и ждут тебя.

— Паланкин найдется у нас?

— Хоть десяток, капитан, — прищелкнул каблуками Тугир.

...Доло-Нуру еще раз довелось увидеть необычное зрелище: предводитель хунхузов отправился с ответным визитом к генералу Шао. Было на что посмотреть!

Процессию открывала красавица монголка с черепом

в руках, поднятым над головой. Следом за ней шла другая, стройная, как сосенка. Она несла бунчук, сделанный из белого конского хвоста. Затем восемь девушек несли бамбуковый паланкин, в котором восседал сам Ван Тумэр, облаченный в халат небесной голубизны. Далее на вороных конях ехали Аламжи и Тугир. Аламжи весь был увешан оружием, а Тугир держал в руках медные диски. Он беспрестанно стучал этими дисками и орал какую-то дикую песню. Его лошадь пугалась этих звуков, прыдала ушами, всхрапывала и беспрестанно шарахалась. Замыкала шествие группа хунхузов в желтых терликах и с обнаженными саблями, взятыми на плечо.

Генерал Шао выслал за ворота мандаринов для встречи гостей. Сам он распорядился накрыть столы в просторном зале и позвал в свой кабинет парикмахера: пусть старый хунхуз почувствует, что он ему не ровня; хватит для его встречи и двух мандаринов.

Увидев, что генерала нет, что вокруг суетятся одни офицеры и мандарины, Ван Тумэр приказал девушкам нести его прямо в покои губернатора. Здесь он вышел из паланкина и увидел длинный стол, уставленный китайскими кушаньями и бутылками с ханжой.

— Оказывается, нас в этом доме ожидали, — рассмеялся он. — Что же, если хозяин нас не встречает, придется начать пир без него.

Он первым уселся во главе стола. Его примеру последовали Аламжи и Тугир. Девушки затянули монгольскую песню.

Мандарины молча стояли у дверей. Они, согласно этикету, не могли затевать разговор с гостями раньше хозяина.

А девушки пели:

На коленях у барса-брата
Любуюсь я небесами.
Облака — красота небес,
На рассвете их тень легка.

Сердцем вещим, покойным и светлым,
Слышу брата сквозь легкий сон.
И свою родимую землю
Не устану петь никогда ¹.

В такт этой песне девушки принялись танцевать.

¹ Перевод Ю. Кузнецова.

Генералу Шао не терпелось посмотреть, что там вытворяют хунхузы. С намыленной головой он подошел к двери и чуть-чуть приоткрыл ее, улыбнулся и заторопил брадобрея. Тот и сам хотел увидеть хунхузов в роли гостей. С необыкновенным проворством он побрил генералу лицо и голову, умыл его в медном тазике и насухо вытер. Потом генерала облачили в парадный мундир, и он вышел к гостям. С Ван Тумэром он поздоровался как со старым приятелем, а потом отвесил учтивый поклон остальным хунхузам и девицам.

Усевшись рядом с Ван Тумэром, генерал подозвал к себе мандаринов.

— Приготовьте столы в другой, угловой комнате. И пусть эти уважаемые воины вместе с прелестницами переберутся туда.— Повернувшись к Ван Тумэру, он объяснил:

— Дорогой гость, нам надо поговорить без лишних свидетелей — твоих и моих.

Ван Тумэр согласился. Через несколько минут полководец и главарь хунхузов остались с глазу на глаз. Генерал долго всматривался в череп, лежавший перед Ван Тумэром:

— Знаю, что бунчуки — это как знамена. А вот череп что обозначает — не могу понять. Может, это ваш особый знак?

— Да, это наш знак. Этот череп означает, что когда-то у меня был отец... Череп — это отец.

— Не понимаю...

— Решил показать вам!

— Думаете, я не видел черепов?..

— Верю,— согласился гость.— Чтобы стать генералом, надо пройти через горы таких штук.

— В этом отношении мы похожи друг на друга.

— Есть все же разница,— замотал кудлатой головой Ван Тумэр.— Хунхузы вас не делают генералами. А воины, которые вы ведете, делают нас хунхузами... Да, генералы — самые отъявленные убийцы.

— Мы прежде всего служим родине!

— И тот, кто нападает, и тот, кто обороняется,— оба одинаково говорят о родине. Сколько можно было бы избежать смертей, если бы китайцы не нападали на монголов, японцы — на китайцев.

Ван Тумэр выжидательно посмотрел на генерала.

— Ха-ха-хо! Вы, оказывается, не столько хунхуз, сколько политик.

— Вы тоже хунхузы. И управляют вами из Пекина хунхузы...

«Твердый орешек попался,— разливая вино, подумал генерал Шао.— Думал, ты просто взрослый ребенок... Неподаром доходит молва о тебе до императорского дворца!..»

О деяниях Ван Тумэра в народе говорили много. Люди помнили и его лихие набеги на китайские деревни, на купеческие караваны в Ордоской степи и Хухэ-Нуре, Цай-даме и Ала-Шане, помнили, как обводил он вокруг пальца китайских военачальников. Жители китайских деревень его боялись, а степняки-монголы воспевали в песнях.

И в Пекине было решено: обласкать строптивого хунхуза и при возможности перетянуть его на службу. Новые задачи стали перед правительством богдыхана. Япония, после заключения мирного договора с Россией, принялась хозяйничать в Маньчжурии. Японские военачальники не скрывали уже, что их ближайшая цель — захватить всю Маньчжурию.

Главную надежду самураи возлагали на маньчжурского хунхуза Чжан Цзо-лина. Они снабдили его деньгами, оружием, боеприпасами и лошадьми, направили в его отряды инструкторов из регулярных войск. Японская печать превозносила подвиги Чжан Цзо-лина, выставляя его как защитника маньчжурского народа. Атаман хунхузов, в свою очередь, разжигал вражду между ханьцами и маньчжурами; обещал народу райскую жизнь.

В самой Маньчжурии среди дворян и чиновников нашлось немало таких, кто принял сторону японцев. Их ода-ривали золотом, обещали высокие посты в новом правительстве. Были и противники японского засилия. Таких запугивали, шантажировали и попросту уничтожали.

Тогда в Красном дворце богдыхана зародилась идея: против хунхуза Чжан Цзо-лина следует пустить хунхуза Ван Тумэра. Миссия привлечь Ван Тумэра на сторону китайцев и была возложена на генерала Шао.

Он сидел сейчас рядом с вожаком и всеми силами пытался его обработать. Генерал Шао, видимо, полагал, что ключ к душе хунхуза он найдет благодаря черепу, который когда-то был головой умного или глупого человека.

— Вы хотели меня попугать этой штукой? Мы не дети, чтобы пугаться скелетов. Наши черепа будут такими же.

Когда я смотрю на эти непопорченные зубы, то вспоминаю отца. Он родился обыкновенным ребенком и питался материнским молоком. А когда вырос и понял, что в степях нет справедливости, он вступил в тайное общество. Маньчжуры-солдаты повесили его. Я остался один. В отличие от отца, я не позволил вашим солдатам завладеть своей головой, а предпочитал отрубать маньчжурские. Вот и весь рассказ. Вы, наверное, слышали, как генерал Цзо гонялся за моей головой? Все генералы похожи друг на друга, как близнецы...

— Если считаете, что генералы похожи, то и мы с тобой похожи. Когда-то и я возглавлял банду хунхузов. А когда надоела бродячая жизнь, стал генералом.

— Когда-то и я хотел стать генералом,— признался Ван Тумэр.

— Что вам мешает сделать это сейчас? Я уполномочен давать генеральские звания. Мое слово при дворе нерушимо.

— Нет, генерал,— покачал головой хунхуз.— Куда мне теперь... Теперь я мечтаю переродиться в лошадь.

— Ха-ха-хо! Отчего бы вам не стать бараном?

— Видите ли, все животные, в том числе баран...— Ван Тумэр кивнул в сторону собеседника,— имеет много желчи. А я хочу посмотреть на мир глазами справедливости. Думается, что в лошади желчи вовсе нет. Она бежит по воле человека, пока не разорвется ее сердце. Кто из людей воздаст за это лошади? Никто! У человека желчи больше, чем у тигра.

— Да, конечно, иные люди ведут себя хуже шакалов,— согласился генерал.— Особенно японцы... Несколько дней назад они напали на монголов-табунщиков и зверски убили их. Понимаю, что у микадо и богдыхана есть споры, но при чем здесь табунщики?

Ван Тумэр изменился в лице.

— Вы намерены прощать япошкам такие набеги? — спросил он.

— Ай-яй-яй, какой народ эти японцы! — продолжал сокрушаться генерал, пропустив вопрос мимо ушей.— Сотни тысяч трупов оставили, когда воевали с Россией, а ничему не научились. Если им сейчас не ударить по рукам, они топоры начнут на наших лицах точить... Из черепов наших сородичей они начнут делать пиалы, из

волос женщин сваляют, войлок, чтобы удобнее было сидеть на нашей земле.

Ван Тумэр долго не перебивал генерала. Наконец он спросил:

— К чему вы это рассказываете?

Генерал приложил руку к сердцу:

— Ван Тумэр-амбань, у японцев сильный союзник — хунхуз Чжан Цзо-лин. Но разве вы не смогли бы помериться силами с Чжан Цзо-лином?

Наполнив чашки ханжой, генерал предложил выпить за скорые победы Ван Тумэра. Тот выпил, вытер усы.

— Оружия бы побольше!

— Найдем! — заверил генерал Шао. — Дадим японское, русское, английское...

— А деньги?

— Снабдим!

— Лошадьми поможете?

— Думаю, что у богдыхана осталось еще немало табунов, — ответил Шао. — Будет возможность самим выбрать боевых коней, подседельных и обозных. А как только сколотите пять сотен — дадим русские трехдюймовые пушки. В войне с японцами они очень хорошо себя показали.

Ван Тумэр опять задумался. Когда-то его, еще мало кому известного свободного воина, уговаривали стать командиром цайдамских конников. Обещали тоже многое: и денег, и лошадей, и оружия... Правда, там заправляли ламы, а это ненадежный народ. Ван Тумэр тогда не понял толком, с кем ему воевать и во имя чего. Здесь же все было ясно — против его соотечественников подняли оружие заморские разбойники.

— Кроме пушек, дадим взрывчатку, динамит...

Генерал Шао, полагая, что сделка состоялась, начал разливать английский коньяк.

Выпили за будущие победы над японцами. Генералу хотелось скорее закончить затянувшийся разговор.

— Вижу, мы стали друзьями. Согласен на наши условия?

— Я знаю, твой мандарин слышал наш разговор, — вливаясь зубами в гуся, сказал Ван Тумэр. — А мой заместитель совсем ничего не знает. Надо посоветоваться с ним... Может, меня убьют. Тогда кто же поведет отряд?

Генерал остался доволен ответом. Он хлопнул в ладоши, и на пороге тотчас же появился рябой мандарин. Вызвал своего помощника и Ван Тумэр.

— Трубку!

Рябой мандарин с готовностью набил трубку с длинным чубуком, раскурил ее и сунул в рот охмелевшему генералу.

Разговор продолжался.

КАКОГО ЦВЕТА КРОВЬ?

В Маньчжурии японцы не брезговали ничем: они вывозили оттуда каменный уголь и железный лом, редчайшие реликвии старинных городов, мясо, рис, чумизу, пекинских уток.

Ветер, смешанный с брызгами, трепал бороду Мо Синя, раздувал его терлик, шевелил кисточку на китайской шапочке. Старик смотрел вслед кораблям, увозившим все это добро.

— Нищий всегда будет нищим, пока живут богатые. Поверь Мо Синю, недостойному лекарю, что сказанное мною — правда. Полвека пытаюсь я исцелить телесные недуги людей. И чем больше я стараюсь, тем глубже проникаю в суть несправедливости.

— Вы здешний, дедушка?

— Нет, сын мой, селение моих отцов отстоит отсюда в половине лунного пути¹. Я пришел сюда по зову родного брата, но пришел поздно: скончался мой брат. А теперь отправляюсь в обратный путь.

Он поднял котомку, где хранились целительные травы, закинул ее за плечи, расправил лямки и поклонился случайному собеседнику:

— Будь счастлив, сын мой. Пусть минуют тебя недуги, пусть зубы твои не изнаются.

Сельский лекарь был не способен понять, как одни люди могут рушить и предавать огню то, что сотворено другими. Он оказывал помощь раненым и пострадавшим от огня, а заодно призывал подняться против японцев.

К исходу девятьсот пятого года в южные районы Маньчжурии, как оводы на жирную корову, хлынули промышленники и торговцы, спекулянты и любители приклю-

¹ Половина лунного пути — две недели.

чений. Все стремились как можно туже набить карманы.

Тут и там поднимались патриоты на защиту своего имущества и поруганных прав. Против смельчаков бросали карательные отряды. Деревни, охваченные антияпонским движением, сжигались дотла, мирное население уничтожалось поголовно. Секретные инструкции гласили, что следует по возможности сократить число местного населения. Эту черную миссию выполняли люди полковника Ямадзуки.

Один из его отрядов численностью около пятидесяти человек ворвался в деревню недалеко от города Фусинь. Отсюда, по сведениям агентов, несколько человек ушли в повстанческий отряд. Но самое главное — в деревне жил лекарь Мо Синь, который настраивал людей против японцев.

И вот уже горит половина деревни, и черный шлейф дыма застилает горизонт. Тех, кто пытается спасти имущество, отгоняют прикладами и штыками. Голосят женщины, истошно орет детвора, слышатся выстрелы. Беда обрушилась на людей.

И вот уже под охраной солдат лежат люди, связанные «лягушкой» — ноги подтянуты к заломленным рукам.

Японские солдаты были хорошо экипированы. Винтовки их сверкали свежим лаком и вороненой сталью, ремни хрустели при каждом движении, сытые кони лоснились.

— Ян-гуй-цзы!..

— Что такое? Повтори, что ты сказал!

— Он сказал, что мы заморские дьяволы.

Удар прикладом по голове, и бунтарь навеки успокоился.

— Вы настоящие дьяволы...

— Заткнись! А то сейчас посмотрим, какого цвета твоя кровь!

— Стреляй, не боюсь! Вы не люди. Вы — крысы, забравшиеся в амбар!

Раздался выстрел.

— Дай-фу, дай-фу!¹ — закричали связанные. — Бедный доктор...

Но и самим карателям в этот раз не повезло: отряд хунхузов охватил деревню полукольцом. Впереди скакал

¹ Д а й - ф у — доктор.

Аламжи: бобровая шапка, дэгэл из белой парчи, красный пояс с кистями и кожаный мешок, из которого выглядывали острые глазенки Олзобоя.

Укрывшись в канаве, японцы открыли прицельный винтовочный огонь. Однако стремительным натиском хунхузы смяли японцев. Не остались безучастными к сражению и уцелевшие мужчины деревни: они забрасывали карателей камнями, били их палками.

Скоротечный бой затихал. Аламжи распорядился преследовать убегающих японцев и свести в одно место всех пленных и раненых. Впрочем, раненых почти не оказалось: разъяренные женщины добивали их камнями и палками. Аламжи приказал прекратить расправу и разойтись по домам. С удивлением и завистью смотрели жители на мужчину в нарядном одеянии. Заметили за спиной у начальника и необычную сумку.

— Смотрите, смотрите! Там в мешке у амбаня хубун...

Увидев мальчика, женщины всплескивали руками.

— Зачем возишь его с собой, неужели он тебе не дорог!.. Дай его сюда. Давай, не бойся, мы его напоим.

Аламжи снял кожаный мешок. Сразу же к нему потянулись десятки рук.

— Не оставляй меня здесь, аба! — обиженно вытянул губы мальчик.

— Как можно, сынок!

— Ну, смотри! — тоном взрослого проговорил Олзобой. — Попробуй только оставить!

Кругом рассмеялись.

— Смотрите-ка, может за себя постоять.

— Мужчина!

Вернулись те, которые преследовали карателей. Первым прискакал Тугир.

— Аламжи-дарга, всех, кто убегал, догнали. Какие будут приказания?

— Выставь караулы! Седел не снимать, ослабить подпруги. Коней надо накормить и напоить, но не досыта.

— Я вот здесь живу, — указал на ближайшую фанзу старик в толпе. — Если хотите попить чаю...

Аламжи спрыгнул с коня и передал поводья ординарцу.

— Я буду в доме уважаемого бабая. Донесения караулов — сразу же мне!

Командира хунхузов старик усадил на почетное место и сам обеими руками преподнес ему чашку чая. Потом чай был подан и Олзобою. Чай был особенный — с маслом и поджаренной мукой, крепко посоленный.

— Раньше я считал, что все племена одинаковы, только языки у них разные. Так думал, пока не знал японцев.

Старик замолкал каждый раз, когда Аламжи подносил чашку ко рту.

— У нас, в Забайкалье, тоже не легко живется. Народ прогнать царя собирается...

Горбатая старушка с бритой головой, видя, что чай допит, семенящей походкой подошла к столу, наполнила чашку и, так же как и старик, обеими руками подала ее почетному гостю.

— Да, я думал, что люди всех племен одинаковы, — вынашивал какую-то свою заветную думу старик.

— Что же, пожалуй, так. Всем нам светит одно солнышко.

— Разве возле Байкала-моря такое же солнце?

Прошедший от Байкала до Брахмапутры и от Лхасы до Пекина Аламжи никогда не задумывался над таким вопросом.

— У нас, в русском государстве, солнце такое же... То же самое.

— И луна у вас светит?

— Светит та самая луна, что и у вас.

Удивленный старик долго не мог вымолвить ни слова. «Все живут под одним солнцем, под одной луной... Отчего же люди враждуют? Почему не живут как дети солнца и луны?..»

— Как думаешь, начальник хунхузов, есть где-нибудь там, — он указал на небо, — другие земли, где растет гаолян и живут другие люди?

— Не знаю, — откровенно признался Аламжи. — Никогда не приходилось думать над этим. Может, ваши ламы знают?

Старый монгол склонился к уху Аламжи:

— Поверь, сын мой, наши ламы знают не больше ваших. Про земли в поднебесье спросил я потому, сын мой, что японцы совсем не похожи на людей.

— Нет, японцы с нашей земли, только заморской.

Я и раньше видел их, когда работал в Пекине. Они — такие же люди!

— Ну нет! — придвинулся старик к Аламжи.

— Грабители в каждом народе есть, — стоял на своем Аламжи. — Японцы — те же люди.

На улице и во дворе слышался шум толпы. Китайцы и монголы хотели поближе подойти к фанзе старика, но их оттесняли два телохранителя Аламжи.

— Хотим отблагодарить воина, пустите нас.

Польщенные хунхузы улыбались и без надобности звякали оружием.

Тут откуда-то издалека донеслась боевая песня. Толпа насторожилась. Мальчишки взобрались на стены и стали оглядывать горизонт.

— Не японцы ли?

Песня приближалась, уже можно было отчетливо различить слова:

Арья-Бала — его покровитель.
Арья-Бала — наш бог многоликий.
Он родился в стране богдыхана,
Его слава до неба достала.
Ван Тумэр — это наш предводитель,
Ван Тумэр — наш отважный воитель.
Его конники быстры, как смерч,
Всем врагам принесут они смерть.

Гык, гык, гык!

Едут хозяева светлых просторов,
Все выходите навстречу.
Дикая лошадь — наш знак,
Острый клинок — наш товарищ,
Широкие степи — наш войлок,
Гряда облаков — одеяло.
Ван Тумэр — это наш предводитель.
Ван Тумэр — наш отважный воитель.
Его воины быстры, как смерч,
Всем врагам принесут они смерть.

Гык, гык, гык!

Едут хозяева светлых просторов,
Все выходите навстречу¹.

Всадники ехали в четыре ряда. Одежды их сверкали, их оружие отливало медью и сталью. Ван Тумэр ехал, ни на кого не глядя, ссутулясь, будто спал. Конь его, осторожно ступая по земле, шел степенно, будто знал себе цену.

¹ Перевод Н. Рыбко.

Все до единого высыпали на улицу. К Аламжи побежали сообщить о прибытии Ван Тумэра. Впрочем, надобности в этом уже не было, потому что сам Аламжи, как только услышал песню, начал прощаться с радушным хозяином...

С непокрытой головой и развевающимися седыми волосами, с черной повязкой, прикрывающей пустую глазницу, Ван Тумэр ехал впереди.

— Суший разбойник!

— Хоть и разбойник, зато наш!

— Как от бурхана, огонь светится...

— Ты не на одежду, а на лицо смотри... Рожа если во сне приснится, помрешь со страху!

Аламжи спешил навстречу Ван Тумэру. Едва он показался во дворе, чахары подвели к нему каурого жеребца. Аламжи принял поводья и легко вскочил в седло. За оградой его ждал весь отряд. Аламжи встал во главе отряда и взмахом руки приказал следовать за собой.

Кони предводителей сошлись мордами, обнюхали друг друга и закивали. Они били копытами о землю, всхрапывали и кружились на месте. Седоки, наклонившись друг к другу, о чем-то тихо говорили, изредка бросая взгляды то на воинов, то на жителей, заполнивших улицу.

Ван Тумэр еще раз поднял руку, призывая к вниманию.

— Эй, вы, мужики и бабы, похожие на мух, слетевшихся на сахар! Подводы с вашим добром мы у японцев отбили. Самих пришельцев из-за океана мои хунхузы отправили к богам. Знаю, что многих ваших сыновей и дочерей японские собаки тоже отправили на тот свет. Похороните их достойно. А парней, которые остались живы, призываю вступить в мой отряд. Девушек, которые желают повеселиться с моими ребятами, прошу не стесняться. Поняли меня? Пусть старики и старухи расходятся по домам, а молодые остаются на месте.

Не все поняли смысл сказанного. Но это был освободитель, человек, посланный богами, и люди стали кланяться ему, иные опустили на колени.

Непонятливость деревенщины вывела из себя Ван Тумэра. Он заорал во всю глотку:

— Что вы топчетесь, черные коровы! Сгиньте! Тугир, отбери молодых для отряда.

Наконец толпа дрогнула и нехотя стала растекаться по улочкам и переулкам. Верный Тугир спешился и, собрав вокруг себя десятка полтора парней, что-то горячо объяснял им. А Ван Тумэр уже повернулся к своим войнам.

— Хунхузы! — приказал он. — С пленными японцами разговаривать не собираюсь. Всех их сожгите. Хорошо бы найти в этой деревне человека, который ненавидит меня. Тогда бы всех японцев можно было загнать в дом того хозяина и вместе сжечь.

Хунхузы весело рассмеялись. Ван Тумэр соскочил с лошади. Спешился и Аламжи. К ним тотчас же подскочили телохранители и приняли поводья коней. Предводители направились к фанзе старика монгола, где Аламжи угощался чаем.

Старик, не разгибая спины и вытянув вперед руки, приглашал именитых сородичей в дом.

Олзобой, завидев Ван Тумэра, со всех ног бросился ему навстречу. Ван Тумэр подхватил его на руки и поднял над головой.

последний бой

Утреннее солнце уже обдавало землю, а хунхузы все еще спали. Девушки-китаянки уже румянили щеки и укладывали волосы, монголки заплетали косы и варили для гостей чай, а те и не думали вставать. Но вот кто-то сказал, что Ван Тумэр распорядился выдать всем войнам рисовой водки. Кряхтя и охая, хунхузы поднимались с постелей, наскоро одевались и выходили из фанз. Разноплеменная орда сходилась на одном — все ненавидели власть маньчжуров. Воевать не все они умели, как хотелось бы Ван Тумэру. Зато при случае они набивали свои животы до отвала и пили так, что небу тошно.

Накануне хунхузы отбили у японцев обоз, где, кроме сладостей, обнаружили восемь бочонков рисовой водки. Ван Тумэр приставил к опасному трофею охрану. Все шло обычным чередом, хунхузы получали не больше чарки в день, но вчера Ван Тумэр сам изрядно напился и приказал выкатить три бочки.

Неожиданно среди утренней тишины раздался орудийный выстрел. Китайки, не докрасившие свои щеки, монголки, не успевшие заплести косы, матери, лишь наполовину одевшие детей, старики, не расчесавшие свои

бороды,— все выскочили на улицу. Тревога охватила людей: неужели опять японцы? Но опасности не оказалось. В пароконной упряжке везли короткостволую пушку. Это было первое орудие, пожалованное генералом Шао. Замковый прямо на ходу выстрелом салютовал в честь командира. Пушка подпрыгнула, и кони понеслись пуще прежнего. Выходка бравого хунхуза развеселила всех, все были довольны началом нового дня.

Праздник разгорался. Сумевшие спрятать от японцев кое-какую живность резали последнюю курицу или утку, кровью окропляли бумагу и жгли ее, чтобы умиловить духов.

Не прошло после выстрела пушки и получаса, как всюду уже дымились кастрюли и котлы. Ко времени готовности супов и жаркого среди хунхузов пошел слухок: обнаружен початый бочонок рисовой. Те, до кого дошла эта радостная весть, наспех хватали одежду и бежали в указанное место. Одетые в лучшие наряды жители выпали на улицы. Загрохотали барабаны, задребезжали жестянки — «драконы», в медленном танце закружился хоровод. На смену вышли юноши и девушки в тигровых масках, с бумажными фонариками в руках. Эти затеяли пляску.

Среди жителей появились сперва молодые хунхузы, предпочитавшие обильную еду обильной выпивке. Затем, навесив на ремни сабли и наганы, подошли те, кто опорожнял бочонок с рисовой. Тут и там слышались взвизгивания, потому что хунхузы не очень-то то скромно обращались с девушками.

Парни влезли в бумажного дракона, у страшилища загорелись глаза, из пасти вылетало пламя, налетела дружина парней. Загорелась битва, и страшилище было побеждено.

Широки ли монгольские степи —
Посудите вы сами об этом.
Ван Тумэр их объездил от юга,
До Байкала, в аил его друга,
С Аламжи Ван Тумэр повстречался,
Ему другом навеки остался...
Багатур Аламжи, всем друзьям расскажи,
Как сражался бок о бок с Тумэром,
Как ты спас ему жизнь от амбаней лихих,
Как для воинов стал ты примером ¹.

¹ Перевод Н. Рыбко.

Ван Тумэра и Аламжи окружили девушки в шелковых халатах, закружили в танце «янге». Пронеслись раскрашенные коврами сани, хунхузы на обе стороны бросали конфеты, сладости. И снова песни, звон литавр, грохот барабанов и смех.

И вот в ликующую толпу врезался всадник на взмыленном коне. Он был без шапки, потные волосы прилипли ко лбу.

— Ван Тумэр-тайжи, японцы... Окружают. Много... Пока не поздно!..

Словно ураган пронесся — с такой скоростью стали разбегаться люди.

— По коням!

Застигнутые врасплох, хунхузы бросились к фанзам, где остались у них лошади и оружие. Ван Тумэр скрипел зубами. Разве таким было его войско еще месяца два назад, когда оно состояло из одних чахаров? Он приказал Аламжи:

— Собирай свой отряд и — на северную сторону, а за собой я оставляю южную. Докладывай мне, как пойдут дела... Ну, молодцы, — повернулся он к чахарам, — поехали встречать гостей.

От конского топота вздрагивали фанзы, голосили перепуганные женщины, плакали дети. Где-то ахнула пушка.

Седобородый монгол, давший приют предводителям хунхузов, бегал от одной фанзы к другой:

— Собирайтесь все, кому дорога свобода! Эй, парни, мужчины, выходите скорее сюда!

Люди вняли голосу рассудка. Вокруг старика стали собираться.

— Дети мои, если японцы одолеют хунхузов, мы все погибнем. Идите к обозу хунхузов, берите оружие и защищайтесь. На святое дело зову я вас.

Несколько раз подряд выстрелила единственная пушка хунхузов, застрекотал пулемет Тугира. В ответ ударила японская артиллерия, снаряды, попадая в глинобитные стены, разворачивали их.

Седобородый монгол, путаясь в полах халата, поспешил вслед за добровольцами. Ему казалось, что он не сказал им еще чего-то, самого главного. Когда он достиг наконец двора, где располагался обоз, пожилой хунхуз

уже раздавал мужчинам и женщинам винтовки, патроны, наспех объяснял, как надо заряжать и целиться.

— Идите, дети мои. Я же буду молиться за вас и за ниспослание вам победы. Торопитесь, а то не помогут молитвы...

Обессиленный, он направился в сторону грохотающих пушек. Что-то зацепилось за его халат. Старик остановился и посмотрел вниз. Оказалось, Олзобой. Он плакал, растирая по лицу слезы с пылью.

— Зачем ты вышел из дома? — испугался старик.

— А зачем меня оставили одного? Я всегда показывал отцу, откуда на него нападают. Всегда раньше его все видел. Он оставил меня... У-у-у...

— Пойдем домой, тут опасно.

Едва они сделали несколько шагов, как навстречу им из-за угла выскочила горбатая старушка. Она упала перед мальчиком на колени, обхватила его голову обеими руками. Старик взял мальчишку на руки:

— Что же ты не углядела за ребенком?

В это мгновение снаряд пробил ближайшую стену и разорвался почти рядом. Кровь двух старых людей смешалась с алой кровью Олзобоя в один ручеек и потекла к глинобитной стене... Деревня уже горела со всех концов. Черный дым, подхваченный ветром, расстилался траурным покрывалом.

Японцы уже подступили. На белом коне промчался неприятельский солдат со знаменем. Солнце, изображенное на знамени, трепетало в дыму. Завидев знамя, солдаты двинулись вперед лавиной. Именно сюда, в плотное скопление вражеской кавалерии, врезался Аламжи с горсткой хунхузов. Прорубая себе дорогу тяжелой саблей, он медленно продвигался вперед и скоро оказался на краю глубокой ложбины. Здесь путь ему преградил труп верблюда. Видимо, поздно заметил его вороной, потому что, перепрыгивая, задел и упал на колени. Отбиваясь от двух наседавших на него японцев, Аламжи спрыгнул с седла. Одного солдата он рубанул по спине, второго только задел. Аламжи уже хотел вскочить на жеребца, но тут на него накинулись сразу несколько пеших самураев. Аламжи начал отступать. Вдруг он заметил, что раненный в плечо солдат приподнялся и стал целиться в него из карабина. Аламжи выхватил из-за пояса кинжал и метнул в солдата. Тот широко открыл рот, глотнул воз-

дух и ткнулся лицом в землю. В тот же миг сам Аламжи, не заметив, что оказался на краю обрыва, сделал еще один шаг назад и полетел вниз.

Едва он стал подниматься, как о него запнулась рыжая лошаденка. Она упала на все четыре ноги, японец, сидевший на ней, вылетел из седла и оказался прямо на шее у Аламжи. Аламжи схватил его за шиворот и грохнул о землю. Японец полоснул его кинжалом по руке. Вzbешенный хунхуз всадил ему этот кинжал в грудь и окинул взглядом поле боя. Мало, совсем мало осталось хунхузов... Вот поблизости рубился двумя саблями чахар, один из его телохранителей. Аламжи кинулся к нему, с ходу запрыгнул на круп лошади:

— Гони! Гони!

Наперерез им проскакала лошадь без седока. Видимо, она ослепла от страха, потому что на всем скаку налетела на японского всадника, сшибла его вместе с конем и понеслась дальше. Конь японского солдата еще только поднимался на ноги, а Аламжи был уже возле него. Он вскочил в седло, хотел было подобрать волочившийся по земле повод, но тут на него набросился японец со знаменем в одной и саблей в другой руке.

— Банзай! — закричал знаменосец. Это было его последнее слово в жизни: Аламжи взмахнул клинком — и голова японца, с открытым ртом, с очками на переносье, покатилась в ложбину. Под копытом коня хрустнуло древко штандарта.

Крики обезумевших от боли и крови людей, лязг сабель, орудийный грохот и цоканье копыт.

Появились на поле боя и жители деревни. Некоторые из них уже обзавелись лошадьми. Но что они могли сделать? Не умея владеть саблями, они лишь подставляли свои головы под оружие врага.

В это время на другом конце деревни пытался оказать последнее сопротивление японцам Ван Тумэр. С револьвером в левой руке и с саблей в правой, он, будто заговоренный от пуль, насккивал на вражеских солдат, одних разил насмерть, других обращал в бегство. Около десятка чахаров оставалось возле него. Это была единственная горсточка верных ему людей, с которой предстояло или прорваться в открытую степь, или погибнуть.

Вот он налетел на небольшой японский отряд, смял его и начал преследовать. У спуска в ложбину хитрые

японцы растеклись в разные стороны, и Ван Тумэр увидел прямо перед собой тупое дуло вражеского пулемета. Он склонился к гриве коня, дико гикнул и перескочил через пулеметное гнездо. Но в следующее мгновение его конь свалился в окоп, огражденный колючей проволокой. Он грохнулся вначале вниз головой, потом перевернулся на бок и всей своей тяжестью навалился на Ван Тумэра.

Японцы дико закричали и окружили предводителя хунхузов.

Постигла неудача и Тугира. Он пробрался со своим пулеметом во фланг японских войск и открыл оттуда огонь. Но группа солдат зашла к нему с тыла. Удар японского штыка в спину — и пулемет замолчал. Тугир обнял горячий кожух пулемета, как обнимают друга перед разлукой.

Деревня вся сгорела. Остались стоять только стены глинобитных фанз да такие же глиняные ограды. Едкий дым стлался по улицам. Мелкие головешки, пучки тлеющего камыша, горячие угли, подхваченные ветром, перелетали через ограды.

Победители вступили в деревню. Здесь уже были собраны в одну кучу старики, женщины, дети — все, кто уцелел. Под сильной охраной привели несколько десятков хунхузов, связанных вместе, усадили их возле жителей и окружили плотным кольцом.

Появился японский капитан. Лишь только он принял рапорты, как по толпе мирных жителей прошел шумок:
— Смотрите, это Ван Тумэр-тайжи и его помощник.
— Молчать, ни с места!

Ван Тумэр и Аламжи, оба связанные, под охраной целого взвода подошли к своим плененным товарищам. Хунхузы, не сговариваясь, гаркнули песню:

Арья-Бала — его покровитель,
Арья-Бала — наш бог многоликий.
Он родился в стране богдыхана,
Его слава до неба достала...

— Еще раз приказываю!
Но хунхузы будто и не слышали:

Ван Тумэр — это наш предводитель,
Ван Тумэр — наш отважный воитель.
Его конники быстры, как смерч,
Всем врагам принесут они смерть¹.

¹ Перевод Н. Рыбко.

Капитан выхватил кортик и взмахнул. По этому знаку солдаты тотчас взяли винтовки наизготовку и наставили штыки на хунхузов. Ван Тумэр сдвинул брови, и песня смолкла. Капитан кинул кортик в ножны.

Аламжи как бы не замечал, что творится вокруг. Он думал в эти минуты не о своей грядущей смерти, а об Олзобое, которого уже не было на свете. Когда прямо на поле боя пришла ему весть о гибели приемного сына, он еще не верил этому. И вот теперь, когда все погибло, когда ему самому осталось жить, наверное, какие-то минуты, смерть мальчика показалась нелепой и жестокой.

Солдаты вывели предводителей хунхузов на середину круга.

— Когда певчая птичка попадает в кошачьи лапы,— проговорил офицер сдержанно,— то она забывает прежние песни. Не так ли, господин Ван Тумэр-тайжи?

— Что-то я не расслышал тебя. Подойди-ка поближе.

— Вон чего захотел! — он кивнул в сторону, где солдаты раскладывали огонь под чанами, потом перевел взгляд на Ван Тумэра.— Догадываешься, что там готовится?

— Наверное, по твоему распоряжению нам приготовят обед,— в тон ему ответил Ван Тумэр.

— Ошибаешься,— улыбнулся капитан.— В этих котлах мы хотим сварить вас...

Рядом с капитаном стоял теперь еще один офицер в очках. Он сделал маленький шагок в сторону Аламжи:

— Не признаете? Еще вчера мы с вами встречались. Вы гнались за мной, но не догнали...

Аламжи только теперь вспомнил этого офицера. «Значит, ему все-таки удалось бежать!.. Какая жалость! Из-за него, однако, все наши беды...»

Ван Тумэр посмотрел на своего друга:

— Правда? Тогда понятно, почему они узнали, что мы здесь.

— Не забывайте, что мы не хунхузы, а регулярная армия,— выкрикнул капитан.— Притом, армия великой империи. В нашем распоряжении телефон, телеграф, современное оружие. У нас дисциплина. А вы?.. Неужели вы думали, что осилите лучшую в мире армию? Хамье, скоты, обезьяны!..

Очкастый офицерик подскочил к Аламжи и поднес ему кулак к лицу:

— Поняли?

Аламжи глянул на него вниз, отступил на шаг и пнул ногой в живот. Офицерик отлетел сажени на три и грохнулся. Самостоятельно он уже не мог подняться.

Капитан выхватил револьвер, но вовремя одумался и заорал на солдат у котлов:

— Вы долго там будете возиться? Прибавьте дров!

— Вода готова, господин капитан!

— Разденьте этих горилл! Узнают сейчас, на кого поднимать руку.

Несколько солдат пытались привести в чувство распростертого офицерика, но тот, видимо, уже не подавал никакой надежды. Капитан махнул солдатам: унесите, дескать, его отсюда.

Ван Тумэр, с которого солдаты уже содрали халат, крикнул:

— Всех не сваришь, собака, чанов не хватит!

— Хватит! — подпрыгнул от бешенства капитан.

— Жаль, что я раньше тебя не захватил со всем твоим сбродом! Я бы тебя не то что в котел, в винный кувшин бы затолкал, а потом уже на огонь поставил.

— Живее! — пропуская слова Ван Тумэра мимо ушей, повернулся к солдатам капитан. — Долго возиться будете?

— На Ван Тумэра и Аламжи набросились, свалили их на землю и начали стаскивать одежды. Те отбивались, как могли. Тогда им связали ноги и начали ножами полосовать дэгэлы, рубахи, шаровары. Связанные хунхузы зарычали от возмущения и попытались было прийти на помощь своим командирам, но их остановили штыками.

Ван Тумэр лежал на земле почти голый. Кровь заливала ему лицо. Но он не считал себя покоренным. Выждав удобный момент, он ухватил ближайшего солдата зубами за плечо. Тотчас же новый удар прикладом обрушился на его голову.

Заголосили старухи и дети. Проклятья хунхузов сыпались на головы палачам. Но капитан уже ни на что не обращал внимания. Стоя среди солдат, которые с трудом волокли к чанам отбивавшихся Аламжи и Ван Тумэра, он только кричал:

— Скорей! Скорей!

Ван Тумэр сам, насколько позволяли путы, стал приближаться к котлу, поравнялся с Аламжи и остановился. Теперь уже некуда было двигаться: брызги бурлящей воды долетали до них. Оба не смотрели на костер. Их

взгляды были обращены на горизонт, за которым скрывалась их родина.

Не оттуда ли судьба шлет им спасение?

Когда солдаты вновь схватили Ван Тумэра и старший посмотрел на капитана, ожидая команды, в это самое время на взмыленном коне подскакал офицер и, вытянувшись на стременах, отдал честь:

— Приказ из штаба, господин капитан!

Он молодецки соскочил с коня, бросил поводья ближайшему солдату и, снова козырнув, передал капитану пакет.

— Кто вручил вам этот приказ?

— Господин полковник Ямадзуки,— щелкнул каблуками офицер.

Мгновение капитан раздумывал, потом сунул бумагу в карман и повернулся к солдатам:

— Отставить!

Солдаты повиновались.

— Развязать!

Выполнив и эту операцию, солдаты отошли от котла.

Капитан поднял указательный палец и улыбнулся.

— По древней самурайской традиции мы уважаем людей смелых. Поверьте, мы не думали предавать вас такой ужасной казни, а хотели испытать ваше мужество. Разрешите поздравить вас.

— Врешь, собака! — рывкнул в лицо ему Ван Тумэр.— А мои воины?

— Будет сделано все, что вы пожелаете, господин Ван Тумэр,— склонил голову капитан.

Аламжи все еще стоял у котла. Брызги кипящей воды долетали до его лица и оседали каплями на бороде и усах. Казалось, что он плакал.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ

Притих Мукден, потускнел как будто. Через него, сея смерть на пути, некогда проходили на Пекин полчища монгольских завоевателей. Позже его подчинил себе маньчжурский правитель Нурхаци и отсюда стал готовиться для броски на тот же Пекин. И вот теперь город, в прошлом по праву носивший название Процветающая

столица, облюбовали японцы. Они надеялись в скором времени распространить отсюда свою власть на Пекин, на всю Поднебесную империю и еще дальше.

Только нищие в лохмотьях, только угрюмые лица безработных, не знающих, к чему бы приложить руки, только плач голодных детей, топот солдатских сапог да крики пьяных офицеров. Таким был Мукден к исходу 1905 года.

Сразу же за воротами старого города, глядя окнами на Мукденский вокзал, стаяло четырехэтажное каменное здание, выкрашенное в синий цвет. «Осиное гнездо»! Разумеется, вслух эти слова никто не решался произнести. Скажи громко — лишишься головы, покажи пальцем — лишишься руки. В страшном этом доме обосновался штаб полковника Ямадзуки.

— По вашему приказанию, господин полковник!

— Э, брось церемонии, садись сюда.

Сухонький офицер сел сгорбившись и положил руки на край стола. Он походил на комара со сложенными крылышками.

— Как держится Ван Тумэр, не изменилось ли его настроение?

— Трудно понять его, господин полковник. При мне он молчит, а в мое отсутствие, как докладывают, вовсе не касается предложенного нами плана. А вот Гун Эр-бэд... Ненадежный это человек!

— Есть основания так думать?

— Конечно! Разлучен с семьей — это раз. Шурин у него оказался социалистом, был арестован, сбежал и опять посажен...

— Хорошо, я сам займусь. Потом... Есть дела более важные. Слышал, что в Фушуне? Там взбунтовались китайцы. Им, видите ли, мало платят, их обижают, лишают каких-то прав. В Аньшане учинили антияпонскую демонстрацию. В листовках — призыв подняться на вооруженную борьбу против нас.

— Есть над чем поломать голову!

— Можешь не трудиться, — усмехнулся Ямадзуки. — Я уже подумал. Распорядись, пожалуйста, чтобы привели сюда этих хунхузов.

Слушаюсь!

...Ван Тумэр и Аламжи вошли в кабинет бесшумно. Полковник, чертивший на карте, встал с кресла и, улы-

баясь, как старым приятелям, молча указал обоим на стулья.

— Ну как, Ван Тумэр-дарга и вы, Аламжи-дарга, хорошо ли у нас гостите? Надеюсь, мои солдаты не обижают вас?

Ван Тумэр нагнул кудлатую голову, будто собираясь боднуть собеседника:

— Зачем притворяться, полковник? Вы же хорошо знаете, что тут никаких гостей нет. Есть тюремщики и заключенные. Так ведь?

Ямадзуки, прежде чем ответить, открыл массивный золотой портсигар.

— И как язык только у вас повернулся сказать подобную несуразность! Вы — наши гости... Я рад, что успел спасти вас от этого запальчивого офицера. Если же с вами дурно обращаются, то вы только скажите мне, и я все улажу. Закуривайте, пожалуйста.

Ван Тумэр отрицательно покачал головой.

— Все-таки я попрошу вас ответить. Мои люди, может быть, относятся к вам не так, как подобает?

— Вы лучше скажите, господин полковник, когда нас отсюда выпустят, — вызывающе спросил Аламжи.

Полковник поднял глаза и некоторое время молча его рассматривал. Уже несколько раз контрразведчик ловил себя на мысли, что когда-то встречался с этим великаном. Профессиональная зрительная память запечатлела широкие скулы, крючковатый нос и даже шрам на месте правой брови. Но место и обстоятельства встречи выветрились.

Аламжи не любил, когда на него смотрели с повышенным любопытством.

— Чего уставился на меня?

— Прошу прощения, Аламжи-дарга. Мне все время кажется, что мы с вами когда-то встречались.

— Где вы могли меня видеть? Я — агинский бурят...

Да, с тех пор как Аламжи бегал по улицам Пекина с коляской, утекло много воды. И поэтому, конечно, Ямадзуки не мог вспомнить здорового рикшу, набросившегося на него с кинжалом. Что же касается Аламжи, то он, если даже бы обладал необычайной памятью, не мог бы догадаться, что баба со щеками-подушечками и этот полковник — одно и то же лицо.

— Не кажется ли тебе, полковник, что ты и меня когда-нибудь встречал? — спросил Ван Тумэр.

«Такую образину никогда не забудешь, даже если увидишь один раз в жизни», — подумал Ямадзуки.

— Мне думается, Ван Тумэр-дарга, что мы всю жизнь с вами были друзьями.

«Ну и сволочь же ты! — посмотрел прямо в глаза полковнику Ван Тумэр. — Если бы мы встретились с тобою раньше, я бы изрубил тебя в куски».

— Да-а! — протянул Ямадзуки. — Вам, выросшим в степях, гостить под охраной не весело. Но поймите меня, дорогие друзья, иначе поступить я не могу. Китайцы на вас злы, вы не один год грабили их. Правда, последние месяцы вы играли им на руку, но кто об этом знает? Для китайцев и маньчжур вы по-прежнему разбойники. А японские солдаты разве не знают, сколько бед вы принесли нашей армии? Без надежной охраны вас убьют или китайцы, или японские солдаты. Один у вас путь — вернуться в Монголию, где вас любят, как героев... Я уважаю вашу смелость, отвагу, поэтому второй раз спасаю от смерти.

— Ну так и отпустите нас в Монголию! — прервал его Ван Тумэр. — И охраны никакой не надо, мы сами туда дорогу знаем.

— С удовольствием! — воскликнул Ямадзуки. — Я снабжу вас золотом, оружием, дам надежных людей. Вы приедете в Чахар-Монголию во главе сильного войска. Для вас не составит большого труда изгнать из этой области китайцев и провозгласить независимое государство. После этого вы обращаетесь к нам с официальной просьбой о помощи. Мы двигаем войска в Чахар-Монголию и оттуда совместно двигаемся против китайцев и освобождаем всю Халху... Вам выпадет честь возродить великую империю Чингисхана.

Ван Тумэр прекрасно понимал, чего от него хочет эта хитрая лиса. Обер-шпион желал, чтобы хунхузы изгнали китайцев из Монголии и пустили туда японцев. Всю жизнь воевавший против угнетателей, он станет теперь помогать им?

Ван-Тумэр надеялся, что будет случай удрать от стражи. Поэтому всячески оттягивал время.

— Если вы на самом деле хотите нам добра, то поче-

му же все-таки не пускаете даже прогуляться? Не верю вам!

«Дурак, заладил одно и то же,— чуть не выкрикнул Ямадзуки.— Или, может, прикидывается?»

— Я уже объяснял причины,— сдержавшись, ответил полковник.— К тому же вы еще не дали слова, что согласны.

— Надо подумать,— прохрипел Ван Тумэр.— Такое дело сразу не обмозгуешь. А думать под замком...

— И все-таки, пока вы ничего не решите, я не могу снять охрану,— твердо сказал полковник.— Военные власти и так уже пытаются обвинить меня, будто я укрываю военных преступников. Пока же я молюсь о вашем здоровье и благоразумии. Надеюсь, Шакья Муни наставит вас на путь... У нас ведь с вами один бог.

— К черту бурханов! — Ван Тумэр опустил свой кулак на стол.— Это разговор для баб, а не для мужчин.

— Вы не верите в бога? — осторожно спросил полковник.

— Да, не верим! — выпалил Аламжи.— Хватит с нас!

— Кто же вы такие: социалисты, анархисты...

— А что это такое — социалисты? — в свою очередь поинтересовался Ван Тумэр.— Отроду не слыхал.

— Ха-ха-ха! Вот таких молодцов я люблю. Идите, отдыхайте да не обижайтесь на своего друга. А я подумаю, как устроить вам прогулки по городу. Придется выпускать по одному.

Едва за хунхузами закрылась дверь, полковник Ямадзуки померк. Сколько же он будет манерничать с этими балбесами? До каких пор будут водить его за нос? Нет, хватит, надо искать другую фигуру.

«Ну, ничего! — сказал сам себе Ямадзуки.— Еще ни одна задуманная мною операция не срывалась».

* * *

На четвертом этаже, над самым кабинетом полковника Ямадзуки, сидели Ван Тумэр и Аламжи. Справедливости ради следует сказать, что их комната была обставлена с большей роскошью и вкусом, чем жилище в долонурском замке. Вдоль стен стояли мягкие кушетки, покрытые коврами индийских мастеров, с потолка свешивалась гирлянда цветных фонариков, пол устлан цинов-

ками с красочными узорами. На столе красовались дорогие вина, фрукты. И лишь решетка на окнах да часовой за дверями не оставляли сомнения в том, что это не гостиница, а застенок.

— С какой стати полковник возится с нами? — с тоской в голосе спросил Аламжи. — Неужели это правда, что он хочет нас отправить в Чахар? Не могу выполнять никаких поручений японцев... Они убили моего Олзобоя! И Булада, может быть, нет в живых... Проклятый я человек!

Ван Тумэр положил ему руку на плечо:

— Если японцы узнают, что мы раскисли, они начнут из нас вить веревки. А это никуда не годится... В Чахар я тоже не собираюсь, не такой я дурак, как они думают. — Он помолчал, посмотрел на дверь и закончил: — Вот только о чем прошу: если будут отпускать в город по одному — пойдешь первым. И постарайся улизнуть. Живым в руки не давайся. Погибать — так от пули.

Аламжи с удивлением посмотрел на друга:

— А ты?.. Останешься здесь один?

— Не беспокойся. Я сумею отсюда выбраться.

«Что-то он от меня скрывает, — с сожалением подумал Аламжи. — Может, узнал, что нас скоро хотят прикончить? Почему я должен бежать первым?»

— Говори прямо, — потребовал Аламжи.

— Ты, наверное, плохо слушал Гун Эрбэда, — высказал предположение Ван Тумэр. — Так ведь?

— Сам знаешь, я тогда караулил у дверей.

— Ясно. Так вот слушай: китайская полиция поймала двух переодетых японских офицеров. Об этом узнали даже в России. Дальше. Те же японцы дали китайцам понять, что мы с тобой добровольно перешли к ним. Вот и выходит: мы изменили им самым подлым образом. В общем, в глазах китайских властей мы — злейшие враги.

— Я не собираюсь в Китай.

— Меня тоже туда не тянет, — продолжал Ван Тумэр. — Но дело в том, что полковник решил — в случае, если мы не согласимся открыть им дорогу в Чахар, обменять нас на тех офицеров. Понял?

— Тогда нас повесят?

— Тише, — перешел на шепот Ван Тумэр. — Я знаю казни получше тебя. Есть вещи страшнее котла с ки-

пятком. Плевал я на них. Знаю, что и ты не из трусов. Но ты не один на свете, ты не такой бродяга, как я. У тебя на родине остался сын. Поэтому ты должен пойти первым. С тобой пойдет Гун Эрбэд. Над ним тоже беда нависла... Знаешь, он мне — как сын. Понял теперь?

— Не оставляю я тебя одного. Погибать, так вместе.

— Пойдешь первым ты! — твердо сказал Ван Тумэр.

В знак того, что разговор окончен, он отошел и лег на кушетку. Так и лежал он неподвижно до следующего утра. И было трудно понять: то ли он спит, то ли думает.

Следующее утро началось для них с посещения помощника Ямадзуки. Он пожелал «дорогим гостям» доброго утра.

Ван Тумэр, уплетавший мясо, встал и вплотную подошел к офицеру. Тот попятился к двери.

— Полковник обещал выпустить нас в город! Или в вашей хваленной армии даже полковники не приучены держать слово?

— Разрешено выпустить одного из вас на два часа. Предупреждаю, если один убежит, второй будет казнен. Ясно?

Аламжи умоляюще посмотрел на Ван Тумэра. А тот положил ручищу на плечо офицеру:

— Я так и знал: будут запугивать казнями. Неужели мы сами не понимаем, что к чему?

Вошел Гун Эрбэд, перетянутый ремнями.

— По вашему приказанию...

— У господина полковника были? Распоряжения получили? Знаете, как нужно действовать? Справитесь с заданием?

— Да, был у полковника, — ответил тот.

Аламжи любовался Гун Эрбэдом и думал о Буладе. Тот, наверное, такой же, только немножко моложе. Ростом должен быть выше...

Ван Тумэр смотрел на Гун Эрбэда так, будто прощался с ним навеки. Он ничем не выдал себя, лишь прищурил глаз. Гун Эрбэд, давая знать, что понял его, наклонил голову.

— Кто же из вас отправится на прогулку?

Ван Тумэр подошел к Аламжи, обнял его и шепнул: «Колебание погубит нас обоих. Иди. Надеюсь на скорую встречу».

— Иди!— громко сказал он.— Потом расскажешь... Мы скоро встретимся.

...Полковник Ямадзуки стоял посередине кабинета перед двумя агентами, переодетыми в мастеровых, и давал им последние наставления:

— Гун Эрбэда вы хорошо знаете. Есть возможность проверить его. Задача: если Гун Эрбэд захочет помочь хунхузу скрыться — стреляйте.

Он повернулся к окну в тот самый момент, когда Аламжи в сопровождении Гун Эрбэда пересекал двор.

— Вон они уже пошли,— кивнул полковник.— Пора и вам.

...Аламжи и Гун Эрбэд шли вдоль проспекта. Центральную магистраль пересекали шесть улочек, на перекрестках былолюдно. Гун Эрбэд во время службы у полковника научился распознавать людей по виду, и от его взгляда не ускользнули двое мастеровых. На ближайшем перекрестке он обратил внимание на человека, торговавшего ржавыми гвоздями. Лицо у нищего было слишком белым для нищего. На следующем углу девушка торговала бумажными цветами. Для своего возраста и положения она была чересчур криклива.

— Понимаешь ли, Гун Эрбэд...

— Ни слова! Тут опасная зона.

— Ты знаешь, что мне надо скрыться?

— Постараемся спрятаться вместе. Наш командир поручил это мне. У меня кое-что приготовлено.

— Купите цветы, господин!

— Рад бы,— улыбнулся Гун Эрбэд,— да денег нет.

Он твердо знал, что это — шпионка и что она будет следовать за ними по пятам.

Они свернули в боковую улицу и вскоре очутились на китайском рынке. Ряды лавок и лавчонок помещались под одной крышей, переходы были покрыты камышовыми циновками. Фрукты, рыба, битая птица, потроха, гвозди, обувь старая и новая, шелка и латаная одежда — товар на любой вкус и по любой цене. Продавцы кричали все враз.

Аламжи не рассматривал ни товары, ни людей. Он думал только о том, как бы укрыться в потайное место, переждать день-другой, а потом удрать из этого проклятого города.

В одной лавчонке за прилавком стоял старик бурят. — Запомни этого старика, — крикнул Гун Эрбэд. — Он может тебя укрыть. У него встретимся. А теперь нам надо разойтись.

Гун Эрбэд сунул что-то за пазуху Аламжи. Аламжи нащупал револьвер. Пока Аламжи раздумывал, Гун Эрбэд уже пробирался сквозь толпу, то и дело меняя направление, чтобы сбить с толку шпионов...

— Стой!

Не останавливаясь, Гун Эрбэд выстрелил шпиону в живот. Из толпы выскочила продавщица цветов и два раза выстрелила в Гун Эрбэда.

Насмерть перепуганные продавцы и покупатели прижались к заборам и лавчонкам, попрятались за ящики и мешки. Через несколько минут уже вся площадь и прилегающие к ней улицы были заполнены японскими солдатами.

Обыватели ничего не поняли. Одни утверждали, что суматоха поднялась из-за жены, приревновавшей и застрелившей мужа; другие говорили, что японцы стреляли в сбежавших хунхузов; третьи божились, что солдаты нарочно учинили драку между собой, чтобы спровоцировать китайцев и перестрелять их.

А утром по Мукдену стала распространяться страшная весть. Люди, взбудораженные вестью, устремились на центральную площадь. Шли старые и молодые, рабочий и праздный люд, калеки и женщины с грудными детьми. На площади древнего Мукдена, на резной колонне, увенчанной драконом, висел богатырь. Он был пригвожден к колонне японскими штыками. Великан взирал на толпу: «Люди, разве мало видели вы смертей? Многие из вас завтра помрут от голода, замерзнут под заборами, испустят дух под плетью палачей. Если желаете, то смотрите. А я уже видел все, что может видеть тысяча человек за тысячу лет».

Да, этот человек видел очень много. Он пытался перекроить жизнь по своему разумению, но жизнь не поддалась ему — неустрашимому Ван Тумэру.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГДЕ РОЖДАЮТСЯ МОЛНИИ

По одной из улиц на Васильевском острове шел человек среднего роста, короткое осеннее пальто, брюки заправлены в сапоги, фуражка с лаковым козырьком.

— Кажись, Дружинин? Василий, неужели ты?

— Как видишь, Антон Поликарпович.

— Ну, здорово, брат! Манифест, свобода! Не зря наша кровушка проливалась. Струхнул царь.

— Да, манифест... Давно не видел тебя, Антон Поликарпович.

— Сидел, брат. Теперь шабаш. Свобода!

— До свободы далеко,— осторожно возразил Дружинин.— «Нас еще судьбы неизвестные ждут»...

Возле двухэтажного деревянного дома Дружинин по привычке огляделся и только после этого вошел во двор. Антон Поликарпович шел за ним.

Скоро они очутились в большой комнате, люди сидели на скамейках и стульях, на ящиках и прямо на полу, пахло табачным дымом, машинным маслом.

Дружинин знал их всех, он вел кружки в этом районе. Вон рыжеволосый Давид: еще год назад он не знал ни буквы, а теперь читает толстые книги. Луку, сидящего рядом с ним, жизнь учила жестоко. До кровавого Девятого января он был ревностным почитателем Гапона, состоял в «Собрании русских фабрично-заводских рабочих», твердо верил в милосердие царя. После расстрела демонстрации у него чуть не помутился разум.

Были здесь и другие знакомые — сторонники Ленина, и те, которые тяготели к эсерам, анархистам. Большинство все же придерживалось ленинской позиции.

— Ну манифест, а дальше что? Думаешь, теперь манна посыплется?

— Но, товарищи, чем же все-таки будет заниматься Дума? В ней же будут представлены не только имущие классы... Свобода слова, собраний, свобода печати, разве это уловка? Нет, товарищи, это реальное завоевание революции.

— Убежденный эсер!

— А может быть, черносотенец...

— Ну, нельзя так резко!

— Как бы там ни ликовали некоторые, а я не верю

манифесту. Стоит нам заколебаться, царь задушит нас.

— Уже и сейчас душит!

— Рано еще победой упиваться, рано! Готовиться надо к драке. Мы, например, держим связь с Охтинским пороховым заводом. Надо бы связаться еще с Сестрорецким оружейным...

— Фанатики! Сидели бы по домам.

— Черносотенец или провокатор...

— Выставить его!

— Не имеете права! Я уполномоченный от трудящихся извозчиков. Думаете мы райской жизнью живем? А потом, такой вопрос, товарищи комитетчики: куда мы пойдем, за кем?

— За Лениным!

— Но Ленин где — Ленин за границей!

— Уж если выбирать революционную линию, то надо идти за Петербургским Советом рабочих депутатов.

— Промашку мы сделали, когда выбирали депутатов. Так что нам в аккурат за большевиками идти...

— Рабочему человеку надоела кровь. Чем лежать на мостовой с простреленной башкой, лучше сидеть дома возле жены или в трактире. Швырять бомбы в солдат, в своих братьев...

— Товарищ Мартов собирается вести переговоры с председателем кабинета министров Витте, чтобы предприниматели открыли заводы и фабрики, облегчили участь рабочих. А вы хотите подвести рабочих под новый расстрел!

— Меншевик ваш Мартов!

— Меншевик, большевик, эсер, анархист, — ярлыки развешивают! А кто за народ стоит, кто его кровные нужды понимает?

— На Руси тюрем и веревок хватит!

— Запугивает, глядите, запугивает!..

— А черт его знает, может, и подождать маленько.

Стало жарко и душно. Утираясь платками, люди на момент умолкали, потом, сами того не замечая, вдруг начинали говорить все разом, а потом замолкали снова и слушали того, кто сумел их перекричать. У Давида голос был звонкий, и ему уже раза два удавалось завладеть вниманием.

— Здесь некоторые объясняли про рабочую жизнь, будто мы сами ее не знаем. Да, тяжело нам сейчас, за-

водчики объявили локаут. А царь кинул наживку с крючком и думает, что мы сглотнем ее. Разве не так я говорю? Войска к Петербургу подтягивают! Кровь нам пустить хотят... У нас один выход — вооружаться.

— Да вы с ума сошли! Это же самоубийство — поднимать восстание.

— Так нельзя, товарищи! Кто здесь от комитета, пора навести порядок.

Дружинин прошел на середину комнаты:

— Мне поручил комитет сообщить, что он рассматривает царский манифест как уловку. Иначе царь поступить не мог. Большевики крепки в своих убеждениях и не скрывают их... Кое-кто из гостей пришел сюда по доброй воле, других мы пригласили, чтобы знать, на кого можно рассчитывать.

— Над нами издеваются! Это какие-то бланкисты!

— Не бланкисты, а марксисты!

— Заявляю протест! Кто не желает напрасно проливать кровь, кто хочет мирно трудиться, кто любит своих близких и свое отечество, — пусть покинет это сборище.

— Революция от этого не ослабнет! Пусть уходят! Продолжим, товарищи.

Дружинин выяснял, сколько какой завод сможет собрать людей на демонстрацию, сколько сможет вооружить рабочих и каким оружием.

— Придется строить баррикады? — спросил Лука.

— К тому дело идет. Ленин скоро будет в России.

— А вы его видели?

— Да. Я у него учился. Собирались мы в этом самом доме. Почти все мы имели небольшую грамотность, а потом некоторые стали руководить целыми комитетами. Вместе со мной лекции слушал грузин Ило Мосашвили. Сейчас он на Кавказе, в газете «Борьба пролетариата» сотрудничает, в Тифлисском комитете большевиков состоит. Кое-кто в Самаре, Тверь, Тамбов перебрался... Помню, пришел в кружок парень, Богданом звали. Ленин давал ему самые серьезные поручения. Когда я подружился с Богданом, то узнал, что настоящее его имя Иван. Иван Васильевич Бабушкин... Начались аресты. Многие попали в тюрьмы. Не избежал этой участи и он. Владимир Ильич вынужден был эмигрировать. А Бабушкин совершил побег из тюрьмы. Еще до ареста мечтал он добраться до Лондона, где жил Владимир Ильич. Сразу же

после побега он и добрался туда. Без копейки, английского языка не знал. Теперь он вернулся в Россию.

Все сидели притихшие, чуя, как едва ли не осязаемо что-то перемещается в жизни, как дует ветер больших перемен.

Ветер, сырой и пронзительный, дует со стороны моря. Но не может балтийский ветер загнать людей ни в дома, ни в бараки. На площадях и перекрестках, возле заводских и фабричных ворот толпился народ.

— Одумайтесь! Дойдет до царя!..

— К... царя и богородицу!

— Пора поднимать крестьян!

— Тише, граждане! Куда вы прете!

— Да здравствует революция!

На Васильевском острове уже воздвигали баррикады.

На улицах Петербурга становилось все многолюднее. Рабочие Невского судостроительного, Франко-русского Штилицкого заводов, многих фабрик и мануфактур после летучих митингов вышли на улицы.

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут...

Ритм песни покорял, поступь колонны становилась все тверже. И вот от мощной поступи рабочего люда уже гудит площадь.

По высочайшему указанию к столице были подтянуты самые надежные полки. Зимний дворец охранялся юнкерами. Казачьим эскадроном было приказано не расседлывать коней, солдатам пехотных частей раздали полный боекомплект.

Но остановить развитие событий было уже нельзя. Так бывает, когда в горах начинается таяние снегов. Где-то на орлиных высотах капельки образуют ручейки и сливаются в поток. Достигнув долины, потоки передают свою мощь дальше. Смотришь, речушка, еще вчера дремотно катившая свои воды, выворачивает с корнем деревья. Ее очистительный порыв не проходит бесследно. Когда возвращается река в свои берега, на месте выжженных солнцем колючек поднимутся травы, расцветут цветы, и степь станет прекрасной, как невеста перед венчанием...

Вышел из берегов Петербург. Высоко над колоннами реял алый кумач — предвестник свободы.

ДЕКАБРЬ,
МЕСЯЦ ВЬЮЖНЫЙ

Недалеко от Эрмитажа стоит непримечательный с виду четырехэтажный дом. Во втором этаже в спальном комнате, на широкой кровати нежилась хозяйка этого дома.

— Гришенька, проснись!.. Опять на улицах бог знает что творится.

— Ничего не случится, Анна. Успокойся.

— Как это можно? Стреляют... Слышишь?

На стене зашипели часы. Механическая кукушка прокуковала двенадцать раз.

— Гриша, ты не забыл?

— Чаво?

— Про Петра Александровича Бадмаева не забыл?

— А, тово... Кажись, в два часа обещался придти.

— Пора вставать.

Несмотря на свою дородность, женщина проворно соскочила с кровати. А Григорий открыл тем временем туалетный столик, извлек из него бутылку коньяку.

— Гриша, как тебе не стыдно!

— Стыдно, когда богу видно. Так-то, милая!..

— Сейчас бог тебя не видит?

— Может, и видит... Только он, матушка моя, прежде на тебя взоры обратил. Что это, мол, за баба такая, которая от мужа законного хоронится да полюбовников по ночам принимает...

Женщина со смехом накинула на любовника одеяло и повалила его.

Прошло немногим больше двух часов после этой «трогательной» сцены, когда в дом начали собираться гости. Прибыли: граф Александр Танеев, Петр Бадмаев, епископ Варнов, Головин, Сазонов с супругой, Саблер.

Сперва они выпили, кто чего желал, отдали дань паюсной икре, балыку, соленым груздям, тертому сыру. Затем появилась уха из осетрины, куропатки в соусе, жареные гуси и блины.

— Толпы Рима требовали хлеба и зрелищ. Чего требуют наши?

— Ох, какие мерзостные времена настали!

— Безбожники виноваты. Бога люди забыли.

— По мне, так давно бы уж пора пустить в расход всех зачинщиков. А остальных — в тюрьмы...

— Министр Дурново как-то говорил, что тюрьмы переполнены...

— ...в тот раз ее величество были так несчастны, так несчастны!

— Мне только слово сказать — и у царицы все беды сгинут!

В молодости охальник и конокрад, Гришка Новых стал затем сектантом-прорицателем и неплохо познал людскую психологию. И сейчас став Григорием Ефимовичем Распутиным, он твердо придерживался своих правил. Чем круче наврешь, чем сильнее ошеломишь, тем больше верить будут. Главное — не потерять самому уверенности, а остальное — приложится.

— Григорий Ефимович, как вы смотрите на Витте? Что он?

— Птичка-невеличка хочет быть коршуном...

— И сбудется надежда?

— Будет, побудет и выбудет...

— Господин Витте такой договор заключил, что по-вой войны не избежать И за это ему — графский титул, кресло председателя кабинета министров!..

— Портсмутский договор, преподнесенный нам Сергеем Юльевичем, — это не только дипломатическая, но и военная ошибка. Зачем было отдавать японцам Южную Маньчжурию? Уж лучше было уступить весь Сахалин, согласиться на контрибуцию, но не на Маньчжурию...

— Что прошло, того не воротишь! Жаль, конечно, что эти мерзавцы, Безобразов и Алексеев, втянули нас в войну. Еще горше, что мы позорно ее проиграли.

В этот момент в окно угодила пуля. Все притихли. Бадмаев, крадучись, подошел к окну. За окном на площади эскадрон казаков, обнажив шашки, рассекал толпу. Забаррикадивавшиеся стреляли по казакам.

К ночи Петербург затих. Боевые группы рабочих, оказавших сопротивление, были разгромлены.

Николай Александрович Романов, дабы успокоить душу, отправился в малую дворцовую церковь. Господи, спаси императора от алчных священнослужителей, ведущих церковь к упадку, от безбожников и бунтовщиков! Сохрани и ниспошли новую крепость на весь род его! Спаси трон от бесчестия!

Губы у Николая посинели. Рука, которой он творил

крестное знамение, дрожала. Николай молился долго. То ли от сырого холода, который держался в церкви, то ли от пережитого волнения, тело его пронизывала дрожь. Он поспешно приложился к фамильному образу Андрея Первозванного и заторопился назад. На душе у самодержца было нехорошо. Вспомнился ему крейсер «Память Азова» и другие дни его жизни.

Да, крейсер... Было это лет пятнадцать назад. Тогда он, будучи наследником престола, совершал кругосветное путешествие. Покушение японского офицера, сабельный удар в висок, орудийный салют в бухте Золотой Рог — все сохранила память. Оттуда, из Золотого Рога, на лошадях он отправился посмотреть на только что начавшееся строительство железной дороги. Множество людей встречало его. Под восторженные крики Николай нагрузил тачку землей и опрокинул ее на место, где вскорости должны были пролечь рельсы.

В Санкт-Петербург путешествие продолжалось на лошадях. В поселке Никольском ядреные деревенские девки выпрягли лошадей и повезли именитого гостя на себе по всем улицам. Жены состоятельных уссурийских казаков преподнесли Николаю узорчатые домотканые платки, чем доставили ему немало удовольствия. В Верхнеудинске степные князьки угощали его молочной водкой, преподнесли вареную баранью голову — у дикарей это означало высшую степень уважения. Трудно забыть и танец полуобнаженных девиц, которым потешили его отцы города...

Прости-прощай, золотое время, пора беззаботной юности, пора светлых надежд! Все это ушло. Сейчас перед его глазами сановники и приживальщики, блестящие дамы и уродливые старухи. И все только лгут, клеветают, воруют, льстят.

На восемь часов вечера царь пригласил к себе членов кабинета, надо было торопиться. Около Золотой гостиной Николай встретил императрицу Александру, великих княгинь Ольгу и Милицу. Дамы смеялись. Их смех был в таком несогласии с его горечью, что от неожиданности Николай вздрогнул.

— Что такое? — хрипло спросил он.

— Ах, что ты, дорогой, — Александра Федоровна взяла супруга под руку. — Ты болен, на тебе лица нет.

— Прошу прощения, у меня дела...

За длинным столом восседали министр внутренних дел Дурново, председатель кабинета граф Витте, генерал-губернатор Петербурга Трепов, главный военный прокурор Павлов, министр иностранных дел Извольский, министр финансов Коковцев, военный министр Ридигер. В ожидании императора государственные мужи вели неторопливый разговор о судьбе России, о трудном времени, переживаемом страной.

— Мыслию, что половину, а может, и больше сих изданий следует закрыть,— перебирая пачку газет, говорил Дурново.— «Новое время», «Московские ведомости» — черт знает что пишут...

— Наши войска в Северной Маньчжурии, японские — в Южной. Вот-вот опять пожар, а мы еще не навели порядка.

— Когда начинается пожар, благоразумные обыватели начинают его тушить сообща, а паникеры спасают свое имущество. Так и у нас: начинаются беспорядки в одном городе, а ему даже соседние генерал-губернаторы не оказывают помощи.

— Кто же в этом повинен?

— Все мы виноваты!

— Нет, неверно! Повинны прежде всего вы, министр внутренних дел.

Дурново резко повернулся к Витте.

— Чтобы победить в войне, нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги.

— При настойчивости и дипломатическом такте деньги можно всегда добыть. Но у наших финансистов не хватило ни того, ни другого. Почему до сих пор не договорились с иностранными банками о займе?

Коковцев возмутился и, отбросив тонкости, сказал, что Россию до позорного финансового состояния довел прежде всего он, бывший министр финансов Витте.

— Вы слышали? Надеюсь, господь простит вам эти слова. Когда я по милости покойного императорского величества удостоился портфеля министра финансов, я прежде всего занялся казной. И казна не оскудевала!

Коковцев, разъяренный, вскочил, но тут вошел император. Министры замолкли и встали. Николай оглядел их строго и разрешил сесть. Поскольку он сам оставался на ногах, никто не осмелился воспользоваться его разрешением.

— Садитесь же!— повторил Николай, проходя к своему месту.— И прошу продолжать. Вы, кажется, времени зря не теряли.

Витте посмотрел на Коковцева:

— Вы хотели сделать сообщение о состоянии финансов.

Этого Коковцев не ожидал. Сказать при Николае, что он не собирался докладывать, у него не хватило смелости, а к серьезному разговору он не был готов. Все же он поднялся, надеясь, что император задаст ему конкретный вопрос. Но тот сказал лишь: «Слушаем».

— Война... несколько расстроила нашу казну, обошлась нам в два с половиной миллиарда золотом. К таким расходам мы были не готовы.

— Не были готовы к войне?— желая отвести удар от себя, спросил Ридигер.— Кто же виноват?

— Известно, Алексеев и Безобразов,— подал голос кто-то из угла.

— И генерал Куропаткин,— подхватил Ридигер.— Он неправильно информировал ваше величество о состоянии японской армии. Отсюда и пошло шапкозакидательство.

Николай сам когда-то верил, что «япошек» можно закидать шапками. Он сделал вид, что не расслышал реплики.

— Не меньше виноваты и дипломаты Ламсдорфа,— желая выгородить себя, подал голос Извольский.

Николай исподлобья оглядел членов кабинета: каждый думает только о себе и старается свалить вину на ближнего. Послушать их, так во всем виноват император.

— Собрали мы вас, господа, не препирательства слушать. На очереди неотложный вопрос: как спасти Россию от революции.

Члены кабинета видели, как вздрагивает шрам на виске у Николая. Витте расправил усы и с молчаливого разрешения его величества обратился к Дурново:

— Хотелось бы все же знать, Петр Николаевич, каковы будут ваши дальнейшие действия по борьбе с беспорядками.

Дурново встал:

— Ваше величество, я и генерал-губернатор господин Трепов используем все силы. Дано приказание — патро-

нов не жалеть. Но прошу учесть, ваше величество: нам нужны деньги...

— Деньги никогда не бывают не нужны,— возразил Витте.— Но я не могу уразуметь, почему до сих пор не обезврежены жалкие кучки заговорщиков и черни. У господ Дурново и Трепова есть люди, патроны, наконец — пушки...

Николай с досадой вздохнул: конечно, проявлена нерешительность, но нельзя же действовать одним оружием! Следует считаться и с общественным мнением, черт бы его побрал...

— Разрешите продолжать, ваше величество?

Получив разрешение, Витте напомнил членам кабинета, какие меры он предпринимал во время поездки в Америку, чтобы получить заем. Он, Витте, встречался с нужными людьми также в Германии и Франции. Он заручился поддержкой английских финансовых кругов. Видный немецкий банкир Мендельсон и тот обещал помощь. В Европе понимают: если Россия разразится революцией, то она будет ужаснее французской. К сожалению, этого не понимают еще многие господа в России. Когда благодаря его, Витте, хлопотам в Петербурге собрался консорциум международных банков, наше министерство финансов что сделало для его плодотворной деятельности? Ничего!

— Должен сказать, что в дни, когда у нас с визитом находились представители крупнейших европейских банков, непонятную слабость проявил и министр внутренних дел. Он допускал митинги и манифестации, в городе распространялись противоправительственные листки. Господа банкиры были напуганы. Они начали сомневаться в нашей силе. В результате мы до сих пор не получили обещанный заем. По предварительной договоренности речь шла о пятистах миллионах рублей...

Члены кабинета понимали, что к переговорам о займе Дурново не имел прямого отношения. Попросту либералу Сергею Юльевичу не нравился твердолобый Дурново. Не проходило ни одного заседания, чтобы между ними не возникло разногласий.

— Отовсюду мы слышим: «Денег, дайте денег!» Деньги у нас будут. Но теперь-то уже придется соглашаться на большие проценты... Худо и то, что опасность грозит не только от черни, но и от состоятельных российских

людей. Они изымают свои вклады из русских банков и переводят за границу. Смею доложить, ваше императорское величество, что за прошлый месяц из петербургских и московских банков утекло шестьдесят миллионов рублей в золотой и серебряной валюте. Так доживем до того, что в казне не останется ни копейки. Приходится лишь удивляться позиции министерства финансов.

Коковцев вобрал голову в плечи, члены кабинета переглянулись. Невдомек им было, что его светлость граф Витте не далее как неделю назад перевел в швейцарский банк кругленькую сумму. Витте огласки не боялся, он уже знал в точности, кто из правительственных чиновников и какую сумму под разными предлогами изъясил из российских банков. Рыльце в пушку было у всех.

— Я заканчиваю, ваше величество. Итак, свои деньги мы изымаем из банков, а иностранных боимся. Американский промышленник и банкир господин Морган хотел было поместить капитал у нас в России, но министр Коковцев расценил это как уловку. Не смешно ли? Какие бы чины мы ни имели, какие посты милостью его императорского величества не занимали, прежде всего мы должны помнить о благе отечества...

Граф Витте поклонился Николаю и сел.

Первым пришел в себя Дурново. Он вскочил с места и, не спросив соизволения его величества, долго обличал социалистов и либералов, от которых происходят все беды. Особенно досталось либералам; невозможно определить политическое направление этих господ, сегодня они заодно с монархистами, а завтра в обнимку с бунтовщиками...

Выступил и Коковцев. Начал он с экскурса в историю государства Российского, отметил выдающихся государей и среди них — самого мудрого, каковым несомненно является его величество Николай Второй. Коковцев полагал, что свеча, поставленная перед троном императора, будет лучше всего светить ему самому.

Император в продолжение дискуссии не проронил ни слова. Было уже три часа ночи, когда он поднялся и прошелся по залу. Остановившись перед Дурново, он поднял палец вверх.

— Завтра же представьте детальный план подавления бунтов. Предусмотрите мобилизацию всех полицейских и жандармских сил, всего благонадежного населе-

ния. Социалистам — никакой пощады! Пули, сабли и картечь — ничем не пренебрегать! А вы, господин Трепов, тоже, наверное, понимаете, для чего переведены из Москвы в Петербург. С завтрашнего дня все рода войск выведите из казарм. Никакой жалости! Бунтовщиков пустить в расход, подозрительных — в тюрьмы. Господин Павлов, революционная зараза проникла в войска, и довольно глубоко. Вы, главный военный прокурор, тоже повинны в этом. Проследите, чтобы ни один нижний чин, а тем паче офицер, замешанный в беспорядках, не избежал кары.

Очередь дошла до министра иностранных дел. Не дожидаясь, пока император к нему обратится, Извольский вытянулся.

— Вам, господин Извольский, надлежит адресоваться к послам и дать указания возобновить переговоры о займах. Безотлагательно сообщите об этом в Лондон господину Бенкендорфу, в Париж — господину Нелидову, в Берлин — господину Остен-Сакену, в Америку — господину Розену. Можно даже уведомить о том и господина Покотилова в Пекине.

— Будет исполнено, ваше величество!

— Вы тоже, господин Ридигер, пересмотрите план действий. Без военной помощи не должна остаться ни одна губерния.— Царь подошел к карте. Все последовали за ним.— Надо двинуть полки в Курск, Самару, Саратов, Харьков, Полтаву, Минск, Ригу, Брест... Обратите также внимание на Финляндию, Урал, Сибирь, Забайкалье. В особо опасном положении оказались Томск, Омск, Новониколаевск, Красноярск, Чита... Стремительность и непреклонность — только этим надлежит руководствоваться в подавлении мятежей. Пусть знают об этом все чины нашей армии...

— Будет исполнено, ваше величество!

Николай вернулся на свое место. Некоторое время он сидел, изредка покачиваясь из стороны в сторону.

— Студенчество, мужичье, земство... Социал-демократия, Советы рабочих депутатов, инородческая оппозиция, неповиновение в войсках...— Николай резко встал и подошел к Коковцеву. Тот мгновенно вскочил.— Отправляйтесь в дальний вояж! Побывайте в Берлине, в Париже. Возобновите переговоры, начатые господином Витте, И помните: без крупного займа не возвращайтесь.

— Понял, ваше величество!

— Всюду это поветрие! В Чите смутьяны склонили на свою сторону гарнизон. Передают, что в Совете у них людей больше, чем у губернатора. Надо послать в Читу два карательных эшелона, один со стороны Харбина, другой с запада, со стороны Москвы. Позаботьтесь, чтобы все, вплоть до последнего солдата, были подобраны из самых благонадежных людей. Распорядитесь: пусть нижние чины в дни экспедиции получают усиленный продовольственный паек и лишнюю чарку водки, а господа офицеры помимо прочего — двойное денежное содержание. Что касается до начальников эшелонов, то об этом позаботимся мы.

Начал успокаиваться. Сел...

— Господин Витте, о выполнении нами сказанного каждое утро в одиннадцать часов будете докладывать.

Граф Витте молча поклонился.

* * *

Попытка Ленина поселиться легально чуть не кончилась бедой: его квартиру окружила свора шпиков и осведомителей, пришлось заменить паспорт и перейти на нелегальное положение. В тот самый вечер, когда российский самодержец в мыслях уже расправился с революцией, Владимир Ильич находился на третьем этаже в большом каменном здании близ Таврического дворца. Он стоял в глубине небольшого зала, до отказа набитого людьми, и снизу вверх смотрел на высокого сутуловатого человека. То был Максим Горький. Он рассказывал Владимиру Ильичу о положении в Москве. Владимир Ильич остался весьма доволен интересом, какой проявлял писатель к революции, и денежной помощью, которую он оказал московским рабочим.

Чувствуя себя неловко от похвал, Горький переменял разговор:

— За вами, наверное, охотятся, Владимир Ильич?

— Пожаловаться на невнимание к себе не могу, — засмеялся Ленин.

— Вы уж остерегайтесь, — баском наставлял Алексей Максимович. — России вы очень нужны...

Едва они устроились в первом ряду, на трибуну поднялся оратор.

Владимир Ильич был весь внимание и энергия. Оратор начал доказывать, что боевые дружины вредны, что вооруженное восстание не нужно. Поднялся шум. Ленин, дождавшись тишины, бросил реплику:

— Что же вы предлагаете — пойти на поклон к правительству? Да сейчас даже либеральная буржуазия начинает терять веру в своего Витте.

С новой силой поднялся шум.

Оппонент, поняв, что ему не дадут говорить, покинул трибуну. Его место сейчас же занял Ленин.

— Предрекать поражение революции — дело простое, тут много ума не требуется! Не гадать нужно, а трезво оценить обстановку и сделать правильные выводы. Особенность нынешней обстановки в том, что бессилие самодержавного режима день ото дня все очевиднее. В том, что растет вширь и вглубь организация самых различных слоев и классов народа, организация и революционных и контрреволюционных сил. И вот теперь, когда чаша весов колеблется, когда самодержавный строй находится накануне гибели, нам предлагают распустить боевые дружины, отказаться от мысли о вооруженном восстании.

— Вы призываете к пролитию крови? Ее и так пролито достаточно!

Ленин стремительно подался вперед.

— Кровопролитие, говорите? А сколько крови пролилось на полях Маньчжурии, где скрестились интересы российских помещиков и капиталистов с японскими? Той крови не жалко вам? До сих пор в Маньчжурии остается полумиллионная армия. Ее не пускают в Россию, боятся революционных солдат. Как видите, солдат уже понимает, что он лишь орудие в руках реакции. Он не хочет быть палачом народной свободы. Об этом красноречиво свидетельствует восстание в Севастополе. Мы за то, чтобы покончить с войнами! Но для этого надо совершить пролетарскую революцию... Что касается Учредительного собрания или Государственной думы, то позвольте вас спросить: будет ли оно действительно учредительным? Даже граф Витте согласен на его созыв, но только в рамках благопристойности. Бумажные проекты, подобно всяким конституционным иллюзиям, развращают революционное сознание народа и ослабляют его революционную энергию...

В зале стояла тишина.

Голос оратора, решительный и горячий, иронический и спокойный, продолжал звучать. Никого эта речь не оставляла равнодушным; в одних укрепляла веру в правоту рабочего дела, выжигала сомнения, а других заставляла вбирать голову в плечи.

— А как насчет крестьянства?

— Уничтожение помещичьей собственности на землю и установление демократических порядков — требование всего крестьянства. Мы поддерживаем его. Но мы на этом не останавливаемся. Ведь и при демократической республике хозяином положения останется тот, кто владеет капиталом. Этого не хотят заметить даже такие друзья крестьян, какими считают себя эсеры. Они не понимают, что «земля и воля» еще не означает устранение эксплуатации в деревне. Поэтому социал-демократы ведут борьбу не только за землю и волю, но и за социализм, то есть ведут борьбу против господства капитала.

В зале сидело немало вчерашних крестьян, и всякий из них вольно или невольно обращался мыслью к своей родной деревне.

...Маленькие домишки, бревенчатые, а то и глинобитные, под соломенной или камышовой крышей. Вечерами редко в каком окне увидишь красноватый огонек керосиновой лампы: нет денег на керосин, обходятся лучиной. Худые, кривоногие ребятишки, женщины со впалой грудью, испытые мужики. На дворе — корова да лошаденка, но и то не у всякого. И над всей деревней пятистенный, из кондового леса, дом. Живет в нем кровосос, полдеревни работает на него... Допустим, получит мужик землю и волю. А чем пахать эту землю, если ни плуга, ни бороны? На чем пахать ее, если ни лошади, ни другого тягла? Как ее, эту волю, в прок обратить? Вот и пойдешь опять в кабалу, продашь свою волю за грош.

— Вперед же, на общую борьбу за землю и волю! Вперед, на борьбу за социализм!

Поздно ночью в своей комнате, в доме книготорговца Пятницкого, Горький писал Екатерине Павловне, своей жене:

«Живу здесь, приехал на объединительный съезд с.-д... 6-го декабря ждем погрома со стороны гвардии и черной сотни — какое милое соединение! Потомки декабристов и Минина,

Работы у меня, как у дьявола, это само собой разумеется. Ждем ареста и закрытия наших газет за манифест, выпущенный сегодня... Дурново сочиняет заговоры против революции. Безнадежно глупо наше почтенное правительство...

Ты лучше не вози сюда детей — перебьют их. И тебя, конечно. Будь уверена, что контрреволюцию попытаются устроить, хотя это безнадежная авантюра. Сегодня во всех газетах опубликован тайный циркуляр Дурново, которым предлагается губернаторам арестовать всех революционеров. Занятие дельное, как видишь.

Вообще же настроение масс отнюдь не падает, а все растет...»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ВСАДНИК БЕЗ СТРЕМЕНИ

За дальние увалы закатилось солнце. На небо выплыла луна. Лунный свет менял представление о расстояниях, красках, форме вещей. То, что недавно выглядело желтым, стало белесым, шершавое — гладким, далекое — близким. Даже изрытое оспой лицо человека свет луны превращал в чистое, как у ребенка.

В веселую минуту буряты любят рассказывать простенькую историю о том, как угощался при лунном свете ненасытный гость. Уничтожив все, что было предложено, гость начал осматривать стол и увидел что-то белое. «Можно?» — спросил он хозяина. «Пожалуйста!» — ответил тот. Гость схватил предполагаемое сало и обломал зубы: оказалась кость...

В такой вот вечер возле юрты мудрого улигершина стояли на привязи около двух десятков лошадей. Иней и лунный свет превратили их в одномастных.

В очаге пляшет огонь. Старшая невестка, любимица хозяина, вошла в юрту с большой охапкой дров, морозный воздух белыми клочьями врывается в дверь, медленно оседает. От сухих дров пламя в очаге вспыхивает с новой силой и освещает лицо Булада. Он сидит на хойморе, что-то тихонько говорит хозяину, тот внимательно слушает и беспрерывно поглаживает узкую бороду. Ниже хозяина и гостя, тесно прижавшись друг к другу, расположились улусники...

Хара-Шарайта то и дело поглядывает на Булада. Видно, он хочет о чем-то спросить приезжего, но никак не может решиться.

— Что у тебя, сынок? Говори, не стесняйся,— пришел ему на помощь улигершин.

— Прошу вас, уважаемые убгэны, и вас, мои сверстники, спрашивать обо всем, что непонятно,— обратился к собравшимся и Булад.— Тут все свои.

— Не пойму все-таки,— набрался духу Хара-Шарайта.— Не пойму, как можно жить без высокородного царя? Кто же будет тогда управлять деревнями и улусами? Не зря же народ говорит: дэгэлу нужен воротник, а людям — дарга.

— Эту пословицу по-всякому толковать можно,— ответил Булад.— Конечно, любая власть не может обойтись без старших. Но разве обязательно иметь царя? Пока есть царь и нойоны, беднякам не избавиться от несчастий. Что же делать? Прогнать царя, самим сделаться хозяевами. Тут надо действовать всем вместе: русским и бурятам, украинцам и другим народам. И руководитель нужен. Таким руководителем стала социал-демократическая партия, которую создал Ленин-багша. Великий человек — Ленин-багша. Он лучше всех знает, как помочь аратам.

Сидевший у двери старик сложил ладони.

— Ах, хорхэй! — не мог он скрыть удивления — Ленин-багша обладает, наверное, таким же умом, как сам бурхан. Надо иметь божественную силу, чтобы поднять людей против царя.

— Должен сказать вам, бабай,— подхватил Булад,— что у Ленина-багши силы и ума больше, чем у бурхана. И знаете почему? Бога ведь нет...

Слова Булада встречали сочувствие до тех пор, пока речь не зашла о боге. «Бога выдумали люди... Ленин безбожник... Ламы помогают богачам угнетать народ...» — все эти мысли вызвали в сознании одних смутное беспокойство, а у других — смятение. Уж не совершают ли они грех, слушая речи безбожного юнца? Может, бурхан нарочно послал такое искушение, может, он хочет проверить крепость их веры? Булад хорошо понимал, что происходит в головах улусников.

— Твой отец, говорят в степи, тоже отрекся от бога? Слышал я также, будто отцу твоему не очень-то везло с тех пор, как он расправился с Самбу-ламбагаем...

Люди, с таким доверием слушавшие Булада, начали посматривать на него с подозрением, богобоязненные складывали ладони и шептали молитвы.

— Если вы так хорошо знаете моего отца, если вы смогли проследить его путь,— сдерживая себя, ответил Булад,— то, наверное, заодно расскажете аратам, какую кару понес Самбу-лама. Я хоть и маленький был, но запомнил этого страшного человека. Обманутый нойонами и ламами, отец ожесточился и стал хунхузом... Но цель революции не в том, чтобы убить одного ламу или одного богача...

— Такие речи, вы понимаете, уважаемые араты,— заметил улигершин,— можно вести только среди своих людей. Для ушей нойонов они непригодны.

— Да, это верно,— подтвердил Булад.— Но предателей нам тоже бояться не к чести. Пусть они боятся нас. Рано или поздно они получают по заслугам.

Улусники задвигались, заговорили. И Булад опять повел свою речь: как борются за свои права рабочие Читы, Иркутска, Верхнеудинска, как белый царь расправляется с трудовым народом...

Подкрепившись, араты, приехавшие из дальних аилов, начали собираться в обратный путь. Нельзя было засиживаться и Буладу. Утром он проводил в Читу Шара-Дамбу и Галсана, на трех подводах они повезли бастующим рабочим мясо и масло. Булад обещал выехать вслед ночным поездом.

Старик сердечно обнял юношу и, по обычаю степей, произнес юрол:

— Пусть никогда не сотрутся копыта твоего хулэга, мой молодой друг, пусть до конца свершится все задуманное тобой. Помни: только обточенный камень приобретает ценность, только прошедший сквозь испытания мужчина обретает мудрость. Не отступай от задуманного. Живи в добром здравии.

— Спасибо, дорогой бабай! Пусть годы ваши будут долгими... До свидания.

Застоявшийся на морозе конь с места взял рысью.

Спит Агинская степь. Утром люди проснутся и примутся за дела, а степь будет покоиться, пока не разбудит ее весна. И воспрянет она, и от края до края оденет

себя в разнотравье. Так было всегда, так будет впредь, но то ли еще будет! Люди пользовались дарами твоими, лежащими на поверхности, не догадывались, что в недрах ты хранишь сокровища еще большие, хранишь наравне с останками людей, что хотели разбудить тебя от вековой спячки. Но придет время, и ты, Агинская степь, отдашь человеку все, что хранила. И не оскудеешь ты, а станешь богаче и краше. Вот здесь, где народ живет под страхом голода, созреет золотоколосый урожай и потекут новые реки. И может, до этих манящих дней доживет и Булад. Спеши, Булад, торопись, тебе ведь так много надо успеть в жизни!

Ржа не щадит ни железа, ни стали,
Если они без движенья покоятся.
Но крылья всегда у того вырастают,
Кто в поднебесье душою возносится.

...Чалый жеребчик Булада оставлял позади версту за верстой. Впереди уже показался Волчий дабан.

Звезды небесные, ярче горите
Над Родиной милой моей.
На битву за счастье, за мир и свободу,
Народ, поднимайся скорей.

Поет Булад и по привычке степняка прислушивается. Показалось, что где-то недалеко фыркнула лошадь. Он умолк, огляделся, но ничего не заметил.

В табуне лошадей, что гуляет на воле,
Родятся пусть только хулэги.
Пусть мудрыми, сильными, честными братьями
Славится край мой вовеки¹.

— Эй, подождите!

Булад обернулся и увидел всадника, скачущего к нему во весь опор.

— Здравствуйте! — миролюбиво поздоровался всадник, поравнявшись с Буладом. — Как ты хорошо поешь! Я вот не могу...

Из соседнего оврага появилось еще двое всадников.

— Здравствуйте, друзья! Лошади пристали у вас, что ли? Плететесь, как старухи...

¹ Перевод Н. Рыбко.

— Будьте и вы здоровы,— отозвался неожиданный попутчик Булада.— А про коней наших зря говоришь. Не хвали, говорят, жену, а хвали коня.

Булад внимательно присматривался к попутчикам. Откуда они взялись? Ага, вот тот будто знакомый. Уж не Гамбал ли это, сын Намсарая-тайши?

— Вас не Гамбалом звать?

— Постой, постой, у кого это такой острый глаз, что он сразу меня узнал? — Гамбал склонился с седла, рассматривая Булада.— А ты не сын ли Аламжи? Не тот ли ты ястреб, который грозился отобрать у баянов скот и землю?

Гамбал взмахнул рукой. В ту же минуту всадник, подъехавший к Буладу, накинул на него аркан. Сильный рывок — и Булад очутился на земле. На него набросились все трое, скрутили ременными вожжами по рукам и ногам, попытались затолкнуть в рот Буладу платок, но ничего не вышло: парень стиснул зубы.

— Он не хочет держать в зубах кляп,— с притворным состраданием проговорил попутчик и, сняв с себя кушак, завязал Буладу рот.— Теперь кричи, дорогой, кричи.

Перекинув Булада через седло и накрепко прикрутив, похитители вскочили на коней и поскакали по холмам, держа путь к стойбищу Торговойн Жапа.

...Торговойн Жап мерил юрту шагами. Когда в ограде слышались голоса, он накинул на плечи волчью шубу и шагнул через порог.

— Поймали... Живьем схватили!

— Вот и хорошо! — затопал ногами купец.— Только стоять около этого выродка у меня нет охоты. Мороз. Бросим его в тепляк.

Булада швырнули в вонючий козлятник. Гамбал зажег спичку и оглядел помещение: он хотел узнать, где находится купеческая батрачка, ночевавшая, по обыкновению, вместе с козами. Торговойн Жап поспешил объяснить: проклятая девка вчера проворонила козленка и теперь сидит в холодном сарае вместе с козами.

— Какой вы умный человек! — захохотал Гамбал.— Девку к козам, а парня — к козам.

Дверь захлопнулась. Булад услышал, как снаружи навесили замок. Потом донесся разговор:

— Ременные вожжи не разорвет?

— Нет, нет...

— Погреться пора.

Еще с порога Гамбал окликнул смазливую бабенку и приказал накрыть на стол. Она проворно принесла тэбшэ с вареным мясом и бутылку водки. Гамбал наполнил три чашки. После чашки голос сына тайши приобрел живость, он начал хвастать табунами коней, стадами коров, отарами овец, прославлять свою храбрость и мудрость, не забывая и о дымящейся баранине, которую беспрестанно подкладывала в тэбшэ расторопная бабенка.

Все чаще отхлебывая из чашки, старый купец тоже принялся нахваливать сына Локсоя. Его сын, учившийся в далеком Лондоне, пользуется среди русских таким уважением, что даже генералы подают ему руку...

Долго бы, наверное, продолжалось это бахвальство, если бы вконец охмелевший Гамбал не подавился. Он выбежал во двор. Луна ушла с неба, было уже недалеко то время, когда на смену ей поднимается солнце.

За постройками слышался скрип полозьев, а вскоре показались розвальни, запряженные парой лошадей. Приехал Намдак-нойон, купец еще с вечера послал за ним верхового — одного из тех, которые схватили Булада.

— Ну-ка покажите, где этот мерзавец! Я сейчас с ним разделаюсь.

Солдат бросился отпирать сарай, но его остановил Гамбал.

— Что это у тебя с рожей, друг?

— Только никому не рассказывай. Оборвалось стремя, вылетел из седла.

— Ну недотепа! Упасть с такой смирной лошади... Она же и годится только навоз возить.

Намдак подошел к Торговойн Жапу:

— Из волости пришла бумага: кто поймает сына Аламжи, тому заплатят...

Гамбал принял из рук работника фонарь, и все направились к тепляку.

— Притащите его сюда и бросьте мне под ноги, — распорядился Намдак. — Я хочу с ним поговорить.

Намдак продолжал еще что-то выкрикивать, когда Гамбал выскочил из сарая и остановился, оцепенело глядя на остальных.

— Нет его там...

— Что ты сказал? — Намдак захлебнулся от ярости.

Волостной старшина растолкал всех и, держа берданку наперевес, вошел в сарай. Гамбал засеменил следом. В тепляке подавал голосок недавно родившийся козленок. Гамбал поднял фонарь над головой, и Намдак увидел стоявшую у стены козу. Она жевала ременные вожжи. Те самые, смазанные верблюжьим салом вожжи, которые, если верить Торговойн Жапу, могли соперничать со стальными цепями.

— Смотрите, перегрызла вожжи... Паршивая тварь!

Старшина приставил берданку к животу козы и спустил курок. Затем он выбросил ружье за дверь, взял в руки фонарь, прошел по сараю. Труба наполовину оказалась разобранной, в крыше зияла дыра.

Намдак со стоном опустился на пол.

— Пусть околет мой лучший конь!.. Ах, какая жалость, какая жалость... Надо было приехать пораньше... А во всем виноват этот солдат. Не сумел удержаться без стремени. Ну какой он после этого наездник, какой бурят? — Он сплюнул несколько раз.

КРОВАВЫЙ СЛЕД

В борзинской Даурии разыгрался ветер. Он срывал тощий покров снега и нес его, пока не наткнулся на избышки рабочего поселка. Тут снег оседал сугробами, а ветер уносился дальше.

Поселок Борзя будто вымер. Люди попрятались в домах и бараках, грелись у очагов, при свете жировых плашек или лучин. Жизнь рабочего человека не бог весть как улучшилась, но все-таки семьи размещались теперь не в вагонах, а в избах, железнодорожники работали по восемь часов. Но больше похвастаться было нечем. По-прежнему голод подстерегал их на каждом шагу: работы становилось меньше.

Ветер все яростнее набрасывался на поселок, свистел в печных трубах. На станционном здании он оборвал кусок жести и грохотал ею, как шолмос.

Пригнувшись, Аламжи вошел в здание и огляделся. Маленький, грязный зал освещался фонарем, в котором мерцал огарок свечи. У одной стены стояла четырехугольная печка, у другой — колченогая скамья. Стуча по полу замерзшими унтами, Аламжи прошел к печке, потрогал ее руками, приложился щекой.

— Кто там? — из окна кассы. — Не грохочи, как лошады!

Не раздумывая долго, Аламжи лег на скамью и вытянулся во весь рост. Расшатанные ножки не выдержали тяжести, скамья рухнула на пол. Пришелец, видимо, рассудил, что починить лежак все равно нечем, и поэтому не счел нужным подниматься.

Открылось окошко кассы:

— Смотри, ввалилось какое-то чудище!

Открылась дверь, в зал вошел молодой железнодорожник.

— Вставай, дубина! Вставай, тебе говорят!

Пришелец с трудом поднялся.

— Аламжи!.. Дядя Аламжи! Откуда вы?

— Степка, дорогой Степка! — Аламжи привлек голову парня к груди и закрыл глаза. — Искал тебя, домишко нашел, только на замке он... — Умолк, желтые глаза стали печальными. — Булада видел? Жив ли он?

— Жив, дядя Аламжи! Революцию делает! Пойдемте ко мне, здесь нельзя.

Аламжи пропахивал в сугробах канавы, легко перепрыгивал через ямы, через груды битого кирпича. Он торопился узнать подробности о своем сыне. Теперь их никто не разлучит! Степка хоть и проворный был парень, но едва поспевал.

Картошка и чай были уже готовы, но Аламжи снова и снова расспрашивал Степку про сына, про Галсана и Шара-Дамбу, про всех знакомых степняков. Степка решительно пододвинул гостю чугунок с картошкой. Аламжи принялся за еду.

— Вот так-то лучше...

— Я бы и голодным согласился до самой Читы... ехать.

— Опоздали малость. Давеча я Дондока проводил в город.

— Эх, как жаль! А что, Дондок тоже революционер?

— Вместе мы с ним,— с гордостью сообщил Степка.— У нас революционная дисциплина: против врагов — один кулак, а за друзей — одна душа.

Аламжи тяжело вздохнул.

— У нас тоже так было... О друзьях своих, хунхузах, говорю...

— А у вас тоже линия была? За что вы боролись?

Аламжи наморщил лоб:

— Признаться, не могу сказать. Воевали, одним словом...

— Как же так? Воевали, а против кого — не понимали... У нас, например, все ясно. Против царя, против всех богачей.

Степке казалось, что он уже видит новое общество, новую жизнь. И ему непонятно было, отчего дядя Аламжи хмурится, отчего лицо его почернело, губы затряслись.

Да, Степка не мог понять, какие муки испытывал Аламжи. Объятая вихрями степь, грозы и ливни, снежные метели и раскаленные пески, растоптанные копытами дети и проклятия старух — таким теперь предстало перед ним прошлое. Истекающее кровью тельце Олзобоя, истерзанный друг Ван Тумэр, страдальца Жалма и Булад, не знавший отцовской ласки,— вот итог жизни! Думал, ищет счастья, а на самом деле с каждым шагом от него удалялся.

Аламжи начал тихо рассказывать о своих скитаниях. Степка и раньше был много наслышан о похождениях дяди Аламжи, но то, что узнал сейчас, походило на страшную сказку: пройти через столько страданий, побед, поражений, через столько смертей! А как было бы хорошо, если бы дядя Аламжи знал настоящую дорогу к счастью! От скольких ошибок он смог бы уберечься, сколько добра успел бы сделать. Хорошо, что хоть сейчас наконец осознал свои заблуждения. Но хватит ли ему сил ступить на верную дорогу?

* * *

...Огненные глаза поезда далеко видны. Весь паровоз окутан дымом и паром, он пыхтит и вздыхает. В середине состава вагон первого класса разделен на две половины: одну занимал генерал-лейтенант Ренненкампф, другую — его штаб.

Грузный, со взлохмаченной рыжей бородой, с покрасневшими глазами, генерал сидел за столом и читал какую-то тетрадь. Сон одолевал его.

— С докладом к вашему превосходительству командир второй стрелковой роты поручик Хрумша!

— Пусть войдет.

Поручик, войдя, приложил руку к каракулевой папаше:

— Приказание выполнено, ваше превосходительство! Борзя была окружена, и повсеместно произведены обыски. Взяты руководители местной организации РСДРП. Рассеяна и в основном уничтожена верблюжья кавалерия туземцев. Пятерых, оказавших вооруженное сопротивление, пришлось расстрелять. Какие будут дальнейшие приказания вашего превосходительства?

— Оставшихся в живых,— раздельно проговорил генерал,— допросить со всей строгостью военного времени. Протоколы — мне.

— Слушаюсь.

Начальник штаба опустил в кресло напротив Ренненкампа.

— С вашего позволения, Павел Карлович,— вынул папиросу начальник штаба.— Не кажется ли вам, что сия зараза уже превратилась в эпидемию? Думаю, ее не излечить теми средствами, которыми вы, ваше превосходительство, лечили ихэтуаней...¹ Кстати, эшелоны его сиятельства Меллер-Закомельского приближаются к Верхнеудинску.

— На следующей станции следовало бы отбить ему шифровку. По нашим сведениям, в Верхнеудинске очень сильно брожение. Пусть он займется этим городом, а мы тем временем сможем подойти к Чите раньше его.

— Хорошо, Павел Карлович. Будет исполнено.

— Экспедиции, подобные этой, посложнее Мукденского сражения. Прошу вас тотчас же, как будет готов рапорт его императорскому величеству и депеша господину Меллер-Закомельскому, дать их мне. Обоим документам я придаю значение...

— Разделяю ваши надежды и опасения: ведь его светлость получал приказ из уст императора.

¹ Ихэтуане — так назывались участники боксерского восстания в Китае, в подавлении которого принимал участие Ренненкампф.

— Это обстоятельство меня больше всего и настораживает,— признался Ренненкампф.— Учтите, барон — хитрейшая бестия, он... настоящая дворняжка, все время при дворе,— рассмеялся неожиданной остроте генерал-лейтенант.— Представьте, что получится, если мы прибудем в Читу позже барона?.. Он получит ящик орденов, а мы с вами несколько медалей...

— Можете не сомневаться, ваше превосходительство. Мне приходилось составлять рапорты и в Ставку, и государю.

— Да, да, я знаю об этом. Знакомлюсь вот с любопытными записями. Тетрадь изъята у Попова, члена Читинского комитета РСДРП, попал к нам в руки. Вот решение, видимо, какого-то собрания: «Среди войск вести решительную агитацию путем митингов, индивидуальных бесед. Солдат — это переодетый крестьянин или рабочий, и ему наши идеи должны быть близки... Готовить крепкие вооруженные дружины. Оружие можно захватить в армейском арсенале. Важно арестовать генерала Ренненкампфа...» Ну и некоторые другие фамилии... Понимаете, «арестовать Ренненкампфа»! Я им что — ефрейтор?

Он открыл тумбочку, извлек оттуда початую бутылку коньяка, налил.

— Угощайтесь.

Вагон дрогнул и поплыл мимо станции в черную завьюженную степь навстречу новым смертям и пожарам. Огнеглазый паровоз, с шумом выдыхая струи пара и дыма, набирал скорость. Впереди главного эшелона шел разведывательный паровоз с двумя вагонами: в одном саперы, в другом — запасные рельсы.

Меллер-Закомельский двигался с такими же предосторожностями.

Вытянув жала, ползли к Чите две змеи.

знамя
остаётся с людьми

День и ночь поют на морозе телеграфные провода. Горько жалуется на что-то проволоочная линия. На что? Читинский телеграф рабочим не удалось захватить, он оставался под охраной царских войск. Люди исполняли свои дела, не подозревая о той опасности, какая надвигалась на них с двух сторон. Знамя над железнодорожными

мастерскими на берегу Ингоды напоминало о революционных боях. Говорили, что с этим знаменем в руках вел Николай Эрнестович Бауман московских рабочих на демонстрацию в день опубликования царского манифеста. Потом красное полотнище развевалось над баррикадами Пресни, а после подавления Московского восстания было отправлено в Сибирь. И вот теперь, опаленное пороховым дымом и пробитое пулями, знамя полощется над мятежной Читой.

Рабочие Читы все яснее понимали: завоеваниями, каких успели добиться, они обязаны только сплоченности. У них был Совет, во главе которого стоял Костюшко-Валужанич. Вместе с комитетом РСДРП Совет осуществлял власть в городе. В железнодорожных мастерских, в депо, на предприятиях и по всем станциям Забайкальской дороги был установлен восьмичасовой рабочий день. Газета «Забайкальский рабочий» под руководством Курнатовского стала набатным колоколом. Большевики пропагандировали решения III съезда партии, указания Ленина, вели борьбу с меньшевиками. На сторону рабочих переходили целые воинские подразделения. Да и сама рабочая дружина насчитывала в своих рядах несколько тысяч человек. Но останавливаться на этом никак было нельзя — реакция наступала.

Январским днем, под вечер, у восточной окраины Читы появилась большая толпа. Не с демонстрации возвращались люди. Они только что похоронили товарища. Люди шли молча.

Вдруг в рядах произошло замешательство: на пути процессии стояли солдаты, вооруженные винтовками и пулеметами.

— Вам известен приказ, запрещающий сборища? Расходись!

— Такого постановления Читинский Совет рабочих депутатов не выносил.

Офицер стеганул нагайкой по голенищу. Конь под ним затанцевал.

— Стрелять буду!

— Что ж, стреляйте. Если вам еще мало крови... Вас проклянет вся Россия!..

За спиной депутата выстроились рабочие. Офицер изменил тон:

— Расходитесь по одному, по два.

— Мы что тебе, ирод, воры или разбойники?

— Доложу его превосходительству! — Офицер выкрикнул приказание младшему командиру и поскакал к дому генерал-губернатора.

— Солдаты! Вы сыновья таких же рабочих и крестьян, как мы. Недалек час, когда власть в России перейдет в руки трудящихся...

— Молчать! — приказал унтер-офицер.

И тут прорвало! Люди заговорили все сразу. Хоть и нерешительно, толпа двинулась навстречу солдатам.

Унтер-офицер забежал перед цепью:

— Стойте, граждане! Стойте же, говорят вам!..

Толпа продолжала двигаться, некоторые смельчаки перебрались на ту сторону оврага, где находились солдаты. Унтер-офицер, заметив возвращающегося во весь опор офицера, вложил револьвер в кобуру — свою миссию он счел оконченной.

Подъехал офицер.

— Произошло недоразумение, — смущенно сказал он. — Его превосходительство генерал Сычевский выражает соболезнования по случаю понесенной вами утраты... На похоронные процессии приказ не распространяется...

Этот несколько затянувшийся эпизод в конце концов развеселил рабочих. И то сказать: где это было раньше слыхано, чтобы генерал-губернатор выражал соболезнование и приносил извинения рабочим? Кое-кому даже показалось, что генерал Сычевский сочувствует революции.

— При такой ситуации мы вполне можем создать Забайкальскую республику. Со своим парламентом и президентом! Зачем нам путаться в дела всей России? В наших руках — железная дорога, казенные заводы, мы установили восьмичасовой рабочий день, гарантировали свободы. Автономия — вот что нам нужно сейчас!

Солдаты уже поднялись, привели пулеметы в походное положение. Унтер-офицер выстроил их и повел в город. Двинулись дальше и люди.

— Вы, господин хороший, не понимаете, что автономная республика — это авантюра. Это гибель всех наших завоеваний! Да нас реакция возьмет голыми руками! Нет, отгораживаться нам никак нельзя. В наши ряды придут солдаты маньчжурской армии, нас поддержат рабочие Верхнеудинска, Иркутска, Красноярска, Новониколаев-

ска, Урала. Тогда-то вместе со всеми рабочими и крестьянами России мы обретем свободу.

Вокруг члена комитета и пожилого господина в позолоченных очках собиралось все больше людей. Они замедляли шаги, пока не остановились совсем. На перекрестке улиц возник летучий митинг.

Идею республики в Чите распространяла так называемая «социал-демократическая группа». Позиции у этой группы хоть и были шаткими, все же против них надо было воевать. Эту работу неустанно вели и члены Читинского комитета и рядовые партийцы, разделявшие взгляды Курнатовского, Бабушкина, Костюшко-Валюжанича. Власть Совета крепла день ото дня.

Губернатор Сычевский пытался даже заигрывать с Советом, но не вышло. Он снискал некоторую популярность лишь у лавочников да у группы либерально настроенных интеллигентов. Совет по-прежнему саботировал все его распоряжения.

Большую надежду Сычевский возлагал на генерала Полковникова, начальника 5-й стрелковой дивизии. Сычевский попросил дать в его распоряжение несколько надежных рот, но Полковников показал ему депешу Ренненкампа: никаких решительных действий против мятежников, пока эшелон не достигнет 59-го разъезда.

Читинскому комитету РСДРП стало известно о движении карательных эшелонов Ренненкампа и Меллер-Закомельского. Вскоре от Ренненкампа был получен ультиматум: распустить боевые дружины, сложить оружие и выдать всех руководителей. По призыву комитета более трех тысяч рабочих, входящих в боевые отряды, собрались у железнодорожных мастерских. К утру отряды стали пополняться.

На боевом совете было два мнения: защищать Читу всеми доступными средствами в надежде на то, что часть войск перейдет на сторону революции; или отступить в тайгу и начать против карателей партизанскую войну. Приняли первое.

— Накапливать продукты, врыть на подходах к мастерским фугасы, быть всем в полной боевой готовности,— распорядился Костюшко-Валюжанич.

Контрреволюция тоже не дремала. Генерал Реннен-

кампф, до сих пор скрывавший продвижение эшелона, теперь обосновавшись на 59-м разъезде, устроил смотр. Войск было достаточно. На вооружении — пушки и до тридцати пулеметов. За карателями были и такие преимущества, как выбор маневра, быстрота и внезапность нападения. Но этим он не ограничивался. Через генерала Сычевского, через тайных агентов он собирал самые точные сведения о положении в рабочих дружинах, о настроении повстанцев, об их вооружении и умении пользоваться оружием. Положение сторон было слишком неравным: генерал знал о своем противнике буквально все, а рабочие Читы не имели даже самых общих сведений о войсках генерала-вешателя.

Так же обстояли дела и у генерала Меллер-Закомельского. У него тоже нашлась в городе агентура, которая не замедлила дать ему сведения о численности и намерениях повстанцев. Кто боялся за свои капиталы, кто тянулся к царской монархии и ненавидел социал-демократов — потоком хлынули из Читы в ставки Ренненкампа и Меллер-Закомельского.

Не было у борцов и единства взглядов на тактику в вооруженном столкновении с карателями. Все рвались в бой, все хотели только победы, но пути к ней видел каждый по-своему. Читинский комитет решил в последний раз поговорить об этом с руководителями боевых отрядов. Пора уже было принять окончательное решение. Но оно так и не было принято. На боевом совете одна группа комитетчиков и командиров по-прежнему настаивала на том, чтобы встретиться с противником в открытом бою. В случае неудачи предлагалось разбиться на мелкие группы и вести против карателей партизанскую войну. Другие считали, что надо сохранить за собой мастерские, как опорную базу.

Тогда Костюшко-Валюжанич решил посоветоваться с самими дружинниками. Далеко за полночь в сборочном цехе мастерских сошлись все. Митинговали недолго. Разделившись на мелкие отряды, люди молча уходили в ночь, навстречу смерти или победе. Сильный гарнизон остался и в мастерских.

В предрассветных сумерках на льду озера Кенон произошли первые стычки с карателями. Войска Ренненкампа двигались густой цепью, вели плотный огонь, а дружинники отвечали редкими одиночными выстрелами.

Рабочие оказывали героическое сопротивление, сражались до последнего патрона, до тех пор, пока глаза видели врага.

Чем выше поднималось солнце, тем становилось яснее, что регулярным частям противостоят разрозненные группы дружинников. Одна из таких групп во главе с Костюшко-Валюжаничем столкнулась с противником у железнодорожного моста. Разгорелся бой. Солдаты несколько раз поднимались в атаку, но всякий раз вынуждены были залегать и откатываться. Трое рабочих сумели пробраться в тыл карателей и захватить пулемет. Когда солдаты поднялись в очередную атаку, смельчаки начали поливать их свинцом. Под перекрестным огнем каратели залегли.

Потеряв до полусотни солдат, отряд не решался возобновить наступление, но, дождавшись подкрепления, ударил по группе Костюшко-Валюжанича. На ослепительном снегу фигуры людей были четкими мишенями. Немного понадобилось времени, чтобы вывести из строя большую часть дружинников. Оставляя убитых, группа Костюшко-Валюжанича медленно отходила под защиту стен железнодорожных мастерских. Но на эту цитадель уже двигались роты Восточно-Сибирского стрелкового полка. Дружинники сопротивлялись с упорством гладиаторов, но их становилось все меньше.

Булад помог своему раненому командиру добраться до мастерских. Костюшко-Валюжанич попросил перевязать ему рану, выпил чашку кипятку и, оглядев защитников цитадели, предложил:

— Надо занять чердак и крышу. Оттуда обзор и обстрел...

Булад последовал за ним, облюбовал щель в крыше, приложил винтовку к плечу, долго прицеливался и спустил курок. Коротенькая фигура рухнула в снег.

— Кажись, полковника уложил! Ну-ка, Булад!

Но после меткого выстрела Булада на мастерскую обрушился целый поток свинца, крыша превратилась в решето. Через проломы было видно, как плещется на ветру знамя революции. На это знамя и смотрел теперь Костюшко-Валюжанич, опрокинутый навзничь пульей. Он зажимал рукой рану и силился вспомнить, какое приказание только что хотел отдать. Булад сделал еще несколько выстрелов и оглянулся назад. Слабым движени-

ем руки звал кого-то к себе командир. Булад оставил винтовку и подполз.

— Его надо отсюда унести... Знамя... Сохрани его. Выполняй!

По скату крыши Булад дополз до древка и рванул его на себя, затем осторожно снял полотнище и затолкал за пазуху. Скоро он снова уже был на чердаке, но Костюшко-Валюжанича здесь не оказалось. Пятеро дружинников методически вели огонь. Булад лег на прежнее место, взял винтовку и навел мушку на очередную цель. Он не помнил точно, сколько выстрелов сделал, сколько сереньких фигурок ткнулось в землю. Очнулся он только от мощного «ура», которое прокатилось невдалеке от мастерских. Уже в наступающих вечерних сумерках он разглядел, что атакуют дружинники. Каратели не выдержали неожиданного натиска и подались в сторону Кенона. Булад закричал «ура» и скатился по лестнице с чердака.

Оказалось, что положение оставшихся в крепости, незавидное. Всякий, кто не сумеет уйти отсюда этой ночью, завтра не минует расправы Ренненкампа. Защитников мастерских оставалось совсем мало. Враг, напуганный контратакой сборного отряда дружинников, отступил. Но надолго ли? Надо было покидать мастерские, каратели, по всей вероятности, не решатся наступать до рассвета. Однако первая же вылазка повстанцев показала, что каратели держат осаду и ждут удобного случая нанести последний удар. Вырваться из вражеского кольца оказалось не просто.

Тяжело раненных вынесли по водосточной трубе, которая вела из мастерских под железнодорожное полотно. Булад тоже ушел через эту трубу, ушел последним, ушел с красным знаменем, которое еще недавно развевалось над восставшей Читой...

Утром в городе начались повальные обыски и аресты. Сотни были закованы в кандалы и отправлены на каторжные работы, а тех, кто был расстрелян, никто не считал. Над Читой распластала крылья беспросветная ночь. Но те, кто пережил овейные революционной романтикой дни свободы, кто видел, как бледнели при встречах с дружинниками офицеры, как хозяева заводов, фабрик, рудников сдавались перед Советами, — те твердо верили, что на

смену ночи неминуемо придет лучезарный день. Как невозможно даже самой плотной туче надолго закрыть солнце, так нельзя вечно держать рабочий люд на коленях. Придет время, и народ разогнется, расправит могучую спину и довершит то, что не сумел довершить на баррикадах в 1905—1906 годах.

...Ночи стояли студёные. Часто дули северные ветры. Почти целую неделю то тут, то там вспыхивали вооруженные столкновения между мятежными рабочими и войсками. Ничто уже не могло помочь повстанцам. Их даже не брали в плен. Трупы грудami сваливали в кучи, увозили на Ингоду и спускали под лед.

В одну из таких ночей по льду Кенона шли двое: широкоплечий высокий парень и маленькая женщина.

— Значит, Галсана и Шара-Дамбу расстреляли...

— Думаю, товарищи зря не стали бы говорить.

— Да,— вздохнула Искрова,— столько жертв! Никак не выходят у меня из головы семьдесят восемь сегодняшних казней... Какие люди погибли!

— Знамя осталось у нас,— сказал Булад.— Мы пройдем с ним по Аге и Хоринску, побываем в Верхнеудинске и Баргузине, Иркутске и Красноярске. Народ еще поднимется!

ВОСТАВШИЙ РАБ УМИРАЕТ СВОБОДНЫМ

Снег, подхваченный ветром, ослепил Аламжи. Все круче становился откос, все меньше оставалось сил. Заходящее солнце скользнуло по земле. Он всегда был другом солнца. Встречал он солнце на рассвете, провожал на закате. Доверял солнцу израненное тело свое. Тосковал по солнцу, когда тяжелые зимние тучи не давали теплым лучам пути на землю. Аламжи сделал навстречу солнцу несколько шагов и остановился, почувствовав сильное головокружение и слабость в ногах. Страх обуял Аламжи: ноги не держали его. Ноги, которые не знали устали, когда он бежал по улицам Пекина; ноги, не сгибавшиеся под многопудовой кладью, теперь подгибались, как былинки, под тяжестью тела. Аламжи лег и закрыл глаза. Сразу же навалилась дремота. В полусне пришли видения. Аламжи показалось, что перед ним стоит древний старик. Вот он протянул руку и поглядел Аламжи по

щеке. Рука у старика холодная. «Этот бабай повелевает горем и счастьем,— пронеслась в голове Аламжи странная мысль.— Он смешал горе и счастье и бросает мне в лицо...»

Явился Самбу-лама в праздничном одеянии, с шелковым орхимжо, переброшенным через плечи. «А, это ты, безбожник? Ты всю жизнь искал счастья? Никогда его не получишь!»

На краю оврага, на корявом дереве села сорока и застрекотала так радостно, будто нашла кучу зерна. На ее крик прилетела ворона, уселась на вросший в землю камень и огляделась по сторонам.

Солнечный свет почти угас. В овраге стало совсем темно. Снежный холмик, наметенный над человеком, становился все больше. Сознание еще не совсем покинуло Аламжи. Вот он лежит у крутояра, теряя разум, и ничего не надо ему в этом мире — ни еды, ни достатка, ни даже гробовой доски. Жалма тихо и ласково гладила его по щекам: «Милый мой! Встань же скорее, и мы пойдем к нашему сыну... Как долго я тебя ждала!»

«Бедная моя Жалма! Таким сыном нужно гордиться... Мое счастье никто не мог похитить, я самый счастливый человек! Милая Жалма! Щеки твои округлились и стали розовыми, как цветок саранки...»

Аламжи приподнялся на локтях и крикнул в наступающую ночь:

— Жалма! Жал-ма-а-а!..

Испуганная ворона снялась с темного камня и, каркнув, улетела прочь.

Последним был сын. Он склонился над отцом и заботливо поправил овчинное одеяло: «Спи, отец. Мы сделаем все как надо. Мы найдем твоё счастье. Спи...»

«Сынок! — хотелось крикнуть Аламжи.— Я виноват перед тобой. Но теперь я все понял. Теперь мы всегда будем вместе».

Не знал умирающий Аламжи, что его сын в эти минуты был рядом. Вместе с Татьяной Львовной он поднимался по другому склону горы, торопился к перевалу. Ветер бил ему в грудь, сиюсь согнать с тропинки, но Булад шел размеренно, упруго, шел все вверх и вверх, к перевалу Ара Мира. Снежная пыль, едва коснувшись его щек, таяла и превращалась в пар. Юное сердце Булада стучало сильно и ровно.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

ОДИНОЧЕСТВО

Глава первая	4
Глава вторая	22
Глава третья	47
Глава четвертая	68
Глава пятая	104
Глава шестая	137
Глава седьмая	152
Глава восьмая	192

КНИГА ВТОРАЯ

В БУРЮ

Глава первая	216
Глава вторая	229
Глава третья	256
Глава четвертая	290
Глава пятая	337
Глава шестая	357
Глава седьмая	373
Глава восьмая	396

КНИГА ТРЕТЬЯ

ОБРЕТЕНИЕ

Глава первая	402
Глава вторая	413
Глава третья	428
Глава четвертая	451
Глава пятая	475
Глава шестая	490
Глава седьмая	517
Глава восьмая	526
Глава девятая	541

2p. 30m.